

РУССКОЕ
ОБЩЕСТВО
30-х годов XIX в.

Мемуары
современников







Университетская
библиотека

Редакционная коллегия:

В. Л. Янин (*председатель*),
Л. Г. Андреев, С. С. Дмитриев,
Я. Н. Засурский, А. Ч. Козаржевский,
Ю. С. Кукушкин, В. И. Кулешов,
В. В. Кусков, П. А. Николаев,
В. И. Семанов, А. А. Тахо-Годи,
Н. С. Тимофеев, А. С. Хорошев,
А. Л. Хорошкевич

**РУССКОЕ
ОБЩЕСТВО
30-х годов XIX в.**

ЛЮДИ И ИДЕИ

**Мемуары
современников**

Под редакцией И. А. Федосова

ББК 63.3(2)47

Р 82

Рецензенты:

доктор исторических наук, заслуженный

деятедь науки РСФСР В. В. Гармиза,

доктор исторических наук В. А. Федоров

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи:
Р 82 (Мемуары современников). — М.: Изд-во МГУ, 1989, 446 с.
ISBN 5—211—00290—3.

В настоящем издании публикуется часть отечественного мемуарного наследства: воспоминания М. И. Жихарева о П. Я. Чаадаеве, очерк-некролог К. Д. Кавелина «Авдотья Петровна Елагина», «Замогильные записки» В. С. Печерина, «Воспоминание студентства» К. С. Аксакова, записки Я. М. Неверова о Т. Н. Грановском.

430000000—043
Р—-----190—89
077(02)—89

ББК 63.3(2)47

ISBN 5—211—00290—3

© Издательство Московского
университета, 1989

«ПОД БРЕМЕНЕМ ПОЗНАНЬЯ И СОМНЕНЬЯ...»
(ИДЕЙНЫЕ ИСКАНИЯ 1830-х годов)

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

М. С. Пушкин. 1826 г.

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской...

М. Ю. Лермонтов. 1838 г.

14 декабря 1825 года Россия присягала новому императору. Картечными выстрелами на Сенатской площади началось царствование Николая I.

Первые аресты были сделаны на исходе дня, ознаменованного, как отмечало позднее «Донесение Следственной комиссии», «буйством немногих и знаками общего усердия, нелицемерной преданности престолу, и всего более примером царственных доблестей, наследственных в сем августейшем доме, который был предметом безумной злобы мятежников». Следствие по делу участников «петербургских происшествий 14 декабря» велось энергично, быстро расширялся круг арестованных. С первых дней молодой император получал зримые изъявления верноподданнических чувств. 23 декабря он сообщил брату Константину: «Здесь все усердно помогали мне в этой ужасной работе; отцы приводят ко мне своих сыновей, все желают показать пример и, главное, хотят видеть свои семьи очищенными от подобных личностей и даже от подозрений этого рода».

Среди российских дворян возобладали испуг, стремление заявить о непричастности, оправдаться. Четверть века спустя А. И. Герцен с горечью писал об обществе, «которое при первом ударе грома, разразившегося над его головой после 14 декабря, растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве». В Москве, по воспоминаниям А. И. Кошелева, аресты навели «всюду и на всех такой ужас, что почти всякий ожидал быть схваченным и отправленным в Петербург». «Этих дней или, вернее сказать, этих месяцев,— добавляет мемуарист,— кто их пережил, тот, конечно, никогда их не забудет».

В столицах и в провинции спешно жгли бумаги. Горели письма и дневники, политические сочинения и вольнолюбивые стихи. В предвидении ареста сжег в камине компрометирующие документы генерал-майор, князь С. Г. Волконский. Юная жена, Мария Николаевна, помогала ему. Председатель московского «Общества любителей» князь В. Ф. Одоевский предал огню устав общества и протоколы тайных заседаний, запасся медвежьей шубой, ждал ареста.

...С начала века вел дневник А. И. Тургенев. Видный администратор александровского времени, он отлично знал политические

настроения и светскую жизнь Петербурга, участвовал в собраниях знаменитого литературно-общественного кружка «Арзамас», где его прозвали «Эолова арфа». Дневники Александра Тургенева (его братья Николай и Сергей были причастны к движению декабристов) за 1815—1824 годы, которые о многом могли бы поведать, неизвестны. Скорее всего, они тоже были уничтожены в это время.

Петербургский студент А. В. Никитенко, недавний крепостной, обязанный освобождением К. Ф. Рылееву и Е. П. Оболенскому, уничтожил все свои бумаги 1825 года. В души вошел страх, осторожность стала добродетелью. Николай I, чью беспощадность придворное окружение почитало за твердость, провозгласил: «Я буду непреклонен, я обязан дать этот урок России и Европе».

В конце мая 1826 г. следствие по делу декабристов завершилось. Итоговый доклад Следственной комиссии был написан недавним арзамасцем («Кассандра») и либералом Д. Н. Блудовым, чья долгая и блистательная сановная карьера как раз и началась составлением «журнальной статьи о ходе и замыслах тайных обществ в России». Доклад под названием «Донесение Следственной комиссии» напечатали на русском и французском языках. Правительство было озабочено реакцией общественного мнения России и Западной Европы.

«Донесение», которое долгое время оставалось единственным доступным источником сведений о движении декабристов, клеветало на тайные общества, названные «скопием кровожадных царевубийц», уличало их в «злодейских, страшных умыслах». Политические планы заговорщиков, говорилось в нем, «безрассудны», «обнаруживают едва вероятное и смешное невежество». С особым тщанием составитель «Донесения» проследил воздействие на декабристов передовой западноевропейской мысли и обвинил их в подражательности. Движение понималось как «зараза, извне привнесенная», а причастность к нему объяснялась влиянием моды («ибо есть мода и на мнения»), «суетным любопытством», даже «видами личной корысти». «Донесение» призвано было убедить общественное мнение в случайности появления тайных обществ в России, в оторванности декабристов от российской действительности.

«Донесение» служило обвинительным заключением по делу декабристов. Однако при его составлении в расчет были приняты прежде всего соображения не процессуальные, а идеологические и политические. «Это литературное произведение, где факты были искажены, имело одну лишь цель — выставить нас глупцами и злодеями», — утверждал декабрист А. М. Муравьев. В строго мотивированном «Разборе донесения Следственной комиссии» М. С. Лунин показал, что основная причина тенденциозности «Донесения» заключается «в политических соображениях, понудивших комиссию исключить или изменить некоторые обстоятельства и обратиться к страстям толпы, чтобы поколебать в общем мнении людей, коих влияние и за тюремными затворами казалось опасным».

Николай I и его сановники публично никогда не признавали закономерности освободительных идей в России. И «происшествия 14 декабря» и «заговор Петрашевского» были, согласно официаль-

ной версии, навеваны извне, порождены мятежным и гибельным духом Запада. Усиленно убеждая в этом русское общество, власти в действительности судили иначе. В докладе Следственной комиссии имелось секретное приложение, где без оглядки на «общее мнение» был высказан принципиально иной и, несомненно, более точный взгляд на внутренние побудительные причины движения декабристов: «Злоумышленники думали также, что найдут себе пособие и в общем расположении умов. Слыша ропот, жалобы на злоупотребления, беспорядки во многих частях управления, на лихоимство, почти всегда не наказанное и даже не замечаемое начальством, на медленность и неправильность в течении дел, на несправедливости и в приговорах судебных, и в награждениях по службе, и в назначении к должностям, на изнеможение главных отраслей народной промышленности, на чувствительное обеднение и самых богатейших классов, которые в досаде каждый приписывает более или менее мерам правительства, они воображали, что все, быть может, с излишнею нескрумною живостию изъяслявшие неудовольствие, пристанут к ним и уже в душе их сообщники». Абзац о «злоумышленниках» Блудов заключил лукавой фразой, назначенной успокоить монарха: «Они забывали, что в глазах человека с умом здравым и с правилами чести никакое неудовольствие, хотя бы и основательное, не извиняет беззакония, что он скорее откажется и от собственного блага и от мысли быть полезным, нежели от исполнения долга, от соблюдения клятв, им данных».

Заседания Верховного уголовного суда, на которых выносились приговоры декабристам, начались в конце июня 1826 г. Судьи руководствовались не обычными нормами российского судопроизводства, а особым обрядом, разработанным искусным правоведам М. М. Сперанским. Расправа над декабристами была предпринята, но Николаю I было важно сохранить фикцию суда, он должен был принять во внимание «общее расположение умов».

Верховный уголовный суд послушно исполнил волю императора. Ранним утром 13 июля 1826 г. на кронверке Петропавловской крепости были казнены Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Петербургский военный генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов доносил в тот день Николаю I: «Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного». По словам Голенищева-Кутузова, Пестель и его единомышленники «получили заслуженную смерть». («Они искупили преступление, наиболее ненавистное для толпы: быть проводниками новых идей», — писал Александр Муравьев.)

В день казни, 13 июля 1826 г., был издан манифест Николая I, который возвещал о суде над государственными преступниками: «Дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено; преступники восприняли достойную их казнь; Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». Важнейший идеологический документ николаевской эпохи, манифест 13 июля

содержал утверждение: «Не в свойствах, не в нравах российских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и будет неприступно. Не посрамится имя русское изменою престола и Отечеству». События «мгновенного мятежа» соединили все сословия в преданности государю, «тайна зла долголетнего» раскрылась, «туча мятежа» была рассеяна. «Но усилия злонамеренных, хотя и в тесных пределах заключенные, тем не менее были деятельны. Язва была глубока и по самой сокровенности ее опасна... Единодушным соединением всех верных сынов Отечества в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах неукротимое. Горестные происшествия, смутившие покой России, миновали и, как мы при помощи божией уповаем, миновались навсегда и невозвратно».

Манифест обращал внимание родителей на «нравственное воспитание» детей: «Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил,— недостатку твердых познаний должно приписать сие своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — гибель. Тщетны будут все усилия, все жертвования правительства, если домашнее воспитание не будет приуготовлять нравы и содействовать его видам». Дворянству — «ограде престола и чести народной» — предлагалось стать «примером всем другим состояниям» и предпринять «подвиг к усовершенствованию отечественного, не чужеземного воспитания». Николай I верил в незыблемость вековых устоев России: «В государстве, где любовь к монархам и преданность престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом появлении отверженные общим негодованием они сокрушатся силою закона. В сем положении государственного состава каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и спокойный в настоящем может прозирать с надеждою в будущее. Не от дерзностных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершенствуются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления».

Манифест 13 июля, подготовленный М. М. Сперанским, и «Донесение Следственной комиссии», написанное Д. Н. Блудовым, заложили основы правительственной идеологии николаевского времени. В них впервые были официально высказаны догматы, которые спустя несколько лет развил С. С. Уваров. Противопоставление России и Европы, русских и европейских политических, общественных и культурных идеалов отныне возводилось в ранг важнейшей составной части правительственной политики.

За казнь в Петербурге последовали торжества коронации Николая I в Москве.

Русские были потрясены. Смертная казнь была отменена семьдесят лет назад, при императрице Елизавете Петровне. (В царствование Екатерины II были сделаны исключения для Мировича, Пугачева, зачинщиков московского чумного бунта 1771 г.) «Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских Ведомостях» страшную новость», — вспоминал Герцен. Поэт П. А. Вяземский 17 июля 1826 года писал жене: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойной на лобном месте, на сцене казни! Сколько жертв и какая железная рука пала на них». Страшная расправа будила сострадание, вызывала на тягостные размышления, на поступок... Кавалергардский полковник граф А. Н. Зубов отказался идти во главе эскадрона, назначенного присутствовать при казни: «Это мои товарищи, и я не пойду». (В день казни генерал И. И. Дибич извещал Николая I: «Войско держало себя с достоинством...».) Молодой поэт Н. М. Языков восклицал:

Не вы ль, убранство наших дней,
Свободы искры огневые —
Рылеев умер, как злодей! —
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Поэтический отклик сверстника Языкова, близкого к любопудрам Ф. И. Тютчева был иным. В трагедии 14 декабря он видел роковое предопределение русской истории, в которой насилие порождает насилие, а жертвенный порыв к свободе обречен на поражение:

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил...
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

В одном поэт был прав: с воцарением Николая I в жизнь русского общества вошла долгая «железная зима», которую лишь в последний год Крымской войны, когда умер «незабвенный» император, сменило общественное оживление, названное тем же Тютчевым «оттепелью».

Русскому обществу пришлось встречать николаевскую «зиму». «Былое и думы» Герцена рисуют печальную картину: «Тон общества менялся наглазно... Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив,

являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно. Одни женщины не участвовали в этом позорном отречении от близких». В донесении тайного агента о настроении умов в Петербурге сообщалось нечто подобное: «Казнь, слишком заслуженная, но давно в России небывалая, заставила, кроме истинных патриотов и массы народа, многих, особенно женщин, кричать: «Quelle horreur! Et avec quelle précipitation!» [Какой ужас! И с какою стремительностью! — *Фр.*] Общественным подвигом стал отъезд жен декабристов в Сибирь. Герцен имел основания сказать: «Почти все (женщины из общества. — *Н. Ц.*) хранили в душе живое чувство любви к страдальцам; но его не было у мужчин, страх выел его в их сердцах, никто не смел заикнуться о несчастных». Русские женщины не только явили высокую способность к состраданию и сочувствию осужденным. Иные из них выступили в роли хранительниц лучших духовных и этических традиций.

Хозяйка литературного салона, образованнейшая женщина своего времени, А. П. Елагина благоговейно чтит имя Г. С. Батенькова. Сослуживец ее мужа, А. А. Елагина, Батеньков стал близок всем поколениям семьи Елагиных — Киреевских. (На следствии по делу декабристов Батеньков сказал о событиях 14 декабря: «Первый в России опыт революции политической».)

Салон Елагиной посещали Пушкин и Вяземский, Веневитинов и Языков, Александр Тургенев и Владимир Одоевский, Чаадаев и Хомяков, Герцен и Грановский, Константин Аксаков и Юрий Самарин, Огарев и Кавелин. Авдотья Елагина переписывала и хранила сочинения Чаадаева, поощряла журнальные начинания Ивана Киреевского, сочувственно следила за успехами молодой московской профессуры. Грановский гордился ее дружбой. В тридцатые годы дом Елагиных, «республика у Красных ворот», был средоточием умственной жизни Москвы, здесь царили свободомыслие и терпимость, повсеместно забываемые в разгар николаевской «зимы».

В атмосфере нравственного падения ярче вырисовывались личности, воплощавшие в себе чувство достоинства и хранившие верность своим принципам. Вольнодумец, арзамасский «Асмодей», князь П. А. Вяземский открыто сочувствовал осужденным декабристам. Князь давно слыл либералом. В 1818 г. он служил в Варшаве, ему довелось переводить тронную речь Александра I, сказанную при открытии польского сейма. Варшавская речь содержала обещание распространить «правила свободных учреждений» на Россию. Молодые «либералисты» — и Вяземский, и будущие деятели 14 декабря — поняли ее как предвестие русской конституции. И обманулись. В последние годы царствования Александра I Вяземский разуверился в конституционных намерениях царя, вышел в отставку, очутился в опале. Дружеская близость со многими декабристами не привела «Асмодея» в тайное общество, в успех заговора он не верил. В августе 1825 г. князь писал Пушкину: «Оппозиция у нас — бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях».

В историю русской общественности Вяземский вошел как «декабрист без декабря». Вечером 14 декабря он посетил И. И. Пушкина,

арест которого был неминуем, и забрал портфель с бумагами, среди которых был текст конституции Никиты Муравьева. Тридцать два года хранил он портфель, прежде чем смог вернуть его владельцу. В дни, когда в печах и каминах горели бумаги, верность друзьям требовала гражданского мужества. Вяземский был безупречен. (Двадцать лет спустя, когда над славянофилами нависла угроза ареста, Ю. Самарин просил друзей передать портфель с опасными бумагами «на сохранение» Вяземскому.)

В марте 1826 г. в обществе стало известно письмо Вяземского к Жуковскому: «И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках. Все это дело во всех отношениях и последствиях сгадило мне Россию». Вяземский прозорливо предсказывал: «Ограниченное число *заговорщиков* ничего не *доказывает*, — *единомышленников* много, а в перспективе десяти или пятнадцати лет валит целое поколение к ним на секурс. Вот что должно постигнуть и затвердить правительство». Выход, предлагаемый Вяземским, соответствовал его либеральным убеждениям: «Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры».

Александр Тургенев записал в дневник: «В пять часов утра 13 июля выехал я из Петербурга — в самый день казни!» Неустанные хлопоты не имели успеха: брат Николай был отнесен к первому разряду подсудимых и приговорен к вечной каторге. Н. И. Тургенев, которого события 14 декабря застали за границей, отказался вернуться в Россию, остался в Англии, где получил политическое убежище. Для А. И. Тургенева началась скитальческая жизнь. В Западную Европу он едет к брату, ради брата возвращается в Россию хлопотать об отмене приговора. «Вечный путешественник» всегда помнил о расправе над декабристами, сочувствие к которым сплелось с презрением к их палачам. Встретив в доме Карамзиных Блудова, он отказался подать тому руку. Независимую позицию Александра Тургенева высоко ценил Вяземский, который в 1829 г. обращался к нему с вопросом, звучащим отнюдь не риторически: «Неужели можно честному русскому быть русским в России?» Знаменателен отзыв А. И. Тургенева о пушкинских «Стансах»: «В чем они видят Петра Великого? И зачем сравнивагь бывших друзей сибирских с стрельцами? Стрельцы были запоздалые в век Петра: эта ли черта отличает бунт П[етер]бургский?» Верность декабристам хранили избранные. Уделом других был путь, быстро пройденный А. В. Никитенко. 1 января 1826 г. (дата первой записи в дневнике) он проснулся в «скверном» расположении духа: «Ужасы прошедших дней давили меня, как черная туча. Будущее представлялось мне в самом мрачном, безнадежном виде». Никитенко жил на квартире декабриста Е. П. Оболенского, учил его младшего брата. Он желал съехать с квартиры... В августе 1826 г. Никитенко принимал поздравления: было напечатано его студенческое рассуждение «О преодолении несчастий». Первое произ-

ведение молодого литератора увидело свет в болгаринском «Сыне отечества». Бывший крепостной «преодоле» несчастье 14 декабря.

Его ученая карьера складывалась успешно. Никитенко быстро стал профессором Петербургского университета, был любимым лектором в Смольном институте, теоретиком изящной словесности. Долгие годы служил он цензором, начальство ценило его знания, работоспособность, умение вовремя смолчать. В среде литераторов и журналистов он слыл «просвещенным» и «либеральным». Никитенко тактично приспособлялся к обстоятельствам, к людям, к идеям. Ординарный ученый и второстепенный литературный критик, он был бы давно забыт, если бы не дневник. Ему он доверял затаенные мысли об общественных нравах на «Сандвичевых островах». На страницах дневника Никитенко словно сводил счеты с режимом, которому покорился и который обрек его на молчание. Дневник — свидетельство иллюзорности расчетов николаевских идеологов на единомыслие русского общества.

Современники мрачно судили об общественной жизни николаевского времени. Ю. Ф. Самарин, виднейший представитель «идеалистов сороковых годов», в 1861 г. утверждал: «Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, облетел лучший цвет целого поколения. Остались Орловы, Клейнмихели и Закревские. В развитии нашей общественности последовал насильственный перерыв».

После 14 декабря русское общество «обезлюдело», в нем произошли скорые и губительные перемены. О «застое» после перелома в 1825 г. Герцен писал: «Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергичное вычеркнуто из жизни». Изменилась гвардия, куда в годы наполеоновских войн стремились лучшие представители дворянской молодежи, где в декабристское время зрели идеи «военной революции». Прежде блестящие и образованные, гвардейские офицеры превращались, по словам Герцена, «в оступелых унтеров». Места сосланных или оставивших службу (среди них был и кавалергард А. Н. Зубов) «поспешно заполнялись усердными служаками или столпами казармы и манежа». Герцен — свидетель обвинения, он всей душой ненавидел николаевский режим, об основных началах которого писал: «Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки. Слепая и лишённая здравого смысла дисциплина в сочетании с бездушным формализмом... таковы пружины знаменитого механизма сильной власти в России. Какая скудость правительственной мысли, какая проза самодержавия, какая жалкая пошлость!..»

Спокойнее, беспристрастнее тон воспоминаний С. Т. Аксакова. Вот что писал он о некоторых из своих знакомых: «Мартынов был полковником, служакой, а Воропанов — капитаном, вовсе фронтовой службы не знающим, потому что всегда находился адъютантом у полкового командира. Я был коротким приятелем с обоими и, прощаясь с ними в Петербурге в 1816 году, я убедительно доказывал, что им не следует оставаться в гвардии; оба не получили почти никакого образования и не имели никакого состояния. Я советовал им выйти в армию

полковыми командирами, жениться на деревенских девушках с состоянием и зажить припеваючи, и что же? В 1826 году Мартынов служил гвардейским бригадным генералом, а Воропанов командовал гвардейским полком: оба были генерал-адъютанты. События 14 декабря выдвинули их вперед, потому что они имели случай показать свою преданность государю; впрочем, Мартынов, кроме титула известного фрунтового, имел много душевных достоинств и был давно известен императору... Он вспомнил, что я советовал ему и Воропанову перейти в армию и, встряхнув своими золотыми эполетами и аксельбантом, засмеявшись, сказал мне, что предсказания мои не сбылись и что незнание французского языка и *грамматики* не помешало ему занять такое высокое место и пользоваться милостью и доверенностью государя». Аксаков сдержан, ему чужды памфлетные герценовские характеристики, но в сущности писатель сжато рассказал трагическую историю упадка русского офицерского корпуса, особенно понятную его первым читателям времени «оттепели», в памяти которых была жива бесславная Крымская война.

Герцен по праву поставил вровень с казармой канцелярию. Николай I целеустремленно проводил курс на усиление бюрократического начала в управлении государством. Увеличивалось число чиновников, усложнялась структура департаментов, росло бумажное дело-производство. Ход дел определялся бюрократической рутинной, задача чиновника состояла в том, чтобы «бумаги, присылаемые из министерства, не лежали долго без ответа». Житель Казани И. И. Михайлов, вспоминая провинциальное чиновничество 1830-х годов, добавлял: «Эта манера практиковалась весьма многими деятелями, были бы бумаги скоро исполнены, а до людей и подвластных им — дела нет».

Чиновники, выходцы из «приказного звания», становились все более влиятельной силой. В империи множился социальный слой, суть представлений которого афористично выразил Никитенко: «В России не служить — значит не родиться; перестать служить — значит умереть».

В чиновной среде процветали взяточничество и казнокрадство, и борьба с ними была попросту невозможна. Михайлов со знанием дела писал: «Да и что могли сделать в то время мелкие частные лица, без связей, без значения, против целого корпуса взяточников, правда, пустых, ничтожных, необразованных людей, но сильных единством, одушевленных одним общим стремлением к грабежу, крепко сплотившихся для защиты друг друга». Казнокрады и взяточники были и в ближайшем окружении царя. Николай I терпел, он не надеялся искоренить казнокрадство и лишь пытался ограничить и регламентировать взятки. Подобные стремления отразила реплика гоголевского Городничего: «Не по чину берешь!»

В николаевском обществе чиновники преуспевали. В повседневном укладе жизни по уровню доходов и культурным претензиям они стремились сравняться с благородным сословием. Дворянский автор «Записок москвича» (1830) ворчливо писал: «Теперь даже приказной из палаты или суда катается по Москве на рысаках и иноходцах, в

модном плаще, поет романсы, аккомпанирует на фортепиано и читает наизусть стихи Пушкина».

Бюрократия служила твердой опорой престолу. В общественной жизни дельцы канцелярий были благонадежны, слова «общественный долг», «служение обществу» были им непонятны. Зависимость от усмотрения начальства, отсутствие чувства чести, поддерживаемого в дворянстве, превращали их в безропотных исполнителей. Белой вороной должен был казаться среди них «безземельный дворянин» старого закала С. Н. Глинка, в чьих воспоминаниях описано бурное столкновение с министром просвещения князем К. А. Ливеном, который грозил ему кулаками: «Взволнованный светлейшими кулаками министра, я по выходе от него на улицу кричал, что от самоуправства министров будут вспыхивать каждый день *четыренадцатые* декабря. Чем кто ближе к престолу, тем виновнее, если в человеке забывают человека».

Опиравшийся на «казарму и канцелярию», Николай I с недоверием относился к науке и просвещению. Университеты и учащаяся молодежь были ему подозрительны. В мае 1826 г. в Московский университет был послан флигель-адъютант С. Г. Строганов, он обнаружил там много «беспорядков». В университетском благородном пансионе были найдены запрещенные книги. Казеннокоштные студенты нарушали дисциплину. В присутствии Строганова профессор И. И. Давыдов читал вступительную лекцию «О возможности философии как науки». Курс философии был разрешен к преподаванию недавно, но молодой полковник граф Строганов нашел лекцию вредной. Чтение философии было запрещено, печатные экземпляры лекции Давыдова были изъяты из продажи. Лояльный Давыдов, который просто не успел примениться к новым веяниям, уразуметь пределы дозволенного, неожиданно приобрел репутацию опального либерала. Десять лет спустя Строганов в должности попечителя московского учебного округа играл роль просвещенного вельможи, покровительствовал «молодым» профессорам. Давыдов тогда занимал кафедру русской словесности, принадлежал к «черной уваровской партии» и пользовался заслуженным презрением студентов. В николаевской России легко было прослыть либералом! Но подлинными либералами осмеливались быть немногие.

Накануне коронации, в конце июля 1826 г., университет посетил сам Николай I. Н. И. Пирогов, тогда студент медицинского отделения, вспоминал: «Государь, приехав на дрожках в университет и узнавший только сторожем, отставным гвардейским солдатом, пошел прямо в студенческие комнаты, велел при себе переворачивать тюфяки на студенческих кроватях и под одним тюфяком нашел тетрадь стихов Полежаева. Полежаев угодил в солдаты». После визита царя были уволены ректор А. А. Прокопович-Антонский и некоторые инспектора. Полежаевскую поэму «Сашка» Николай I счел следствием университетского воспитания и усмотрел в ней воздействие декабристских настроений. «Это все еще следы, последние остатки: я их искореню», — заявил он, приказав отдать поэта в солдаты.

И Полежаев воспринял эту личную трагедию как продолжение расправы с декабристами:

Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.

В стихах рано погибшего поэта отразились, быть может, наиболее глубокие и горькие для последекабристского времени мысли о рабской покорности крепостной России:

В России чтут
Царя и кнут...
Он им живет,
И ест, и пьет.
А русаки,
Как дураки,
Разиня рот,
Во весь народ,
Кричат: «Ура!
Нас бить пора!
Мы любим кнут!»

Изгоняя вольнодумство, царь распорядился перестроить быт студентов по образцу военных учебных заведений, усилить контроль за их образом мыслей и поведением. Тогдашний студент М. Назимов вспоминал: «Вновь вступающие студенты давали подписки о непринадлежности к тайным обществам, о хождении в форменной одежде и ручательство за благонадежность поведения. Появился постоянный карцер для заключения виновных в проступках внутри и вне университета. Очень неприятно и тяжело было и один день просидеть в этой почти темной комнате на хлебе и воде. Казенные воспитанники вместо жалованья все нужное стали получать в натуре. Живущие в университете студенты не могли отлучиться без особого билета от инспектора. Театры и другие вечерние увеселения признаны для студентов вредными и отвлекающими их от учебных занятий».

Крамольные настроения среди студентов беспощадно карались, но истребить их до конца не удавалось. В 1827 г. в университете был раскрыт кружок братьев Критских; его членов признали «заговорщиками», которые желали «сделать революцию», и жестоко наказали. Три брата Критских и немногие их единомышленники действительно мечтали о продолжении дела декабристов, говорили о конституции, читали вольнолюбивые стихи Пушкина и Рылеева. Вместе с тем молодые люди были далеки от создания тайной политической организации. В 1829 г. в университет поступил Герцен. Юношу преследовала «неотлучная мысль»: «Здесь совершатся наши мечты... здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылее-

вым, и что мы будем в ней». Надежды не были беспочвенны. Идеалы декабристов продолжали жить. В начале 1830-х годов в университете возникли кружки Я. И. Костенецкого, Н. С. Селивановского, А. И. Герцена — Н. П. Огарева, Н. В. Станкевича, «литературное общество 11 нумера», в которое входил В. Г. Белинский. Репрессии властей не достигали цели. Сбылось предсказание князя Вяземского о поколении, «валящем на секур».

* * *

В распоряжении Николая I находился эффективный инструмент надзора за обществом, борьбы с инакомыслием и оппозицией. 3 июля 1826 г. было создано III Отделение собственной его императорского величества канцелярии. При создании нового органа политической полиции император использовал проект генерала А. Х. Бенкендорфа о централизации политического сыска, поданный на имя царя сразу после 14 декабря. Бенкендорф был рожден для тайной полиции. Став главнoуправляющим III Отделения и шефом корпуса жандармов, он сосредоточил в своих руках огромную власть. Император считал его личным другом.

Задачи III Отделения были многообразны: оно осуществляло сыск и следствие по политическим делам, наблюдало за литературой, театром, ведало расколом и сектантством, следило за иностранцами, приехавшими в Россию, занималось крупнейшими должностными и уголовными преступлениями, изучало положение крестьян и причины крестьянских волнений. Аппарат III Отделения был немногочислен, но опытен и исполнен служебного рвения. Для получения необходимых сведений использовались услуги добровольных осведомителей, безымянные доносы, «откровенные показания» подозреваемых, перлюстрация писем, «толки и слухи». Излюбленным средством борьбы с недовольными была провокация. III Отделение казалось всесильным, голубые мундиры жандармов внушали страх. Ежегодно Бенкендорф представлял царю «Отчеты о действиях», важнейшую часть которых составляли «нравственно-политические» обзоры общего положения в стране, настроений различных слоев населения и состояния общественного мнения.

Изучению общественного мнения III Отделение придавало исключительное значение. В отчете за 1826 год ближайший помощник Бенкендорфа М. Я. фон Фок сочувственно цитировал слова Талейрана: «Я знаю кого-то, кто умнее Наполеона, Вольтера с компанией, умнее всех министров настоящих и будущих; этот кто-то — общественное мнение». Чиновники III Отделения внимательно следили за журнальной периодикой, вникали в тонкости литературной полемики. Бенкендорф лично входил в сношения с литераторами и издателями, поощрял, наставлял, делал взыскания. К примеру, в 1832 г. он жандармски-вежливо поучал Н. А. Полевого, в журнале которого «Московский телеграф» были найдены высказывания о необходимости революций: «Желал бы иметь ваше объяснение, с какою целию, с каким намерением вы позволяете себе печатать столь вредные мнения для

общего блага! Для совершенного опровержения вашей системы не нужно входить в общие рассуждения; я ограничу себя только тем замечанием, что подобный образ мыслей весьма вреден в России, особливо если он встречается в человеке умном, образованном, который имеет дар писать остро и замысловато; в сочинителе, коего публика читает охотно и коего мнения могут посеять такие семена, могут дать такое направление умам молодых людей, которое вовлечет государство в бездну несчастий... Вникните, милостивый государь, какие мысли вы внушаете людям неопытным! Я не могу не скорбеть душою...»

В первые годы николаевского царствования «голубые» отчеты были тревожны. Бенкендорф обращал внимание царя не столько на конкретные факты, сколько на «общее расположение умов», на недовольство настоящим порядком вещей, на «зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух». Главное назначение политической полиции он видел не в пресечении «развратных действий», но во всеобъемлющем контроле за «образом мыслей». Обзор общественно-го мнения за 1827 год обращал особое внимание на дворянскую молодежь, «дворянчиков», названных «развращенным слоем общества», «самой гангренозной частью империи». Выявляя их подлинные стремления, прикрытые «маской русского патриотизма», автор обзора писал: «Экзальтированная молодежь мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов... и о свободе... которую полагают в отсутствии подчинения». Тревогу вызывало стремление юношей — среди них, как отмечено III Отделением, «мы снова находим идеи Рылеева», — объединиться «в кружки под флагом нравственной философии и теософии. Мы видим уже зарождение нескольких тайных обществ в этом роде». Главное «ядро якобинства» находилось, по мнению автора, в Москве.

Знаменательно внимание политического сыска к московским кружкам, где изучали философию, где вместо характерного для декабристской молодежи интереса к политическим вопросам на первый план выступил интерес к сочинениям Канта, Шеллинга, Гегеля. Вероятно, первым кружком такого рода было «Общество любомудрия», возникшее в 1824 г. На тайных заседаниях общества, как вспоминал Кошелев, «мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров». После 14 декабря «Общество любомудрия», где обсуждались и политические вопросы, прекратило свои собрания, но его члены (В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, А. С. Норов, Н. М. Рожалин, П. Д. Черкасский) сохранили дружескую и идейную близость. Тайное общество заменил литературный кружок Веневитинова, куда вошли и новые лица — Ф. И. Тютчев, С. П. Шевырев, В. П. Титов, М. П. Погодин, П. В. Киреевский, Н. В. Путята, С. А. Соболевский, И. С. Мальцев. Внутри веневитиновского кружка сохранялась (как и в салоне А. П. Елагиной) редчайшая для николаевского времени атмосфера политической и гражданской честности, неприятия произвола. Для Веневитинова и его товарищей характерно романтическое отношение

к декабристам как к «мученикам». В пределах кружка были живы настроения политического либерализма декабристского времени; фон Фок в 1827 г. называл его участников, которые объединились тогда вокруг журнала «Московский вестник», «истинно бешеными либералами», чей образ мыслей, речи и суждения «отзываются явным карбонаризмом».

Кружок беспокоил III Отделение. Было бы, однако, опрометчиво буквально воспринимать словесные выпады фон Фока. Революционный образ действий был неприемлем для «любомудров». Выше приводился поэтический отзыв Тютчева на выступление декабристов. В воспоминаниях о своем ближайшем единомышленнике Шевыреве Погодин писал: «События 14 декабря поразили нас сильно; но литература и наука, которым мы были преданы, всецело отвлекли нас, еще очень молодых людей, в свою мирную обитель». Дневниковые записи Погодина 1827 г. дают возможность судить о том, что молодой ученый поддерживал разговоры об «ужасном состоянии государства, о всеобщей бедности», иногда мечтал о «государственных переворотах», о времени, когда «состояния сравниваются», но его, бывшего крепостного, вместе с тем беспокоила «гроза крестьян, неутешительная перспектива». Шевырев же сожалел, что «у русского мужика все минутно, все под секирою насилия». За границы либеральной оппозиции не вышел ни один из любомудров: «мирная обитель» держала крепко.

После смерти Д. В. Веневитинова (март 1827 г.) кружок не распался. В 1827—1832 гг. его участники (в литературе и за ними закрепилось название «любомудры») предприняли несколько попыток создать собственный печатный орган. Но их журнальные начинания встречали неодолимые цензурные преграды, стремление сохранить верность идеям европейского либерализма входило в противоречие с политической и общественной атмосферой в стране. Знаменитая статья И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» — программная для журнала «Европеец» (1832) — была удостоена внимания Николая I. Тонкий критик, И. Киреевский изящно отстаивал традиционные либеральные ценности, высказывал конституционные идеи, воспевал либеральное общественное мнение: «То *искусственное* равновесие противоборствующих начал, которое недавно еще почиталось в Европе единственным условием твердого общественного устройства, начинает заменяться равновесием *естественным*, основанным на просвещении общего мнения». Отзыв Николая I о статье был не курьезом (мнение, утвердившееся в истории журналистики), а ее точной политической оценкой: «...Сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное... под словом *просвещение* он понимает *свободу*... деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция». «Европеец» был запрещен на втором номере, блестяще начатая литературно-критическая деятельность И. Киреевского насильственно прервана.

Неудача «Европейца», который уже названием своим должен был утверждать мысль об общности путей русской и западноевропейской культуры, общественной мысли, окончательно расстроила литератур-

ные планы «любомудров», и их кружок после этого запрещения перестал существовать. Однако философские искания «Общества любомудрия» в 1830-е годы были продолжены. Огромное значение в истории русской общественности имел кружок Н. В. Станкевича, который возник в Московском университете к началу 1832 г. Кружок объединил талантливейших представителей московской молодежи, из него вышли славянофилы и западники, революционер М. А. Бакунин и реакционер М. Н. Катков, из него вышел В. Г. Белинский. Углубление в системы Шеллинга и Гегеля не было для первого последекабристского поколения самоцелью. Характер обращения к современной германской философии в 1830 г. объяснил И. Киреевский: «Чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша* философия должна развиваться из *нашей* жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов *нашего* народного и частного быта». В философии искали ключ к познанию российской действительности. Для людей 1830-х годов познание мира было первой ступенью его преобразования. В 1835 г. Пушкин писал: «Философия немецкая, которая нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: она спасла нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалила ее от упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествовавшего поколения!»

Философские размышления 1830-х годов были и естественной формой отхода от политической проблематики декабристского времени, и закономерной ступенью на пути к проблематике социальной, определившей воззрения «идеалистов сороковых годов». Ю. Самарин утверждал, что он и его соратники жили, «повернувшись спиной к вопросам политическим», и видел в этом «одну из отличительных особенностей московского учено-литературного общества 40-х годов, которую не могли объяснить себе люди предшествовавшей эпохи». Самаринские слова — примечательно его обращение к памяти поколения декабристов — звучат парадоксом, особенно в устах человека, рано проявившего вкус к вопросам политической мысли, но в них вложен вполне точный смысл. Политическим интересам передового русского общества 1820-х годов (конституция, республика, военная революция) Самарин противопоставлял социальные проблемы 1840-х годов (крестьянская реформа, взаимоотношения сословий, личность и общество). III Отделение выказало привычную проницательность, рано обратив внимание на философский искус молодого поколения.

Серьезным испытанием для николаевского режима стали события 1830—1831 гг. Июльская революция во Франции, революция в Бельгии, волнения в германских и итальянских землях, польское национально-освободительное движение, холерные бунты в России всколыхнули общественность. Это было время вновь вспыхнувшего недолгого интереса к политике, зыбких мечтаний о перемене правительственного курса.

«Известие о революции в Париже взволновало всех и направило все мысли на политику, — сообщал отчет III Отделения за 1830 год. — Либералы и конституционисты с восторгом увидели перед собой обширное поле для распространения своих пагубных доктрин. Молодежь, оказывающая некоторое влияние на гвардейских офицеров и на безрассудных людей средних классов, громко торжествовала, пила за здоровье Луи-Филиппа, которого они чествуют под именем Леонтия Васильевича, дабы непосвященные не могли их понять; она также напыщенно рассуждала по поводу событий, выражая пожелание, чтобы революция обошла весь мир... Делали некоторое сопоставление парижской революции с 14 декабря у нас». (Леонтием Васильевичем звали Дубельта, который в 1830 г. вступил в корпус жандармов и быстро достиг высших постов.) «Либералами и конституционистами» отчет традиционно называл дворянскую молодежь Москвы, воспитанников университетского благородного пансиона; отмечалось их стремление «овладеть общественным мнением, вступить в связь с военной молодежью». Среди «недовольных» были выделены партия, ориентировавшаяся на опыт Западной Европы, и «русская партия», мечтавшая о реформах в «русском духе». (Спустя десять лет эти партии будут названы «западниками» и «славянофилами».)

Отчет Бенкендорфа за 1831 год обращал особое внимание на воздействие польских событий: «Дух мятежа, распространившийся в Царстве Польском и в присоединенных от Польши губерниях, имел вообще вредное влияние и на расположение умов внутри государства. Вредные толки либерального класса людей, особливо молодежи, неоднократно обращали внимание высшего наблюдения. В Москве обнаружались даже и преступные замыслы... Нет сомнения, что при дальнейших неудачах в укрощении мятежа в Царстве Польском дух своевольства пустил бы в отечестве нашем сильные отрасли».

Тревоги III Отделения не были мнимыми. Именно духом «своевольства» пронизаны стихи воспитанника Московского благородного пансиона Лермонтова, посвященные отречению французского короля Карла X:

...Ты полагал
Народ унижить под ярмом.
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец.

«30 июля. — (Париж)
1830 года»

Тираноборческая тема была развита поэтом и применительно к России:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!

«Новгород»

Как некое подобие европейских потрясений воспринимались в России холерные бунты. Примечательна дневниковая запись Вяземского, сделанная в октябре 1830 г.: «Любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей оказывается здесь решительно. Даже и наказания божия почитает она наказаниями власти... Изю всего, изю всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту годину революциею».

Растерянностью, неверием в будущее пронизан «конец летописи за 1830 год», которую вел Никитенко: «Нам пришлось удостовериться в горькой истине, что на земле русской нет и тени законности... В образованной части общества все сильнее возникает дух противодействия, который тем хуже, чем он сокрновеннее: это червь, подтачивающий дерево. Якобинец порадуется этому, но человек мудрый пожалеет о политических ошибках, конец коих предвидеть не трудно... Да сохранит господь Россию!»

В борьбе с «духом своевольства» николаевское правительство действовало решительно, оно оказалось умнее, а его позиции прочнее, чем полагал Никитенко. В 1831 г. в Москве было раскрыто «дело Сунгурова», приведшее к разгрому студенческого кружка Я. И. Костенецкого. Суровые приговоры, вынесенные его участникам, которые обвинялись, в частности, в связях с польскими революционерами, возбудили общественное мнение. Осужденные, высылаемые по этапу, получили моральную поддержку и материальную помощь от членов кружков Станкевича и Герцена—Огарева. Среди тех, кто руководил сбором денег, были И. Киреевский и Огарев. Когда студент Полоник, выдавший Костенецкого и его товарищей, появился в университете, «студенты встретили его, как доносчика, с негодованием и прогнали из аудитории». Правительственным ответом на студенческие настроения стали ревизия Московского университета в 1832 г., ужесточение внутреннего университетского распорядка, установление негласного полицейского надзора за группой студентов (Н. В. Станкевич, Н. П. Огарев, Я. М. Неверов, И. А. Оболенский, Н. М. Сатин, Н. Х. Кетчер, Я. И. Почека). Об обстановке в Московском университете Герцен вспоминал: «Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз; но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования».

Главные усилия правительства в 1830—1831 гг. были сосредоточены на борьбе с польским восстанием. Военные действия И. И. Дибича и И. Ф. Паскевича сочетались с целенаправленным влиянием на русское общественное мнение. Представления об угрозе военной интервенции западных держав, о необходимости сохранить целостность империи распространялись сознательно, предпринимались попытки

опорочить повстанцев, волна национализма и казенного патриотизма захлестнула русское общество, устояли немногие. Как и в 1826 г., высочайшие манифесты 1830—1831 гг. писал Блудов, который, по замечанию князя Вяземского, «вдруг получил литературную известность прологами своими к действиям палачей».

Взятие Варшавы в августе 1831 г. царь и его окружение восприняли как победу историческую. Она безудержно восхвалялась в русской печати.

Литературно-общественным событием стало появление брошюры «На взятие Варшавы», где было помещено одно стихотворение Жуковского и два пушкинских — «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Воспевая «железный русский фронт», Жуковский восклицал:

С богом! Час ударил рока,
Час ожидавший давно.
Сбор гремит — а издалека
Русь кричит: Бородино!

Спор решен! дана управа!
Пала бунта голова!
И святая наша слава,
Слава русская жива!

Соберитесь под знамена,
Братья, долг свой сотворя!
Возгласите славу трона
И поздравьте с ней царя.

«Шинельными» назвал эти стихи Жуковского Вяземский. Его записная книжка полна горьких истин: «Я уверен, что в стихах Ж [уковского] нет царедворского побуждения, тут просто русское невежество... Мы удивительные самохвалы и грустно то, что в нашем самохвальстве есть какой-то холопский отсед... Будь у нас гласность печати, никогда Ж [уковский] не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича». (В 1830 г. Вяземский по приказанию царя был вновь принят на службу, в августе 1831 г. сделан камергером, но строптивый князь не был укрощен.) Запись от 22 сентября 1831 г. напоминает чаадаевские сентенции: «Пушкин в стихах своих: *Клеветникам России* кажется им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне *возрождающейся Европы*, а между тем тяготеем на ней... Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от *мысли до мысли* пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура». Участник Бородинского сражения, князь был возмущен: «Охота вам быть на коленях пред

кулаком. И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою?* Россия вопиет против этого беззакония». Вяземский был согласен с утверждением противников николаевской России, полагавших, что она «больной расслабленный колосс», и в разгар восхвалений русской военной мощи как бы предвидел исход Крымской войны — «нам с Европою воевать было бы смерть». (Четверть века спустя мало что осталось от либерализма Вяземского и его политической прозорливости. В 1855 г. он издал на французском языке книгу, где излагал казенно-патриотический взгляд на восточный вопрос. Книга была озаглавлена «Письма русского ветерана 1812 года». Протест 1831 г. был забыт.)

Поражение польского освободительного движения покончило с надеждами передового русского общества, либеральные ожидания не сбылись, консервативные принципы восторжествовали. Российский обыватель мог быть доволен. Наступило время, которое еще в 1827 г. предсказывал Никитенко: «Народ хочет благоденствия и, может быть, на некоторое время будет иметь его. Понятия большинства у нас не идут дальше нужд своего личного или домашнего спокойствия — следовательно, все пойдет хорошо, пока дух времени не воспрянет с новой силой». Оппозиция правительству в русском обществе начала 1830-х годов была явлением исключительным. Многие либералы приутихли, замолчали, их стал раздражать политический радикализм Герцена и Огарева. «Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги», — вспоминал Герцен.

Николаевский деспотизм не признавал возвышенных идеалов служения обществу, противопоставляя им верность государю и усердие по службе. Сомнение не поощрялось. Неизбежным следствием протеста личности против гнетущей общественной атмосферы и даже самого его формою стали индивидуализм (нередко с романтической окраской) и крайний эгоизм, что приводило к трагедиям, калечило судьбы людей...

Человеческой личности, чтобы выстоять, необходимо было использовать малейшую возможность, нужно было уметь обращаться в духовное и нравственное пристанище мало-мальски отвечающие тому житейские условия. «Святыми пятницами» наречены были скромные вечера у Никитенко, где немногие студенты и выпускники Петербургского университета («юное поколение, все ломающее, но не лихо, правда», — вспоминал позднее Ф. В. Чижов) обсуждали политические и литературные новости. В бесцветной жизни столицы никитенковские вечера производили впечатление. Тогдашний студент-филолог В. С. Печерин много лет спустя писал Никитенко: «Не будь вы, я, может быть, погруз бы в пошлости петербургской жизни. Вы протянули мне руку, вы призвали меня на ваши вечера, вы сохранили священный огонь в душе моей». В марте 1833 г. Печерин был послан в Берлин для подготовки к профессорскому званию. Его мечта сбылась: «Зрелище неправосудия и ужасной бессовестности во всех отраслях русского быта — вот первая проповедь, которая сильно на меня подействовала! Тоска по загранице охватила мою душу

с самого детства». (В сходных обстоятельствах его учитель Никитенко поступил иначе. В 1827 г. на лестное предложение поехать за границу, чтобы по возвращении занять кафедру, он ответил отказом: «Не могу помириться ни с чем, что хоть сколько-нибудь отзывает *закрепощением* себя... Соблазн усовершенствоваться в Германии, конечно, велик, но я предпочитаю свободно располагать своей будущностью в России». В тот год Никитенко был безнадежно влюблен в А. П. Керн.)

Глубоким скепсисом и тревожной мыслью о человеке в «безлюдном» обществе проникнута дневниковая запись Никитенко от апреля 1834 года, она содержит продуманную характеристику глухой николаевской поры: «В странном положении находимся мы. Среди людей, которые имеют претензию действовать на дух общественный, нет никакой нравственности. Всякое доверие к высшему порядку вещей, к высшим началам деятельности исчезло. Нет ни обществулюбия, ни человеколюбия; мелочной отвратительный эгоизм проповедуется теми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образование или двигать пружинами общественного порядка. Нравственное бесчиние, цинизм обуял души до того, что о благородном, о великом говорят с насмешкою даже в книгах. Сословие людей сильных умом, литераторов, наиболее погрязло в этом цинизме... Может быть, и всегда так было, но от иных причин. Причина нынешнего нравственного падения у нас, по моему наблюдению, в политическом ходе вещей. Настоящее поколение людей мыслящих не было таково, когда, исполненное свежей юношеской силы, оно впервые вступало на поприще умственной деятельности...

Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не шутят; что от нас требуют безмолвия и бездействия; что талант и ум осуждены в нас цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для них в тюрьму; что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка,— когда, одним словом, нам объявили, что люди образованные считаются в нашем обществе париями; что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основании которого позволено действовать,— тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело».

Размышления Никитенко о нравственной трагедии юного поколения поразительно точно воплотились в судьбе его ученика В. С. Печерина. Первое знакомство с западноевропейской жизнью утвердило Печерина в ненависти к российской действительности, более того, в ненависти к России. В 1837 г. он вспоминал: «Я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему, меня окружавшему... Ненависть — это был мой насущный хлеб, это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался». По словам Печерина, он свел свой катехизис к «простому выражению: цель оправдывает средства». Предельный эгоцентризм откровенно звучит в его письме к Строганову: «Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни». Нравственная слом-

ленность Печерина коренилась не только в свойствах его личности, но, в первую очередь, она была вызвана общественной атмосферой николаевского времени.

Нравственно-политические обзоры III Отделения середины 1830-х годов были выдержаны в спокойных тонах. Казалось, что желанный контроль над «образом мыслей» установлен. В журналистике тон задавали Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, в литературе — Н. В. Кукольник. Николай I поощрял искусства. Он лично следил за постановкою балета «Бунт в серале», где петербургских зрителей покоряли сцены купания одалисок и военные перестроения кордебалета, расписанные самим императором. «Пустые развлечения — единственные, дозволенные в России», — со знанием дела судил француз-путешественник Кюстин. Царь покровительствовал В. А. Каратыгину, «лейб-гвардейскому трагику», по замечанию Герцена. Вслед за императором и театральная публика была убеждена, что Каратыгин «актер с талантом всеобъемлющим, Гете сценического искусства». (Иронию, заключенную в этих словах Белинского, понимал редкий читатель.) Это было время, когда, как писал И. Киреевский, «один Булгарин с братиею пользовались постоянным покровительством правительства... Для него Россия была превращена в одну огромную и молчаливую аудиторию, которую он поучал в продолжение 30 лет почти без совместников, поучал вере в бога, преданности царю, доброй нравственности и патриотизму».

Русский подданный, изменивший России, поляк, предавший Польшу, дважды изменник и неутомимый осведомитель III Отделения, Булгарин был законченно подлым выражением, символом правительственных действий, направленных на изгнание из общественной памяти «новых идей», во имя которых погибли декабристы. Но подлинным столпом официальной политики в области идеологии и культуры стал С. С. Уваров.

Уваров был умен, европейски образован. Он серьезно занимался изучением классических древностей, написал ряд работ по древнегреческой литературе и археологии; в молодости не чуждый интереса к литературе, общался с Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, Н. И. Гнедичем, братьями А. И. и Н. И. Тургеневыми, входил в «Арзамас» (прозвище «Старушка»). Уваров преуспевал и на служебном поприще. Около десяти лет был попечителем Петербургского учебного округа, в 1818 г. стал президентом Академии наук.

В александровское время Уваров слыл либералом. В 1813—1815 гг. он издал на французском языке несколько историко-публицистических брошюр, обращенных к европейскому общественному мнению, где идейно обосновал необходимость борьбы с Бонапартом. В столкновении России и Франции, Александра I и Наполеона автор видел проявление «великого закона преодоления», «закона фатализма». (В какой-то степени рассуждения Уварова отдаленно предвосхищали историко-философскую концепцию Льва Толстого.) Честолюбец и тиран Наполеон обречен. «Бородинская битва, прозванная французами битвой гигантов, явилась первым препятствием, противоставшим потоку, грозившему поглотить империю», а сдача Москвы — «сигналом к новой войне, войне национальной, где повто-

рилось испанское чудо». В 1814 г. Уваров выражал надежду, что «цари и народы на могиле Бонапарта совместно принесут в жертву деспотизм и народную анархию». Революция для него была «груда преступлений и бесполезных несчастий». Убежденный монархист, он полагал, что «республиканский строй, которого как идеала требуют добродетельные люди, неприменим к современной системе великих европейских держав». Общеввропейским идеалом провозглашалось легитимное правление, где «мощные барьеры обеспечивают гражданские свободы личности».

В 1818 г. в речи студентам Главного педагогического института Уваров указывал на изначальную связь истории России с историей Европы: «Многие писатели показали сию связь начинающуюся с Петра Великого, но легко можно увериться, что многими столетиями ранее Россия имела тесные сношения с Европой». Русский народ — «младший сын в многочисленном европейском семействе», — сохранив «следы душевной юности, ныне алкает просвещения и стремится похитить у других и лавр воинской славы, и пальму гражданской доблести». Выступление перед студентами было откликом на варшавскую речь Александра I. Политическую свободу Уваров называл «последним и прекрасным даром бога» и утверждал, что опасности и бури, спутники свободы, не должны устрашать, надо только помнить, что великий дар «сопряжен с большими жертвами и с большими утратами, он приобретает медленно и сохраняется лишь неусыпной твердостью». Уваров коснулся и опасного вопроса о крепостном праве: он был убежден в том, что «освобождение души через просвещение должно предшествовать освобождению тела через законодательство». Эта речь отразила веру Уварова в исторический прогресс, в его неотвратимость: «Все сии великие истины содержатся в истории. Она верховное судилище народов и царей. Горе тем, кто не следует ее наставлениям! Дух времени, подобно грозному сфинксу, пожирает непостигающих смысл его прорицаний».

После 14 декабря 1825 г. либерализм Уварова улетучился, он бестрепетно выступил против того «духа времени», о бесплодности противостояния которому говорил в 1818 г. Время высветило низкие стороны его характера: мелочность, мстительность, нечестность. В 1830-е годы он поступал, по выражению Пушкина, «как ворон, к мертвечине падкий».

В 1832 г. Уваров был назначен на пост товарища министра народного просвещения.

Среди царских сановников Уваров принадлежал к тем немногим, кто никогда не служил в военной службе, но Николай I прощал столь очевидный изъян, ценил его начитанность, политический кругозор, умение обращаться на пользу самодержавию достижения европейской общественной мысли.

В преследовании прямой крамолы Уваров был сторонником «твердых мер», перенимал опыт III Отделения, деятельно с ним сотрудничал. Именно по настоянию Уварова, например, в 1834 г. был запрещен «Московский телеграф», что стало жизненным и идейным крушением для Н. А. Полевого. Уваров докладывал царю: «Рево-

люционное направление мыслей, которое справедливо можно назвать нравственной заразой, очевидно обнаруживается в сем журнале, которого тысячи экземпляров расходятся по России, и по неслыханной дерзости, с какою пишутся статьи, в оном помещаемые, читаются с жадным любопытством». Никитенко, исполнявшему должность цензора, он внушал, что Полевой — «проводник революции», и «уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила». «Он не любит России», — говорил Уваров и добавлял: «Декабристы не истреблены: Полевой хотел быть органом их». Обвинение в «нелюбви к России» звучало страшно, делало любые возражения бессмысленными.

Бенкендорф и Уваров были едины в понимании необходимости для России «умственных плотин». Но если Бенкендорф и III Отделение считали уже общественное безмолвие свидетельством полного контроля над «образом мыслей», то Уваров судил иначе. Он видел слабость, ненадежность положения, при котором, как выразился Никитенко, «у нас боятся думать вслух, но, очевидно, про себя думают много». В думании «про себя» Уваров усматривал проявление инакомыслия и вольнодумства. Их надлежало пресечь. Уваров стремился к установлению в России единомыслия.

Первым шагом Уварова на посту товарища министра стало принятие «системы очищения» Петербургского университета, выразившейся в увольнении неугодных профессоров; вторым — ревизия Московского университета с целью «восстановления порядка», по колесбленного событиями 1830—1831 гг. («маловская история» — коллективный протест студентов против бездарного профессора М. Я. Малова, «сунгуровское дело», студенческое сочувствие Я. И. Костенецкому и его друзьям). Из Москвы Уваров писал Бенкендорфу: «Я сочту себя очень счастливым, если результатом моего здесь пребывания будет восстановление в среде молодежи порядка и возможность успокоить в этом отношении нашего августейшего государя».

С полицейской дотошностью Уваров изучил «сунгуровское дело», он хотел постичь причины «своевольства» студентов. В особой записке он отметил «совершенный недостаток настоящего воспитания» и развил положения манифеста 13 июля 1826 г. о необходимости «нравственного воспитания» молодых людей. Размышления о политической благонадежности он афористично заключил: «Не ученость составляет доброго гражданина, верноподданного своему государю, а нравственность его и добродетели. Они служат первым и твердым основанием общественного благосостояния».

Отчет Уварова о ревизии Московского университета был представлен Николаю I. Товарищ министра отлично знал умонастроение императора, которому сообщал, что не раз за время своего пребывания в университете, прервав лекцию профессора, заканчивал «оною собственным нравоучением, всегда приводя речь к лицу государя, к преданности трону и церкви», и вызывал тем «общий восторг». Уваров полагал, что студенты полны «верноподданнической любви к существующему порядку» и при надлежащем надзоре могут быть

«полезным и усердным орудием правительства». И профессора и преподаватели оценивались им по их пригодности быть «способными и полезными орудиями правительства»; примечательно, что профессоров, известных своей общественной деятельностью (Н. И. Надеждина, М. Г. Павлова), Уваров осуждал. Правительственную политику в области просвещения он понимал вполне в духе III Отделения как сочетание «доверенности и кроткого назидания» со «строгим проницательным надзором».

Стержнем уваровского отчета стала мысль о необходимости всю идейную и культурную жизнь России «нечувствительно привести к той точке, где сольются твердые и глубокие знания» — с «глубоким убеждением и теплою верою в истинно русские хранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества». В этих словах сформулирована суть официальной идеологии николаевского времени. В 1833 г. Уваров стал министром народного просвещения.

Николаевская Россия «молчала и благоденствовала». На фоне недавних европейских потрясений внутреннее положение страны казалось незыблемо спокойным. Холерные бунты были усмирены, волнения среди крестьян редко получали известность за пределами уезда или губернии. За немногими недовольными следило III Отделение. В 1835 г. М. Н. Загоскин написал комедию «Недовольные», тему для которой дал ему Николай I. «Скучная, тяжелая пьеса, писанная довольно легкими стихами» (А. С. Пушкин), призвана была высмеять П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова, чье недовольство николаевскими порядками было общеизвестно. Чаадаевский отзыв о комедии (в письме к А. И. Тургеневу) иронически передает настроения, господствовавшие в обществе: «Недовольные! Понимаете вы всю тонкую иронию этого заглавия? Чего я, со своей стороны, не могу понять, это — где автор разыскал действующих лиц своей пьесы. У нас, слава богу, только и видишь, что совершенно довольных и счастливых людей. Глуповатое благополучие, блаженное самодовольство — наиболее выдающаяся черта эпохи у нас...»

Европейским консерваторам николаевский режим виделся идеалом. Крупных успехов добилось правительство во внешней политике. В разгар турецко-египетской войны Россия выступила на стороне Османской империи. Русская эскадра вошла в Босфор, на азиатском берегу которого был высажен десантный отряд для защиты турецкой столицы. В местечке Ункяр-Искелеси в июне 1833 г. был подписан договор о вечном мире, дружбе и союзе между Россией и Турцией, который стал победой русской дипломатии. Секретная статья договора гласила, что в случае войны Турция должна закрывать Черное море для военных кораблей западноевропейских держав. Без единого выстрела Россия обрела преобладающее влияние в Константинополе, выгодный режим черноморских проливов укрепил ее политические и военно-стратегические позиции на Ближнем Востоке.

Внешние успехи, прочное внутреннее положение словно подчеркивали исключительную роль Российской империи в Европе. Лучшие

архитекторы, скульпторы, художники работали над украшением Петербурга, который должен был стать прекраснейшим городом в Европе и истинно европейским городом России. Дворцы и памятники столицы служили выражением величия и мощи империи. На театре и в печати непрерывно восхвалялась сила русского оружия. По распоряжению Николая I композитор А. Ф. Лъвов в 1833 г. сочинил «народный гимн» на слова В. А. Жуковского. Лъвов вспоминал: «Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, годный для войска, годный для народа — от ученого до невежды».

В этих словах Лъвов в высшей степени удачно выразил стремление официальной идеологии к универсальности, всеохватности («для войска», «для народа»), к общедоступности («от ученого до невежды»). Краеугольным камнем идеологии николаевского царствования стала мысль о превосходстве православной и самодержавной России над «гибнущим Западом». Эта мысль лежала в основе манифестов Сперанского и Блудова, определяла воззрения Уварова, она оказала глубокое и, безусловно, пагубное воздействие на русскую общественность. Уваров не был оригинален. Он систематизировал и оформил идеологическую доктрину, основные начала которой были заложены в поздних политических сочинениях Н. М. Карамзина и успешно применялись правительством с первых дней николаевского царствования.

Наиболее полно, точно, обдуманно Уваров изложил свою теорию во всеподданнейшем докладе Николаю I, где содержался обзор деятельности Министерства народного просвещения в 1833—1843 гг. — своего рода итог уваровского десятилетия. В начале доклада министр вспоминал день, когда он «удостоился получить» от царя «наставление, которому беспрерывно следовало министерство с тех пор и доньне». Теория Уварова, по-видимому, действительно развивала некоторые мысли императора, она идеально соответствовала представлениям Николая I о России и ее месте в мире.

Задача, которую новый министр должен был «разрешить без отлагательства», задача, «тесно связанная с самою судьбою отечества», сводилась к следующему: «Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, надлежало укрепить отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить».

Русскими национальными началами Уваров провозгласил *православие* («Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и частный че-

ловек, должен погибнуть»), *самодержавие* («Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия... Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом самодержавия сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться») и *народность* («Вопрос о народности не имеет того единства, как предыдущие... Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях... Довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий; если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию»).

Эти начала «надлежало включить в систему общественного образования, чтобы она соединяла все выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и надеждами будущего: чтобы народное воспитание соответствовало нашему порядку вещей и было бы не чуждо европейского духа». Безусловно, понимание здесь Уваровым «европейского духа» было весьма избирательным.

Цель официальной идеологии Уваров формулировал четко: «Изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в оных душах радушное уважение к отечественному... оценить с точностью все противоположные элементы нашего гражданского образования, все исторические данные, которые стекаются в обширный состав империи, обратить сии развивающиеся элементы и пробужденные силы, по мере возможности, к одному знаменателю; наконец, искать этого знаменателя в тройственном понятии *православия, самодержавия и народности*».

Уваровская триада стала необходимым и важным компонентом правительственной системы Николая I, она призвана была дать идейное обоснование режиму, о котором посетивший Россию наблюдательный француз Кюстин писал: «Русский государственный строй это — строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это — перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства».

В литературе доктрина Уварова получила неточное и, на наш взгляд, вводящее в заблуждение название «теория официальной народности» (предложение А. Н. Пыпина). В действительности вовсе не идея народности, хотя бы и в консервативном ее варианте, одушевляла Уварова. «Народность» здесь была вынужденной уступкой «духу времени», данью, которую Уваров платил немецкой философии (принцип триады был характерен для Канта, Фихте, Гегеля), европейскому романтизму (с его интересом к истории отдельных народов в ее неповторимости, пиететом к исторически сложившемуся национальному характеру, идеализацией прошлого). Включение в триаду «народности» придавало уваровским построениям видимость целостности, ученой изощренности, оправдывало его

претензии стать вровень с веком. Но время сыграло свою разоблачительную роль. Народность, определение «начал» которой столь затрудняло Уварова, в писаниях его многочисленных последователей свелась к немногим элементарным понятиям — покорность, терпение, послушание властям. Например, в связи с необычайно популярными в николаевское время сочинениями М. Н. Загоскина Аполлон Григорьев писал: «Для Загоскина и того направления, которого он был даровитейшим представителем в литературе, в народе существовало одно только свойство — смирение. Да и притом самое смирение вовсе не в славянофильском смысле полнейшей *общинности* и *законности* — а в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту».

Уваров довел до предела принципиальное политическое и идейно-культурное противопоставление России и Европы, присущее официальным манифестам Сперанского и Блудова. Следует подчеркнуть, что из теории Уварова вовсе не вытекала необходимость политической и экономической изоляции России, хотя весьма желательной признавалась изоляция идейная. Взгляды Уварова были основаны на идее национальной исключительности и имперского превосходства России. Это была теория казенного патриотизма победоносной военной империи.

Идеология, сформулированная Уваровым, была, в известной мере, универсальна, ибо соответствовала понятиям разных слоев «безлюдного» николаевского общества. Министр народного просвещения умело использовал националистические настроения, метко названные князем Вяземским «квасным патриотизмом». Беспредельно искренний патриот Константин Аксаков видел в них «искусственность российского классического патриотизма». Спустя полвека Александр III, известный своей «патриотической репутацией», но раздраженный безответственными высказываниями некоторых ура-патриотов, заметит: «Слишком легко достается им этот балаганный патриотизм». Еще одно довольно точное определение.

Идеи такого «балаганного патриотизма» усердно утверждались журналистами и университетскими профессорами, они излагались в школьных учебниках и звучали на театральной сцене. В пьесе «первого драматурга эпохи» Кукольника «Князь М. В. Скопин-Шуйский» герой, Прокопий Ляпунов, восклицал:

Да знает ли ваш пресловутый Запад,
Что если Русь восстанет на войну,
То вам почудится седое море,
Что буря гонит на берег противный!

В письме к Александру Тургеневу Чаадаев печально отозвался о представлении драмы Кукольника в Москве в 1835 г.: «Вам понятно, куда клонит эта прекрасная концепция. Там есть места, исполненные дикой энергии и направленные против всего, идущего с Запада, против всякого рода цивилизации, а партер этому неистово хлопает! Вот, мой друг, до чего мы дошли».

В сентябре 1832 г., начиная курс лекций в Московском университете, М. П. Погодин, который прочно связал свою ученую карьеру и общественную репутацию с идеями уваровского толка, использовал победу русской армии, русского народа над Наполеоном как аргумент, доказывающий превосходство России над Европой: «Отразив победоносно такое нападение, освободив Европу от такого врага, низложив его с такой высоты, обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?»

До Крымской войны оставался 21 год...

Николаевские идеологи охотно вспоминали патриотический энтузиазм периода наполеоновских войн, национальный подъем 1812 года. В действительности казенный патриотизм был противоположен, прямо враждебен передовым общественным настроениям первой четверти XIX века и не характерен для тогдашней дворянской среды в целом. И членам московского английского клуба, торжественно встречавшим после Аустерлица генерала П. И. Багратиона, и театрам, что неистовствовали на петербургской премьере патриотической трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской», и военной молодежи 1812 года, и деятелям тайных обществ — всем им была чужда идея русской исключительности, все они верили в единство исторических судеб русского и других европейских народов. (Об этом говорил тогда и либерал Уваров.) Декабристы сознавали свою причастность к европейскому революционному движению. Это чувство прекрасно выразил Пестель: «Нынешний век ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы klokотать».

Заграничные походы русской армии 1813—1815 гг.несли освобождение народам Европы от наполеоновского владычества. Высокий патриотизм русских солдат и офицеров переплетался с сознанием общеевропейского единства. Общественные настроения первых послевоенных месяцев тонко передал Пушкин: «Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre*, тирольские вальсы и арии из *Жоконда*. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!*»

Время всеобщего безоглядного энтузиазма скоро прошло. В 1818 г. Пушкин в послании к Чаадаеву писал:

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман.

Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман.

Трагическим уделом Европы после Венского конгресса стало торжество политической реакции. Освобождение не принесло свободы. Царская Россия играла первенствующую роль в системе Священного союза. В глазах легитимных европейских монархов Александр I был «спасителем», но русских патриотов оскорбляла внешняя политика «кочующего деспота», они противились насаждению аракчеевских порядков внутри России. Благородные чувства искали выхода.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Подлинный патриотизм неизбежно приходил в столкновение с патриотизмом ложным, казенным. Декабрист, генерал М. Ф. Орлов, в 1814 г. принимавший капитуляцию Парижа, спустя несколько лет спорил со своим боевым товарищем Д. П. Бутурлиным, который восторгался военной мощью аракчеевской России: «С какого права вручаешь нам политические весы Европы? Друг мой... не время теперь самих себя превозносить». Сравнивая 1812 и 1820 годы, он писал, что в 1812 г. положение России было «гораздо выше нынешнего... Мы сражались против целой Европы, но целая Европа ожидала от наших усилий своего освобождения. Вспомни... благотворное содействие всех благомыслящих людей, когда наши войска, переходя из земли в землю, основывали везде возрождение народов. Тогда-то мы были сильны, тогда-то мы были страшны общему врагу, ибо под знаменами нашими возросло древо общего освобождения». В 1820 г. истинный патриотизм Орлова сказывался в трезвой оценке внутреннего состояния России и общего положения дел: «И что же мы будем предлагать завоеванным народам? Наш жестокий удел рабства? ...Россия подобится исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжелой внутренней болезни». (В николаевское время пути Орлова и Бутурлина разошлись. Опальный Орлов жил в Москве. Бутурлин стал видным сановником; в 1848 г. знаменитый «бутурлинский комитет» надзирал за духом и направлением печатаемых в России произведений.)

В 1830-е годы Уваров и его последователи невольно выявляли несостоятельность казенного патриотизма. Эта несостоятельность воплощалась по-разному — к примеру, в противопоставлении двух последних царствований. Конспективный «Очерк русской истории» (1832) Погодин заключил так:

«Основание Александром первенства России в Европе, и окончание европейского периода русской истории.

Начало своенародного (национального) периода царствованием императора Николая.

Крылов и Пушкин».

Это было бестрепетное приложение официальной идеологии к новейшей русской истории. В знаменитой статье «Петр Великий» (1841) Погодин развернул свою мысль: «Император Александр, вступив в Париж, положил последний камень того здания, которого первый основной камень положен Петром Великим на полях Полтавских. Период русской истории от Петра Великого до кончины Александра должно назвать периодом европейским... С императора Николая, которого министр, в троесловной своей формуле России, после православия и самодержавия поставил народность... начинается новый период русской истории, период национальный, которому, на высшей степени его развития, будет принадлежать, может быть, слава сделаться периодом в общей истории Европы и человечества».

Погодинское (официальное) сопоставление «европейского» и «национального» периодов по сути обозначает направление споров западников и славянофилов о Петре I, его мнение делает понятным живой интерес русской общественности к петровским преобразованиям и личности преобразователя. Петр был символом европеизации России.

* * *

Воздействие казенного патриотизма, идеи о «превосходстве» царской России над Европой, на русскую общественность было немалым. Привычное для русского общественного сознания историко-культурное *сопоставление* России и Европы уходило в прошлое. Ему на смену пришли и глубоко укоренились *противопоставление* русских и западноевропейских политических и социальных институтов, идея *особого русского пути*. Постепенно мысль об особом характере русского исторического развития входила и в мировоззрение тех «недовольных», кто не был склонен безоговорочно следовать уваровским восхвалениям православия, самодержавия и народности. Противопоставление России и Европы, отчетливо сформулированное и внедряемое в русское общество идеологами николаевского царствования Сперанским, Блудовым, Уваровым, было принято либеральной общественностью. Но в противовес казенному тезису о «превосходстве» России над Европой в либеральной среде выдвигается положение об «отсталости России», отсталости изначальной, метафизической. Концепция «отсталости России» возникла из попыток противостояния официальной идеологии, ее вторичность очевидна, но в 1830-е годы она, в известной мере, была прогрессивна, ибо способствовала осмыслению причин реального социально-экономического отставания крепостной России от развитых капиталистических государств Европы и поиску путей его преодоления. На ее основе со временем возникли разновидности раннего российского либерализма — западничество и славянофильство. Антитеза «Россия — Европа» укоренилась в русском общественном сознании. Споры о «превосходстве» или «отсталости» России составляли главное содержание идейной жизни 1830-х годов, хотя, конечно, и не исчерпывали всего многообразия духовной картины эпохи.

В знаменитом документе эпохи, в первом «Философическом письме», авторская дата которого 1 декабря 1829 г., П. Я. Чаадаев провозгласил разрыв Европы и России. Его позиция зеркальна официальным воззрениям, она противоположна знаменитой формуле Бенкендорфа: «Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение». Чаадаев писал об убожестве русского прошлого и настоящего, о величии Европы. Боевой офицер 1812 года, друг Пушкина, собеседник декабристов, Чаадаев сурово судил николаевскую Россию, с обидным для национального чувства скептицизмом отзывался о ее будущем. Чаадаевская критика была беспощадна, суждения афористичны, печальны и безнадежны.

Идея единства исторических судеб России и Европы у Чаадаева была утрачена. Его «Философическое письмо» свидетельствовало о том, что наступление правительственной идеологии на позиции передовой русской общественности давало плоды.

Чаадаев — ключевая фигура русской общественной жизни 30-х годов. Первое «Философическое письмо», которое было опубликовано в 1836 г. в московском журнале «Телескоп», по отзыву Герцена, «потрясло всю мыслящую Россию». Ротмистр в отставке, Чаадаев был безупречно храбр: он обладал и храбростью солдата, и отвагой мыслителя. Чаадаев был зачинателем идейных споров и их непременным участником в течение более четверти века. После его смерти А. С. Хомяков, неуступчивый чаадаевский оппонент, дал исторически точную оценку места Чаадаева в русском обществе: «Почти все мы знали Чаадаева, многие его любили и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественные чувства, благородное сердце — таковы те качества, которые всех к нему привлекали. Но в такое время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал и других пробуждал, — тем что в сгущавшемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем «жив курилка». Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорог он был друзьям своим какою-то постоянной печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума».

В Москве 1830-х годов Чаадаева привыкли видеть рядом с Михаилом Орловым. «Первые лишние люди, с которыми я встретился», — писал о них Герцен. Высказывание острое, но неверное. Ветераны 1812 года, победители Наполеона, Орлов и Чаадаев служили примером «юной Москве», их непримиримая оппозиция николаевской эпохе была непростым общественным делом. До конца дней они выступали против «разнuzданного патриотизма» (слова Чаадаева). В печальные для России месяцы Крымской войны Чаадаев немногими афоризмами изложил полный достоинства символ веры. Он как бы подводил итог своему общественному служению: «Слава богу, я ни стихами, ни прозой не содействовал совращению своего отечества с

верного пути.— Слава богу, я не произнес ни одного слова, которое могло бы ввести в заблуждение общественное мнение.— Слава богу, я всегда любил свое отечество в его интересах, а не в своих собственных.— Слава богу, я не заблуждался относительно нравственных и материальных ресурсов своей страны.— Слава богу, я не принимал отвлеченных систем и теорий за благо своей родины.— Слава богу, успехи в салонах и в кружках я не ставил выше того, что считал истинным благом своего отечества.— Слава богу, я не мирился с предрассудками и суеверием, дабы сохранить блага общественного положения — плода невежественного пристрастия к нескольким модным идеям».

У себя дома на Новой Басманной, где он принимал по понедельникам, в литературных салонах Елагиной и Свербеевых, в московских гостиных Чаадаев неизменно был, по словам Вяземского, «преподавателем с подвижной кафедры», проповедником «новых идей», которые он облакал в безупречно-изысканную форму. Чаадаев называл себя «христианским философом», был увлечен идеями католицизма. В русской общественной мысли Чаадаев был первым, кто высказал положение об «отсталости» России, причины которой он усматривал во влиянии православия, унаследованного от «жалкой, глубоко презираемой» европейскими народами Византии.

Взгляды Чаадаева прделали сложную эволюцию, к моменту появления в печати «Философического письма» он отошел от некоторых его крайних утверждений. В памяти русского общества он оставался прежде всего как строгий обличитель казенного патриотизма. В первом «Философическом письме» Чаадаев утверждал: «Мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода... Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя... Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно... Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды... В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу».

В политическом плане концепция первого «Философического письма» была направлена против российского абсолютизма. Чаадаев стремился показать ничтожество николаевской России в сравнении с

Западной Европой. Именно эта сторона чаадаевской статьи и привлекла наибольшее внимание в 1836 г. «Былое и думы» Герцена великолепно передают первые впечатления от чтения «Философического письма»: «Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа»...

Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон; от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. Это напечатано по-русски, неизвестным автором... Я боялся, не сошел ли я с ума».

Герцен ценил «Философическое письмо» именно как политический документ эпохи, как вызов николаевскому самодержавию. В работе «О развитии революционных идей в России» он утверждал: «Сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, что мы покупаем такой ценой, чем мы заслужили свое положение; он анализирует это с неумолимой, приводящей в отчаяние пронизательностью, а закончив эту вивисекцию, с ужасом отворачивается, проклиная свою страну в ее прошлом, в ее настоящем и в ее будущем... Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну, которая на все благородные порывы человека отвечает лишь мучениями, которая спешит нас разбудить лишь затем, чтобы подвергнуть пытке? Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель?»

Историко-философская сторона концепции Чаадаева была чужда Герцену. Безотрадный чаадаевский пессимизм, неверие в русский народ, католические симпатии, насильственное отмежевание России от Европы Герцен не принял: «Заключение, к которому пришел Чаадаев, не выдерживает никакой критики».

Многие представители либеральной общественности официальное противопоставление николаевской России и Европы приняли не сразу. На рубеже 1820—1830-х годов они продолжали высказываться за европеизацию русской жизни. Об этом не раз говорили «любомудры», продолжавшие традиции вневитинского кружка. Обыгрывая особенности русского календаря, Шевырев в 1828 г. писал в «Московском вестнике»: «Потребен был Петр I, чтобы перевести нас из 7-го тысячелетия неподвижной Азии в 18-е столетие деятельной Европы, потребны усилия нового Петра, потребны усилия целого народа русского, чтобы уничтожить роковые дни, укореняющие нас в младшинстве пе-

ред Европою, и уравниять стили». В стихах молодого Шевырева воспет Петр I, поставлена тема России, которой поэт сулит великое будущее, но чье настоящее вовсе не радужно. В стихотворении «Тибр» (1829) сопоставление России — Волги и Европы — Тибра завершается торжеством как Тибра («перед тобою Тибр великий плещет вольною волной»), так и Волги («как младой народ, могуча, как Россия, широка»). Примечательна мысль о несвободе России — Волги, скованной «цепью тяжкой и холодной» льда (образ, близкий Тютчеву).

В статье «Деятнадцатый век» И. В. Киреевский скорбел, что «какая-то китайская стена стоит между Россиею и Европою... стена, в которой Великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери», и ставил вопрос: «Скоро ли разрушится она?» Вопреки официальной идеологии, он писал: «У нас искать национального, значит искать необразованного; развивать его на счет европейских нововведений, значит изгонять просвещение; ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы?»

Не принимая официального восхваления прошлого, настоящего и будущего России, либералы не были согласны и с чаадаевским утверждением о неисторичности русского народа, об отсутствии у него богатого исторического прошлого. Видимо, один из самых ранних откликов на «Философическое письмо» принадлежит П. В. Киреевскому, который 17 июля 1833 г. писал поэту Языкову: «Эта проклятая чаадаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте *свою* одномоментную премудрость, которая только что доведена ad absurdum в сумасшедшей голове Ч., но отзывается, по несчастью, во многих, не чувствующих всей унизости этой мысли, — так меня бесит, что мне часто кажется, что вся великая жизнь Петра родила больше злых, нежели добрых плодов». Не соглашаясь с желчными выпадами Чаадаева, П. Киреевский словно нащупывает путь, который бы позволил соединить неприятие казенного патриотизма с чувством национальной гордости. Замечательно, что в 1833 г. он далек от позднейшего славянофильского осуждения Петра I.

Письмо П. Киреевского — прекрасный образец спора с Чаадаевым, мысли П. Киреевского близки пушкинским высказываниям из знаменитого письма к Чаадаеву от октября 1836 г.

П. В. К и р е е в с к и й : «Я с каждым часом чувствую живее, что отличительное, существенное свойство варварства — *беспамятность*; что нет ни высокого дела, ни стройного слова без живого чувства своего достоинства, что чувства собственного достоинства нет без национальной гордости, а национальной гордости нет без национальной памяти». А. С. П у ш к и н : «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить

отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Деятельным утверждением идей истинного патриотизма, бесценным вкладом Петра Киреевского в сокровищницу национальной памяти стало Собрание народных песен, к записи которых он, Николай Языков и другие члены дружной семьи Языковых приступили в 1831 г. «Тот, кто соберет сколько можно больше народных наших песен, сличит их между собою, приведет в порядок и проч., тот совершит подвиг великий... положит в казну русской литературы сокровище неоценимое и представит просвещенному миру чистое, верное, золотое зеркало всего русского», — писал Н. Языков.

По-своему спорил с Чаадаевым (и не в меньшей мере с «официальной» идеологией) его постоянный корреспондент А. И. Тургенев, который принял на себя трудную и своеобразную роль «посредника» между Россией и Западной Европой, между русской и западноевропейской культурой. Россию он понимал как неотъемлемую в политическом, общественном и культурном отношении часть Европы. Тургеневская «Хроника русского», отдельные части которой печатались в «Московском телеграфе», в «Современнике», в других журналах, знакомила русского читателя с событиями современной западноевропейской жизни, ее содержание подрывало тезис о «гибели» Европы. Одновременно А. И. Тургенев без усталости собирал в европейских архивах свидетельства о средневековой истории русского народа, в историческое «ничтожество» которого он не верил.

Сильное впечатление на русское общество произвели европейские потрясения 1830—1831 гг. Как «небывалое и ужасное событие» воспринял революцию Чаадаев. Крушение легитимного, католического и стародворянского режима Бурбонов он понимал как крушение своих надежд на Европу. В сентябре 1831 г. он писал Пушкину: «Что до меня, у меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу».

Европейские события, понимаемые в духе формулы «гибель Запада», вынуждали Чаадаева внести изменения в стройную историческую концепцию, выраженную в «Философическом письме». В том же сентябрьском письме к Пушкину он размышлял: «Ибо взгляните, мой друг: разве не воистину некий мир погибает, и разве для того, кто не обладает предчувствием нового мира, имеющего возникнуть на месте старого, здесь может быть что-либо, кроме надвигающейся ужасной гибели».

К середине же 1830-х годов «предчувствие нового мира» привело Чаадаева к пересмотру прежнего пессимистического взгляда на *будущее* русского народа. В 1833 г. он писал А. И. Тургеневу: «Как и все народы, мы, русские,двигаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хотите, но мчимся несомненно. Пройдет немного времени, и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удобную почву для своего осуществления и воплощения в людях, чем где-либо, потому что не встретят у нас ни закоренелых предрассудков, ни ста-

рых привычек, ни упорной рутины, которые противостояли бы им».

Два года спустя он убеждал Тургенева: «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе». Теперь Чаадаев не был склонен считать николаевскую систему помехой на пути превращения России в центр европейской цивилизации: «Мы призваны ... обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу». Но, комментируя европейские политические события середины 1830-х годов, Чаадаев по-прежнему твердо исходит из тезиса о разрыве России и Европы: «Пришедшая в остолбенение и ужас, Европа с гневом оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась».

Если во взгляде на будущее России Чаадаев накануне публикации «Философического письма» приблизился к официальной, уваровской точке зрения, то в оценке прошлого России он по-прежнему считал, что оно «является не чем иным, как небытием». Ему, который «любил в своей стране лишь ее будущее», общественный интерес к русской истории казался «возвращением к квасному патриотизму». Отвергая казенное восхваление русского прошлого, Чаадаев одновременно не сумел оценить исканий «молодой Москвы», для которой обращение к истории русского народа было естественным в поисках ответа на социальные и политические вопросы современности. (В 1830 г. об этом хорошо сказал И. В. Киреевский: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития; направление историческое обнимает *все*. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории».)

Позднее, в разгар споров западников и славянофилов, взгляды Чаадаева на Россию претерпели новые изменения. Коротко говоря, они стали более конкретны и социальные, хотя и сохранили историко-софскую и религиозную окраску. На связь социальных и религиозных элементов Чаадаев указывал в 1835 г. в письме к Вяземскому: «Точка зрения, с которой я рассматриваю свой предмет, мне кажется оригинальной, и, на мой взгляд, она способна внести некоторую ясность в мир философский, а пожалуй, и в мир социальный, так как оба эти мира в наше время, если только я грубо не ошибаюсь, составляют один общий мир».

Чаадаевская трактовка навязываемого официальной идеологией разрыва России и Европы достаточно характерна для времени в целом. Не позднее 1834 г. В. Ф. Одоевский пишет в эпилоге к роману «Русские ночи», тема которого — «гибель» Запада: «Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени слишком простым: Запад гиб-

нет!» В уваровском духе бывший председатель «Общества любителей» решал вопрос о предназначении России: «Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего, мы новы и свежи, мы непричастны преступлениям старой Европы. Деятельный век принадлежит России!»

Постоянными колебаниями характеризовалось отношение к правительственной идеологии Н. И. Надеждина, который имел сильное влияние на Станкевича и его товарищей. Общественные убеждения редактора «Телескопа» неоднозначны. В 1830—1831 гг. он совершенно во вкусе официальных воззрений противопоставлял спокойствие России потрясениям Запада, писал, что «русский колосс» должен «иметь великое всемирное назначение»: «Тучи бродят над Европой; но на чистом небе русском загораются там и здесь мирные звезды, утешительные вестницы утра. Придет время, когда они сольются в яркую пучину света». Несколько лет спустя он высказывал суждения, напоминавшие чаадаевские: «Мы еще не знаем самих себя... Мы не думаем о себе... Что наша жизнь, что наша общественность? Либо глубокий неподвижный сон, либо жалкая игра китайских бездушных теней». Публикация «Философического письма» в надеждинском «Телескопе» вряд ли была случайна. Но в том же 1836 г. Надеждин поместил в двух номерах журнала программную статью «Европеизм и народность в отношении к русской словесности». Опираясь на уваровскую триаду, он воспел «русский кулак», который противопоставлял достижениям «просвещенной Европы». «Европейцу как хвалиться своим тщедушным, крохотным кулачишком? Только русский владеет кулаком настоящим, кулаком *comme il faut*, идеалом кулака. И, право, в этом кулаке нет ничего предосудительного, ничего низкого, ничего варварского, напротив, очень много значения, силы, поэзии!» В русском кулаке издатель «Телескопа» видел основу «самобытности великой империи».

Дальше Надеждина в противопоставлении России и Европы пошел бывший «любомудр», крупный русский дипломат В. П. Титов. В письме к В. Ф. Одоевскому из Константинополя (март 1836 г.) он выдвинул положение: России надо «овосточиться». Всякие изменения опасны: «Дай бог, чтобы все это так и осталось; России бесполезны радикальные реформы, которые Европа ищет в поте лица своего и не находит». Титов утверждал: «Задача, стало быть, приводится к трем условиям: воскресить религиозную веру; упростить гражданские отношения и научить людей, чтобы хотели быть самодовольными». В условиях крепостной России титовская идея «самодовольства» — идея дикая, но вполне соответствовавшая настроениям казенного патриотизма.

Номер «Телескопа», где было помещено «Философическое письмо», был разрешен цензурой в конце сентября 1836 г. Чаадаевские суждения о России никого не оставили равнодушным, они требовали ответа. Официальная реакция последовала незамедлительно. Правительство ответило репрессиями. Уваров, для которого выступление Чаадаева было неприятным сюрпризом, вызовом желанному единомыслию, видел в нем «дело тайной партии» и лично редактировал

определение Главного цензурного комитета о закрытии журнала. Он писал Бенкендорфу, напоминал о необходимости отобрать все бумаги не только у Чаадаева, но и у Надеждина. В докладе Николаю I министр представил чаадаевскую статью предосудительной в религиозном и политическом отношении, дышащей «нелепой ненавистью к отечеству» и исполненной «ложными и оскорбительными понятиями как насчет прошедшего, так и насчет настоящего и будущего существования государства». В резолюции царя статья была названа «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». Чаадаев был объявлен сумасшедшим. Цензор, ректор Московского университета, А. В. Болдырев отрешен от всех должностей, редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин сослан в Усть-Сысольск. Упомянуть в печати о статье Чаадаева было запрещено.

Надеждин испытал на себе (в смягченном виде) образ действия властей, о котором он за год до чаадаевской истории отозвался фразой, напомнившей о 14 декабря: «Заботятся о распространении просвещения — и потом вешают просвещенных!» В показаниях Надеждина, в двух его статьях, где он думал возражать Чаадаеву в «Телескопе», были высказаны суждения, которые как бы предваряли общественные толки о «Философическом письме». Надеждин согласен с чаадаевским признанием «отсталости» России, но, в отличие от Чаадаева, он склонен понимать «отсталость» как благо, как преимущество, как залог русского будущего: «Мысль моя та: нам нечем еще пока гордиться, кроме разве благородным сознанием своего младенческого состояния, нечего тянуться до других европейских народов, с которыми мы были всегда разобщены и познакомились тогда, когда не осталось меж нами и ими никаких почти точек соприкосновения; нечего равняться с ними ни в хорошую, ни в дурную сторону. Они сами по себе, мы сами по себе. У них есть прошедшее, которого у нас нет; но зато у нас есть будущее, в котором они отчаиваются». Вместо горького чаадаевского видения России «без прошлого» звучало уваровское: «Европа без будущего». И дело заключалось не в литературно-схоластической ловкости воспитанника духовной академии. Возможность подобного превращения была заложена в самой основе воззрений: и Уваров, и Чаадаев, и Надеждин исходили из противопоставления России и Европы. Не преуспев в установлении единомыслия в России, Уваров сумел внушить русской общественности тезис: «Россия — не Европа».

Среди первых, кто откликнулся на публикацию «Философического письма», был Пушкин. В октябрьском письме (оно осталось неотсланным) Пушкин во многом соглашался с Чаадаевым: «Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение». Одновременно Пушкин возражал против «внеевропейского» понимания настоящего России: «Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что паразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?» Завершало пушкинское письмо ясно выраженное согласие с об-

шественной позицией автора «Философического письма», с его отношением к николаевской действительности: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вами не повредили...»

Кара, постигшая Чаадаева и Надеждина, цензурный запрет на упоминание «Философического письма» препятствовали гласному обсуждению чаадаевских идей. В ноябре 1836 г. Одоевский сетовал в письме к Шевыреву на то, что «глупая статья Ч[аадаева] затворяет рот всякому, кто бы хотел вступить за литературу». Одоевский думал обелить заподозренную русскую словесность в глазах правительства. Не случайно в том же году Одоевский готовит издание «Русского сборника», для которого начинающий журналист, воспитанник Московского университета А. А. Краевский написал статью «Мысли о России», косвенно направленную против Чаадаева. «Русский сборник» не был разрешен, но статью Краевского напечатали в двух первых номерах «Литературных прибавлений» к официозной газете «Русский инвалид» за 1837 год. Статья и фактом своего появления, и самой сутью подтверждала злободневность вопросов, поднятых Чаадаевым: «Никогда, может быть, не говорили и не писали у нас так много и так основательно о народности, о русизме, о необходимости отвыкнуть от привычки к подражанию и стряхнуть с себя иго чужеземных, несвойственных нам обычаев и мнений, как в настоящее время». Краевский предложил остроумную вариацию уваровской теории. Русские, доказывал он, не европейцы («это правда, но правда утешительная») и не азиаты: «Мы — русские, обитатели шестой части света, называемой Россией». Статья содержала идеализацию устоев допетровской Руси — православия, покорности властям, кротости и смирения. Автор, по сути, умалял значение петровских преобразований; с позиций «своенародности» судя о Петре I, он утверждал, что тот «не коснулся ничего из коренных оснований русской жизни». Россия, которая последовательно противопоставлялась Европе, «осталась при своей неповрежденной религии, удержала в полной мере формы своего прежнего, освященного веками, быта общественного, сохранила свой язык и нравы». Сохранив «коренные основания», Россия после наполеоновских войн заняла выдающееся место в политической жизни Европы и стала оказывать спасительное влияние на «мятежный Запад». Молодой Краевский слыл либералом, его публикация предвосхищала некоторые положения славянофильства, но прежде всего она свидетельствовала о стремлении послушно следовать официальной идеологии.

Статья Чаадаева задела многих. Она стала возбудителем острых схваток. Герцен в «Былом и думах» рассказал о споре Белинского с «магистром в синих очках», в котором легко узнать близкого к Стан-

кевичу Я. М. Неверова. Магистр называл поступок Чаадаева «презрительным, гнусным». Белинский, «бледный, как полотно», воскликнул: «Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить: речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?» На жалкое возражение магистра, что в образованных странах «есть тюрьмы, в которых запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают», Белинский («он был страшен, велик в эту минуту») ответил: «А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным».

На «телескопскую» статью откликнулся и сам Чаадаев. А. Тургенев сообщил Вяземскому: «Чаадаев сам против себя пишет и отвечает себе языком и мнениями Орлова». В спорах с Орловым, Свербеевым, А. Тургеневым рождалась «Апология сумасшедшего», задуманная Чаадаевым как своеобразное оправдание перед правительством и разъяснение своего нового, утвердившегося к середине 1830-х годов взгляда на будущее России. «Апология» осталась незавершенной. Наибольший интерес в ней представляет мысль, которую Чаадаев и прежде высказывал в частных письмах: «У меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество». (Русскому обществу осталась неизвестным полный цикл «Философических писем, адресованных даме», над которым Чаадаев работал в 1829—1831 гг. Во втором письме был четко сформулирован основной социальный вопрос современности: «И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него, вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели».)

«Философическое письмо», опубликованное в «Телескопе», стало прологом великого спора о прошлом, настоящем и будущем России, о ее месте в семье просвещенных европейских государств, о русском народе и его роли в мировой истории, об истинном и ложном патриотизме. Спор, начатый в литературных салонах Москвы, долгое время не выходил за их пределы, лишь к середине 1840-х годов словесные прения переросли в журнальную полемику. Постепенно участники спора составили два кружка, названия которых установились не сразу и имели отчетливый полемический оттенок: западники и славянофилы. Возникновение западничества и славянофильства было подготовлено всем ходом общественного и политического развития России после 14 декабря 1825 г., но именно появление «Философического письма» привело к их окончательной кристаллизации. Уместно подчеркнуть, что в 1840-е годы мысль об особом характере русского исто-

рического развития разделяли как славянофилы, так и западники. В 1846 г. Белинский, например, писал: «Россию нечего сравнивать с старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей и давно уже дала и цвет, и плод». К официальному фразам о «гниении» Запада, о «превосходстве» России и славянофилы, и западники относились с презрением.

1836 год, озаглавленный громкой чаадаевской историей, включил, наряду с прочим, и факт, мало кем замеченный и услышанный: из заграничной командировки не вернулся Печерин. Первое пребывание Печерина за границей завершилось в 1835 г.; по возвращении он был назначен исправляющим должность экстраординарного профессора в Московский университет. Из Европы Печерин приехал крайним радикалом: «Политика стала для меня религиею, и вот ее формула: республика есть республика, и Маццини ее пророк!» В Москве он тосковал, жаловался друзьям по никитенковским вечерам на «скуку смертельную», жадно ловил вести из Петербурга, куда долетали «теплые западные ветры». Печерин судил предвзято, односторонне: в те годы именно Москва была центром передовой общественной мысли. Никитенко он сообщал, что вернулся в Россию «с отчаянием в душе и с твердым намерением уехать за границу при первом благоприятном случае». Такой случай и представился в 1836 г., Печерин навсегда оставил родину. Его поступок был пассивным протестом против николаевской действительности и одновременно свидетельствовал о глубочайшей вере в справедливость официально навязываемой уваровской формулы: «Россия — не Европа». Друзья по «Святой пятнице» (Никитенко, Чижов, Гебгардт, Поленов) выслали Печерину деньги «для возвращения в Россию», в которое, правда, они не верили. Чижов писал другу: «Теперь мы стоим в неприятельских лагерях... переписка с тобою, выходящая из пределов нашей дружбы, может навлечь подозрение, что я разделяю с тобою чувство не любви к родине».

В первые годы скитаний на чужбине Печерин с подчеркнутым безразличием относился к обстоятельствам русской жизни, он изучал «коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье», мечтал уехать в Америку и там основать образцовый фаланстер. Но и в Западной Европе Печерин, по сути, оставался, как и в России, «лишним человеком». Необычность его жизненного пути не помешала ему и в своем характере, и даже в своей судьбе воплотить те черты, которые были запечатлены русской литературой «золотого века» и российской общественной памятью: неспособность активной положительной деятельности и умение «сомневаться во всем», беспощадный самоанализ и жажда или, вернее, тоска по идеалу.

Идейные искания Печерина завершились духовным кризисом: в 1840 г. он перешел в католичество, затем вступил в орден редемптористов, принял сан католического священника. Все связи с Россией были прерваны, петербургские друзья забыты. Позднее Печерин вспоминал: «...Я как будто напился воды из реки забвения: ни малейшего воспоминания о прошедшем, ни малейшей мысли о России». (Четверть века спустя Печерин признал трагичность пути, им созна-

тельно избранного: «Я проспал 20 лучших лет моей жизни». Не оправдывая «преподобного отца Владимира Печерина», Герцен писал о его судьбе: «...И этот грех лежит на Николае».)

Выбор Печерина был неприемлем для «молодой Москвы». В 1837 г. за границу для лечения уезжает тяжелобольной Станкевич. Из Берлина он писал родителям, которые опасались за его «образ мыслей»: «Та религия и та любовь к отечеству, которые могут подвергнуться какой-нибудь опасности от обстоятельств, не стоят ни гроша, и, рано или поздно, должны испытать перелом... Демагоги всего менеé могут сбить меня с толку: я уважаю человеческую свободу, но знаю хорошо, в чем она состоит, и знаю, что первое условие для свободы есть законная власть... Чтобы быть твердым в своих правилах, надобно убедиться в нелепости противных. К этому случай есть везде: шаткому человеку в России так же точно опасно жить, как и за границею».

После отъезда Станкевича его кружок постепенно распался, но Белинский, Бакунин, К. Аксаков, Боткин, Катков задавали тон в общественной жизни Москвы, первенствовали в литературных салонах и в журналистике. К ним примыкали молодые гегельянцы Ю. Ф. Самарин, К. Д. Кавелин, исключительную роль наставника молодежи взял на себя Т. Н. Грановский, в 1839 г. приступивший к чтению лекций по всеобщей истории в Московском университете. Ранее, по окончании Петербургского университета, где он слушал Никитенко, Грановский был послан в Берлин. Здесь он сблизился со Станкевичем, которого знал прежде, и стал его ближайшим другом и единомышленником. В Москве Грановский сделался признанным главой молодой профессуры (Д. Л. Крюков, П. Н. Кудрявцев, П. Г. Редкин, А. И. Чивилев, К. Д. Кавелин, Е. Ф. Корш, С. М. Соловьев), которая вела непримиримую борьбу с «черной уваровской партией» (М. П. Погодин, С. П. Шевырев, И. И. Давыдов, Д. М. Перевошиков).

К «молодой Москве» принадлежали и лица, далекие от круга Станкевича: Герцен и Огарев, чей студенческий кружок был разгромлен в 1834 г.; братья И. и П. Киреевские, Хомяков, Кошелев, продолжавшие либеральные традиции 1820-х годов. Герцен писал: «Между ними и нами естественно должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, т. е. к Хомякову и Киреевским. Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский, был нашим с самого приезда из Германии. Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам бы перешел к Хомякову или к нам».

1830-е годы заканчивались. Беспощадно охарактеризовал эту эпоху Лермонтов:

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познания и сомненья
В бездействии состарится оно.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovитой,
Ни гением начатого труда.

(«Дума», 1838 г.)

Однако были люди в поколении «тридцатых годов», которые опровергали лермонтовский приговор. На исходе 1830-х годов началось общественное оживление, которое положило начало «замечательному десятилетию» в истории русской мысли.

* * *

В настоящее издание вошли воспоминания из золотого фонда русской мемуаристики. Будучи собраны вместе, они рисуют интереснейшую картину общественной и культурной жизни 1830-х годов. Их авторы были осведомленными, активными участниками описываемых событий (К. С. Аксаков, К. Д. Кавелин), близко стояли к своим героям (М. И. Жихарев, Я. М. Неверов); документом трагической силы являются автобиографические записки В. С. Печерина. В приложении помещено первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, чье воздействие на русскую общественную мысль было исключительно велико.

Композиция книги по возможности следует хронологической канве 1830-х годов. Тексты публикуются полностью. Воспоминания М. И. Жихарева, К. С. Аксакова и В. С. Печерина выверены по архивным подлинникам. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными правилами. Исправления и дополнения в тексте по сравнению с предшествующими публикациями специально не оговариваются. Перевод иноязычных слов, оборотов, фрагментов, осуществленный составителями разделов, дается непосредственно в тексте с указанием языка оригинала и заключен в квадратные скобки.

Воспоминания К. Д. Кавелина и В. С. Печерина подготовлены и прокомментированы С. Л. Черновым, М. И. Жихарева и К. С. Аксакова — Н. И. Цимбаевым, Я. М. Неверова — А. А. Левандовским.

Н. И. Цимбаев

М. И. Ж и х а р е в

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОТОМСТВУ О ПЕТРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЧААДАЕВЕ

Четырнадцатого апреля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года, в день великой субботы, т. е. в канун праздника господней пасхи, в одинокой и почти убогой холостой квартире на Новой Басманной, одной из отдаленных улиц старой Москвы, умер Петр Яковлевич Чаадаев. Кратковременная острая болезнь довольно загадочного свойства в три с половиною дня справилась с его чудесным и хрупким нервным существом. По догадкам ученых, предназначенный к необыкновенно продолжительной жизни, он окончил ее, однако же, в те лета, в которые только что начинается старость. Ему едва исходил шестьдесят третий год¹. Но в последние трое суток с половиною своей жизни он прожил, если можно так выразиться, в каждые сутки по десяти или пятнадцати лет старости. Для меня, следившего за ходом болезни, это постепенное обветшание, это быстрое, но преемственное наступление дряхлости было одним из самых поразительных явлений этой жизни, столько обильной поучениями всякого рода. Чаадаев занемог, болел и умер на ногах. Он выдержал первые припадки болезни с тою молоджавостью наружности, которая, по справедливости, возбуждала удивление всех тех, которые его знали, и на основании которой ему пророчили необыкновенное многолетие. Со всяким днем ему прибавлялось по десяти лет, а накануне и в день смерти он, в половину тела согнувшийся, был похож на девяностолетнего старца. За два или полтора часа до смерти агонизирующий старец, пульс которого перестал уже биться, перешел с неимоверным трудом из одной комнаты в другую. Здесь усадили его на диван, а ноги положили на стул. Незадолго перед тем приехавший врач вышел, объявив, что жизнь оканчивается. Вошел хозяин дома, в котором жил Чаадаев. Этот хозяин был человек безразличный, не могший и не желавший отдавать себе отчета в торжественной необычайности зрелища, которого ему приходилось быть свидетелем. Чаадаев сказал ему несколько несвязных слов про его дело, потом заметил, что ему самому «становится легче», что «он должен одеться и выйти, чтобы дать прислуге свободу убираться к празднику» (неизвестно, что хотел сказать покойник, — желал ли он уехать со двора или только перебраться в другую комнату), повел губами (движение, всегда ему бывшее обыкновенным), перевел взгляд с одной стороны на

другую — и остановился. Присутствующий умолк, уважая молчание больного. Через несколько времени он взглянул на него и увидел остановившийся взгляд мертвеца. Прикоснулся к руке: рука была холодная.

В ту же ночь аристократическое общество Москвы, которому покойник был известен как один из его членов, и ученый и грамотный люд московский, который знал его за одного из замечательных людей в России, известились в заутреню Светлого дня, что Чаадаева не стало. Все удивились и все успокоились. Обыкновенных толков, пересудов, оценки ученой или какой бы то ни было другой деятельности отшедшего не было. Всякий сказал: «Чаадаев умер,— странно,— неделю тому назад он был совершенно здоров и казался чрезвычайно молодым». И только.

Чаадаев не занимал никакого официального места по службе и никогда не обозначался ничем особенным на служебном поприще; он имел небольшой чин (гвардии ротмистр), большая или меньшая крупность которого составляет отличие чрезвычайно важное и совершенно необходимое в русском обществе; он не был богат: напротив, его личные хозяйственные дела представляли самое жалкое и не совсем чистое зрелище; он, наконец, не имел никакого скрепленного и подписанного положения в деле науки, мышления и искусства. То есть он не обладал никаким ясным, определенным, положительным конкретным правом занимать общество или народ ни своей жизнью, ни ее концом.

Тем не менее бумагомаратели очень скоро, не позднее другого дня, принялись или желать написать что-нибудь про него, или некоторые приводить свое желание в исполнение* и обнаружили тем, по моему мнению, отсутствие всякого практического смысла и совершенное неимение такта. Я полагаю, что молчание, вынужденное и строгое, спокойное и невозмутимое, было бы единственным и лучшим проводом такой личности, каковою был Чаадаев.

Независимо от бумагомарателей всякого свойства, издатель «Московских Ведомостей»² счел необходимым объявить своей читающей публике про эту смерть. Будь я на его месте — я и не подумал бы печатать в газетах, что Чаадаев умер. Но не менее того я ожидал этого объявления с чувством нетерпения и любопытства. Мне интересно было знать, как выпутается из своей задачи издатель газеты?*** Чем именно он объяснит, почему, на каком основании он

* Замечательно, что ни один из составителей этих биографий *train de vitesse* [скоропалительные — *фр.*] и ни один из тех, кто удостоивал их в то время немедленной голословной критикой, не соглашались между собою, на что именно должно было указывать в чертах жизни того, о ком шло дело. Так, одни говорили, что следовало указывать на его значение в обществе, другие — что это-то именно необходимо оставить без внимания, а толковать про его знакомство с Пушкиным, третьи выдвигали на первый план еще что-нибудь, четвертые также и т. д. Настоящего же значения самого Чаадаева никто не коснулся.

** Единственное возможное объявление, по моему мнению, было бы следующее: «14-го апреля, в страстную субботу, окончил жизнь в Москве Петр Яковлевич Чаадаев».

уведомляет государство, что в Москве умер Чаадаев? «Московские Ведомости» читаются во всей империи и даже, говорят, иногда за границей*; их объявления по справедливости могут быть названы всенародными. Во вторник Светлой недели вышел номер, заключающий в себе объявление. В нем значилось, что «скончался такой-то, один из московских старожилов, известный во всех кружках столицы». То есть в двух словах заключались две неразъяснимые непонятности, две непроницаемые тайны, совершенно недоступные всякому, кто не имел к ним ключа. Разве предполагалось, что все общество по тайному молчаливому согласию имеет этот ключ, обладает скрытым лозунгом, по которому узнает побудительные причины издателя? В самом деле, если умерший стоил объявления по необыкновенной продолжительности жизни, то по самому простому умозаключению следовало написать, сколько ему было лет; если по своей известности, то не мешало коротко означить, в чем именно состояла эта известность. Был ли он поэт, художник, философ, врач, ремесленник, купец, солдат, фабрикант или что другое? Объявление подняли на смех говорили—«connu comme le loup blanc» [известен как белый волк — *фр.*], да и все тут. Наконец, упоминание о «кружках столицы» поставило всякого в тупик. Если он был знаком и проводил жизнь в различных семейных кружках, которых бесчисленное множество в народонаселении целой Москвы, точно так же, как и в народонаселении других столиц, то, повторяю, никак не стоило этого печатать в газетах. Таких людей огромное количество умирает каждый день в целом свете, и, опричь знакомых, никого о том не уведомляют, и то не всегда письменно; если же под совершенно негражданственным в России словом «кружки» издатель разумел что-нибудь особенное, то ему необходимо было растолковать, что такое**.

Какая же причина общеизвестности и общеобнародования этой кончины? Что за загадочный человек был покойник, известность которого вообще признавалась и никем с математической точностью не определялась? Почему, наконец, все общество знало, что оно теряет Чаадаева, но никто в нем не мог или не хотел сказать, что и кого именно оно теряет?

Для приведения в ясность этого вопроса я и стал составлять свою записку.

Но не могу воздержаться, чтобы не заметить с самого начала коротко и просто: что едва ли не беспримерное явление в летописи

* Исключая лиц, почему-нибудь известных вообще, «Московские Ведомости» объявляют еще о смерти превосходительских особ без различия, были ли они генерал-майоры, контр-адмиралы или действительные статские советники: но Чаадаев не был ни тем, ни другим, ни третьим.

** Я никак не могу уразуметь, что такое по-русски значит «кружок». Если круг или кружок известного семейства или знакомства, то, повторяю, нечего было про это печатать. Кружку предоставляется всегда и везде своими средствами узнавать, жив или умер один или несколько из его членов; если же принять значение, которое имеет во Франции и в некоторых других странах слово «cercle», то это значение у нас не существует³.

сях целого мира, чтобы умер среди известного общества человек, в замечательности и значении которого целое это общество признается как в истине неоспоримой и принятой, а между тем не указывает основания этой замечательности и этого значения.

Год рождения Чаадаева мне не известен положительно (кажется, 1796-й, 27-го мая), знаю только, что он родился в конце прошедшего столетия в Нижегородской губернии. Он и его брат Михаил Яковлевич — единственные дети брака своих родителей — остались после отца и матери младенцами в колыбели, которых, несмотря на многочисленное, довольно богатое и знатное родство, некому было взять на руки. Его мать (Наталья Михайловна) была по себе княжной Щербатовой и дочерью известного историка, князя Михаила Михайловича Щербатова. Про его отца я не имею никаких сведений⁴.

Оба ребенка-сироты остались в деревне ни на чьих руках. Родная их тетка с материнской стороны княжна Анна, девица в летах, кончившая жизнь очень недавно, после не совсем обыкновенного многолетия, около девяноста лет от роду, и только за три или четыре года до кончины своего знаменитого питомца, как я слышал из рассказов, разума чрезвычайно простого и довольно смешная, но, как видно из ее жизни, исполненная благодати и самоотвержения, обрекла себя на трудное и священное дело воспитания сирот-племянников⁵. Мне известно, что, получив уведомление о сиротстве, их постигшем, она в самое неблагоприятное время года, весною, в половодье, не теряя ни минуты, отправилась за ними, с опасностью для жизни переправилась через две разлившиеся реки — Волгу и какую-то другую, находившуюся на дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своем домике, бывшем где-то около Арбата*.

Попечение над личностью малолетних было, следовательно, принято родной теткой**, их имущественные дела, довольно обширные***, нашли себе верного, безупречного и делового охранителя в лице родного дяди, князя Дмитрия Михайловича Щербатова⁷. Был еще другой опекун, какой-то граф Толстой, но про того я ничего не знаю.

В этом положении благородное дитя выросло и лет через двенадцать сделалось чрезвычайно умным, бойким, живым, замечательно образованным, необыкновенно красивым и до последней степени избалованным и самовольным мальчиком.

* Московская улица.

** Здесь место воспоминанию о прекрасном и трогательном анекдоте, приведенном М. Н. Лошгиновым в его достойном всякого уважения труде⁶. Анекдот этот, впрочем, несколько разукрашен и не имеет в себе той театральной эффектности, которую ему старались придать. Княжна Анна Михайловна просто сначала не догадалась, в чем дело. Она раз находилась в церкви вместе с обоими племянниками. В это время в доме у них случился пожар. Слуга прибежал в церковь с криками: «У нас в доме несчастье». «Какое же может быть несчастье,— возразила княжна,— дети оба со мной и здоровы».

*** Около одного миллиона рублей ассигнациями стоимости всего состояния на двух братьев; по тому времени это очень много и почти значительное богатство. Оно состояло из большого оброчного имени в Нижегородской губернии, из какого-то денежного капитала и, кажется, еще из дома в Москве.

Образ жизни старой девицы с двумя малолетними племянниками в Москве (довольно известный всем, знающим Москву) само собой сделался тем, чем он был в то время и чем, кажется, по настоящую минуту остался, за исключением некоторых, весьма не коренных, изменений. Сначала за детьми ходили няньки; кстати и некстати, ради гигиенических причин, лишали их пищи и воздуха, а иногда без всякой благообразной причины чересчур наделяли и тем и другим; в праздничные и воскресные дни брали к обеду; зимой возили кататься; осенью и весной выводили гулять, преимущественно туда, где собирается много народа; наряжали (как и теперь) самым бестолковым и безобразным образом; раз или два в неделю возили на поклон обедать к наиболее почетным лицам из родни; изредка показывали театр. Лето, т. е. четыре и — много — пять летних месяцев, всегда проводили в деревне либо у себя, либо у родственников и даже у близких знакомых. Потом, по наступлении семилетнего возраста, вдруг совершалось коренное преобразование; устранились няньки, принимались дядьки, учителя, гувернеры, наставники*; детский образ жизни менялся мало или не менялся совсем, но в него вносили новый элемент, в нем вырабатывалась новая сторона: детей начинали учить. Это учение в то время всегда было делом прихотливого случая; про него говорить нечего; оно и обрисовано, и исчерпано гениальными и всем известными стихами**.

В настоящем разе этот общий образ жизни всех богатых и знатных, полубогатых и полузнатных детей московских семейств был несколько изменен, частью от внешней обстановки и связей щербатовской фамилии, частью же преимущественно от склада ума и самого характера молодого Чаадаева***.

Князь Дмитрий Михайлович Щербатов**** (как сказано выше, брат княжны Анны, родной дядя Чаадаева, сын историка,— умер в

* У Чаадаева был какой-то вроде дядьки англичанин, про которого мне ничего не известно, исключая того, что по этому случаю оба брата хорошо знали по-английски, что между русскими нечасто бывает. Сверх того, Петра Чаадаева (как не раз мне это пересказано было) дядька-англичанин научил пить грог.

** Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь:
Так воспитаньем, слава богу,
У нас не мудрено блеснуть.
Пушкин в «Онегине».

*** Один раз навсегда следует обговориться. Здесь я имею в виду только одного Петра Чаадаева. Его брата, Михаила Яковлевича, я не знаю, и в этой записке мне до него никакого нет дела. (С тех пор, как это написано, я имел случай его узнать.) Из достоверных рассказов мне известно, что он также чрезвычайно замечательный человек, хотя в совершенно противоположном роде*.

**** Князь Дмитрий Михайлович Щербатов служил лейб-гвардии в Семеновском полку, обстоятельство довольно важное, так как, вероятно, в его силу его сын, князь Иван, и оба Чаадаевы очень скоро будут записаны в тот же полк, что в судьбе Петра Чаадаева может быть, как увидим, сочтено за событие роковое и предопределенное. Кажется, он состоял в чине полковника. Его служебная карьера ничего в себе замечательного не заключала. Обучался он в Кеннigsбергском университете, по общему примеру тогдашней знатной молодежи, рыскавшей в то время по университетам Европы. Его университетская жизнь обозначилась двумя случаями, вероятно, выду-

мае 1839 года, в супружестве с Глебовой-Стрешневой, и потому, пожалуй, чуть ли не в родстве с царями¹⁰) рано овдовел. Он был умен, богат, мало честолюбив, очень самостоятелен, донельзя своенравен и своеобразен, очень самолюбив, чрезвычайно капризен, барски великолепен в замашках и приемах, отчасти склонен к похвальбе и превозношению, и имел неограниченное уважение, в то время понятное и основательное, к своему состоянию и к своему происхождению. Людей такой формации и такого закала теперь едва ли можно найти в России. Они начались и кончились с веком Екатерины II и складывались по образцу и по подобию больших бар Лудвига XIV, напоминая собою строгую, недовольную и желчную фигуру Сен-Симона¹¹, с плеча испещренную, растушеванную и изуродованную русскими местными колоритами. Молодой вдовец, князь Щербатов обрек свою жизнь исполнению некоторых прихотей, весьма незначительных в общей картине его существования, возделыванию своего изобильного достатка и продвижению к жизни двух дочерей, в которых его гордость заранее видела блистательных невест, и сына, в котором он, вероятно, всегда больше чтит преемника, нежели любил детище, и которому мнил передать продолжение жизни своей и своей породы. Я видел потом, как эти надменные помышления развеялись волею судьбы, как пыль пустынная; но не историю этого крушения, бесследного и безрадостного, я здесь описываю¹².

Князь Щербатов давал своим детям образование совершенно необыкновенное, столь дорогое, блистательное и дельное, что для того, чтобы найти ему равное, должно подняться на самые высокие ступени общественных положений. Не говоря об отличнейших представителях московской учености, между наставниками в его доме можно было указать на два или три имени, известные европейскому ученому миру. В этой среде, исполненной образованности и знания, молодой Чаадаев, по своему рождению и состоянию имевший право занять место и стать твердою ногою как равный между равными, силою особенностей своей изобильно и разнообразно одаренной прихотливой натуры немедленно поместился как между равными первый. Он сей же час сделался лучшим перлом и благороднейшим украшением этой маленькой котерии московской детской знати и в самое короткое время симпатическими свойствами своего существа

манными, но очень характеристичными. Последний, сколько я понимаю, принадлежит изобретательности Чаадаева. В какой-то проезд через Кенигсберг великого князя Павла Петровича (впоследствии императора Павла I) князь Щербатова, как родового русского, избрали для произнесения его высочеству на русском языке приветствия; но когда великий князь приехал, то Щербатова тщетно старались найти и не отыскали; он скрылся на каком-то чердаке, и великий князь принужден был отбыть в дальнейшее следование, обходясь без всякого русского приветствия. Второй случай еще забавнее. Студенчеству Щербатова в Кенигсберге была современною там же, довольно, впрочем, известная на целом земном шаре, профессура Эммануила Канта⁹. Несмотря, однако ж, на некоторую степень известности, ни профессорское положение Канта, ни его преподавание, ни даже имя будто бы не дошли до слуха князя Щербатова в студенческие годы, и провадел он про них, и то очень смутно, неясно и отрывочно, только лет тридцать спустя.

успел значительно расширить сферу ее знакомства и известности. Впоследствии, когда он сделался знаменитостью, это свойство магнетического притяжения людей в те места, где он находился, прибавим, без большого с его стороны искательства, всегда было отличительною чертою его личности, как, впрочем, эта особенность постоянно является неразлучным признаком человека, стоящего выше общего уровня других людей*. Стоило только завести в доме Чаадаева, чтобы и завести в нем много народа. Замечу мимоходом, что, украшая собою известный круг знакомства, он в то же время делался в нем довольно тяжелым, давая волю своему эгоизму иногда до несносности.

Лет четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, и никак не позже семнадцати, молодой Чаадаев представлял собою следующее явление: он успел переменить порядочное количество дядек, гувернеров и учителей, между которыми запало несколько памятных имен; как я сказал выше, он был отменно красив и слыл одним из наиболее светских, а может быть и самым блистательным из молодых людей в Москве; пользовался репутацией лучшего танцовщика в городе по всем танцам вообще, особенно по только что начинавшейся вводиться тогда французской кадрили, в которой выделял «entrechat» не хуже

* При этом необходимо сделать небольшую оговорку, иначе помнящие дело могут обвинить меня в пристрастии. Общество само собою стекалось в те дома, в которых Чаадаев делался обыкновенным гостем, и можно смело сказать, что в этом случае он, кроме своей особы, не навязывал хозяевам никого, но к себе он сзывал людей чрезвычайно усленно, через что многим и надоедал. Такая неотвязчивость доводила его иногда до довольно смешных случаев. Приведем об этой черте его характера несколько выражений другого прославленного современника, Александра Ивановича Герцена, предварительно заметив, что Герцен, этот неумолимый, суровый, злой, желчный и обидный насмешник и бичеватель, питал к Чаадаеву особенное пристрастие и если и позволял себе иногда над ним трунить, то всегда не иначе как с иронией, исполненной любезности, благоволения и тихого успокоения. Так, он говорил, что «Чаадаев не обращает и не должен обращать внимания на то, что кто-нибудь из его знакомых отъехал, заболел или умер, что такие случайности не должны иметь влияния на численность гостей в дни его приемов», что «общая цифра народонаселения известна Петру Яковлевичу и что, соображаясь с нею, он, независимо от всяких других расчетов, должен полагать себя вправе ожидать в эти дни соответствующего контингента гостей». Однажды довольно поздно, когда все уже съехались (Чаадаев принимал по утру), я вместе с Герценом стоял перед окном, мимо которого гости должны были проезжать. Проехал какой-то извозчик без седока. Герцен, увидев его, сказал: «Ездили, ездили экипажи с гостями, наконец, пустые извозчики стали ездить». Кто-то как-то заметил, что общество, встречаемое у Чаадаева, уже чересчур перемешано — урек совершенно справедливый. Чаадаев принимал всех почти без всякого разбора; от этого у него попадались часто люди, которых никак и пускать бы не следовало. Герцен, ни в каком случае не выдававший Чаадаева, отвечал следующей забавной шуткой: «На это нечего жаловаться: Петр Яковлевич очень любит, чтобы у него было много гостей; от этого он и пускает к себе денного разбойника графа*** и ночную тать В. И. К.¹³». Герцен чрезвычайно уважал Чаадаева. Когда последний, познакомившись с московским митрополитом¹⁴, назвал его «un aimable prince de l'église» [достолюбезный князь церкви — *фр.*], то первый, говоря со мной об этом знакомстве довольно долго спустя, сослался на это словечко. «Как, вы не забыли этого?» — сказал я. — «Я ничего не забываю, что говорит Петр Яковлевич, — отвечал Герцен, — потому что все, что он говорит, либо чрезвычайно умно, либо чрезвычайно смешно». Герцен Чаадаева никогда не звал просто по фамилии, а всегда Петром Яковлевичем¹⁵.

никакого танцмейстера*; очень рано, как того и ожидать следовало, принялся жить, руководствуясь исключительно своим произволом, начал ездить и ходить куда ему приходило в голову, никому не отдавая отчета в своих действиях и приучая всех этого отчета не спрашивать. К этому же времени не мешает отнести и начало в нем развития того эгоизма и того жестокого, немилосердного себялюбия, которые, конечно, родились вместе с ним, конечно, могли привиться и расцвести только при благоприятных для них естественных условиях, но которые, однако же, особенно тщательно были в нем возделаны, взлелеяны и вскормлены сначала угодливым баловством тетки, а потом и баловством всеобщим. Этот эгоизм в своем заключительном периоде, к концу его жизни, особенно по причине его расстроженных имущественных дел, получил беспощадный, кровожадный хищный характер, сделал все без исключения близкие, короткие с ним отношения тяжелыми до нестерпимости и был для него самого источником многих зол и тайных, но несказанных нравственных мучений. Я для того решился так резко и так рано указать на это свойство его существа, чтобы потом не иметь неудовольствия опять к нему возвращаться.

Независимо от такой пустой, забавной и своевольной личности рядом с ней возникала в нем личность другого рода, возбуждавшая интерес и уважение. Этот молодой и изящный плясун оказывался в то же время чрезвычайно умным, начитанным, образованным и в особенности гордым и оригинальным юношей. Склад его речи и ума поражал всякого какой-то редкостью и небывалой невиданностью, чем-то ни на кого не похожим. Весьма внимательно ведя свою светскую жизнь, очень занимаясь своими удовольствиями и забавами, чрезвычайно озабочиваясь своим модным положением, он вел их, однако же, с кажущеюся пышно-барскою небрежностью, с наружной беззаботностью, с теми тонкими тактом и умением, при помощи которых давал очень ясно понимать всем и каждому, что тут ничего особенного нету, что в этом ничего необычного не заключается, что эта сфера не иное что, как сфера его рождения и положения, что это его стихия, как вода — стихия рыбы, что все это делается само собой и отнюдь не составляет ни существенного, ни главного. Забота и попечение его о том, чтобы его положение светского человека никогда и никому не вздумалось смешивать с его положением исторического деятеля и мыслителя, во всю его жизнь была постоянною, а притворное равнодушие к светским успехам, только к его старости переставшее всех обманывать и морочить, было, может быть, и в гораздо большей степени, нежели предполагают, причиною чрезвычайной к нему благосклонности общества и главной в нем для света приманкою. Необыкновенная самостоятельность и независимость мышления, чудесная интуитивная

* После двадцати пяти лет, будучи лейб-гусарским офицером, словом, живя в Петербурге, он танцевать уже перестал. Однако ж сказывал мне, что иногда танцевал мазурку, которую исполнял превосходно, за что на каком-то очень модном и очень великосветском бале получил комплименты лорда Каткарта¹⁶, в то время бывшего английским послом в Петербурге, человека чрезвычайно уважаемого, сказавшего по этому случаю, что «смолоду он и сам танцевал не хуже и не меньше умел греметь шпорами».

способность с раза, одним взмахом глаза чрезвычайно верно примечать в каждом явлении то, чего веки вечные не видят другие, впоследствии произведшие феноменальное событие, кажется, беспримерное в русской истории, обозначились в нем очень рано. Только что вышедши из детского возраста, он уже начал собирать книги и сделался известен всем московским букинистам, вошел в сношения с Дидотом¹⁷ в Париже, четырнадцать лет от рода писал к незнакомому ему тогда князю Сергею Михайловичу Голицыну¹⁸ о каком-то нуждающемся, толковал с знаменитостями о предметах религии, науки и искусства, словом, вел себя, как обыкновенно себя не ведут молодые люди в эти годы и как почти всегда показывают люди, что-нибудь особенное обещающие. В шербаатовском семействе играли какое-то представление по случаю торжествования тильзитского мира¹⁹. Дело было летом и в деревне. Чаадаев ушел на целый день в поле и забился в рожь, а когда его там отыскивали, то с плачем объявил, что домой не вернется, что не хочет присутствовать при праздновании такого события, которое есть пятно для России и унижение для государства. Вскоре после аспернского сражения²⁰ ходила об нем по рукам в Москве какая-то немецкая реляция, где дело изложено было в настоящем виде. В то время, знает каждый, русский двор всячески угождал Наполеону. Реляцию, очень, впрочем, редкую, приказано было отобрать повсеместно, и так как оба Чаадаевы, тогда еще несовершеннолетние, ее имели, то за нею к ним приезжал сам полицмейстер, которому Петр Чаадаев ее и передал, поставив ему в то же время резко на вид, что недостойно русской политики раболепствовать Наполеону до такой степени, чтобы скрывать его неудачи. Я не говорю уже про мелкие столкновения, которые ему случалось иметь в семействе и в которых острый, смелый и бойкий мальчик почти всегда брал верх над важным, строгим опекуном и дядей кн. Шербаатовым. Для смеха можно прибавить, что слышал я, помнится, будто раз примирение между дядей и племянником после одной из таких ссор исполнилось каким-то хорошим обедом вдвоем в Бацовом трактире, не знаю где находившемся*. Этот Бацов трактир был тогда в большой моде; он держал общий стол, или *table d'hôte*, род обеда и до настоящей поры в Москве очень редкий и почти что не заведенный.

Наконец необходимо упомянуть, хоть бы для того только, чтобы окончательно разделаться с этими мелочами и безделицами, о необычайном изяществе его одежды. Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы его одежда была дорога**; напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что зовут «bijoux», на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неувеличимым. На

* Между университетом и Охотным рядом.

** Хотя разным портным, сапожникам, шляпных дел мастерам и тому подобным лицам он платил очень много и гораздо больше, нежели следовало, беспрепятственно меняя платье, а иногда и просто по привычке без всякого толка тратить деньги.

нем все было безукоризненно модно, и ничто не только не напоминало модной картинке, но и отдаляло всякое об ней помышление. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель²¹ и ему подобные, и потому удержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дандизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения. Граф Поццо ди Борго²², уж, конечно, более нежели компетентный судья по этому делу, узнавший Чаадаева между двадцатым и тридцатым годами, уронил следующее изречение:

— Если бы я имел на то власть, то заставил бы Чаадаева бесперемешки разъезжать по многолюдным местностям Европы с тою целью, чтобы непрестанно показывать европейцам русского, в совершенстве порядочного человека (*un russe parfaitement comme il faut*) [русский в высшей степени порядочный человек — *фр.*].

Благородная утонченность его приемов (*belles manières*), нынче с каждым днем реже и реже встречаемая, памятна всем, его знавшим. Она была до такой степени велика и замечательна, что появление его прекрасной фигуры, особенно в черном фраке и белом галстуке, иногда, очень редко, с железным крестом на груди, в какое бы то ни было многолюдное собрание почти всегда было поразительно. Этим появлением общество, хотя бы оно вмещало в себе людей в голубых лентах и самых привлекательных женщин, как бы пополнялось и получало свое закончание. Оно обдавалось, так сказать, струей нового, свежего и лучшего воздуха. То же действие, то же влияние замечалось иногда даже под открытым небом, на каком-нибудь загородном гулянье в лесу, под вековыми дубами нашего парка, в составившемся вокруг него кружке в каком-нибудь уголке бульвара... Его недоброжелатели, которых в последние годы он имел очень много, справедливо указывали, как на тень в общей картине его особы, на некоторое в ней отсутствие простоты, на излишнюю изысканность, даже, хотя в весьма незначительной степени, на чопорность и напыщенность, словом, на то, что французы зовут аффектацией*.

* Здесь, я думаю, место разъяснению в его особе одной случайности, может быть, но совершенно соответствующей достоинству исторической работы, но о которой, однако ж, в истории отдельных лиц всегда поминается. Я тороплюсь приступить к этой подробности, потому что мне хочется как можно скорее с нею развязаться. Чаадаев имел огромные связи и бесчисленные дружеские знакомства с женщинами. Тем не менее никто никогда не слышал, чтобы которой-нибудь из них он был любовником. Вследствие этого обстоятельства он очень рано — лет тридцати пяти — стяжал репутацию бессилия, будто бы происшедшего от злоупотребления удовольствиями. Потом стали говорить, что он во всю свою жизнь не знал женщин. Сам он об этом предмете говорил уклончиво, никогда ничего не определял, никогда ни от чего не отказывался, никогда ни в чем не признавался, многое давал подразумевать и оставлял свободу всем возможным догадкам. Тогда я решился напрямки и очень серьезно сделать ему лично вопрос, на который потребовал категорического ответа: «Правда или нет, что он во всю свою жизнь не знал женщины, если правда, то почему: от чьей ли правды, или по другой какой причине?» Ответ я получил немедленный, ясный и определенный: «Ты это все очень хорошо знаешь, когда я умру». Прошло восемь лет после его смерти, и я не узнал ничего. В прошлом году, наконец, достоверный свидетель и, без всякого сомнения, из ныне живущих на то единственный, которого я не имею права называть, сказывал мне, что никогда, ни в первой молодости, ни в более возмужалом возрасте, Чаадаев не чувствовал никакой подобной потребности

Перед отправлением на службу Чаадаев несколько времени слушал лекции в Московском университете вместе со своими родным и двоюродным братьями (Михаилом Яковлевичем Чаадаевым и князем Иваном Щербатовым). Из его рассказов я не сохранил никаких особенных воспоминаний об его университетской жизни²³. Он вспоминал об ней довольно редко, не без удовольствия, но и не особенно охотно. В это время образовались некоторые связи; из них были такие, которые пережили десятки годов, забытые, но не прерванные, при случае всегда готовые к возобновлению; другие, выдержавшие страшный искуc удаления, разлуки, ссылки, изгнания и каторги; была, наконец, одна, ознаменованная и славой, и страданием²⁴. Так, приятельские отношения с Иваном Михайловичем Снегиревым, столь мало понятные между людьми, друг другу вполне противоположными, пережили почти полустолетие: на похоронах Чаадаева Снегирев с глубоким чувством сказывал мне, что он самый старый из всех знакомых, провожавших покойника в вечное жилище²⁵; так, несокрушимая дружба умирающего Якушкина, после тридцатилетних нескончаемых зол, была, к умершему уже, так же жива, так же любопытна, так же баловлива, так же снисходительна, так же разговорчива, как в лучшие дни молодости²⁶, так, приязнь и самая тесная короткость с Грибоедовым²⁷, через четверть века после бедственной его смерти,

и никакого влечения к совокуплению, что таковым он был создан. Должно согласиться, что организация такого свойства в высшей степени феноменальна. Тот же свидетель прибавил, что, будучи молодым офицером, в походах и других местах, он имел слабость иногда хвалиться интрижками и некоторого рода болезнями, но что все эти рассказы никакого основания не имели и не чем другим были, как одним хвастовством. Желая еще более углубиться в этот предмет, я подвергнул свидетеля еще некоторым вопросам, но за неполучением на них ясных ответов больше ничего утверждать не смею, хотя из постоянного тона разговора Чаадаева, из различных умолчаний, из недосказанных намеков и из некоторых слухов, впрочем, совершенно на ветер и особенного внимания не стоящих, мог бы, кажется, пуститься в некоторые догадки.

Так как уже зашла об этом речь, то приведу один анекдот, собственно не имеющий никакого отношения к серьезной части рассказа, но кажущийся мне очень милым и пикантным. Одно время Чаадаев находился в особенно дружеских отношениях с одной дамой, по происхождению иностранкой, блистательной красавицей, самой благородной, великодушно-богатой крови полуденных стран Европы. За молодостью лет, я не знал этой дамы. Ее имя, которое я, разумеется, прописать не могу, в свое время было очень известно. Связь их была дружеская, исполненная умственных наслаждений, взаимного уважения и, сколько я понимаю, не лишенная сердечной искренности. Несмотря на то пустоголовые глупцы и праздношатающиеся вестовщики, как это обыкновенно бывает, видели в ней другое и другое про нее пересказывали. Желала ли дама зажать рот дурацкой болтовне, или просто хотела посмеяться, только в одно утро она сказала, заливаясь звонким смехом, одному, недавно умершему, в тот день ее посетившему ученому:

— Hier Tchaadaef est resté avec moi jusqu'à trois heures du matin; il a été singulièrement pressant, si bien qu'un instant jeus la pensée de lui céder. [Вчера Чаадаев был со мной до трех часов ночи. Он был чрезвычайно настойчив, так, что в какой-то момент у меня мелькнула мысль уступить ему.— *Фр.*]

— Mais pourquoi donc cela, madame? [Но почему же, сударыня? — *Фр.*] — спросил ученый, по специальности своего знания больше, нежели кто другой, понимавший положение.

— Mais je vous avoue, je n'aurais pas été fâchée de voir ce qu'il ferait [Я бы не отказалась посмотреть, что он будет делать.— *Фр.*].

выросла до степени исторического предания*. Впрочем, про отношения его к Грибоедову я слышал очень мало. Ранняя его кончина, предшествуемая продолжительной разлукой, была, вероятно, причиною того, что и я мало расспрашивал про их взаимные отношения, и Чаадаев мало про них пересказывал. Я запомнил только несколько смешных случаев**, происшедших в Петербурге перед самым отправлением Грибоедова в Персию, да холодное отношение, довольно долго существовавшее между Чаадаевым и Алексеем Петровичем Ермоловым будто бы по случаю несогласия насчет личности прославленного автора знаменитой комедии³⁰. Чаадаев пересказывал, будто Ермолов во дни своего величия, во дни командования на Кавказе и сношений с персидским правительством, был почему-то Грибоедовым недоволен, а потом позволил себе, уже после его умерщвления, клеветать на его нравственный характер. Будто бы в Москве, в разговоре, в довольно многолюдном обществе, он сказал, что «Грибоедов был человек черный», и тут же был Чаадаевым остановлен словами: «Кто же этому поверит, Алексей Петрович?» Если это правда, то всякий, кто помнит личность Ермолова, конечно, ни на минуту не усомнится, что такого противоречия Ермолов Чаадаеву никогда не простил. Сверх того я знаю, что, несмотря на их постоянно дружеские и ясные отношения в свете, Ермолов Чаадаева никогда недолюбливал. Несколько лет тому назад через очень близкого Ермолову человека я предлагал ему портрет Чаадаева, и это предложение он отклонил довольно неучтивым образом. Мне последовал ответ, что по случаю болезни Алексея Петровича, тогда совсем здорового, ему про то не могли сказать. Впрочем, необходимо добавить, что, кроме разномыслия в суждениях о Грибоедове, не жаловать Чаадаева Ермолов мог иметь очень много других причин.

По окончании университетских занятий пришло время определяться на службу, т. е. ехать в Петербург, потому что тогда, как, впрочем, и теперь, все себе воображали, что опричь Петербурга служить нигде нельзя. Про это отправление я ничего особенного не знаю, кроме того, что переезд пожилой тетки и молодых племянников совершился в трех кибитках. В Твери молодые люди виделись со своим знаменитым наставником, философом Булем³¹. Вероятно, мало склонный к военному званию, в то время, однако же, столько оболь-

* Мать Грибоедова, жившая очень долго, и его сестра чтили воспоминание этой короткости до конца, а его супруга, как известно, никогда надолго в Москве не бывавшая и при жизни мужа Чаадаева никогда не знавшая, по приезде с Кавказа поспешила его навестить в память связи с мужем. Это случилось около тридцати лет после смерти Грибоедова.

** Эти случаи, собственно, состоят из театральной закулисной жизни поэта, из его знакомств с тогдашними актрисами, из образа существования, очень не нравившегося его семейству, от которого оно его всячески желало отвлечь и, наконец, отвлекло, из отношений его к комику князю Шаховскому²⁸ и примечательного в себе ничего не имеют. Гораздо пикантнее, что Грибоедов, уже назначенный в Персию, перед тем как идти к министру иностранных дел, забежал к Чаадаеву в усах и на его вопрос: не сошел ли он с ума, собираясь к графу Нессельроде в таком виде, отвечал: «Что же тут удивительного? В Персии все носят усы». — «Ну, так ты в Персии их и отпустишь, а теперь сбрей: дипломаты в усах не ходят»²⁹.

стительному, он им советовал воротиться в Москву и избрать более мирное поприще. «Не ходите, господа, в военную службу,— говорил он,— вы не знаете, как она трудна». Судьба судила иначе: приехавши в Петербург, оба юноши были записаны лейб-гвардии в Семеновский полк³². Это случилось за несколько месяцев до громадных событий двенадцатого года*.

Три похода, сделанные Чаадаевым в военную эпоху последних войн с Наполеоном, в военном отношении не представляют собой ничего для него примечательного. В конце двенадцатого года он был болен какой-то страшной горячкой, где-то в польском местечке, на квартире у какого-то жида, однако же поспел вовремя к открытию военных действий в тринадцатом году. Под Кульмом³⁴ в числе прочих получил железный крест**. В четырнадцатом, в самом Париже, по каким-то неудовольствиям, перешел из Семеновского полка в Ахтырский гусарский, странствования которого и разделял (Краков, Киев и другие местности австрийских и русских пределов) до окончательного своего перевода в лейб-гусарский полк и до назначения адъютантом к командиру гвардейского корпуса Иллариону Васильевичу Васильчикову (впоследствии графу, князю, председателю государственного совета³⁵). Здесь его служба и прекратилась, увидим, при каких обстоятельствах, и никогда уже более не возобновлялась.

С выступлением русских войск за границу, с пребыванием их во время перемирия³⁶ и войны в тринадцатом году в Германии*** и особенно со днем вступления союзников в Париж для меня совпадает появление перед глазами Чаадаева той мысли, которую обозначалось и осенилось все его существование. Смутно мелькавшая перед ним в дни первого юношества, она могла, сколько я понимаю, принять плоть и кровь, осязательные, наглядные формы только при собственно-личном сравнении русского общества с тем другим обществом, которое в так называемой Европе создано вековым трудом церкви, замка и школы, т. е. не прерывающейся в продолжение столетий, со-

* В бородинский бой оба Чаадаева были подпрапорщиками и в этот день произведены стараниями Закревского (впоследствии графа, министра внутренних дел и московского генерал-губернатора), сделавшего в их пользу несправедливость и посадившего их товарищам на голову в память их какого-то родства с графом Каменским³³.

** Кроме железного креста он имел еще два других, прусский «*roug le mérite*» [за заслуги — *фр.*] и, кажется, какую-то Анну на сабле, но этих двух никогда не надевал. Все медали того времени, разумеется, он также имел.

*** Кажется, во все время перемирия Семеновский полк был расположен в Силезии, в деревне Lang Bilau. Стоянке в этой деревне я приписываю для Чаадаева чрезвычайную важность. Тут впервые охватило его влияние европейской жизни в одной из самых прелестных и самых обольстительных из ее форм. Об деревне Lang Bilau Чаадаев до конца жизни не поминал иначе как с восхищением, очень понятным всякому, кто знает различие между русской деревней и деревней Силезии или Венгрии.

вокупной дружной работой религиозных верований, вещественного могущества и знания. Сверх того, необходимо, мне кажется, добавить, что такого рода сравнение, несмотря на самоличность и ни на какую силу индивидуального мышления, не могло бы дать плода и окончательных выводов, если бы совершенно было отдельно, частно, изолированно, не окруженное, так сказать, средой самого отечества, не сопутствуемое всеми обаяниями и впечатлениями неудалившейся родины, словом, не сопровождаемое самой путешествующей Россией*

Пребывание в Париже имело в ту минуту, для иностранца вообще и для русского в особенности, смысл, которого ни прежде, ни после получить оно никогда не могло. Всякому известно, что тогда победа и завоевание успели соединить в нем на время чудеса искусств и науки почти целой Европы и что столько же изумительным, сколько и непрочным усилиям победителя полувселенной удалось, хотя на мгновение, возвести до некоторой степени свою столицу до значения столицы образованного человечества.

Если бы я хоть сколько-нибудь чтил исторические сближения этого рода, то указал бы, быть может, на первое путешествие в просвещенную Европу венчанного странника-властелина, отправлявшегося туда во всеоружии беспредельного могущества и неукротимого гнева добывать новый гражданский строй и новую государственную жизнь для своего народа, а потом, как на явление этому странствованию аналогическое и соответственное, на тот чудесный, вечно памятный, почти баснословный поход, в который сама страна как бы подъяла паломничество в чуждые земли, из которого лучшие дети русского отечества вынесли за собою в ранцах столько новых мыслей и столько несбывшихся мечтаний и в котором, по моему мнению, впервые за сверкал перед жадными познания очами Чаадаева новый, небывалый взгляд на протекшую жизнь России... Затем я предоставил бы каждому обсудить, насколько плодотворнее, насколько богаче последствиями, насколько глубже и обширнее смыслом и значением было правильное, обдуманное, державное шествие странствующего царства сравнительно с прихотливым, безотчетным, изолированным, индивидуальным скитанием деспотического произвола³⁷.

Я дошел теперь до времени самого счастливого, самого удачного и последнего пребывания Чаадаева в Петербурге.

После упомянутых мною странствований с Ахтырским полком за границей и по юго-западным местностям Российской империи, где он имел случай довольно коротко узнать не совсем еще исчезнувшую тогда жизнь польских магнатов, перейдя в лейб-гусары, он поселился сначала в Царском Селе, где, кажется, с незапамятных времен расположен лейб-гусарский полк, а назначенный адъютантом к Васильчикову — в самом Петербурге. Это случилось около 1817 и продолжалось до 1821 года. Его положение служебное и общественное было во

* «Une armée hors des frontières, c'est l'état qui voyage» [Армия в походе, это — путешествующее государство.— *Фр.*], — сказал, помнится, старый Наполеон.

всех отношениях великолепное и многообещающее. Молодость заканчивалась, и можно утвердительно сказать, что никогда и никому на своем прощальном закате она приветливее не улыбалась.

Храбрый, обстрелянный офицер, испытанный в трех исполнинских походах, безукоризненно благородный, честный и любезный в частных отношениях, он не имел причины не пользоваться глубокими, безусловными уважением и привязанностью товарищей и начальства*; обладая преимуществами прекрасной наружности, кроме чего другого, сделался еще известен по гвардейскому корпусу прозванием «le beau Tchaadaef» [красавчик Чаадаев — *фр.*], данным его сослуживцами; чрезвычайно способный играть видную роль в обществе, созданный для великосветской жизни, он очень скоро вступил в связи и знакомства, которых я думаю в его годы и в его чинах ни после, ни прежде никто не имел, и овладел таким значением, которому равно, при одинаковых условиях, никто не запомнит**; замечательно образованный, начитанный, ученый, чрезвычайно находчивый в разговоре и гениально-умный, он вошел в круг ученых, литераторов и художников и, сам ничего не сделавши, только на основании ума, любезности и, думаю я, необычайной меткости, верности и неожиданности критической сметки, успел завоевать место в «задорном цехе». Не было в России сильного аккредитованного лица, которое бы за честь себе не почло в то время способствовать его служебным успе-

* Это уважение было так велико, что без малейшего затруднения и без всякого нареkania он мог отказаться от дуэли, за какие-то пустяки ему предложенной довольно знатным лицом, приводя причиною отказа правила религии и человеколюбия и простое нежелание; все это, подтверждаемое следующим размышлением в виде афоризма: «Si pendant trois ans de guerre je n'ai pas pu établir ma réputation d'homme comte il faut, un duel, certainement, ne l'établira pas» [Если в течение трех лет войны я не смог создать себе репутацию порядочного человека, то, очевидно, дуэль не даст ее. — *Фр.*].

** Не говоря уже про его близкие отношения с людьми, занимавшими высшие государственные должности или почему-нибудь пользовавшимися какими-нибудь исключительными беспримерными преимуществами, с князем Кочубеем и Карамзиным, например, высокое положение которых, одного как министра, другого как прославленного писателя и историка, обоих как личных искренних друзей государя, принадлежат истории³⁸, даже люди, вообще известные дикостью и звероподобием нравов, брутальностью обхождения, смирились и делались кроткими, входя в сношения с Чаадаевым. В Петербурге находился в то время многим памятный, довольно сильный и влиятельный по самому себе и по значительным связям тайный советник, статс-секретарь и президент Академии художеств³⁹. Я не занимаюсь оценкой его личности и приводимым здесь случаем не желаю бросать на нее никакой тени. Однако же положительно про него все знали, что он ни с кем вообще не обходился иначе, как непомерно грубо и дурно, и что от него, кого он только может обругать или кому нагрубничать, никто без ругательства или по крайней мере без грубостей не уходит. В число подобных жертв, как мне сказывали, включались и все, без исключения, его домашние. Раз в какое-то утро, да еще и не по очень важному делу, Васильчиков прислал к нему своего адъютанта Чаадаева. Вот рассказ об этом свидании достоверного свидетеля:

«Таких адъютантиков и офицериков к нам всякий день ездало без числа, и всем им прием был весьма неласковый, а почасту и брань. Представьте же себе мое удивление: входит Чаадаев. Статс-секретарь, правда, его не посадил, но зато сам встал и разговаривал с ним стоя, сколько тому было нужно, как с себе подобным, а прощаясь, подал руку и проводил до дверей кабинета: я остолбенел».

хам, и не было, вероятно, столько высокого предела, куда с некоторой основательной и благоразумной надеждой не могло бы возносить взглядов его честолюбие. Наконец, он был замечен лично самим государем, и носились слухи, что император прочит его к самому себе в адъютанты при первом удобном случае. Государь, почасту встречаясь с Чаадаевым, ронял ему иногда несколько приветливых слов и всегда ту милостивую, кроткую, благодушную, знаменитую по всей Европе улыбку, оставшуюся неразлучною с воспоминанием о Благословенном. По своему же положению при командире гвардейского корпуса с великими князьями он был давно знаком, и с двумя из них, Константином* и Михаилом, сохранил отношения и после службы до своих московских прегрешений⁴⁰, на довольно продолжительное время от него отдаливших большую часть знакомств с официальным характером**.

Достоверный, неопровержимый свидетель в этом случае, везде и во всем более строгий, нежели пристрастный судья Чаадаева — женщина, которой нет причины не назвать. Катерина Николаевна Орлова⁴², дочь прославленного Раевского и жена того любимого адъютанта Александра I, которому 19 марта 1814 года довелось заключить одну из самых громких на свете капитуляций и, конечно, самую славную во всей русской военной истории, условие о сдаче Парижа, — знавшая как свои пять пальцев все тогдашние положения петербургского общества, сказывала мне, что в эти года Чаадаев со своими репутацией, успехами, знакомствами, умом, красотою, мод-

* Великого князя Константина Павловича он почему-то считал своим благодетелем и чрезвычайно чтил его память до конца жизни. Про это я буду говорить еще.

** Меньше всех он был знаком с великим князем Николаем Павловичем. Однако же многие помнили, что и он оказывал Чаадаеву особенное расположение, на которое, как известно, и будучи еще великим князем, Николай Павлович быть особенно тароватым никогда не любил. Чаадаев пересказывал, что раз в манеже великий князь Николай застал его обучающим лошадь для фронта и сейчас же милостиво спросил: зачем учить лошадь не водит в собственный его манеж в Аничковом дворце? На полученный же ответ, что в манеже, принадлежащем члену царского семейства, гораздо стеснительнее, что, например, надобно быть непременно в форме, великий князь будто бы весело возразил: «Quelle idée, mon cher, entre nous, allons donc, vous viendrez, comme vous voudrez, vous viendrez, en bonnet de police!» [Что за мысль между нами, мой дорогой! Приходите хоть в полицейской фуражке! — *Фр.*] В последние же годы царствования Николая I, а следовательно, и в последние годы жизни Чаадаева, по миновании и по забвении вещей, могших возбуждать на него гнев или неудовольствие государя, на бале у московского генерал-губернатора император будто бы, вошедши в залу, первого для себя короткого человека встретил графа Павла Дмитриевича Киселева⁴¹, с которым в то время находился Чаадаев. Государь остановился с Киселевым и начал с ним продолжительную беседу, перед чем, однако же, предварительно с Чаадаевым поздоровался со словами: «Здравствуй, Чаадаев» и легким наклоном головы. Чаадаев в это время, разумеется, отступил шага на два назад, а государь, продолжая разговор с Киселевым, будто как бы в доказательство того, что говорил, несколько раз указывал на него рукой, произнося: «Да вот, спроси хоть у Чаадаева». Этот случай пересказывал мне сам Чаадаев, а я ему всю веру не иначе как с большою осмотрительностью и не совсем охотно, принимая в соображение как личный характер горделивого императора, тогда стоявшего на апогее своего величия — это было незадолго до Крымской войны, — так и то очень немаловажное обстоятельство, что в это время со дня их последнего свидания прошло немного больше двадцати пяти годов.

ной обстановкой, библиотекой*, значащим участием в масонских ложах был неоспоримо, положительно и без всякого сравнения самым видным, самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге.

В этот период жизни Чаадаева, который я теперь обрабатываю, особенному рассмотрению подлежат два главных случая, резко от всего другого отделенные и резко очерченные: *знакомство и приязнь с Пушкиным*, вероятно, самая сильная, глубокая и дорогая дружеская связь, которую когда-либо и с кем-либо имел наиболее великий, наиболее прославленный и наиболее гениальный из всех русских писателей, и *семеновская история*, в которой косвенное участие, Чаадаевым принятое, влияло на него неисчислимыми последствиями, навсегда закрыло ему служебное поприще, всецело изменило и перевернуло весь смысл его существования, все условия его жизни и дало им совершенно иное, неведомое направление.

И то и другое обстоятельство, по моему мнению, вследствие многих причин, исчисление которых я нахожу вконец бесполезным и в рамы моей задачи вовсе не входящим, до сей поры видели в свете превратном и отчасти искаженном, руководствуясь побуждениями, с желанием отыскать правду ничего общего не имевшими. И то и другое изображали на основании своих личных взглядов, потребностей, пристрастий и предубеждений в ту или другую сторону, иногда на основании духа партий и их привязанностей или ненавистей. Второе же обстоятельство, его участие в «семеновской истории», запутано сверх того вымыслами и клеветами, имевшими в виду то оправдание, то обвинение различных лиц, смотря по настоянию нужды каждого, так что познание истинного положения дела не может быть добыто иначе как по критическом соображении различных противоречащих слухов и обстоятельств. Я постараюсь и то и другое уяснить и изложить в том виде, в каком, по моему крайнему разумению, они были.

Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском Селе между офицерами полка и воспитанниками недавно открытого Царскоевельского лицея образовались непрестанные, ежедневные и очень веселые сношения. То было, как известно, золотое время лицея, взлелеянного высокой царственной заботой и во главе имевшего Энгельгардта, человека и по сию пору еще не оцененного в летописях русской педагоги⁴³. Воспитанники поминутно пропадали в сенокосных садах державного жилища, промежду его живыми зеркальными водами, в тех тенистых вековых аллеях, по счастливому выражению про другую местность современного поэта-историка**,

* Эта библиотека, в которой, говорят, есть некоторые библиографические редкости, перед его отправлением в заграничное путешествие, до которого скоро дойдем, была продана князю Шаховскому и ныне находится в имени его сына в Серпуховском уезде.

** Ламартин в «Истории жирондистов»⁴⁴.

«далеких и обширных, как царские думы», иногда даже в переходах и различных помещениях самого дворца*... Шумные скитания шеголевой, утонченной, богатой самыми драгоценными надеждами молодежи очень скоро возбудили внимательное, любопытное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатического благоволения охарактеризования. Юных, разгульных любомудрцев он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками». Прозвище было принято воспитанниками с большим удовольствием, но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько тот, которому впоследствии было суждено сделаться неоцененным сокровищем, лучшею гордостью и лучезарным украшением России.

Дружбу Пушкина с Чаадаевым рассматривали до сих пор различно и, можно сказать, двояким образом. Большинство в ней больше ничего не видало как только рекомендацию для одного Чаадаева, т. е. оно допускало некоторое значение в Чаадаеве настолько лишь, насколько его знал Пушкин. Вне отношений с Пушкиным, с точки этого воззрения, Чаадаев сам по себе терял всякий смысл, всякую благоразумную причину к бытности и превращался к несуществующую величину. Меньшинство**, напротив того, воздвигало Чаадаева каким-то наставником и даже создателем великого поэта русской земли, его воспитателем и пестуном, на него бесконечно влиявшим, недремлющим провидением, которое его образовало, укрепило и двинуло на великое служение, а в роковое мгновение страшной опасности окончательно спасло и сохранило. Словом сказать, это мнение буквально приняло на веру и себе усвоило пушкинские комплименты Чаадаеву, щедро рассыпанные в разных местах сочинений и особенно в знаменитом послании***.

* Сюда можно отнести анекдот очень потешный и вообще малоизвестный. Один раз под вечер, когда все кошки делаются серыми, Пушкин, бега по какому-то коридору, наткнулся на какую-то женщину, к которой пристал с неосмотрительными речами и даже, сообщают злоязычники, с необдуманными прикосновениями. Женщина подняла крик и ускользнула, однако же успела рассмотреть и узнать виновного. Она была немолода, некрасива и настолько знатна, что слух об этом маленьком происшествии дошел до ушей самого государя. Государь, недовольный шалостью одного из воспитанников своего любимого лицея, приказал немедленно Пушкина высесть. Энгельгардт этого приказа не исполнил. Известно, что при императоре Александре I мучно было иногда повелений такого рода не выполнять, а потом за слушание получать благодарность. Слух же про крошечный скандалчик разнесся по Царскому Селу, и раздражительный поэт почтил пожилую девушку следующим французским четверостишьем, в котором, мне кажется, уже вполне проглядывают столько впоследствии известные и грозные пушкинские когти:

On peut très bien, mademoiselle,
Vous prendre pour une maquerelle,
On pour une vieille guenon:
Mais pour une grâce,— oh, mon Dieu, non!⁴⁵

** В этом меньшинстве должно считать и самого Чаадаева, и надо признаться, что если пребывание его в рядах этого меньшинства ни под каким видом и ни в каком случае оправдано быть не может, однако ж объясняется и до некоторой степени извиняется как его огромным самолюбием и тщеславием, так и тем, что он сам себя с очевидной добросовестностью и в сердечной простоте обманывал и ослеплял.

*** Это послание слишком известно и слишком длинно, чтоб приводить его. Тем не менее я его помещу в особенном приложении. См. приложение № 1⁴⁶.

По-моему, одинаково трудно решить, который из этих двух взглядов ошибочнее, сколько положительно и несомненно, что они оба, если бы могли быть справедливыми и верными, были бы до крайней степени оскорбительными и обидными для памяти обоих деятелей. Слава и личность каждого из них понесли бы значительную убыль и невознаградимый ущерб, если бы такие воззрения могли иметь хотя тень основательности.

Первый взгляд, собственно, не заслуживает серьезного опровержения. Как ни велик был гений Пушкина, не настолько же он был могуществен, чтобы из ничтожества создать памятного человека. В числе прочих высоких свойств, отличавших Пушкина, резко выказалось в целой его жизни то, что французы зовут «*religion, culte de l'amitié*» [религия, культ дружбы — *фр.*], религия дружбы, почтение к старым привязанностям молодых годов, уважение памяти минувшего, верность узам, уже охладевшим и иногда, может быть, недостойным, сохраняемая не столько по сердечному влечению или их разумной потребности, сколько по привычной обязанности, один раз хорошо или дурно созданной. Таких связей он имел очень много, что, кроме изустного предания, доказывается еще огромным количеством его «посланий». Почему же ни одной из них он не мог возвести на ту степень исторического значения, которую имеет его дружба с Чаадаевым? Почему же имена тех, которые были предметом такого рода связей, делаются мало-помалу неизвестными потомству и постепенно предаются забвению немногими оставшимися современниками*.

* Религия дружбы была так велика в Пушкине и так присуща его существу, что некоторые думали даже объяснять продолжительность его привязанности к Чаадаеву этим чувством, говоря, что иначе невозможно было понять столько коротких искренних отношений между людьми, до такой степени противоположными и убеждений совершенно различных. Надобно добавить, что это говорили люди, Чаадаев не очень доброжелательствовавшие, и что Пушкин не успел высказать своих мыслей по поводу раздражительного прения, Чаадаевым возбужденного⁴⁷. Очень легко быть может, что своей смелой и блистательной инициативой Чаадаев еще более поднялся бы и вырос в его глазах. Поле догадок насчет того положения, которое он мог бы принять, широко: если сомнительно, чтобы он вполне разделил чаадаевские мнения, то более нежели вероятно, что с частью их он бы согласился, а остальное, может быть, и отвергнул бы, но все же не иначе как с полной осторожностью и с должным глубоким уважением. Так по крайней мере поступили люди, по духовному закалу наиболее Пушкину тождественные и, сверх того, с Чаадаевым вполне несогласные, убеждений диаметрально противоположных, каковы Орлов (Михаил Федорович), Герцен, Киреевский (Иван Васильевич)⁴⁸ и многие другие. Странного, чтобы не сказать больше, объяснения, что Пушкин любил и уважал Чаадаева по какой-то нравственной обязанности, конечно, никто бы и не стал выдумывать, если бы знал или потрудился вспомнить, какие по своему существу были их отношения. В «письмах» Пушкина и к таким лицам, которых не было ему причины не уважать, проглядывает почасту какое-то ухарство и даже озорство, очевидно, заимствованные и не совсем шедшие к его личности, страстной и пламенной, но в то же время, как и все великие натуры, важной, простой, скромной, гениально-застенчивой. Ничего подобного, во всю его жизнь, нет ни в одном слове, сказанном Чаадаеву. Сверх того, некоторых из своих стихотворений, которыми поэт никакой причины не имел гордиться, хотя они, однако же, в свое время способствовали распространению его известности в определенном круге, он Чаадаеву никогда не сообщал, может быть, опасаясь его укора и, уж наверное, находя их недостойными столько уваженного и дорогого суда.

Видеть же в Чаадаеве создателя и воспитателя величайшего из русских писателей, находить, что явлением Пушкина Россия обязана Чаадаеву, значит впасть в ошибку исторического несмыслия и в грех исторического богохульства, потому что такой чести один человек, какой бы он ни был, никогда и нигде на целом земном шаре не заслуживал и, по счастью, никогда заслужить не в состоянии. Явления, подобные Пушкину, не создаются отдельными лицами; их от своих неизреченных и неисчерпаемых щедрот дарует только господь бог да творят история и народы.

В чем же, наконец, спросят, состояло существо этой дружеской приязни? В простом общении двух отличных умов, самим естеством и самую природою созданных для этого общения. Я готов согласиться, что оба друга имели полное право взаимно гордиться своей связью, но ни под каким условием и ни в каком случае не могу допустить, чтобы один все дал другому, не получая ничего в обмен, и наоборот. В данном разе, не говоря уже про его совершенную физическую невозможность для которого-нибудь из двух, а, быть может, и для обоих, дружба была бы унизительною и вместо стройного, прекрасного согласия двух изысканных, изящных организаций представила бы собою жалкое зрелище игры и страдания самых нехороших страстей, присущих человеку, тщеславия и себялюбия. Таково было всемирно известное отношение Шиллера и Гете; никто, однако ж, не вздумал утверждать, что один из них другого создал. Конечно, Пушкин и Чаадаев, Чаадаев и Пушкин влияли друг на друга в силу столько же обыкновенного, так сказать, простонародного, сколько и непреложного закона, что *«люди людьми живут»*, но из этого закона ни для кого на свете никаких особенных и необычайных последствий не вытекает.

Перевес влияния в первую эпоху их знакомства был, я думаю, на стороне Чаадаева и, может быть, навсегда таковым остался, как по причине превосходства в годах, чарующего военного предания, правда, недавнего еще, но уже успевшего сделаться волшебным и обаятельным, и необыкновенной, даже и для такого человека, как Пушкин, обольстительной светскости, так и по другому еще поводу, сколько мне помнится, по сию пору никем не указанному. В моих понятиях Чаадаев был самый крепкий, самый глубокий и самый разнообразный мыслитель, когда-либо произведенный русской землей; Пушкин самый великий ее поэтический гений: светозарный гений поэзии, доверчивый, восприимчивый, исполненный радости, этой «божественной искры», ясности и веселия, охотно подчиняется величаво-сумрачному гению мысли, пытливому, ничего на веру не принимающему, обуреваемому сомнением, недоверием и подозрительностью, обильному путями страдания и скорбного мученичества. Впрочем, поэт, может быть, и не совсем преднамеренно, но с свойственными ему верностью и точностью наметнул на свое тайное чувство и, как всегда, мастерски его охарактеризовал одним словом. В вышеупомянутом «послании»⁴⁹ он говорит, с каким удовольствием увидит кабинет, где Чаадаев:

Чтобы сделать окончательный вывод и, так сказать, подвести итог значению этой исторической дружбы, я назову ее светлым, прекрасным эпизодическим явлением в жизни обоих, делающим величайшую честь и тому и другому, достойным для каждого из них сделаться предметом справедливого, законного превозношения, а что еще несравненно важнее, предметом умиленного, сладкого, отрадного воспоминания про лучшую пору жизни и почетной, благородной, блещущей меткой пережившему для последующих поколений; но далее этого я не могу идти даже на пространный, занимаемое тончайшим волосом. Эпизод в художественном создании, как бы прекрасен он ни был, всегда останется только эпизодом. Без нарушения изящества целого он может быть выкинут или отброшен. Пушкин и Чаадаев, Чаадаев и Пушкин — если бы никогда не видали друг друга и никогда ничего друг про друга не слышали, не меньше бы оттого остались значительными и памятными, не меньше были бы честью и гордостью России, духовными столпами и нравственной опорой отечества, этой защитой в дни несчастья и роковых испытаний, самой крепкой и самой верной из всех защит на свете. Я не могу допустить, чтобы их существования, того или другого, были бы неполны или несовершенны, если бы они не повстречались на жизненной дороге.

Такова, мне кажется, была эта связь. Она еще более усилилась и получила новую жизнь от одного чисто случайного обстоятельства, в котором Чаадаев имел случай и счастье оказать Пушкину важную услугу, не настолько, впрочем, значительную, насколько ее преувеличили, сначала сам Пушкин, а потом с его голоса и другие. Уже давно известно, что благодарность — добродетель, свойственная только душам самым возвышенным и, прибавим, умам самым сильным; слишком обременительное и не по силам для обыкновенных ежедневных организаций, в духе великом и в уме могущественном, уже по самому своему существу способном к преувеличению, это благородное и изящное чувство экзальтируется иногда до невообразимых размеров, до невероятной степени и их постоянно питает, возвышая их в их собственных глазах. Чего же удивительного, что так случилось с Пушкиным, столько богато, разнообразно, расточительно наделенным самыми счастливыми духовными дарами? Чего же удивительного, что в силе и значении полученных им публичных от поэта комплиментов никто не сравнялся с Чаадаевым? Чего, наконец, удивительного, что, чувствуя себя обязанным, Пушкин не находил для Чаадаева никакого изъявления слишком лестным, ни даже, может быть, вполне достойным**

* Конечно, бывают, и весьма часто, дружеские отношения, вовсе не исключющие иногда очень большого друг к другу уважения, основанные совсем не на чисто интеллектуальных началах, а на других, более суетных и мирских, например, на совокупно-веселой и даже разгульной жизни; но про такого рода связь между Пушкиным и Чаадаевым не может быть и речи.

** Кроме не один раз цитированного «послания» вот, например, какими стихами Пушкин почитал Чаадаева:

Знаменитая услуга, в которой Чаадаев *в минуту гибели поддержал* Пушкина над потаенной бездной, когда он, как PROVIDENCE, его спас и окончательно сохранил для России, состояла вот в чем. Так называемыми возмутительными стихами, которыми, как известно, так богата первая половина поэтической карьеры Пушкина, и разного рода либеральничаньем*, он раздражил против себя сильных земли настолько, что уже состоялось повеление его удалить на ссылку в соловецкий монастырь. Чаадаев, сведавши про это, не теряя ни минуту, бросился к Карамзину, и притом пришлось это в такой час, когда тот работал над своим историческим трудом, когда его никто не смел беспокоить и никто к нему не допускался. Чаадаев прорвал все препятствия и Карамзина увидел; представил ему все возможные соображения, по которым он нравственно обязан принять на себя ходатайство за Пушкина перед государем; поставил ему на вид, что даже неблагоприятно будет для славы самого императора подвергнуть подобной ссылке и подобному заключению такой драгоценный залог надежды и славы отечества — и успел склонить, вероятно, и самого по себе уже к тому доволь-

Я погибал... святой хранитель
Первоначальных, юных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей,
Ты утолила непогоду,
Ты сердцу возвратила мир,
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!⁵⁰

Здесь я также хочу упомянуть о том, что первому знакомству государя Александра I с сочинениями Пушкина способствовал Чаадаев, и об надписи к чаадаевскому портрету, Пушкиным сделанной. Быстро возрастающая известность Пушкина достигла до царского слуха. Государь пожелал прочесть что-нибудь из его произведений и для этого обратился к Васильчикову, который, со своей стороны, зная близкие отношения с поэтом своего адъютанта, возложил на него исполнение государевой воли. Для такого почетного прочтения была подвергнута августейшему вниманию известная пьеса «Деревня» или «Уединение», в которой поэт призывал только в царствование Александра II приведенное в исполнение уничтожение крепостного права, та самая, в которой следующие стихи:

Увижу ли когда народ освобожденный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?⁵¹

Портрет, под которым Пушкин сделал собственноручную надпись (я никогда не видал этого портрета и не знаю, куда он девался, но знаю очень хорошую с него копию), изображает Чаадаева, впоследствии совершенно лысого, в великолепных каштановых кудрях, самих собою вьющихся, в мундире Ахтырского гусарского полка. Вот эта надпись, сколько мне помнится, ни разу еще не бывшая напечатанною в России:

Он вышней волею небес
Рожден в окопах службы царской:
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

* Не занимаясь прямо биографией поэта, я не нахожу надобности пространно излагать подробностей, прямо до него относящихся.

но склонного Карамзина к употреблению в этом случае своего ходатайства, своего кредита и своего нравственного влияния. Гражданское мужество Карамзина не подлежит никакому сомнению и выше всяких подозрений: стоит только вспомнить его письмо к государю о «польском деле»⁵² и весь образ его поведения, по благородству и чистоте, может быть, не имевший себе ничего равного в русской истории, в отношениях с своим императором и другом, которого по кончине последнего он называет в одном из своих писем «милым приятелем». Потом, говорят, но этого я положительно не знаю, в дело вмешался своим заступничеством граф Каподистрия⁵³. Последствия известны. Пушкин вместо соловецкого монастыря был сослан на Кавказ, а потом в новороссийский край, где употреблен на службу, откуда возвращен в царствование Николая I⁵⁴.

Слышал я еще, но помещаю это здесь в качестве не достоверно мне известного анекдота, будто государь, не знаю через кого, через графа ли Милорадовича⁵⁵, или через Карамзина, приказал потребовать от Пушкина обещания не писать возмутительных стихов по крайней мере в продолжение некоторого времени и что к выдаче обещания склонял его Чаадаев. Пушкин будто бы такое обещание дал на один год и сдержал его твердо. Ровно через год он прислал известное стихотворение «Кинжал»⁵⁶.

Вот во всей подробности и без малейшего умолчания та услуга, которую Чаадаев оказал Пушкину и которую впоследствии многие не запнулись назвать огромною и невознаграждимою. Рассматривая ее хладнокровно, беспристрастно, положая руку на совесть, должно признаться, что, делая Чаадаеву величайшую честь, она ему не стоила ни больших пожертвований, ни даже больших хлопот. Если бы вместо Карамзина Чаадаев нравственным влиянием на Васильчикова его заставил быть заступником перед государем — я вполне сознаю, что это было бы вовсе некстати и гораздо меньше сообразно с целью, — то, разумеется, исполнение дела было бы несравненно затруднительнее и, следовательно, заключало бы в себе несравненно более заслуги. Но подвигнуть Карамзина, самого писателя, человека, хорошо понимающего достоинство и значение литературных преступлений, сверх того всегда имевшего у государя свободный доступ и свободную речь, не представляло ужасающей непреодолимости. Можно сказать, что то, что Чаадаев сделал, он обязан был сделать, и прибавить, что было оно сделано, как и все почти, что он делал, отменно ловко, кстати и вовремя. Да и в подобном случае можно ли было ожидать меньшего от такого человека и от такого друга, как Чаадаев? И если бы он ничего не сделал или сделал меньше, не пало ли бы то на него жестоким осуждением? Так же, как и про всю целост их дружбы, и про этот ее эпизод мне приходится сказать, что он равно почетен для них обоих и едва ли что может прибавить к достоинству каждого.

Наконец, что касается до прямых практических результатов услуги, то невозможно отрицать, что они достигли очень большой цели и были очень велики. Хотя Пушкин и не был совершенно

помилован, однако ж мера наказания понесла коренное и почти целостное изменение. Говорят, что его гений окреп, возму- вырос и вдохновился при виде и под сенью гордых, независи- девственных кавказских гор и прекрасных берегов Тавриды. Я это- му не верю. Гениальный человек извлекает свой гений только из глубины своего духа и его вырабатывает одними своей душой и своим сердцем, одними могуществами собственного индивиду- ального существа*. Само собою разумеется, что при этом он и по- своему пользуется окружающей его случайной обстановкой. Да если бы и правда было, что вид Кавказа имел такое действие и такое влия- ние на развитие дарований Пушкина, то несомненно, что вид иной природы, с иными чудесами и обаяниями, вид седого гнев- ного Беломорья, северных сияний и других явлений полунощного края не меньше был бы влиятелен и вдохновителен. Природа во всех странах и во всех поясах земного шара одинаково удивительна, одинаково волшебна, одинаково чарующа, везде одинаково питает существо, способное читать в этой непонятой, непостижимой и не- притворной книге. Но — сравнивать ужасы заточения на пустынном и неприветном острове, среди дикого народонаселения святош, ханжей и изуверов, с почти свободным удалением в самые благодат- ные страны России, с почти приятным и веселым даже, если бы оно было добровольное, путешествием — конечно, никому не придет и в голову.

Подробный пересказ о «семеновской истории», разумеется, не может войти в пределы моего предмета. Сверх того, для него он вовсе и не нужен.

Для общего уразумения дела достаточно знать, что солдаты Семеновского полка отказали в повиновении своему полковому команди- ру. Известно, что никаких других демонстраций они не делали. Столько же не подлежит сомнению, что неповиновение солдат име- ло источником постоянное неудовольствие, существовавшее между корпусом офицеров и полковым командиром, и очевидное подстре- кательство солдат офицерами против своего общего началь- ника⁵⁸.

Полковой командир, как известно, был назначен самим госуда- рем и состоял под особенным его покровительством. За несколько времени до окончательного обнаружения беспорядка офицеры при- ходили к полковому командиру изъявить ему свое нежелание слу- жить с ним вместе и просить его полк оставить, что он им было и обе- щал, но чего, однако же, не исполнил.

Понятно, что мне ни на минуту не может войти в голову мысль су- дить, правы или виноваты, и если виноваты, то насколько именно,

* «Кто в самом себе не имеет обеспеченности, тому ни к чему не послужит упадать на берегах Гангеса», — сказал, помнится, Шатобриан в своих «Загробных записках»⁵⁷. Есть русская прекрасная пословица, выражающая ту же самую мысль: «Не найдешь в себе, так не найдешь в селе».

были офицеры; но мне необходимо установить факт, что солдат против полкового командира они возбуждали.

Покойник Якушкин по возвращении из Сибири пересказывал мне лично, что с тех пор, как на свете существуют армии, никогда и нигде не было во всех отношениях полка более прекрасного, как Семеновский в это время; и что тем неоспоримо были обязаны стараниям, заботам, глубокому, гуманному чувству, преданности к долгу и самоотвержению офицеров. При всем почтении к едва не замозгиленным словам мученика, очень мудро понять превосходную организацию военной машины, в которой средние деятели постоянно ссорят нижних с макушкой, говоря иначе, превосходство такого полка, в котором корпус офицеров, состоя в самых натянутых и нехороших отношениях с полковым командиром, непрерывно озабочивается в такие же с ним поставить и солдат. Впрочем, административные и политические соображения иногда бывают настолько непонятны и спутаны, побудительные причины действий настолько разнообразны, тайные пружины настолько невидимы, что, не зная твердо и хорошо общей целостности подробностей, нет никакой возможности составить себе об них ясного, определенного понятия. В истории бывали примеры таких неизъяснимостей, и притом в размерах несравненно более обширных.

Вспомним, например, не так еще отдаленные и, вдобавок, при полном разгаре войны совершавшиеся возмущения английских флотов⁵⁹ — по недавнему свидетельству, единственный случай во всем его исполненном трудностей и бурных потрясений поприще, тревоживший сон того великого министра*, который в то время правил Англией, может быть самого удивительного из всего августейшего сонма произведенных английской страной государственных людей; те возмущения, в которых так страшно, упорно и настойчиво шла борьба с своим правительством, так мужественно, так непоколебимо поддерживалась честь национального флага, так строго соблюдалась дисциплина, так высились во весь неизмеримый рост английского народа его любовь к отечеству и гордость британским именем**.

Чаадаев очень часто мне сказывал, что Васильчиков и другие генералы, уговаривавшие солдат, могли бы достигнуть цели, если бы взялись за дело способнее и сведущее. Он сказывал, что, ехавши на место с Васильчиковым, говорил ему в карете: «Général, pour que le soldat soit ému, il lui faut parler sa langue» [Генерал, чтобы солдата проняло, с ним надо говорить его языком. — *Фр.*], на что получил в ответ: «Soyez tranquille, mon cher, la langue du soldat m'est familière, j'ai servi à l'avani-garde» [Будьте спокойны, дорогой мой, я привык к солдатскому языку, я служил в авангарде. — *Фр.*], и что потом, через час спустя, когда дело дошло до уговариванья, тот же Васильчиков и бывшие тут генералы порывами неуместного гнева и

* Уиллиама Питта⁶⁰.

** При этом невозможно, однако, не взять во внимание различия образования низших сословий, существующего между Англией и Россией.

языком, солдату непонятным, только дело испортили и солдат пуще раздражили.

Этот маленький случай я выдаю за то единственно, чего он стоит. Чаадаев во всех обстоятельствах своей жизни очень любил утверждать, что дело тем испортили, что его не спросились или не послушались, и весьма охотно всякого рода чужие неудачи приписывал одной только неспособности исполнителей. Так впоследствии утверждал, что, живи он в Петербурге во время предсмертной дуэли Пушкина, Пушкин никогда бы не дрался, а следовательно, и избегнул бы не самой лучшей из страниц в своей жизни и им, Чаадаевым, вторично был бы спасен для России.

Как бы то ни было, когда дело окончательно разъяснилось и когда приобретена была уверенность, что солдаты от послушания положительно отказываются, с ними были приняты меры, до моего рассказа не касающиеся, а государя, в то время в Петербурге не находившегося, надобно было уведомить.

Государь, как известно, находился на конгрессе в Троппау.

Васильчиков с донесением к государю отправил туда Чаадаева, несмотря на то, что Чаадаев был младший адъютант и что ехать следовало бы старшему*.

Чаадаев, отправляясь в Троппау, получил инструкции, разумеется, от Васильчикова и, сверх того, еще от графа Милорадовича, бывшего тогда петербургским военным генерал-губернатором**.

После свидания с государем, по возвращении из Троппау в Петербург, Чаадаев очень скоро подал в отставку и вышел из службы.

Причина такой неожиданной неприятной развязки была будто бы та, что сначала Чаадаев, без нужды мешкая в дороге, приездом в Троппау опоздал. Австрийский курьер, отправившийся к князю Меттерниху⁶¹, выехал из Петербурга в одно с ним время и поспел прежде. Известие о «семеновской истории» австрийский министр узнал прежде русского императора. В день приезда своего курьера князь Меттерних обедал вместе с государем и на его слова, что «в России все покойно», довольно резко возразил ничего не знавшему императору: «Excepté une révolte dans un des régiments de la garde impériale» [Кроме волнений в полку императорской гвардии.— *Фр.*]. Наконец, будто бы и после всего этого Чаадаев очень долго не являлся, занимаясь омовениями, притираниями и переде-

* Говорят, будто бы старший адъютант с горя, что не он был послан, застрелился. Впрочем, это неверно: по другим слухам он совершил самоубийство от семейных обстоятельств. Кроме его было еще несколько лиц, которых можно бы было и даже следовало послать прежде Чаадаева. Но Васильчиков предпочел его.

** Не могу удержаться, чтобы не привести здесь забавной подробности из разговора Чаадаева с графом Милорадовичем, содержания которого я, впрочем, не знаю, точно так же, как и содержания всех других официальных разговоров по этому бедственному делу. Их пересказывать Чаадаев всегда избегал очень заботливо и очень искусно. Прославленный герой Отечественной войны, за которым поныне сохранилось несколько напыщенное название «рыцаря без страха и упрека», имел слабость, вовсе того не умея, поминутно говорить по-французски. Свои инструкции Чаадаеву он давал на этом языке и выводил его во все время разговора из терпения самыми скучными ошибками и даже непонятливостью речи.

ваньем в близлежащей гостинице. Раздраженный государь только что его завидел, вошел в большой гнев, кричал, сердился, наговорил ему пропасть неприятностей, прогнал его, и обиженный Чаадаев потребовал отставки.

Глупую эту сказку, в продолжение довольно длинного времени очень, впрочем, укоровившуюся и бывшую в большом ходу, опровергать, собственно, не стоит. Чаадаев не опаздывал, австрийский курьер прежде его не приезжал, да и если бы и приехал и уведомил князя Меттерниха, то есть ли какая-нибудь возможность предположить, чтобы столько искусный и осторожный дипломат не догадался смолчать до времени про неприятное известие? Возможно ли себе представить, чтобы он позволил себе за столом, публично, сказать род дерзости императору Александру? Такие утверждения ниже критики. О том же, что Чаадаев еще замешкался, убираясь и одеваясь, нельзя, по-моему, и говорить серьезно. Об подобных слухах не следует допускать никакого словоупреждения: логическому разбирательству они не подлежат. Надобно родиться глупцом, идиотом, или властью во внезапное умственное расстройство для того, чтобы, будучи посланным с важным донесением к императорскому величеству, вместо того чтобы по прибытии на место как можно скорее спешить к государю, начать одеваться и чиститься.

Всего вероятнее, что вся эта нелепица придумана и распространена, довольно, впрочем, неискусно, самим Чаадаевым затем, чтобы по возможности скрыть грозную для него истину; по счастью, правда — такого рода демон, совершенное заклинание которого никогда еще не было и никогда не будет вполне возможным.

Постараюсь восстановить события, как они были.

Чаадаев прибыл в Троппау между двумя и тремя часами пополудни, прямо на квартиру военно-походной государевой канцелярии. Государь сию же минуту был извещен о приезде из Петербурга курьера, об его имени, о том, какое донесение он привез, и сию же минуту последовало повеление курьеру явиться к императору в шестом часу вечера и быть во фраке*. Александр I действительно в тот день

* При Чаадаеве фрака не было. В то время не существовало еще того огромного количества всякого рода готового платья, которого теперь в Европе везде такое изобилие. Поэтому идти к государю — Чаадаев надел фрак своего камердинера. Я очень рад встретившемуся случаю сказать несколько слов об этом камердинере. Он был гораздо более друг, нежели слуга своего господина, и, по рассказам — я его лично не знал за его преждевременной смертью — отличался большой шеголеватостью, очень хорошим тоном, чрезвычайно утонченными приемами, хотя от природы был довольно прост. «Точно барин», — говорили про него другие. В России, где слуги так редко бывают похожи на господ, камердинер, которого не отличают или мало отличают от так называемого барина, может быть показываем за деньги. Сверх того, это почти всегда признак благородной, нерядовой природы. Иван Яковлевич, так его звали, был до такой степени порядочным человеком, что одна дама, великопнейшая барыня, которую только можно видеть, бывая у Чаадаева, всегда с ним здоровалась и спрашивала, как он поживает, а Пушкин подавал ему руку. Потом, когда он ездил с Чаадаевым по Европе, в Дрездене с ним произошло очень милое, смешное приключение. Тогда русские туристы за границей не так были часты и обыкновенны, как нынче, и всегда являлись к своим послам. К тому же почти со всеми с ними Чаадаев был и лично знаком. Раз, после хорошего обеда, он сидел с русским уполномо-

собирался куда-то обедать, где должен был встретить князя Меттерниха, и нет ничего мудреного, что государь и министр о случившемся в Петербурге между собою поминали.

Когда около пяти часов Чаадаев пришел к государю, императора еще не было дома. Как только он воротился, Чаадаев был немедленно принят.

Про это свидание мне известно только то, что оно продолжалось немного более часа и происходило в большой, длинной и узкой комнате, посередине которой стоял стол, заваленный бумагами и имевший на себе в подсвечниках шесть зажженных восковых свечей; что государь был одет в черный статский шалоновый сюртук, на все пуговицы до верха застегнутый; что с начала разговора государь заплакал*, выражая, сколько ему прискорбно несчастье, случившееся в Семеновском полку, который всегда так любил, в котором сам начал службу и синий воротник которого так долго носил; что в продолжение разговора государь с неудовольствием отозвался о ланкастерских школах Греча⁶², говоря, что то, что он про них думает, он «и сказать не смеет»**, что несколько раз в комнату входил и из нее выходил, не принимая в беседе никакого участия, князь Петр Михайлович Волконский⁶³,— и что, наконец, государь заключил словами: «Ну, ступай себе с богом; поезжай домой: теперь мы будем служить вместе». Затем в комнату был позван князь Волконский, которому последовало приказание отправить курьера назад и выдать на дорогу денег. «Когда же, государь, прикажете ему ехать?— спросил князь Волконский.— Не завтра ли?» «Что ж, ты его уморить хочешь?— отвечал Александр.— Пускай отдохнет». Это были последние слова императора, после которых Чаадаев удалился.

Говорят, будто в приказах уже стояло назначение Чаадаева в флигель-адъютанты; но так как я сам этого не видал, то и утверждать того не смею.

Какая же была причина его прошения об увольнении от службы?

По возвращении его в Петербург чуть ли не по всему гвардейскому корпусу последовал против него всеобщий мгновенный взрыв неудовольствия, для чего он принял на себя поездку в Троппау и донесение государю о «семеновской истории». Ему, говорили, не только не следовало ехать, не только не следовало на поездку набиваться, но должно было ее всячески от себя отклонить, принимая в соображение самые уважительные причины, собственную свою

ченным в делах при саксонском дворе, на Брюлевской террасе. В разговоре уполномоченный стал ему рассказывать, что «по Дрездену шатается какой-то русский, который, удивительное дело, неизвестно почему не делает своему послу чести его навестить»...

— Да вот он идет, voilà l'individu [этот человек — *фр.*]! — продолжал сердитый уполномоченный, указывая довольно неучтиво, не знаю — зонтиком или палкой, на мимо идущего Ивана Яковлевича.

— Чего же удивительного, что он у вас не был, — успокоил его, смеясь, Чаадаев, — это мой камердинер.

* Известно, что император Александр I легко плакал.

** «Я про них думаю... я про них думаю... что я про них думаю, я и сказать не смею». Собственные точь-в-точь слова государя.

службу в Семеновском полку, бывшее товарищество со всеми почти офицерами и неминуемые более или менее неприятные последствия, более или менее тяжелые наказания, каждого из них ожидающие. Ехать было бы и без него кому. Не довольствуясь вовсе ему не подобавшей, совсем для него неприличной поездкой, он сделал еще больше и хуже: он поехал с тайными приказами, с секретными инструкциями представить дело государю в таком виде, чтобы правыми казались командир гвардейского корпуса и полковой командир, а вина всею тяжестью пала на корпус офицеров. Стало быть, из честолюбия, из желания поскорее быть государевым адъютантом, он, без всякой другой нужды, решился совершить два преступления, сначала извращая истину, представляя одних более правыми, других более виноватыми, нежели они были, а потом и измену против бывших товарищей. Вдобавок и поведение его в этом случае было самое безрассудное: этим почти доносом он кидал нехорошую тень на свою до сих пор безукоризненную репутацию, а получить за него мог только флигель-адъютанство, которое от него, при его известности и отличиях, и без того бы не ушло, по самому логическому ходу обстоятельств.

Само собою разумеется, что, как обыкновенно в таких случаях бывает, общественное неудовольствие, подкрепленное завистниками и недоброжелателями, сделалось чрезвычайно преувеличенно и высказывалось гораздо громче, нежели следовало.

Теперь, когда прошло более сорока годов после этого плачевного случая, обязанность взявшего на себя пересказать потомству про Чаадаева состоит в том, чтобы справедливо определить степень его виновности, потому что оправдать его вполне я не вижу никакой, ни нравственной, ни физической, возможности.

Пробовали изъяснить его поездку простым исполнением служебного долга, не знающего и обязанного не знать никаких отношений старых привязанностей дружбы, никаких соображений товарищества и военного братства, равняя таким образом его поведение с поступком Брута или герцога Орлеанского⁶⁴ во всемирно известном чудовищном процессе*. Не говоря про то, что действия такого рода, которыми, по несчастью, изобилует история, всегда представляли чрезвычайную трудность для обсуждения, можно, я думаю, указать на смешную, бросающуюся в глаза сторону такого несоразмерного сближения и признать подобное изъяснение ниже критики, желающим не решить, а обойти вопрос, лицемерным и, смею сказать, недостойным памяти самого Чаадаева, деятеля, как увидим, далеко не безупречного, но чистого и сознанием исполненно-го.

Утверждали еще, будто Чаадаев поехал в Троппау, не ожидая вознаграждений и не имея возможности их ожидать, так как за неприятные известия никогда никого не награждают. Это утверждение исполнено высокого комизма и, надо сказать, самого простодушного притворства. Неоспоримо, что сообщение неприятных из-

* Лудвига XVI.

вестий само по себе по своему существу весьма прискорбно, и передавать известия веселые гораздо забавнее. Это сомнению не подлежит и верно, как математическая истина. Но чтобы за горькие известия награждений никогда не получали, чтобы их сообщение никогда не бывало лестным для посылаемых и, наконец, чтобы почти всегда не было оно без всякого сравнения важнее сообщения счастливых вестей, этого также, без сомнения, никто оспаривать не станет. Полковник Мишо, передающий Александру I страшную, громовую, раздирающую весть о занятии Москвы французами; герцог Рагузский, повествующий Наполеону про славную защиту отданного им Парижа, ценою жизни и крови не согласились бы, конечно, вырвать подобных страниц из своего существования⁶⁵.

В моих понятиях Чаадаеву положительно и безусловно, чисто и просто следовало от поездки в Троппау и от донесения государю отказаться. На его место нашлись бы десятки других, которые бы дело исполнили нисколько его не хуже и которые бы, сверх того, не могли бы иметь тех причин, какие имел он, его на себя не принимать. Что, вместо того чтобы от поездки отказаться, он ее искал и добивался, для меня также не подлежит сомнению. В этом несчастном случае он уступил ему прирожденной слабости непомерного тщеславия: я не думаю, чтобы при отъезде его из Петербурга перед его воображением блистали флигель-адъютантские вензеля на эполетах столько, сколько сверкало очарование близкого отношения, короткого разговора, тесного сближения с императором. Раз уступив побуждению малодушному, ни в каком случае не извинительному, все дальнейшее его поведение естественно и неминуемо должно было нести на себе следы шаткости, нетвердости, бесхарактерности, неопределенности, отсутствия ясного понимания и верной поступи.

Обвинение, что он поехал с тайно обдуманном намерением и с секретными инструкциями представить дело не так, как оно было, и обвинить офицеров, с него должно быть совершенно снято. В нем он должен быть вполне оправдан. «Такой гадкой комиссии он бы на себя не принял», — говорил мне недавно его строгий, правосудный и много любивший его брат. Я сам настолько знал Чаадаева, чтобы вполне разделять это мнение и вполне быть в том уверенным. К такой низкой измене, к такому черному злодейству, презренно обдуманному и хладнокровно совершаемому, он был положительно неспособен.

Но от этого для него не легче. Надобно быть лишенным всякого познания человеческого сердца, чтобы не догадаться, что Чаадаев, становясь передателем государю огорчительного известия про «семеновскую историю», естественным, необходимым образом становил себя в чрезвычайно опасное положение — в неизбежное желание его передать в том виде, в котором оно императора наименее могло огорчить: надобно быть вовсе слепым, чтобы не видеть, что, будучи посланным от корпусного командира, при котором находился адъютантом, для него сделалось совершенно физически невозможным, выше всяких человеческих сил и вне всякого при-

личия — не радеть пуще всего о своем начальнике, не беречь преимущественно перед всем остальным своего генерала. Последствия такого соображения более нежели очевидны. Полковой командир пользовался особенным расположением государя; если бы он стал особенно указывать на его виновность, скорбело бы нравственное чувство императора и не одобрялся бы собственный его выбор: корпусный командир был «свой» человек; от него посланному было немудрено не желать изобразить его в самом выгодном для него свете. По самому существу дела виноватый был, однако же, необходим. Обвинить одних солдат и думать нечего: ими кто-нибудь да руководил же. Оставались офицеры. И — Чаадаев, нечувствительно, непреднамеренно, сам того не зная, по неумолимой логической необходимости, внезапно увидел себя замкнутым в очарованном, безвыходном, заколдованном круге, в состоянии высокотрагическом и роковом...

Таким образом, сами собою падают предположения о тайных инструкциях и секретных предписаниях. Да и к чему они были, когда и без них все простым, естественным течением должно было совершиться? Разве порядочные люди другим порядочным людям дают подобные инструкции? Разве не избегают они их пуще всего на свете? Разве благоразумные и дело понимающие люди не знают, что, выдав и получив их раз, они после во всю остальную жизнь не могут, не краснея, смотреть друг на друга и на вечные времена остаются друг с другом связанными узами беспощадной, неразрывающейся совокупности поступка, злодеяния или преступления, которая часто их и переживает? Разве на свете не бывает красноречивых и многоговорящих умолчаний? Разве с тех пор, как есть на земле политические и административные соображения, как существуют начальники и подчиненные, первые не приказывают меньше, нежели чего бы хотелось, вторые не исполняют больше, нежели что предписано? Разве предписывают измену? Разве повелевают убийство? Разве король Англии прямо изрекал знаменитое умерщвление*, в котором, однако же, был столько виновен, за которое понес такое страшное наказание перед лицом современников, такую ужасающую ответственность перед судом потомства? Разве, наконец, не спокон века известно, что единственное средство к избежанию подобных нареканий состоит в одном только непринятии на себя тех скольких, соблазнительных исполнений, где бывают шаги невольные, неизбежные и неумолимые?

Почти достоверно, что серьезная сущность и самая занимательная, любопытная часть разговора, который Чаадаев имел с государем, навсегда останутся неизвестными, и это неоспоримо доказывает, что в нем было что-то такое, чего пересказывать Чаадаев вовсе не имел охоты. Из моего повествования видели, что про это свидание мне известна только самая пустая, самая мелочная его сторона, так сказать, его наружная обстановка. Не без причины же хранил столько продолжительное, долговременное и упорное мол-

* Фомы Бекета⁶⁶.

чание передо мной об одном из самых интересных и самых значительных случаев из своей жизни Чаадаев, в продолжение двадцати годов ничего от меня не скрывавший, всегда находивший необходимую потребность мне доверять крохотные подробности ежедневного времяпровождения точно так же, как и самые важные и сокровенные свои тайны. Не без причины же никогда не мог я от него узнать ясно, обстоятельно и отчетливо настоящего повода его отставки*. Да и по какому случаю, зачем и для чего его разговор с государем продолжался так долго? Очевидно, что этого бы случиться не могло, если бы он не заключал в себе каких-нибудь особенных сообщений. Что такое мог так длинно говорить гвардейский ротмистр со всероссийским императором? И с каким императором? С тем, пред чьим счастьем померкла звезда одного из самых великих людей всех времен и всех народов, с тем, который поднялся на самую высокую из вершин человеческого величия, дальше которой ничего уже нет и на которую ни после, ни прежде его властелин России никогда не возносился.

Мнение порицателей Чаадаева о безрассудстве его поведения в данном случае вполне верно и не допускает никакого противоречия. Его нетерпение изменяло его честолюбию и в бесчисленный раз доказывало старую истину, ненужность, а часто и вред всего не совсем честного и даже просто двусмысленного. Флигель-адъютантство ни в коем случае не могло бы его миновать при той степени заметности, на которой находилась его особа, и при несомненном, кажется, к тому желании самого государя. Мало того, поездкой в Троппау видоизменялась его репутация. Гордый, свободный, независимый, и в глазах начальства, и в глазах товарищества ничем не запятанный, лицо, с которым и начальству, и товариществу следует обходиться крайне осторожно и крайне осмотрительно, он терял свое очарование. На нем ложилась укоризна. В глазах того и другого с него срывалась его нравственная неприкосновенность: он превращался в обыкновенное орудие вышестоящих, лишившееся собственного голоса и самостоятельного мнения, в такое, с которым особенно церемониться нечего, которому можно давать и которое на себя принимает какие угодно поручения.

Раз ставши на таком роковом склоне, ему больше ничего не оставалось делать, как очертить голову и закрывши глаза по нему катиться, хотя бы до самых плачевных падений, хотя бы до состояния на жалованье у сильного и аккредитованного соглядатая, хотя бы до доносов о государственных преступлениях, хотя бы до шпионства и высматриванья, — или великим пожертвованием, геройским усилием и таковым же средством опять отвоевать прежнее положение.

Людей, вовремя умеющих поправлять ошибку, не исправляющих глупости дурачеством, а проступка преступлением, без различия, в

* Один раз я, как-то совершенно для него неожиданно, спросил у Чаадаева, для чего он вышел в отставку, после слов государя «теперь мы станем служить вместе»? Он отвечал очень скоро и резко, с заметным неудовольствием: «Стало быть, мне так надо было».

какой бы высокой или низкой сфере ни вращалась их деятельность, я, не затрудняясь, считаю гениальными и великими.

Чаадаев гениальным взором осмелился окинуть и измерить свое положение и разом увидел и постигнул весь его ужас. Пренебрегая всякого рода соображениями, невзирая на неудовольствие государя*, без какой бы то ни было заботы о будущности, он решился пожертвовать обольщениями столько обещававшей его честолюбиво служебной карьеры попечению о сохранении доброго имени, уважения своего и других: он оставил службу. На его отставку, не запинаясь, следует смотреть как на усилие истинной добродетели и как на исполненное славы искупление великой ошибки⁶⁷.

Пожертвование, однако же, не обошлось даром. Здоровый человек превратился в болезненного.

К болезни еще присоединилось, в первый раз начавшее его серьезно тревожить, нехорошее состояние имущественных дел. Его денежное положение всегда было в беспорядке и к концу жизни дошло до самых дурных крайностей, так что в этом отношении смерть он совершенно справедливо почитал и была она для него — благодеянием. Умереть столько вовремя, ловко и к стати для избежания последних имущественных неудовольствий — нечасто кому удавалось. Тогда говорили и говорили чрезвычайно верно, что он во всю свою жизнь все делал отменно ловко и кончил тем, что отменно ловко умер. Больше об имущественных его делах я здесь поминать не стану**.

* Государь был крайне удивлен и крайне недоволен его отставкой. Он даже прислал от себя очень значительное лицо спросить, «для чего он выходит, и даже если чем недоволен или в чем имеет нужду, так чтобы сказал; коли, например, нужны ему деньги», то государь приказал ему передать, «что он сам лично готов ими снабдить». Когда же Чаадаев отвечал, что «кроме отставки ничего не желает и ни в чем не нуждается», государь не дал ему мундира и чина полковника, при увольнении ему следовавших. Не помню что-то, тосковал ли Чаадаев об мундире, но об чине имел довольно смешную слабость горевать до конца жизни, утверждая, что очень хорошо быть полковником, потому, дескать, что «полковник — un grade fort sonore» [очень звонкий чин — фр.].

** Дурное положение его дел происходило от обыкновенного мотовства или расточительности, явления, особенной редкости собой не представляющего. Но что в нем было особенного, лично и исключительно ему принадлежавшего, это то, что, самым бестолковым и всегда эгоистическим образом протратившись, он постоянно пускался в две операции, весьма огорчительные для его собственного достоинства и пренесносные для других близких ему людей; во-первых, обвинял в своей провинности все остальное человечество, кроме самого себя, причем позволял себе иногда, чтобы себя оправдать, даже клеветы; а во-вторых, посягал на чужую собственность, в том отношении, что чуть не насильно занимал деньги и их почти никогда без неудовольствий, ссор и жалоб не отдавал. Так как эта его черта была довольно известна и всякий в этом отношении остерегался, то число его жертв было ничтожно, исключая, впрочем, одной — родного его брата. Редко случается, чтобы брат для другого брата сделал столько самых великодушных жертвований, сколько Михаил Чаадаев сделал их для Петра Чаадаева, и никогда не должно случаться, чтобы благодетельствованный был благодетелю столько и столько черно и гнусно неблагодарен. Вместо того чтобы быть признательным, он приписывал брату свое разорение, извращая обстоятельство и выдумывая факты. Набросим завесу на эти недостойные клеветы, которые, если бы были пересказаны, едва ли бы показались вероятными. Помимо их, и не-

Опровергать же слух, на минуту и в некотором круге распространившийся, что он принял яда, я и вконец не намерен, потому что слух этот считаю лишенным всякого основания. Знаю положительно, что в последние дни жизни он внутрь без свидетелей ничего не мог принять и ничего не принимал. Правда, что в карманной книжке у него был рецепт на мышьяк, у какого-то сговорчивого лекаря выпрошенный, будто бы против крыс, которым рецептом он любил страшать охотников пугаться; но не менее того мне известно, что этот рецепт где был, там и остался, что по нему ни из какой аптеки никакой человек никогда ничего не получал и что окончательно он сгорел в огне на третий или на четвертый день после смерти Чаадаева.

Нехорошее состояние здоровья вместе с исчезнувшими, несбывшимися мечтаниями честолюбия породили в нем некоторого рода упадок духа. В продолжение нескольких годов он тщетно искал деятельности и не находил для нее никакого исхода. Сначала ему представилось заграничное путешествие. Прямо из Петербурга он отправился в неизвестную ему тогда Англию, потом посетил столько знакомую Францию, в первый раз увидел Швейцарию и Италию и окончил странствованием по значительной части германских земель⁶⁸. Время для путешествия было самое благоприятное. Только что отгремели битвы народов. На минуту ослепленная лучами неслыханной славы, Европа возвращалась к спокойствию, к разумному пони-

смотря на мое нежелание вести речь про дела имущественные, я был бы в состоянии пересказать в подробности их денежные отношения, и непременно бы то исполнил, если бы сам Михаил Яковлевич Чаадаев не сделал этого для меня невозможным. Когда в сороковых годах нужда стала очень дожимать Чаадаева, он написал брату с просьбою «в последний раз ему помочь». Надобно заметить, что каждый раз был последним и что цифры требуемого он никогда, или почти никогда, не определял. Михаил Яковлевич Чаадаев писать не охотник, посылаемые к нему письма, говорят, не всегда прочитывает и всегда очень любит оставлять без ответов, а письмо, от него полученное, должно считать явлением необыкновенным и феноменальным. Однако ж брату, после довольно продолжительного молчания, он ответил на двух больших почтовых листах, мелко исписанных. Это письмо Петр Чаадаев, видимо боявшийся от брата совершенного отказа, месяца полтора носил в кармане нераспечатанным и, наконец, в один вечер отдал его мне в читальной комнате московского английского клуба для того, чтобы я его прочитал и пересказал ему содержание. Образец ясного и отчетливого делового изложения, оно содержало в себе полный, подробный рассказ имущественных отношений между обоими братьями, и на его основании можно было бы восстановить их в очевидной для всякого наглядности. Оно заключалось следующей глубокой, отменно милой и успокаивающей иронией: «Не смотря, однако же, на все вышепроеписанное, я не отказываюсь быть тебе полезным и по моим силам тебе помочь, только непременно хочу, чтобы ты написал, сколько именно тебе нужно, потому что тебе-то, может быть, все равно взять и больше, да мне-то не все равно дать». Петр Чаадаев письмо опровергал самым простым, несложным способом, нецеремонно и без околичностей говоря, что «все в нем написанное неправда, а если бы была правда, так мне (Петру Чаадаеву) больше бы делать нечего, как сейчас же бежать топиться». В самом деле, столько для него обличительное, оно носило на себе печать истины, и спорить против него иначе было и нельзя, как прямым, отчаянно-наглым утверждением, что изложенные в нем факты выдуманы. Письмо, разумеется, он погоропился сию же минуту уничтожить, но у Михаила Яковле-

манию своего положения и своих обязанностей. Она уразумевала всю тщету и гибель, всю суету и призрачность тех огромных развлечений, тех неизмеримых импровизаций, тех заколдовывающих обворожений, которые налагаются человечеству так называемыми гениями и которые столько несообразно, столько беспощадно дорого обходятся и индивидуальным личностям и народам. Великое движение того времени, в наших глазах продолжающее совершать свое непобедимое неумирающее течение, вечная слава, честь и гордость теперешней эпохи, вспоминало про державное здание, созидаемое на европейской почве христианским человечеством, и призывало народы, оглушенные бесплодным громом, к возделыванию старой, благословенной, плодами и миром обильной нивы, к отделившимся в разнообразии и трескотне событий, но не пропавшим, полным жизни и юности, вечным идеям прекрасного, разумного, свободы, правды и блага. Участвительное любопытство Чаадаева не могло остаться равнодушным к величавой картине: эпоха так называемой реставрации имела на его существо больше влияния, нежели которая-нибудь из других пережитых им эпох, и до конца жизни он состоял под ее могуществом. Но ясно и наглядно это влияние выразилось и обозначилось только после его возвращения в Россию, после пережития им еще нескольких фазисов духовного развития, после перенесения других испытаний, незримо и, может быть, бессознательно, но неотразимо воспринимаемых.

Много занятый своим здоровьем, под впечатлением горького чувства о служебной неудаче, при виде европейского зрелища, часто отходившего, но часто и возвращавшегося, а главным образом, ходом годов, нравственным усовершенствованием и с ним нераз-

веча оно сохранилось в черновом экземпляре, что мне известно, потому что мне это сказывал сам Михаил Яковлевич. На мою просьбу отдать мне этот экземпляр он было сначала согласился, но потом объявил, что «ему и лень, и недосуг, и не хочется его искать, и чтобы я его от того имел избавиться».

Один из теперешних профессоров Московского университета, будучи еще студентом и имея случай проводить летнее время у товарища в Нижегородской губернии, по соседству с Михаилом Яковлевичем, там с ним виделся и имел разговор такого содержания: «У меня в Москве есть брат,— сказал ему Михаил Яковлевич,— не знаете ли вы его?» — «Вашего брата знает вся Москва и я в числе других,— отвечал студент,— но лично быть ему известным я не имею чести». — «Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, чем он живет?» — продолжал Михаил Яковлевич. — «Этого я совсем не знаю», — сказал студент. — «По нашему разделу,— покончил Михаил Яковлевич,— за мною оставался порядочный его капитал, с которого ежегодно я ему высылал проценты; теперь и капитал, и проценты давно уплачены: но так как я знаю, что ему жить нечем, то все продолжаю всякий год высылать проценты с долга, уже погашенного и несуществующего; однако же твердо уверен, что этой не очень значительной суммы достаточно для него быть не может». Оно на самом деле от слова и до слова так и было. Кроме и сверх этого от двух в продолжение их жизни приходивших к ним наследств, из которых одно было довольно ценное, Михаил Яковлевич Чаадаев отступился без всякого вознаграждения, предоставляя их брату.

В заключение скажу, что непомерный и почти чудовищный его эгоизм, преступная слабость, по несчастю, так часто как будто общая и глубоко загнездившаяся во всемирной семье необыкновенных деятелей, источник и причина и его расточительности, и его тщеславия, и его нередких малодуший, был его единственным недостатком или пороком. Не будь этого, он был бы совершенством, а совершенства, как известно, господь бог на землю не посылает.

лучным приобретением и упрочением более полной интеллектуальной самостоятельности, все более и более выходящий из-под влияния признанных авторитетов и громких знаменитостей, все менее и менее приучаясь чтить людей и более и более уважать учреждения и вещи, Чаадаев, сколько я могу припомнить, не сделал никаких особенных связей в Европе. Слышал я от него, что он был знаком с Гумбольдтом и с Кювье*. От этого знакомства, впрочем, замечательного у меня на памяти ничего не сохранилось, да, кажется, ничего и не было. На карлсбадских водах он сделал встречу более памятную, с философом Шеллингом, и провел с ним несколько дней в близком общении и коротком разговоре. Один из великанов европейской мысли гораздо спустя не упускал случая про Чаадаева осведомляться и пересказывал многим видевшим его русским, а в том числе князю Гагарину**, что, по его мнению, «Чаадаев один из замечательных людей нашего времени и, конечно, самый замечательный из всех известных ему, Шеллингу, русских»⁷⁰. В бумагах Чаадаева сохранились два интересных письма к философу, которые были недавно напечатаны в одном из московских журналов***.

На возвратном пути в Россию в Дрездене его настигнули два потрясающих известия: Александр I сошел в могилу, и в Петербурге совершилось событие 14-го декабря 1825 года.

Огромное декабрьское происшествие, до сей поры надлежащим образом нигде и никем даже не пересказанное, одними превозносимое и восхваляемое как великое, самое гигантское, самое разумное и самое много-пророчествующее проявление русской исторической жизни, другими****, и не в одной только России, низводимое и унижаемое до степени низкой измены, презренного клятвопреступления, позорного нарушения военной присяги и самого пошлого государственного бессмыслия, ни с какой стороны и никакой своей частью не может и не должно касаться моего рассказа. Сочувствием и симпатиями Чаадаева оно никогда не пользовалось. В общем настроении его пониманья и в общей связи его идей оно было даже движением неосновательным, ошибочно задуманным, несообразным с целью, бесплодным, годным только на задержание и отдаление всякого рода преуспения⁷³. Но оно близко и болезненно касалось наиболее чувствительных струн его духа и сердца по отношению тесной короткости с большею частью из самых видных и заметных его участников, и по его поводу в его жизни произошел случай, который я не могу не пересказать, в котором будто бы в его судьбе принял живое участие великий князь Константин Павлович,

* Знал он еще, кажется, Вилльмена, барона Экштейна и кардинала Феша, но эти знакомства, если они и были, все равно что ничего, хотя к Экштейну он раз либо два писал и получал ответы⁶⁹.

** Ныне священник Иисусова братства.

*** В «Русском Вестнике»⁷⁰.

**** Кроме других источников, любопытные могут взглянуть об этом событии мнение, исполненное последней строгости, может быть, ошибочное, но уже наверное чистосердечное, герцога Рагузского в его «Записках»⁷².

сделался его благодетелем и стяжал вечное право на его благодарность.

Если не ошибаюсь, в Бресте-Литовском Чаадаев был задержан и дальнейшее следование ему было запрещено без изъяснения на то причин. Очень вероятно, что эти причины находились в связи с петербургским событием, и очень понятно, что Чаадаев вошел в большей перепуг и сильное беспокойство. В то же время находился в Бресте проездом, не знаю куда, в Москву или Петербург, великий князь Константин Павлович. Вечером, в очень сильную грозу, Чаадаев уведомил письмом одного из его адъютантов о своем положении, которое сию же минуту было доведено до великого князя. Мне неизвестно, имел ли тут личное свидание Чаадаев с великим князем, или дело исполнялось через третьих лиц, только достоверно, что великий князь его принял к самому участливому сведению, всячески Чаадаева успокаивал, шутил, смеялся, говорил, что он «все обделаает и уладит», и приказал ему, не трогаясь с места и не смущаясь, дожидаться в Бресте своего возвращения. Так, разумеется, и исполнилось. По возвращении же он будто бы сказал Чаадаеву: «Maintenant vous avez la clef des champs» [Теперь вы вольны как птица.— *Фр.*]. После чего они, каждый в свою сторону, разъехались и никогда уже больше не видались⁷⁴.

В настоящее время догадаться, что именно сделано великим князем для Чаадаева, не только трудно, но даже и вконец невозможно. Можно положительно сказать, что по делу заговора он был виноват в бесконечно малой степени или же и вовсе не причастен: иначе никакое вмешательство великого князя его спасти было бы не в состоянии; и, конечно, в таком случае великий князь никакого хождения или заступничества на себя никогда бы не принял. Всего вероятнее, что существовало какое-нибудь недоразумение, весьма нетрудное к рассеянию или к разъяснению, что великому князю, особенно при его тогдашнем положении, ничего не стоило сделать.

Пребывание в Петербурге и в Москве много было отравлено недавним страшным событием. К грустным, тяжелым воспоминаниям о самых близких людях, в нем безвозвратно погибших*, присоединилось еще печальное, унылое зрелище их осиротелых и огорченных семейств. Рана собственного неуспеха по возвращении в Россию раскрылась и обнаружилась с новой силой и новой свежестью**, свое

* Во время коронации императора Николая I в Москве Чаадаев имел разговор с Блудовым (потом граф, председатель Государственного совета), бывшим, как известно, секретарем «следственной комиссии» и составителем знаменитого «доклада»⁷⁵. Разговор сам по себе не особенно интересен, и я про него поминаю только потому, что об этих предметах вообще очень мало знают. На упрек: «Для чего подсудимых во все время процесса старались представить в смешном для них виде?» — Блудов будто бы отвечал, что это, по его мнению, было единственное средство если не спасти их, то, по крайней мере, облегчить их участь. Известен беспощадно строгий приговор об образе поведения Блудова, произнесенный Николаем Ивановичем Тургеневым в его книге⁷⁶.

** В то же, кажется, время он делал некоторые попытки опять вступить в службу уже по гражданской части, но эти попытки не имели ни успеха, ни значения и делались как бы шутики или забавы ради.

положение он считал положением совершенного падения. Состояние здоровья ухудшалось; имущественные дела тревожили. Он придумал удаление в деревню* к старухе-тетке, где, однако же, не ужился. Пробывши там очень недолго, окончательно вернулся в Москву, из которой никогда уже более не выезжал.

Поселившись в Москве, с совершенно расстроеным здоровьем, почитая свою карьеру невозвратно уничтоженной, он предался некоего рода отчаянию. Человек света и общества по преимуществу, сделался одиноким, угрюмым нелюдимом⁷⁸. Уже грозили помешательство и маразм**, когда прихотливая, полная неведомых еще могуществ его натура внезапным таинственным усилием вынесла его из этого бедственного состояния и указала ему новое, иное поприще, иные неизведанные пути, прославлением, блеском и пользой более богатые и обильные, нежели все до того его манившие... Под колоколами старого Кремля, в самом сердце русского отечества, в «вечном городе» России, в великой исторической, живописной, столько ему знакомой, столько им изученной, столько ему дорогой и столько им любимой Москве было ему суждено вписать свое имя в страницы истории, вкусию от сладости знаменитости и от горечи гонения и неумирающими, непримиримыми, беспощадными ненавистями, жаркими, пламенными, горячими привязанностями, упоительным громом хвалы, позорным громом ругательства, славою и

* Московской губернии в Дмитровском уезде. В те короткие мгновения, которые он провел в деревне, его полюбила молодая девушка из одного соседнего семейства⁷⁷. Болезненная и слабая, она не могла помышлять о замужестве, нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдалась этому чувству вполне и им была сведена в могилу. Любовь умирающей девушки была, может быть, самым трогательным и самым прекрасным из всех эпизодов его жизни. Я имел счастливый случай читать письма, ею тогда к нему писанные. Не знаю, как он отвечал на эту привязанность, исполненную высокой чистоты, святого самоотвержения, безусловной преданности, полного бескорыстия, но перед концом он вспомнил про нее как про самое драгоценное свое достояние и пожелал быть похороненным возле того нежного существа, для которого был всем: последнюю волю в точности выполнили.

** Случай, с которого началось если не выздоровление его, то, по крайней мере, гораздо лучшее состояние, по-моему, довольно забавен: этому случаю он, большею частью, приписывал свое спасение, и не совсем был не прав, потому что очевидно, что им воспользовалась натура для благодетельного ею задуманного и совершенного перелома. Чаадаев больной былнесен от всех видевших его врачей, которым всегда всячески, сколько сил у него доставало, надоедал. Профессор Альфонский⁷⁹ (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется «ни в короб, ни из короба», предписал ему «развлечение», а на жалобы: «Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?» — отвечал тем, что лично свез его в московский английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидяв, что общество удостаивает его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным (как после другого медика, доктора Геймана⁸⁰, про которого говорил, что «ему воздвигнул памятник в своем сердце»), своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжение не врача просто, но настоящего друга.

преследованием — воздвигнуть для себя то самое высокое из всех человеческих судилищ, которое существует, может быть, не в одной только своей стране, и уже, конечно, только в одном потомстве*.

Во время и сейчас после пересказанных мною событий и означенного мною положения Чаадаев достиг вершины своего умственного, нравственного и духовного развития и стоял на той высоте интеллектуального могущества, дальше которой уже никогда не поднимался. Всю прежнюю его жизнь, все дотеперешнее его существование можно считать приготовлением к настоящему мгновению. Ни одна из областей человеческого знания не была ему совершенно неизвестною. Огромное энциклопедическое образование нисколько не исключало некоторых весьма обширных специальных познаний в чрезвычайно замечательной степени. Он владел четырьмя** новыми языками, из которых двумя*** в совершенстве. Поверхностное знание латинского языка, тщательное изучение греческих и римских писателей, из которых редкий не был ему коротко известен, примечательное знакомство с древностями Греции и Рима сообщали его умственности хотя неполный, но очень дельный склад и очень заметный оттенок классического настроения, свойственный только высокопросвещенному человеку. Его исторические и бого-

* Его общественное положение в Москве, без всякого изменения продолжавшееся до конца его жизни, было собственно точно такое же, как и в Петербурге, с той разницей, что к нему присоединились еще те оттенки, тот смысл и то значение, которые какому бы то ни было существованию сообщить в России может только олимп Москва. Уловить этот смысл, это значение, эти оттенки, сколько я понимаю, довольно трудно, и они больше чувствуются, нежели определяются. Личность, обладающую совокупностью или отдельными чертами таких внешних признаков, я называю «московским авторитетом», к которым в очень высокой степени и без малейшего затруднения причисляю Чаадаева. «Московский авторитет» таковым делается собственно не по индивидуальной стоимости, не по знатности, не по богатству даже, хотя и то, и другое, и третье, и еще многое способствует ему выработаться; а по тому понятию, которое, без всякой другой причины кроме своего произвола, соединяет с ним московское общество, по тем свойствам, иногда вовсе не существующим, которые этому обществу в нем угодно видеть, по тем качествам, действительным или вымышленным, которыми московскому народу иногда совершенно своевольно вздумается его наделить. Понятие о «московском авторитете» не принимает в соображение даже некоторых физических условий, например, пола или возраста. В таковые, и в самые значительные, попадали без числа женщины; иногда даже девушки и многообещающие юноши, двое последние, правда, гораздо реже. Для подтверждения сказанного в примерах, анекдотах и доказательствах недостатка нечего опасаться. Без таких авторитетов Москва никогда не жила и в них жаловала с невероятной прихотливостью иногда самых заметных и видных людей в России, иногда самых пустых, ничтожных и даже никуда не годных. Случалось, и даже очень случалось, хотя, разумеется, не далее известного, определенного, впрочем, весьма обширного круга, что иногда и каких ни на есть глупорожденных блаженных, полусумасшедших или плутоватых юродивых, полубешеных дураков и дур. Цель и пределы моей теперешней записки не позволяют мне распространиться обширнее об этом предмете: в другой работе надеюсь изложить подробно это диковинное, в высшей степени зательное проявление московской жизни; я должен ограничиться только тем, что про него помянуть и обозначить, что в глазах большинства или толпы московской публики и Чаадаев некогда был таким «авторитетом». О положении же его перед глазами мыслящего меньшинства будет еще сказано отдельно.

** Русским, французским, немецким и английским.

*** Русским и французским.

словские познания равнялись одним познаниям специалистов*. В России, может быть, за весьма сомнительным исключением очень немногих духовных лиц, конечно, никогда не бывало человека, столько разнообразно и глубоко изучившего церковную историю с ее бесчисленными колебаниями и разветвлениями**. Область всемирной гражданской политической истории положительно не заключала в себе ничего для него сокровенного. В этом отношении его наука была столько обширна и взгляд до того верен, что во время публичных лекций Грановского, он, при какой-нибудь важной эпохе, возбуждавшей общее любопытство, безошибочно предсказывал, на какие факты знаменитый профессор станет особенно указывать и какую мысль проводить***. Его разумение истории, понимание смысла событий были гениальны и глубоки****. Естественные и точные науки составили предмет его очень раннего знакомства и юношеского любопытства — печать и признак значительной доли английского влияния и английского перевеса в его первоначальном воспитании. Эти сведения, правда, были не очень обширны, но приобретены сознательным и трудолюбивым образом и немало способствовали к развитию в его умственности склон-

* Во время появления и громкой знаменитости всем известной книги Страусса весьма образованные и очень неглупые люди различных верований и убеждений говорили, что в России только один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение⁸¹.

** По этому предмету, вероятно, были люди с огромными познаниями в рядах русских мистиков прошедшего столетия, но, не говоря про то, что ими ничего не оставлено, на чем бы можно было опереться, их знание неминуче и прежде всего было специально и односторонне вследствие общеизвестных особенностей их воззрений⁸².

*** Всего менее удовлетворительно он знал русскую историю, хотя в ней был довольно сведущ; факт, по-моему, весьма значительный.

**** В подтверждение этих слов да будет мне позволено привести следующий отрывок из одного из его сочинений: «Мир искони делился на две части — Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это — два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, создавался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком объёме. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее. И здесь они еще идут вперед — вы это знаете; и вы знаете также, что со времени Петра Великого и мы думали, что идем вместе с ними⁸³».

ности и стремления к обобщению, к генерализации, к единству, к правильной, неуклонной последовательности, к разумному систематизированию, словом, к тем свойствам, которые всегда и везде обличают присутствие великого ума и гениальных могуществ. Изучение истории философии и замечательное знание философских систем обогатили его большую научную опытностью. Об его сведениях в области чистой литературы (*belles-lettres*) собственно и помянуть нечего. Они были изумительно глубоки и разнообразны, и можно утвердительно сказать, что из произведений письменности какого бы то ни было народа, какой бы то ни было страны и какого бы то ни было времени редкое не было ему коротко известно. Не раз случалось, что кто-нибудь из весьма образованных людей, сведавши про какое-нибудь забытое давнишнее сочинение и сообщая ему свое открытие, в ответ получал обстоятельное историко-критическое его обозрение*. Познание и опыт военного дела и даже неизмеримое познание света и общества, обыкновенно столько оледеняющее душу и черствящее сердце, чрезвычайно благотельно влияли на строй и укладку его разума. Из первого он вынес пламенные порывы вдохновения и импровизации, вырабатываемые в правильную форму, в строгую сдержанность неумолимой негибкостью дисциплины, этого существенного условия бранной жизни, при соблюдении которого единственно возможна война в ее возвышенном, полном мышления значении. Зрелище второго, в своем бесконечном разнообразии и при своих непрестанных волнениях, торжественно-спокойное, высокомерно-неколебимое, неподвижно-олигархическое, в гораздо более значительной степени, нежели думают, восполнило прирожденную ему склонность к спокойному обсуждению, к невозмутимому мышлению. Многолетнее прилежное чтение лучших произведений, раннее и близкое знакомство с книгами священного писания и с библейским слогом, изучение отцов церкви — выработали для него чудесный, в высокой степени индивидуальный и самостоятельный способ изложения, язык, иногда до странности неправильный и почти всегда не в меру изысканный, но полный огня, выразительности, жизни, живописности, краткой оригинальности, обдуманной ученой сдержанности, выражение, дышащее силой и энергией, меткостью, логической верностью и ясной определенностью. Наконец, со всеми этими приобретенными могуществами он сочетал удивительную, непонятную, демоническую, прирожденную ему способность наблюдательности, прямо, неуклонно попадающей в цель, сразу схватывающей и обнимающей существенные особенности какого бы то ни было явления, мгновенно их примечающей и определяющей в то время, когда они остаются совершенно неуловимыми для других — всегда вооруженную вылитую изобразительностью

* Эти случаи Чаадаев очень любил и имел слабость ими не в меру тешиться; при них всегда поминал словечко, которое будто бы сказала г-жа Сталь⁸¹ про одного русского: «Я его очень люблю и уважаю; невозможно быть лучше, умнее и образованнее: только удивительно, как много этот человек не знает».

выражения, поражающей внезапностью, и самой неизъяснимой неожиданностью часто налагающим безмолвие разумом*.

От человека, обладающего такими и столько разнообразными орудиями, позволено ожидать многого. Подготовка исполнена. Костер жертвоприношения воздвигнут на алтаре: недостает только огня с небес для его возжения. Если этот важный, пламенный, богато снабженный ум найдет, или даже только подумает, что нашел, предмет, достойный своего внимания и своей разработки, — страна во всяком случае приобретает великого и славного деятеля, красно-речивого, глубококомысленного писателя и, может быть, одного из тех избранников, которые вешают народам вечные, непреходящие слова правды.

Предметом его постоянных занятий, особенного внимания и пытливого размышления сделались вопросы философские, богословские и исторические. Само собою разумеется, что на первом плане, прежде всего и пред всем прочим предпочтительно, его заботили русская история и философские взгляды на историческую жизнь России.

Поселившись в Москве, Чаадаев проживал на разных квартирах, в которых проводил время окруженный врачами, поминутно лечась, вступая с медиками в нескончаемые словопрения и видясь только с

* Это свойство его существа, довольно, впрочем, общее всем великим умам и за ними, без всякого сомнения, исключительное, прямо родственное тому, которому целый мир обязан знаменитым, до пошлости известным анекдотом Коломба с яйцом, проявлялось в нем постоянно и так же мало его покидало при рассматривании великих предметов, как и при виде пустейших, самых мелочных безделиц. За примерами ходить недалеко. Я мог бы привести их без числа. Ограничусь только тремя, по-моему очень характеристичными, и преднамеренно привожу их самые мелочные.

В одном кабачке, где мы обедали с Чаадаевым по крайней мере раз пятьдесят, и иногда не вдвоем только, висели две картинки, из которых одна изображала русского императора с его штабом, а другая прусского короля с таковым же. Никогда никто в этих картинках ничего особенного не замечал до той поры, покамест в один день Чаадаев мне не сказал: «Посмотри, никто не видит, что в этих картинках — на одной орденские ленты все одеты на одну сторону, а на другой в другую: отчего бы это? А ведь догадаться нетрудно». Я признался, что причины не понимаю. «Это оттого, — продолжал он, — что на русских все ленты прусские, а на пруссаках все русские».

В одном доме мне понадобилось сделать перегородку высокой столярной работы, которая меня занимала. Рисунок я заказал хорошему, довольно известному художнику, исполнение вышло прекрасное, и вдобавок стоила она примечательно дешево. Известно, что столярная работа выкладывания стен деревом, так называемая «boiserie», в России и очень редка, и чрезвычайно дорога. Довольный успехом своей выдумки, я многим эту перегородку показывал и ни от кого ничего не слышал, кроме, что «очень, дескать, хорошо, и как это так дешево удалось?» Только что вошел в комнату Чаадаев и ее увидел, как сию же минуту заметил, что в рисунке есть очень смешной недостаток, что перегородка *похожа на иконостас*. Потом стоило на нее взглянуть, чтобы видеть, что он был прав.

У меня в комнате висел портрет очень известного всем входившим в комнату человека. Этот портрет видело очень много людей, и у меня, и в некоторых других местах, и никогда про него никто ничего не говорил. Как увидел его Чаадаев, немедленно в нем указал очень нелестное сходство с одним не совсем благородным животным, в чем прежде видевшие без всякого прекословия потом и согласились.

очень немногими родственниками и с братом. По некотором укреплении его здоровья, по окончательном отъезде Михаила Яковлевича Чаадаева в деревню* и по сближении его опять со светом и обществом он познакомился с семейством Левашевых, с которым, и особенно с матерью этого семейства Катериною Гавриловною**, вошел в чрезвычайно дружескую связь. Семейство Левашевых было одним из тех старинных богатых дворянских московских семейств, которых не только существование, но и память в настоящую минуту начинает уже исчезать. Оно жило в Новой Басманной, в приходе Петра и Павла в собственном просторном доме***, со всех сторон окаймленном огромным вековым садом и снабженном несколькими дворами, — расположенное в пяти или шести помещениях, окруженное полдюжиной по разным резонам при нем проживающих различных лиц****, поминутно посещаемое обширным кругом более или менее знатного, более или менее богатого родства и знакомства, содержа около полсотни человек прислуги, до двадцати лошадей, нескольких дойных коров и издерживая от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей ассигнациями в год. Муж и жена Левашевы подружились с Чаадаевым, предложили ему жить у них в доме и для этого на своем дворе определили особенный, весьма приличный флигель⁸⁷. Чаадаев поместился во флигеле, или, как он его называл, — впрочем, только по-французски, — в павильоне, — а потом, когда, по кончине Катерины Гавриловны Левашевой, ее муж окончательно из Москвы отбыл и дом был продан, то и при новом хозяине Чаадаев остался на старой квартире до самой смерти. Эта-то квартира сделалась известною целой Москве. Кто и кто в ней не перебивал? По ней Чаадаев получил прозвание «басманного философа», которым даже и в далеком Париже звали его между собою там друг с другом встречавшиеся русские. Это прозвание и свою улицу Чаадаев и сам любил; на всех, без исключения, своих письмах в за-

* Михаил Яковлевич Чаадаев уехал из Москвы немного спустя после знакомства брата с Левашевым и даже бывал у него на новой квартире.

** Екатерина Гавриловна Левашева, по слухам, была отличная и не совсем обыкновенная женщина: несмотря на мое короткое товарищество с одним из ее сыновей, я ее лично не знал.

*** При таких домах в Москве бывали — преимущественно, впрочем, до французов — собственные бани и пруды в садах, в которых иногда производилась и хозяйственная стирка белья. При «Левашевском» доме, однако ж, ни пруда, ни бани не было.

**** Кто жил тут из дружбы, кто из милости, кто для удовольствия, кто по необходимости, кто потому, что без него не могли жить хозяева, кто потому, что сам без них обойтись не мог, кто, наконец, без всякой причины, только на том основании, что «земля кругла». Кроме Чаадаева, во флигеле этого двора жили еще некоторое время переводчик Шекспира Кетчер и стяжавший потом такую известность Михаил Александрович Бакунин⁸⁵. Когда, много годов спустя, Бакунин, взятый после дрезденского возмущения, был австрийцами выдан русскому правительству и содержался в Петропавловской крепости, в какой-то приезд двора в Москву граф Алексей Федорович Орлов⁸⁶, разговаривая с Чаадаевым, спросил его: «Не знавал ли ты Бакунина?» Чаадаев имел не совсем обыкновенную смелость ответить: «Бакунин жил у нас в доме и мой воспитанник». «Нечего сказать, хорош у тебя воспитанник, — сказал граф Орлов, — и делу же ты его выучил».

головке выставлял «Басманная», а сочиненную им однажды проповедь подписал именем священника «Петра Басманского». С течением времени квартира, никогда не бывшая прочно отделанною, очень состарилась; пришедши почти в ветхость, сделалась для житья не совсем удобною, и про нее-то пустил в свет Жуковский в то время довольно известную шутку, что она «давным-давно уже держится не на столбах, а одним только духом».

В левашевском семействе, в шумном обществе своих многочисленных домочадцев и посетителей, никогда не прекращавшем упражнения во всяческом словесном препирательстве, круглый год, всякий божий день с утра до поздней ночи не перестававшем философствовать и любомудрствовать, было четверо сыновей, чьим воспитанием некоторое время занимался какой-то француз, по имени Барраль. Этот француз, которого я, впрочем, не знал, был, слышно, человек умный, ученый и начитанный. Проводя целые дни в разговорах с Чаадаевым, он будто бы первый навел его на мысль исполнить исторический труд, написать сочинение, имеющее целью сравнение русского общества с обществами западноевропейскими, род параллельной философской истории, не излагающей события, но взвешивающей их смысл и значение.

Такая огромная, чудовищная работа, столько же вконец неисполнимая тогда, сколько невысказанная и теперь, разумеется, не была приведена в действие. Весьма сомнительно, и даже больше, нежели сомнительно, чтобы она когда бы то ни было, в какой ни на есть отдаленной будущности сделалась способною к осуществлению. Тем не менее, побуждаемый ли Барралем, или только с ним совещаясь о подробностях труда, им самим по господствующей мысли задуманного, Чаадаев принялся работать⁸⁸. Избранная им форма была несколько устарелая форма писем к какой ни попало женщине*. Появились довольно длинные отрывки, которые он стал прочитывать и давать прочитывать, кому заблагорассуждал. Таким образом, он очень скоро получил, и не в одной даже России, некоторую, так сказать, полупубличную известность не печатающего, но очень даровитого, оригинального и значительного писателя. Всякий знает, что этого рода известности, вследствие таинственности и, до известной степени, неприницаемости, всегда и везде, а в России особенно, сопровождаются догадками и предположениями, их очень увеличивающими и видоизменяющими. Так случилось и в этом разе. Про Чаадаева узнали люди, которые никогда его не видали, кругом своего существования от него совершенно отдаленные, никогда не имевшие никакой вероятности с ним встретиться и без того, быть может, про него во всю жизнь бы не сведавшие. По милости его блистатель-

* Большая часть его сочинений — в форме писем, иногда к лицам существовавшим, иногда же почти вымышленным. Столько известное письмо, помещенное в «Телескопе», должно было быть отрывком из целого ряда писем, адресованных к одной госпоже Пановой, которая в жизни Чаадаева никогда никакой роли не играла, никогда никакого значения не имела и, очень легко может быть, про существование писанных к ней писем или вовсе не знала, или знала очень смутно. Когда правительство вмешалось в это дело, госпожу Панову даже и не беспокоили⁸⁸.

ного, искрившегося мыслями разговора, стали ему приписывать то, чего он никогда не говорил: по той причине, что он писал не по-русски*, стяжал — чего с кровно-русскими почти что никогда не бывает — очень большую популярность между иностранцами, у нас проживающими. Его сочинения начали уже ходить по рукам, разными лицами переписанные с ошибками и пропусками, а про него самого выдумывали небывалые анекдоты, которые повторялись даже людьми высокопоставленными**. Насколько же возможно в России, подвергнулся почестям карикатуры, и в виде бессильно-завистливого, озлобленного осмеяния, и в виде любящей добродушной шутки. Очень еще моложавый собой, не избегнул любопытства и привязчивости женщин: различные барыни, по-своему изъясняя невеликое на них обращаемое внимание, ловили его в маскарадах и ему толковали про какую-то его обманутую любовь и про измену никогда и ни в какой стране не жившей, обожаемой женщины... Словом, слава стала склоняться к его начинавшей обнажаться от волос голове... Оставим теперь на минуту и его положение, и его занятия.

* Во время взрыва неудовольствия, произведенного его статьей в «Телескопе», укорам и брани: «зачем и для чего русский пишет по-французски?» — не было никакого предела. В этом пустом, по самому себе вконец ничтожном обстоятельстве видели и отсутствие патриотизма, и измену и родному слову, и отечеству. Не знавшие Чаадаева, без дальних справок, прямо и просто уверяли, что он по-русски не понимает: даже его приятели утверждали, что с русской речью ему, как с французской, не совладеть. Когда потом ему случалось писать по-русски, многие, довольно близкие его знакомые дивились, как хорошо, бойко и ловко он управляет русским словом — как будто забывая, что оно ему коренное, природное... Простого же, нехитрого, столько естественного умозаключения, что писатель, на справедливом основании или нет, желающий быть читанным всеми людьми без различия их стран и происхождения, не имеет выбора в языке, что он не может писать на таком, которого никто не понимает и с которого почти что не существует переводов, что он должен писать на языке всемирном, повсеместно ведомом — никому и в голову не вошло.

** Мне положительно известно, что одна из самых важных барынь в России графиня С. В. П., Чаадаева вконец не терпевшая, раз у себя вечером пересказывала своим гостям, и в их числе особенно одному, члену Государственного совета и в голубой ленте, что «вот, мол, какой дурак Чаадаев: он заказал свой портрет и велел написать себя в кандалах». Такого портрета ни Чаадаевым, ни кем другим никогда ни заказано, ни исполнено не было и никогда и нигде не существовало. Подобных анекдотов про него было множество, из которых большая часть глупы, но некоторые и довольно потешны.

С тех пор как это написано, этот дурацкий анекдот появился даже в печати, в немного стоящих лживых, скучных и бездарных «Записках Филиппа Филипповича Вигеля», помещаемых в одном из московских журналов («Русский Вестник», 1865 г., август, стр. 547 и друг.). Тут же приведена, да даже и то неверно, пушкинская надпись к портрету Чаадаева.

Вигель был постоянно непримиримым завистником Чаадаева, и гораздо спустя после эпохи «семеновской истории» — по случаю этой истории он говорит про него в этом месте «Записок» — живя временно в Москве, да и повсеместно без какого бы то ни было успеха всячески старался ему вредить⁶⁰. В сороковых годах он ему дал прозвание «лысого лжепророка», которое, вероятно, считал чрезвычайно острым и умным и которого надо ожидать в дальнейшем продолжении «Записок». Как этим случаем, так и вообще всей целостью своего поведения он подал повод Чаадаеву сказать одно из самых глубоких и верных своих изречений: «Un ennemi impuissant est le meilleur de nos amis: un ami jaloux est le plus cruel de nos ennemis» [Беспомощный враг — наш лучший друг; завистливый друг — наш худший враг. — Фр.]

В настоящее время я нахожу необходимым зайти немного назад и сказать несколько самых коротких слов об умственно-духовном состоянии русского общества в данную эпоху.

Известно, что с начала царствования Николая I так называемая реакция против переворота, произведенного Петром Великим, никогда не перестававшая тайно гнездиться посреди общества, внезапно обнаружилась со всею полнотою и решительностью, которые она только могла иметь в России. Причины этого явления ни для кого не составляют тайны, на очень нетрудное их исчисление не входит в мой предмет. Для моего изложения достаточно сказать, что она выразилась в форме довольно смутной и неуловимой, для которой до сей поры еще точного, определенного названия не придумано. Ее называли русофильством, славянством, славянофильством, панславизмом и некоторыми другими именами. Охарактеризование и подробное изложение этого феномена, хронического недуга здравого смысла, одного из самых безобразных и уродливых из известных в истории отклонений от всякой логики и всякого рассудка, я имею в виду в другой работе, в которой, с божиею помощью, надеюсь изобразить как общее положение тогдашнего общества, так и главнейших людей, принимавших участие в этой борьбе пустого с порожним. В теперешнем разе довольно точно указать его существенные результаты и по возможности определить его самые резкие отличительные черты⁹¹.

Блистательный рассказ Карамзина, завершивший предшествующие труды по части русской истории, в своем окончательном выводе остановился на мысли, что эта история, точно так же, как и всякая другая, имеет место гражданства в общей повести человечества, что* «или вся новейшая история должна безмолствовать, или русская имеет право на внимание народов». Не прошло четверти века после издания его книги, как уже русское общество далеко опередило его запоздалые взгляды и на неизмеримом пространстве оставило их сзади себя⁹².

«Русская история, — говорили русские новые мыслители, — не только заслуживает внимания народов, но она еще есть для них единственная. Жизнь всех остальных народов померкнет и превратится в ничто сравнительно с жизнью русского народа, если внимательно, разумно и любовно ее постигнуть. С самого первого происхождения Руси, и даже до него, в славянском племени лежали зародыши таких великих и благих начал, про которые никогда и не снилось народам Запада, постоянно целями и соображениями земны-

* Считаю необходимым заметить, что я не критикую и не обсуживаю здесь ничьих мнений, а только их пересказываю. В противном случае пришлось бы, быть может, при всем почтении к памяти историографа назвать упомянутую его звонкую фразу более блистательною, нежели дельною, более громкою, нежели смыслом обильною, для того что в божьем мире нет и не было истории, не стоящей внимания, какой бы историк ни угодно было в ней видеть урок, отрицательный или положительный.

ми с путей добра и правды совращаемым и ввергаемым в пути порока, преступления или нечестия. Шествуя по этим путям, западная Европа дошла наконец до положения безвыходного, в котором теперь находится, впала в гниение, и зияет над нею, готовая ее поглотить, неотменная, неминуемая, ничем не отвратимая гибель, если славянское племя, а в его главе русский народ, народ, одаренный всякого рода преимуществами и особенно богом любимый и покровительствуемый, которому на этот конец дано и беспримерное могущество — ее не спасет, прививши к ней новую жизнь и, так сказать, вливая от своей юной, здоровой и богатой крови в ее кровь, испорченную, больную и устарелую. Европа, в своих нескончаемых бедствиях погруженная, в своих губительных исторических язвах коснеющая, в своих неумолимых исторических воспоминаниях закованная, иного себе спасения, кроме России, не имеет; и ежели бы таковой России не существовало, то надобно было бы изобрести ее, или ежели бы она была неизвестна, то, нет сомнения, свыше был бы послан новый и более великий Колумб для ее открытия*.

Но самая Россия в продолжение своего исторического существования не избежала страшного нравственного несчастья, подверглась неслыханно тяжкому удару, бесконечным образом ее поразившему, едва ее вконец не уничтожившему и, что гораздо хуже, чуть ее не низведшему до бедственного уровня Европы, удару столько могущественному, что им, конечно, было бы подавлено всякое другое существование, но который, однако же, к неопisanному счастью и превеликой радости, мог быть выдержан столько крепкими и упорными жизненными силами, каковы силы России, и, надо прибавить, только ими одними. Это страшное бедствие, этот неизмеримый удар был, как всякому известно, реформа Петра В[еликого], того государя, которого в непонятном ослеплении и в заблуждении, нечуждом преступлении, столько продолжительное время считали великим преобразователем России и самым славным и полезным из

* Для тех, которые не поверили бы, что такого рода вздор мог быть пересказываем, обрабатываем и приводим в систему людьми умными и просвещенными, представить доказательство нельзя, потому что, к сожалению, полного славянофильского катехизиса не существует. Помнящие то время очень хорошо знают, однако же, что в моем рассказе нет ни одного слова неправды. Ежели во всей своей полноте славянофильское учение никогда не высказывалось, то отдельные его положения или тезисы произносились поминутно с необычайной трескотней и громом и в ежедневных беседах, и в книжках толстых журналов, и во всем памятных и знакомых прекрасных стихах, и с публичных кафедр ученых профессоров. Я готов уступить, что не все «славяне» так далеко зашли в своих мнениях, что между ними были степени; но в крайнем своем выводе их учение было именно таковым, каким я его изображаю. Его главнейшие представители, правда, немногие, до этих геркулесовских пределов безумия уже дошли; те же, которые их не достигли, неизбежно и неумолимо должны были быть к ним приведены при мало-мальском соблюдении логичности и последовательности. Нельзя не добавить, что в самую минуту появления «чаадаевской» статьи славянофильская система еще не совсем созрела и выработалась, что ею-то именно и дан был этой системе окончательный, решительный толчок: беспощадные положения Чаадаева, вконец раздразив самолюбие славянофилов, довели его до некоторого рода бешеного помешательства, заставили их отбросить всякую умеренность, опрокинули с рельсов их локомотив и своротили их со всякой разумной колес.

русских властителей, но который, на самом-то деле, не чем иным не был, как злым гением русской земли, первоначальным изменником родным началам и родным верованиям, деспотическим извратителем страны, похитителем родной народности*, дерзнувшим налагать народу и краю чуждую личность, словом, реформатором, правителем и человеком антинациональным.

Как ни страшен был, однако же, удар и как ни велико извращение народной личности, отчаянного в положении России ничего нет, и дело так, как оно обстоит, совсем не из числа тех, которые принадлежат к разряду неисправимых. Чтобы все пришло опять в прежнее положение, после которого, впрочем, и желать больше будет нечего, стоит только возвратиться к родным началам, к состоянию допетровскому, т. е., «выкинув из народной жизни столетие с лишком» — по выражению того же Чаадаева, — «совершить какой-то обратный прыжок назад в глубь протекшей истории, какую-то очень мудреную эволюцию, которую человеческое естество ни исполнить, ни постигнуть не в состоянии».

Другого практического результата и другого себе осуществления славянофильское учение не представляло.

Что касается до средств к достижению этого желанного, благодетельного и спасительного возврата, то можно положительно сказать, что «славяне» их вовсе не указывали, что, впрочем, по строго логическим законам мышления так и должно быть, потому что они клонились не только к невозможному и неосуществимому, но даже и немислимому. Предлагаемые ими пути, для высшего сословия — единение с народом, для всех сословий — знаменитое «возвращение к родным началам», общее абстрактное уравнивание всех русских людей между собою, и еще очень многое, ими придуманное, при несколько зорком разглядывании и в переводе на обыкновенный язык общедоступной понятности не чем другим оказывалось, как чистыми и простыми словами без всякого содержания. В этом особенного рода языке, девственном от какой бы то ни было мысли, и самые слова-то поминутно друг другу противоречили. Наконец, нигде «славяне» между собой столько несогласны не были, как в средствах к достижению своей цели, и можно сказать без преувеличения, что их было столько же, сколько каждой голове, зараженной славянской эпидемией, придумать удавалось. В одном, впрочем, они сообщая и единогласно сознавали настоятельную необходимость, в окончательном истреблении и уничтожении Петербурга, как города нерусского, басурманского, источника, и притом исключительного, невероятных зол и, сверх того, живого памятника ненавистного им

* На это положение Чаадаев в простом разговоре (сколько мне помнится, ни в одном из своих сочинений он этой мысли не излагал) возражал «славянам» в выражении столько же энергическом и исполненном картинной оригинальности, сколько неотразимым, уничтожающим образом, что ни Петр Великий, ни кто другой, никогда не был в состоянии похитить у какого бы то ни было народа его личности, что на свете нет и быть не может столько сатанической индивидуальности, которая могла бы в кратковременный срок человеческой жизни украсть у целого народа его физиономию и характер и унести их под полою платья.

Петра. Но это истребление составляло предмет их очень втопостепенного попечения и их озабочивало довольно легко, не в пример меньше, нежели некогда тревожила старшего Катона мысль об разрушении Карфагена⁹³. В силу славянофильских верований не подлежало сомнению, что рано или поздно, не сегодня, так завтра, волны Балтийского моря зальют Петербург, и таким образом их желания* сами собою придут к увенчанию: на том месте, где ныне возвышается город Петра, совершенно заиграет море: столицей, административным и правительственным центром, разумеется, станет Москва; все наилучшим образом в наилучшем из миров уладится, и

...новгородская душа заговорит
Московской речью величавой!

По странному противоречию, для них, впрочем, не первому и не последнему, общими принципами петербургского правительства они были совершенно довольны, находя только, что в частностях оно во многом может и должно быть усовершенствовано ходом времени, возрастанием национального сознания, да указаниями, влиянием и руководством мужей страны⁹⁵.

Это учение, как легко можно заметить и очень нетрудно видеть, по своему существу чреватое бесчисленными мелкими политическими переворотами и доброю полдюжиной крупных революций с войнами, к крайнему удивлению и против всякого чаяния, нисколько не стремилось ни к какой политической пропаганде. Хотя, конечно, положением всероссийского императора «славяне» были не очень утешены и с жаром его провозглашали царем всеславянским; хотя глубоко удивлялись неизъяснимой беспечности петербургского правительства, до сих пор по непонятным причинам медлившего присоединением к России меньших славянских братьев, которым, по их мнению, давно бы уже следовало обрести приют под крыльями русского орла, вместо того чтобы без пользы, без славы и без свободы прозябать под изнемогающим скипетром Габсбургов; хотя, правда, что они чрезвычайно опасались и в крайнее входили беспокойство, не пропустила бы Россия поры, «перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде» и огласить славянской молитвой Софийский собор и берега Босфора; однако ж, вооруженные несокрушимой верой в будущие судьбы России, мирно ожидали торжественного часа их неизбежного и неминуемого исполнения⁹⁶. Правительство, которому впоследствии они были столько губельны и вредны, отнюдь ими не недовольное, делало вид, будто их не ведает, хотя, как говорил Чаадаев, «от времени до времени устаивало каким-нибудь неучтивым пинком которого ни попало из наименее

* Над этим желанием посмеивались иногда даже и некоторые из «славян», и сам Хомяков⁹⁴, в припадках своей, подчас очень любезной, веселости, с хохотом говаривал, что, «конечно, несказанно станут благословлять затопление Петербурга все дети русского отечества, но преимущественно те из них, которые в нем состоят хозяевами пятиэтажных доходных домов».

осторожных или наиболее высунувшихся из блаженной когорты», и довольно искусно, с умеренностью и осмотрительностью пользовалось теми частичками их учения, которые могли ласкать его тщеславие.

Передавая учение славянофилов, я пропустил очень много из его подробностей, считая их излишними в теперешней записке и довольствуясь только кратким его изложением в крупных обще-характеристических чертах. В заключение надобно добавить, что, нося на себе признаки губительного поветрия, оно распространилось с удивительными, почти невероятными быстротою и повсеместностью. Во всех слоях и во всех сословиях русского общества оно обнаружило свое разрушительное, богатое опустошением и непроизводительным бесплодием действие. Очень мало голов даже и в так называемой «западной партии» осталось совершенно непричастными от его заразительного влияния. Оно было в воздухе. Проникало и просачивалось в массы, не знакомые ни с учеными верованиями, ни с построением сциентифических систем. Массы это учение исповедовали бессознательно, сами того не ведая, но переполняясь кичливостью, превозношением, хвастовством и изуверным самовосхвалением. Оно коснулось людей, по своему призванию долженствовавших быть бы вполне отрешенными от всякого рода патриотических предрассудков, от какого бы то ни было фанатизма, чьи труды и верования, казалось, могли бы быть только и исключительно примиряющими и любящими, гениальных поэтов-созерцателей, художников, ваятелей, зодчих, живописцев и музыкантов, врачей, актеров, людей торга и даже людей точных и естественных познаний. В мирную, безмятежную жизнь, обреченную науке или искусству, оно вносило самоослепление, преувеличенное и наглое о себе возмечтание, раздор и ненависти... Неизмеримый вред, им произведенный, вероятно, еще далеко не истощился.

Многоречивый французский историк*, пересказав про великое умственное движение в своем отечестве в восемнадцатом веке, которое, со свойственной его народу хвастливостью, он, не церемонясь, называет беспримерным, с любовью пересмотрев родные ему сокровища тогдашнего французского мышления, вдруг обрывисто останавливается и, внезапно переносясь от одного предмета к другому, продолжает:

«Всему этому движению, увлекавшему целый народ, а может быть и большую часть человечества, как ни сильно, как ни всеобще, как ни неудержимо и как ни стремительно оно было, осмелился стать поперек человек, только один человек. Должно быть, этот человек был силен и мощи исполнен».

Затем французский историк благосклонно объявляет, вероятно, подозреваемому им в непроходимом невежестве читателю, что такого неустрашимца звали Жан-Жаком Руссо⁹⁸.

* Лудвиг Блан⁹⁷.

Что-то несколько похожее на неизмеримый взрыв нескончаемого изумления, произведенный первой речью великого женева, повторилось у нас в России при появлении «чаадаевской статьи»*.

Около половины октября 1836 года разнесся с необыкновенной быстротой по Москве слух самого непостижимо странного и невероятного содержания. Вдруг, внезапно, без всякого приготовления стали говорить, и притом все, почти поголовно, о непонятной, неизъяснимой статье, помещенной в «Телескопе», будто бы извергавшей страшную хулу на Россию, будто бы отрицавшей в ней какую бы то ни было историческую жизнь, какое бы то ни было разумное существование, будто бы именовавшей ее прошедшее ничтожным, ее настоящее презренным, ее будущее несуществующим и немислимым... Будто бы дерзновенный философ-историк, отступник вере праотцов и отечеству, друг за другом перебрав все проявления русской исторической жизни, не нашел в них ни одного, достойного благословения или сочувствия, и с отвращением и ужасом отворотился от протекшего бытия своего народа, неумолимо признавая всю целость его существования чудовищным вещественным фактом без внутреннего содержания, огромной аномалией, не чем другим, как отрицательным поучением человечеству и в нем пробелом, животным прозябанием, не согретым ни теплым чувством, ни самостоятельной мыслью... В безжалостном анализе он прямо и неуклонно указывал тому причины, и в их числе главною полагал недостаточность религиозного направления и развития, неправду и растление греческого православия, по милости которого считал Россию странною, находящеюся вне европейского христианского единения, а русских — народом почти нехристианским и таковым гораздо меньше, например, нежели народы протестантские.

* Хотя история напечатания «чаадаевской статьи» очень известна, однако ж надобно пересказать ее здесь в самых немногих словах. Бывший профессор московского университета Николай Иванович Надеждин издавал в Москве журнал под названием «Телескоп». Издание шло очень дурно и видимо клонилось к упадку. При таких обстоятельствах Надеждин твердо решился, по собственному его выражению, или «оживить свой дремлющий журнал, или похоронить его с честью». Получив статью Чаадаева, он вместе с нею получил от него и необдуманное неосторожное согласие ее напечатать. Цензора, Алексея Васильевича Болдырева, ректора московского университета, уговорил именем своего давнишнего знакомства и общей безопасности, пропустить ее, не читая. Когда пришла пора наказаний и расправы, журнал был сию же минуту запрещен, а их обоих, и Надеждина, и Болдырева, потребовали в Петербург к ответу. Надеждин был сослан на жительство Вологодской губернии в город Усть-Сысольск. По прошествии некоторого времени он был прощен и умер, кажется, в Одессе. Алексея Васильевича Болдырева отставили от службы с неопределением куда и с лишением пенсiona. Пенсион ему также был впоследствии возвращен, но в службу он уже более никогда не вступал и вскоре умер. Переводившего статью с французского для русской печати Кетчера вовсе не беспокоили. Пересказывать же содержание самой статьи Чаадаева я не стану после того, как это мастерски сделано Михаилом Николаевичем Лонгиновым, и особенно после того, как она напечатана в подлиннике в Париже, в числе некоторых других сочинений Чаадаева. «Oeuvres choisies de Pierre Tchadaïef, publiées pour la première fois par le p. Gagarine de la compagnie de Jésus». Paris. Librairie A. Franck, Alb. Louis Herold Succ. 67, rue Richelieu; Leipzig, A. Franck'sche Verlagshandlung 10, 11. Querstrasse. 1862.

Впоследствии, гораздо спустя, было сказано*, и сказано чрезвычайно верно, что «Чаадаев в своей статье прочитал отходную русской жизни и русскому народу».

Большинство без дальних околичностей называло статью антинациональной, невежественной и вздорной, не стоящей никакого внимания, а между тем, непрерывающимися про нее бранчивыми толками и суждениями само озабочивалось об окончательном опровержении и уничтожении своего мнения. Просвещенное меньшинство находило статью высоко-замечательную, но вконец ложную, чему, по его понятиям, причиною был принятый за точку отправления и в основание положенный чрезвычайно затейливый и сциентифически обманчивый софизм. Смердящее большинство, из которого бесполезно было бы выключать великолепных барынь и людей в голубых и других разных цветов лентах при крупных чинах и с громкими именами, на словах собиралось вооружиться уничтожающим презрением, а на деле обнаруживало распетушившееся, самое разъяренно-ненавидящее озлобление; меньшинство готовилось к спокойному, благородному, приятному, исполненному изящной вежливости и утонченного приличия научно-критическому опровержению. Безусловно сочувствующих и совершенно согласных не было ни одного человека. Статья со своими мнениями и убеждениями стояла одна в величаво унылой, торжественной и невозмутимой одинокости, вооруженная непреклонной беспощадностью и строгой последовательностью своих выводов, мужественной неустрашимостью и глубиной мышления, наукой и знанием, не допускающими никакого превосходства, неумолимою резкостью, точностью и определенностью выражения, мрачно безотрадным, подавляющим спокойствием.

Никогда с тех пор, как в России стали писать и читать, с тех пор, как завелась в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное или ученое событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина**) — не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким неизмеримым шумом. Около месяца среди целой Москвы не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю»; люди, никогда не занимавшиеся никаким литературным делом, круглые неучи, барыни, по степени интеллектуального развития мало чем разнившиеся от своих кухарок и прихвостниц, подьячие и чиновники, увязшие и потонувшие в казнокрадстве и взяточничестве, тупоумные, невежественные, полупомешанные попы, святоши, изуверы или ханжи, поседевшие и одичалые в пьянстве, распутстве или суеверии,

* Герценом.

** Смешно было бы утверждать, что влияние, произведенное смертью Пушкина, было менее, но оно было совершенно разнородное и другого свойства. В кончине Пушкина ничего больше не видели и не могли видеть, как неизмеримую и невозвратную, преждевременную народную потерю, общую народную печаль, общий народный траур.

молодые отчизнолюбцы* и старые патриоты — все соединилось в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию. Не было столько низко поставленного осла, который бы не считал за священный долг и приятную обязанность лягнуть копытом в спину льва историко-философской критики. Вряд ли кому-нибудь и когда-нибудь выпадало на долю в России в такой мере и в такой степени изведать волнения другой, оборотной стороны славы. Сверх того, на «чаадаевскую статью» обратили внимание не одни только русские: в силу уже означенного мною обстоятельства, что статья была писана по-французски, и вследствие большой известности, которою Чаадаев пользовался в московском иностранном населении, весьма многочисленном и состоящем из людей всякого рода, всех занятий и всякого образования, — этим случаем занялись иностранцы, живущие у нас, обыкновенно никогда никакого внимания не обращающие ни на какое ученое или литературное дело в России и только по слуху едва знающие, что существует русская письменность. Не говоря про несколько вышепоставленных иностранцев, из-за «чаадаевской статьи» выходили из себя в различных горячих спорах невежественные преподаватели французской грамматики и немецких правильных и неправильных глаголов, личный состав актеров московской французской труппы**, иностранное торговое и мастеровое сословие, разные практикующие и непрактикующие врачи, музыканты с уроками и без уроков, живописцы с заказами и без заказов, даже немецкие аптекари***.

...Они разделились между собою на партии и волновались по маленькому образцу и крошечному подобию великих волнений в своих отечествах... При всем том можно, однако же, утвердительно сказать, что настоящего смысла, истинного значения и всей неизмеримой важности этого события в ту минуту никто еще не только не оценивал, но даже и не подозревал... Статья появилась без имени автора, но об этом обстоятельстве никто не заботился****. Ее прямо звали «чаадаевской статьей», как будто бы его имя было под нею всеми буквами прописано, и, конечно, нигде и никогда никакое имя своим отсутствием более заметно не сверкало... Между тем общее негодование дошло почти до ожесточения — и в словах, сказанных

* Хотя и не очень тому верится, однако ж в то время я слышал, будто студенты московского университета приходили к своему начальству с изъявлением желания оружием вступить за оскорбленную Россию и переломить в честь ее копье и что граф Строганов, тогдашний попечитель, их успокаивал.

** Тогда существовал в Москве французский театр.

*** Я знаю достоверно, что в это время и по этому предмету имело место одним вечером жаркое прение в ныне еще, кажется, в Старой Басманной существующей аптеке, некоего Штокфиша, причем без всякого сожаления немилосердным образом коверкали фамилию Чаадаева, произнося ее «Шатайеиф».

**** Замечательно, что и правительство, наказывая Чаадаева, не спросило его: «Признает ли он себя или нет автором статьи?» Тогда говорили, что если бы он вздумал от нее отпереться, то поставил бы всех в еще более, в логическом смысле, запутанное положение.

маркизом Кюстином в его книге*: «Il n'y avait dans toutes les Russies pas assez de Sibérie, pas assez de mines, pas assez de knout pour punir un homme traître à son Dieu et à son pays» [Во всей России не хватало Сибири, рудников и кнута, чтобы наказать человека, предавшего бога и свою страну. — *Фр.*], не заключается никакого преувеличения⁹⁹. Публика томилась ожиданием, что будет из Петербурга: решение оттуда долго ждать себя не заставило.

Разбирательством вопроса, каким именно образом правительство известилось о существовании статьи, мне кажется, особенно нечего заниматься. Обратил ли на нее его внимание митрополит московский и коломенский, или оно прислушалось к толкам ею весьма заинтересованного одного из заметных членов дипломатического корпуса, выучившегося по-русски и простодушно радовавшегося появлению в России духа серьезной критики и зрелого беспристрастного самообсуждения; было ли оно уведомлено собственными на этот конец содержаемыми и за такими случаями следящими агентами; просветилось ли, наконец, соединением всех этих способов вместе — это, по моему, дело важности далеко не первостепенной и даже совсем безразличное. Совершенно все равно знать или не знать, кто именно указал правительству и при помощи какого процесса оно проведало, что днем светит иногда солнце.

Прежде всего необходимо заметить и обозначить, что мера, придуманная правительством, не заключала в себе ничего особенно жестокого и свирепого, что она даже могла быть сочтена за кроткую и милостивую и что, сверх того, должна была казаться в высокой степени популярною для того, что — как соглашался в том и сам Чаадаев — не только не превзошла ожиданий и гнева большинства публики, но и не совсем им удовлетворила. Наконец, она была чрезвычайно метко, верно и искусно придумана, подвергая только одному осмеянию человека, по мнению того же большинства, несшего околесную, непроходимую, сугубую галиматью и, несмотря на свою злостность и лукавство, больше ничего не стоившего, кроме улыбки жалости и презрения**.

В последних числах октября 1836-го года Чаадаева потребовали к московскому обер-полицеймейстеру***. Здесь ему была прочитана

* La Russie en 1839. Маркиз Кюстин прибавляет: «Petersbourg et Moscou la sainte étaient en feu» [Петербург и святая Москва были в огне. — *Фр.*].

** Я не знаю, кто именно придумал означенную меру. Тогда говорили, что ее почерпнули из какого-то закона, когда-то изданного Петром Великим, объявлять безумными тех, кто что-либо осмелится произнести против православной веры. Говорили еще, что правительство поступило с Чаадаевым особенно милостиво, т. е. не подвергнуло его какому-нибудь более чувствительному наказанию, ссылке, например, потому, что знало и приняло в соображение нехорошее положение его имущественных дел.

*** Льву Михайловичу Цынскому. Не знаю, непосредственно ли наперед по требованию Чаадаева к обер-полицеймейстеру, или непосредственно вслед за ним, одним из московских полицеймейстеров вместе с жандармским штаб-офицером был произведен домашний обыск в его квартире. Его бумаги отобрали и послали в Петербург. Потом некоторые были возвращены, другие там и остались. Тут же произошел забавный случай. В числе бумаг полиция захватила огромный ворох «Московских Ведомостей», причем Чаадаев заметил, что «этого брать не для чего, что это не бумаги — а бумага».

бумага, из Петербурга полученная, по его отзыву, мастерски написанная, которую он просил взять с собой, но которой ему, однако ж, не дали, и в которой значилось, что: «появившаяся тогда-то, там-то и такая-то статья выраженными в ней мыслями и своим направлением возбудила во всех без исключения русских чувства гнева, отвращения и ужаса, в скором, впрочем, времени сменившиеся на чувство сострадания, когда узнали, что достойный сожаления соотечественник, автор статьи, страдает расстройством и помешательством рассудка. Принимая в соображение болезненное состояние несчастного, правительство (если не ошибаюсь, кажется — «государь император»*), в своей заботливой и отеческой попечительности, предписывает ему не выходить из дома и снабдить его даровым казенным медицинским пособием, на который конец местное начальство имеет назначить особенного, из ему подведомственных, врача».

Тут же были Чаадаеву предложены вопросные пункты, на которые, я не знаю, где он отвечал, сейчас ли на месте, или через несколько дней у себя в квартире. Вопросные пункты ничего особенно памятного и даже ничего значительного в себе не заключали. Обер-полицеймейстер обошелся с Чаадаевым чрезвычайно вежливо и, насколько то с его должностью совместимо, предупредительно.

Тогдашнего московского военного генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына¹⁰⁰, издавна Чаадаеву знакомого, в то время в Москве не было. Не имея ни малейшей возможности говорить об литературном деле с обер-полицеймейстером, Чаадаев попросил позволения увидаться с гр. Строгановым, университетским попечителем. Позволение было сию же минуту дано и с большою охотой. Чаадаев графа Строганова увидел, но такое свидание ни прямой пользы, ниже практического результата никаких не имело. Сверх того, его, со стороны Чаадаева, не запинаясь, можно назвать действием, исполненным трусости и малодушия. Граф Строганов, неловко-холодный, малодаровитый и чопорно-посредственный, человек свойств отрицательных, не показал себя в уровень высоте обстоятельства. Он принял Чаадаева с плоской, заимствованной официальной физиономией, с чиновничьими недоступностью и безучастием, решительно отклоняя от себя всякое вмешательство и всякое содействие, и вдобавок после пересказывал кому было угодно слушать, что у него был Чаадаев расстроенный, испуганный, взволнованный и униженный**... Потом Чаадаев еще беспокоил графа Строганова письмом, оставшимся без ответа¹⁰¹.

Через месяц возвратился в Москву князь Голицын. При первом свидании с Чаадаевым он расхохотался со словами: «*Ça n'a que trop duré; il faut pourtant que cette farce finisse*». [Это слишком долго тянулось, нужно, наконец, покончить с этим фарсом. — *Фр.*] Действенным ходатайством князя Голицына Чаадаев был прощен через один год и один месяц, ко дню вступления на престол Николая I,

* Наверное я того не знаю, но помнится, что слышал, будто вся бумага, во всей целости, была писана от имени «императорского величества».

** Это больше, нежели вероятно, и именно так и было.

приходившемуся двадцатого ноября. Опять приехал к нему полицеймейстер объявить, что «по просьбе генерал-губернатора» ему возвращается свобода и прекращается полицейский надзор. Об том же, прекращается или нет сумасшествия, никогда и нигде не было сказано ни слова.

Таким образом началось и кончилось это приключение, получившее такую известность и в России, и за границей*.

Справедливость требует прибавить, что великодушному, бескорыстному и, надо сказать, довольно смелому заступничеству князя Голицына Чаадаев не показал той благодарности, которую был, несомненно, обязан.

Первое время своего заточения Чаадаев провел в крайнем смущении и большом малодушии. Сначала он совершенно растерялся. Потом, более и более вдумываясь в положение, более и более усматривая, что если кто «в авантаже обретался», так уж наверное не те, которые его объявили сумасшедшим, он с этим положением примирился и даже нашел в нем удовлетворение своему тщеславию и своей гордости. Он начал его нести, с исполненным достоинства спокойствием, заслуживающим всякой похвалы и даже некоторого удивления. Из окружавших государя, в том числе считая и царского брата великого князя Михаила Павловича, все, без исключения, были ему лично знакомы, некоторые довольно коротко. Из них, конечно и несомненно,

* В продолжение того года с месяцем, в котором имело место официальное безумие Чаадаева, он не выезжал и не выходил никуда; ни в публичные места, ни в гости, но у себя имел свободу принимать кого и сколько хочет. Ober-полицеймейстер требовал у него подписки «ничего не писать», которой он не дал, говоря, что для этого «надо отнять бумагу, чернила и перья», и другой — «ничего не печатать», которую он немедленно и выдал. На его просьбу, дозволить ему ходить по улицам пешком, к чему он привык, что было необходимо для его здоровья и без чего, говорил он, «он жить не может», сейчас же согласились, и он мог гулять по городу, никуда не заходя, сколько и когда ему было угодно. Оставалось насильственное лечение от помешательства. Оно продолжалось, правда, очень короткое время — примерно с месяца, или немного более — но все-таки имело место. Сначала к нему присылали частного врача той части, где он жил, и, кажется, к нему приезжал для консультации главный доктор дома умалишенных. Эти господа для формы прописали какой-то репет, который где был писан, там и остался. Пульса не смотрели и вообще к его физической особе никакого прикосновения никто не делал. Потом продолжал свои посещения тот же штаб-лекарь, но так как он был человек нетрезвый и часто являлся пьяным, то Чаадаев на него пожаловался ober-полицеймейстеру, угрожая, что будет писать графу Бенкендорфу¹⁰². Угроза подействовала сильно и мгновенно. Частного штаб-лекаря немедленно удалили, а Чаадаева ober-полицеймейстер просил самому для себя назначить какого ему угодно из врачей, подведомственных полиции. С общего согласия оба они, и ober-полицеймейстер, и Чаадаев, избрали человека весьма почтенного, имя которого заслуживает быть сохраненным, известного в Москве доктора Гульковского, занимавшего по полиции важную медицинскую должность, Чаадаеву давнишнего знакомого и старинного приятеля, не раз и подолгу его лечившего. С ним дело и кончилось. Поведение Гульковского было безукоризненным поведением порядочного человека. В первый же свой приезд к Чаадаеву он начал свои медицинские пособия словами: «Вот в каких обстоятельствах пришлось нам увидаться, Петр Яковлевич; не будь у меня старухи жены и огромного семейства, я бы им сказал, кто сумасшедший».

все или почти что все не отказались бы за него похлопотать, если бы об том были попрошены. Никого он не беспокоил, ни к кому ни с одним словом не отнесся. Действовал только князь Д. В. Голицын*, и то руководимый не просьбами, а более всего собственным личным побуждением.

Поведение личных друзей Чаадаева, т. е. почти всего мыслящего и просвещенного меньшинства московского народонаселения, и даже всех его знакомых, исполненное самого редкого утонченного благородства, было выше всякой похвалы. Чаадаев в несчастии сделался предметом общей заботливости и общего внимания. Все наперерыв старались ему обнаружить знаки своего участия и своего уважения, и это не в одной Москве только. Замечательно, что наиболее с ним несогласные, самые с ним в мнениях противоположные**, были в то же время и наиболее к нему симпатичными и предупредительными. Если поименовать тех, которые показали себя в это время с такими редкими свойствами благородства и независимости характера, то надобно было бы назвать почти всех его знакомых. Были, конечно, и исключения, но они едва заметны в общем единодушном порыве. Чаадаев гордился, что «посреди раздражительного прения, им возбужденного, и в самом его разгаре не видал обращения против себя ни одной из серьезных симпатий, до того к нему милостиво склонявшихся, и надеялся, что Россия ему про то попомнит».

Смею прибавить, что тем гордиться не он один имел право: это, в моих понятиях, законный предмет гордости всего русского народа — и в данном случае у нас в России, среди Москвы, делалась правдою гордая фраза, произнесенная в другом отечестве***: «En France quiconque est persécuté n'a plus d'ennemis que le persécuté» [Во Франции всякий, кто преследовался, имел не больше врагов, чем его преследователь.— *Фр.*].

В это же время Чаадаев написал свое «оправдание» или «апологию»****. Это сочинение в том смысле, в котором он был наказан, его ни на волос не оправдывающее, несмотря на заключающиеся в нем многие замечательные мысли, несмотря на свои ораторские движения и на необыкновенный блеск изложения, несмотря на величавое спокойствие и на совершенное отсутствие желчи и озлобленности, далёко уступает статье, помещенной в «Телескопе» и достоинством содержания, и глубиною, и смелостью мышления. В нем сделаны уступки, ко-

* Князь Д. В. Голицын был женат на сестре князя Иллариона Васильевича Васильчикова (Татьяне Васильевне) и знал Чаадаева еще тогда, когда он был адъютантом.

** Алексей Степанович Хомяков сию минуту вслед за прочтением статьи готовил на нее, по своему мнению, уничтожающее громовое опровержение. Как только разнеслась весть о наказании, он своему намерению не дал никакого хода, говоря, что «и без него уже Чаадаеву достаточно неучтиво отвечали». Отказать себе в блистательной победе над сильным противником из расчетов утонченной деликатности — великодушнее малообывновенное.

*** Виктором Гюго.

**** «Apoloogie d'un fou».

торых он не должен был делать со своей точки зрения и в правду которых сам не верил*.

Остальные сочинения Чаадаева, число которых довольно значительно, еще не изданы. О полном его значении как писателя можно будет говорить и судить только тогда, когда это опубликование будет иметь место¹⁰³. До того ограничусь замечанием, что редкое из того, что им написано, не блещет какой-нибудь оригинальной, весьма часто гениальной мыслью, всегда заслуживающей особенного внимания и любопытства, всегда вызывающей строгую, пытливую критику, всестороннее, зрелое обсуждение... В числе его писаний есть отрывочные мысли и изречения, в которых почти всегда глубина и верность наблюдения изумительны. Их без затруднения можно поставить рядом с произведениями в том же роде Вовенарга, Ларошфуко, Паскаля и первого Наполеона¹⁰⁴. Множество им разбросанных в разных местах, и часто мимоходом, мыслей, догадок и примечаний о внутреннем смысле русской истории в различных ее периодах, о характерных общих чертах ее физиономии еще до сих пор составляют поле совершенно непечатое и неразработанное. Часть его сочинений чисто философских, по-моему, слабее всех других, но все же замечательна до чрезвычайности как первая, можно сказать, в этом роде попытка в России.

Решить в настоящее время, верны или неверны унылые, траурные

* Сюда могут быть отнесены два анекдота довольно многозначительные, показывающие, как мало иные высокопоставленные люди у нас принимали к сердцу самые важные и серьезные предметы и как вполне они заслуживают сделанное им раз Чаадаевым злое охарактеризование: «Какие они все шалуны». Михаил Федорович Орлов, имея случай видеться с графом Бенкендорфом и разговаривая с ним про Чаадаева, имел в то же время почти геройскую отвагу всячески отстаивать своего приятеля, говоря, между прочим, что «на его счет все ошибаются, что он суров к прошедшему России, но чрезвычайно много ждет от ее будущности». Не совсем понятно, как мог Михаил Федорович Орлов настолько заблуждаться: очевидно, что он добросовестно сам себя для собственного утешения ослеплял; да и к тому же очень хорошо известно, что человеки все вообще любят верить, когда верить хочется, и на дело самоутешения и самообольщения мастера: «Le passé de la Russie, — отвечал ему граф Бенкендорф, — a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer: voilà, mon cher, le point de vue sous lequel l'histoire russe doit être connue et écrite» [Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение. Вот, дорогой мой, с какой точки зрения следует понимать и описывать русскую историю. — *Фр.*].

Другой анекдот менее достоверен. Однако ж я его слышал и только как слышанный передаю. По миновании всех своих историй Чаадаев раз виделся с графом Алексеем Федоровичем Орловым и, сказывая ему, «что хотел бы побывать в Петербурге», спросил, «как он думает, будет ли это угодно или нет государю». — «Почему же нет? — отвечал граф Орлов. — Ты там что-то против папы написал, — да про то давно забыли; а в самом деле, не стыдно ли тебе, скажи на милость, — уж и старика-то божьего, который никому ничего не делает, никого не трогает, — и того-то ты не мог в покое оставить?»

Наклонности Чаадаева в пользу папизма были, однако же, довольно известны во всей России и, кажется, не должны бы оставаться тайною для графа Орлова, да и понятия его о римском владыке многие, я думаю, не затруднятся назвать не совсем достаточными и до некоторой степени поверхностными.

положения «чаадаевской статьи» — вне всякой физической, нравственной и интеллектуальной возможности. Подобные взгляды оправдываются или осуждаются только непогрешающей логикой столетий. Довольно сказать, что уже, впрочем, и было сказано*, что «факты до сих пор за него». Во всяком случае — обозначила ли его статья для России тот период нравственного самоотрицания, который, по мнению некоторых, должен иметь время и место в рациональном развитии и рациональном росте каждого народа, была ли она надгробным словом отечеству, или пробуждением в нем самосознания? в безмолвной ли, бесконечной печали мы должны прислушиваться к мрачному смыслу ее приговора, или в неизмеримой радости приветствовать появление в русскую жизнь царственных гостей — самообсуждения, самоукора и самоисправления?.. — он, *первый* на родине, нападая на всецелостные недостатки русского организма; *первый*, переставая искать их врачевания в отдельных его местностях, в отрывочных явлениях; *первый*, устремляя в глубь протекшей жизни России важный, недоверчиво-испытующий, мужественно-нелицеприятный, только одной правды ищущий взгляд современной глубокой философской критики, — сотворил себя навсегда памятным, укрепил за собою право на название творца критического взгляда на русскую историю, великого писателя, глубокого мыслителя и прославленного работника у своей русской земли**.

Предел моей записки собственно достигнут. Остается только сказать о положении, которое Чаадаев занимал среди общества с минуты окончания своей истории до собственного конца, т. е. в продолжение восемнадцати годов с несколькими месяцами.

По странному, но, впрочем, довольно обыкновенному и очень не новому повороту общественного мнения, мера, казавшаяся столько удачно придуманною правительством для его наказания, не уда-

* Герценом.

** Я долго колебался, делать мне или нет это примечание... Что именно сделано Чаадаевым для русской истории, можно, я думаю, до некоторой степени пояснить примерами из того, что сделано другими по другим предметам. Возьмем в образец два из таких пособий. Его труды и мысли по отрасли русской истории очень аналогичны, мне кажется, с тем, что сделано Нибуром для истории римской и Руссо для воспитания. Нибур, уничтожая факты, не создал и не мог создать новых; но если бы и ни одно из его положений никуда не годилось, то все же благотворнейшим и неоцененным результатом его книги на вечные времена остался бы несравненный критический метод, удивительнейшее орудие, когда-либо человеком придуманное для ясного, верного и правильного понимания не голых, ничего не знаменующих фактов истории, но ее внутреннего, сокровенного значения и философского смысла. По книге Руссо никого нельзя воспитывать. Но она всецело и повсемирно изменила взгляд на воспитание¹⁰⁵. Так дело и важность вовсе не в большей или меньшей непогрешимости взглядов Чаадаева на русскую историю: неизмеримая его заслуга в том, что он первый указал, что те точки зрения, на которые прежде становились все, — неверны и ни к чему не ведущи, что старые пути с их избитыми колеями не имеют никакого практически-разумного приложения, что они, по своему существу, не могут быть плодотворными и поражены бессилием, что, словом, для постижения русской истории необходимы иные исходные пункты, иные методы, иные способы уразумевания.

лась вовсе, потерпела совершеннейшее и полнейшее фиаско. Как-то вдруг вообще стали догадываться, что сажанье в желтый дом мыслителей и философов дело не столько благоразумное, как это сначала померещилось. Еще не кончилась его история, как уже многие считали выдумку смешною и называли ее медвежьей шуткой, а злейшие его враги находили, что он наказан совсем не так, как бы следовало. Впрочем, меры и образа наказания никто не определял.

Когда же его история окончилась и он опять воротился в свет, его приняли и с ним обошлись так, как будто бы с ним ничего не случилось. Сначала в продолжение двух, трех, много четырех годов от него отчасти сторонились, мало, впрочем, заметное число более или менее официальных, или, быть может, более или менее трусливых людей, да несколько видных тузов обоего пола, недовольных и разгневанных его мнениями, которых они, однако же, подробно и в ясной точности никогда не знали. С прошествием времени и это явление совершенно исчезло. Тузы не замедлили разобратся по кладбищам, официальные люди перестали дичиться, а к робким возвратилась бодрость. И в чистом результате оказалось, что его история способствовала к выработанию для него большого общественного положения, что «в силу этой истории возросло его влияние, что сама аристократия склонила голову перед этим мужем мысли и его окружила почтением и вниманием»*. Таковым до конца он остался перед большинством общества**.

Что же касается до меньшинства, т. е. до всего числа его огромного знакомства, то в его глазах он сделался чем-то вроде любимого балованного ребенка, от которого все сносится и которому все прощается***. Люди мнений самых разнородных и самых противоположных, враги между собою и часто даже совсем не уважавшие друг

* Сказано Герценом.

** Он стал опять входить в сношения со всеми без различия, как будто бы его «истории» никогда не существовало, с людьми официальными, правительственными, государственными, придворными, познакомился с митрополитом и бывал приглашаем на праздники, где присутствовали государь и двор. Только до личных сношений ни с государем, ни с членами императорской фамилии он не дожид.

*** Этим расположением к себе он пользовался не всегда умеренно.

Только раз, и то не очень надолго, смутилось это ясное настроение стихотворной перебранкой Языкова. Надобно заметить, что никому никакого вреда она не сделала, и если на кого какую тень и бросила, так скорее на самого Языкова. Так как она мало известна и, сверх того, очень длинна, то я ее и помещаю в особенном приложении.

Здесь же следует упомянуть о «современной песне» Дениса Давыдова, очень забавной стихотворной карикатурке, весьма, впрочем, мало обратившей на себя внимания. Привожу из нее стихи, относящиеся к Чаадаеву:

...и вот
В кипеть совещанья,
Утопист, идеолог,
Президент собранья,
Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.
Все кричат ему привет
С оханьем и писком,

друга, встречались при нем и в его комнате, как на какой-то нейтральной, привилегированной, выговоренной почве. Приезжие, без различия, изнутри ли России, или из-за границы, если его не знали, торопились ему быть представленными; москвичи, петербуржцы и даже заграничные знакомые — одни привозили к нему сами, другие адресовали навещавших Россию иностранцев*. Самые его слабости, часто весьма скучные, как, например, придирчивая взыскательность в визитах и вообще во всякого рода наружном почтении, делались предметом любящей шаловливой веселости, добродушной забавы. Такие слабости были довольно многообразны, и никто на них не сердился, хотя все ими очень занимались. К концу своего поприща он уже почти не имел заслуживающих внимания врагов, а довольно многочисленными ненавистями тех, кто его не жаловал, почти всегда имел полное право гордиться**. Его положение в России сравнивали с положением Шатобриана во Франции¹⁰⁹. При жизни еще он имел удовольствие тщеславия получить некоторую известность вне России. Об нем говорили в своих различных сочинениях маркиз Кюстин, барон Гакстгаузен, граф Жюльвекур, Сазонов, о. Гагарин, знаменитый историк Мишле¹¹⁰, некоторые другие, а в особенности, и более всех, Герцен.

А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum.

Говорили еще про эпиграмму на Чаадаева какого-то г. Неелова, примечательно глупую, но и довольно смешную, однако же:

Летел к бессмертью Чаадаев скоком
И вдруг был остановлен «Телескопом»¹⁰⁶

* Очень замечательно, что наиболее несогласные были с ним и наиболее дружны. Бешеный его противник Федор Иванович Тютчев часто говаривал: «L'homme, que je contredis le plus est aussi celui que j'aime le mieux» [Человек, с которым я больше всего спорю, это человек, которого я больше всего люблю. — *Фр.*]. Их споры между собою доходили до невероятных крайностей. Раз, среди Английского клуба, оба приятеля подняли такой шум, что клубный швейцар, от них в довольно почтенном расстоянии находившийся, серьезно подумал и благим матом прибежал посмотреть, не произошло ли в клубе небывалого явления рукопашной схватки, и не пришлось бы разнимать драку¹⁰⁷.

** Известных, объявленных, громко сказавших свое имя такого рода ненавистей насчитывалось очень мало, но в затаенных зависти исполненных и под спудом хранящихся, должно быть, не было недостатка. Не говоря про озлобленное против него отвращение Ф. Ф. В. и князя***¹⁰⁸, нелюбью которых можно только радоваться, указывали на одного из талантливых современных драматических писателей, будто бы обещавшего кругу своих друзей не знакомиться с Чаадаевым. Мне неизвестно, правда ли это, неизвестно, был или нет этот писатель лично с Чаадаевым знаком, но я знаю положительно, что он никогда не бывал у него в доме. Эти ненависти в недавнее время имели случай довольно громко высказаться. Вследствие на то некоторыми изъявленного желания одному общественному заведению в Москве (Английскому клубу) был подарен портрет Чаадаева. Меньшинство этот портрет приняло с удовольствием и даже повесило его на стену; большинство же подняло такой гвалт, что его дня через два должны были снять. Очевидцы мне пересказывали, что волнения, подобного тому, которое произошло по случаю портрета, в клубе никто не запомнит. В этот раз было с большой справедливостью замечено: «Il faut pourtant que cet homme fut bien et vraiment un homme supérieur pour pouvoir exciter de pareilles antipathies huit ans après sa mort» [Должно быть, этот человек действительно был выдающимся, если и через восемь лет после своей смерти он еще вызывал подобные антипатии. — *Фр.*].

Михаил Николаевич Лонгинов в своем почтенном труде говорит, что Чаадаев был полезен всякому без исключения из своих знакомых, что одного он утвердил в какой-нибудь доброй мысли, в другом пробудил какое-нибудь благое чувство, третьему разрешил сомнение и т. д.; и что если бы можно было каждого из них подвергнуть допросу, то оказалось бы, что в своем нравственном преуспеянии всякий чем-нибудь да был ему обязан.

Этой высокой хвалы, может быть, самого великого из всех восхвалений, которые только может выслужить человек на земле, он был вполне и без ограничения достоин. Чаадаев от остальных людей отличался необыкновенной нравственно-духовной возбудительностью. Он в высокой степени был тем, что немцы называют *anregend* [возбуждающе — *нем.*]. Его разговор и даже одно его присутствие действовали на других, как действует шпора на благородную лошадь. При нем как-то нельзя, неловко было отдаваться ежедневной пошлости. При его появлении всякий как-то невольно нравственно и умственно осматривался, прибирался и охорашивался.

Никогда и никому ничего не уступая в своих мнениях, с мирным благоволением выслушивая мнения не только различные, но и совершенно противоположные, с необыкновенными ловкостью и искусством отбивая противников и возражая им то важным серьезным словом, то одному ему исключительно свойственной, столько удачной, несравненной, успокаивающей шуткой, его отличавшую симпатическую возбудительность он целою, невредимою и девственною сохранил до последнего дня и в полном ее всеоружии опочил кончиною...

Да будет и мне позволено окончить мою записку тем же, чем заключил свой труд Михаил Николаевич Лонгинов.

В числе христианских верований Чаадаева одним из самых любимых, из самых утешительных было верование, что человек не перестает жить за гробом, что вслед за мгновением конца беспромежучно начинается новое существование. Это верование он изложил с неподражаемым блеском, с чувством пламенного, твердого упования и глубокого самоотвержения в одном из самых великолепных из своих произведений*. Его хоронили в неделю Пасхи. Провожавший его в вечное жилище священник Николай Александрович Сергиевский в краткую минуту проповеди принес поздравление отошедшему с царем дней со днем великого христианского торжества. И величаво-трогательно, и невыразимо отраднo произнеслись обращенные ко гробу его слова:

«Умерший во Христе брат, Христос воскрес!»

1865. Декабрь

* В письме к Михаилу Федоровичу Орлову¹¹¹.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

В пущее время столкновения и распри между партией «славянофильской» и так называемой «западной» Языков написал послание «К не нашим», которое сначала ходило по рукам без его имени, а вскоре потом уже и с именем. Это послание «западную» партию очень рассердило. Энергический Герцен объявил, «что бездоказательное обвинение людей в измене отечеству есть оскорбление чести и что известно, как разрешаются обиды этого рода». Вызова, однако же, никто не поднял¹¹². Вот это послание:

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И обнелетчить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты — одноплеменник
И брат мой — жалкой ли старик,
Ее торжественный изменник,
Ее надменный клеветник,
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
Иль ты, невинный и любезный
Поклонник темных книг и слов,
Восприниматель слезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины.
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине; не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает. В вас живет
Любовь не к истине и к благу.
Народный глас — он Божий глас.
Не он рождает в вас отвагу.
Он странен, дик, он чужд для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат,
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят.
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Богатство, сила, крепость наша —
Ничто вам. Русская земля
От вас не примет просвещенья.
Вы страшны ей. Вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны.
Хулой и лестию своею

Не вам ее преобразить
И не умеете вы с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить.
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрет проклятый ваш язык.
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик!¹³

Почти одновременно тот же Языков написал следующее послание к Константину Сергеевичу Аксакову, в котором его укоряет за знакомство и приязнь с Чаадаевым. Это стихотворение Чаадаев тогда же читал и при чтении остался совершенно спокойным:

Ты молодец! В тебе прекрасно
Кипит, бурлит младая кровь,
В тебе возвышенно и ясно
Святая' к родине любовь
Пылает. Бойко и почтенно
За Русь и наших ты стоишь;
Об ней поешь ты вдохновенно,
Об ней ты страстно говоришь.
Судьбы великой, жизни славной
На много, много, много дней,
И самобытности державной,
И добродетельных царей,
Могучих силою родною,
Ты ей желаешь. Мил мне ты.
Сияют светлой чистотою
Твои надежды и мечты.
Дай руку мне. Но ту же руку
Ты дружелюбно подаешь
Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно становит
Превыше истины святой,
Тому, кто нашу Русь злословит
И ненавидит всей душой
И кто неметчине лукавой
Передался.— И вслед за ней,
За госпожою величавой,
Идет — блистательный лакей...
А православную царицу
И мать русских городов
Сменять на пышную блудницу
На вавилонскую готов!..
Дай руку мне. Смелей, мужайся,
Святым надеждам и мечтам
Вполне служи, вполне веряйся,
Но не мирволь своим врагам!¹⁴

Посланием «К не нашим» овладели и стали, сколько сил и возможности у них было, его распространять кое-какие люди, желавшие примкнуться к славянофилам, но об которых славянофилы не хотели и слышать и которых они неумолимо от себя отвергали. Сколько мне известно, Аксаков не отвечал Языкову на его обвинение в общении с Чаадаевым, но написал, со своей стороны, стихотворение:

Не та надежда к вам слетела,
 Не то огонь дает сердцам,
 Не за одно стоим мы дело:
 Вы чужды и противны нам.
 Ты, с виду кающийся мытник,
 России самозванный сын,
 Ее непрошенный защитник,
 На все озлобленный мордвин;
 Ты, нарицательное имя*
 Местоименье подлеца,
 Гласящий к Господу «смирн мя»
 И днесь смиренный до льстеца;
 И ты, писатель запоздалый,
 Классических носитель уз,
 Великий злостью, телом малый
 Упрямый почитатель муз;
 И много мелочи ничтожной
 (Ее и глаз не разберет),
 Но разъяренный, но тревожный,
 Но злой и мстительный народ —
 Не съединит нас буква мненья,
 Во всем мы разны меж собой,
 И ваше злобное шипенье
 Не голос сильный и простой.
 Нет... вас не примем мы к обету,
 Не вам внимать родному зву:
 Мы отказали Маржерету,
 Как шли освобождать Москву;
 На битвы выходя святые,
 Да будем чисты меж собой!
 Вы прочь, союзники гнилые,
 А вы, противники, на бой!..¹¹⁶

Наконец, Языков обратился лично с ругательным посланием прямо к самому Чаадаеву. Это послание хранилось в большой тайне и под великим спудом, чтобы как-нибудь про него не проведал Чаадаев. Чаадаев действительно при жизни Языкова его никогда не читал. Я сам мог его получить следующим образом. Слышавши, что оно существует, его прямо попросил у Алексея Степановича Хомякова, женатого, как известно, на родной сестре Языкова. Хомяков сию же минуту мне отказал, говоря, что «через меня может узнать про него Чаадаев».

* Это то же самое лицо, которое выслужило от Николая Филипповича Павлова, может быть, самую мастерскую из его образцовых эпиграмм:

Иной всю жизнь деля в заботах,
 Вотще трудится до конца;
 Иной под старость кровью, потом
 Получит имя подлеца.
 Но ты не работал упорно,
 Известности не долго ждал;
 Ты без труда, легко, проворно
 Во цвете лет его снискал.
 Не по летам ты богомолен,
 На угожденья не спесив,
 Не по летам низкопоклонен,
 Не по летам благочестив¹¹⁵.

«А если, Алексей Степанович,— я возразил,— я вам честным словом обещаю Чаадаеву никогда про него не говорить и никогда ему не показывать?»— «В таком случае,— отвечал смеясь Хомяков,— я вам, разумеется, его дам». Так оно ко мне и попало. Вот это послание, и по достоинству поэтическому, и по одушевлению гнева, и по глубокой, томительной патриотической тоске, и по блеску и звону стихов чуть ли не самое прекрасное из всех, вышедших из-под столь знаменитого в свое время пера Языкова:

Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна:
Ее предания святые
Ты ненавидишь все сполна.
Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап...
Почтенных предков сын ослушный,
Всего чужого гордый раб!..
Ты все свое презрел и выдал...
И ты еще не сокрушен...
Ты все стоишь, красивый идол
Строптивых душ и слабых жен!..
Ты цел еще!.. тебе поныне
Венки плетет большой наш свет;
Твоей насмешливой гордыне
У нас находишь ты привет.
Нам не смешно, нам не обидно,
Не страшно нам тебя ласкать,
Когда изволишь ты бесстыдно
Свои хуленья изрыгать!?
На все, на все, что нам священо,
На все, чем Русь еще жива...
Тебя мы слушаем смиренно...
Твои преступные слова
Мы осыпаем похвалами;
Друг другу их передаем
Странноприимными устами
И небрежливим языком.
А ты тем выше... тем ты краше...
Тебе любезен этот срам...
Тебе приятно рабство наше...
О горе нам... о горе нам!!¹¹⁷

В то время на Языкова многие очень прогневались. Я сам слышал, как один из самых благородных представителей «западного» направления говорил публично, кому было угодно слушать, что «писать подобного рода стихи, швырять из-под покровительства спинной чахотки. (Языков тогда уже умирал) в честных людей камнями, на всех языках и во всех государствах, кто бы того ни делал, зовется подлостью». Здесь не место разбирать, сколько преувеличенного и не совсем правосудного было в таком разъяренном и страстном негодовании. Надеюсь это исполнить в другой работе¹¹⁸.

Ходило еще по рукам «Послание к Языкову» Каролины Карловны Павловой, мнения которого можно разделять или не разделять, с господствующей мыслью которого можно соглашаться или не соглашаться, но которое, однако же, во всяком случае, по моему мнению, стоит того, чтобы быть сохранным:

Но в мире будь величествен и свят.

Я з ы к о в.

What is writ is writ.

В у г о п.

[Что правда, то правда.

Б а й р о н — *Англ.*]

Нет, не могла я дать ответа
На вызов лирный, как всегда,
Мне стала ныне лира эта
И непонятна, и чужда.
Не признаю ее напева;
Не он в те дни пленял мой слух;
В ней крик языческого гнева,
В ней злобный пробудился дух.
Не нахожу в душе я дани
Для дел гордыни и греха;
Нет на проклятия и брани
Во мне отзывного стиха.
Во мне нет чувства кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца.
И я глубоко негодую.
Что тот, чья песнь была чиста,
На площадь музу шлет святую,
Вложив руганья ей в уста.
Мне тяжело знать и безотраднo,
Как дышит страстной он враждой,
Чужую мысль карая жадно
И роясь в совести чужой.
Мне стыдно за него и больно
И вместо песен, как сперва,
Лишь вырываются невольно
Из сердца горькие слова¹¹⁹.

II

Вскоре после февральской революции 1848 г. Чаадаев получил по городской почте письмо. Это письмо, на очень щеголеватом и, видимо, выработанном французском языке, к сожалению, кажется, пропавшее, было за подписью «Louis Colardeau». В нем г. Колардо «заявлял себя врачом, изучавшим преимущественно душевные болезни и только что прибывшим из Парижа, города, как известно, в настоящее время переполненного безумцами всякого рода. Приехав в Москву, г. Луи Колардо спешает обратиться к г. Чаадаеву, субъекту для него чрезвычайно занимательному, любопытному и интересному, сумасшествие которого вообще давно и хорошо известно и состоит в том, что г. Чаадаев, будучи пустым и ничтожным человеком, себя воображает гением. Г. Луи Колардо предлагает г. Чаадаеву свои медицинские услуги безвозмездно и просит его их принять, как личное и значительное для него, г. Колардо, одолжение, потому что он полагает возможным совершенное излечение г. Чаадаева, что неотменно навсегда упрочит его будущность, так как нет никакого сомнения, что ежели ему посчастливится исцелить субъекта столько замечательного и ин-

тересного, как г. Чаадаев, то он с основательностью может искать и надеяться места врача при графе Мамонове* и тем на вечные времена обеспечить свое положение».

Одновременно с этим таких писем, говорят, было послано числом до семидесяти к разным лицам, Чаадаеву знакомым. В них значилось то же самое с тем изменением, что этих лиц, более или менее Чаадаеву дружных, г. Колардо просит похлопотать, «чтобы тот согласился у него лечиться».

Чаадаев очень скоро — дня через три — открыл настоящего составителя письма и в своем дознании обнаружил примечательные и не совсем ожидаемые остроумие, пронизательность и сметку. Действия и впечатления письмо на него никакого не произвело, и к нему он остался совершенно равнодушен. Имя составителя он без замедления сейчас же объявил всякому, кто его желал узнать. В обществе об этих письмах не было ни одного благоприятного отзыва. Их автора все без исключения порядочные люди именовали негодеем, дрянью, шавкой, дворянжой и тому подобными, малое уважение внушающими названиями.

Очень жаль, что ответ, написанный Чаадаевым не г. Луи Колардо, а настоящему корреспонденту, впрочем, никогда по адресу не отправленный, тоже пропал. В нем значилось, что «такой-то, себя воображающий ужасающим насмешником и грозным бичевателем, на самом деле не иное что есть, как жалкое, маленькое, бессильное существо, переполненное завистью и желчью».

Про это крошечное грязное дельце я и поминать бы не стал, если бы скрывавшийся под именем Колардо впоследствии не стяжал очень большой и плачевной известности постыдным процессом, про который в свое время все говорили, и, особенно, если бы не ему же приписываемы были подметные, безыменные письма, отчасти бывшие причиною или поводом к предсмертной дуэли Пушкина¹²¹.

III

В конце тридцатых годов начали урывками и мельком появляться в иностранной печати кое-какие сведения о Чаадаеве. Первый об нем, если не ошибаюсь, заговорил маркиз Кюстин (1839). Эти, впрочем, весьма редкие случаи трогали его в весьма малой и незначительной степени. Не то произошло, когда в европейской печати стал высказываться Герцен. От первого его об нем отзыва Чаадаев пришел в восхищение, даром что до его известности дошла только книга: «*Du développement des idées révolutionnaires en Russie*»¹²². До других он не дожил. Это восхищение было еще тем полнее и живее, что про деятельность Герцена он проведал при особенных, по свойству его личности отменно лестных обстоятельствах. Про существование книги ему первый сказал граф А. Ф. Орлов, в самой середине лета случившийся в Москве проездом в свои воронежские деревни или

* В длинный период времени всем известный умалишенный, один из самых высокородовитых и самых богатых людей России¹²⁰.

из них. В разговоре граф Орлов заметил, что «в книге из живых никто по имени не назван, кроме тебя (его, Чаадаева) и Гоголя, потому, должно быть, что к вам обоим ничего прибавить и от вас обоих ничего убавить, видно, уж нельзя». Такой отзыв, исполненный лести-вой, утонченной вкрадчивости, сделанный человеком, неизмеримо высоко поставленным по общественному положению, но не по отношению письменно-литературному, упоительно поласкал самолюбие и тщеславие Чаадаева, и понятно, что им он был приведен в состояние неограниченного довольства.

Кажется, в тот же день, и уж никак не позднее другого, Чаадаев написал и отослал к графу Орлову далее приведенное письмо, про которое я не берусь говорить ниже одного слова, потому что оно само себя достаточно резко, неумолимо и беспощадно характеризует. Письмо, как оно того с избытком заслуживало и как того ожидать следовало, осталось и без всякого ответа, и без всякого внимания. Вот это непонятное, удивительное произведение, которое может служить чрезвычайно удачным и чрезвычайно редкостным образчиком непостижимых противоречий человеческого сердца:

«М. Г.

Граф Алексей Федорович!

Слышу, что в книге Герцена мне приписываются мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями. Хотя из слов вашего сиятельства и вижу, что в этой наглой клевете не видите особенной важности, однако не могу не опасаться, чтобы она не оставила в уме вашем некоторого впечатления. Глубоко благодарен бы был вашему сиятельству, если б вам угодно было доставить мне возможность ее опровергнуть и представить вам письменно это опровержение, а может быть, и опровержение всей книги. Для этого, разумеется, нужна мне самая книга, которой не могу иметь иначе, как из рук ваших.

Каждый русский, каждый верноподданный Царя, в котором весь мир видит Богом призванного спасителя общественного порядка в Европе, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?

Смею надеяться, ваше сиятельство, что благосклонно примете мою просьбу и если не заблагорассудите ее исполнить, то сохраните мне ваше благорасположение.

Честь имею быть...»

Для чести графа Орлова и припоминая свойство его отношений к Чаадаеву, я осмеливаюсь предполагать, что этим письмом он был и удивлен, и опечален тяжело. Он слишком хорошо знал цену подобных заявлений и, конечно, не считал Чаадаева в числе тех, от кого их следует ждать. Им должно было овладеть грустное и отчаивающее разочарование, унылое, безотрадное раздумье, неожиданное горькое презрение к тому, что привык уважать, чувство обмана, особенно и нестерпимо гнетущего в период последнего склона го-

дов жизни. Сколько я понимаю, он и любил Чаадаева и принимал его особенно охотно именно за независимость характера. Сколько до меня дошло из их разговоров, мне кажется, что графу Орлову в них именно нравилось отсутствие официальности, столько редко ему попадавшееся или, лучше, совсем никогда не встречавшееся. Некоторые выражения и даже целые мысли, которые из этих разговоров я запомнил, показывают, что граф Орлов в них отводил душу, говорил почти нараспашку, как с таким человеком, на которого вполне полагается и от которого ожидать никакой измены и в голсув прийти не может. В этой мысли я еще более утвердился, когда гораздо спустя услышал отрывочные пересказы о свиданиях Николая Ивановича Тургенева с графом Орловым в Париже в 1856 году и заметил, что тон этих разговоров, исполненный самой милой, веселой любезности, совершенно свободный, независимый, чуждый посторонних соображений и задних мыслей, имел поразительную родственность с тоном отношений графа Орлова к Чаадаеву¹²³.

Очень скоро после написания и отправки письма к графу Орлову копию с него Чаадаев прислал ко мне, в то же время назначая на другой день с ним где-то вместе обедать. Когда мы перед обедом сошлись, Чаадаев стоял спиной к печке, заложив руки за спину. Я подал ему письмо и сказал, что «не ему же растолковывать значение его поступка, что он сам лучше всякого другого его понимает, но что только не могу постигнуть, для чего он сделал такую ненужную гадость?»* Чаадаев взял письмо, бережно его сложил в маленький портфельчик, который всегда носил при себе, и, помолчав с полминуты, сказал: «*Moi cher, on tient à sa peau*» [Мой дорогой, все дорожит своей шкурой. — *Фр.*]. Больше об этом предмете между нами никогда не было сказано ни слова.

Думаю, что это самая крупная и единственная низость этого рода, сделанная им в продолжение всей жизни, без сомнения неизвинительная, но, надобно признаться, много изъясняемая возрастом. в то время уже преклонным, неудовлетворительным состоянием здоровья, а главным образом, общими нравственными расстройством и упадком от стесненного материального положения.

После его смерти мне очень хотелось письмо показать Герцену. Случайное и, должно быть, predeterminedное обстоятельство тому помешало. Как ни заботился я, уезжая из России, взять его с собой, однако ж забыл у себя под замком в деревне. Сказывать же про него Герцену, не имея в руках неопровержимого доказательства, не посмел, будучи уверен, что он отнесся бы ко мне с презрительным недоверием и, судя по всему, вероятно, заподозрил бы в низкой и наглой клевете. Таким образом Герцен и умер, не испытав этого разочарования, быть может, не самого легкого из всех бесчисленных, его постигших.

* Выражение, которое я употребил, было «*bassesse gratuite*» [ненужная низость — *фр.*].

В моей записке я слишком много говорил о самолюбии и тщеславии Чаадаева и, сколько мне кажется, слишком мало указал на те побудительные причины и поводы, которые в нем эти недостатки развили почти до безумия. Нечего поминать про то, сколько и как он был избалован в семействе. Потом, вступив в свет, сделался жертвой многочисленных, часто фанатических поклонений, которым не переставал подвергаться до конца жизни. Целое его существование было почти непрерывным рядом хронических похваливаний, которые тем и были опаснее, что не носили на себе характера уличных оваций, а к нему неслись, как невольная дань свободно и симпатично склонявшихся индивидуальных умов и даже сердец. От редкого из замечательных людей в России своего времени он не получил хоть какого-нибудь более или менее лестного комплимента. Я уже упоминал, как рано он привлек к себе расположение императора Александра I. С самой первой молодости два великих князя* сделали его предметом своего особенного внимания. Положение, в отношении к нему принятое Пушкиным, известно. Баратынский, навещая его на страстной неделе, говорил ему, что «в эти великие и святые дни не находит лучшего и более достойного употребления времени, как общение с ним». Менее знаменитые его знакомые выступали с не менее соблазнительными изъявлениями. Иной, приехавши к нему в первый раз и не застав дома, входит в квартиру и ее осматривает, а потом свое поведение изъясняет тем, что «желал видеть помещение гениального человека»; другой просит у него позволения приютиться под сенью его колоссальной «фигуры»; третий в письме доводит до его сведения, что «считает его одним из замечательнейших людей своего времени и своей страны»; и т. д.**. Всех случаев подобного рода не перечтешь. А. С. Хомяков, никогда, ни с кем и нигде не ронявший своего достоинства, ревниво, подозрительно, строго-заботливо стерегший свою независимость и свою самостоятельность, даже и насупротив таких личностей, вблизи которых в некоторых странах исчезает всякая независимость, перед которыми пропадает и стушевывается все окружающее, спокойно вносил различные «выходки» Чаадаева, часто неуместные и даже иногда не совсем учтивые***, с некоторой горечью на них жаловался и в ответ тем, кто упрекал его в излишнем долготерпении, говорил: «Ну, с ним ссориться мне не хочется». Герцен, всегда ко всем без исключения столько взыскательный и непреклонно-беспощадный, не находил предосудительным никакого поступка Чаадаева, и в какую бы ни впадал он непростительность, всегда избирал ей разумное изъяснение и придумывал благовидное оправ-

* Константин и Михаил.

** Двое из этих господ, люди совершенно независимые и без всякого общеизвестного пятна, были, конечно, искренни. Это правда, что третий принадлежал к разряду тех людей, которых брань и ругательство почетнее их похвалы.

*** Эти выходки в отношении к Хомякову были чрезвычайно редки и очень умеренны, однако ж были: им подвергались все без исключения, слишком часто с Чаадаевым видевишися.

дание. Об том, как он был забалован женщинами, можно было бы написать несколько страниц. Князь Ив. С. Гагарин публично признавался, что перешел в римское исповедание, обращенный Чаадаевым. Человек очень богатый, образа мыслей более нежели независимого, с большою склонностью к фрондерству и оппозиции, говорун искрометный и разнообразный до ослепительности, одно время очень блистательный и видный в московском обществе, с не мешающей ничему репутацией отменно храброго солдата, никогда (когда то признавал нужным) не оставлявший без спора и без противоречия всемогущих слов тогдашнего московского генерал-губернатора, беспредельно всемогущего князя Д. В. Голицына, — Александр Сергеевич Цуриков, оканчивал свои письма к Чаадаеву словами: «Je baise vos pieds, maître cher et respectable» [Припадаю к вашим стопам, глубокоуважаемый и дорогой учитель. — *Фр.*]. В конце тридцатых годов (1839) он переделал на французский язык известное стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Свою переделку напечатал отдельной книжкой и, даря брошюрку Чаадаеву, сделал на ней следующую надпись: «Могущественному властителю дум и мыслей, высокому апостолу и проповеднику истины, пламенно уважаемому и любимому наставнику и другу»¹²⁴. Пускай кто угодно рассудит, есть ли возможность, чтобы такой фимиам не подействовал, чтобы такие похвалы не упоили, чтобы такие поклонения не возбудили гордости, тем более, что в глаза бросается, что они могли быть привлечены не чем другим, как исключительно только одной личностью Чаадаева и теми духовными благами и нравственными наслаждениями, которые могло доставить с ним общение, а не вещественными выгодами, не осязательными наглядными преимуществами, наделять которыми по своему положению он не имел возможности*.

* Даже люди brutally свирепые, озлобленные, не терпевшие образа мыслей Чаадаева, всегда готовые заявить к этому образу мыслей ненависть и презрение, при таких заявлениях, по недостатку воспитания и светскости, почти никогда не умевшие отделить личности от мнений, грубым и наглým образом поражая мыслителя, всегда мужички неловко хватавшие булыжником и по человеку, и те иногда приходили в себя и выдвигались с обворожительными предупредительностями. Когда в Москве выстроили и открыли нынешний Малый театр, тогдашний театральный директор М. Н. З., человек многосторонних и разнообразных известностей (про него придумана была одною из современных знаменитостей следующая, столько же колкая, обидная, сколько и несправедливая острота, будто «в устах подобных людей, что бы ни произнесли они, все живо, глупо и отвратительно; что если бы им пришлось сказать, что два и два четыре, то, конечно, от них и это всякому показалось бы и неверным, и неумным, и низким»), — в первый раз, когда приехал в него Чаадаев, предложил ему: «не угодно ли его осмотреть», и этот осмотр произвел так, как будто театр показывал какому начальству. Любезностью З... Чаадаев был очень доволен. В городе об ней заговорили. З... же на вопрос: «Какой цели ради он совершил эту демонстрацию?» отвечал, что «давно искал случая публично показать Чаадаеву почтительное внимание, великодушно прощая ему его слабости, отпуская пороки, снисходя к прегрешениям, все-таки видя в нем человека с не совсем дурными зачатками» (Чаадаеву тогда было пятьдесят годов) «и, в сущности, благодушного, более несчастного, нежели виновного, испорченного уродливым, бестолковым, неблагоприятным, недовольно благочестивым воспитанием, пагубными примерами, растлевающей средой, ослепленного и лишеного основательности безумца, но не закоренелого и сознательного преступника». Известно, что еще гораздо прежде З... в одной из своих комедий вывел Чаадаева на сцену в свете, которому старался придать характер мало привлекательный, смешной и неблагоприятный¹²⁵.

Приложение

П. Я. Чаадаев

ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА, АДРЕСОВАННЫЕ ДАМЕ

Письмо первое

Да придет царствие твое.

Сударыня,

Именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего более, именно их я всего более и ценю в вас. Судите же, как должно было удивить меня ваше письмо. Этими прекрасными качествами вашего характера я был очарован с первой минуты нашего знакомства, и они-то побуждали меня говорить с вами о религии. Все вокруг нас могло заставить меня только молчать. Посудите же, еще раз, каково было мое изумление, когда я получил ваше письмо! Вот все, что я могу сказать вам по поводу мнения, которое, как вы предполагаете, я составил себе о вашем характере. Но не будем больше говорить об этом и перейдем, не медля, к серьезной части вашего письма.

Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели она — печальное следствие наших бесед? Вместо мира и успокоения, которые должно было бы принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, — оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызения совести. И однако, должен ли я этому удивляться? Это — естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого находятся у нас все сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин общества до раба, живущего лишь для утех своего господина.

Да и как могли бы вы устоять против этих условий? Самые качества, отличающие вас от толпы, должны делать вас особенно доступной вредному влиянию воздуха, которым вы дышите. То немногое, что я позволил себе сказать вам, могло ли дать прочность вашим мыслям среди всего, что вас окружает? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я должен был предвидеть последствия, и я их действительно предвидел. Отсюда те частые умолчания, которые, конечно, всего менее могли внести уверенность в вашу душу и, естественно, должны были привести вас в смятение. И не будь я уверен, что, как бы сильны ни были страдания, которые может причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное

состояние все же лучше полной летаргии, — мне оставалось бы только раскаться в моем рвении. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас ваше небо, претворятся со временем в благодатную росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце, а действие, произведенное на вас несколькими незначительными словами, служит мне верным залогом тех еще более важных последствий, которые, без сомнения, повлечет за собою работа вашего собственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь чистые чувства.

Что касается внешних условий, то довольствуйтесь пока сознанием, что учение, основанное на верховном принципе *единства* и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или *церкви*, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самым фактом своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: *Отче святой, соблюди их, да будет едино, якоже и мы**, и не стремится к водворению царства божия на земле. Из этого, однако, не следует, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призвание. Наоборот, самый принцип, из которого эта истина исходит, обязывает вас, ввиду вашего положения в обществе, признавать в ней только внутренний светоч вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что способствовал обращению ваших мыслей к религии; но я был бы весьма несчастлив, если бы вместе с тем поверг вашу совесть в смущение, которое с течением времени неминуемо охладило бы вашу веру.

Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший способ сохранить религиозное чувство — это соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом, большинство обрядов христианской религии, внушенных высшим разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключенными в них истинами. Существует только одно исключение из этого правила, имеющего в общем безусловный характер, — именно, когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, — верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отда-

* Иоанн. XVII, 11.

ваться более важным трудам. Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование.

Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения светских понятий, более естественный образ жизни для женщины, развитой ум которой умеет находить прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная в значительной мере размышлению и делам религии? Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так сильно вашего воображения, как картины мирной и серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной сельской местности на закате дня, вливают в душу мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой действительности. Но эти картины — не создания фантазии; от вас одной зависит осуществить любой из этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть все необходимое. Вы видите, я проповедую не слишком суровую мораль: в ваших склонностях, в самых привлекательных грезах вашего воображения я стараюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.

В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это — старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет всю ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, — не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас — только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, — говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здо-

ровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха,— у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри нас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйте, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою,— не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть,— такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничего не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поу-

чений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это — хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из *преемственных* идей человеческого рода. Между тем, именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода, и каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами

молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, т. е. по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.

Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи

долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше, чем психология; это — физиология европейского человека: Чем вы замените это у нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развившихся в обществе и медленно выростающих одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неисканным подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи за отсутствием связи или последовательности замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способ привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вносящую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожающей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого и предусмотрении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же

самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.

Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых оцепенелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы — кельты, скандинавы, германцы — имели своих друидов, скальдов и бардов, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить материальная культура Соединенных Штатов: среди них встречаются люди удивительной глубины.

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом; упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего об-

шественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз, другой великий государь, приобщая нас к своему славному предзнаменению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещенные страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и особенностям нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она — ключ к пониманию народов.

Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца* эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделали жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных

* Фотия.

братьев,— мы подпали еще более жестокому рабству, освященному, притом, фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже были предугаданы отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы,— все это нас совершенно миновало. В то время как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекаая за собою поколения,— мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.

Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?

Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системой, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чье явственное обнаружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую церковь, включенного в символ веры. В христианском мире все необходимо должно способствовать — и действительно способствует — установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово господя, что он пребудет в церкви своей до скончания века. Тогда новый строй — царство божие, — который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя, — от царства зла, — который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, — пустая игра ума, способная удовлетворять

только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны.

Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и разве немислима иная цивилизация, кроме европейской? Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из наших соотечественников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? Неужто вы думаете, что небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?

В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в который осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в какое-нибудь определенное время в человеческой жизни, от того, которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании христиан, т. е. какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему человечеству.

Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осуществиться, т. е. где идея, которую бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера в свою очередь естественно обуславливают определенный строй жизни и определенное мировоззрение, которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас, как и у всех неевропейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все мечты, все усилия разума.

Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; и как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой — они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обращения к богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех же словах возносили свой голос к верховному

существо, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира! Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат влияния религии, и если, с другой стороны; слабость нашей веры или несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого общего движения, где развивалась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сон народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода.

Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там в сущности духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.

Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси, соборы — вот события, наполняющие первые века. Все движение этой эпохи, не исключая и нашествия варваров, связано с этими первыми, младенческими усилиями нового мышления. Следующая эпоха занята образованием иерархии, централизацией духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочение религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под державой религии довершают эту историю новых народов, которую с таким же правом можно назвать священной, как и историю древнего избранного народа. Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад общества. Таким образом, главный и, можно сказать, единственный интерес новых народов всегда заключался в идее. Все положительные, материальные, личные интересы поглощались ею.

Я знаю — вместо того, чтобы восхищаться этим дивным порывом человеческой природы к возможному для нее совершенству, в нем видели только фанатизм и суеверие; но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой глубокий след в характере этих народов должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, безразлично — в добре и во зле. Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, — мы можем только за-

видовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины, целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают.

Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией,— далеко нет. Но все в них таинственно повинуетея той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества. Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени,— англичане,— собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей свободой и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII,— не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эту эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идее. И в ту же минуту, когда я пишу эти строки*, все тот же религиозный интерес волнует эту избранную страну. Да и вообще, какой из европейских народов не нашел бы в своем национальном сознании, если бы дал себе труд разобраться в нем, того особенного элемента, который в форме религиозной мысли неизменно являлся животворным началом, душою его социального тела на всем протяжении его бытия?

Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым и непосредственным влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, может быть осуществлена лишь путем бесчисленных нравственных, умственных и общественных комбинаций, где должна найти себе полный простор безусловная свобода человеческого духа. Отсюда ясно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, вернее, с той минуты, когда Спаситель сказал своим ученикам: *Идите по миру и проповедуйте Евангелие всей твари*,— включая и все нападки на христианство,— без остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, как власть Христа непреложно осуществляется во всех сердцах,— с сознанием или бессознательно, по доброй воле или принуждению,— чтобы убедиться в исполнении его пророчеств. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что царство божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле.

Прежде чем закончить эти размышления о роли, которую играла религия в истории общества, я хочу привести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочинении, вам неизвестном.

* 1829.

Несомненно, писал я, что пока мы не научимся узнавать действие христианства повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя бы с целью ему противоборствовать,— мы не имеем о нем ясного понятия. Едва произнесено имя Христа, одно это имя увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает так ясно божественного происхождения христианской религии, как эта ее безусловная универсальность, сказывающаяся в том, что она проникает в души всевозможными путями, овладевает умом без его ведома, и даже в тех случаях, когда он, по-видимому, всего более ей противится, подчиняет его себе и властвует над ним, внося при этом в сознание истины, которых там раньше не было, пробуждая ощущения в сердцах, дотоле им чуждые, и внушая нам чувства, которые без нашего ведома вводят нас в общий строй. Так определяет она роль каждой личности в общей работе и заставляет все содействовать одной цели. При таком понимании христианства всякое пророчество Христа получает характер осязательной истины. Тогда начинаешь ясно различать движение всех рычагов, которые его всемогущая десница пускает в ход, дабы привести человека к его конечной цели, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной из его природных способностей, а наоборот, удешевляя их силу и доводя до безмерного напряжения ту долю мощи, которая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один нравственный элемент не остается бездейственным в новом строе, что самые энергичные усилия ума, как и горячий порыв чувства, героизм твердого духа, как и покорность кроткой души,— все находит в нем место и применение. Доступная всякому разумному существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чем бы оно ни билось, христианская идея все увлекает за собою, и самые препятствия, встречаемые ею, помогают ей расти и крепнуть. С гением она поднимается на высоту, недостижимую для остальных людей; с робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; в созерцательном уме она безусловна и глубока; в душе, подвластной воображению, она воздушна и богата образами; в нежном и любящем сердце она разрешается в милосердие и любовь; и каждое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет вперед, наполняя его жаром, ясностью и силой. Взгляните, как разнообразны характеры, как множественны силы, приводимые ею в движение, какие несходные элементы служат одной и той же цели, сколько разнообразных сердец бьется для одной идеи! Но еще более удивительно влияние христианства в целом. Разверните вполне картину эволюции нового общества, и вы увидите, как христианство превращает все интересы людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и возбуждая в области мысли те великие споры, каких до него не знало ни одно время, ни одно общество, те страшные столкновения мнений, когда вся жизнь народов превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все становится им, и только им,— частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали. Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное сознание части, ими

творимой в этом великом движении, которое сообщил миру сам бог. Но не все суть деятельные орудия, не все трудятся сознательно; необходимые массы движутся слепо, не зная сил, которые приводят их в движение, и не провидя цели, к которой они влекутся, — бездушные атомы, косные громады.

Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, — все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом, христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.

Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избежать еще одного письма от меня, потому что мы едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы. А пока я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы сооблаговостили пространностью этого первого письма извинить то, что я так долго заставил вас ждать его. Я сел писать вам в тот же день, когда получил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы поглотили меня тогда всецело, и мне надо было избавиться от них, прежде чем начать с вами разговор о столь важных предметах; затем нужно было переписать мое маранье, которое было совершенно неразборчиво. На этот раз вам не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо.

Некрополь, 1-го декабря 1829 г.

К. Д. К а в е л и н

АВДОТЬЯ ПЕТРОВНА ЕЛАГИНА

10-го июня 1877 года в селе Петрищеве, Белевского уезда, предано земле тело Авдотьи Петровны Елагиной. Это имя, близкое и дорогое теперь немногим ее родным и почитателям, пережившим покойную, было в свое время очень известно в интеллигентных слоях русского общества, принимавших более или менее живое и деятельное участие в нашем литературном, научном и культурном развитии. В последние годы царствования Александра I и в продолжение всего царствования императора Николая, когда литературные кружки играли такую важную роль, салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно- и научно-образованного. За все это продолжительное время под ее глазами составлялись в Москве литературные кружки, сменялись московские литературные направления, задумывались литературные и научные предприятия, совершались различные переходы русской мысли. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения за это время, не встречаясь на каждом шагу с именем Авдотьи Петровны. В литературных кружках и салонах зарождалась, воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения.

Осыпанный покойной вниманием и ласками с молодых лет, безгранично обязанный на первой поре жизни многим ей лично, почтенному ее семейству и ее салону, связывая с дорогим мне семейством Елагиных лучшие воспоминания молодости, я считаю обязанностью сохранить для будущего времени то, что знаю сам и из рассказов родных об этой замечательной русской женщине.

Авдотья Петровна увидела свет 11 января 1789 года в родовом имении Юшковых, селе Петрищеве Белевского уезда Тульской губернии. Ее мать, Варвара Афанасьевна, рожденная Бунина, была очень образованная женщина и прекрасная музыкантша; отец, Петр

Николаевич Юшков, занимал в царствование Екатерины видное место в тульской губернской администрации и принадлежал к известной дворянской фамилии¹. Дядя его, женатый на графине Головкиной, был губернатором в Москве во время чумы².

Первоначальное воспитание Авдотьи Петровны было ведено очень тщательно. Гувернантками при ней были эмигрантки из Франции времен революции, женщины, получившие по-тогдашнему большое образование. В особенности называют m-me Dorer, отличающуюся вполне аристократическим складом и характером. Это обстоятельство имело большое влияние на умственный и нравственный строй покойной, придало ей французскую аристократическую складку, общую всем лучшим людям той эпохи. С немецким языком и литературой Авдотья Петровна познакомилась чрез учительниц, дававших ей уроки, и В. А. Жуковского, ее побочного дядю, который воспитывался с нею, был ее другом и, будучи старше ее семью годами, был вместе ее наставником и руководителем в занятиях³. Русскому языку учил ее Филат Гаврилович Покровский, человек очень знающий и написавший много статей о Белевском уезде, напечатанных в «Политическом Журнале»⁴.

Пяти лет от роду Авдотья Петровна лишилась матери, умершей в чахотке, и вместе с тремя своими сестрами, Анной (впоследствии известной писательницей Зонтаг⁵), Екатериной (Азбукиной) и Марьей (Офросимовой), поступила на воспитание к своей бабушке, Марье Григорьевне Буниной, рожденной Безобразовой, умершей в 1811 году, — женщине с большим характером. Она жила в селе Мишенском Белевского уезда, куда переселился и отец Авдотьи Петровны после смерти жены. Зиму это семейство проводило в Москве. Живо сохранился в памяти покойной Елагиной торжественный въезд и коронавание императора Александра I⁶.

Авдотье Петровне еще не исполнилось 15-ти лет, когда за нее посватался у бабушки, не сказав ей самой ни слова, Василий Иванович Киреевский⁷, проживавший тоже в Москве. Ему было около тридцати лет; человек он был ученый, в совершенстве знал иностранные языки, но был своеобразен до странности. Брак совершился 16 января 1805 года и был из самых счастливых. Киреевский страстно любил свою жену и довершил ее образование, читая с нею серьезные книги, в особенности исторического содержания и Библию. Вероятно, в это время окончательно утвердилась в молодой тогда Авдотье Петровне глубокая религиозность, без сомнения и колебаний, которая сопровождала ее до могилы. Киреевский был религиозен до нетерпимости, ненавидел Вольтера, скупал и истреблял его сочинения. Вследствие ли влияния мужа, или начального воспитания, трудно сказать, но Авдотья Петровна всю свою жизнь не сочувствовала отрицательному направлению, когда оно выражалось резко и в крутых формах; оно было противно ее религиозному направлению, ее литературным и эстетическим вкусам и привычкам; но эта нелюбовь к отрицательному направлению была чужда всякой исключительности и фанатизма. Авдотья Петровна много читала и думала, часто слышала самые разнообразные суждения об одних и тех

же предметах, и это сделало ее замечательно терпимой ко всякого рода взглядам, лишь бы они были искренни, правдивы и выразались не в грубых формах.

От брака с Киреевским Авдотья Петровна имела четверых детей. Из них зрелого возраста достигли: Иван Васильевич (род. 1806 года 22 марта), Петр Васильевич (1808 года 11 февраля) и Мария Васильевна (1811 года 8 августа)⁸. Счастливое супружество покойной с первым мужем продолжалось недолго. В 1812 году, осенью, В. И. Киреевский скончался в Орле, от горячки, которую схватил вследствие самоотверженного служения на общую пользу. Беспомощное состояние раненых пленных французов, неурядица и злоупотребления в госпиталях возмущали его. Будучи честным человеком, он самопроизвольно, без всякого полномочия или приглашения от властей, принял в свое заведование госпиталь в Орле, привел его в порядок, заботился о пленных и раненых, обращал якобинцев и революционеров к религии, спокойно переносил оскорбления, которыми они его за то осыпали, и сделался жертвой госпитальной горячки⁹.

24-летняя вдова была в отчаянии, лишившись в лице любимого мужа наставника и руководителя. «Делайте теперь со мной, что хотите», — сказала она своей тетке, Екатерине Афанасьевне Протасовой¹⁰. К этой тетке, овдовевшей еще в 1793 году, переселилась она с своими детьми из с. Долбина, Калужской губернии, Лихвинского уезда, старинного имения Киреевских, где жила с мужем, ненадолго приезжая с ним по зимам в Москву. Протасова жила в Орле и около Орла, в деревне Муратове¹¹, с двумя своими дочерьми. С этим семейством жил и Жуковский, которого нежная, глубокая, многолетняя привязанность к Марье Андреевне Протасовой известна из его биографии¹². Здесь Авдотья Петровна очутилась в образованном, веселом светском кружке, который составилась в селе Черни у Александра Алексеевича Плещеева. Плещеев был женат на Анне Ивановне Чернышевой, женщине очень образованной, имел свой домашний оркестр и был неподражаемый чтец и декламатор, вследствие чего поступил позднее лектором к императрице Марии Федоровне¹³. В кружке Плещеева, кроме его жены, Жуковского, дочерей Е. А. Протасовой и близких приятелей и знакомых: Д. Н. Блудова, Д. А. Кавелина¹⁴, Апухтина¹⁵ участвовали многие из образованных пленных французов, в том числе генерал Бонами¹⁶. Здесь проводили время очень весело, читали, разыгрывали французские пьесы, играли в распространенные тогда в избранных кружках jeux d'esprit¹⁷, исполняли музыкальные пьесы.

Через два года кружок этот расстроился. В 1814 году Александра Андреевна Протасова выдана замуж за А. Ф. Воейкова¹⁸, известного сатирического писателя, вскоре занявшего кафедру русской словесности в Дерптском университете. С ним переехала в Дерпт и семейство Протасовых, а Авдотья Петровна поселилась с детьми снова в селе Долбине, вместе с Жуковским, возвратившимся в 1813 году из ополчения¹⁹.

Уединенная жизнь ее в Долбине продолжалась целых семь лет.

В продолжение этого времени в жизни ее совершились два важных события. В 1817 году, 4-го июля, Авдотья Петровна вступила во второй брак с Алексеем Андреевичем Елагиным²⁰, своим троюродным братом. Оба происходили из рода Буниных: Авдотья Петровна — от Афанасия Ивановича, а второй муж ее, Елагин — от родной сестры Бунина, Анны Ивановны Давыдовой, которой дочь, Елизавета Семеновна Елагина, была матерью Алексея Андреевича. Другим важным событием было вступление, в том же 1817 году, Марии Андреевны Протасовой в супружество с профессором Дерптского университета Иваном Филипповичем Мойером.

Четыре года спустя, 4 июля 1821 года, Авдотья Петровна переехала из Долбина на житье в Москву и прожила здесь безвыездно 14 лет — до 1835 года. Этот продолжительный период времени был, как она сама говаривала, счастливейшей эпохой в ее жизни. С этого же времени она принимает живое и непосредственное участие в жизни литературных и ученых московских кружков. Еще в царствование Александра I образовался в Москве, около Николая Полевого, замечательный литературный кружок, к которому принадлежали Пушкин, князь Вяземский, Кюхельбекер и князь Одоевский (издававшие вместе «Мнемозину»), В. П. Титов, Шевырев, Погодин, Максимович, Кошелев, Росберг, Лихонин. В этом же кружке впервые выступила в свет Каролина Карловна Яниш, впоследствии известная писательница Павлова²¹. Одного перечня этих имен достаточно, чтобы показать, в каком замечательном обществе вращалась тогда Авдотья Петровна.

С 1826 года блестящий кружок Полевого сменился другим, не менее блестящим и талантливым, сгруппировавшимся около только что начинающего поэта Дмитрия Ивановича Веневитинова²². Зерно этого кружка составилось из молодых людей, служивших при архиве министерства иностранных дел и готовившихся, под названием «архивных юношей», к дипломатической карьере²³. Кроме Пушкина и князя Вяземского, принадлежавших и к кружку Полевого, мы встречаемся здесь с С. И. Мальцевым, сослуживцем Грибоедова по дипломатической миссии в Персии, Н. А. Мельгуновым, С. А. Соболевским, поэтом Баратынским, Д. Н. Свербеевым и другими²⁴. Но душа и центр этого кружка, Веневитинов, умер весной 1827 года, едва начав свое блистательное литературное поприще, не достигнув и двадцатидвухлетнего возраста.

С 1828 года в московских литературных салонах появляются новые лица, ставшие потом видными деятелями в литературе и науке. В Москве поселился Н. М. Языков; сыновья Авдотьи Петровны, Иван и Петр Васильевичи Киреевские, поехавшие учиться за границу, возвратились в 1830 году в Москву, по случаю холеры²⁵. Тогда возникла в их кружке мысль об издании журнала «Европеец». План этого журнала обсуждался в 1831 году, при участии Жуковского, который нарочно для этого приехал из Петербурга. В 1832 году издание «Европейца» началось, но со второй же книжки журнал был запрещен.

К этому же времени относится знакомство с А. И. Тургеневым²⁶ и появление в кружке новых деятелей — П. Я. Чаадаева и

А. С. Хомякова. Тогда же зарождается и так называемое славянофильство, развившееся потом в особую философско-историческую доктрину. Первым представителем этого направления был Петр Васильевич Киреевский, которому сперва сочувствовали только Хомяков и Языков. Иван Васильевич Киреевский не разделял сначала мнений брата и присоединился к ним лишь впоследствии. Авдотья Петровна сочувствовала Петру Васильевичу не в отрицании петровской реформы, а в нелюбви к Петру за его жестокость и лютовство. Воспоминания о них живо сохранялись в семейных преданиях Лопухиных, которые находились с Елагиной в каком-то далеком родстве или свойстве²⁷.

С тридцатых годов и до нового царствования дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливого, съезжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных. В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать вечера Елагиных людям самых различных воззрений, до тех пор, пока литературные партии не разделились на два неприязненных лагеря — славянофилов и западников, что случилось в половине сороковых годов. Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении, — именно как школа для начинающих молодых людей: здесь они воспитывались и приготавливались к последующей литературной и научной деятельности. Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев, юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям. К числу молодых людей, воспитавшихся таким образом в доме и салоне Авдотьи Петровны Елагиной, принадлежали: Дмитрий Александрович Валуев, слишком рано умерший для науки, А. Н. Попов, М. А. Стахович, позднее трое Бакуниных, братья эмигранта, художник Мамонов и другие²⁸. Все они были приняты в семействе Елагиных на самой дружеской ноге, — Валуев даже жил в их доме — и вынесли из него самые лучшие, самые дорогие воспоминания. Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями. С любовью, глубоким почтением и благодарностью возвращается он мыслями к этой счастливой поре своей молодости, и со всеми его воспомина-

ниями из того времени неразрывно связана светлая, благородная, прекрасная личность Авдотьи Петровны Елагиной, которая всегда относилась к нему и другим начинающим юношам с бесконечной добротой, с неистощимым вниманием и участием. Такой же благодатной средой был для нас салон Свербеевых, открывшийся, кажется, несколько позднее, чем у Авдотьи Петровны. В сороковых годах он уже был в полном блеске²⁹. Теперь не слышно более о таких салонах, и оттого теперь молодым людям гораздо труднее воспитываться к интеллигентной жизни, чем было нам, когда мы начинали жить. Разрозненность, одиночество, недостаток живого, материнского участия просвещенных женщин, недостаток непосредственного общения и связи между старым и новым мыслящими поколениями, быть может, более всего объясняют болезненность, раздражительность, сердечную отчужденность, составляющие обычные свойства и характерную черту выдающихся умов и талантов нового поколения, идущего на смену нашему. Бремя, которое взваливается на интеллигенцию всей обстановкой русской действительности, еще кое-как выносится при соединении сил, но оно тяжело давит лучших людей поодиночке.

Возвратимся к нашему очерку. Кто не участвовал сам в московских кружках того времени, тот не может составить себе и понятия о том, как в них жилось хорошо, несмотря на печальную обстановку извне. В этих кружках жизнь была полным, радостным ключом. Лето проводилось где-нибудь за городом, зима в Москве. В 1831 и 1832 годах Елагины и Киреевские жили летом в Ильинском. Тут, между прочим, разыгрывалась шуточная комедия «Вавилонская принцесса», написанная в стихах Ив. Вас. Киреевским и Языковым, который в то время жил с Елагиными и Киреевскими. В 1833 году они поселились в селе Архангельском, подмосковном имении князя Юсупова. Пользуясь драгоценной картинной галереей, Авдотья Петровна много занималась в то лето живописью и сделала несколько прекрасных копий с картин юсуповской галереи³⁰. Она очень любила живопись и не оставляла ее даже в последний год своей жизни. Ослабление зрения ее особенно тревожило.

В 1834 году она опять провела лето в Ильинском, а в следующем году, рано весною, в марте, уехала впервые за границу, сперва в Карлсбад на воды, а потом в Дрезден. Пребывание в чужих краях продлилось до июля 1836 года. Во время этого путешествия она, чрез рекомендательные письма Жуковского, познакомилась с Тиком и Шеллингом³¹.

К этому времени стали подрастать и дети ее от второго брака: сыновья Василий (родился 1818 г. 13 июня), Николай (1822 г. 23 апреля), Андрей (1823 г. 18 сентября) и дочь Елизавета (в 1825 г.)³². Все они воспитывались дома, сыновья доканчивали свое образование в московском университете. Это обстоятельство и привычка жить в просвещенной, литературной и научной среде удерживали Авдотью Петровну постоянно в Москве, откуда она редко отлучалась. Так, в 1841 году она во второй и последний раз ездила за границу, чтобы познакомиться с невестой Жуковского.

С 1835 года в салоне Елагиных появились новые лица — некоторые из молодых профессоров московского университета, недавно возвратившихся из-за границы и вдохнувших в университет новую жизнь. То было время его процветания и небывалого блеска. В 1838 году с Елагиными познакомился Гоголь³³, а в сороковых годах салон Авдотьи Петровны стали посещать Герцен, Ю. Ф. Самарин, Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин³⁴. Не называем прежних постоянных посетителей и членов кружка, живших в Москве, и приезжих, русских и иностранцев.

В эту же эпоху радостными событиями в личной жизни Авдотьи Петровны и в семействе Киреевских и Елагиных были: переезд Екатерины Афанасьевны Протасовой, весной 1837 года, с семейством Мойера и дочерьми А. Ф. Воейкова из Дерпта на постоянное житье в село Бунино, Орловской губернии, Болховского уезда; частые приезды Жуковского и женитьба его (в 1841 году)³⁵; брак старшего из детей, прижитых в браке с Елагиным, Василья Алексеевича, с троюродной сестрой, Екатериной Ивановной Мойер³⁶ (1846 г. 14 января).

II

С половины сороковых годов звезда жизни и счастья А. П. начала меркнуть. Семейные горести и несчастья стали быстро следовать одни за другими. Печальный их ряд открылся смертью одной из любимых племянниц Авдотьи Петровны, Екатерины Александровны Воейковой (1844 г.)³⁷; позднее, в том же году, 27 декабря, умер сын ее, 21 года от роду, еще студентом, Андрей Алексеевич Елагин, подававший большие надежды; в декабре следующего 1845 года скончался Д. А. Валуев, ставший как бы членом семьи Елагиных; в 1846 году, 21 марта, Авдотья Петровна лишилась второго мужа, А. А. Елагина; год спустя — новые утраты: сперва скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова (12 февраля 1848 г.), а вслед за нею (4 июля) дочь Авдотьи Петровны, Елизавета Алексеевна Елагина. Кругом становилось пусто. 1846 и 1847, позднее 1849 и 1850 годы проведены в деревне. Блестящее время московских кружков и салонов приходило к концу. Наступила другая эпоха.

Литература, наука отступали на второй план перед грозными политическими событиями, восточной войной и внутренними преобразованиями, которые наступили с новым царствованием³⁸. Близкие, друзья все еще по-прежнему собирались, но круг их из года в год редел: одни умерли, другие разъехались. В 1856 году над Авдотьей Петровной разразился новый удар: сыновья ее Киреевские, Иван и Петр Васильевичи, умерли вскорее один за другим (11 июля³⁹ и 25 октября), чрез два года не стало И. Ф. Мойера, а три года спустя (5 сентября 1859 г.) скончалась дочь Елагиной, Марья Васильевна Киреевская.

Последние годы жизни Авдотья Петровна проводила в Москве, летом в деревне, иногда оставаясь тут круглый год, но большею

частью возвращаясь на зиму в Москву. Жила она с своим сыном, Николаем Алексеевичем Елагиным, который остался неженатым, устроил для нее прекрасную усадьбу и дом в деревне Уткино⁴⁰, близ родимого ее пепелища, села Петрищева, и с трогательною нежностью заботился об угасавшей матери. Здесь доживала Авдотья Петровна свои дни, окруженная дорогими воспоминаниями прошлого, не переставая заниматься, читать, рисовать. С избранием сына, Николая Алексеевича, в 1873 году в предводители дворянства Белевского уезда она перестала ездить на зиму в Москву и проводила зимние месяцы в Белеве. Но недолго суждено ей было наслаждаться тихой, спокойной, радостной старостью: 11 февраля 1876 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Елагин, лелеявший ее последние годы, посвятивший ей свою жизнь. Из всего ее многочисленного семейства оставался теперь в живых только один сын, Василий Алексеевич Елагин. Но воспитание детей приковывало его к Дерпту. Сюда в семейство сына и переселилась Авдотья Петровна 11 мая того же года и здесь тихо скончалась 1 июня 1877 года, на 89 году от роду.

Нам остается добавить немного для характеристики покойной.

Авдотья Петровна не была писательницей, но участвовала в движении и развитии русской литературы и русской мысли более, чем многие писатели и ученые по ремеслу. Она не единственный у нас пример в этом роде. Кто заподозрит громадную роль в нашем развитии Грановского, перебирая два тоших тома его статей, — или Николая Станкевича, который ничего после себя не оставил, кроме писем?⁴¹ Чтоб оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям. Покойная показывала мне одну из таких рукописей — толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной. К сожалению, я не могу сказать, какие именно стихотворения Жуковского прошли чрез такую переделку и все ли ей подвергались.

Авдотья Петровна много переводила с иностранных языков, но значительная часть этих переводов, вследствие разных случайностей, не были напечатаны. В молодости, еще до замужества, она перевела, по заказу Жуковского, много романов и получала за них гонорар книгами⁴²; так переведен ею, между прочим, Дон Кихот Флориана⁴³. В «Европейце» напечатан сделанный ею перевод одной рыцарской повести из *Sagen der Vorzeit* [Предания старины — нем.] Фейт-Вебера⁴⁴, а в «Москвитянине» 1845 года отрывки, отмеченные Иваном Киреевским из мемуаров Стефенса⁴⁵. Наконец, много ее переводов напечатано в «Библиотеке для воспитания», издававшейся П. Г. Редкиным, между прочим статья о Троянской войне и др.⁴⁶. Остались в рукописи, ненапечатанными: «Левана, или о воспоминании» Жан-Поль Рихтера; «Жизнь Гусса» Боншоза, в двух томах; «Тысяча одна ночь»; «Принцесса Брамбилла» Гофмана; многие проповеди Винэ (Vinet)⁴⁷. Еще в самый год своей кончины Авдотья Петровна перевела одну из проповедей ревельского проповедника Гуна.

Основательно знакомясь со всеми важнейшими европейскими литературами, не исключая новейших, за которыми следила до самой смерти, Авдотья Петровна особенно любила, однако, старинную французскую литературу. Любимыми ее писателями остались Расин, Жан-Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Массильон, Фенелон⁴⁸.

Покойная до самой кончины имела живой, ясный и веселый ум. Ее записки к знакомым и близким, писанные года за два до смерти, поражают твердостью почерка, свежестью оборотов и стиля. Трогательно было видеть, как ветхая днями, Авдотья Петровна не переставала заниматься чтением, переводами, живописью, рукоделием. Бывало, в Уткине по поводу какого-нибудь разговора старушка тихими шагами отправлялась в свою комнату и выносила оттуда сделанный ею на клочке бумаги, иногда в тот же день, перевод какого-нибудь места из только что прочитанной книги, которое почему-то остановило на себе ее внимание. Родным и близким она дарила то нарисованный ею в тот же день акварелью цветок, то связанный ее руками за несколько времени перед тем кошелек. Покойная страшно любила цветы. Она сама, смеясь, рассказывала, как однажды в Уткине, сойдя в цветник полюбоваться ими и срезать розу, она упала и не могла подняться. Проходивший мимо мальчик, которого она позвала на помощь, испугался и убежал; в таком положении прождала она, пока домашние не спохватились и не начали ее искать.

Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Живость, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массою интереснейших личностей и событий, прошедших перед нею в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память — все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе незнакомому, кто только в ней нуждался. Поразительные примеры этой черты ее характера рассказываются ее родными и близкими.

Покойная всю свою жизнь сохранила основные характерные черты того времени, когда воспитывалась и сложилась. Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали в ней над всеми прочими; политические и общественные вопросы отражались в ее уме и сердце своей гуманитарной и литературно-эстетической стороной. Такова была складка того поколения, к которому принадлежала покойная Авдотья Петровна, и этому направлению она осталась верной до последних дней жизни.

Это поколение сошло теперь в могилу. Представителей его между нами можно пересчитать по пальцам, и все они уже древние люди. Мы, ближайшие свидетели заката их деятельности, уже в молодости чувствовали и отчасти понимали их различие с нами, а нынешние люди отошли от них так далеко, что перестали их понимать, относятся к ним равнодушно, даже холодно. И в самом деле, между поколением Александровской эпохи, к которому принадлежала по-

койная Елагина, и теперешним лежит целая бездна. Не только нашим детям, но даже нам самим трудно теперь вдумать в своеобразную жизнь наших ближайших предков. Лучшие из них представляли собой такую полноту и цельность личной, умственной и нравственной жизни, о какой мы едва имеем теперь понятие. Отдельно взятые, лучшие личности Александровского времени изумляют высоким просвещением и нравственным идеализмом не только на словах, но и на деле. На нас немногие личности Александровской эпохи, с которыми мы имели случай встречаться, всегда производили, с этой стороны, обаятельное впечатление: в них, несмотря на все превратности судьбы, не было и тени той угловатости, односторонности, резкости, ни той нравственной надорванности, которые составляют обычные недостатки нашего поколения и еще более, чем нас, удручают тех, которые следуют за нами.

Чем объяснить это различие, невольно бросающееся в глаза? Многие видят в нем доказательство вырождения поколений; другие, именно славянофилы, считали идеи, которыми жило прежнее поколение, чуждыми нам, неспособными привиться к русской почве; третьи уверены, что эти идеи не могли развиваться, потому что для них не были благоприятны политические условия. Но ни одно из этих предположений не решает вопроса. У нас между поколениями потому нет умственной и нравственной преемственности и связи, что нам пришлось в короткое время нагонять Европу и дело веков у нас скомкалось в несколько десятилетий, а такая скороспелая работа не могла не привести к разладу между поколениями и к крайнему умственному и душевному утомлению, которое мы, по ошибке, считаем за признак вырождения. Великодушные, гуманные идеи, которыми были проникнуты лучшие люди Александровской эпохи, могли быть слишком отвлечены, непрактичны, неосуществимы в тогдашней форме и в тогдашнем обществе, но чуждыми нам они не могли быть, и последующее время доказало, что они такими вовсе не были. Идеи XVIII века были результатом развития человеческого рода в течение веков. По своей всеобщности, своему общечеловеческому характеру, они близки и дороги всякому народу, всякому племени. Народ или государство, которым они чужды, подписывают тем свой смертный приговор, не могут деятельно участвовать в общем развитии и успехах, играть продолжительную роль и иметь важное значение во всемирной истории; они осуждены прозябать и рано или поздно входят в состав других, более талантливых и живучих народов. Не одни только национальные особенности, но и всеобщие идеи дают народам и государствам историческое, всемирное значение; национальность определяет только формы, в которых эти идеи производятся и осуществляются, никак не более. Наконец, политические и административные порядки выражают степень культуры и не определяют способности к ней. У нас, как и везде, эти порядки, по мере нашего развития, не ухудшались, а скорее, напротив, вырабатывались и смягчались, и если они оставляют желать многого, то причина опять-таки заключается в той же низкой степени культуры. Таким образом, причин упадка и исчезновения блестящего и

просвещенного культурного слоя Александровского времени надо искать не в вырождении поколений, не в характере идей, которыми жил этот слой, и не в политических и социальных условиях России XIX века, а в чем-нибудь другом. Мы думаем, что эти причины лежат гораздо глубже — в уединенном и обособленном положении культурного слоя Александровской эпохи посреди крайне невежественных низших и средних классов тогдашней России. В царствование Александра I образованные кружки резко выдавались вперед над остальной массой населения, не имели с нею почти ничего общего и жили своею особою жизнью, соприкасаясь с остальными слоями и классами русского общества только внешним образом. Правда, никакого антагонизма и вражды не было между теми и другими, но не было также между ними никакого сближения и взаимодействия. Образованные кружки представляли у нас тогда посреди русского народа оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы, — искусственные центры, с своею особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещенные и нравственные личности. Они в любом европейском обществе заняли бы почетное место и играли бы видную роль. Но эти во всех отношениях замечательные люди вращались только между собою и оставались без всякого непосредственного действия и влияния на все то, что находилось вне их тесного немногочисленного кружка. Упрекать их за то в аристократическом пренебрежении к другим, в недостатке патриотизма, в равнодушии к успехам и развитию отечества было бы непростительной ошибкой и вопиющей напраслиной. Эти люди, напротив, горячо любили свою родину, горячо желали для всех и каждого тех благ, которыми сами жили, в своих чаяниях и стремлениях. Занимались они не одной литературой и искусствами, как многие думали; между ними немало было и таких, которые имели большое политическое образование, были искренними поборниками свободных учреждений, мечтали для своего отечества об освобождении крепостных, о финансовой реформе, о коренном преобразовании школы, суда и администрации, о свободе веры, слова и печати. Успехами России в течение девятнадцатого века мы существенно обязаны этим людям. Но они проводили высокую культуру, которую несли с собою, не в будничной обстановке ежедневной жизни грубых масс, не лично и непосредственно, а в общих административных и законодательных мерах, или в литературных, художественных и научных произведениях. Существование этих людей и их кружков было плодотворно для России только в общем, отвлеченном смысле, но не отражалось в живых фактах на окружавшем их русском обществе. Эти изящные, развитые, просвещенные, гуманные люди жили полною жизнью в своих кружках, не внося своим существованием ничего в наш тогдашний печальный, полудиккий быт. Люди, глубоко понимавшие всю цену просвещения, не думали устраивать школ и обучать грамоте мужиков, посреди которых жили; к местной, губернской и уездной администрации, наполненной невеждами, земскими ерышками и подьячими старого закала, грабившей живых и мертвых, возмутительно притеснявшей простой народ, люди, проникнутые идеями

правды и гуманности, относились с очень понятным омерзением и гадливостью; но они ничего не делали, чтобы поддержать лучших людей в этой печальной среде, чтобы помочь им выбраться из грязной действительности, чтобы пролить хоть какой-нибудь луч света в это царство мрака. Также чуждо было для них и все остальное — и сельское духовенство, и купечество, и мещанство. Из своего прекрасного далека они безучастно смотрели на то, что делалось в ежедневной жизни вокруг них, из боязни унизиться и испачкаться в нравственной и всяческой грязи соприкосновением с нею. Скажут: то была барская спесь. Совсем нет! Таланты, выходившие из народа, хотя бы из крепостных, даже люди, подававшие только надежду сделаться впоследствии литераторами, учеными, художниками, кто бы они ни были, принимались радушно и дружески вводились в кружки и семьи на равных правах со всеми⁴⁹. Это не была комедия, разыгранная перед посторонними, а сущая, искренняя правда — результат глубокого убеждения, перешедшего в привычки и нравы, что образование, знание, талант, ученые и литературные заслуги выше сословных привилегий, богатства и знатности. Но темное большинство, не способное, по крайнему невежеству и отсутствию культуры, понять и оценить те высшие интересы, которыми жили образованные кружки, не возбуждало в них деятельного участия; а большинство, в свою очередь, бессмысленно и равнодушно смотрело на непонятную для него жизнь, занятия, радости, печали, стремления и наслаждения просвещенных людей, как на барские затеи и причуды. Обоим элементам этого странно раздвоенного и разобщенного общества, жившим рядом друг подле друга, и в мысль не приходило постараться сблизиться, понять друг друга, опираться друг на друга, работать дружно вместе. С этой точки зрения, между старыми и новыми поколениями лежит целая бездна. Теперь редкий из истинно просвещенных людей не ставит себе задачей популяризировать свои знания, по возможности поднимать до себя окружающих его необразованных людей, растолковывать им пользу науки и знания, сообщать знания и науку в доступных им формах и объеме. Ничего подобного прежде не было. Ключ ко всему, что думалось и делалось в избранных кружках, существовал только для них самих; для остальной России оно казалось непонятным чудачеством, диковинной штукой, которой себя только тешили господа и дворяне. Многие с досадой и злорадством напевают на неудачные, смешные, подчас очевидно ошибочные формы, в которых выражается современное стремление сделать всех причастными науке и знанию, связать в одно целое разрозненные общественные слои, наглядно и осязательно показать необразованной части русского населения пользу и необходимость того, чем заняты его образованные и просвещенные вершины. Но за подробностями, промахами и уклонениями опускается из виду главная, существенная сторона в стремлениях нашего времени. Те, которые видят только смешное и вредное в том, что делается, не могут или не хотят понять, что наши блестящие кружки просвещенных людей первой половины XIX века замерли и постепенно исчезли именно вследствие того,

что стояли одиноко, были разобщены с остальной русской жизнью. Воспитанные в этих кружках люди, несмотря на все свое обаяние, были тепличными растениями и не могли выдержать обыкновенной температуры. Им предстояла задача акклиматизировать в России то, что они несли с собою; но это было невозможно, потому что почва далеко не была для того подготовлена. Непосредственная грубость и невозделанность этой почвы делала немислимой пересадку в нее прекрасных, но тонких и нежных растений, привыкших к искусственной теплоте и свету, и они завяли, не пустив корней.

Поколение Александровской эпохи сыграло свою историческую роль и уступило место новым деятелям. Теперь, кажется, уже настала пора судить о нем с полным беспристрастием, не делая ему упреков, которых оно не заслуживает. Нельзя, не нарушая исторической правды, помянуть его иначе как добром. Оно всегда будет служить ярким образцом того, какие люди могут вырабатываться в России при благоприятных обстоятельствах. Обвинять его за то, что оно стояло особняком посреди русской жизни, было бы более чем странно. Такое положение создано ему всем ходом развития нашей культуры и ближайшими задачами его времени.

В. С. Печерин

ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
(APOLOGIA PRO VITA MEA)

Дублин. 13-го октября 1865 г.

Любезнейший племянник!¹

Знаете ли, чего вы от меня требуете? Ни больше ни меньше, как прислать вам *несколько томов* моей биографии. Оно бы кажется не трудно бегло рассказать главные факты моей жизни; но как же описать постепенное, медленное, многосложное развитие духа? Как размотать эти тонкие нежные нити мысли, крепко связанные неумолимую логикою жизни? — Ведь это почти то же, что написать целую историю философии. Для этого надобно время и терпение. В прошлом году я начал было писать свои записки; но после бросил. Может быть, снова за них примусь. Теперь же, чтобы удовлетворить вашему и ваших друзей желанию, я посылаю вам два из них отрывка — как *задаток*. Для остального надо время и терпение.

Первые воспоминания. 1812 год

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок². Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там, бывало, с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты: это был размен пленников. У нас была одна большая комната с огромными шкапами во всю длину стены: в одном из этих шкапов меня клали спать. Тут на турецком диване я сидел с указкою в руках: сам отец учил меня грамоте. Первую книгу мне дали в руки — «Сто четыре священные истории» Гибнера³. История смерти Спасителя сделала на меня чрезвычайное впечатление. Солнце померкло — земля потряслась — мертвые встали из гробов — завеса храма раздралась надвое⁴, это зрелище потрясло всю душу — какой-

то священный трепет пробежал по всему телу, волосы стали дыбом. Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности, я не испытывал подобного ощущения. Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста⁵, — было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на остальную жизнь! Впрочем, кроме «Священной истории» я читал все, что мне попадалось в руки. У отца моего была маленькая библиотека, состоявшая из драм Коцебу и романов г-жи Жанлис⁶. Здесь же, в крепости Килии, я в первый раз выступил на сцену. У нас зимовала небольшая Дунайская флотилия⁷. Флотские офицеры зимою завели редут и театр. В одной пьесе Коцебу требовалась роль ребенка около моих лет. Мне предоставили эту роль. Я вышел на сцену, сказал выученные мною слова, получил два калача в руки и удалился за кулисы. Кроме отца, у меня был еще другой учитель — флотский офицер с деревянною ногою — достопочтенный и незабвенный Залеский: он учил меня писать и рисовать носы и глаза. В одно прекрасное утро раздался гром пушек со всех укреплений, так что у нас все стекла треснули. Это было известие об изгнании французов из России.

1815. Одесса в казармах

Полковой доктор Зоммер (разумеется, немец), заведовавший здоровьем моей матери, сказал ей однажды: «Этот ребенок будет или поэтом, или актером». Хорош пророк! Впрочем, он, может быть, и не совсем ошибся. Я действительно был поэтом, — не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения я задумал и развил длинную поэму жизни и, по всем правилам искусства, сохранил в ней совершенное единство. Несмотря на разнообразные события *одна идея* господствует над всем — это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызвала меня на Запад и теперь *ведет путем незримым* к какой-то высокой цели, где все разрешится, все уяснится и все увенчается. Я был также и актером. Я разыгрывал всевозможные роли. Я был подканцеляристом Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени⁸ у Синего моста⁹ и был посажен под арест за нерадение к службе — кутил с гвардейскими подпрапорщиками, потом вдруг перебрался на 5-й этаж в Гороховой улице¹⁰ и жил там бедным студентом, пустынником, был членом Профессорского института¹¹ и *почти* профессором Московского университета¹², бродил бесприютным нищим по Франции, продавал ваксу на улицах Люттиха (Liège)¹³ в Бельгии, был секретарем у английского капитана и за это получал пять франков в неделю, наконец, я был республиканцем школы Ламанне, коммунистом, сен-симонистом, миссионером-проповедником, теперь, вероятно, я вступил в последнюю ролю: она лучшая из всех и близшая к идеалу: я разделяю труды сестер милосердия и вместе с ними служу страждущему человечеству в больнице¹⁴.

Но что же было поводом доктору Зоммеру произнести такое обо мне пророчество? В Одессе меня повезли в театр. Там играли «Эдип в Афинах» Озерова¹⁵. Теперь еще помню начало:

Постой, дочь нежная преступного отца!
Опора слабая несчастного слепца!
Печаль и бедствия всех сил меня лишили¹⁶.

Надобно заметить, что мне *ничто даром не проходило*. Какая-нибудь книжонка, стихи, два-три подслушанные мною слова делали на меня живейшее впечатление и определяли иногда целые периоды моей жизни. Возвратившись домой, я набросил на плечи шаль моей матери и начал расхаживать по комнате, как греческий царь. Высокие идеи театрального правосудия шевелились в голове моей. Мне хотелось быть правосудным царем — оправдывать невинных, разбивать оковы узников. У нас была какая-то большая белая книга: я начал в ней писать свои мысли и иллюстрировать их. Я нарисовал царя в венце и багрянице, сидящего на престоле; перед ним проводят пленников: он их прощает и велит снять с них оковы. С тех пор я каждый день представлял или греческих царей, или чувствительную драму «Кора и Алонцо»¹⁷. Мне было 8 лет. С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становлюсь посредником между тиранами и их жертвами...

Тут же в Одессе умер наш полковой командир Андрей Карлович Мольтрах — горький пьяница. Какой-то полковой поэт написал ему следующую эпитафию:

Стой, прохожий! Стой!
Вижу — у тебя штоф непустой;
Сжался и мне немного отлей!
Здесь лежит пьяный Андрей.

Было какое-то торжество в одесском соборе. Все офицеры в большом параде. Был тут и герцог Ришелье¹⁸. Отец подвел меня к нему и ДЮК¹⁹ (так его звали в Одессе) погладил меня по головке: вот я и получил благословение французского легитимиста!²⁰

Дублин. 28 марта 1867

Любезнейший племянник Савва Федосеевич!

[...] Вы сами приглашаете меня продолжать мои записки. У меня к этому есть сильное побуждение. Жизнь быстро улетает. Мне хочется оставить по себе хоть какой-нибудь след. Может быть, когда меня не будет на свете, кто-нибудь случайно прочтет эти строки и, если у него есть человеческое сердце, он пожалеет обо мне и скажет: «Этот человек достоин был лучшей участи».

При жизни батюшки неловко было писать о тех обстоятельствах, в которых заключается тайна моей жизни и без которых она оста-

лась бы необъяснимую загадку. Теперь надо возвратиться назад, в Одессу, в 1815 г. Я остановился на этих словах: «С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становлюсь посредником между тиранами и их жертвами». Теперь продолжаю.

[1815. Одесса в казармах]

(Окончание)

По благому русскому обычаю отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как их драли в конюшне. Мать подсылала меня к отцу ходатайствовать за Ваську или Яшку. Я плакал, умолял, целовал руки у отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы... Но и мать моя сама была жертвою... Однажды она взяла меня за руку, повела в уголок и поставила на колени подле себя перед образом св. Николая и со слезами сказала: «О, св. Николай! ты видишь, как несправедливо с нами поступают!» Между тем в ближней комнате шла вечеринка. Песенники пели с бубнами и тарелками модную в то время песню:

Посреди войны кровавой
Истреблю тебя, любовь!
Разорву твой плен суровый
И свободен буду вновь!

Но царицею этого праздника была не мать моя, а *другая*... Эта *другая* — была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Тут я бросаю перо и невольно задумываюсь. Вот где узел моей жизни! Вот таинство судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмщающий за обиду не отца, а матери!²¹ Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство *мести* овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание *отделиться* от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?

Мне было 12 лет в 1819 г., в Дорогобуже²². Я решил бежать во Францию. Какой-то офицер был женат на французенке, и они собирались ехать за границу. В день их отъезда я вышел за ворота и поджидал их. Как только они подъедут, — думал я, — я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: «Je suis un pauvre petit enfant — je veux aller en France — prenez moi avec vous!» [Я бедный ребенок, я хочу отправиться во Францию, возьмите меня с собою! — *Фр.*] Но никакой экипаж не проезжал, а далее ворот идти храбрости не стало. Но откуда же взялось это желание бежать во Францию? Неужели же от влияния французской литературы? Посмотрим.

Я начал учиться по-французски в 1817 г. (т. е. мне было 10 лет) у учителя народного училища в Велиже²³ Витебской губернии. Первую французскую книгу я получил от одного из наших офицеров — это был роман *Радклиф* «La forêt» [«Лес» — *фр.*]²⁴. Потом дядя, Василий Петрович Симоновский, прислал мне «Magazin des en-

fants» [«Журнал для детей» — *фр.*], который я изучил с величайшим наслаждением. В Дорогобуже я читал Телемака²⁵ и переводил его для маменьки. Тут же я читал трагедии Расина²⁶ и сам разыгрывал их на уединенной сцене. Неужели же *эта* литература могла иметь такое чрезвычайное влияние? Правда, с самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам — какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду. Правда и то, что в Дорогобуже это стремление было решительно к Франции. Всего забавнее, что в день рождества Христова, когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от *Галлов и с ними двадцати язык*²⁷, я про себя молился за французов и просил бога простить им, если они заблуждались!

Как трудно следить за этими тонкими нитями жизни! Какая тайна — развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? Зачем же оно не раскинулось шире и роскошнее? Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, может быть, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца!

Мой роман. Г. Липовец, Киевской губернии 1821 год²⁸

Ihr näh't euch wieder,
Schwankende Gestalten...

Г е т е²⁹

Принесли посылку с почты.— Откуда это?— Из Житомира, от книгопродавца Глюксберга.— Да что же это такое?— Это, должно быть, учебные книги для сына командира 2-го батальона 35-го Егерского полка майора Печерина. Дайте ж развернем, посмотрим, какие это *учебные* книги.— Вот они: 1. Discours sur l'histoire universelle p. Bossuet. 2. Lettres à Emilie sur la Mythologie par Demorntiers. 3. La Henriade de Voltaire. 4. Emile de J. J. Rousseau [«Рассуждения о всеобщей истории» Боссюэ; «Письма Эмилю о мифологии» Демонтье; «Генриада» Вольтера; «Эмиль» Ж.-Ж. Руссо — *фр.*]³⁰. Вот и все. Впрочем, «Эмиль» был не для меня, а для моего учителя, как *руководство*. Да! Судьба и мой учитель решили, что мне непременно надобно быть воспитанным по Эмилю.

И чему тут дивиться? Учителю моему было около 24 лет от роду. Он был молодой человек очень приятной наружности с маленькими усиками и империялкой³¹. Происхождением он был немец из Гессен-Касселя, но отлично говорил по-французски. Его звали *Вильгельм Кессман*. О религии его нечего и говорить. А в политическом отношении он был пламенным бонапартистом и вместе с тем отчаянным революционером.

За каких-нибудь 50 руб. в месяц достать учителя и гувернера, все что угодно, — отлично говорящего по-французски и, по-немецки,

с отличными манерами — ведь это для небогатого русского дворянина просто была находка!

Я страстно полюбил моего учителя. Это была моя первая любовь. Он также привязался ко мне пламенной дружбой. Он действительно любил меня. Бог знает, что он думал обо мне, чего от меня ожидал и какие планы строил для меня в будущем! Вот один образчик! Вот что он однажды писал ко мне: «Учитесь, развивайтесь, поезжайте в университет. Кто знает, что вам суждено в будущем? Может быть, какая-нибудь благодарная нация выберет вас своим первым Консулом, а я, ошастливленный этим событием, радостно окончу дни свои подле вас!»

Каково?— Вот и Дон-Кихот с его островом³². И вот в каких идеях воспитывался сын бедного русского майора!— Впрочем, тут, может быть, была задняя мысль революции, как увидим после...

Однако ж, позвольте — не лучше ли было бы, например, вместо какого-нибудь немца, француза, отдать мальчика на воспитание какому-нибудь доброму священнику?

В этом позволено сомневаться. Ведь я всего попробовал — даже православного воспитания. Вот, например, в 19-м году в Дорогобуже, Смоленской губернии, мы стояли на квартире в доме протоппа благочинного. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал меня ему в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, — разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто как разгуляется, так хоть святых вон неси, так и пойдет в потасовку с своим сыном, парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя. Но и тут, как везде, женщина является добрым ангелом или благодетельною феею. Милая дочь протоппа, девушка лет 25-ти, очень меня полюбила и кормила меня вяземскими пряниками в великий пост. А пряников-то была бездна! Вся кладовая была переполнена сверху донизу, все полки были уставлены ими, словно какое-нибудь книгохранилище. А откуда же взялись эти пряники? А вот видите — накануне великого поста прихожане приходили на поклон к протоппу. Каждый бил челом святому отцу и подносил ему пряник, и вот эти пряники-то мы с Наташею и кушали.

А вот и другой образчик духовного воспитания. Где-то в Белоруссии на страстной неделе мы с маменькой пошли на исповедь к сельскому священнику. Он был какой-то ухарский молодец. Выслушав мою исповедь, он дал мне следующее поучение: «Будьте добрым мальчиком, ведите себя хорошо, и бог вас наградит и, когда вы подрастаете, он дарует вам прекрасную жену!!» Ей-богу, это слово в слово так! Вот и духовное поощрение 10-летнему мальчику! Вот и надежда лучших благ!

А о нашем полковом священнике так нечего и говорить. Он был разбитой малый, совершенно в уровень с своим военным положением. Как загнет бывало двусмысленную шутку, так что твой уланский вахмистр!³³ Извините эти педагогические отступления — это просто так, для сравнения двух систем. Учитель преподавал мне французский и немецкий языки, а остальные сведения я сам почерпал

из разных источников: читал Conversations Lexicon [«Сборник бесед»], немецкую Библию, Siècle de Louis XIV de Voltaire, Pucelle d'Orléan, Astronomie de Mauportuis [«Век Людовика XIV» Вольтера; «Орлеанская девственница»; «Астрономия» Мопертюи — *фр.*] и романы Августа Лафонтена³⁴. Ах! какую глубокую истину сказал Пушкин: «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь!»³⁵

У Кессмана была оригинальная метода. Он заставил меня писать на немецком языке дневник, т. е. записывать маленькие события дня и мои собственные о них мысли, а потом он это поправлял. Для развития мысли и слога, мне кажется, это отличная метода — без сомнения, несравненно лучше так называемых *тем* или школьных задач, где, например, вам скажут: напишите-ка описание бури, или похвалу скромности, или расскажите сражение между Горациями и Курияциями³⁶ (как мне задано было на французском экзамене в университете). К чему это ведет? Просто к фразам и амплификации³⁷, этой чуме истинного красноречия. Человек должен с младенчества учиться говорить правду, т. е. выражать свои собственные мысли и чувствования и говорить только о тех предметах, которые ему совершенно известны, а не красть чужие слова или просто быть попугаем.

Но отложим в сторону педагогию и поговорим о более серьезных предметах, paulo maiora sanamus!³⁸

Кессман жил на квартире у липовецкого городничего, отставного поручика Сверчевского. Они были задушевные друзья и оба были глубоко замешаны в революционных проделках.

В то время все подготовлялось к взрыву. Стихии были в брожении. Воздух напитан был электричеством. Может быть, одни близорукие в высших сферах не замечали этого. Говорили очень вольно — даже в наших военных кружках. «Недаром же в русском гербе двуглавый орел, и на каждой голове корона: ведь и у нас два царя: Александр I да Аракчеев I». — Даже простой народ громко роптал на Аракчеева. Приближалось 14 декабря и, как все великие события, бросало тень перед собою. Полковник Пестель был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был идолом 2-й армии³⁹. Из нашего и других полков офицеры беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. «Там свобода! Там благоденствие! Там честь!»

Кессман и Сверчевский имели ко мне неограниченное доверие. Они без малейшей застенчивости обсуждали передо мною планы восстания, и как легко было бы, например, арестовать моего отца и завладеть городом и пр. Я все слушал, все знал, на все был готов: мне кажется, я пошел бы за ними в огонь и воду...

Здесь рождается любопытный вопрос: а что бы я сделал, если бы действительно, пришлось к делу? Остался бы верным дружбе до конца? — или, может быть, по русской натуре я сподличал бы в решительную минуту, предал бы друзей и постоял бы за начальство? Ей-богу не знаю! Трудно отвечать.

Учение Кессмана совершенно меня преобразило. Идеи вольности и христианского равенства глубоко запали в душу, и я решился

привести их к буквальной исполнению. У меня, разумеется, был мальчик — Ониська — который ходил за мною, подавал мне умываться и пр. Я решительно отказался от его прислуги, к крайнему неудовольствию моего отца. Я не хотел иметь рабов — я сам себе прислуживал. Когда солдаты делали мне фронт (а как же? майорскому-то сыну!), я снимал картуз и учтиво раскланивался. Это было смешно и совершенно неприлично. Мне надлежало бы пройти мимо с надменным видом, не обращая на них ни малейшего внимания. Все это было так из рук вон, что даже Афонька, камердинер нашего полкового командира, потерял терпение и в каком-то порыве священного холопского негодования сделал мне выговор. «Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! Ведь вы вовсе не как следует русскому барину: вы словно какой-нибудь француз или итальянец!» Ах! если б в эту минуту я замахнулся и дал бы ему оплеуху, — он, наверное, глубоко бы передо мною преклонился и признал бы меня за истого русского дворянина!

Я даже сделал попытку революционной пропаганды и политического красноречия. Какие-то мужики работали около нашего сада. Вот я так и грянул им речь о свободе! Это тотчас же донесли в главную квартиру, Маменька сделала мне выговор, но с таким умом и тактом, которые очень хорошо показывали, что она вовсе не против свободы... Ах! она была святая женщина — гораздо выше своего времени и той среды, в которые она поставлена была судьбою.

Вот так-то я развивался по Эмилю — все, кажется, хорошо — одного недоставало: у Эмиля была *Юлия!* Да как же? Ведь надобна же юноше чистая и святая привязанность для того, чтобы предохранить его от нечистой любви; нужен ангел-хранитель, чтобы спасти его от порока⁴⁰. Но как и где найти ее? Вот в том-то и дело! Найти женщину — как отец Анфантен искал ее даже на отдаленном востоке⁴¹. Но ведь русская пословица говорит: на ловца и зверь бежит. И Юлия нашлась! Но для этого надо перенести сцену в другую местность.

Хмельник, Подольской губернии 1823 год

Und herrlich in der Jugend Prangen,
Wie ein Gebild aus Himmelshöhn,
Mit züchtigen, verschämten Wangen
Sieht er die Jungfrau vor sich stehn.

Шиллер⁴²

Мне было 16 лет. Я только что воротился из Киевской гимназии, где я пробыл около года, — к крайнему огорчению моей доброй маменьки. Да и было отчего огорчаться! Уж чего я не насыщался между офицерами и солдатами; но, признаюсь, никогда в армии я не слышал подобных мерзостей, как в этом благородном пансионе (у директора гимназии). А ведь тут был цвет южного дворянства из Херсонской и других губерний. О, русское дворянство! «Изрекли уж Эвмениды приговор свой роковой, и секира Немезиды поднята уж над

тобой!»⁴³. Учитель-надзиратель (он был коренной русский) пансиона рассказывал нам с большим вкусом — *con gusto* — великие подвиги Екатерины II — не те подвиги, которые история записала на своих скрижалях, а *другие*, принадлежащие к тайной придворной хронике. Придворная жизнь, со *всеми* ее подробностями, была в глазах его высоким идеалом, к которому всем должно стремиться. Он же научил нас петь следующую песенку:

On parle de philosophie,
On ne sait pas la définir,
Mais la seule digne d'envie
La mienne enfin — c'est de jouir,
Sourire à l'aimable folie
Pour mieux jouir, être inconstant,
C'est ainsi qu'on descend gaiement
La fleuve de la vie.
Les anciens sages de la Grèce
N'étaient pas sages tous les jours,
On a vu souvent leur sagesse
Echouer auprès des amours.
Sourire à l'aimable folie etc.
[Все толкуют о философии,
Но никто не может сказать, что это такое,
Тогда как единственная философия, достойная подражания,
Моя философия — это наслаждаться,
Улыбаться милому безумству,
Чтобы наслаждаться еще лучше, быть непостоянным.
Именно так человек весело плывет по течению
Реки жизни.
Мудрецы древней Греции
Не всегда были мудрыми,
И известно, что часто их мудрость
Отступала перед любовью.
Улыбаться милому безумству и т. д.— Фр.]

Вот в каких принципах воспитывалось русское дворянство. В этом случае я отдаю пальму Кессману: он по крайней мере дал моему уму более серьезное направление. Чего уж не преподавали в этой пресловутой гимназии! Даже психологию и римское право! Но все — ужасно поверхностно! Никто и ничему не учил и не учился основательно. Это была фразеология, фантазмагория, *пыливглазобросание* — словом, умственный разврат! Если не ошибаюсь, таков был дух всех *лицеев, школ, гимназий* того времени. Невольно подумаешь с Скалозубом, что уж лучше было бы учить там по-нашему: раз-два, а книги сберечь для важных лишь okazji⁴⁴.

Приближалось светлое Христово воскресенье. Вся природа воскресла. Теплый весенний воздух призывал к новой жизни и к тоске по родине. Прислали за мной Никифора привезти меня домой. Знаете ли, что такое Хмельник? Тут была в старину турецкая крепость на пригорке, на берегу Буга⁴⁵. В 1823 еще видны были ее остатки. На месте крепости стоял довольно красивый господский дом. В нем жил отставной полковник Гофмейстер, управлявший имением графа Киселева⁴⁶. У него была жена и дети: мальчик лет девяти и девочка 12 или 13 лет — очень умненькая и очень недурная собою: роскошные

каштановые волосы упали на ее плечи, голубые глаза, греческий нос, розовые щеки. Ее обыкновенно звали Бетти, а официально Елизаветой Михайловной. Вот она-то предстала предо мною, как светлое видение, в незабвенный светлый праздник 1823 года. «Мы не сказали ничего, но уж друг друга знали». Да и действительно так было. Кессман был теперь учителем в доме Гофмейстера. Драма нашей любви была им подготовлена — роли розданы и заучены. Все делалось буквально по Руссо. Едва ли кто теперь читает Новую Элоизу (*Nouvelle Héloïse*), но если вы ее читали, то знаете, что там есть знаменитая сцена *первого поцелуя* в боскете [от *фр.* *bosquet* — роща]⁴⁷. Вот эту-то сцену мы и скопировали. В один прекрасный майский день, часов около трех пополудни, когда почтенные родители почивали, я пробрался заднею калиткою в сад управителя, перешел через деревянный мостик на Буге, повернул направо в рощицу. Там она ожидала меня с учителем. Учитель скрылся за деревьями — Бетти бросилась в мои объятия. Все это было очень глупо, очень натянуто, смешно — как хотите — но совершенно невинно. При этом она вручила мне письмецо с локоном ее волос и колечком. Долго, долго, почти до конца моего университетского курса я хранил это сокровище. Как и где они погибли, не знаю, вероятно, они канули вместе с прочим в омуте петербургской жизни. Сцена в рощице повторялась каждый день. Под вечер я приходил в учебную комнату к концу уроков, маленького братца высылал вон, учитель прятался за кулисы, и мы оставались с ней одни на несколько минут. Бог мне свидетель! Никогда никакая дурная мысль не посещала меня в ее присутствии. Никакое облачко не померачало этого ясного майского дня. Я прибегал к ней с таким же благоговением, с каким у нас прикладываются к святым мощам и иконам...

O, zarte Sehnsucht, süßes Hoffen!
Der ersten Liebe gold'ne Zeit!
Das Auge sieht den Nimmel offen,
Es schwelgt das Herz in Seligkeit⁴⁸.

Я не могу не цитировать Шиллера, — его стихи вошли у меня в сок и кровь, перевелись с моими нервами: словом, вся моя жизнь сложилась из стихов Шиллера, особенно из двух поэм: «*Sehnsucht*» [«Желание» — *нем.*] и «*Der Pilgrim*» [«Путешественник» — *нем.*]⁴⁹.

План жизни моей был готов. Я еду в университет, оканчиваю курс, получаю диплом, возвращаюсь в Хмельник и женюсь на ней. Каков план для сына русского майора, у которого за душою было около 60-ти душ в сельце Навольковом, Позняки тож! Ведь это хоть какому английскому лорду под руку!

Но мы рассчитывали без хозяина. Роман наш продолжался три месяца и кончился самым трагическим образом. Родители Бетти как-то узнали о наших проделках, вероятно, маленький братец донес. Учителю отказали от дома. Он приготовился к отъезду. Вот тут влияние гимназии отозвалось на мне. Место бескорыстной самопожертвованной дружбы заступил какой-то холодный расчетливый эгоизм. Как скоро я узнал, что Кессман попал в немилость, я охладел

к нему. Я хотел быть порядочным человеком и стоять хорошо в глазах начальства. Я равнодушно смотрел на его приготовления к отъезду. Вот это-то равнодушие нанесло ему смертельный удар. Бедный Кессман! Не первый ты и не последний, что обманулся в русском юноше! Да где нам! Какого благородства от нас ожидать? Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами и умрем. «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют!»⁵⁰

За несколько дней до отъезда он попросил меня перевести ему на французский Тассовы «Ночи»⁵¹. Накануне отъезда, ввечеру, он заперся в свою комнату, хватил бутылку вина, зарядил пистолет, приставил к груди и — прямо в сердце! Его нашли лежащим на полу, куски его сердца были разбросаны, подле него лежали Тассовы «Ночи», забрызганные его кровью. Мне не позволили видеть его труп. Священник отказался похоронить его на кладбище. Вот так его и зарыли в одном из курганов около Хмельника. Я ходил после на его могилу не то чтобы плакать, а так, чтобы совершить сентиментальный долг и покончить роман. Никто не мог совершенно объяснить, что его побудило к этому отчаянному поступку. Думали, что он слишком был замешан в революционных проделках и не знал, куда деваться. Так погиб несчастный Кессман. Не мне его судить. Он заронил искру, которая еще не погасла. Он навсегда предохранил меня от несчастья сделаться верноподданным русским чиновником николаевского времени.

Вскоре после этого мы оставили Хмельник, и я расстался с нею навсегда.

А что же сделалось с Сверчевским, душевным приятелем Кессмана? Сверчевский? — Он моим же отцом расстрелян был в 1831 году⁵², там, где-то недалеко от Липовца. А что делала в это время моя добрая маменька? Она оставалась тем, чем всегда была, — ангелом мира и жертвою искупления. Ее гостиная в то время (1831) была набита польскими дамами. Они со слезами, на коленях умоляли о пощаде отцу, мужу, сыну, — но что же она могла сделать против железной русской судьбы, которой представителем был командир 2-го батальона?

Ну, что ж? удалась ли система Руссо? и какой был ее последний вывод? А вот посмотрим! В 1825 году я поехал в Петербург и попал там в странное общество — общество гвардейских подпрапорщиков, мелких чиновников, актеров, балетных танцоров, игроков, пьяниц, *Выжигиных* всякого рода — да что тут говорить о Выжигиных? Даже сам великий отец Выжигиных — Ф. В. Булгарин⁵³ жил в одном со мною этаже в доме Струговщиковой, — хотя, впрочем, я не достиг до высокой чести быть лично с ним знакомым. (Только за несколько дней до 14-го декабря я видел, как он из окна разговаривал с Федором Глинкою⁵⁴, стоявшим на улице.) От этого нелепого общества я убежал в свой внутренний мир, в идеал, в Хмельник — к ней! Единственным утешением моим было читать «Новую Элоизу» Руссо... Да, господа, смейтесь, сколько хотите: но все-таки согласитесь, что общество Сен-Пре, Юлии и лорда Эдуарда⁵⁵ все-таки лучше семьи Выжигиных. В страницах Руссо я дышал свободнее, я очищался,

умывался от грязи «Северной Пчелы»⁵⁶ и других произведений той эпохи. Среда, в которой я жил, проскользнула только снаружи, не коснувшись моей внутренней жизни: *она* меня спасла! Когда, наконец, в порыве благородного негодования, я прервал всякую связь с этим безобразным обществом и удалился в пустыню на пятый этаж в Гороховой улице, — *она* золотила мою темную конуру, ее светлый образ рисовался на стене, исписанной философскими изречениями. Когда я начал изучать Канта⁵⁷ и в первый раз испытал *упоение* философского мышления (*Der Wahn des Denkens*), *она* улыбалась мне из-за философских проблем и благословляла меня на *путь*...

Aus der Wahrheit Feuerspiegel
Lächelt sie den Forscher an.
Zu der Tugend steilem Hügel
Leitet sie des Dulders Bahn.

Шиллер⁵⁸

Она участвовала во всех высоких помыслах, во всех благороднейших стремлениях души моей. Я перестал об ней думать — когда? — когда, утомленный неравною борьбою с бедностью, я очертя голову бросился в казенные студенты и просто канул в грязную действительность... Но и тут еще раз она вспыхнула передо мною!.. Один из товарищей, знавший мою тайну, встретил ее где-то в петербургской гостиной. Она была в то время взрослою девицею во всем блеске юности и красоты. С тех пор я никогда уже об ней не слышал. «И навеки след ее исчез». И если теперь, когда я пишу эти строки, при мысли об ней слезы брызнули из глаз моих, — кто дерзнет меня порицать?

Э п и л о г

В 1839 г. в один прекрасный летний день я проходил по одной из улиц города Литтиха (Liège) в Бельгии — в старом сюртуке, с бородою и длинными волосами, — я в то время был благочестивым сенсимонистом. Попадается мне навстречу человек с младенцем на руках. Малютка загляделся на меня, как на какое диво, и протянул ко мне обе ручки. Отец с досадою и довольно громко сказал: «Ne le regarde pas, mon enfant! C'est un fou!» [Не смотри на него, дитя мое! Это — сумасшедший! — *Фр.*] Может быть, любезный племянник, прочитавши эти записки, вы согласитесь с мнением этого почтенного гражданина гор. Литтиха!

1823—1825

После смерти Кессмана отец мой, не знаю, как это сказать, почти меня возненавидел. Он считал меня способным ко всему дурному. Это можно некоторым образом объяснить насильственную смертью моего учителя и либеральными принципами, которые он мне внушил. Но были и другие причины. Около этого времени мать моя перехвати-

ла любовное письмо от вышеупомянутой полковницы Мольтрах к моему отцу и сама взялась на него отвечать, а меня заставила переписать набело. Вероятно, это каким-нибудь образом дошло до сведения отца и, разумеется, не улучшило наших взаимных отношений.

2-й батальон был отделен от полка и послан на военное поселение в Новомиргород Херсонской губернии, а зиму мы провели в какой-то Комисаровке, где нас буквально занесло снегом.

Я остался один, без дружбы и любви. Мой ум принял серьезное направление. К счастью, я выучился по латыни в гимназии, а из библиотеки дедушки Симоновского взял книгу — «*Selectae Historiae*» [«Избранные истории» — лат.]. Это было не что иное, как собрание изречений знаменитейших философов древности, особенно стоической школы. Читая и перечитывая эту книгу, я пришел к заключению, что внутренняя доблесть и независимость духа прекраснее всего на свете — выше науки и искусства, лучше всего блеска богатств и почестей, и я сделался стоическим философом. Я и теперь думаю, что это единственная философская система, возможная в деспотической стране. Все великие римляне во время Империи были стоиками. Но у нас между офицерами ходили по рукам и другие книги, например, «Сочинения Вольтера, переведенные на российский язык по приказанию ее имп. велич. императрицы Екатерины II». Вот как в старину просвещали Россию! Каждое животное по инстинкту находит на пастбище пищу, свойственную его желудку. Вот так и я по какому-то инстинкту попал на статью Вольтера о *квакерах*, где он описывает их житье-бытье и восхваляет их добродетельные нравы. Я так воспламенился любовью к квакерам, что тут же брякнул по-французски письмо в Филадельфию к обществу квакеров⁵⁹, прося их принять меня в сочлены и прислать мне на это диплом, а также квакерскую мантию и шляпу!!! Какова штука? Вы смеетесь? «Какая колоссальная глупость!» А мне так плакать хочется. Ведь это просто показывает, что русский человек бьется, как рыба на мели, не знает, куда ударить голову.

Как же я проводил время в этой Комисаровской пустыне? А вот как. Одним моим утешением был географический атлас. Бывало, по целым часам сижу в безмолвном созерцании над картою Европы. Вот Франция, Бельгия, Швейцария, Англия! Воображение наполнено жизнью эти разноцветные четверугольники и кружки — эти миры, департаменты, кантоны. «*Ach, wie schön muss sich's ergehen/ Dort im ew'gen Sonnenschein*'»⁶⁰, а сердце на крыльях пламенного желания летело в эти блаженные страны, и Шиллерово *Sehnsucht* [«Желание» — нем.] переливалось в русские стихи: «Ах, из сей долины тесной, хладною покрытой мглой, где найду исход чудесный? сладкий где найду покой?»⁶¹

Так проходили дни, а по вечерам повторялась одна и та же скучная история. В седьмом часу приходит ординарец, или как его звали, и рапортует: «Ваше высокоблагородие! все обстоит благополучно, нового ничего нет»; потом пол-оборота направо и марш. Остаются действующие лица: отец, адъютант и я. Отец ходит взад и вперед по комнате, адъютант стоит в почтительном расстоянии у дверей и не

смеет садиться, я сижу на скамье. Переливается из пустого в порожнее. Да о чем же говорить в этой глуши, где не было ни журналов, ни газет, ни каких-либо книг, кроме вышереченных? Сколько тут накопелось скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России? Да из-за чего же было мне любить Россию? У меня не было ни кола ни двора — я был номадом [от *греч.* *nomas* — кочевник], я кочевал в Херсонской степи, — не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний, родина была для меня просто тюрьмой, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. Неудивительно, что впоследствии, когда я выучился по-английски, Байрон сделался моим задушевным поэтом. Я напал на него, как голодный человек на обильную пищу. Ах! как она была мне по вкусу! Как я упивался его ненавистью! Как я читал и перечитывал его знаменитое прощание Англии: «Adieu, Adieu! my native shore!»⁶² Как часто я говорил с ним: «О быстрый мой корабль! неси меня, куда хочешь, но только не назад на родину!»⁶³ Неудивительно, что в припадке этого байронизма я написал (в Берлине) эти безумные строки:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение! Вот молодой человек 18 лет, с дарованиями, с высокими стремлениями, с жаждою знания, и вот он послан на заточение в Комисаровскую пустыню, один, без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем! Ужасное положение!

А вот вам и другая картина! В Англии, в Америке — молодой человек 18 лет, преждевременно возмужалый под закалом свободы, уже занимает значительное место среди своих сограждан. Родился он хоть в какой-нибудь Калифорнии или Орегоне — все ж у него под рукою все подспорья цивилизации. Все пути ему открыты: наука, искусство, промышленность, торговля, земледелие и, наконец, политическая жизнь с ее славными борьбами и высокими наградами, — выбирай, что хочешь! нет преграды. Даже самый ленивый и бездарный юноша не может не развиваться, когда кипучая деятельность целого народа беспрестанно ему кричит: вперед! go-ahead! Он начинает дровосеком в своей деревушке и оканчивает президентом в Вашингтоне!⁶⁴ А я — в 18 лет едва-едва прозябал, как былинка, — кое-как пробивался из тьмы на божий свет; но и тут, едва я подымал голову, меня ошеломляли русскою дубиною. Моя судьба висела на волоске. Не будь мать, которая непременно хотела мне дать наилучшее воспитание, отец давно уж бы записал меня в военную службу, а там я уж несомненно бы погиб и физически, и нравственно. Я все просился в университет. Отец однажды сказал мне: «Вот я тебе дам 500 рублей, поезжай в Харьков и купи себе диплом». Боже милосерд-

ный! Можете себе представить, с каким негодованием я принял это предложение. Я не диплома искал, а науки. Но как же это рисует русские нравы, русский взгляд на вещи! В других странах стараются развить *человека*, а у нас об одном хлопочут — как бы сделать *чиновника*, а после этого хоть трава не расти.

Вечное правосудие! Я предстану пред твоим престолом и спрошу тебя: «Зачем же так несправедливо со мною поступлено? За что же меня сослали в Сибирь с самого детства? Зачем убили цвет моей юности в Херсонской степи и Петербургской кордегардии? За что? За какие грехи?» Безумие! Фразы! Риторика! На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять главу. Никому нет привилегии. Попал под закон — ну так и неси последствия. Это — закон географической широты. Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!

В Новомиргороде случилось событие. Боже мой! От каких безделиц зависит судьба человека! И как осторожны должны быть отцы семейств в своих словах и действиях. Однажды в соседней комнате, за тонкою перегородкою, я слышал разговор отца с матерью. Я вовсе не хотел подслушивать, но мне невозможно было не слышать. Мать жаловалась, что какие-то серебряные ложки пропали, нигде их не можно найти. Отец тотчас же подхватил: «А кто знает? может быть, они понадобились Владимиру Сергеевичу для его мелких издержек». Мать так и ахнула от ужаса. «Как же возможно говорить подобные вещи!» — сказала она. Действительно, это были слова *ужасающего* легкомыслия, чтобы не сказать чего-нибудь похуже. Подобные обиды не прощаются. После этого уж никакое примирение не было возможно. Первая мысль моя была: тотчас же бежать. Бежать? Но куда? Как? Из России-то бежать? Да еще из Херсонской губернии? Вторая мысль: я торжественно поклялся, что если когда-либо выеду из родительского дома, то никогда ни под каким предлогом в него не возвращусь. Теперь этому почти 42 года прошло, и вы видите, как славно я сдержал свое слово!⁶⁵

Наконец, настал благословенный 1825 год. Дядя Ильин вызвал меня в Петербург. Ужасно холодно и натянуто было мое прощание с отцом. Выходя из ворот, лошади каким-то странным образом попятись. Никифор тотчас же заметил: «Это значит, что *он* не воротится назад!» Говорите же теперь против народных поверий! Маменька провожала меня до Олишевки, где жил дядя Шрамченко. С горькими слезами я простился с нею и, разумеется, навсегда!

Прошло 10 лет. Я возвращался из Берлина в Россию⁶⁶ с отчаянием в душе и с твердым намерением уехать за границу при первом благоприятном случае. Как меня ожидали в Одессе! После десятилетней разлуки приятно было родителям увидеть сына, так хорошо окончившего свое учебное поприще: окончив с успехом курс в университете, я побывал за границею и теперь ехал в Москву на место про-

фессора с отличным жалованием. Чего бы, кажется, лучше желать по русским понятиям? Вот так меня с нетерпением ожидали к летним каникулам (1836). Но когда я подумал, что надобно возвратиться в прежний домашний быт, увидеть всю обстановку провинциальной русской жизни, передо мною поднялась высокая непреодолимая стена. Невозможно! Невозможно! Невозможно! Одно меня смущало: я знал, что это нанесет жестокий удар сердцу матери... но и в этой борьбе я одолел! Надобно было обмануть родителей! Я написал к ним, что необходимые дела призывают меня в Берлин, но что я еду к ним на обратном пути через Вену. Надобно было также провести начальство. Я подал просьбу об отпуске в Берлин «для свидания с одним семейством, с которым я связан тесными узами». Из этого тотчас заключили, что я намерен жениться*. Благодушный попечитель, граф Строганов⁶⁷, потирая руками, сказал профессорам: «Я этому очень рад, это его *успокоит* и сделает более оседлым». А Каченовский⁶⁸ тут же в университете, смеясь, сказал мне: «Ведь это что-то вроде Ломоносова». В день заседания Университетского Совета по поводу моей просьбы я был бледен, как полотно, мне почти сделалось дурно,— я должен был спросить у сторожа стакан воды. Действительно, для меня это был вопрос жизни и смерти... Но все кончилось благополучно, и в половине мая 1836 я выехал из ненавистой мне Москвы.

В январе следующего года (1837) я получил в Цюрихе письмо от гр. Строганова, которое доселе храню, как памятник благороднейшего и честнейшего человека. Я со временем вам его перешлю. В 1838 году я странствовал по Франции. На мне была одна рубашка и изношенная блуза, а в кармане полфранка. При мне было письмо Строганова. Но, несмотря на мое крайнее положение, я никогда ни на одну минуту не имел поползновения воспользоваться этим письмом, которое давало мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Такова была моя непреклонная воля не возвращаться в Россию!

Вот так-то я потерял все, чем человек дорожит в жизни: отечество, семейство, состояние, гражданские права, положение в обществе — все, все! Но зато я сохранил достоинство человека и независимость духа. Смотрю назад — и мне кажется, что я не могу найти в моей жизни ни одного поступка, сделанного из каких-либо корыстных видов. Я просто донкихотствовал; я вечно воевал из-за идеи, точь-в-точь, как Наполеон III, с тем только различием, что я не приобрел ни Савойи, ни Ниццы⁶⁹.

Этим я оканчиваю сказание о моей жизни в России, «где я страдал, где я любил, где счастье я похоронил» (Пушкин)⁷⁰.

* Этому было некоторое основание. В Берлине была интимная связь, но о женитьбе и думать было невозможно.

Эпизод из петербургской жизни (1830—1833)

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

Пушкин⁷¹

Бури улеглись — настала какая-то глупая тишина, точно штиль на море. В воздухе было ужасно душно, все клонило ко сну. Я действительно начал уже дремать. Мне грезился какой-то вздор, какое-то *счастье*: жить в уединении с греками и латинами и ни о чем более не заботиться... Вдруг блеснула молния, раздался громовой удар, разразилась гроза июльской революции...⁷² Воздух освежел, все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Слово дух святой низошел на них. Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр. и пр. Да чего тут еще не говорили! Даже Николаю приписывали либеральные стремления. Рассказывали, что, когда пришло известие о падении Карла X⁷³, государь призвал наследника и сказал ему: «Вот, сын мой, тебе урок! ты видишь, как наказываются цари, нарушающие свою присягу!» И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas! [Святая простота! — *Лат.*]

С тех пор я уже более не засыпал... Ах, нет! виноват, грешный человек! Я проспал двадцать лучших лет моей жизни (1840—1860). Да что же тут удивительного! Ведь это не редкая жизнь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и то и другое сделал: и проспал, и проигрался в пух.

Но в то время случилось обстоятельство, надолго помешавшее мне заснуть. Попечитель Бороздин⁷⁴ позвал меня к себе. «Вот видите, в чем дело! Барон Розенкампф занимается изданием *Кормчей книги*. Ему надо разобрать и частию переписать греческую рукопись Номоканона⁷⁵. Вы можете ему помочь в этом. Я освобождаю вас от некоторых лекций, а именно от лекций Зябловского»⁷⁶. Зябловский был скучный и бездарный профессор довольно скучного предмета: *тогдашней* русской статистики. За то он уж и отомстил мне на экзамене, поставив мне 3 вместо ожидаемых 4. Но, разумеется, высшее начальство поправило эту ошибку, и я выдержал кандидатский экзамен на славу.

Где-то, кажется на Садовой, был большой деревянный дом довольно ветхой наружности. Тут жил барон Розенкампф.

Каждое утро в восьмом или девятом часу я являлся в его кабинет и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись из имп. Публичной библиотеки X или XI века. Сколько я над нею промечтал! Я воображал себе бедного византийского монаха в черной рясе, — с каким усердием он выполировал и разграфил этот пергамент! С какою любовью он рисует эти строки и буквы! А между тем вокруг него кипит бестолковая жизнь Византии. Доносчики и шпионы снуют взад и вперед; разыгрываются всевозможные козни и интриги придворных евнухов, генералов и иерархов; народ, за неиме-

нием лучшего упражнения, тешится на ристалищах, а он, труженик, сидит да пишет... «Вот,— думал я,— вот единственное убежище от деспотизма! запереться в какой-нибудь келье да и разбирать старые рукописи».

Около четвертого часу приходил старый, белый как лунь парикмахер и окостеневшими пальцами причесывал и завивал поседевшие кудри барона. После этого туалета барон вставал, брал меня за руку, и мы отправлялись на половину баронессы к обеду.

Баронесса Розенкампф была женщина лет за сорок или более. Она была очень бледна, и какое-то облако грусти висело на ее челе; но видны еще были следы прежней красоты. Она, говорят, блистала при дворе Александра I. Барон занимал важное место: он, кажется, был председателем законодательной комиссии. Но с воцарением Николая они попали в немилость и теперь жили в уединении, оставленные и забытые прежними друзьями и знакомыми. Так, разумеется, и быть должно. В гостиной стоял великолепный рояль под зеленым чехлом, но баронесса никогда до него не дотрагивалась. На стенах были развешаны произведения ее кисти, картины, бывшие некогда на выставке (между прочим я помню один прекрасный Francesco d'Assisi⁷⁷); но эти картины были задернуты каким-то траурным крепом. Баронесса все оставила, все забыла: и живопись, и музыку. Она не любила даже смотреть на эти предметы, напоминавшие ей лучшее былое. Ее гордая душа вполне понимала смысл этих слов Данта:

... Nessun un maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria⁷⁸.

В этом опальном доме господствовала оппозиция. Все действия нового правительства были беспощадно порицаемы. Когда мы читали «Journal des Débats»⁷⁹ о первых неудачах русского оружия в Польше⁸⁰, барон качал головою и говорил: «Вот видите, так и выходит, что Гораций сказал правду: «Vis consilii experts mole ruit sua!»⁸¹ Редко кто заходил в этот *забвенью брошенный* дом, разве только иногда зайдет А. Х. Востоков⁸² по каким-нибудь справкам для Кормчей книги. Только однажды, я помню, было нечто вроде званого обеда. Приглашены были старые друзья барона: пастор английской церкви доктор Ло, португальский консул да еще кто-то третий. По этому случаю баронесса немножко принарядилась, подрумянилась, ее бледные щеки оживились, она была очень мила, так что я почти в нее влюбился. Надо знать, что в качестве петербургского юноши я считал своим священнейшим долгом влюбляться во всякую сколько-нибудь пригожую женщину... А она меня действительно полюбила чистойшею материнскою любовью. Она усердно принялась за мое воспитание. «Ах! как жалко,— говорила она,— как жалко, что в Петербурге нет средств для развития молодого человека!»

Я этим ужасно как обиделся. Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе⁸³ звезды с неба снимаем. А теперь, как подума-

ешь, так самому становится стыдно. Ведь наш почтенный Грефе, хотя академик и немец, а все ж таки едва ли бы годился быть маленьким доцентом в Оксфорде. Когда теперь припоминаю тогдашний Петербургский университет, то так и руки опускаются. Ведь, действительно, никакое самостоятельное развитие не было возможно. В преподавании не было ничего *серьезного*: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки профессора, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазубренным во время оно. Да и теперь, по слухам, до меня дошедшим, немного лучше. Да что ж это за напасть такая, что нам наука вовсе не дается? А вот в чем загадка: *законодательствуйте, сколько хотите, но ничто вам не пойдет впрок, если вы идете наперекор народному духу*⁸⁴. Для русского свежего практического народа надо бы преподавание ограничить предметами первой необходимости, практически-полезными для государственной жизни, напр., восточными языками, науками физико-математическими, медициною и чем еще? Юриспруденциею? Ну, тут, кажется, надо еще немножко подождать, пока у нас будут законы, а то из чего же тут хлопотать? Какое тут законоведение, когда вы не уверены, что вчерашний закон не будет завтра же отменен по какому-нибудь величайшему или нижайшему благоусмотрению! А древние-то языки уж и подавно нам не дались. И неудивительно! Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории, так из чего же ей с особенным *терпением и любовью* рыться в каких-нибудь греческих, римских, вавилонских или ниневийских развалинах! Она, пожалуй, сама сумеет подготовить материалы для будущих археологов и филологов. Поняте энтузиазм к древним классикам в начале 16-го столетия, когда Европа, выходя из средневекового хаоса, не видела пред собою другой путеводной звезды, кроме греческой и римской цивилизации.

Это невольно напоминает мне курьезный совет, данный мне покойным Н. И. Гречем⁸⁵, когда я зашел к нему проститься перед отъездом за границу. «Да из чего же это вы едете учиться за границу? Ведь когда нам понадобится немецкая наука, то мы свежего немца выпишем из Германии; а вы так лучше оставайтесь здесь, да займитесь русскою словесностью». Что я не последовал совету Н. И. Греча, в этом, конечно, русская словесность ничего не потеряла, но все ж таки не могу не сознаться, что в словах его была доля правды, если под немецкою наукой он разумел классическую филологию.

Но это мимоходом. Баронесса Розенкампф принадлежала к чисто романтической школе, и ее идолом был Гете. У нее была прекрасная немецкая библиотека. «Вот вам Wilhelm Meister's Lehrjahre⁸⁶, — сказала она однажды, — читайте со вниманием: уверяю вас, что нет лучшей книги для окончательного развития молодого человека». Тут невольно улыбнешься. Wilhelm Meister's Lehrjahre действительно может развить в молодом человеке — совершеннейшего эгоиста. Да, впрочем, и сам Гете — не тем он будь помянут — был величайший эгоист.

*Да умный человек не может быть не плутом*⁸⁷.

Прошел год или два. Барон окончил Кормчую книгу и написал к ней немецкое предисловие, где упомянул о моем сотрудничестве, и потом, как добрый работник.

Кончив тяжкую работу
Многотрудной жизни сей,

он слег отдохнуть, захворал и отошел на покой. Я проводил его на Невское кладбище⁸⁸. Поверите ли? В доме не нашлось ста бумажных рублей для его похорон. Деньги выдали, кажется, из министерства народного просвещения по ходатайству старика Языкова⁸⁹. Баронесса распродала библиотеку покойника и лучшую часть своей мебели и из последних денег еще дала, по обычаю, обед духовенству и некоторым знакомым. После этого она перебралась на маленькую квартиру в другой части города.

А я между тем поступил на службу. Меня сделали лектором и суббиблиотекарем при университете и старшим учителем в первой гимназии. Началась жизнь петербургского чиновника. Я усердно посещал маленькие балики у чиновников-немцев, волочился за барышнями, писал кое-какие стишки и статейки в «Сыне Отечества»⁹⁰; но что еще хуже — я сделался ужасным любимцем товарища министра просвещения С. С. Уварова вследствие каких-то переводов из греческой антологии, напечатанных в каком-то альманахе⁹¹. Я начал просто ездить к нему на поклон, даже на дачу. Благородные внушения баронессы Розенкампф изглаживались мало-помалу. Раболопная русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти...

К счастью, в одно прекрасное утро — 19 февраля 1833 года очень рано министр Ливен⁹² прислал за мною и, сделав мне благочестивое увещание в pietистическом стиле, отправил меня в Берлин, где и поручил меня благим попечениям отъявленного pietиста, профессора Кранихфельда⁹³, главы берлинских pietистов⁹⁴.

Разумеется, нога моя никогда не была у Кранихфельда. Некоторые из товарищей нашли нужным, ради приличия, сделать ему визит; но я настоял на своем и тотчас же написал отчаянное письмо к академику Грефе, а через него к Уварову, что вот так и так, нас, членов профессорского института, будущих профессоров России, отдали под присмотр какому-то берлинскому ханже, который шпионствует за нами даже на наших квартирах и пр. и пр. Письмо мое имело отличный успех. К этому времени Ливен вышел в отставку, а на место его сделался министром Уваров. Кранихфельда тотчас же отставили от должности, и за это ему дали Владимира⁹⁵, а нас из духовного ведомства перевели в военное, т. е. отдали под надзор честнейшему и благороднейшему человеку, военному агенту генералу Мансурову⁹⁶.

Перед отъездом в Берлин я зашел проститься с баронессою. Она теснилась в маленькой квартирке, но и тут ее отличный вкус и женский такт удачно сгруппировали остатки прекрасной мебели, обставив их разными милыми мелочами и роскошными цветами, так что ее гостиная представляла вид изящного будуара. Она очень похудела, стала еще бледнее, но ее потускневшие глаза засверкали какою-то

материнской радостью, когда она узнала о моем отъезде за границу. С каким жарким участием она меня благословила на новый путь, на новый подвиг! Я в последний раз поцеловал ее руку.

Через два года, в 1835 г., я возвратился в Петербург... с какою неизлечимою тоскою в сердце, с какими отчаянными планами для будущего — не здесь место об этом говорить. Иду по Невскому проспекту — попадается мне навстречу камердинер баронши.

— Ах, батюшка, Владимир Сергеевич! Не можете ли мне найти какого-нибудь места?

— Как места? Да разве ты не у баронши?

— Какая тут баронша!— *Она умерла с голоду!*

Где ее похоронили? Есть ли над нею какой-нибудь памятник? Помнит ли ее кто-нибудь из родных и знакомых? Не знаю! Но мне ее не забыть! Я не могу ей соорудить памятника; но пусть же хоть *эта* одна слеза благодарности канет на ее одинокую могилу! Вечная память незабвенной и несчастной баронессе Розенкампф, урожденной Бларамбер!

Post scriptum. Никому из тех, кто любил меня, не посчастливилось. Мой учитель Кессман застрелился; баронесса Розенкампф умерла с голоду; Александра Ивановна Барышникова, милая девушка, занимавшаяся моим воспитанием с десяти лет, вышла замуж за какого-то негодяя полковника. Вскоре после свадьбы вспыхнула турецкая война 1829 года. Казенные деньги были разграблены, не с чем было выйти в поход. Он заперся в своем кабинете и застрелился.

Замогильные записки Владимира Сергеева сына Печерина. (Memoires d'outre-tombe)

Итак, благодаря цензуре мои записки принимают высокий эстетический характер. Они пишутся в истинно артистическом духе, т. е. совершенно *бескорыстно*, без малейшей надежды на возмездие в здешней жизни. Никто их не прочтет, никто не похвалит и не осудит их. Как таинственный сверток Спиридиона положен был с ним в гроб и навеки бы там остался, если бы нежная дружба, любознание и отвага его ученика не исхитили этой рукописи из могильной тьмы⁹⁷, так и моя рукопись будет долго-долго лежать в темном ящике забвения. Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства; хотя, правду сказать, письма по этому адресу не всегда доходят, — вероятно, по небрежности почты, особенно в России. Через каких-нибудь пятьдесят лет, т. е. в 1922 году, русское правительство в припадке перемежающегося либерализма разрешит напечатать эти записки, но тогда это уже будет ужасная старина — нечто вроде екатерининских и петровских времен, времен очаковских и покоренья Крыма⁹⁸. Будет только темное предание, что, дескать, в старые годы жил-был на Руси какой-то чужак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и, наконец, оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости. А па-

мять о нем сохранил еще больший чудак Федор Васильевич Чижов, питавший к нему неизменную дружбу в продолжение сорока с лишком лет: вышереченный Чижов построил целую сеть железных дорог, открыл дивную жар-птицу на островах Белого моря, дожил до столетнего возраста и оставил по себе несметные богатства и пр. и пр.⁹⁹ Народное воображение все это преувеличит, разукрасит, превратит в легенду, в сказку: чего же лучше? Гораздо приятнее быть героем в сказке, чем в истории: исторические лица часто изнашиваются, теряют цвет и шерсть, а сказочные герои вечно юны и никогда не умирают.

Какой-нибудь русский юноша 20-го столетия (а оно ведь очень недалеко) с любопытством, а может быть, и с сердечным участием прочтет историю этой жизни, вечно идеальной, отрешенной от всякой земной корысти, вечно донкихотствующей, и, может быть, это чтение воспламенит в нем желание совершить какую-нибудь великодушную глупость.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин намекает на автобиографию *Антон Райзера* (Anton Reiser) как на важное психологическое явление: я как-то отыскал этого Антона Рейзера на Щукином дворе¹⁰⁰ и изучил его от доски до доски. Он был одним из важнейших деятелей моей судьбы и утвердил во мне страсть к бродяжнической жизни¹⁰¹. Может быть, и моя автобиография будет иметь тоже *незавидное* влияние. Но если я пишу для потомства, то к чему же тут торопиться? Ведь потомство не уйдет, да к тому ж оно и подождать может — что с ним церемониться? Важная особа! 20-е столетие! Экая невидальщина! Мы и почище вас видели. Мы жили в пресловутом незабвенном 19-м веке!

Я жил в Москве на Тверском бульваре в трактире «Город Берлин», содержимом каким-то полупьяным швейцарцем¹⁰². Я никак не хотел нанимать квартиры, ни обзаводиться хозяйством, а, так сказать, кочевать — сидел у моря и ждал погоды, т. е. отъезда за границу. Этот трактир был притоном швейцарских гувернеров. Все они были молодцы и жили в удивительном раздолье: у каждого из них были свои сани и прислуга. Я часто за общим столом расспрашивал их о жизни в Швейцарии — дорога ли, дешева ли она и можно ли там давать уроки: все это, знаешь, в виду близкого будущего. Но этот общий стол был прескверный — истинно русская грязная кухня. Да я иногда и совсем не обедал, а так, бывало, куплю себе фунт олив или, как мы называли в старые годы, масляных ягод и с куском хлеба кое-как пробиваюсь: все это делалось с преднамеренным скряжничеством для того, чтоб накопить денег для отъезда. Мой номер стоял как-то особняком с особенным крыльцом. Иногда к этому крыльцу подъезжали студенты в каретах (совершенно по-московски) и посещали меня в моей грязной и затхлой комнате. Однажды зашел ко мне молодой учитель для экзамена в греческом языке: он отлично знал свой предмет и я дал ему наилучшую аттестацию. Он был в восхищении от меня, и с какою-то особенною развязностью русского чиновника, быстрым и метким взглядом осмотрев всю комнату, он радостно потер руками и сказал: «Позвольте мне предложить вам

чайный сервиз».— «Нет! покорно благодарю! Я вовсе в нем не нуждаюсь!» Что он обо мне подумал, я не знаю: но на лице его было написано изумление. Это было первое искушение и первый опыт того, как предлагаются и берутся взятки.

Когда-то под вечер и не в самом приятном расположении духа я возвращался домой: вижу, у меня на крыльце сидит старуха нищая с костылем и вся в ужасных лохмотьях. Я хотел было ее прогнать. Она взмолилась: «Помилуй! отец ты мой родимый! Не погуби меня бедную! Ведь я твоя же крестьянка из сельца Навольново, у меня к тебе есть просьба!»

— Ну, что ж тебе надобно? говори!

— А вот, видишь ты, батюшка, староста-то наш хочет выдать дочь мою Акулину за немилого парня, а у меня есть другой жених на примете, да и сама девка его жалует. Так ты вот сделай божескую милость, да напиши им приказ, чтоб они выдали мою дочь Акулину за парня такого-то.

Не входя ни в какие дальнейшие расспросы, с какою-то жестокой ирониею, я взял листок бумаги и написал высочайший приказ: «С получением сего имеете выдать замуж девку Акулину за парня такого-то (имя рек). Быть по сему. Владимир Печерин». В первый и последний раз я совершил самовластный акт помещика и послал старуху к черту. Это меня взбесило и окончательно ожесточило против России.

Но не одни старухи всходили по этому крыльечку... Иногда поздним вечером молоденькая девушка лет 17-ти, накинувши платочек на голову, притко взбегала по этим ступенькам и осторожно стучалась у двери отшельника. Это было нечто вроде того, что воспевал Ломоносов, коверкая Анакреона:

Внезапно постучался
У двери Купидон,
Приятный перервался
В начале самом сон¹⁰³.

Ей-богу, не грех иногда среди сумрачной и суровой зимы припомнить весеннее солнце и теплый благорастворенный воздух, и свежую юную жизнь природы, и даже мелкие цветочки, растущие на кайме тропинки...

Но все это ни к селу ни к городу,— а приведено только для следующего:

В 1836 году были ужасные морозы, доходили до 36°. Я сидел у печки и записывал в своем дневнике: *Souffrez, souffrez! C'est une bonne préparation pour votre entrevue avec le compte Stroganoff* [Страдайте, страдайте! Это прекрасно подготовит Вас к свиданию с графом Строгановым.— *Фр.*], т. е. касательно отъезда за границу. А между тем воображение рисовало, как через пять месяцев я буду уже в Швейцарии на берегах зеркальных озер под белоснежными вершинами Альп. В эти трескучие морозы иногда заходил ко мне погреться да потолковать пожилой француз высокого роста с седой головою. Он был большой философ. Однажды он мне сказал: «*J'attends tranquillement ma fin: je serai bien partout ou la bonne mère nature*

voudra me mettre» [Я спокойно жду своего конца: мне будет хорошо всюду, куда бы ни поместила меня добрая мать-природа.— *Фр.*]. Слушая его, я думал про себя: вот так и я на старости буду философствовать с чужеземцами. Все эти пророчества исполнились до последнего слова: я теперь философствую с доктором Аткинсоном¹⁰⁴. Все наши предчувствия имеют прочное основание в самой глубине нашего организма. Я никогда не мог забыть этого меткого выражения Бальзака: *Un desir constant est une promesse que nous fait l'avenir* [Неизменное желание — это обещание, которое дает нам будущее.— *Фр.*]. У меня теперь нет никакого *desir constant*, разве, может быть, только желание совершенной независимости и уединения, но мне и так хорошо.

Дублин. 13 октября 1865

[...] В этих стихах целая программа: все мечты и планы, с которыми я оставлял Россию.

С МОНТЕ-ПИНЧИО¹⁰⁵
(1834)

Там, над куполом святым,
Звездочка любви всходила
И на свой любезный Рим
Взором матери светила.
Но подчас она бледнела
И, как факел меж гробов,
Тусклым пламенем горела
Над могилами сынов.
И сокрылося, как сон,
Рима дивное виденье,
И ты снова погружен
В жизни мутное волненье!
И к Неаполя брегам
Ты летишь с печальной думой:
Там, гуляя по гробам,
Прояснишь ли взор угрюмый?
Нет! напрасно ты бежал
От души глухого стона
Под навес швейцарских скал
И под купол Пантеона!
Все прекрасное пройдет!
Ветерок струит ветрило,
И к Германии унылой
Быстрый челн тебя несет.

Это было напечатано, кажется, в 35 или 36 году в «Московском Наблюдателе» в статье: «Отрывки из путешествий доктора Фуссгенгера»¹⁰⁶.

ЖЕЛАНИЕ ЛУЧШЕГО МИРА
(Из Шиллера)¹⁰⁷

Ах! из сей долины тесной,
Хладною покрытой мглой,
Где найду исход чудесный?
Сладкий где найду покой?

Вижу: холмы отдаленны
Зеленью цветут младой...
Дайте крылья! к вожделенной
Полечу стране родной!
Вижу, там золотые рдеют
Меж густых ветвей плоды;
Зимни бури там не веют
И не вянут век цветы.
Слышу звуки райской лиры,
Чистых пение духов,
И разносят вкруг зефиры
Благовония цветов.
Вот челнок колышут волны,
Но гребца не вижу в нем!
Прочь боязнь! надежды полный,
В путь лети! уж ветерком
Паруса надулись белы...
Веруй и отважен будь!
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь.

Письмо В. С. Печерина попечителю Московского университета графу С. Г. Строганову

Граф!

Письмо, коим Вы меня почтили, дошло до меня лишь 21-го сего месяца, вероятно, по оплошности почтмейстера в Лугано¹⁰⁸. Спешу на него отвечать.

Я глубоко тронут участием, которое Вы во мне принимаете, Вашими добрыми намерениями относительно меня, Вашими великодушными предложениями... О, если бы я еще был достоин такой заботливости! Но, граф, я решился. Судьба моя определена безвозвратно — вернуться вспять я не могу.

Почти с моего детства надо мною тяготеет непостижимый рок. Повинуюсь неодолимому влечению таинственной силы, толкающей меня к неизвестной цели, которая виднеется мне в будущем туманной, сомнительной, но прелестной, но сияющей блеском всех земных величий... Вот объяснение загадки! Объясню откровенно о сцеплении мелких обстоятельств, доведших меня до настоящего моего положения.

Убаюкиваемый сладкими мечтами, я приближался в 1835 году к пределам моей родины¹⁰⁹. Я остановился в раздумье у ее границы, я поднял глаза и увидел над нею зловещую надпись:

*Voi ch'entrate, lasciate ogni speranza!*¹¹⁰

И я прозрел ожидавшую меня будущность...

Вы призвали меня в Москву... Ах, граф! Сколько зла Вы мне сделали, сами того не желая! Когда я увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без бога, живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться,

как животные; этих людей, на челе которых напрасно было бы искать отпечатка их создателя; когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю мою жизнь; я говорил себе: кто знает? быть может, время, привычка приведут тебя к тому же результату; ты будешь вынужден спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякою мерзостью!

Тогда моим сердцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска. Мысль о самоубийстве, как черное облако, носилась над моим умом... Оставалось только избрать средство. Я не знал, что лучше: застрелиться ли или медленно погибнуть от разъедающего яда мысли...

Я погрузился в мое отчаяние, я замкнулся в одиночество моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь же суровую, как я сам... Этою подругою была *ненависть*! Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему, меня окружавшему! Я лелеял это чувство, как любимую супругу. Я жил один с моею ненавистью, как живут с обожаемою женщиною. Ненависть — это был мой насущный хлеб, это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался. Когда я выходил из моего одиночества, чтобы явиться в этом ненавистном мне свете, я всегда показывал ему лицо спокойное и веселое; я даже достаивал его улыбки...¹¹¹ Ах! я походил на того лакедемонского ребенка, который не изменялся в лице в то время, как когти зверя, скрытого под его одеянием, терзали его внутренности¹¹².

Я стал в прямой разрез с вещественною жизнью, меня окружавшею; я начал вести жизнь аскетическую; я питался хлебом и оливками, а ночью у меня были видения.

Всякий вечер звезда, гораздо более блестящая, чем все прочие, останавливалась перед моим окном, насупротив моей кровати, и лучи ее ласкали мое лицо. Я вскоре догадался, что эта та самая звезда, под которой я родился. Она была прекрасна, эта звезда! Ее блеск манил меня, призывал меня ей подчиниться.

В одну из тех торжественных ночей я услышал голос моего бога, тот строгий грозный голос, который потряс все струны моего сердца. Этот голос прокричал мне: «Что ты тут делаешь? Здесь — нет будущности! Встань! Покинь страну твоих отцов! Возьми мое святое знамя! Возьми мой тяжкий крест и неси его, если нужно, до Голгофы!»¹¹³ Ты падешь, но имя твое будет записано в книге живота между именами величайших мучеников человечества!» Я услышал этот голос и решился.

Между тем мои мнения окрепли; из подвижных и текучих они перешли в состояние окаменения. Они приняли форму жесткую, суровую, пуританскую. То уже не были отвлеченные начала, которые можно обсуждать хладнокровно с той и с другой стороны. То была живая вера, слепое, непоколебимое, фанатическое убеждение, которое посылает своих верных умирать на поле битвы, на костре, на плахе...

Вскоре весь мой катехизис свелся к этому простому выражению: *цель оправдывает средства*. Я сказал себе: *Visogna esse volpa o leone!*¹¹⁴ Мне не позволяют быть львом; хорошо же, станем на время лисицею! Обманем своих тюремщиков! И проклятие тем, кто меня к тому принуждает!

Вот моя история... Относительно Вас, граф, я поступил недостойно. Человек добродетельный! Человек благородный и великодушный! Как я люблю и уважаю Вас! Я готов отдать за Вас жизнь — но... Вы лишь единичное лицо, и человечество имеет более прав, чем Вы! Я отрекся от всяких чувств, у меня остались одни правила. Я служу неумолимому божеству. Я на его алтарь принес в жертву то, что человеку всего дороже — отечество, родных, друзей! Я имел мужество отказаться от общественного положения, весьма выгодного и обставленного всеми прелестями вещественного довольства; я добровольно избрал жизнь лишений, жизнь бродячую, неприютную, нередко грозящую голодною смертию...

Вы говорите мне, граф, *о долге и чести*! Разве не мой долг прежде всего повиноваться моим убеждениям? А моя честь? — Пусть ее марают, если хотят! Какое мне дело до моей чести, до моего доброго имени, только бы восторжествовало мое убеждение. Ношу в сердце моем глубокое предчувствие великих судеб. Верю в свою будущность, верю в нее твердо и слепо...

Юношеское ли это тщеславие? Или безмерное честолюбие? Или безумие? — Не знаю. Мой час еще не настал.

Провидение никогда не обманывает. Семена великих идей, бросаемые им в нашу душу, всегда суть верный залог прекрасной жатвы славы... Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моя жизни!

Извините, граф, лихорадочную напряженность, беспорядочность, безумие этого письма и прощайте навеки. Примите это письмо как завещание умирающего, ибо я умираю для всего, что когда-то было мне дорого. Завещаю Вам мою любовь к этим юношам, которых небо поручило Вашему попечению. Берегите эти прекрасные, нежные растения! Защищайте их от аквилона!¹¹⁵ Сохраняйте их для лучшего будущего! Да сохранит Вас бог, граф! Да поддержит Вас на Вашем трудном пути его всемогущая десница. Да увенчает блестящий успех Ваши великодушные усилия!

Забудьте, что я когда-либо существовал, и простите меня! Не довольно ли я поплатился за мой проступок, разорвав свой договор с жизнью и с счастьем? Я извлек из своего измученного сердца несколько капель крови и подписал окончательный договор с дьяволом, и этот дьявол — *мысль*.

Имею честь быть с глубоким уважением и преданностью, которая кончится лишь с моею жизнью, Ваш покорнейший слуга

Владимир Печерин.

Лугано и как я туда попал

«Mais de grâce quittez au plus vite Lugano, qui est l'endroit le plus mal choisi de tous ceux que vous auriez pu choisir et qui peut donner au séjour, que vous y faites de pénible interprétations. Je me plais à croire que c'est le hazard qui vous a porté à Lugano et non un but politique; mais tout le monde n'est pas appelé à juger aussi favorablement vos intentions» [Я умоляю Вас как можно скорее покинуть Лугано, который является самым неудачно избранным из всех тех мест, которые Вы могли бы избрать и пребывание в котором может быть весьма нежелательно истолковано. Мне хотелось бы надеяться, что в Лугано Вас привел случай, а не какая-либо политическая цель; но не все будут судить столь благоприятно о Ваших намерениях.—Фр.]. Письмо графа Строганова от 16-го января 1837¹¹⁶.

Граф очень хорошо понимал, что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано. Какая же цель?

Для этого надобно возвратиться назад к концу 1833 года. До тех пор у меня не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом со временем попасть в будущую палату депутатов конституционной России — далее мысли мои не шли. В конце 1833 вышла в свет брошюрка Ламенне «Paroles d'un croyant»¹¹⁷, наделавшая тогда много шума. Это было просто произведение сумасшедшего; но для меня она была откровением нового евангелия. «Вот, — думал я, — вот она — та новая вера, которой суждено обновить нашу дряхлую Европу! Эти великодушные республиканцы, которых теперь влекут перед судилища новых Иродов и Пилатов¹¹⁸, это те же святые мученики и апостолы первобытной церкви. Присоединиться к их доблестному сонму, разделять их труды и опасности и пожертвовать жизнью святому делу — вот благородная возвышенная цель!» Политика стала религиею, и вот ее формула: «Аллах у Аллах! у Мохаммед росул Аллах!»¹¹⁹ Понимаешь? это значит: Республика есть Республика! и Маццини¹²⁰ ее пророк!

Первое мое путешествие в Швейцарию и Италию (1833) было чисто русское, т. е. без всякой разумной цели, так просто посмотреть и погулять... На следующий год я путешествовал *один* и уже с определенной целью: сблизиться с республиканцами. Из этого ничего не вышло, но намерение все-таки было. Я возвратился в Россию (в 1835) как агнец, влекомый на заклание, с ужасною тоскою, с глубоким отчаянием, но вместе с тем с непреклонною решимостию убежать при первом благоприятном случае. Я жил в Москве ужасным скрягою, часто отказывал себе в обеде и питался черным хлебом и оливами для того, чтобы накопить несколько денег.

Ты думаешь, Чижов, что я оставил Россию так просто, очертя голову, без всякого плана: ты ошибаешься. Все было обдуманно и рассчитано до последней петли.

По *трем причинам* мне невозможно было оставаться в России:

1-я. *Религия*. Идти говеть по указу и причащаться св. тайн без веры и с кощунством, до этого я не мог унизиться; мне это казалось

первою подлостью и началом всех прочих подлостей. На первый год оно бы сошло с рук, но впоследствии было бы замечено; и я принужден бы был подчиниться этому обряду.

2-я. *Профессорство*. Профессорство в России невозможно, да я, правду сказать, никакого к нему призвания не имел. Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь, но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвратился из-за границы. Одна московская дама с обыкновенною женскою проницательностью заметила обо мне: «Il a le mal du pays», что тогда значило: «у него тоска по загранице».

3-я. *Литература*. В том же письме¹²¹ граф Строганов пишет: «Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous rendre à la carrière des belles lettres à la quelle vous pouvez être si utile» [Я сделаю все, от меня зависящее, чтобы обеспечить Вам карьеру литератора, в которой Вы можете быть столь полезны.—*Фр.*]. Вот в этом-то я сомневался. Я беспрестанно аршином мерил свой талант до последнего вершка. Я очень хорошо понимал, что в *тогдашней* России, где невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить, где даже высшего разряда умы чахнули и неминуемо гибли под нестерпимым гнетом — в тогдашней России с моею долею способностей я далеко бы не ушел. Я скоро бы *исписался* и сделался бы мелким пошленьким писателем со всеми его низкими слабостями; а на это я никак согласиться не мог. По мне — *aut Caesar aut nihil*¹²², или пан или пропал!

Но если пойти глубже, то, может быть, найдется другая основная причина, т. е. неодолимая страсть к кочевой бродяжнической жизни. Как сын пустыни, я терпеть не мог оседлости. Усесться на профессорской кафедре, завестись хозяйством, жениться, быть коллежским советником и носить Анну на шее¹²³ — все это казалось мне в высшей степени комическим. Как Ленский в Онегине, я тоже

Носил бы стеганый халат и пр. и пр.¹²⁴

Но от этого именно *позора* я бежал за тридевять земель в тридешатое царство. Да и как еще бежал! словно погоня была за мною — некогда было духу перевести. Я в первый раз свободно вздохнул, когда дилижанс высадил меня на площади в Базеле 23 июня 1836. Базель был началом и концом моего странствования по Швейцарии¹²⁵.

Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

Пушкин¹²⁶

Как подобает благочестивому республиканцу, первым делом моим было идти на поклонение святым местам в *Лагранж*. Что такое *Лагранж* или *Гранж*? — Небольшая гостиница или пансион в самой глухой и незанимательной части Швейцарии, куда едва ли кто езжает. Ну так что ж тут любопытного? Как что? Какой вопрос!

Вот что значит не иметь живой веры! Знайте ж, малoverы, что Лагранж или Гранж это — скиток преподобного иже во святых отца нашего Джузеппе Маццини, где он спасался и укрывался несколько месяцев от преследований французской полиции¹²⁷. Об этом Лагранже я читал еще в Москве, в гамбургских газетах¹²⁸, в швейцарской кондитерской, что близ университета, и как тогда уже душа рвалась к этой святыне! И эту святыню я осмотрел с благоговейным вниманием: сначала все окрестности и потом весь дом от чердака до погреба. В общей зале были развешаны портреты итальянских патриотов и рисунок идеального памятника падшим героям с знаменитым изречением: «Non vincerete in un giorno!» [Ваш путь к победе будет долог! — *Ит.*] В простоте сердца и с детским любопытством я расспрашивал у хозяина и прислуги обо всем, касающемся Маццини.

На следующий день прихожу на ночлег в другое местечко, развертываю свежую газету и читаю: «Вчера ночевал в Лагранже молодой французский шпион, un émissaire du gouvernement de Louis Philippe [эmissар правительства Луи-Филиппа — *фр.*], и тщательно собирал подробные сведения о пребывании там г. Маццини. Avis aux républicains!» [К сведению республиканцев! — *Фр.*]

Вот тебе и поделом! Не суйся, куда не просят! Не спросившись броду, не пускайся в воду! Куда конь с копытом, туда и рак с клешнею... Приветствую тебя, возлюбленная тень Дон Кихота Ламанчского! Мир праху твоему, рыцарь печального образа! С самого детства я любил тебя. Читая твои подвиги в переводе Жуковского¹²⁹, я никогда не смеялся над тобою; нет! я все принимал за чистые деньги и об одном только думал: как бы и мне сделаться странствующим рыцарем и бродить по свету, поправляя все неправды! И вот идеал осуществился, и я пошел по твоим следам! Сколько ветряных мельниц я принял за исполинов! Сколько дульциней я обожал как идеальных принцесс!

Теперь понятно, для чего я поселился в Лугано. Лугано был фокусом революции, сборным местом маццинистов. Кто не знает Лугано с его горным амфитеатром и что его нижние слои покрыты роскошным каштановым лесом, а вершины увенчаны альпийскими снегами? Кто не помнит этого волшебного-зеркального озера, замкнутого отвесными скалами и высокою горою Сан-Сальвадоре, где на вершине стоит часовня с могилою польского изгнанника? Природа очаровательная! но люди никуда не годятся: они не то швейцарцы, не то итальянцы¹³⁰. Добрых качеств этих двух народов они не имеют; но *счастливо* соединяют в себе все их пороки: швейцарское пьянство с итальянской ленью, коварством и мстительностью. Одни люди, достойные внимания в Лугано, были — итальянские выходцы из северной Италии, люди хороших фамилий и отличного воспитания. Они составляли *élite* тамошнего общества. Я особенно сблизился с молодым человеком задумчивой и грустной наружности. Мы часто вместе гуляли по берегу озера, беседуя о политике и литературе, а иногда и о *сумрачной* России,

Где я страдал, где я любил,
Где счастье я похоронил.

Он рассказывал мне, как часто мать его умоляла не мешаться в политические дела: «Guarda ti figlio! Ti ammazzaranno!» [Берегись, сын! Тебя убьют! — *Ит.*] Если не ошибаюсь, это тот самый *Грилленцони*, что впоследствии сидел в парламенте недолговечной римской республики¹³¹. Он сослужил мне службу в черный день.

В этих маленьких швейцарских республиках с государственными людьми всякий запанибрата. Их встречаешь каждый день в трактире или в кофейне. В *Беллинцоне*¹³² я обедал за общим столом с целым Государственным Советом. Они, казалось, не слишком блистали умом, а были просто добродушные мещане. Таково, по крайней мере, было мнение моего попутчика, известного итальянца Руджери, хорошо их знавшего. В Лугано я каждый день обедал в трактире с президентом Республики полковником *Лувини*. Заметив в глазах моих тоску одиночества, он очень ласково пригласил меня в их *казино* или клуб, где, впрочем, ничего особенного не было, кроме бильярда, газет и нескольких карбонариев. Этот *Лувини* был большой музыкант, и когда приехала оперная труппа в ноябре, то он каждый вечер *председательствовал* в оркестре за контрабасом. Это ему припомнили в 1846 году, когда у него душа ушла в пятки, т. е. когда он с своим отрядом пустился в бегство с вершины Сен-Готарда. «А! Синьор *Лувини*! — кричали ему люди Зондербунда, — это не то, что играть на контрабасе: questa è la gran musica del canone!» [Это — великая музыка пушек! — *Ит.*]¹³³.

Когда мой кошелек истощился, я принужден был заложить мои часы; я открыл свое положение г. *Грилленцони*, и он тотчас же собрал для меня подписку между своими товарищами и меня отпраздновали в Цюрих, где была возможность давать уроки.

Из рук вон!

Ах! где те острова,
Где растет трын-трава,
Братны!
Русская потаенная литература¹³⁴.

Он посмотрел на меня таким взглядом, что я вздрогнул, перекрестился и сказал самому себе: «Слава богу, что я уезжаю, а не то он, пожалуй, где-нибудь в глухом переулке дал бы мне colpo di stiletto» [удар кинжалом — *ит.*] Чей же это был такой взгляд? Взрослого черноокого мальчика, полубродяги, полунищего, полумошенника или все вместе. Он бродил с шарманкою по Лугано и окрестностям; я иногда давал было ему un centesimo¹³⁵, но после, узнавши, что он мошенник, ничего не дал и даже очень сурово отказал ему. Он взглянул на меня — ах ты боже мой! — в этих черных глазах крупными буквами написано было: vendetta. С тех пор я боялся встретиться с ним где-нибудь за городом. А теперь он сидел, скорчившись, у огня гостиницы, где я присел на минуту перехватить кое-что перед отъез-

дом из Лугано; он, не сводя глаз, пристально смотрел на меня — ему как будто было жалко, что его жертва ускользает из рук его. Между тем в дилижанс запрягали лошадей — прощай, милый Лугано! Опять на север! опять надобно покинуть теплый юг! да еще накануне Рождества! А этот год (1836), как нарочно, зима была необыкновенно теплая. Как теперь помню: мы сидим перед кофейнею на берегу озера. «Ведь это, ей-богу, настоящая неаполитанская зима!» — говорит Пьяцца. — «Да, — подхватывает Грилленцони, — это действительно так!» Ну, а посмотрите-ка на эти нежные оттенки голубых гор, отражающихся в этом зеркальном озере: это напоминает Сорренто, Иссию или Капри¹³⁶. Вдруг подъезжает дилижанс и останавливается на площади. С него спрыгивает *Бьянки*¹³⁷ и, весь запыхавшись, подбегает к нам: «Vengo gravido di novita». — «Я привез вам целую обузу новостей!» — «Как! Что такое?» — «Слушайте! слушайте! принц Луи Наполеон попытался взбунтовать страсбургский гарнизон¹³⁸, да не удалось — и его арестовали». — «Ах, как жалко! бедный молодой человек!» — воскликнули все. — «Прекрасный малый! — говорит Пьяцца, — он, знаете, этаким разбитой. Мы в старые годы с ним шалили. Однажды, хлебнувши немножко шампанского, мы пошли на приключения, и я помог ему вскарабкаться в окно одной красотки в *Арау*». — О, Муза Истории! возьми свой резец и на твоих бессмертных скрижалях начертай этот новый подвиг Людовика-Наполеона III!

Но я уж слишком заврался. Дилижанс готов. Пора ехать. Это было, как жётся, 22 или 23 декабря. Начинало смеркаться. Пока мы ехали прекрасною долиною Тичино, тут все еще был теплый благодатворенный итальянский воздух; но возле *Айроли* подул с вершины Сен-Готарда какой-то зловещий зимний ветер. Нас пересадили из дилижанса в открытые сани, просто русские *пошевни*¹³⁹. На мне ничего не было, кроме легкого петербургского плаща, — только для предосторожности я надел две рубашки. Что я претерпел в эту ночь, взбираясь шагом по снегу на вершину Сен-Готарда — этого ни пером написать, ни в сказке сказать нельзя. Я продрог весь до костей. Около полуночи мы остановились на вершине у так называемого *Nospice*¹⁴⁰. Я вошел в эту грязную и теплую избу — признаюсь к стыду моему и русского имени — сел на печку и заплакал. Физическое страдание соединялось с неизвестностью моей судьбы. Я еще в ноябре писал к тебе о деньгах¹⁴¹ — ответа не было, — я не знал, что со мною станется...

Сивка-бурка,
Вечная коверка,
Стань передо мной,
Как лист перед травой!
По шучьему веленью,
А по моему прошенью...

Сейчас же и с этой же печкою перенеси меня на берег Луганского озера, на теплое раздолье! — Уф! как холодно на дворе! А, чай, скоро переменят лошадей: надо будет опять лезть в сани. Ах ты, господи

боже мой! Как бы хотелось мне остаться здесь хоть до утра! Да нет! нельзя! У меня денег еле-еле достанет до Цюриха, а там что будет, не знаю. Нечего делатъ! Надобно покориться судьбам. Сани готовы — и мы начали спускаться с вершины горы. Любезная мать-природа с ее вечными законами доставляет нам услаждения в наших страданиях. Тут с каждым шагом температура смягчалась, становилось как-то привольнее, теплее, как будто сделалась оттепель, и наконец около рассвета мы остановились у подошвы горы в *Госпендале*¹⁴²...

Ах! где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!

Решительно, я открыл один из этих островов 24 декабря 1836 года у подошвы Сен-Готарда под 46° 76 м северной широты в гостинице Госпендала. Тут сделалась совершенная перемена декораций. Вхожу в общую залу: яркий огонь пылает в камине и отражается на красных занавесках; на столе, накрытом белоснежною скатертью, стоит горячий кофе, пироги, вино — все что душе угодно, и милая дочь хозяина встречает меня лучезарными взорами и майскою улыбкою. Все забыто — и холод, и горе! все нипочем! все трын-трава! Я напился и наелся досыта, славно обогрелся и так разыгрался, что даже начал *строить куры* этой хорошенькой девушке — как бишь это выразить по-русски? у нас говорят: *волокитъся*; но это мне кажется очень пошло и провинциально, а *faire la cour* [ухаживать за кем-либо — *фр.*] как-то благороднее и показывает большее уважение к прекрасному полу. Да, впрочем, тут и помину быть не могло о такой подлой вещи, как волокитство: ведь это не гостиница, а заколдованный замок из тысячи и одной ночи¹⁴³; а эта красавица вовсе не дочь трактирщика: она мавританская принцесса, находящаяся в плену у злобного волшебника, а мне суждено быть ее рыцарем и освободить ее. Так предписано вечными судьбами. Да оно уж очевидно из того, что принцесса вовсе не казалась строптивою. Вероятно, она приняла меня за какого-нибудь знаменитого изгнанника, *étranger de distinction* [благородный чужеземец — *фр.*], едущего с тайными депешами из Лугано в Цюрих. Да и в самом деле, какая нелегкая понесла бы *обыкновенного* человека через Сен-Готард накануне Рождества? Вот так-то мы, русские, надуваем честной божий народ! Целых два часа мне было позволено остаться в *Госпендале*. Быстро летели минуты у этого камина за стаканом вина, в этой милой беседе. Огонь камина и огонь черных глаз — не знаю, что было жарче. Но увы! время летит... Огонь камина и огонь этих светлых глаз — все пройдет и потухнет. «Прощайте! прощайте! Моя судьба темна; не знаю, куда она меня ведет; но где бы я ни был, под каким бы то ни было небосклоном, везде, всегда ваше воспоминание, ваш милый образ будет моим единственным утешением».

Votre image est ma dernière pensée,
Et «je vous aime» est mon dernier soupir!

[Ваш образ — моя последняя мысль,
И «я вас люблю» — мой последний вздох! — Фр.]

Каково? — Запечатлели ли мы эту минутную дружбу прощальным лобзанием — не помню — кажется; но это уж слишком скоромное воспоминание — не годится в великий пост¹⁴⁴.

Есть милые неотразимые образы: ни время, ни расстояние не могут их остановить; они вечно преследуют вас, как светлые видения лучших невозвратных дней.

Горе мне! какие звуки!
Пламень душу всю проник:
Милый слышится мне голос!
Милый видится мне лик!

Бесприютным нищим я прошел по большой дороге жизни. Издали виднелись царские дворцы и белые палаты богачей, и звуки их веселия достигали слуха моего; но мне не позволено было остановиться и насладиться их гармониею. Иногда теплые ветерки навевали мне благоухание роз и ясинов из садов Армиды¹⁴⁵: ах! какое сладостное ощущение! как, должно быть, привольно в этих тенистых рощицах, на берегу этих зеркальных прудов, среди милых резвых *видений!* Но увы! это не для меня! пойдем далее! Пойдите! Вот у самой дороги на окраине прелестный цветочек. Дай остановлюсь хоть на минуточку, полюбуюсь его радужными красками, упьюсь его роскошным благовоением... Нет! нет! невозможно! Вперед! вперед! — кричит неумолимая судьба. Напрасно я протестую и говорю с Шиллером:

Auch ich war in Arkadien geboren!¹⁴⁶

«Пошел ты с своей Аркадией!» — сурово кричит судьба, словно какой-нибудь прусский вахмистр: *Vorwärts!* вперед! вперед! И я послушно иду вперед, вперед, вперед — и земля вертится подо мною —

Et la terra tourne
Toujours,
Toujours!

[А земля вертится вечно, вечно! — Фр.]

Недаром один мудрец из Латинского квартала в Париже, взглянув на меня, сказал: «*Voilà le juif errant!*» [Вот — Вечный Жид! — Фр.]¹⁴⁷ Это доказывает, что у французов мозг еще не совсем размягчился и что они еще способны иногда угадывать правду.

Настал день — серый зимний день. Вместо саней подвезли маленький дилижанс, где я был единственным пассажиром. Лихой парень каких-нибудь 22 лет соединял в себе должности кучера и кондуктора и тотчас завязал со мною разговор. Он хвастался мне, что эта барышня в *Госпендале* — его кузина и что он не раз с нею танцевал на бале... Счастливый соперник! — думал я.

Странно ехать по Швейцарии зимою. Все ее живые прелести задержаны каким-то однообразным сибирским саваном. Эти гордые великолепные водопады, стремящиеся с громом и треском, рассыпающиеся радужною пылью,— теперь очень смиренно и очень прозаически висели ледяными сосульками по серым скалам, точно как будто клочки инея на бороде русского мужичка.

Я только что отобедал в гостинице в Цюрихе и заплатил последних два франка; вдруг подходит ко мне молодой человек с газетою в руках — кажется *Nouvelliste vaudois*¹⁴⁸ — и указывает на следующую статью:

«Два патриота, г. Банделье и кто-то другой, арестовали в Бьенне¹⁴⁹ французского шпиона Кузена», т. е. они повалили его на землю и силою выхватили у него из-за пазухи какие-то секретные бумаги.

«Этот Банделье — я сам», — сказал молодой человек. — «Ах, боже мой, — отвечал я, — я очень рад с вами познакомиться».

Quel honneur!
Quel honneur!
Monsieur le Senateur!
[Какая честь! Какая честь!
Господин сенатор! — *Фр.*]

Судьба решительно мне благоприятствует, думал я: как же с самого первого шагу в Цюрихе познакомиться с таким важным политическим деятелем!

Надобно заметить, что из-за этого им арестованного Кузена сделалась ужасная суматоха и Тьер обложил Швейцарию герметическою блокадою (*blocus hermétique*)¹⁵⁰.

«Позвольте вам еще доложить, — сказал опять г. Банделье, — что я тоже участвовал в Савойской экспедиции». — «*Et je vous en félicite!* [С чем Вас и поздравляю! — *Фр.*], — сказал я. — Но она как-то не удалась». — «Да что ж тут делать! Ведь это все измена! *trahison!*» — «Ну, а Маццини был там?» — «Нет! помилуйте! Как же такую драгоценную жизнь подвергать опасности?»

А! понимаю: т. е. я теперь понимаю, что в подобных случаях Маццини всегда как-то удачно умел оставаться в стороне, а между тем многие прекрасные юноши из-за него *легли костью*, как говорится в Полку Игорева.

Этот Савойский поход кончился самым позорным образом. Несколько сардинских таможенных карабинеров разогнали всю эту шайку или армию под предводительством генерала *Ромарино*, а сам Ромарино удался с честью, не забывши, однако ж, взять с собою казенного ящика для большей предосторожности¹⁵¹.

Так началось мое знакомство с г. Банделье, имевшее важное влияние на мои последующие поступки.

Я тотчас же перебрался в так называемый пансион у г. Артера, музыкального учителя (*Musiklehrer*). Это был старый, престарелый дом. На норманнской арке над дверью вырезано было число: 1592. Какова старина?

Почти три месяца я жил в этом доме, от конца декабря до по-

ловины марта, — сидел у моря и ждал погоды, т. е. письма от тебя¹⁵²; да уж и начинал отчаиваться: какая ж тут надежда, когда на мое письмо, отправленное в ноябре, не было ответа до марта месяца. Моим единственным приятелем был этот Банделье. Я у него проводил каждый вечер. Он жил по-республикански, т. е. с какою-то женщиною. У ней, как говорится, не было ни кожи, ни рожи, даже она была крива на один глаз; mais cela n'empêche pas le sentiment [но это не мешает чувству — *фр.*]; да к тому же давно уже известно, что любовь слепа, а особенно любовь республиканская. Эта девка была нечто вроде тех знаменитых гризеток, воспеваемых Жорж Зандом¹⁵³. Банделье жил у нее на содержании, т. е. она кормила его своими трудами, шитьем, мытьем да катаньем. Ты можешь себе вообразить, какие это были беседы: тут не надобно было ожидать ни ума, ни грации: тут просто был обыкновенный республиканский жаргон, распушенность и неряшество.

Под конец нашего знакомства Банделье признался мне, что он был священником в кантоне Вале (Valais)¹⁵⁴. Ему, казалось, было стыдно в этом сознаться: он приводил тысячу разных извинений. «Войдите в положение нашего брата, — говорил он, — священник идет в исповедню (confessional), к нему приходит на исповедь молодая женщина и напрямик объявляет ему, что она до смерти в него влюблена; ну как же молодому человеку устоять против этаких искушений?» — «Помилуйте, да зачем же вам в этом извиняться? Ведь общий удел человечества — это древняя история: Адам ссылается на Еву, а Ева сбрасывает вину на змия; а матушка-природа исподтишка хохочет над ними. Ведь какие мы выкидываем штуки! Сочиняем целые Илиады — Троя сгорает до тла, Клитемнестра убивает Агамемнона¹⁵⁵ — ужасные трагедии разыгрываются в царственных домах — целые государства ставятся вверх дном, а все из-за чего? — да просто для того, чтобы исполнить закон *расположения пород* (propagation des espèces) [воспроизведение потомства — *фр.*]. Природа действует по иезуитскому правилу: la fin justifie les moyens [цель оправдывает средства — *фр.*]. Ей все нипочем, лишь бы достигнуть своей цели. Мы после и плачем, и мечемся, как угорелые кошки, и деремся до крови, а ей что за дело? Она только думает об исполнении своих планов. Ей-богу, природа хитра, даже хитрее самого Бисмарка!»¹⁵⁶

Не так равнодушно смотрел на вещи другой мой знакомый, молодой бонапартист с черными усиками: он, кажется, был ревностный католик и с ужасным негодованием говорил о Банделье: «Я удивляюсь, как земля не разверзнется и не поглотит этого святотатственного иерея (prêtre sacrilège)! Я не понимаю, как его могли принять в масонскую ложу: cela doit être une mauvaise plaisanterie [Это, должно быть, дурная шутка. — *Фр.*]. Я вовсе не разделял этого фанатизма.

Три месяца я жил в пансионе г. Артера. У меня были прекрасные две комнатки и отличный стол, и во все это время хозяин ни разу даже не намекнул о деньгах; значит, он имел ко мне большое доверие. Но я уж совсем было отчаялся получить что-нибудь из России. Вдруг в одно прекрасное утро хозяин входит в мою комнату и

подает мне пакет: вижу — знакомая печать и почерк Чижова; развертываю, а тут и письмо с векселем на 500 с чем-то франков! Ах! какое блаженство! это была упоительная минута! это было воскресенье из мертвых! Я тотчас же потребовал счет у хозяина и расплатился с ним до последней копейки и решился, не теряя времени, немедленно ехать в Париж: Париж был моею путеводною звездой, конечною целью всех моих надежд и желаний, Меккою и Мединою правоверных. Еще в Лугано я мечтал об этой поездке. «Вы непременно хотите ехать в *новые* Афины (*moderns Athenes*)», — говорил мне, улыбаясь, Грилленцони, а президент республики Лувини обещал дать письмо к принцессе Бельджиойозо (*Belgioioso*), покровительнице всех итальянских выходцев¹⁵⁷.

Я тотчас же написал к французскому посланнику в Берн, чтобы просить у него паспорт. Между тем я размышлял с самим собою: «Зайду к Банделье, но не скажу ему ни слова о получении денег: ведь мне невозможно ему помочь: для самого едва достанет, а рубашка ближе кафтана». Это было очень благоразумно и по всем правилам здравого смысла. Подхожу к квартире Банделье и вижу — тут какая-то суматоха, бегают из угла в угол. Сам Банделье выходит мне навстречу с растрепанным видом: «Не тревожьтесь, — говорит он, — со мною случилась неприятность: *c'est une saisie* [это — насильственный захват имущества — *фр.*], это захват моих вещей за долги». Это известие поразило меня как громом и поставило вверх дном все мои благие намерения. В несколько минут моя совесть сделала мне силлогизм или целую диссертацию. «Ну как же это? Он был твоим приятелем; ты по целым вечерам сидел у него в продолжение трех месяцев; он был твоим единственным товарищем в твоём одиночестве! А теперь, когда он в нужде, а у тебя деньги есть, ты ему не поможешь, ведь это будет подло!» Сказано — сделано.

— Не беспокойтесь, любезный Банделье: я получил деньги из дому, и я за вас заплачу.

— Ах боже мой! какое счастье! — воскликнул он, всплеснувши руками. — Ведь вы падаете с неба, как будто какой-нибудь американский дядя в водевиле!

Я позвал хозяина и, забывши его республиканское достоинство, разругал его как русский барин.

— На что же это похоже? Как вы смеете поступать с моим приятелем? Вас бы за это следовало порядочно отодрать. Вот вам деньги: я за все плачу да убирайтесь себе к черту!

Ха-ха-ха! а у самого ни копейки за душою! да и самые-то последние деньги из России получил! Нет! уж это решительно из рук вон!

Мне пришлось заплатить больше, чем я предполагал, т. е. около 150 франков.

Банделье предложил дать мне расписку. — «Помилуйте! да на что же это?» — «Нет! нет! так лучше; вы знаете, мы все под богом ходим; все может случиться с человеком, *on peut tourner l'oeil* [можно умереть — *фр.*]. А у меня есть тетка в Вале: я к ней напишу; она мне пришлет денег и я вам заплачу». — Очень хорошо, я взял

расписку и, как Митрофанушка, поверил в существование этой мифической тетки.

Если бы у меня оставалась еще хоть капля здравого смысла, мне бы следовало тотчас же по живу по здорову выбраться из Цюриха. Я бы оставил город с честью, без копейки долга, и с огромною репутациею. Слух о моем поступке разнесся по городу: меня провозгласили богачом, русским князем, а немцы (выходцы) сильно подозревали, что я русский шпион. Вот сколько репутаций! Любую выбирай! Хозяин действительно ухаживал за мною, как за принцем — кредит мой был неограниченный! Но тут опять лукавый попутал меня. «С какой же стати мне терять каких-нибудь 150 франков. Они мне очень пригодятся. Ведь Банделье обещал заплатить, когда получит от тетки. Так уж лучше подождать!» И я остался ждать — и жду до сих пор.

Блажен кто верует! тепло ему на свете!¹⁵⁸ Но вера вере рознь — как же веровать в этакую *мифологию*? Даже пятилетний ребенок мог бы понять значение этой *тетки*.

Между тем мои отношения с Банделье совершенно изменились: он видел во мне уже не бедного брата-республиканца, а богатого человека, дающего деньги взаймы и ожидающего их уплаты. Он перебрался на другую квартиру в каком-то глухом и очень подозрительном закоулке: тут не только что продавали вино, но даже там были какие-то уж слишком раскрашенные девушки... Но — *hoppi soit, qui mal у pense* [Позор тому, кто дурно об этом подумает.— *Фр.*]¹⁵⁹. *Caritas cooperit multitudinem peccatorum* [Любовь покрывает множество грехов.— *Лат.*], т. е. в вольном переводе это значит: республика своею эгидою прикрывает тьму прегрешений. Впрочем, я был там всего один раз, и то для того, чтобы осведомиться о здоровье *тетки*. Через несколько дней Банделье совершенно исчез из Цюриха и пропал неизвестно где, оставив по себе свою любезную Милитрису Кирбитьевну. Она гуляла одна с крошечною москью на цепочке. Иногда мне хотелось бы остановить ее да спросить, как поживает г. Банделье и нет ли каких известий от тетки. Но она, завидевши меня издалека, тотчас ускользала в какой-нибудь переулок и скрывалась в двери какого-нибудь дома, так что мне приходилось видеть только хвост ее москьи.

Итак, я остался в Цюрихе, оселся и погряз в бездонное болото. Деньги истратил и начал делать новые долги. Надобно было серьезно думать о том, как жить. Для того чтобы давать уроки, надлежало испросить позволения у правительства (это-то в вольной республике!), а правительство поручило профессору Орелли¹⁶⁰ проэкзаменовать меня. Он дал мне перевести страницу из Платона и снабдил меня хорошим свидетельством.

Когда я рассказал это моим итальянским приятелям, они расхохотались: «Помилуйте! да к чему же все эти церемонии? Вам бы просто пригласить профессора Орелли в кофейню Баура да попочевать его бутылкою вина, он бы вам дал свидетельство без малейшего экзамена». Вот опять разочарование! Я думал, что в свободной республике взятки не берут ни деньгами, ни натурою, а вы-

ходит иначе. Да нет! уж кажется, взятки — в самой природе человека. Некоторые люди ограниченного ума удивляются, что есть такое сочувствие между Россиею и Соединенными Штатами: ведь, кажется, образ правления совершенно различный. Помилуйте! есть коренное сходство между этими двумя странами: в обеих берут взятки — руку руку моет. Но только что Россия ужасно как отстала. Где же нашим бедным взяточникам, оклеветанным Гоголем, тягаться с американскими взяточниками? Там почтенные сенаторы торгуют своими головами в Народном собрании, гуртом продают их за огромные суммы. Где же нам?

[Цюрих. 1837—1838]

[...] В записках моих есть важный пропуск, который теперь спешу пополнить.

Когда я был в Цюрихе в крайней нужде, я решился продать душу свою дьяволу и дать расписку собственной кровью. Ей-богу, я не шутя это говорю: я призывал его с теплою верою и твердым упованием, но увы! несмотря на все мои призывы, он не явился, и я должен был заложить у жида мой петербургский плащ. С тех пор я перестал в него верить. Этакый он негодящий! Именно когда в нем крайняя нужда — он не является. А ведь ему представлялась славная оказия заявить о своем могуществе, и все ж таки моя душа как члена профессорского института чего-нибудь да стоила. Нет! это просто бабьи сказки: черт не так силен, как его малюют.

Однако ж и теперь иногда мне приходит на ум: как бы я желал быть доктором Фаустом! Продал бы душу свою дьяволу и вдруг сделался бы молодцом — этак парнем лет 25-ти — бросил бы все пыльные книги в огонь и пустился бы странствовать по свету — вечно под открытым небом, на вольном воздухе, среди великолепных зрелищ природы и искусства, и вместо душевной комнаты мне пришлось бы умереть где-нибудь на вершинах Альп, или Шимборазо, или Деванагори¹⁶¹. А впрочем, как знать? *Chi lo sa? Quien lo sabe?* [Кто знает? — *Ит.* Кто знает? — *Исп.*] Все возможно. Драма жизни еще не кончена. Пятое действие только что началось. Какая будет развязка, никто не знает: может быть, оно кончится каким-нибудь неожиданным *coup de théâtre* [неожиданная развязка — *фр.*] — к крайнему изумлению зрителей. Как знать? *Chi lo sa? Quien lo sabe?* Может быть, я вдруг сделаюсь миллионером, азиатским принцем, странствующим жидом; все это никак не выходит из пределов возможности.

Легкое подняв ветрило,
В утлом челноке один
Я плыву, о друг мой милый,
Вдоль таинственных пучин.
Волны плещут предо мною,
Солнце над головой блестит,
И, качаемый волною,
Быстро мой челнок летит.
В отуманенное море

Бросил я свою ладью;
 На приволье, на просторе
 Беззаботно я пою.
 Eh! Vague ma nacelle!
 O doux zéphyr! sois moi fidèle!
 Espérance!
 Confiance!
 Le refrain
 Du pèlerin
 [О, плыви по воле волн, мой челн!
 О нежный зефир! будь мне верен!
 Надежда!
 Вера!
 Припев странника.— Фр.]¹⁶².

[Цюрих. 1837]

[...] Благо есть место, я помещу здесь еще отрывок из Цюриха. В мае 1837 готовилось гулянье по озеру из Цюриха в Раппершвилль¹⁶³. Пароход, изукрашенный разноцветными флагами, стоял в пристани и ожидал гостей. Тут толпились туристы разных наций и итальянские выходцы. Дам немного было. Какой-то рыжий француз играл роль глубокого последователя системы Галля¹⁶⁴ и шупал все черепы, особенно итальянские. Вдруг всходит на пароход долговязый, смуглый мужчина с ужасно багровым носом — очень замечательная физиономия! «Скажите, пожалуйста,— сказал я графу Угони¹⁶⁵,— что это за личность? Ведь вы здесь всех знаете!» — «Помилуйте! как же его не знать? Это министр финансов здешнего кантона. Он вечно пьян. Об нем рассказывают презабавные штуки. Однажды он пропил почти всю государственную казну. Оказался ужасный дефицит. Не знали, как и сладить с бюджетом на следующий год».

Мне кажется, это очень поучительный анекдот для государственных людей, ежели ты с ними знаком.

Бегство из Цюриха

В страницах этого рассказа,
 Любезный друг, узнаешь ты
 Соединенные черты
 И Дон Кихота и Жилблаза¹⁶⁶.

Terra marique profugus

Verg.¹⁶⁷

Однажды ввечеру, в начале мая 1838 года, я сидел в кофейне Баура, бывшей тогда притоном всех политических беглецов. Подходит ко мне итальянский выходец:

- Слыхали вы новость?
- Какую?
- А вот, что случилось с бедным Краузе.
- Как? что такое?
- А то, что его посадили в тюрьму.
- Помилуйте, да за что же?

— Как за что? за долги! Разве вы не знаете, что когда дело коснется денег, цюрихцы шутить не любят. Они ужасно как жестокосердны...

Тут нечего было долго размышлять. На другой же день я заложил у жида славный петербургский плащ. Он дал мне 12 франков. Дня за два перед тем у меня была сцена с хозяйкою. Рано поутру она вошла в мою комнату с раздраженным видом. «Ну что же это значит, monsieur Печерин? Вы целый день сидите в кофейне с итальянскими графами да банкирскими сыновьями, вовсе не по вашему состоянию, а мне за квартиру не платите?» Я побледнел как полотно: в первый раз в жизни мне говорили подобные речи. Я сказал ей отрывисто, чтобы она оставила меня в покое с своими замечаниями, а если уж на то пошло, так уж лучше прямо послать за полициею. Промаялся еще день или два, истратил часть денег, вырученных у жида, и, наконец, решил. Я написал отчаянное, романтически лживое письмо, от которого теперь еще краснею, и оставил его на столе с прочими бумагами. Рано поутру — было прекрасное майское утро — я вышел прогуляться по большой дороге в Базель. На мне был щегольский сюртук, жилет и панталоны совершенно новые, только с иголки (разумеется в долг). Я был совершенно налегке, вовсе не по-дорожному, а так просто *фланирующий* господин. Базель, знаете, окружен стеною, и уж там не знаю сколько ворот. Миновав главные ворота, я вошел боковыми, небрежно размахивая носовым платком. Но мошенник полицейский тотчас подметил, что тут что-то неспроста, спросил пашпорт и повел меня в полицейское бюро. Я немножко струхнул. У меня был старый русский пашпорт, да сверх того *feuille de route* [дорожное свидетельство — *фр.*], данный мне французским посланником для прохода через Францию в Бельгию. Но все это было давно просрочено. Я думал: что как они спохватятся, да, пожалуй, еще пошлют в Цюрих собрать справки? Ведь плохо будет. Старший чиновник, глядя на меня, сказал вполголоса своему товарищу: «Этот господин как-то слишком торопится перебраться во Францию». Но я принял самый хладнокровный и равнодушный вид, как будто ни в чем не бывало. Все благополучно сошло с рук: пашпорт мой подписали, и я тотчас же выбрался из Базеля. Чрез несколько шагов вот и Франция! Вот и жандарм в треуголке гуляет по дороге! Вот она, обетованная земля, таинственный предел мечтаний и надежд моего детства и моей юности! Я едва-едва не облобызал этой, тогда священной для меня почвы. Пограничное *Сор-Луи* прекрошечное местечко: едва ли там насчитывается более десяти домов. Я приютился в крошечной гостинице, но не сел за общий стол ужинать, опасаясь за свой карман, а только приказал дать себе чашку кофе. Поутру я отправился к мэру, который принял меня очень учтиво, расспрашивал о России, где у него какая-то родственница была гувернанткою, — подписал мой пашпорт и за это потребовал два франка. Мне стыдно было признаться в бедности, — вот я так ему и отдал *последние* два франка. Теперь я свободен и легок, как птица: ни копейки в кармане, ни облачка заботы на сердце! Ведь я во Франции! Будущее мне принадлежит, путеводная звез-

да сияет предо мною. Я не хуже Цезаря имею право верить в свою *фортуна*. Итак, вперед! En avant! marchons! [Вперед! идем!—*Фр.*] Солнце ярко блистало на голубом небосклоне, птички пели в кустах, воздух был наполнен майскими благоуханиями. Вот истинная поэзия жизни! Наслаждаться природою, когда есть деньги в кармане,— это просто грубая проза! Тут вдруг представилось мне новое неожиданное зрелище: большой крестный ход — священник с причтом под балдахином, церковное песнопение, запах ладана и толпа народа. С иронической улыбкою я слегка приподнял шляпу и прошел мимо. Главную целью моего пути в этот день был — *Алткирх*, грязный городишко полуфранцузский, полунемецкий и весь наполненный жидами. От этих-то сынов Израиля я чаял спасения. *Salus ex Judaeis est!* [Спасение — от иудеев!— *Лат.*]¹⁶⁸

Алткирх

Я тотчас отыскал нечто вроде толкучего рынка, то есть ряд полутемных лавок, где продавался всякий хлам, а особенно старое платье, и немедленно вступил в переговоры с жидом. Я отдаю ему все, что на мне есть: сюртук, жилет и панталоны, а он должен мне дать белую блузу, с жилетом и панталонами того же материала, и придать деньгами, сообразно с качеством и свежестью моей одежды. Злодей! Варвар! Он дал мне всего 8 франков! Тут некогда было долго торговаться; был третий или четвертый час пополудни, а я еще ничего не ел. Вот так я и нарядился в белую блузу (надобно заметить, что во Франции *белая* блуза нечто *distingué* [изысканное — *фр.*]; очень порядочные люди в ней путешествуют; но зато *синяя* блуза исключительно принадлежит рабочему классу) и с восьмью франками в кармане, с веселою беззаботностью отправился в кофейню выпить un petit verre [рюмочка — *фр.*] и закурить сигарку,— потом хорошенько пообедал и, не дожидаясь захождения солнца, прямо бухнул в постель. Здесь я помещу все путевые анекдоты между *Алткирхом* и *Нанси*.¹⁶⁹

В то самое утро, когда я вышел из Алткирха, я остановился позавтракать café au lait [кофе с молоком — *фр.*] в деревушке Geragny. Служанка принесла сдачи медные деньги; я все их великодушно отдал ей. Она так и выпучила глаза и, вероятно, приняла меня за какого-нибудь эксцентрического англичанина. И действительно, скоро после этого иду по большой дороге; крестьянин, работающий на поле, приподнял голову и, взглянув на меня, воскликнул: «Sont ils drôles ces anglais!» [До чего же смешны эти англичане!— *Фр.*] Так, видно, уже мне на роду написано быть англичанином. Суженого конем не объедешь. Где-то недалеко от *Бефора*¹⁷⁰ (Béfort) около полудня я зашел в маленький кабачок отдохнуть и выпить стакан вина. Хозяин, простой мужик в синем балахоне и деревянных башмаках, тотчас вступил со мною в разговор. Ему ужасно хотелось узнать весь мой формулярный список: кто я, откуда, и что, и как, особенно какого ремесла я человек. Краткости ради, я отвечал: «Je suis un homme de lettres» [Я — литератор.— *Фр.*]. Хозяин тотчас встал, поклонился мне в пояс и с каким-то благоговейным восхищением

беспреданно повторял: «Ah! monsieur est un homme de lettres! Ah! monsieur est un homme de lettres!» [Ах! Господин — литератор! Ах! Господин — литератор!—Фр.] Заметьте эту характеристическую черту Франции: ни в какой другой стране не отдают такой почести литературному ремеслу. Между *Эпиналем*¹⁷¹ и *Нанси* застал меня дождь на большой дороге, я поспешил укрыться под маленьким деревом, стоявшим среди поля. Тут же подбежал и молодой крестьянин (это было в Лоррене). «Ну, уж дождь!— сказал я.— Тут так весь промокнешь до костей, да и какое же дрянное дерево, что и от дождя-то защитить не может!» Молодой человек так и вспыхнул и с негодованием сказал: «Ну да у вас-то деревья разве лучше здешних?» (Et les arbres de votre pays sont ils meilleurs que ça?) Неоцененная черта французского патриотизма.

Нанси

Я пришел в Нанси в самый разгар большой годовой ярмонки. Везде толпа народа в праздничном наряде. Гремела полковая музыка, играли шарманки, бандуры, арфы; фокусники и шарлатаны выкидывали всевозможные штуки. Нет ничего ужаснее, безнравственнее, как быть без приюта в большом городе, шляться без цели по улицам, чувствовать голод и видеть пред собою зрелище довольства и роскоши. Чтобы укрыться от дождя, я стал у большого подъезда губернаторского дворца. У префекта в этот день был какой-то большой прием: беспреданно подъезжали кареты, из них выходили одна за другою прелестные дамы, разряженные в пух, господа в мундирах или черных фраках с ленточкою почетного легиона, в шелковых чулках и башмаках... Каждый из них или какой-нибудь их лакей имел право сказать мне: «Что ты тут стоишь, бродяга?» А тут еще подошел слепой с шарманкою и жалобным голосом начал оплакивать несчастья великого Наполеона, измену его генералов —

Si Raguse eût aimé la France,
Comme Montholon, Bertrand, Montmorancy,
Contre toutes les puissances }
Napoléon serait encore ici } bis
[Если бы герцог Рагузский так же любил Францию,
Как Монтолон, Бертран, Монморанси,
Несмотря на все сопротивление держав, }
Наполеон и сейчас был бы здесь.]¹⁷² } дважды

Какая-то глупая трагикомическая мысль о геройских бедствиях вошла мне в голову; слезы выступили на глазах; я ужасно как упал духом. Чувствовал себя покинутым, забытым, без друзей и без приюта; в голове был какой-то лихорадочный бред, я не умел связать двух мыслей,— и я припомнил стих Хомякова:

И сынов твоих покинет
Мысли светлой благодать!¹⁷³

А между тем на груди моей покоилось сокровище: письмо графа Строганова, дававшее мне кредит на 1000 франков в любом русском посольстве. Но даже и в эту страшную пору испытания ни на одну

минуту, ни на одну секунду я не имел поползновения воспользоваться этим документом. Что ж это такое? Непреклонная ли воля? или неизбежная судьба? Как хотите! Но вот этак-то я видел и испытал все стороны жизни.

Бродя по улицам, я отыскал агента, доставлявшего места служанкам, учителям и проч. Он очень хорошо меня принял и, увидев из моего пашпорта, что я был профессором, он тотчас повел меня к директору какого-то пансиона. Этот добрый человек тут же сунул мне в руку 3 франка (огромную для меня сумму!). Со слезами благодарности я сказал: «Ah! monsieur! ce n'est qu'en France qu'on trouve des gens si charitables!» — «Ne dites pas cela, mon enfant, il y a de braves gens partout» [Ах, сударь, только во Франции найдешь столь милосердных людей! — Не говорите так, сын мой, повсюду есть хорошие люди. — *Фр.*]. Он также дал мне платье из своего гардероба; но, к несчастью, оно было слишком объемисто для меня, так что я должен был променять его на другое, которому суждено было играть важную роль в последующих событиях. Но вакантного места у него вовсе не было. Что ж тут делать? Вот еще день пропал! А ведь надобно ж жить как-нибудь! Нельзя же приостановить течение жизни, пока найдется место.

— Ну, уж вы не беспокойтесь! — сказал мне агент. — У меня есть место для вас, но только не здесь, а в *Меце*¹⁷⁴. В пансион аббата *Бюро* требуется преподаватель греческого и латинского языков. Я тотчас же к нему напишу. Вам не противно быть у священника?

— Нимало; мне совершенно все равно.

— Ну, так очень хорошо, приходите ко мне завтра поутру, а от меня вы отправитесь в *Мец*.

Путешествие в Мец и следующие за тем события

Что слава? яркая заплата
На ветхом рубище певца.

Пушкин¹⁷⁵.

В восьмом часу утра мой агент попотчевал меня чашкою café au lait [кофе с молоком — *фр.*] с французским калачом, называемым pistolet, и с этим легким завтраком на желудке мне надлежало маршировать 10 лье, то есть 40 верст, без копейки в кармане. Сначала все шло как по маслу. Погода стояла прекрасная. Ландшафт беспрестанно изменялся по берегам извилистой Мозели; мелькали деревушки, дачи. Вот белый домик с зелеными ставнями: он как-то скромно приютился в тополевой рощице; из окон несутся звуки фортепьяно. Воображение рисует милую женщину, счастливую семью и напоминает мне малороссийскую песню:

У сосида хата била,
У сосида жинка мила,
А у мене ни хатинки,
А ни счастья, а ни жинки!

Но к вечеру все как-то *опрозаилось*. Я начал чувствовать усталость и голод... Вижу прекрасный господский дом (château) [замок — *фр.*]; барин с барынею гуляют на самой закраине дороги. «Ну что же?— думал я,— дай подойду, поклонюсь, скажу...» Нет! Невозможно! Есть нравственные невозможности! Несмотря на голод и усталость, у меня не стало духу просить милостыню.

Солнце садилось, когда я увидел пред собою серые башни *Понта-Муссона*¹⁷⁶ с их долгими черными шпицами. Ночь настает, а до Меца еще далеко! Нечего было и думать искать ночлега в городе. «Там, где-нибудь за городом, в какой-нибудь деревушке, в какой-нибудь лачужке, может быть, найду приют». В сумерки я подошел к мызе какого-то зажиточного фермера. Тут стояли огромные стога сена. Я присел на скамеечке у ворот. «Авось здесь удастся отдохнуть». Но тут вдруг залаяла огромная собака, и сам хозяин явился вслед за возом соломы. Наружность его мне не понравилась. «Нет! пойдём дальше! попробуем! Авось что-нибудь подвернется!» Стало совершенно темно. Вот деревушка плетется длинную улицу под гору. Везде мрак и тишина, только на другом конце, в самом последнем домике по левую сторону, теплился огонек. Поравнявшись с этим домиком, я остановился: «Ну, что ж тут делать? Если я пойду дальше, то мне придется ночевать на поле». Я тихонько постучался у двери. Женщина отперла: «Что вам угодно?»

— Позвольте мне, мадам, присесть немножко отдохнуть.

— Извольте, садитесь.

— Дайте мне, пожалуйста, стакан воды, я ужасно как устал.

— Ах, боже мой! Да как же это стакан воды! Ведь для молодого человека надо бы чего-нибудь покрепче!

— Что ж делать, *ma bonne femme* [добрая женщина — *фр.*], у меня нет ни копейки денег.

Она принесла стакан воды и поставила передо мною. Молчание. Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал: «*Je suis un pauvre réfugié polonais*» [Я — бедный польский эмигрант. — *Фр.*].

— Ах! ты господи боже мой! какой же у вас король-то такой суровый, что он вас этак по миру пускает.

— *Hélas!* [Увы! — *Фр.*]

После нескольких минут молчания. «Однако ж,— сказала она,— ведь уже становится поздно, мне надобно дверь запереть, да и вам же нельзя тут оставаться всю ночь».

Пришла критическая минута, надобно было решаться.

«Послушай-ка, голубушка; подойди, пожалуйста, да посмотри на мои панталоны: они совершенно новые, клетчатые; может быть, они пригодятся твоему мужу; а ты мне, знаешь, дашь какие-нибудь его старые, изношенные — понимаешь?» Хозяйка взяла свечку, подошла, стала на колени передо мною, тщательно осмотрела и ощупала мои панталоны. «Ну, так, очень хорошо! Вот я вам за это дам ночлег и ужин!» Торг заключен. Она тотчас же притащила огромнейший сыр, целый хлеб и целую бутылку вина. Чего же тут больше желать? Это просто крезовский,

сарданапаловский пир!¹⁷⁷ Ешь — не хочу! Я наелся и напился досыта и без малейшей думы о завтраем лег на мягкую постель и заснул тихим блаженным сном, какого ни Наполеон III, ни граф фон Бисмарк никогда не вкушали. Проснувшись поутру, гляжу — панталоны мои исчезли, а на месте их лежали на стуле какие-то тряпки, но я не мог их хорошенько рассмотреть в полусвете комнаты. Лишь только вышел на улицу, как посмотрел на себя, то так и обомлел от ужаса: ведь эти штаны были просто составлены из разноцветных тряпок — заплатка на заплатке... Что ж тут делать? Как же показаться в люди в этом арлекинском наряде? Тут едва-едва не покинула меня вся моя стоическая философия. Ну что ж? Была не была — *le vin est tiré, il faut le boire* [Вино поставлено, нужно его выпить. — *Фр.*]. Тут я предложу вопрос или задачу для разрешения: где требуется более мужества: идти ли на приступ к неприятельской крепости, или пройти по большой дороге в черном изношенном фраке с панталонами из разноцветных заплаток? Вооружась этим второго разряда мужеством и скрепя сердце, я поплелся по дороге в Мец и через два часа был уже у городских ворот. Мец, как известно, важная крепость. Тут была гауптвахта; стоял офицер с несколькими солдатами под ружьем. Они ни слова мне не сказали, а только смотрели на меня очень пристально. К вечной чести французского воина я должен записать здесь выражение их глаз. Что же такое выражалось в глазах офицера и солдат? Благороднейшая, чистейшая христианская любовь, нежнейшее сострадание — нет, скажу больше: *благоговение* пред несчастием. Этих взглядов я никогда не забуду. Я тотчас же отыскал пансион аббата *Бюро* и сказал привратнику, что я-де тот *réfugié russe* [русский эмигрант — *фр.*], о котором ему писали из Нанси. Аббат выбежал мне навстречу: «Ах! боже мой! да зачем же это вы себя назвали *réfugié*, ведь это здесь мой вовсе не рекомендация. Садитесь, садитесь! Вы греческого исповедования? Ну да это все одно и то же с нами! Это просто политическое разделение церквей. Вы можете преподавать греческий и латинский языки? Очень хорошо. Теперь только старайтесь приютиться где-нибудь, да принарядитесь немножко (указывая на мою бороду и намекая на панталоны). Вот вам маленькое пособие (15 франков), и приходите ко мне ровно через неделю. А между тем никому ни слова о том, что вы были у меня».

Первым делом было купить более приличные панталоны. Выхожу из лавки, гляжу, вот вывеска, — на доске мелом написано: *Logement et nourriture—six sous par jour* [Полный пансион — шесть су в день. — *Фр.*]. (Это было для рабочих.) Вот это мне и надо! Теперь мой идеал осуществился. Доселе я был теоретическим республиканцем, à priori разглагольствовавшим о нуждах рабочего класса; теперь я буду жить между работниками их собственной жизнью! Лишь только я вошел в комнату, хозяйка с удивительным женским тактом взяла меня за руку и

посадила на почетном месте у камина, сказав прочим гостям: «Faites place! je vois, que c'est un enfant bonne maison!» [Уступите место! я вижу, что он из хорошей семьи!— *Фр.*]

Нет ничего любезнее французского ремесленника: удивительная гибкость языка, отличные манеры, утонченная вежливость. Мне пришлось спать в одной постели с каменщиком, а насупротив нас спал прекрасный мальчик, не помню какого ремесла. Вот мы трое почти всю ночь протолковали об устройстве будущей республики, о распределении работ, причем мальчик заметил: «Nous travaillerons chacun à notre métier et vous, Monsieur, vous nous instruirez et nous aiderez de vos bons conseils» [Мы будем заниматься каждый своим делом, а Вы, сударь, будете нас учить и помогать своими добрыми советами.— *Фр.*]. (Это комплимент мне как грамотею, *homme de lettres*.) Но все это была риторика, милая болтовня, а практического смысла, какой, например, у англичан, у них ни капли не было. Тут также можно было видеть различные народностей. Между ними был рабочий немец, очень красивый парень; но он все как-то глядел исподлобья и вовсе не мешался в наши разговоры. Он чрезвычайно занят был своим «я» (*Das Ich*). Обыкновенно он сидел в уголку и, держа зеркальце в одной руке, другою беспрестанно поправлял свои темно-русые кудри.

Наконец, у меня спросили пашпорт, и мне пришлось идти в полицейское бюро. Сколько я ни умолял их, они никак не хотели позволить мне остаться в Меце. «Вот ваш маршрут, *feuille de route* [дорожное свидетельство — *фр.*], ведь вам предписано идти через Лонгви¹⁷⁸ в Бельгию, ну так и ступайте! А то, пожалуйста, если вы останетесь здесь, то вы будете просить вспоможения у правительства». Я давал им честное слово, что ни в каком случае ни копейки от правительства требовать не буду. «Ну да уж это мы знаем! Извольте-ка отправляться. А если вы заупрямитесь, так мы, пожалуйста, вас и с жандармами проводим за границу!»

«Точь-в-точь как у нас на святой Руси!»— подумал я и снова отправился в путь. Звезда вела меня в Бельгию.

Путешествие из Меца в Льеж (по-нашему Литтих)

Итак, я оставил знаменитый Мец — теперь вдвойне прославленный и моим там пребыванием, и теперешнею осадой¹⁷⁹. Не знаю, сколько у меня денег оставалось от подаяния почтенного аббата Бюро. Было, может быть, два франка или больше — не знаю. Помню только, что мне достало поужинать и переночевать в первой деревушке за бельгийскою границею. На следующее утро я пришел в пограничный городок Арлон¹⁸⁰. Никто мне ни слова не сказал. Я прямо отправился в цирюльню выбриться (*roug me rajeunir un peu* [чтобы выглядеть моложе — *фр.*], как говорят французы) и потом перехватил кое-что и спо-

койно направлялся в путь, как вдруг у самой заставы, как будто из-под земли, выскочили два огромных жандарма с ужасными медвежьими шапками, спросили паспорт, взглянули и тотчас схватили меня под руки и повели по той же улице, где я прошел несколько минут перед тем. Мирные арлонские граждане высунились из окон, выбежали за двери и, вероятно, спрашивали самих себя: какого это государственного преступника ведут? Жандармы привели меня на гауптвахту и оставили там, а сами отправились донести начальству. Небрежно развалившись, на скамье лежал молодой солдат. Он тотчас завел разговор со мною: «Да за что же это вас посадили сюда? Разве вы беглый солдат, *déserteur*?» — «Я вовсе не солдат и не дезертер, и никак не могу понять, за что они меня арестовали». Через несколько минут жандармы возвратились и тем же порядком повели меня к королевскому прокурору. *Monsieur le procureur du roi* [господин королевский прокурор — *фр.*] взял мой паспорт, посмотрел, улыбнулся и сказал: «*Que voulez-vous?* [Что вы хотите? — *фр.*]. Ведь наши жандармы дураки, они ничего не понимают: они вас арестовали за то, что у вас нет визы бельгийского посланника. Тьфу, какой вздор! — Однако ж что же с ними делать? — Для избежания неприятностей я бы вам советовал взять здешний паспорт. Вот я вижу, что за ваш *feuille de route* вы заплатили 2 франка: на этих же условиях мы вам выдадим свежий паспорт». Я молчаливо отклонил его предложение; опять мне стыдно было признаться, что у меня ни копейки за душою. Даже теперь досажаю на себя, что не объявил о своей бедности: я уверен, что мне выдали бы паспорт безденежно и, сверх того, дали бы вспоможение, а может быть, и постоянное занятие в этом местечке. Бельгийские франмасоны очень человеколюбивы. Еще в Нанси мне говорили: «Ах, боже мой! да зачем же вы не франмасон? Ведь все поляки франмасоны! Вы бы скорее могли получить пособие». Мне очень странным казалось это предложение в моих обстоятельствах. Ни за что на свете я не согласился бы из корыстных видов вступить в тайное общество, которого притязания на глубокую древность и таинственные обряды всегда казались мне смешными. В 19-м столетии, где все исследовано, все открыто, все наголо — к чему все эти таинства? и какая в них нужда? Мне кажется, это значит просто, что мы никак не можем отвязаться от средневековых понятий.

Королевский прокурор отпустил меня с миром, а жандармы удалились, поджавши хвост. Но этих жандармов я никак забыть не мог. Даже теперь трепещу при одной мысли об них. Проживши целый год в Льеже, когда мне случалось встречать их на улице, я тотчас смущался, краснел; как будто была какая вина за мною, думал: вот как схватят!

Погода переменилась, пошел проливной дождь. Передо мною расстилалась беспредельная однообразно-плоская равнина — точно в России. У дороги стоял кабачок, содержимый отстав-

ным солдатом: он же заведовал и поправками на шоссе. Надобно было опять пуститься на спекуляцию. Я продал ему свой фрак и панталоны, а он мне в замену дал *синюю* блузу (я упал одним градусом ниже) и соответствующие штаны, да прибавил деньги — три или четыре франка. Да сверх того этот добрый человек (да наградит его бог!) дал мне на дорогу кусок хлеба с маслом. А дождь все идет. Промокнувши до костей, я пришел на ночлег в порядочную гостиницу. К счастью, тут рделась раскаленная железная печка, где приготавлился ужин. От нее так и пышило жаром. Славно меня осушила и обогрела! У печки сидел кружок рабочих, большею частью немцев. Думая, что я не понимаю их языка, они сделали меня предметом своего разговора. «Ну, скажи-ка, брат, что ты думаешь: что это за человек?»— «Ну так что ж, верно, он какой-нибудь рабочий!»— «Какой тут рабочий! Посмотри-ка на его руки! руки-то у него вовсе не рабочие!»— «Ну, так он, должно быть, чей-нибудь лакей!»— сказал третий и все, казалось, остались довольными этим разрешением задачи. После ужина мне отвели постель на чердаке под окном без стекол, притворенным деревянною ставнею, через которую дул ветер и бил дождь, а на мне, заметь, едва просохшая рубашка. Вот что значит энергия, живучесть молодости! Я теперь, наверное, схватил бы горячку после такого ночлега, а тогда все это сошло, как с утки вода. Поутру я проснулся свеж, как роза, и *gai comme un pinson* [весел, как птаха — *фр.*] и снова пустился как исполин тещи путь¹⁸¹.

В *Бастоне*¹⁸² случилась со мною странная встреча. Вижу — идет молодой человек в белой блузе.

Познакомиться недолго
Пешеходам меж собой!

(Это пели в старые годы на Большом театре в водевиле *«Ломоносов или Рекрут — стиховорец»*¹⁸³, имевшем на меня огромное влияние.) Белая блуза очень учтиво спросила меня, куда я иду. Я отвечал, что иду через Намюр¹⁸⁴ в Брюссель. Да! действительно я шел в Брюссель: там жил знаменитый Лелевель¹⁸⁵: я воображал, что он там профессором, занимает важное место, и хотел прибегнуть к его покровительству, а после узнал, что он жил в крайней бедности, питаюсь одним хлебом и сыром. «Помилуйте, — сказала белая блуза, — да зачем же вы даете такой ужасный круг? Ведь вам прямая дорога через Льеж; отсюда до Льежа только *десять* льё, а отсюда вы возьмете железную дорогу и через каких-нибудь 5 часов будете в Брюсселе». Ну уж, что касается до железной дороги, думал я, то это не по нашему карману; а все ж таки лучше идти в Льеж, оно гораздо ближе, да и тоже значительный город. Клянусь богом, что я никогда не думал о Льеже, даже на карте его не заметил, и в голову он мне не приходил и во сне не грезился, тем более что его у нас обыкновенно называли Литтихом. Это было для меня совершенно новое открытие. Кто ж был этот молодой человек в белой блузе? Был ли он добрый или злой гений? — не знаю, но в том дело,

что слова его поворотили поток моей жизни в новое русло и окончательно решили судьбу мою на веки веков. Этот таинственный посланник, совершив свою роковую миссию, учтиво со мною раскланялся и исчез!

Льеж (Liège)

Тучи разошлись, вся природа оживилась под яркими лучами полуденного солнца в первых числах июня. Сделалась удивительная геологическая перемена декораций. После однообразной плоской равнины я вдруг неожиданно очутился на краю ужасного обрыва и передо мною расстилалась меж высоких холмов прелестная долина, орошаемая Мёзою, и вдали виднелся город Льеж. Меня перевели через реку за несколько сантимов, и вот я уж в предместьях. Народ тут вовсе не был так учтив, как французские солдаты в Меце. Рабочие просто смеялись надо мною. «Посмотри-ка, вот идет беглый поляк! C'est un polonais!» [Это — поляк! — *Фр.*] Почему и как и по каким этнологическим приметам они приняли меня за поляка — я вовсе не понимаю. Город Льеж был в праздничном наряде: на балконах были вывешены ковры и шелковые ткани, в окнах стояли цветы и разноцветные восковые свечи. Это был Fête Dieu, Corpus Christi или, как поляки говорят, Bozê cialo¹⁸⁶. По улице шел огромный крестный ход с духовою музыкою и пением. Мне ужасно как было стыдно показать себя в лохмотьях среди этого торжества. Я свернул с большой улицы и начал разными переулками и закоулками пробираться к улице Rue de la Madeleine.

На последнем ночлеге перед *Льежем* я встретил жидка-разносчика, он путешествовал с женою и осликом. Мы очень приятно провели вечер в разных разговорах. Узнавши, что я иду в Льеж, он сказал: «Я вам советую остановиться в эстамине au соq [кофейня «У петушка» — *фр.*]: они очень хорошие люди, я всегда у них останавливаюсь: поклонитесь им от меня». Ну что ж, думал я, это очень хорошо: лучше иметь определенную цель, идти в знакомое место с какою-нибудь, хоть с жидовскою, рекомендацією.

Когда я пришел в rue de la Madeleine, у меня от жару и усталости голова кружилась, я совершенно потерял память: никак не мог припомнить адреса этого трактирчика. Прошел всю улицу взад и вперед — нет! все незнакомые вывески. Что тут делать!? Я начал уже отчаиваться и готов был уже завернуть в первый попавшийся кабачок. Вдруг поднимаю глаза — гляжу — вывеска, на ней изображение петуха с надписью: au соq. Слава богу! да, да! Au соq! Теперь припомнил. Вот мой любезный петушок! вот приют для утомленного странника, пристань после крушения! Вхожу — за конторкою сидела женщина средних лет довольно приятной наружности. Я отдал ей поклон от жидка, но она, казалось, не слишком высокое понятие имела о моем покровителе; не сказала ни слова и несколько минут пристально смотрела на меня, после, как бы обдумавшись, сказала: «Очень хорошо, вы можете здесь остановиться». Она была добрейшая женщина. Я после с ней очень

был дружен и давал уроки ее детям. Она передо мной созналась, что сначала не доверяла мне, но, всмотревшись хорошенько в черты моего лица, сказала самой себе: «Я уверена, что он меня не обманет». Вот опять женщина с непогрешимым тактом.

«Есть ли здесь какой поляк профессор в университете или в Collège?»— «Есть — в Collège».— «Как его имя?»— «Не знаю».— «Дайте мне, пожалуйста, листок бумаги написать письмо».— «Вот лавочка тут напротив, там можете купить». К счастью, у меня оставался полуфранк. Я купил бумаги и написал трогательное письмо с большою потратою риторики, завернул в конверт и отправился в Collège. Мне пришлось идти мимо церкви. Из нее неслись звуки органа. Вхожу — церковь битком набита. Алтарь пылал разноцветными огнями, вазы с цветами распространяли благоухание, дым ладана вился голубою струею и терялся под готическим сводом. В то время я все мерил республиканским масштабом. Что я, оборванный, небритый, нечесанный, запыленный, грязный, что я в этом нищенском образе мог войти в этот великолепный храм, наполненный изящным людом (beau monde), и мог найти место между ними и наравне с ними имел право наслаждаться звуками очаровательной музыки — все это в глазах моих обличало глубоко демократический характер католической церкви. Это было первое зерно, брошенное в хорошо подготовленную почву...

А теперь позвольте по-шекспировски соединить высокую драму с комическим элементом и заметить, что впоследствии, когда я обжился в Льеже, одна хорошенькая гризетка назначила мне *рандеву* именно в этой самой церкви *Сен-Дени*. Это была моя последняя шалость. Но все ж и это доказывает, что *во всех отношениях* католическая церковь очень либеральна и демократична.

И вот как совершаются судьбы человеческие!

Звуки органа и гризетка! Ха-ха-ха!

(Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Bravo! Bravo! Фора! Фора!)

Льеж (Liège)

Да умный человек не может быть не плутом!

Грибоедов

«Вот вы пишете здесь, что вы были профессором греческого языка в Москве: а ведь я очень хорошо знаю, что там профессором этого предмета — Ежовский!»— «Помилуйте!»— сказал я.— Ежовский принадлежит уже к древней истории: едва ли кто теперь в Москве запомнит Ежовского»¹⁸⁷. Поляк помялся немножко — пробормотал что-то сквозь зубы, пошарил в кармане и дал мне два франка, за что я его сердечно поблагодарил. Эта сцена происходила у двери маленького садика внутри гимназии (collège) между древними монастырскими аркадами. Полукружием стояли перед нами воспитанники в синих блузах — это был их час роздыха, а поляк был их надзирателем. Они смотрели на меня с любопытством

и некоторым участием. Впоследствии я давал некоторым из них уроки греческого языка и был, что называется, *репетитором* при гимназии: даже шла речь о том, чтобы дать мне греческую кафедру, и оно, вероятно, бы состоялось, если б не *назорейское безумие!*¹⁸⁸

Получивши два франка — *последнее* подавание, я как-то прибрался, я чувствовал, что достиг крайнего рубежа моих странствований и нашел место успокоения. Пришедши домой, т. е. к *петушке*, аи сод, я застал хозяина в хлопотах: он заботился найти мне какое-нибудь место. В проливной дождь он отправил меня с каким-то мальчиком в славный мебельный магазин, где нужен был сиделец. Это было просто бестолково, и кончилось, как можно было ожидать: щегольски одетый хозяин, взглянувши на мою измоченную блузу и нечесанную наружность, с утонченною вежливостью отвечал, что «*roug le moment* [в данный момент — *фр.*] он в моих услугах не нуждается». Я рассказал хозяину о своей неудаче. «Ну уж не беспокойтесь! мы вам место найдем. *Savez vous panser un cheval?*» [Умеете ли вы ходить за лошадью? — *Фр.*] — «Ну уж признаюсь: этого-то я уж вовсе не разумею». — «А жалко! Если бы вы вот этак знали, как ухаживать за лошадью, я сейчас бы вас пристроил к месту». — Жена покачала головою и с видом укоризны сказала мужу: «Неужели ты в самом деле *этакое* место предлагаешь *monsieur Louis?*» (Меня называли этим именем по ошибке: какой-то французский солдат Louis расписался в книге постояльцев подле меня: вот так меня и перекрестили его именем, краткости и ясности ради.) Признаюсь откровенно: у меня была сильная охота, страстное желание сделаться *слугою*, испытать всю *свежесть* этого нового положения, обещавшего много опытов, новых ощущений и бездну приключений. К несчастью, это не удалось; а всему виною хозяйка: зачем же она покачала головою? Что ж делать? подождем до поры до времени: коли мне не удалось быть конюхом, то, может быть, другое место в этом роде найдется!

На следующее утро я сидел за завтраком, т. е. пил кофе без сахара (по бельгийскому обычаю) с огромною тартинию (хлеб с маслом). Гляжу — на столе лежит английская газета *Weekly Dispatch*¹⁸⁹. «Тьфу, пропасть! как же это английская газета зашла в этот подлый кабак?» Через несколько минут входит молодой человек высокого роста в синем изношенном сюртуке, плотно застегнутом, с белым галстуком, полуорлиным носом и сжатыми губами на английский манер — подходит к столу и берет газету. Я тотчас заговорил с ним по-английски (насколько я тогда смекал) и просил его указать мне какое-нибудь средство давать уроки на всех возможных языках, даже *по-английски!* Какова пруть! Теперь, проживши 25 лет в Англии¹⁹⁰, я едва бы осмелился давать уроки английского языка, а тогда я на все был готов! Научит нужда калачи есть! «Вы можете объявить о себе в газетах, — сказал он, — но я бы вам советовал прежде всего написать письмецо к капитану Файоту (Fiott): он очень добрый человек и любит помогать бедным. Да сверх того у него для вас найдется занятие: он обыкновенно произносит речи в масонской ложе, а для этого надобно их переводить

на французский язык; он сначала было поручил мне это, но я, знаете, не очень далек во французском. Вот напишите ж сейчас письмецо, а я его к нему отнесу; да, пожалуйста, поставьте в адресе: G. O., г. е. Grand Orient¹⁹¹ [Великий Восток — *англ.*], это ему понравится и задобрит его в вашу пользу». Вот я и написал просительное письмо и поставил на обертке: G. O. Да кто ж был этот молодой человек? Некто Макналли, ирландец; по словам его, племянник епископа Макналли (оно, может быть, было и правда: здесь почти все больше или меньше из родни духовенству) — ужасный пройдоха, плут и мошенник первой степени, как увидится впоследствии.

Между тем как мы разговаривали, вошло третье лицо — какой-то приятель Макналли, г. Камбель (Cambell), *обельзившийся* англичанин. Он малый был очень неглупый, отлично говорил по-французски и знаком был с французскою литературою. Но у него была странная привычка: он заходил почти в каждую питейную лавочку и там прихлебывал крошечную рюмочку чего-то, un petit verve, — вследствие чего он всегда был в очень веселом расположении духа. Услышавши о моих потребностях, он сказал: «Я бы вам советовал обратиться к madame Guyot». — «Да кто ж это такая мадам Гюйо?» — «Это женщина, известная целому городу — femme galante, s'il en fut [дама полусвета, если угодно — *фр.*] — жена инженерного полковника Гюйо. У нее большие связи, и она очень любит покровительствовать талантам, польским выходцам и вообще молодым людям. Хотите, я вас ей представлю?» — «С величайшим удовольствием! Я на все готов!» — «Ну, так пойдемте же сейчас!»

Итак — без дальнейших предисловий — дверь гостиной отворилась и я, как был в синей блузе, предстал перед мадам Гюйо! Высокая, стройная, чернобровая женщина сидела, как будто какая-нибудь царица или богиня, окруженная своими поклонниками (мужа не было дома). Камбель представил меня. Она взглянула на меня лучезарным взором царственной благосклонности, обыкновенно оказываемой изгнанникам, героям потерянных битв революций и пр. Камбель изложил ей мою историю — не без некоторых украшений для большего эффекта. — «Eh bien! Monsieur Damery [Итак! Господин Дамери — *фр.*], — сказала она одному из гостей, — не можете ли вы чего-нибудь сделать для этого господина? может быть, в вашем бюро найдется для него какое-нибудь занятие?» — Мсье Дамри, французик, литератор, журналист, положи руки на сердце, рассыпался в уверениях о своей беспредельной преданности. «Madame peut compter sur moi: je ferai tout mon possible pour servir ce monsieur!» [Сударыня, можете рассчитывать на меня: я сделаю все возможное, чтобы помочь этому господину! — *Фр.*] — «Вот видите ли, — сказала она, обращаясь ко мне с торжествующим видом, — вот ваше дело и слажено! Voilà au moins une roige pour la soif» [Начало, по крайней мере, положено. — *Фр.*].

Ну, думал я, теперь мое счастье устроено: этот г. Дамри даст мне какое-нибудь литературное занятие, да, пожалуй, чего доброго сделает еще сотрудником... На другой день прихожу к нему, а он

меня и знать не хочет, и очень сухо отвечал, что никакого занятия для меня не имеет. Вот так и полагайтесь на слова француза! Впрочем, не стоило сердиться на этого бедного Дамри: он сам был по уши в долгах и едва ли не попал в тюрьму, а услуги свои он предложил просто из врожденного французу хвастовства. Но мои сношения с м-м Гюйо этим не кончились. Через несколько времени она пригласила меня давать уроки английского языка ее детям — мальчику и девочке — за 10 франков в месяц! — да и те не очень исправно пла-тила.

Но какие дети! Какое воспитание! Девочка лет 12-ти усердно посещала театр вместе с маменькою и знала наизусть весь репертуар французской драмы. Иногда она помирала со смеху, рассказывая мне какую-нибудь *скабрэзную* интригу замужней женщины в недавно ею виденной пьесе... «Ах, боже мой! — говорила она, хихикая, — как это должно быть забавно — обмануть мужа! как это уморительно!» Так как я был у них не по части нравоучения, а просто для английского языка, то я также с нею хохотал, и наши уроки проходили очень весело. Но м-ме Гюйо имела на меня еще дальнейшие виды. Ради бога, не воображайте себе ничего дурного! Это вещь самая простая. Я не вхожу в семейные тайны, но очевидно было, что м-ме Гюйо решила полюбовно разойтись с мужем, уехать в Париж с детьми, а меня взять с собою быть их наставником. Замечу мимоходом, что этот инженерный полковник был ужасный добряк, истый Жорж Данден¹⁹², именно такой муж, какого надобно было м-ме Гюйо. Они оба считали меня ученым человеком, и так как, по их понятиям, наилучший способ задобрить ученого мужа — накормить его порядочно, то вот они меня и пригласили на ужин. Одним словом, они хотели завоевать меня теми же средствами, какими Бисмарк теперь надеется покорить Париж, т. е. желудком¹⁹³. Во время ужина оба, и муж, и жена, истощали все свое красноречие и все возможные ласки, чтобы убедить меня ехать с детьми в Париж. Ужин был славный, нечего сказать; да у меня, сверх того, была смертельная охота побывать в Париже; но все ж таки я не поддался по двум весьма важным причинам: во-первых, совесть у меня была как-то нечиста касательно пашпорта и вместо страха божия у меня был ужасный страх французских жандармов; во-вторых, м-ме Гюйо была не богата, а жила выше своих средств. Она просто меня эксплуатировала, хотела иметь дарового учителя, а после, может быть, оставила бы меня без копейки на парижской мостовой. Итак, я храбро выдержал осаду и не сдался. Вот урок Базену!¹⁹⁴ С тех пор м-ме Гюйо исчезла с моего горизонта и более на нем не являлась. Но я слишком уже далеко забежал вперед! Назад! Назад! в Hotel du соq и посмотрим, что делает английский капитан Файот!

Вот так-то, мой любезный Чижов, разыгрываются вариации на тему *жизни* и вечно изменяется ее пестрый ландшафт! — Волны звуков и волны красок несутся одна за другой...

И эти звуки отзвучат,
И эти краски побледнеют,

Апостол коммунизма и «Conspiration de Baboeuf»¹⁹⁵

«Яко ж то тыранство! От так бедны члбвек з глбду помжрецъ мўси!» Господин, произнесший эти слова с глубоким умилением и полупьяными слезами на глазах, сидел за столом в питейной и усердно уписывал славную закуску, запивая ее крепким английским пивом. Это был поляк Бернацкий¹⁹⁶, апостол коммунизма. Он таким себя мне и рекомендовал: «Мы на апостолув пошли!» В первый раз я встретил его — где вы думаете? — в академической зале Цюрихского университета, где он довольно бойко защищал диссертацию на степень доктора медицины. И эту степень он получил. Ну что ж? вы думаете, что вот он, как порядочный человек, займется делом, медицинскою практикою — ничего не бывало! Я доселе никак понять не могу, для чего он учился медицине. Он ровно ничего не делал, а только, как ревностный апостол, с утра до вечера шлялся по кабакам, где и проповедовал самый бешеный коммунизм. Это была грубая, коренастая славянская натура без малейшего понятия о нравственных условиях общества. «Вот видите, пане Печерин,— говорил он мне,— в нашей республике будет такая роскошь и довольство, какие свет еще не видал. С утра до вечера будет открытый стол для всех граждан: ешь и пей, когда и сколько хочешь, ни за что не платя. Великолепные лавки с драгоценными товарами будут настежь открыты, как какая-нибудь всемирная выставка, бери, что хочешь, не спрашивая хозяина,— да и какой же тут хозяин? ведь это все наше!» — «В таком случае,— осмелился я смиренно заметить,— *некоторые* граждане должны будут сильно работать для того, чтобы доставить обществу все эти удобства». — Апостол немножко смешался: «Ну, разумеется, *они* принуждены будут работать, а то гильотина на что же?»

Вот вам и древнее греческое рабство! Вольные граждане пируют да беседуют о политике, а рабы на них работают! Я сказал, что апостол немножко занялся, потому что основной догмат коммунизма был: «Труд не достоин вольного человека. Всякая работа есть рабство!»¹⁹⁷ В этом догмате бывали оттенки, смотря по воспитанию и общественному положению лица. Один премилый итальянский юноша сказал мне однажды в кофейне Баура: «Некоторые из наших вдаются в крайности: они совершенно отрицают труд; нет! это не так: у каждого гражданина будет свое занятие, но, знаете, этакое легкое, неутомительное, приятное занятие, например, играть на каком-нибудь инструменте, рисовать, читать занимательную книгу». Тут так и слышен il Signor Conte [господин граф — *ит.*]! Легкие салонные упражнения были в глазах его образчиком общественной деятельности!

Кто-то стучится у двери — отворяю: «А! Бернацкий! Что нового?» — «А то, что у меня сегодня деньги есть: пойдем-ка прогуляться за город да выпьем стаканчик чего-нибудь!» — «Очень хорошо! Я не прочь! Дайте только шляпу взять». Вот мы пошли, а разговор все о

том же, т. е. о благоустройстве будущей республики. Бернацкий не признавал никакой власти и никакого повиновения; об них он и слышать не хотел. «Однако ж,— сказал я,— вот, например, у нас общее поле: его надо обработать: ведь надо же, чтоб кто-нибудь дал приказ идти на работу». — «Какой тут приказ! Мы вот этак скажем: эх, братцы! дайте-ка пойдём поработаем *немножко!*» — «Ну да этаким образом,— отвечал я,— вы действительно очень немного сработаете». «Ах, боже мой! да как же вы это не понимаете или не хотите понять! Ведь наука-то у нас сделает исполненные успехи. Изобретут, например, какой-нибудь химический порошок. Вот так посыплешь его на землю и вдруг все родится само собою — и рожь, и пшеница, и овес, без малейшего человеческого труда!» — «Однако ж,— сказал я,— все ж таки надобно будет работать для того, чтобы пожинать и собирать в житницы произведения земли!» — Тут он просто рассердился. — «Ну, уж с вами вовсе нельзя говорить! Вы этак все идёте наперекор. У вас все ещё старые аристократические *русские* предрассудки... Ну, так черт поberi все!» — Тут он в ужасном азарте засунул руку в карман, выхватил несчастных два-три франка, заготовленных для прогулки, да так и швырнул их в лужу возле дороги и поминай как звали! Тем и кончилась наша прогулка.

Но размолвка недолго продолжалась. Он преклонил гнев на милость и через несколько дней мы опять сидели в самом дружелюбном расположении духа где-то за городом за кружкою пива и, как будто какие благочестивые отшельники, разглагольствовали о благах грядущего века. «Ах,— воскликнул Бернацкий,— как это славно будет! Вот этак мы сидим — вольные граждане — за общим столом. Тут, разумеется, все отборные роскошные яства — вино льётся рекою — гремит лихая музыка, и под музыку перед нами пляшут *нагие* девы!»

Каков идеал! Что тут вам Магометов рай с его гуриями!¹⁹⁸ «Вот видите, например,— прибавил он,— ведь монахи-то были не глупы: у них тоже был коммунизм, и они жили в полном довольстве; но в одном только они спасовали и были совершенные дурни!..»

— Да в чем же? — спросил я.

— А в том, что они женщин не пригласили в свою общину!

— Ей-богу, правда! — сказал я, смеясь.— Уж в этом-то они решительно промаху дали!

Само собою разумеется, что мой апостол терпеть не мог аристократов. Был какой-то большой бал в Цюрихе. Вот тут вся цюрихская знать едет или, лучше сказать, *несется* на бал, потому что в то время не было экипажей, кроме портшезов (*porte chaise*). Бернацкий *немножко* под хмельком гулял со мною в толпе народа. «Ох! уж эти мне аристократы! Да поглядите-ка: *рабы* несут их на руках как будто бы детей! Какой позор!» — тут он хватил кулаком в стекло портшеза, и оно рассыпалось вдребезги, а сам он ускользнул в другую улицу.

Еще черта. Жил в Цюрихе ломбардский выходец граф Угоны, потерпевший от австрийского правительства за то, что он завел сельские школы; он был отличный человек во всех отношениях, но, к

несчастью, у него было состояние, он хорошо одевался и обедал в первоклассной гостинице, и за это Бернацкий его ненавидел. Стоим мы с ним однажды на мосту; Угони идет обедать в гостиницу *меча* (zum Schwert). «Посмотрите-ка, что это за человек! к чему он годен! чего доброго можно ожидать от него! Вот этак бы ему *пулю в спину влечь!*» А все это из-за того, что на нем был хороший сюртук!

Я должен признаться, что наставник мой не очень высокое понятие имел о моих революционных способностях. Вот его официальное заявление.

«Vous n'êtes pas un homme d'action. Nous vous mettrons au parlement. Vous y ferez des discours, et après, nous vous couperons la tête!» [Вы не человек действия. Мы направим Вас в парламент. Вы будете там произносить речи, а потом мы отрубим Вам голову! — *Фр.*] Да, сударь! у нас шутить не любят, гильотина будет бессменно стоять на площади: guillotine en permanence! [Всегда готовая к использованию гильотина! — *Фр.*]

Все это я слушал со страхом, трепетом и благоговением, нимало не сомневаясь в истине сказанного. Это уж так роковое предопределение, думал я, иначе и быть не может. «Учителю благий! — сказал я однажды,— благоволите указать мне какую-нибудь священную книгу, где бы я мог почерпнуть здравые начала нашей святой веры?» — «Вам непременно надобно достать *Conspiration de Baboeuf par Philippe Buonarotti* [*Заговор Бабефа*] Филиппа Буонаротти — *фр.*]. Тут заключается все наше учение. Это наше евангелие. Ведь, правду сказать, Иисус был один из наших; он тоже хотел сделать, что и мы, но, к несчастью, он был бедный человек — без денег ничего не сделаешь; а тут вмешалась полиция: вот так его и повесили!» Впрочем, не первый раз я слышал в Швейцарии подобное мнение, хотя несколько в другом виде. Один благочестивый сельский пастор, с умилением подымая глаза к небу, сказал мне: «Ja! Iesus Christus war der erste Republikaner» [Да! Иисус Христос был первым республиканцем. — *Нем.*].

Эту священную книгу *Conspiration de Baboeuf* невозможно было найти в Цюрихе, да, сверх того, у меня ни копейки за душою не было. Но теперь в Льеже, лишь только завелся у меня лишний франк, я так и пошел осматривать все книжные лавки и, к крайнему моему восхищению, нашел ее у одного букиниста.

Денег со мною не было. «Ради бога,— сказал я хозяину,— подождите несколько минут: я сбегаю домой за деньгами: сию же минуту буду назад». Я побежал домой, взял деньги и, запыхавшись, положил их на конторку, взял книгу и понес ее домой как некий священный кивот, как ковчег нового завета!

В этом евангелии мало занимательного для *оглашенных*. Вот сущность планов Гракха Бабефа (*Gracchus Baboeuf*): Париж и все большие города должны быть разрушены до основания, а вместо того Франция будет усеяна группами цветущих деревушек! Сушая идилия!¹⁹⁹

Но теперь, однако ж, надобно быть справедливым. Коммунисты должны бы соорудить памятник Бисмарку: он очень ревностно со-

действует исполнению их планов. Не знаю, много ли *цветущих* деревень он оставит за собою, но что Париж и другие города довольно от него пострадали, в этом нет никакого сомнения²⁰⁰.

Но ведь я теперь в Льеже, а где же мой наставник и духовный отец? Что с ним случилось!? А вот что. К нему присоединился новый апостол, какой-то доктор из Тюбингена²⁰¹. Этот доктор жил в одном доме со мною. Мне от него страшно было. Никогда я не видал подобного лица. Какая-то мрачная тень злодейства лежала на его челе. Живописец, желавший написать образ Каина или Иуды, или самого Мефистофеля, не мог бы найти лучшего образца. Бернацкий как-то с ним особенно подружился. И вот эти два апостола, занявши значительную сумму у какого-то жида, в одно прекрасное утро, не спросившись хозяина, ускользнули из Цюриха и след их простыл. И вот с этими-то людьми я был знаком!

Данте очень трогательно изображает несчастное положение изгнанника. «Конечно, — говорит он, — грустно есть чужой хлеб и всходить и нисходить по чужой лестнице, но еще грустнее жить в том дурном обществе, какому неизбежно подвергается ссылочный».

Tu proverai si come sa di sale
Lo pane altrui, e come è duro calle
Lo scendere e'l salir per l'altrui scale.
E quel che più ti graverà le spalle
Sarà la compagnia malvagia e scempia,
Con la qual tu cadrai in questa valle.

Dante. Paradiso XVII. 58²⁰²

Эти стихи мне часто повторял мой луганский приятель Грилленцони, жалуясь на дурное общество в Цюрихе. А после я собственным опытом это узнал.

Сказание о капитане Файоте и его камердинере

...В часы,
Свободные от подвигов духовных,
Описывай не мудрствуя лукаво
Все то, чему свидетель в жизни будешь.
Борис Годунов²⁰³

В лето от Р. Х. 1838 в городе Льеже в Королевстве Бельгийском жил морской капитан английской службы — он же был на половинном жалованье — а имя ему Эдуард Файот. В старые годы у него был свой собственный корабль и с ним он объехал полсвета, да и в Питере бывал, откуда и вывез приятное воспоминание о некоем квартальном, вытянувшем у него не одну синенькую. У капитана был камердинер, лихой парень 22-х лет — кровь с молоком — бельгийского происхождения — имени и отчества не помню. Капитан был Сократ; а камердинер был, положим, нечто вроде Алкивиада²⁰⁴. Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Итак, благословясь, начнем.

Вашей милости известно, что я вышереченному капитану Файоту подал челобитную и приложил к ней руку с заветным знаком: G.O., что по-нашему значит Великий Восток. В ответ на мое писание капитан прислал несколько листочков собственного сочинения для перевода на французский язык. Знать, он хотел прежде изведать, силен ли я во французской грамоте. Я тотчас вскарабкался наверх в мою конуру, где кроме моей кровати еще стояли две-три другие, поставил маленький столик перед постелью, достал бумаги, чернил и перо и с особенным удовольствием принялся за более сродное мне ремесло. Работа шла как по маслу, перевод вылился полный и круглый по всем правилам французской фразеологии. Мои новые приятели Камбель и Макналли пришли меня навестить: «Ну что, как ваш перевод идет?» — «Да он уж готов». — «Неужели? очень хорошо! пойдем же вниз, да выпьем по чарочке предварительно, а там вы нам прочтете». Мы сошли вниз в питейную и выпили по чарочке предварительно; я сел на стул, а мои два Аристарха²⁰⁵ стояли передо мною. Я читал с чувством, с толком, с расстановкою, как будто перед какою-нибудь академиею наук. Камбель, знаток французского языка, воскликнул: «Прекрасно! отлично! Дайте, я сейчас же отнесу это к капитану». Он отправился с рапортом к капитану, а капитан через него прислал мне *пять франков*. Не могу описать, какое это было сладостное ощущение. Это были первые деньги, заработанные моим честным трудом. Хозяин тотчас подбежал и подал мне счет. Я с ним расплатился, и у меня еще осталось два франка с небольшим. После этого я вырос несколькими вершками, выпрямился, прибордился. Я чувствовал, что я уже не бродяга, не нищий, а порядочный человек, имеющий деньги в кармане и платящий свои долги! В избытке блаженства, с переполненным сердцем я пошел прогуляться и зашел на толкучий рынок в Hôtel de ville [ратуша — *фр.*] купить себе — что вы думаете? — пряник? — или сосульку? — нет! не угадали! я зашел купить — стереотипное издание греческого классика — помнится, *Ксенофонта Меморabilia Socratis*²⁰⁶, т. е. первое, что мне попало под руку. С этою покупкою я воротился домой и бросился на постель. После двухмесячной бродяжной жизни мне хотелось освежить себя умственным занятием, отдохнуть, понежиться немножко — хоть с этим пошлым рассказом о пошлом старике Сократе. Уединение и тишина не долго продолжались! Слышу, кто-то, кряхтя, тяжелыми стопами всходит по лестнице. Отворяется дверь — входит солдат в полном вооружении, в кепи, в шинели, с ранцем на спине, с ружьем в руках. «Sapristi! [Черт возьми! — *Фр.*] Как же я устал!» Он тотчас сложил свои воинские доспехи и бросился на постель. Отдохнув немножко, он посмотрел на меня очень пристально — улыбнулся, кивнул и, поднося горизонтальную руку ко лбу в знак приветствия, сказал: «Bonjour, camarade!» [Добрый день, товарищ! — *Фр.*] «Bonjour, monsieur» [Добрый день, сударь! — *Фр.*], — отвечал я. — «А ведь я сейчас угадал, что вы республиканец!» — «Как же вы это угадали?» — спросил я. — «А вот по этому», — указывая на мою бороду. В то время

борода была несомненным знаком республиканца или сен-симониста! «Ну что ж, брат! по рукам! Ведь и мы виды видали, по свету ходили да и за свободу сражались!» — «Очень рад, — сказал я, протягивая руку, — встретиться с товарищем и собратом по республике. Ну скажите ж, где вы этак сражались за свободу?» — «Да уж где мы не перебивали? Мы и в Польше были». — «Неужели? как же вы туда попали?» — «Мы на кораблях туда ходили». — «Помилуйте! как же это? — в Польшу-то на корабле!» — «Par dieu! [Черт поberi! — *Фр.*] мы стояли на якоре в Лиссабоне» — «А! понимаю: вы были в армии Дон Педро!»²⁰⁷ Очень хорошо! Итак, да здравствует республика и — *regent Geographia!* [Да погибнет география! — *Лат.*]

Еще осталось у меня несколько сантимов: на что бишь я их истратил? Погодите — а! теперь припомнил; я отправил франкированное письмо²⁰⁸ в Мец к аббату Бюро. В этом письме я объяснил ему причины, помешавшие мне явиться к нему в назначенный день по обещанию; благодарил его за данные мне 15 франков и обещал возратить их при первой возможности и заключил крайним сожалением о том, что мне не позволено было остаться во Франции и — «*participer aux grandes destinées d'une noble nation*» [принять участие в великих судьбах благородной нации — *фр.*]. Такова была моя тогдашняя риторика! Мне и в голову не приходило, что Россия-то именно та *свежая* держава, которой великие судьбы только что начинаются, а Франция — отжившая свой век нарумяненная маркиза, о которой можно сказать то же, что Беранже сказал о Европе вообще:

Une vieille sur des béquilles
Qui ne croit plus à la vertu
[Старуха на костылях,
Не верующая более в добродетель. — *Фр.*].

Но таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка: совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и оканчивая *Jardin Mabille!*²⁰⁹ Через два года после этого (1840) аббат Бюро, услышав о моем *обращении*, написал очень дружелюбное письмо к моему духовному отцу аббату *Манвиссу*: он старался всеми силами привлечь меня в Мец; сулил мне золотые горы; *je lui ferai un sort* [я обеспечу его судьбу — *фр.*], писал он; но мой *sort* или жребий был уже решительно брошен в другую сторону; итак, я в Мец больше не возвращался.

Но я уж слишком заболтался, а капитан давно меня ждет.

Камердинер отворил дверь: «Милости просим, пожалуйста. *Soyez le bienvenu!*» [Добро пожаловать! — *Фр.*]

Капитан Файот был человек лет 50-ти, хорошо вымытый и выбритый англичанин в черном завитом парике. На этом довольно обыкновенном лице сиял какой-то тихий отблеск милого простодушия и неистощимой доброты сердечной. Он принял меня очень, очень радушно, несмотря на то отвращение, с каким того времени англичанин должен был смотреть на небритого человека. Но капитан был выше этих предрассудков, тем более что он принадлежал к ради-

кальной партии и понимал значение бороды. В одном только случае он немножко спасовал и сделал маленькую уступку: к нему приехали из Англии какие-то родственники — долговязый Reverend [преподобие — *англ.*] в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках и столь же длинная пожилая мисс. Тут он просил меня не приходить к нему в эту неделю. «Потому что, вы знаете,— сказал он с милым замешательством, — у них свои предрассудки». Он очень боялся, чтобы они не проведали, что он в близких сношениях с небритым человеком. С тех пор все переменялось в Англии. После Крымской войны борода вошла в моду и сделалась не только не подозрительною, но даже признаком чистейшей аристократической крови. Герцог Кембриджский носит прекрасную окладистую бороду, а у здешнего вице-короля графа Спенсера²¹⁰ огромная рыжая борода как-то веером, точно как у какого-нибудь деревенского старосты. Когда-то у нас высшие чиновные классы перестанут *бриться*? — что Герцен называл *пошлым варварством*. И действительно, в этом нам не перешагивать американских дикарей: они не только не бреются, но еще выделывают узоры на лице; вот вам бы еще до *этого* совершенства достигнуть! Наполеон I пророчествовал России всемирное владычество, когда у нее будет царь с бородою (un czar á barbe): кто знает? Бог даст, мы и до этого доживем!

Но довольно о бороде: теперь ее значение известно целому свету.

Капитан приказал камердинеру дать мне сюртук и рубашку. Сюртук, с позволения сказать, был не первой молодости — немножко потертый на локтях и с прорехами под мышками, но дареному коню в зубы не смотрят. Все ж таки я думал, что в этом наряде я имею вид порядочного человека, т. е. presentable! Но я вскоре был разочарован. Нашелся какой-то добрый поляк, очень скромный и степенный человек в долгополом семинарском сюртуке, дававший разные уроки в городе. Он принял во мне живейшее участие и отрекомендовал меня какой-то даме для английских уроков. Я пошел ей представиться. Она осмотрела меня с головы до ног, слегка улыбнулась — в глазах ее было написано по-русски: *хорош гусь!*, а по-французски она отвечала: «Очень хорошо, я за вами пришлю!» И никогда не присылала.

Капитан тотчас посадил меня за работу. «Да сделайте милость, пишите поразборчивее и самыми крупными буквами, так, чтоб не трудно было читать». Бедный капитан! он думал, что в *ложе* так мало обращают внимания на его речи именно потому, что они не довольно четко переписаны. Я припомнил свои занятия в *Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста* и принялся писать не только канцелярскими, но даже евангельскими буквами. Сначала я работал в особенной комнате, но после он посадил меня в свой кабинет, на мягком комфортабельном канapé, заваленном бумагами и книгами. Это было раздолье. Иногда работы было немного — я читал какой-нибудь роман или чинил перья — точно какой-нибудь чиновник иностранной коллегии. Так я проводил целые дни в тишине этого кабинета. На этом мягком

канаве развились и созрели многие и многие мысли, из которых сложилась вся моя последующая жизнь.

А капитан сидел за своим бюро и писал, писал.

Капитан был человек популярный: к нему часто заходили по утрам знакомые посидеть, потолковать о том, о сем, особенно о политике. В то время в пущем разгаре был спор между либералами и католиками, особенно по случаю предложения в палатах — выдать архиепископу мехеленскому²¹¹ 40 000 франков на *первый подъем* для получения кардинальской шляпы в Риме. «Ну, скажите! на что это похоже? — говорил капитан. — Народ должен платить 40 000 франков за одну шляпу для этого господина. Пойдите-ка на зеленый рынок: там сидят дюжие дебелие фламандские бабы: у них отличные шляпы с широкими полями — настоящие кардинальские: их стоит только перекрасить в красный цвет, и все это будет стоить несколько франков». — Вот этак капитан подшучивал над его высокопреосвященством. Во время этих бесед я держал свою позицию, т. е. сидел как столоначальник за своим столом с пером в руке; но, впрочем, принимал участие в общем разговоре и в бутылке хорошего бордо, каким капитан обыкновенно потчевал своих гостей.

Однажды пришел к нам вовсе неожиданный посетитель: толстый, приземистый, широкоплечий, смуглый, краснощекий, весь в прыщах миссионер с очевидным намерением обратить капитана в *истинную веру*. Капитан принял его очень учтиво, поднес ему стакан славного бордо и завел общий разговор о веротерпимости, христианской любви и прочее. Миссионер был так заколдован любезностью хозяина, а может быть, и его вином, что, посидевши немножко и допивши свой стакан, он раскланялся и удалился восвояси, не заикнувшись ни слова об истинной вере. Я внутренне хохотал, а вино в самом деле было хорошее. Капитан опять сел за свое бюро и писал, писал... Однако ж пора вам сказать, что такое он писал. Произведения его не отличались оригинальностью: он просто вырезал лоскутки из проповедей *Блэра*²¹² да из передовых статей радикальной газеты *Weekly Despatch*, сшивал их белыми нитками и потом давал мне выгладить утюгом и придать французский фасон; но я этим не довольствовался, а иногда на этом поле я сам от себя вышивал новые узоры, т. е., говоря без фигур, я вставлял в этот перевод целые фразы и тирады собственного сочинения и самого ярко-красного цвета. От этого происходили презабавные сцены в масонской ложе. Почтенные члены были вне себя от изумления, никак не могли понять, откуда взялась у капитана такая необычайная прыть. Некоторые даже нашли нужным серьезно ему заметить, что он слишком далеко увлекается своими революционными идеями. А он ни душой, ни телом не виноват. Все это было дело секретаря. Не правда ли, и у вас это иногда случается? Он сам мне рассказывал об этих сценах не без некоторого самодовольствия. Это очень льстило его добродушному самолюбию, что его принимали за большего революционера. Наконец, по английской пословице, *выпустили кошку из мешка* (the cat out of the bag), тайна открылась, и я сделался известным целому городу своим знанием французского

языка. Этим, правда, не мудрено было блеснуть в Льеже, где даже газеты издавались каким-то безграмотным людом и отличались своею пошлостью и грамматическими ошибками. Зато уж я неусыпно трудился, изучая *la Grammaire des Grammaires* [Грамматика грамматик — *фр.*] так, чтоб не сделать ни малейшего промаху против правил языка. Вследствие приобретенной мною известности пастор реформатской церкви — имени не помню — обратился ко мне с просьбою предпринять перевод книги *Штрауса* «*Das Leben Jesu*»²¹³ на французский язык. Я тотчас согласился по-русски, т. е. на *авось*, нимало не принимая в соображение трудности этого предприятия. Когда я перевел один печатный лист, прежде, нежели идти далее, нашли нужным посоветоваться с каким-нибудь сведущим литератором. Таковым считался в Льеже некто г. *Фурдрен* (*Fourdrin*), автор нескольких драматических пьес в романтическом роде. Он подал свое мнение: «Я полагаю, что это очень верно с подлинником; ошибок против грамматики нет; но все ж таки это не по-французски». «*Сe n'est pas français*». — И он был совершенно прав. Такая книга, как *Штрауса Leben Jesu*, вовсе не переводима. Ее надобно передумать французскою головою, пересочинить и переложить на французские нравы, — что после и было сделано, кажется, г. Литтре²¹⁴. Несмотря на неудачу, пастор заплатил мне за этот печатный лист 20 франков! Это был первый большой куш, полученный мною сразу. Но у меня тут был двойной выигрыш: это было началом моего знакомства с Фурдреном, знакомства, превратившегося после в теснейшую дружбу. Фурдрен был отчаянный республиканец, но вместе с тем благороднейший человек во всех отношениях. Он выдумал средство помогать мне самым деликатнейшим образом, так что я долго даже и не подозревал, что от него получаю пособие. Но об нем поговорим позже. Он заслуживает особенной главы.

Капитан Файот был в полном смысле *человек народа*, *homme de peuple*. Иногда по вечерам он, подобно Гарун-Ар-Рашиду, передевался в синюю блузу и отправлялся в кофейню, где обыкновенно собирались ремесленники и рабочие²¹⁵. Тут он их потчевал пивом и беседовал с ними о их нуждах и о средствах улучшить их состояние, а иногда и практически помогал им: сунет тому или другому франк и полфранка в руку. Да и со мною он точно так же обходился, как с ними. Однажды он сказал мне: «Сегодня воскресенье — работать не годится; вот вам полфранка, пойдите прогуляться за город да выпейте кварту пива за мое здоровье», — что я буквально и исполнил.

Капитан давал мне 5 франков в неделю, а под конец дал 30 франков сразу. Больше от него требовать было невозможно. Средства его были очень ограничены, а просителей у него была бездна, потому что на материке воображают, что каждый англичанин непременно должен быть богачом. Иногда я у него обедал, но обед его был очень, очень скромный.

Мне придется еще не раз говорить об нем в этой летописи. Память его навсегда останется для меня священной. Он первый приютил меня, прокормил и обогрел, как эту бедную стрекозу, что

Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза²¹⁶.

Nic explicit liber primus de Capitano — deinde incipit liber secundus de Camerario. Deo gratia! [Здесь кончается книга первая о капитане — отсюда начинается книга вторая о камердинере! Господу благодарности! — *Лат.*]

Имя капитана Файота не погибло в Бельгии, какой-то его родственник Файот заведовал железными дорогами.

P.S. Не знаешь ли ты, какой это долгоухий немец написал биографию покойной императрицы²¹⁷ самым подлейшим камерлакейским слогом? А тут еще на беду какая-то дама вздумала перевести эту дрянь на английский язык. Просто срам и позор!

Глава II. О камердинере

«Случалось ли вам когда нанимать слугу?— я говорю *нанимать*, потому что теперь крепостных уже нет».— «Разумеется: нельзя же быть без прислуги».— «Очень хорошо. Ну, скажите пожалуйста: с какой целью вы нанимали слугу?»— «Как с какой целью? Для того, чтобы он мне прислуживал: чистил бы мне сапоги, подал бы умыться, прислуживал бы за столом да ходил бы на разные посылки — мало чего не найдется делать в доме!»— «К крайнему моему сожалению, вижу, что у вас все еще старые эгоистические предрассудки. Нет! не так понимал вещи мой капитан! Он нанял себе слугу (или, лучше, *камердинера* — это как-то *благороднее*) вовсе не для того, чтоб он ему прислуживал».— «Ну да для чего же?»— «А для того, чтоб он был ему товарищем, другом или, лучше сказать, сыном. Не забудьте, что капитан был нечто вроде Сократа. По сократовской методе он решился сделаться *повивальной бабкой* бессмертной души этого камердинера: внутренне образовать, развить, вывести на божий свет и собственными руками вспеленать эту новую душу, его же стараниями украшенную всеми лучшими дарами чистейшего либерализма, высокой честности и христианской любви, — вот какую он себе задал задачу!»

Тут мне вдруг пришло на мысль, что капитан был немножко мне сродни... «Помилуйте! да как же это возможно? Вы где родились?»— «Да там где-то в Козелецком *повеге* Черниговской губернии».— «Ну, а капитан где?»— «В каком-то английском *шире*²¹⁸, не помню именно где».— «Какое же тут может быть между вами родство? Ведь вы стоите на двух противоположных концах Европы!»— «Извините: есть плотское и есть духовное родство. По духовному родству капитан был мне очень, очень близок. Мы оба вели свой род от одного знаменитого предка: пресловутого рыцаря ламанчского, воспетого Сервантесом. Да, да, капитан был мне сродни». Вот поэтому-то мы сразу поняли друг друга.

Мы не сказали ничего,
Но уж друг друга знали.

Он тотчас же подарил меня своею доверенностью и взял меня в сотрудники не только своей литературной деятельности, но даже и в деле воспитания, так что я сразу попал в министры просвещения и духовных дел. После этого вам не покажется удивительным, что капитан пригласил меня каждое утро завтракать с его камердинером для того, чтобы влиять на него назидательными речами и благими примерами и пр. Дон Кихот да и только!

А у этого парня, т. е. камердинера, была препустейшая голова. Он был нечто вроде гвардейского офицера или петербургского гандена [от фр. *gandin* — франт]: любил хорошо одеваться, густо помадил и ухарски завивал свои белобрысые кудри, посещал иногда театр и другие публичные места и был поклонником прекрасного пола. Кроме женщин, мод и балов едва ли можно было о чем с ним говорить. Дело воспитания подвигалось очень медленно. Материалы были самые неблагоприятные. Иногда мне случалось слушать длинные рассказы о любовных приключениях этого Алкивиада. Но все ж таки со временем я успел внушить ему уважение к себе и доверенность, а это мне помогло сослужить ему службу в одном важном случае.

Капитан, как отличный *директор совести* (*directeur de conscience*), не довольствовался тем, что управлял действиями своего камердинера у себя дома, но он непременно хотел еще завладеть всею его внешнею обстановкою, для того чтобы предохранить его от дурного общества. С этой целью он предпринял основать общество или клуб молодых людей, которые собирались бы по известным дням в неделю для взаимного обсуживания разных нравственных и политических вопросов, а в конце была бы небольшая закуска. Все было подготовлено по строгим правилам английских митингов — даже и деревянный молоточек для председателя, чтобы давать разные сигналы. На первый раз, когда сам капитан председательствовал, дело шло довольно порядочным образом, но после оно превратилось просто в бражничество. Помнится, я всего только один раз был в этом клубе. Некоторые очень порядочные люди, вступившие было в это общество, пришли жаловаться к капитану, что они ужасно как обманулись в своих ожиданиях, нашедши вместо чинного собрания какое-то сборище молодых шалунов. Бедный капитан был в большом замешательстве. «Ну что ж вы хотите с ними делать,— говорил он,— ведь здесь в Бельгии вовсе не понимают, как должно вести себя в порядочном митинге!» Еще бы! Ожидать от француза или его обезьяны — бельгийца чинного собрания, где не горланят и не размахивают руками, это просто донкихотство.

Бельгийцы ужасно обезьяничают французов — это не хуже нашего. Наши обезьяны — по крайней мере в мое время — очень удачно перенимали все хватки, приемы, замашки и произношение французских парикмахеров и гарсонов и думали, что вот это

самый лучший тон. Вот по случаю-то этого бельгийского обезьянничества мне удалось сослужить истинную службу этому молодому камердинеру. Во Франции есть — *point d'honneur* [кодекс чести — *фр.*] и дуэль, следовательно, и в Бельгии должны быть *point d'honneur* и дуэль. Последуя этому правилу, мой камердинер, поссорившись с товарищем за какие-то пустяки, тотчас же вызвал его на дуэль. Это дошло до капитана. Вообразите себе его положение. У каждого англичанина есть свой конек, а его особенным, специальным коньком была — *дуэль*. Он беспрестанно писал и говорил в масонской ложе против дуэли; а теперь в его собственном доме его же собственное чадо впало в такой тяжкий соблазн. В ужасном переполохе он тотчас послал за мною и умолял меня ради Христа употребить все мое красноречие, чтобы их помирить. Я отправился парламентарем между враждующими сторонами и нашел их в какой-то кофейне. Что такое я им говорил и какими доводами я старался их убедить — теперь вовсе не помню; но знаю только, что даже без большой потраты красноречия мне удалось их помирить и даже они сами, кажется, внутренне радовались, что я помог им выйти из этой кутерьмы. Итак, я возвратил этого блудного сына под кров и в объятия его духовного отца.

Прошли дни, недели, месяцы, и, наконец, мы как-то разошлись с этим молодым человеком — вот по какому случаю. Я всегда был под влиянием той или другой философской системы: этот бес никогда меня не покидал. На этот раз он принял образ Пифагора. В библиотеке капитана было множество книг, относящихся к этой философии, между прочим целое *житие* чудотворца *Аполлония Фианского*. Все это я прочел от доски до доски, пережевывал, проглотил, переварил, усвоил себе и превратил в сок и кровь и — сделался пифагорейцем²¹⁹. Из этого вытекли два последствия.

1-е. Совершенное воздержание от мясного, так что почти целый год я ни куска мяса не ел.

2-е. Нежнейшее сострадание ко всему живущему. В то время я считал бы уголовным преступлением умышленно убить муху. Вот в этом-то расположении духа прихожу однажды к завтраку и вижу — мертвая кошка лежит, растянувшись на окне. «Ах, боже мой! как же эта бедная кошка погибла?» — «А вот видите, — сказал камердинер с некоторым замешательством, — она, злодейка, выпила все наши сливки, приготовленные к завтраку — вот я ее так и шарахнул об стену — вот она тут и лежит!» С этой минуты я возненавидел этого малого: он мне казался чудовищем, извергом человеческого или по крайней мере кошачьего рода. Под предлогом, что у меня были домашние уроки по утрам, я сказал капитану, что больше не приду к нему завтракать. Купил себе кофейник и сам варил себе кофе на спиртовой лампе. Да здравствует Пифагор! С тех пор мои сношения с этим молодым человеком не прекратились, но как-то охладели и медленно тянулись до конца... Через три года после того как я навсегда простился с капитаном, я встретился с камердинером — где вы думаете? —

в церкви редемптористов²²⁰ в Льеже. Тут была большая вечерняя служба, называемая Salut²²¹, с большим оркестром и полным освещением. На хорах подле самого органа стоял мой Алквиад, как-то небрежно, почти развалившись, опираясь на свою трость, и, выпучив глаза, с каким-то бездушным любопытством смотрел на то, что происходило у алтаря. А подле него — да вплоть подле него и неведомо ему — с преклоненною головою, в монашеской одежде, на коленях, стоял — frère Petcherine [брат Печерин—*фр.*]! Кто из нас двух был глупее,— трудно решить!

Макналли и К° (иллюстрированное издание)

Ах! юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, погибель презирая,
Мы все делили пополам.

Братья-разбойники²²²

"Mc — Nally & S°.
Cirage anglais, première qualité
maison de Londres"

Макналли и К°.
Английская вакса
высшего сорта.

Лондонский дом.— *Фр.*].

Эта скромная вывеска выставлена была в окне первого этажа небольшого домика в улице*** в городе Льеже. Кто такой Макналли — это уж вы знаете: это тот самый ирландец, что отрекомендовал меня капитану Файоту. А кто ж это такой и К°? Не кто иной, как ваш смиренный раб и богомалец Владимир Сергеев сын Печерин; сколько мне известно, другого сотрудника или *сообщника* у Макналли не было. Вот на какие хитрости люди поднимаются! Материалы для этой первоклассной лондонской ваксы покупались на рынке в Льеже, да к тому же еще самые дрянные. Макналли ничего не смыслил в этом деле. Я помогал ему в его химических упражнениях, а он между тем помирал со смеху. «Ха-ха-ха! Как же мы славно надуваем почтенную бельгийскую публику!» Изготовивши несколько бутылок, наполненных какою-то грязью, мы, перекрестясь, отправились на промысел как истые братья-разбойники или *рыцари промышленности*. Не отрицай же теперь, что у меня есть способность к *делам*! Я нес под мышкою бутылку на пробу как лучший образчик этого драгоценного лондонского продукта, а у Макналли за пазухою было несколько старых бритв, купленных на толкучем рынке, которые он тоже выдавал за настоящие английские. Без малейшей застенчивости мы втирались в самые значительные дома, даже к королевскому прокурору, Monsieur le Procureur du Roi. И мы очень удачно сбывали свой товар. В одном доме ни за что ни про что, вероятно из спекуляции, Макналли вдруг вздумал рекомендовать меня как *étranger distingué* [благородный чужеземец — *фр.*], что даже был профессором. Этот господин так и показился со смеху: «Ха-ха-ха! вы были профессором? vous professeur! [Вы — профессор! — *Фр.*] Ха-ха-ха». Тут я непременно должен сделать важное физио- и психологическое замечание. Очевидно, что в *самой* сущности моего бытия было что-то несовместимое с

профессорским званием. Вот этому другое доказательство. Был с нами в Берлине московский англичанин *Колли*; он очень был дружен со всеми членами профессорского института; он тоже никак не хотел верить, что я когда-либо мог быть профессором: «Это невозможно! это немыслимо!» А ведь он славно угадал!

Когда наш промысел шел удачно и мы выручали несколько денег, Макналли обыкновенно потчевал меня чаем à l'anglaise [по-английски — *фр.*], что в Бельгии считалось большою роскошью — это значило «гулять так гулять!» Мы беседовали между тем о наших прошедших трудах и будущих надеждах. Мы перебивались кое-как на всевозможные лады. Один француз винопродавец нанял нас на целый день переливать — не из пустого в порожнее — а вино из бочки в бутылки. После этого у меня ужасно как болела голова от винных паров. Но этот торговый промысел не долго продолжался. Макналли вообще не любил оседлого честного труда; ему хотелось приключений и бродяжничанья; вот он так и покинул меня и пустился искать более *романтических* ощущений. От этих не очень блистательных занятий я вынес один полезный урок: теперь я знаю по опыту, как бедные люди должны хитрить и перебиваться, чтобы зашибить копейку. Я был истым пролетарием не на словах, не в пышных фразах республиканского оратора, а на самом деле, в черствой действительности... Все это, разумеется, происходило прежде, чем я окончательно уселся на канаве за письменным столом у капитана Файота.

Наконец, я расстался с петушком и нанял себе квартиру на втором этаже, а внизу была кофейня. Мне дали какую-то странную комнату, всю набитую старою мебелью и какими-то фамильными портретами. Я вообразил себя испанским хидальгом, доведенным до крайней бедности неприятными обстоятельствами, но с истую испанскою гордостью сохранившим древнюю мебель своего замка и портреты своих знаменитых предков. И действительно, испанский хидальго был в очень стесненных обстоятельствах: когда ему пришлось отдать свою рубашку в мытье, то он несколько дней должен был ходить с плотно застегнутым сюртуком по самое горло, так что даже с помощью микроскопа невозможно было бы открыть ни малейшего следа белья. В этом же маленьком доме остановился маленький живописец-сицилианец с сверкающими глазами и черными, как смоль, курчавыми волосами. Он со мною подружился и брал у меня уроки французского языка. Как будто нарочно нам пришлось читать вместе приключения *Жилблаза*. Иногда во время урока он глядел на меня и помирал со смеху. «Ведь это ваша история!» — говорил он. И в самом деле, занятия *Жилблаза* у архиепископа Гранадского очень как-то подходили к моей секретарской должности у капитана Файота.

Но тут вдруг — ай! ай! — перелом. Но об этом позже: *довлеет дни злба его*²²³. Il faut se faire désirer [Надо заставляя себя ждать. — *Фр.*].

Перелом

«PAIN BIS ET LIBERTÉ» [Черный хлеб и свобода — *фр.*] (Древняя надпись на стене пятого этажа на Гороховой улице.)

Книги — вещи преопасные: от них рождаются *идеи*, а следовательно, и всевозможные глупости*. Книги имели решительное влияние на главные эпохи моей жизни. Да еще бы ничего, если бы это были настоящие книги, т. е. какие-нибудь фолианты, или in — 4° или большие in — 8°²²⁴; а то нет! самые ничтожные брошюрки в каких-нибудь сто страниц решали судьбу мою на веки веков. Брошюрка Ламенне заставила меня покинуть Россию и броситься в объятия республиканской церкви. А тут именно в то самое время, когда я жил испанским хидалком с древнею мебелью и фамильными портретами во втором этаже над кофейнею, попалась мне в руки крошечная брошюрка, даже и заглавия ее не помню: в ней просто рассказывалось житье-бытье трех *итальянских выходцев* — как они жили в уединении, в захолустье, в какой-то хижинке, держась в стороне от пошлого стада *réfugiés* [эмигранты — *фр.*], занимаясь науками, ни у кого ничего не прося, не ища ничьего покровительства, в крайней бедности, довольствуясь самым необходимым и таким образом сохраняя достоинства республиканца и человека...

Мне стало стыдно... Эта брошюрка, как яркая молния, осветила темные закоулки моей души; обнажила основные начала моего бытия; разбудила заснувшие инстинкты и стремления и напомнила мне то золотое время, когда на стене моей квартиры в 5-м этаже на Гороховой улице было написано: «Pain bis et liberté!»

Да! «Pain bis et liberté». Долго, долго в этом пятиэтажном доме, а особенно в его мелочной лавочке, хранилось предание о бедном-бедном студенте, как он спускался с пятого этажа и закупал в этой лавочке черный хлеб, квас и лук и из этого делал себе спартанскую тюрю и славно обедал в 6 часов вечера по классическому обычаю древних (*coena antiquorum*²²⁵). Единственную подружку его в этой конурке была веточка плюща, посаженная в горшке: она как-то уныло вилась по окну: это было как будто предчувствие Англии, где все — и вековые дубы, и вязы, и стены древних и новых зданий — все обвито вечно зеленым плющом. Незабвенные дни свободы духа и чистоты сердечной! Ах! если б отец мой — вечная ему память! — если б он немножко, крошечку был пощедрее да прислал бы мне каких-нибудь лишних сто рублей — я бы, может быть, достойно выдержал эту битву и не надел бы на себя казенной сермяги...

Но где же перелом? Какая произошла перемена? Это требует объяснения.

До тех пор (1838) все мои идеи были чисто французские, а французские идеи непременно влекут за собою французский образ жизни. Какой же это французский образ жизни? а вот он какой!

* За эту фразу покойный Николай Павлович, наверное, сделал бы меня по крайней мере камер-юнкером. Жаль, что он умер.

Сидеть целый день в кофейне, разглагольствовать о политике, прислушиваться к отдаленным отголоскам европейских революций, сыграть иногда партию в домино, отрезывать каламбуры и строить куры à la demoiselle de comptoir [продащица — *фр.*] (этого даже нельзя выразить чистым русским языком) — вот обыденная жизнь молодой Франции, моих собратьев по республике. Вы не можете себе вообразить, какую это делает разницу, когда этак порядочно одетый человек зайдет в кофейню, выпьет рюмочку absinthe [абсент — *фр.*] или чашку кофе avec le gloria [с ликером — *фр.*] и потом, разгладив усы и закуривши сигарку, выходит на бульвар, он чувствует себя чем-то особенным, чувствует свое достоинство. Клянись богом, что я не сочиняю, а только буквально повторяю, что я тысячу раз слышал из уст моих товарищей. В Цюрихе я был очень дружен с неким *Банделье* (расстригою-попом), мы с ним было затеяли издавать новую газету под звонким титулом: le Peuple Souverain [суверенный народ — *фр.*]. Мало мы заботились о серьезной части этого предприятия, а мечтали только о том, как мы будем комфортабельно сидеть в конторе нашей редакции да курить славные сигарки! У француза свое особенное мирозерцание. Спросите, например, у англичанина: для чего человек живет на свете, для чего он создан? Он, вероятно, будет отвечать: «to do business!», «для того, чтобы дело делать»; американец-янки прибавит: «to make money», «для того, чтобы зашибить копейку». Но все-таки у обоих есть понятие о какой-то полезной деятельности. Теперь предложите этот же самый вопрос французу — где бы вы его ни встретили — хоть бы под Северным полюсом, — он непременно вам ответит: «L'homme est né pour le plaisir!» [Человек рожден для удовольствия! — *фр.*] «Наслаждение — вот конечная цель человека». В сенсимонистской религии предполагалось заменить церковь театром. Где? в какой стране? какому народу пришла бы подобная мысль? Это чисто парижская идея.

Величайший и единственный лирический поэт Франции Беранже вполне осуществляет в себе французскую идею: все его песни на один лад: plaisir et gloire [наслаждение и слава — *фр.*!] ²²⁶ Заметьте еще, что во французской голове вовсе не находится понятия о долге, т. е. о нравственной обязанности. Нельсон перед трафальгарской битвою ²²⁷ говорит своим матросам и солдатам: «England expects every man to do his duty», «Англия надеется, что каждый из вас исполнит свой долг». Не правда ли? — это кажется очень коротко и сухо, а для англичанина довольно. Русский генерал сказал бы: «Ну теперь, ребята, постарайтесь за царя да Русь святую!» — «Рады стараться! ваше пррррр...», — отвечает тысяча голосов: тоже очень скромно и без малейшего фанфаронства, потому что у русского, как у англичанина, есть понятие о священном долге служить царю и отечеству. А у француза оно вовсе не существует, а есть, напротив, безмерное, ничем не истощимое тщеславие. Чтобы удовлетворить этому тщеславию, Наполеону надо было притащить целую обузу пирамид, до сорока столетий смотрящих с высоты их на французских пигмеев ²²⁸. Было время, когда перед этою фразу с

благоговением преклоняли главу; а теперь всякий видит, что это просто галиматья, французская риторика, шарлатанизм, общий Наполеону I и III. Риторы погубили Грецию; те же риторы погубили и Францию. Если б я имел власть в руках, я б под смертную казнию запретил преподавать риторику. Из всего этого ты видишь, что у меня есть *зуб* на Францию — именно за то, что она своими идеями заставляла меня жить и действовать наперекор моим врожденным наклонностям. Нет ничего противнее моей натуре, как французское фанфаронство и рассеянность. Но чего не делает человек из так называемых *убеждений*? Он и в огонь и в полымя пойдет, и с мошенниками будет запанибрата — от этого я теперь ненавижу всевозможные убеждения.

Брошюрка сделала решительный переворот в моих мыслях: она отдала меня самому себе. Каждый раз, когда новая мысль овладевала мною, я ни на минуту не отлагал ее практического приложения. Сказано и сделано.

Для новых мыслей требовалось новое помещение. Я пошел искать себе квартиру. В глухом переулке Rue des Prémontres отдавалась внаем квартирка у дряхлой старушки m-me Joarisse. Это была комната, что у нас называют — в первом этаже, т. е. au rez-de-chaussée, окном на двор; перед окном было несколько деревьев: они придавали этой комнате какой-то зеленый полусвет. На кровати, где мне должно было спать, умерла сестра хозяйки, монашенка. Какой-то гений уединения парил над этим жилищем. Квартирка мне приглянулась: я условился с хозяйкою за 10 франков в месяц, да сверх того приговорил, чтобы она мне готовила обед исключительно из одних овощей — я тогда уже был по уши в Пифагоре. Но через несколько времени она нашла это неудобным и невыгодным для себя. Что тут делать? Чтобы избавиться и ее и себя от хлопот, я решился привести свою кухню к самому простейшему выражению; итак, каждый вечер в 6 часов меня ожидало на столе дымящееся блюдо, состоящее из пяти вареных картофелей с хлебом и маслом, и этим обедом я довольствовался в продолжение почти двух лет.

С легкой руки этого новоселья начинается ряд знаменитых глупостей, одна лучше или хуже другой; я их перечислю по номерам, как деловые бумаги.

№ 1. Я решился так усердно работать на капитана, чтоб он никогда не был в состоянии вознаградить меня за мои труды, так чтоб не я у него, а он у меня был бы в долгу, на вечные времена. Pain bis et liberté!

№ 2. Богатый англичанин *Етс* (Yates), державший бакалейную лавку на площади, из уважения к капитану прислал ко мне сидельца с предложением дать мне новый сюртук. Я учтиво его поблагодарил, но сказал, «что в этом не нуждаюсь, что мой сюртук еще очень хорош (это был *другой*, купленный мною на толкучем, долгополый, коричневого цвета и очень приличный), а двух сюртуков по моим правилам мне иметь не подобает». А главная мысль была та: довольно иметь одного благодетеля-капитана; зачем же принимать на себя бремя новых благодетелей и дать этому англичанину право сказать:

«Я одолжил Печерина!» Я поступил точно, как Авраам в Книге бытия, гл. 14: он отвечал царю содомскому: «Ни одной нитки, ни сапожного ремня — ничего от тебя не возьму; а не то ты, пожалуй, скажешь: «Я обогатил Авраама!»²²⁹ — Pain bis et liberté!

№ 3. Открылось вакантное место городского переводчика (traducteur public). Мне тотчас его предложили. С этим было связано порядочное жалованье, обеспеченное положение. Но тут мне сказали, что надо принять присягу. Нет! уж этого-то я никогда не сделаю! Я никогда никакому правительству, даже и русскому царю, не присягал. Да и что ж это? ведь это значит, что я буду на жалованье у правительства, т. е. чиновником. Нет! покорно благодарю! Довольно с меня и того, что я был подканцеляристом Государственного Контроля во *Временной Комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста!* Нет, уж лучше я останусь по-прежнему вольным казаком с моим: Pain bis et liberté!

№ 4. Какой-то английский милорд, живший недалеко от Льежа, искал себе гувернера для детей. Капитан меня отрекомендовал. Но его главным условием было то, чтобы я был безотлучно с детьми с утра до вечера. Как же мне принять на себя такую обузу? Я привык к необузданной свободе. У капитана я работал только до третьего часу, а по праздникам и вовсе к нему не ходил. Иногда я на целый день уходил за город. Там где-нибудь в чаще леса или на открытом поле в густой траве я лежал с романом Жорж Занда в руках: солнце ярко блистало над головою; теплые ветерки резвились вокруг меня; жаворонок вился высоко в голубом небе и пел гимн свободе. Воля! воля! воля! поет жаворонок в небе: как же мне себя закабалить в такую неволю? Нет! покорный слуга! Ищите себе другого гувернера! а я останусь при своем — Pain bis et liberté!

№ 5. Капитана сделали библиотекарем в масонской ложе. Ему очень хотелось взять меня себе в помощники и, следовательно, переманить в масонство. Я уже прежде сказал, почему франмasons мне всегда казались смешными; а тут еще капитан притащил домой целый пук бумаг — сочинения франмасонов. Каждый член, вступая в ложу, обязан написать краткое изложение своего образа мыслей, так не больше странички. Но это были такие пошлые ученические упражнения в риторике, что я сам за них краснел и никак не соглашался бы подвергнуть себя подобному испытанию. А материальные выгоды от масонства были очевидны: франмasons были всемогущи не только в Льеже, но и в целом королевстве: с их покровительством я мог бы всего достигнуть. Но *покровительства-то* именно я и не хотел. Кроме *Фурдрена* (Fourdrin, а не Фурье, как ты пишешь) у меня еще был приятель — математик и студент медицины Лекуант (Leconte). По собственному его признанию, экзамен его вышел как-то не очень блистательно. «Ну да это ничего! — говорил он. — Наши (т. е. франмasons) вывезут!» Ну что ж это такое? — думал я, ведь это то же, что у нас в России: *нельзя ли как-нибудь*. Одним словом, я требовал от природы человеческой невозможного. Итак, и масонство забраковано! не годится! подавай мне опять старое: Pain bis et liberté!

После этого, видя, что со мною нечего делать, меня оставили в покое; а мнение обо мне поднялось на несколько градусов, даже очень высоко, до летнего жара. Вот аксиома: «Чем менее вы нуждаетесь в людях, тем более они вас уважают». Я понимаю и вполне оцениваю ответ Диогена Александру: «Не заслоняй меня своею тенью, великий монарх, дай мне погреться на солнце: я больше ничего у тебя не прошу!» Хороши тоже слова Александра: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном!» И действительно, тут были две равностепенные державы: Диоген и Александр²³⁰ — deux puissances en présence [две противоборствующие державы — фр.].

Несмотря на все эти *отказы*, мои обстоятельства с каждым днем улучшались: у меня было много частных уроков, и я до того даже умудрился, что самоучкою выучился еврейскому языку и был в состоянии преподавать его начала одному воспитаннику гимназии (Collège). Я уже прежде упомянул, что было в виду дать мне кафедру греческого языка в том же Collège.

После всего этого любопытно прочтеть, как Герцен объясняет мой переход в католичество. Вот его слова в «Полярной Звезде» 1861: «Бедность, безучастие, одиночество сломили его — он не знал, что делать, и, сорвавшись с орбиты, без цели и границ, упал в иезуитский монастырь!»²³¹

Это написано а priori — так должно быть, следовательно, так и было! Нет! из всего предыдущего ясно, как день, что я вовсе не сломился, а стоял очень прямо и твердо на своем пьедестале и никак никому и ничем не поддавался...

...Lascia dir la gente!
Sta, come torre, fermo, che non crolla
Ciammai la cima per soffiar de' venti.
Dante. Purg. 5.13. ²³²

Фурдрен — Лекуант — Поточкий

Madame Veto avait promis
D'incendier tout Paris:
Mais son coup a manqué
Grâce à nos canonniers! Et gai, gai!
Dansons la carmagnole!
[Мадам Вето обещала
Сжечь весь Париж,
Но заговор не удался
Благодаря нашим пушкарям! Гэй, гэй!
Станцуем карманьолу! — Фр.]²³³

Густым басом и с отчаянным видом — густобородый и с целым лесом волос на голове — в красной рубашке — красный из красных, задушевный приятель мой Auguste Fourdrin распевал эту песенку каждый раз, когда со вздохом он вспоминал о славных днях первой революции. Под эту львиною наружностью крылась детски незлобная, благородная, возвышенная душа. Он был в полном смысле

литератор: он преподавал французскую грамматику и написал несколько драм или трагедий александрийскими стихами. В них немного было поэзии; но они служили ему проводниками его социальных идей. Героями этих драм большею частью были *добродетельные* люди, не признанные и оклеветанные обществом, т. е. каторжники: их в моду пустила Жорж Занд²³⁴. Сам Фурдрен рассказывал мне, что она одного из них взяла себе в прислуги и оказывала ему большое доверие и благосклонность. Нечего сказать! О вкусах спорить нельзя. Но все ж таки я думаю, что она денег плохо не клала и плотно запирала свою шкатулку. К Фурдрену приехал в гости его брат из Парижа — артист-скульптор. Он был истый парижанин: ужасный вертопрах, но вместе с тем человек с отличным вкусом. Он указал Фурдрену на некоторые промахи в его драмах, происходящие от провинциальной жизни и незнания большого света: его замечания были очень метки и резки. Он же тут, в Льеже, показал нам образчик своего искусства: слепил прелестную карикатурную статульку тогдашнего епископа льежского *Ванбоммеля*: выражение лицемерия на лице этого святого было неподражаемо, а из-под хвоста его длинной мантии выползал целый рой монахов в рясах с широкополыми шляпами. После этого *суп д'артисте* [мастерское творение — *фр.*] наш художник, выходя по вечерам, всегда запасался пистолетом и *саппе à ереé* [шпага, спрятанная в трости — *фр.*]. «Надобно взять предосторожности, — говорил он, — а то, пожалуй, чего доброго от этих фанатиков всего можно ожидать». У Фурдрена была служанка или ключница, *gouvernante* [экономка — *фр.*], довольно взрачная женщина; а у нее была маленькая дочь, дитя лет четырех или пяти. Эта малютка была как две капли воды похожа на самого Фурдрена. Меня доселе удивляет, что он никогда ни малейшего намека не сделал на эти сношения с ее матерью (если они в самом деле существовали). Во французском обществе — особенно в литературном мире — подобные связи вовсе не считаются предосудительными. Кто не знает Лизеты Беранже, которой он посвятил одну из прекраснейших и самых трогательных своих песен?

Vous vieillirez, o ma belle maitresse!
Vous vieillirez, et je ne serai plus etc²³⁵.

Кроме литературы, Фурдрен еще занимался физиологиею и анатомиею. Однажды он отворил передо мною шкаф, где у него хранилось съестное, и что, вы думаете, я увидел? Голландский сыр или бутылку бордо? Нет! а сохраненную в спирте голову молодой женщины со всеми свежими красками жизни, с длинными распущенными русыми волосами: она глядела как живая. Откуда взялась эта голова? Какая была ее история — простая или сложная? Была ли она связана с жизнью Фурдрена? — не знаю, но знаю только, что это была одна из несчастных жертв разврата.

Но эти длинные волосы напоминали мне другую историю из других времен.

В 1848 году я жил в одном из прелестнейших предместий Лондо-

на — в Клапаме (Clapham). В то время католический священник был очень редкое явление в этом околотке. Иду я однажды по улице в самом уединенном квартале. Подходит ко мне какой-то господин. «Позвольте вас спросить: вы католический священник?» — «Да вот, как видите», — отвечал я, указывая на мой белый галстук (прозванный *римским ошейником*, Roman collar). — «Сделайте милость, зайдите вот в этот домик: тут одна больная девушка очень желает вас видеть».

Это был один из тех милых, уютных домиков, какими обилуют лондонские предместья. Меня ввели в комнату в нижнем этаже (au rez-de-chaussée). Тут был какой-то полусвет от тенистых деревьев в палисаднике. На столе лежала гитара и были разбросаны какие-то рисунки. Я сначала едва мог разглядеть, что в глубине комнаты на софе лежало милое дитя каких-нибудь 17 лет с длинными, небрежно разбросанными русыми локонами, исхудавшая, бледная и с роковым румянцем на щеках. Она едва могла приподняться, чтобы приветствовать меня. С детскою простотою она рассказала мне всю свою историю. Эта история была очень, очень проста и незамысловата: она полюбила слишком доверчиво и была обманута — вот и все! Пошла она однажды вечером на последнее свидание, должноствовавшее решить участь ее, — прождала напрасно несколько часов под проливным дождем, промочила себе ноги — а тут как раз нагринула чахотка, да и какая еще! *галолирующая!* Теперь она лежала на своем смертном одре без жалобы, без ропота, без упрека, с христианским раскаянием и любовью, но вместе с тем с непобедимою надеждою на выздоровление — это общий признак чахоточных. Она жила у женатого брата, артиста, работающего для какого-то иллюстрированного журнала. Брат и свояченица ухаживали за нею со всею нежностью родственной привязанности. Надеясь против всякой надежды, или, может быть, для того, чтобы утешить ее, они перевезли ее в деревню за несколько миль от Лондона и в одно прекрасное утро пригласили меня ехать с ними навестить ее.

«Ах, Dear Father [дорогой отец — *англ.*], — сказала она, протягивая мне руку, — как это мило с вашей стороны, что вы приехали навестить меня. Не правда ли, что я поправляюсь? Мне гораздо лучше! Какое это прекрасное место! Слышите ли, как птички поют в кустах? Синель²³⁶ распустилась под моим окном. Как мне здесь хорошо! Какой благодостворенный воздух! Это не то, что в дымном Лондоне! Я чувствую, что я оживаю. Да! Может быть, завтра же я встану с постели и выйду немножко в сад подышать свежим воздухом. Ах! как бог милостлив ко мне! Когда я выздоровею, Dear Father, I will be very, very good! [Дорогой отец, я буду очень, очень хорошая! — *Англ.*] Ну, теперь прощайте, до свидания, — сказала она, пожимая мне руку, — я, может быть, завтра же встану!»

Через три дня она умерла, и те же птички в кустах отпели ей панихиду, и синель рассыпала свои лиловые цветы на ее свежую могилу. Я забальзамировал ее в моей памяти и храню ее как драгоценную мумию прошедшего. Теперь, когда мы почти оглушены треском падающих империй²³⁷, когда наши сочувствия парят так высоко и ши-

роко, да будет мне позволено *смирненно* сочувствовать этому бедному цветочку, растоптанному наглою стопою бесчувственного дикаря!

* * *

Они меня любили... Ах! какое это слово! В нем заключается смертный приговор, осуждающий меня на ничтожество. Великие люди, истинные благодетели человечества, никогда никого не любили и вовсе не заботились о том, любят ли их или ненавидят. Они, как могучие дровосеки с секирою в руках, пробивали себе путь в чаще дремучего леса — беспощадно рубили направо и налево. Больно ли от этого деревьям или нет — какое им дело. Сколько миллионов живых существ погибло под их тяжелою стопою — об этом они не заботились. У них одно было на уме: «Надо расчистить лес во что бы то ни стало». И вот их подвиг совершился: открылась обширная зеленая поляна, озаренная яркими лучами солнца. На этой поляне поселилось семейство — семейство выросло в село, село выросло в город, а город разросся в целое государство: миллионы людей благоденствуют под сенью мудрых законов, в полном блеске науки, искусства, промышленности и торговли. А все оттого, что *первобытный дровосек* никого и ничего не щадил. Его личность преобразуется во мгле столетий: он растет с каждым столетием, становится исполином, героем, богом: ему воздвигают алтари и курят фимиам...

А так называемые *добродетельные* люди, чувствительные сердца, желающие любить и быть любимыми, — они ни к чему не пригодны: от них, как от козла, ни шерсти, ни молока; они, как гуси Крылова, *лишь годны на жаркое*²³⁸.

Глас народа — глас божий, — говорит старая поговорка. Она, как ты знаешь, поставлена во главе той знаменитой грамоты, которою Михаил Романов избран на престол. — Ну, что ж гласит этот глас божий? Что иного обожают народы? Истинный ли талант? высокую ли добродетель? Нет! они обожают *силу* и ей одной поклоняются. Никто не выразил этого лучше, как *Бартеlemi* в своих бессмертных *Ямбах* (Jambes):

...Le peuple c'est la fille de taverne,
La fille buvant du vin bleu,
Qui veut dans son amant un bras qui
la gouverne,
Un corps de fer, un oeil de feu,
Et qui, dans son taudis, sur sa couche
de paille,
N'a d'amour chaud et libertin,
Qui pour l'homme hardi qui la
bat et la fonaille.
Depuis le soir jusqu'au matin²³⁹.

Парижские коммунисты, сжегшие Тюильри и отель де Виль²⁴⁰, может быть, со временем попадут в великие благодетели человечества. Ведь первые христиане также сжигали великолепные языческие храмы, разбивали в куски изящные статуи, образцовые произведения искусства. Образованный древний мир содрогался от ужаса и негодования при виде этих неистовств и прозвал христиан

безбожниками, *афеями* [от *фр.* *athée* — атеист]; но все ж таки в конце концов христиане одолели. Вот так будет и с коммунистами. Они тоже могучие дровосеки: они прямо идут к цели. Надо же как-нибудь расчистить наш старый лес, наполненный всякой дрянью. Что сделали с Тюильри, могут сделать и с Ватиканом, и тогда уже мы навсегда отделаемся от этой старой рухляди; поляна будет окончательно расчищена. Никто теперь не упрекает новгородцев за то, что они скатили в Волхов святой истукан Перуна: зачем же бранить коммунистов за то, что они низвергнули Вандомскую колонну?²⁴¹

«Мне очень бы хотелось познакомиться с греческим языком: не можете ли дать мне несколько уроков — хоть этак раза три в неделю?» — сказал мне однажды Фурдрен. — «Конечно, я от этого не прочь», — хотя и казалось мне немножко странным, что человеку лет за сорок вздумалось начать учиться по-гречески. Он попросил меня написать ему систему греческих спряжений, что я тут же сделал, *seance tenante* [не сходя с места — *фр.*]. Она показалась ему очень замысловатой. Наши уроки шли следующим образом. Я читал и переводил с грамматическим разбором разговоры *Лукиана*²⁴², а он с книгою в руках следил за мною и больше ничего не делал. Иногда, бывало, он зевает, а иногда и глаза закрывает, как будто задремлет. «Станный способ изучать греческий язык!» — думал я про себя. Тайна открылась гораздо позже: эти уроки были не что иное, как любезная выдумка Фурдрена — давать мне пособие, не оскорбляя моего самолюбия. Признаюсь, я в этом поступке вижу геройский подвиг христианской любви. А Фурдрен был, как у нас говорят, *фармазон* и человек без веры! Вот так и выходит, что самаритянин лучше правовежного иудея!²⁴³

Лекуант был милый юноша, единоведец Фурдрена, т. е. отчаянный республиканец, заклятый враг католической церкви и всех церквей вообще, студент медицины, материалист с длинною бородою. У нас по вечерам, особенно по воскресеньям, были философские беседы. Фурдрен и Лекуант держали сторону материализма, а я — или по духу противоречия, или по природной наклонности — защищал мистицизм. При этом случае меня потчевали хорошим кофе и *сандвичами* — тоже уловка Фурдрена; чтобы вознаградить недостаток моего слишком скромного обеда.

Потоцкий. Сiju я однажды у камина в гостинице *du coq* [«У петушка» — *фр.*]; тут же подсел какой-то, не помню, француз или поляк, один из тех воинственных дружин, что за свободу сражались и в Польшу на кораблях ходили. «Я знаю здесь одного из ваших соотечичей», — сказал он. — «Кто ж это такой?» — «Г-н Потоцкий. Хотите с ним познакомиться?» — «Без сомнения! Дайте мне его адрес».

Потоцкий был самый идеал польского шляхтича: долговязый, худощавый, бледный, белобрысый, с длинными повисшими усами,

с физиономией Костюшки²⁴⁴, т. е. une espèce de singe [нечто вроде обезьяны — *фр.*], как сказал Шатобриан. В нем совершенно развилась славянская натура. Он, как и все поляки, получал от бельгийского правительства один франк в день и этим дозольствовался и решительно ничего не делал: или лежал, развалившись, на постели, или бродил по городу. Ведь какой-нибудь англичанин, американец или даже немец пустился бы на разные хитрости, чтобы зашибить копейку и доставить себе более удобств или вообще чтоб иметь какое-нибудь занятие. Как же это ничего решительно не делать? Но такова уж славянская природа. С самого детства я слышал поговорицу: *лень прежде нас родилась*. Есть нечто подобное в итальянском характере: мой цюрихский приятель *Угони* часто с особенным восторгом повторял: *Il dolce far niente! il dolce far niente!* [Сладкое ничегонеделание! — *Ит.*] Трудолюбие, например, Жигова и ему подобных вовсе не православная русская привычка: это ересь, заимствованная от басурманского англо-сакского племени.

Но есть дело хуже безделья. Пришло в голову Потоцкому писать, т. е. сочинять, да еще на каком-то польско-французском наречии. Написал он целую тетрадищу — такая галиматья, что хоть святых вон носи. Сам он побоялся снести ее в редакцию *Journal de Liège* [«Льежская газета» — *фр.*] и дал мне это поручение. Я нашёл там полдюжину редакторов, сидевших на каком-то совещании. Я подал им тетрадь с оговоркою, что я вовсе не причастен к этому произведению, а что меня просто просили передать это им. Они взяли рукопись, и она там почилла сном праведным и никогда божьего света не видела.

У Потоцкого была еще другая черта славянской или, может быть, преимущественно польской натуры: непомерное хвастовство. Через меня он познакомился с Фурдреном и Лекуантом и был приглашаем на наши философские беседы. Тут он начал рассказывать о Польше такие небылицы, что у меня просто уши вянули. По словам его — Польша благословенная Аркадия, страна патриархальной невинности и чистоты нравов. О невинности польских нравов я кое-что слышал от наших офицеров, да и сам был на Волях в Подолии. Но мне невозможно было ни слова сказать в опровержение этих нелепостей. Как меня ни уважали, но все ж таки мое свидетельство ничего не значило перед авторитетом Потоцкого: ведь он *поляк!* — а в то время каждый поляк был украшен двойным золотым венцом (ореолом): воинской доблести и несчастья.

Фурдрен жил летом за городом за рекою. К нему надобно было переправляться на лодке. Мой роковой час пробил, и я отправился проститься с ним навсегда. Как все люди, живущие одним воображением на счет здравого смысла, я верил в *приметы*. Уж сколько раз я переезжал в этой лодке к Фурдрену и ничего особенного не замечал. Но на этот раз тут был какой-то музыкант с гитарою или арфою и во время переправы он пел следующее: «*Esperance! Confiance! Le refrain du pelerin!*» [Надежда! Вера! Припев странника! — *Фр.*] Эти слова меня поразили. Они решительно были направлены ко мне. В эту минуту я был действительно пилигрим, палом-

ник, шествовавший с верою и надеждою к святым местам, на новый подвиг в монастырь испупителя в *Сен-Трон*²⁴⁰.

Добрый Фурдрен, прощаясь со мною, дрослезился. Он подозвал ту маленькую девочку, которая так на него была похожа, и сказал ей: «Поцелуйся с ним, душенька! Ты долго, долго его не увидишь!» И теперь еще слезы выступают на глазах, когда вспомню об этом.

И этих добрых людей я покинул для того, чтобы примкнуть к стану их заклятых врагов! Странное психо- и физиологическое явление!

Я немедленно приступлю к объяснению этого странного переворота в моей жизни. А покамест выписываю слова Огарева из предисловия к «Русской потаенной литературе»: «Каким образом автор этой поэмы (Торжество смерти) погиб хуже всех смертей, постигших русских поэтов, погиб равно для науки и для жизни, погиб заживо, одевшись в рясу иезуита и отстаивая дело мертвое и враждебное всякой общественной свободе и здравому смыслу?.. Это остается тайной; тем не менее мы со скорбью смотрим на смрадную могилу, в которой он преступно похоронил себя. Воскреснет ли он в живое время русской жизни? Как знать? Если внешнее чудо могло столкнуть его живого в гроб, то внутренняя сила может и вырвать из него. Покаяние не только христианская мысль, но необходимость для всего человечески-искреннего»²⁴⁶.

За эти последние слова душевно благодарю Огарева. Il n'a pas désespéré de la patrie [Он не разуверился в своей родине.— *Фр.*].

Дублин, 22 июня н. ст. 1871

[...] Ради разнообразия прерываю на минуту хронологический порядок моей летописи, и так как ты не раз уже просил меня сообщить тебе нечто из монашеской жизни, нечто в романтически-мистическом роде, то вот тебе монашеская *легенда*. Признаюсь, она немножко *скабрэзна*; но ведь это не для публики, а для твоего частного потребления. Сверх того, я уверен, что ваша цензура так целомудренна, что никогда подобных вещей не пропускает. [...]

Легенда о монахе и бесе (из Четъи-Минеи)

Tout se sait (M-me Mentenon²⁴⁷).

[Все узнается (Мадам Ментенон).— *Фр.*]

Nihil est opertum, quod non revelabitur, et occultum, quod non sciatur. (Evang. Matth. Cap. 10.26).

[Нет ничего скрытого, что не раскроется, нет тайного, что не узнают (Еванг. Матф. Гл. 10. 26).

— *Лат.*].

В некотором царстве, в некотором государстве, в те времена, когда везде уже развелись железные дороги для вящего блага христианского мира, для распространения истинной веры и торговли, в лето от Р. Х. 185... однажды под вечер большой поезд остановился на главной станции железной дороги в Л. Высыпала бездна наро-

да; между прочим, из одной кареты вышло довольно замечательное лицо: высокий, тучный, широкоплечий, брюхастый, краснощекий монах-миссионер, больше похожий на екатерининского гренадера, чем на умерщвленного плотию инока. Он был в партикулярном светском платье, т. е., говоря попросту, в демократическом сюртуке. Вышедши на платформу, он как-то осторожно повел глазами кругом и, заметив вдалеке извозчика, подозвал его к себе изгибом указательного перста. Извозчик тотчас подбежал: «Куда прикажете?»— «Послушай-ка, братец,— сказал миссионер, нагнувшись и говоря почти на ухо и вполголоса,— не можешь ли ты свезти меня к хорошенькой девушке... знаешь, к этакой красотке, какой лучше в городе нет?» Извозчик смысленно кивнул головою и, лукаво прищуря правый глаз, отвечал: «Ну уж свезти-то, барин, свезем, да еще к такой знатной, что только бароны да графы туда ходят... а на водку-то, чай, прибавка будет?»— «Разумеется, что будет: ты об этом уж не беспокойся; итак, дело слажено: подавай же карету».

Карета подъехала, и миссионер увесисто бухнул в нее, так что едва рессоры не лопнули под бременем его громадной особы. «Ну, теперь погоняй по всем по трем». Повезли его разными вавилонскими улицами и переулками и, наконец, в сумерки остановились в довольно уединенной улице перед небольшим домиком с зелеными ставнями... Таинственно постучались медным кольцом у зеленой двери.

Молчит неверный часовой,
Опущен тихо мост подъемный,
Врата открыты в тьме ночной
Рукой предательства наемной²⁴⁸.

Святого отца ввели в очень хорошо убранную комнату: тут был какой-то тяжелый запах муска, какое-то удушающее благовоение — обыкновенная примета известных домов. На круглом столе лампа под матовым колпаком разливала какой-то волшебный и соблазнительный полусвет. На красной софе сидела в пух разряженная и немножко подкрашенная красотка. Миссионер раскланялся по-кавалергардски и начал подвозить разные туры на колесах... Но к чему тут излишнее красноречие! Да и Крылов советует, «чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить»²⁴⁹. Итак, он, не теряя времени, подсел к этой деве и, как муж духовный и истый артист, сразу предался эстетическому созерцанию пластической красоты. Разрушая постепенно одну за другою все ревнивые препоны, он зорким оком художника все исследовал, все осмотрел, все ощупал, все облобызал, но — греха не учинил!

*Все испытал — и ничему не покорился!*²⁵⁰ Как это умно и деликатно! Таким образом он ускользнул от *цензуры* церковной; перед церковью он чист; и бесу угодил, и бога не раздражил! Вот что значит быть умным человеком!

Насладившись вполне этим невинным созерцанием изящного, он встал, напечатлел последний поцелуй на полинявших устах красавицы и, как порядочный человек, честно и благородно расплатился с нею за ее пассивные труды. Вышел на крыльцо, как будто ни в чем

не бывало, с важною осанкою, и величаво уселся в карете, вынул четки и, перебирая их, начал размышлять о суете мира сего, *яко преходит мир и вожделение его*²⁵¹, и приготовляться к завтрашней проповеди.

А завтра-то было воскресенье. Погода, как нарочно, стояла прекрасная. Церковь битком набита. Женский пол, как обыкновенно, преобладал. Тут были и дамы в персидских шالях, шелках и бархатах, и бедные девушки в скромных ситцевых платьицах. Но и мужского пола было довольно: были господа в сюртуках из тонкого сукна и некоторые *джентльмены* в изношенных сермягах; тут был весь евангельский люд; толпа бродяг, нищих, слепых, хромых, немых, чающих движения воды²⁵²... В безмолвном ожидании все глаза устремлены на кафедру... Скоро ли появится — этот знаменитый оратор? Громкая молва ему предшествовала. «От его громоносного красноречия, — говорила молва, — окаянные грешники трепетали как осиновый лист, а чувствительные женщины истекли слезами». Вот он! вот он, наш старый знакомый! Подкрепившись предварительно бутылкою вина для большего *куража*, он вышел на сцену в орденской одежде, весь блестящий здравием и силою, *яко исполни тещи путь*. С самоуверенным видом он медленно обзрел все собрание, как генерал осматривает поле накануне битвы, и, казалось, был доволен своим обзором. Мы вовсе не намерены выписывать целиком эту проповедь, сохранившуюся в летописях монастыря. По нашим грешным понятиям, из всех скучных и бесполезных вещей самая скучная и бесполезная есть — проповедь. Довольно сказать, что красноречивое слово этого благочестивого миссионера было направлено против *ужасного* греха плоти, греха сластолюбия. «Ах! возлюбленные братья! Какой это ужасный грех! От него все бедствия на свете произошли. От него древний мир затоплен был волнами потопа; от него Содом и Гоморра сожжены огнем небесным; от него погибли Вавилон и Ниневия²⁵³... Но что тут говорить о временах глубокой древности? Даже ныне, в нашем христианском мире — я с горестью должен сказать — ежедневно сотни, тысячи, миллионы душ низвергаются в геенну огненную... Ах! христиане! Как мы легкомысленны! как беспечны! Мы рвемся и пляшем на краю пламенной бездны. Я обращаюсь особенно к вам, молодые люди, молодые девицы! Вы знаете, что я говорю правду без всякого лицепрятия, говорю прямо, без обиняков. Слушайте ж, молодые девушки: не правда ли, что вы иногда это считаете милою шалостью, легким отпускным грехом — украдкою дать поцелуй молодому человеку? Слушайте ж меня теперь: я торжественно объявляю вам именем бога и со всем авторитетом моего священного сана: этот поцелуй вовсе не шалость, не легкий отпускной грех — нет! Это *смертный* грех первой величины: за этот один поцелуй вы будете повергнуты в пламя геенны на вечные веки веков. Да что я говорю о поцелуе? Иногда одного взгляда достаточно, чтоб навеки погубить бессмертную душу, по словам св. писания: *аще воззрит на жену, вожделея ее*²⁵⁴... Ах, какое ослепление! За одну минуту чувственного наслаждения потерять бесконечное блаженство райа! за одну минуту этого

скотского наслаждения подвергнуться бесконечным мукам в геенне огненной на сколько времени, вы думаете? на несколько столетий? тысячелетий? Нет! на бесконечные миллионы миллионов лет — пока бог и вечность существуют! О, легкомыслие! о, безумие! я скажу теперь словами Иеремии пророка: «Кто даст очам моим потоки слез, да сяду и восплачусь о погибели дочерей моего народа!»²⁵⁵

Проповедник был, видимо, тронут — слезы умиления блистали в глазах его — он превзошел самого себя...

«Ох! Ах! — раздавалось во всех углах церкви, — вот истинно святой муж! вот уж он-то прямо пойдет в рай. А с нами-то грешными что будет! Где же нам, бедным мирянам, спастись среди толиких мирских искушений!»

Вот тут, кажись бы, и конец — а нет! В монашеской легенде без беса обойтись нельзя. В монастырской летописи находится следующая приписка другою рукою:

Некий благочестивый пустынный, именем Пафнутий, имевший откровение свыше, видел собственными — не плотскими, а духовными глазами — следующее видение и сообщил его на духу игумену Иосифану.

Во все время проповеди под самую кафедру сидел бес в полном мундире, т. е. с рогами и рожею обезьяны и с козлиными ногами. В самых патетических местах проповеди он выглядывал из-за кафедры, строил рожи почтенным слушателям, кривлялся и безобразно хихикал...

Но, разумеется, миряне, не озаренные свыше, ничего не видали...

Н р а в о у ч е н и е

Нет ничего отвратительнее голой истины. Никто ее терпеть не может. Вот поэтому-то мы стараемся ее прикрыть, приодеть, подкрасить, подрумянить, замаскировать, сколько возможно. Подавай нам вымысел, сказки! А попробуй-ка сказать правду-матку, расскажи вещи, как они в самом деле были: фу! как это гадко! как неприлично! как противно христианскому целомудрию!

L'homme est de feu pour le mensonge,

Il est de glace aux vérités.

[Человек страстно лжет.

Но, говоря правду, остается бесстрастным.— *Фр.*]

Окаянный нигилист

Жорж Занд.— Мишле²⁵⁶.— Religion saintsimonienne

Tous les chemins conduisent à Rome.

[Все дороги ведут в Рим.— *Фр.*]

(Старая поговорка)

Voilà la femme évangélique! [Вот истинно евангельская женщина! — *Фр.*] — сказал мне молодой итальянец, указывая на порт-

рет Жорж Занда в «Revue des deux mondes»²⁵⁷. Это было в Цюрихском музее. Этот музей был нечто вроде публичной библиотеки, где получались все газеты и журналы обоих полушарий и все насколько-нибудь замечательные новые книги. За 5 франков в месяц можно было вдоволь наслаждаться всеми этими сокровищами. Но так как там всегда было много людей читающих, делающих разные справки и выписки, то уставом этого заведения было предписано строгое молчание. По случаю Жорж Занда мы как-то разговорились, сначала шепотом, а потом вполголоса, а потом уж и очень громко. Почтенный пожилых лет господин подошел к нам и очень учтиво заметил, что здесь разговаривать не позволено. Я нимало этим не обиделся: у меня настолько еще было здравого смысла, чтобы найти это очень естественным; но не так смотрел на вещи мой собеседник: он тут не сказал ни слова, мы оба замолкли: но на другое утро прихожу в кофейню и слышу новость — что мой итальянец послал картель, т. е. вызов на дуэль этому почтенному господину, одному из значительных граждан Цюриха. Можно ли вообразить себе что-нибудь этого глупее? Разумеется, из этого ничего не вышло, а только весь город смеялся над задорным юношей. Но не грустно ли думать, что доселе эти взбалмошные понятия господствуют на материке Европы? Дуэль, по моему мнению, есть чисто средневековое феодальное учреждение: два благородных рыцаря поссорились между собою: нельзя же им идти тягаться перед судом; ведь судья ниже их, он простолудин, он vilain, а они благородные рыцари; да сверх того они, как военные люди, гражданским законам не подлежат и в грош их не ставят, а все дела между собою решают мечом. К этому присоединилось еще и суеверие. Не забудь, что первоначально поединок то же, что и суд божий. «Мы вот этак подеремся, а потом уж сам бог решит, кто прав, кто виноват». *Пуля виноватого найдет*, как теперь говорят наши солдаты. Итак, в последней половине 19-го столетия мы все еще свято храним этот остаток безурядицы и изуверства средних веков... Но это не сказка, а только присказка, а сказка будет впереди. Это было в 1838 г. в Цюрихе, а Жорж Занд развилась у меня в Льеже в 1840. Итак, да здравствует 1840-й год!

Жорж Занд! Какое имя! Какие звуки! Они затрагивают в душе моей давно отзвучавшую, онемевшую струну, но от их легкого эфирного прикосновения она снова трепещет и симпатично отзывается.

Святые отшельники Фиваиды²⁵⁸ с воображением, разгоряченным уединением и молитвою, часто видели наяву спасителя, богоматерь, ангелов и нечистых духов: вот так и я в моей келье у мадам Жоарис, глядя в окно, осененное густыми деревьями, часто воображал себе, что вижу Жорж Занд: вот она проходит мимо окна в мужском гватее, в соломенной шляпе с широкими полями... Сколько раз я говорил самому себе: «Дай пойду к ней в Nogent sur Aube²⁵⁹; попрошу ее взять меня себе в прислуги, как она взяла того каторжника»... *Voilà de sublimes folies!* [Вот возвышенные фантазии! — *Фр.*] Но из этих-то именно глупостей и составляется истая, неподдельная шекспировская поэзия жизни!

Странно сказать — не верится, а все ж таки это сушая правда, что Жорж Занд имела решительное влияние на мой переход в католичество. Это требует объяснения.

Французская литература, несмотря на ее атеистическое направление, все еще сохраняет какой-то осадок или закваску католического мистицизма; от этого французы доселе никак отделаться не могут. Передовые мыслители тридцатых годов были: *Пьер Леру*²⁶⁰ (Pierre Leroux), *Мишле* (Michelet) и Ламенне. Несмотря на их новые идеи, у них все еще проглядывает мистицизм. Они избрали своею музою — Жорж Занд; ее тогдашние романы были вдохновенные поэмы, священные гимны, в коих она воспевала пришествие нового откровения. Там у ней по лесным полянам и скалам гуляют почтенные пустынноики с длинными белоснежными бородами, являются духи в образе прелестных юношей, слышатся голоса из другого мира (как, напр., в «*Spiridion*» [*«Спиридион» — фр.*] или «*Les sept cordes de la lyre*» [*«Семь струн лиры» — фр.*]), а все это с той целью, чтобы низвести религию на степень прелестной мифологии (как это делал Мейербер в опере: *Robert de Diable*²⁶¹) и вместе с тем доказать, что лучшие стороны религии: аскетизм, самоотвержение, любовь к ближнему — могут развиваться независимо от нее из чистого разума с помощью стоической философии. Возьмем, например, *Мопра*²⁶² (Mauprat). Сцена во Франции накануне революции в 1789. Главное лицо — простой мужик, грамотный и смысленный: он ни во что не верит, но ему удалось случайно прочесть *Ручник* (Enetiridion) Эпиктета²⁶³, и из этого стоического философа он составил себе правила самого возвышенного аскетизма. Он живет в лесу в каком-то древесном дупле, питается кореньями и отвергает хлеб, потому что, говорит он, от хлеба все зло исходит: из-за куска хлеба люди продают себя. Пробил роковой час — настала революция: он выходит из своей пустыни и, как вдохновенный пророк, публично перед судом обличает пороки правительствующих лиц, дворянства и духовенства. Его суровая аскетическая фигура очень рельефно выдается в сравнении с этими негодными монахами (траппистами²⁶⁴), интригующими заодно с епископом, чтобы как-нибудь забрать себе в руки имение фамилии *Мопра*. Тут я ужасно сошелся с Жорж Зандом: я узнал самого себя. Лишь только я выучился по-латыни в Киевской гимназии, я нашел в библиотеке моего деда Симоновского *Selectae Historiae* [*«Избранные истории» — лат.*], т. е. собрание анекдотов и изречений стоических философов. Я прочел ее от доски до доски, усвоил ее себе и из нее составил особенное нравственное уложение (code de morale) без малейшей связи с христианскою верою. Я сделался в 16 лет стоическим философом. Еще хуже Онегина, я из Энеиды удержал только один стих: «*Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!*»²⁶⁵ Потом я приобрел стоическое правило *sustine et abstine*, терпи и воздерживайся, и отрывок из греческого оракула: «Терпи, лев, нестерпимое».

Я нарочно выписываю эти слова: они имели важное значение в моей жизни, они руководили мною и подкрепляли меня в трудных обстоятельствах. А тогдашнее мое отношение к христианству можно

видеть из следующих слов, записанных в моем дневнике в Новомиргороде: «Придет время, когда станут рыться в развалинах какой-нибудь христианской церкви и, найдя случайно крест, станут спрашивать с недоумением: что это значит? к чему служило это оружие?» Не правда ли, довольно смело для семнадцатилетнего мальчика.

Как у того французского мужика, у меня также была своя пустыня. В Липовце, где началось мое воспитание по Руссо, мы стояли на квартире в доме какого-то польского помещика; там был довольно обширный сад: где-то в самой чаще деревьев я прочистил себе уголок в виде беседки, поставил себе там скамеечку и вывесил над нею на большом листе белой бумаги крупными буквами надпись: «*Убежище мудрого*». (Как это пахнет Руссо! *La retraite du sage!*) Туда я приходил читать Руссо и философствовать на просторе. Иногда на заре там пел соловей на веточке у самого входа беседки: он был такой смиренный, что я подходил близко к нему и почти смотрел в его зажмуренные глаза во время его пения. Как это очаровательно!

Но на счастье срочно всякую надежду кинь:
К розе, как нарочно, привилась польнь.

В одно прекрасное майское утро, когда воздух был наполнен благоуханием цветов, а мой голосистый соловей пел еще голосистее и разливнее, подхожу к беседке, гляжу — о, ужас! — моя святыня оквернена! Какой-то мошенник — с позволения сказать — насрал* целую кучу по самой середине беседки. После этого разочарования я перестал посещать *Убежище мудрого*.

Хотелось бы мне, чтобы ты как-нибудь прочел *Спиридиона* (Spiridion) Жорж Занда: там ты найдешь историю моей монастырской жизни: я тогда еще ее предчувствовал. Некоторые книги лучше всякой ворожеи предвещают нам будущее. Но об этом после.

Мишле (Michelet)

Решительно участь жизни моей зависела от последней книжки, вышедшей из парижских тисков. Вышло: *Luther par Michelet* [«Лютер» Мишле — *фр.*] ²⁶⁶. С восторженным красноречием автор живыми красками изображает возвышенный нравственный характер великого реформатора; но что всего более меня поразило, это было, что Лютер в библии нашел новую очищенную религию ²⁶⁷. Вот этого мне и надо! этого я давно ищу! Ну что ж? Если Лютер мог найти чистую веру в библии, то почему ж и мне не попытаться? Но я не люблю делать вещи вполсилы: ты мне подавай их целиком! Уж коли читать библию, то надо ее читать в еврейском подлиннике; а библия в переводе это — десятая вода на киселе. Сказано — сделано. Отправился к букинисту, нашел библию себе по карману, т. е. просто еврейский текст без

* Это выражение в лучшем классическом вкусе: оно часто встречается у Аристофана и пр.

точек и без малейшего объяснения. Я принялся за работу с помощью английского перевода (Authorised version)²⁶⁸. Я предварительно ничего не знал, кроме азбуки, да и то пополам с грехом. Это, конечно, не самая легкая, но зато очень прочная метода. Когда впоследствии я добыл себе грамматику и словарь, то половина дела была уже сделана: я сам по догадкам составил себе и *грамматику и словарь*. Нет ничего пагубнее так называемых легких методов... *Methode facile pour apprendre la langue française en douze leçons!!!* [Легкий способ усвоить французский язык за двенадцать уроков!— *Фр.*] О приобретении знания можно то же сказать, что о приобретении богатства: одно только то достояние прочно, которое приобретено личным, честным, тяжелым трудом. По новой системе *Тиндаля*, жар есть не что иное, как *движение*²⁶⁹; вот так же можно сказать, что *знание* и *богатство* есть не что иное, как — *труд*. Я не на шутку взялся за библейское дело. Начал вставать в пятом или шестом часу и работал до 8-го часу: тут я с особенным удовольствием зажигал спиртовую лампу и варил себе кофе и с хлебом и маслом наслаждался своим завтраком, как самый утонченный эпикуреец. Потом, как известно, я отправлялся в свой *департамент*, т. е. к капитану. Вот так-то я был завлечен в богословскую сферу — и кем же?— *Мишле!*

Religion Saintsimonienne

[Религия сенсимонизма — *фр.*]

В библиотеке капитана было три тома *Religion de Saint Simon*²⁷⁰: я, как жадный волк, напал на эту добычу, унес ее к себе домой и проглотил все дочиста. Тут опять видно, что французы никак не могут отделаться от католицизма. Что такое сен-симонизм? Та же католическая церковь, только в новом виде. Верховный отец (*le père*) — тот же непогрешимый папа, безотчетно управляющий душами и телами членов церкви: в руках его все сокровища земли: он распределяет работы и занятия, смотря по наклонностям и способностям каждого, и раздает награды, соображаясь с нуждами и заслугами каждого. Тут опять видна та неизлечимая любовь к крайней централизации и деспотизму, какую страждут французы.

В этой книге с особенною похвалою отзывались о сочинениях графа Иосифа де Местра, особенно о его *Soirées de St.-Pétersbourg* [«Петербургские вечера» — *фр.*], где он будто бы предсказывает появление новой религии, долженствующей пополнить и усовершенствовать старую. Тут логически следовало, что мне непременно надобно прочитать эту книгу. Пошел на толкучий, нашел *Soirées de St.-Pétersbourg* и начал читать: вижу — добродетельный, благочестиво-напыщенный с тремя восклицаниями!!! слог. Мне стало стыдно. «Неужели, — думал я, — я так низко упал, что читаю подобные вещи?» Но что ж делать? Ведь надо же следовать внушениям моего евангелия, т. е. *Religion de St.-Simon*. Как бишь это говорит пословица?— *сживется — слюбится*. Вот так и я сжился и слюбился с Иосифом де Местром, привык к его слогу и идеям. *Шербюль*²⁷¹ (*Cherbulliez*)

очень хорошо сказал: «Заприте человека одного в комнате на неделю или на две и заставьте его несколько раз в день повторять: «Бог есть бог, а Магомет его пророк!» В конце концов он не в шутку поверит в Магомета!»

А вот теперь мое мнение о графе де Местре: он наглый и бессовестный фанатик, прикрывающий политические виды мантией религии, заклятый враг всякой свободы, ярый поборник самого крайнего деспотизма, направляемого свыше непогрешимым папою... А главным исполнителем непреложных велений и верховным жрецом этого государства-церкви у него будет — кто вы думаете? — *палач!*²⁷²

Не понимаю, как могли его провозгласить гениальным писателем. Слог его тяжелый и напыщенный, он бросает пыль в глаза своею мишурною ученостью или начитанностью. Это просто ослепление, дух партии. Вот этот-то самый граф де Местр обратил в католичество нашу Свечину, столь известную в Париже и почти причисленную к лику святых *m-me Svétchine*²⁷³. Я был у нее в 1844. Она приняла меня *avec toute la hauteur d'une grande dame* [с высокомерием великосветской дамы — *фр.*]. Да и правду сказать, я дал ужасного промаху. Я вовсе не знал ее сношений с Лакордером²⁷⁴, не знал, что она была его покровительницею, обожательницею, матерью (*mère de Lacordaire*). Я пришел к ней прямо из *Nôtre-Dame*²⁷⁵ после проповеди, да так спроста и брякнул, что, по моему мнению, проповедь Лакордера сбивается больше на лихую журнальную статью (*magnifique article de journal*), чем на «христианское слово». А перед этим я был у княгини Любомирской, которая приняла меня очень просто, мило, радушно и откровенно мне призналась, что ездит слушать Лакордера потому, что он в моде, а для себя предпочитает проповедь приходского священника. Вот я и это замечание повторил перед Свечиной. Могло ли что-либо быть глупее? Она непременно должна была принять меня за ужасного невежду. Мне как-то не везет с этими аристократками...

А о Лакордере мое мнение осталось тем же. Чтобы не шутя, серьезно приняться доказывать совершенное согласие науки с религиею (*harmonie de la science et de la révélation*) [слияние науки и откровения — *фр.*] — для этого надобно быть просто фокусником, каким Лакордер действительно и был. Вообще я терпеть не могу так называемых *ложных родов* (*faux genres*) в литературе: к этим ложным родам я причисляю: дидактическую поэзию и проповеди Лакордера, Гиасинта, Феликса²⁷⁶ и *tutti quanti* [все прочие — *ит.*] — а в заключение скажу, что истинно образцовыми проповедями я считаю — *Беседы Иоанна Златоуста*²⁷⁷. Следовательно, тут вся Россия будет на моей стороне.

Дублин. 13 августа н. ст. 1871

Теперь какое-то облако грусти нашло на меня — может быть, от того, что мне теперь приходится решительно начать описание важнейшей эпохи моей жизни. Я неохотно к этому приступаю. Я откладывал это насколько мог. Это некоторого рода духовное завещание, — это «*Apologia pro vita mea*» [«Апология моей жизни» — *лат.*], моя

защита перед Россией, особенно перед новым поколением. Какая ни будет участь этих записок, но все-таки мне кажется, что они могли бы быть предметом любопытного психологического исследования. Они представляют явление самостоятельного *русского* развития, я говорю *русского*, потому что подобное развитие невозможно было бы ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии, где все как-то замкнуто в одной рутинной колее. Какое необходимое сцепление микроскопических нравственных и физиологических атомов произвело сплошную цепь моей жизни — это достойный предмет для философских исследований. Я называю это: *Apologia pro vita mea*. Да! потому что мне непременно надобно оправдаться перед Россией — но в чем же мне оправдываться? Мне кажется, нет ничего позорного в том, что я носил арлекинские штаны или продавал ваксу на улице: тут нет ничего противного человеческому достоинству... Но — добровольно пожертвовать всеми дарами ума и сердца, но — отречься от престола разума и закабалить себя в неволю невежественным и наглым фанатикам и быть в продолжение 20 лет слепым орудием их мелкого честолюбия и ненасытного корыстолюбия — вот это такое пятно, какого ничем смыть нельзя.

Я нахожусь в положении мнимо умершего. Он лежит, распростертый на одре, без малейшего признака жизни. Вокруг него суетятся и хлопочут — распоряжаются его имуществом, толкуют вкось и вкривь о его поступках — входят в самые мелкие подробности его похорон: с необыкновенно тонким чутьем он все это слышит — ни одно слово не ускользает от него. Хотелось бы ему *протестовать*, дать хоть какой-нибудь знак жизни: мигнуть глазами — пошевелить пальцем... нет! невозможно! И тут охватывает его ужасная мысль, что ему придется быть похороненным заживо!

Вот так я связан по рукам и по ногам железною цепью необходимости и никакого знака жизни мне подать невозможно. Все мои мысли, все сочувствия на *противоположном* берегу с передовыми людьми обеих полушарий; а в действительной жизни я остаюсь по *сю сторону* с живым сознанием, что принадлежу к презренной и ненавистной касте тех людей, коих еще древние римляне называли *inimici generis humani* [враги рода человеческого — *лат.*], и что *le caractère du sacerdoce est ineffaçable* [черты, свойственные духовенству, неистребимы — *фр.*], т. е. это каторжное клеймо остается неизгладимым на вечные веки веков.

1840-й год

Король Прусский Фридрих-Вильгельм III²⁷⁸, отец отечества, *Vater des Vaterlands*, в черном парике, с нарумяненными щеками сидел в боковой ложе берлинской опернгауза, и внимательный лорнет его был направлен на ноги Тальони²⁷⁹ — вдруг с каким-то судорожным движением он опустил лорнет, — какое-то облако скопилось на его челе — даже сквозь румяны можно было видеть, что он побледнел. Что же такое случилось? Он припомнил, что через несколько дней настанет 1840-й год... было ли какое предсказание или просто темное

предчувствие, но он ужасно боялся этого 40-го года — и недаром. Он в этом году умер.

Но не один: король прусский боялся 40-го года; многие, кроме него, ожидали чего-то необычайного, какого-то перелома. Откуда же это предчувствие? Было ли ему какое-либо разумное основание? Мне кажется, вот оно.

В 40-м году совершилось десятилетие после Июльской революции. Она была громадным событием, не сама по себе, а по надеждам, ею возбужденным. Чего тут не обещали! Совершенную перестройку государства и общества на новых основах; новую великолепную религию с ее доблестными героями и мучениками, долженствовавшую занять место дряхлого, отжившего свой век католицизма. Анфантен, Ламенне, Пьер Леру, Жорж Занд, Маццини — чего не можно было ожидать от этих вдохновенных апостолов и пророков? Сам Беранже, поднявшись на высоту оды, воспевал новую религию в этих бессмертных строфах:

Combien de temps une pensée,
Vierge obscure, attend son époux:
Les sots la traitent d'insensée,
Le sage lui dit: Cachez vous!
Mais, la rencontrant loin du monde,
Un fou qui croit au lendemain
L' épouse, elle devient féconde
Pour le bonheur du genre humain.
Qui découvrit un nouveau monde
Un fou qu'on vaillant en tout lieu
Sur la croix, que son sang inonde,
Un fou qui meurt nous légue un dieu²⁸⁰.

В конце тридцатых годов я тщательно следил за французской литературой; читал все, что печаталось в Париже: историю, философию, романы, поэмы: везде звучала одна струна — какая-то усталость, разочарование, просто отчаяние. Все эти *безумцы*, веровавшие в *завтра*, ужасно как отрезвились. Все светлые надежды, все блистательные обещания — все это развеялось, как дым: жизнь вошла в старую прозанческую колею. «Нечего ожидать от человечества!» — повторяли печальные голоса. Но люди с воображением, слабые и чувствительные сердца, однажды вовлеченные в атмосферу мистицизма, нелегко из нее выходят. Когда здание, воздвигнутое их фантазией, обрушилось над их головою, они вместо того, чтобы выбежать на свежий воздух искать счастья в кипучей внешней деятельности, как-то лениво ищут приюта между развалинами, там, где-нибудь в уголке под уцелевшим готическим сводом с древнею резьбою, где бы можно им сидеть да мечтать вместо того, чтобы действовать и созидать.

Дублин. 10 ноября 1871

[...] Ты напрасно воображаешь, что я откладываю (отлыниваюсь) описание моего перехода в католицизм. Напротив, я иду прямо к це-

ли: Я пишу, как прагматический историк; теперь уже начинается история не действий, а идей: мне непременно должно показать их постепенное законное развитие. Это те же геологические слои: ты знаешь, как медленно они слагаются. Я нарочно купил Spiridion Жорж Занда для того, чтоб освежить свои воспоминания; читаю эти упоительные страницы и вижу себя как в зеркале, точь-в-точь таким, каким я был в 1840. Я пишу без малейшего усилия, а просто как мысли приходят мне в голову: они растут естественно, как трава растет. Иногда я забегаю вперед, но в этом я пользуюсь поэтической вольностью: я пою, как Гетева птичка

Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnt.²⁸¹

Нельзя же пенять меня за то, что душа невольно стремится к тем местам и сценам, где хоть на минуту блеснул мне луч далекого блаженства! [...]

[...] Какая славная колдунья и ворожея эта Жорж Занд! Могу сказать, что важнейшая эпоха моей жизни сложилась из страниц Спиридиона точно так, как первые годы моей юности сложились из стихов Шиллера. [...]

[...] Подробности моего обращения придут сами собою на своем месте. Tout est pour ceux qui savent attendre [Все для тех, кто умеет ждать. — Фр.], сказал Талейран²⁸². [...]

Льеж (1838—1840)

J'ai fait mon pacte définitif avec le
diable, et le diable — c'est la pensée.
[Я подписал свой окончательный договор с
дьяволом, и этот дьявол — мысль. — Фр.]

Письмо к графу Строганову²⁸³

Я пробыл всего два года в Льеже, но в этих двух годах стеснились целые столетия мысли. Я пришел в Льеж с запасом учения Бернацкого, потом приобрел коммунизм Бабефа, религию Сен-Симона, систему Фурье²⁸⁴ и пр. Я рожден быть бродягою. Для того чтобы мыслить, мне непременно надо быть в движении. Я уверен, что мысль есть не что иное, как электричество, или жар, или что-нибудь подобное, а жар необходимо предполагает движение (смотри Тиндаля). Я в полном смысле был перипатетическим, т. е. прогуливающимся философом²⁸⁵. Мои занятия у капитана не продолжались более 2-го или много 3-го часа пп., а после этого я был вольный казак — иди куда хочешь. Вот я так и бродил в долгий летний день, куда глаза глядят: вдоль прекрасной набережной, quai de la Sauvetière, или за городом между работами новой железной дороги, по лугам и пашням, по горам и по долинам, по рощам и лесам. Я бродил, бродил, а между тем мысль работала, работала: я устраивал в голове своей общину (commune), фаланстер²⁸⁶. «Какое это блаженство! — думал я, — тогда можно будет странствовать по целому свету: куда ни придешь,

езде свои, везде готов и стол и дом²⁸⁷, везде идут навстречу наши братья и — милые женщины»... — Да! конечно, ведь *compagnauté de femmes* [обобществление женщин — *фр.*] входило в учение Бернацкого. — Но эти розовые мечты как-то мало-помалу стирались. Одиному бедняку почти в рубищах как-то не клеится думать о женщинах. Женщины премилые существа, но мысль о них как-то невольно сливается с понятием о роскоши: им нужны свежие цветы, шелка да бархаты, алмазы да жемчуга, а *любовь в хижине* есть не что иное, как запоздалая мечта прошлого столетия. Да и вообще женщины не очень жалуют мечтателей-поэтов: они предпочитают им практических положительных людей с большим физическим капиталом, а нашему брату-философу придется услышать то же, что венецианка сказала Жан-Жаку Руссо: «*Zanetto, lascia de donne e studia la matematica*».²⁸⁸ Итак, женщины сошли со сцены — и в воображении моем осталась одна мужская казарма, а это уже, как видите, очень близко подходит к монашеской обители. Мне кажется, что все обители, начиная с Пифагора до наших времен, были основаны добродушными, но ленивыми философами, которым не хотелось барахтаться в общественной грязи для преобразования человечества: они выбрали то, что было гораздо легче: собравши кучку единомышленных людей, *аристократически* брезгая светом, они удалились в какой-нибудь загородный дом или подальше в пустыню, для того чтобы там жить во взаимном согласии и любви, подчиняясь ими же самими добровольно избранным законам и начальникам. Это так называемый идеал христианской республики: но это вовсе ничего не доказывает и нимало не разрешает задачи общественного устройства. Вот с этими-то идеями я, будучи в Цюрихе, предложил было нескольким русским ехать в Америку и там основать *образцовую* русскую общину и издавать при ней русский журнал²⁸⁹. Для этого предприятия у нас кое-чего недоставало, а именно: сметливости, предприимчивости и *капитала!* Excusez du peu! [Не взыщите! — *Фр.*] Вот так-то я бродил и мечтал в долгие летние дни; ну а как же быть зимою? По приобретенным мною французским и итальянским привычкам я обыкновенно проводил вечера в театре или кофейне, т. е. пока были деньги в кармане; а теперь без копейки куда мне деться? В Льеже много церквей и почти во всякой из них была вечерняя служба, так называемая *salut*, иногда с очень хорошею музыкою. Под этими сводами я искал убежища и приюта от нечего делать. Опершись у какого-нибудь столба, я стоял и смотрел на ярко озаренный алтарь, на дым фимиама, восходящий к высокому готическому своду, с артистическим наслаждением слушал музыку и пение и думал о своем. Я так повадился ходить в церкви, что иногда, за недостатком музыки, я довольствовался однообразным распевом каноников, читавших псалтирь; это нимало не отвлекало моего внимания от моих размышлений: оно было как будто басовой аккомпанемент внутренней музыки души моей.

Прихожу однажды к Фурдрену, а тут у него и Лекуант.

— Слыхали вы новость?

— Как? что такое?

— *L'abbé Manvuisse rédemptoriste va donner des conférences*

philosophiques dans les cloîtres de st. Paul!» [Аббат Манвисс, редemptорист, прочтет лекции по философии в монастыре св. Павла!—*Фр.*]

Ну что ж! хорошо! пойдём послушаем его: посмотрим, какая это философия.

А после оказалось, что это была чисто иезуитская уловка для того, чтобы заманить молодежь: эти conférences philosophiques были просто католические проповеди.

Что нового?— спрашивали афиняне каждый день на площади: вот так и я беспрестанно жаждал нового учения, новой системы, новой веры. В каком-то глухом переулке в Льеже открылась новая церковь какой-то новой религии: мы с Лекуантом отправились отведать этой свежей истины. У полуоткрытой двери небольшого домика встретил нас какой-то полуодетый, худощавый, бледный, необыкновенно благочестивый муж; он посмотрел на нас каким-то недоверчивым взглядом и сначала как будто не хотел нас впустить.

— Да вы пришли ли с добрым намерением?— сказал он.— Вы истинно ли ищите Иисуса?

— Ну да, разумеется, мы ищем его: сделайте милость, впустите!

В небольшой комнате перед какою-нибудь дюжиною слушателей на какой-то маленькой кафедре сидел степенного вида господин в белом галстуке с книгою в руках. Он переводил Новый Завет с греческого на французский, прибавляя кое-какие замечания: все это было очень холодно и сухо. «Ну уж!— подумал я,— коли нужна религия, то подавай мне ее со всеми очарованиями искусства, с музыкою, живописью, красноречием, а от этого профессора меня мороз по коже продирает».

В Haute Rue в Льеже стояла старая кармелитская церковь²⁹⁰, со времен Наполеона превращенная в сенной магазин. Я часто мимо нее проходил. Однажды гляжу — что за чудо! Все сено вынесено, церковь выметена и очищена, куча народу работает — столяр, штукатурщики, маляры, а вот и афиша прибита на стене: 2-го августа 1840 года отцы редemptористы будут праздновать в их новой церкви причисление к лику святых (canonisation) основателя их ордена св. Альфонса де Лигвори²⁹¹. В продолжение 9-ти дней будут в этой церкви службы по утрам и вечерам с проповедью (Neuvaine) и с полным оркестром музыки.

2-го августа 1840 года в 8-м часу утра я уселся на скамье под самую кафедру. Церковь была усыпана и раздущена благоуханными цветами. Все лоснилось и блистало — все было ново как с иголки. Вдруг мерными полновесными стопами восходит на кафедру знаменитый Pègre Bernard, дюжий краснощекий мужчина лет 35-ти — герой моей легенды, но тогда он не был еще так толст. Все глаза устремились на него.

«Возлюбленные братья! Я должен вам рассказать жизнь и подвиги величайшего безумца, т. е. св. Альфонса де Лигвори. Не удивляйтесь этому выражению: в глазах света величайшим безумством является — отречься от знатного рода и богатства и посвятить себя на службу божию. Вот это именно сделал наш св. Альфонс: сын благо-

родной неаполитанской фамилии, занимавшей блистательное место в обществе, он отрекся от всех земных выгод и с рыцарским самоотвержением, повесивши свою дворянскую шпагу у статуи пресвятой девы, перешел в духовное звание».

Разумеется, все рыцарски-безумное должно было мне нравиться. И так в продолжение 9-ти дней я каждый день был в церкви поутру и ввечеру и слушал все проповеди. Главная роль в этом праздничестве предоставлена была отцу *Манвису* (Manvuisse): он был премилый, утонченно вежливый, красноречиво-увлекательный француз. Он меня окончательно победил. После этого *девятидневия* (Neuvaine) я сел и написал письмо к отцу Манвису:

«Я прошел через всевозможные философские системы: я был гегельянцем, пифагорийцем, фурьеристом, коммунистом и пр.; но после ваших проповедей я убедился в истине католической веры и прошу вас поучить меня и наставить на путь правый!» Я заключил какую-то фразу, целиком взятою из Иосифа де Местра: последнее слово было: *Altaria tua, domine virtutum!!!* [Твои алтари, о господь доблестей!!!— *Лат.*] (Три восклицания тоже из де Местра.)

Окончив и запечатав письмо, я отправился к монастырю редемптористов. Я постучался железным кольцом у зеленой двери: мне отворил — кто вы думаете? — опять тот же герой моей легенды! Он поклонился очень учтиво, но с каким-то застенчиво-недоверчивым видом. Моя борода ничего доброго не предвещала:

— Позвольте мне вас просить передать это письмо отцу Манвису.

— Его теперь нет дома: он возвратится через 10 дней; я с величайшим удовольствием доставлю ему ваше письмо.

— Покорно вас благодарю.

Дверь затворилась — я перешел за Рубикон.

Мне непременно надо сделать здесь важную оговорку. До тех пор я ни с каким католическим священником никаких сношений не имел; напротив, католики чуждались меня и смотрели на меня с ужасом и омерзением как на друга фармазонов, мытарей и грешников. Мальчишки-семинаристы хихикали надо мною, когда во время архиерейской службы я стоял, опершись о какую-нибудь колонну, и с философским равнодушием смотрел на все эти церемонии. К этой эпохе принадлежит и следующий анекдот. Иду я однажды по улице, попадается мне навстречу человек средних лет с младенцем на руках: малютка загляделся на меня как на какое диво и протянул ко мне обе ручонки. Отец с досадою ударил ребенка и сказал вслух: «*Ne le regarde pas, mon enfant! c'est un fou!!!*» [Не смотри на него, дитя мое! Это — сумасшедший!— *Фр.*] Вероятно, это был какой-нибудь добрый *bourgeois conservateur* [консервативный обыватель — *фр.*], вероятно, враг всякого *реализма*, подобно графу Толстому²⁹².

Льеж (1840)

Итак, мы остановились у зеленой двери с медным или железным кольцом монастыря редемптористов в Haute Rue в Льеже. Мой гре-

надер, взявшись доставить мое письмо к отцу Манвиссу и учтиво раскланявшись, затворил дверь, и я остался один на улице. Тут меня поразила мысль, что я сделал решительный шаг, впервые вошедши в сношения с *католическим священником*. Определенно ясного ничего не было у меня в голове: переход в католическую церковь мелькал в каком-то отдаленном тумане... «Il me faut des émotions» [Мне нужны сильные ощущения.— *Фр.*],— сказал я Фурдрену, оправдывая перед ним свой поступок. Действительно, я искал новых ощущений, новых приключений, мне надоела однообразная жизнь, да к тому же таинственный 1840-й год непременно требовал решительного перелома в моей судьбе.

Через 10 дней я пошел проведать, воротился ли отец Манвисс. Меня ввели в приемную. Отец Манвисс выбежал мне навстречу с распростертыми объятиями, с открытым лицом, с милою улыбкою. Лихой француз, да и только! Он посадил меня, обласкал меня, осыпал меня любезностями, так что я души в себе не слышал. Я для формы предложил ему несколько возражений, которые он тотчас же очень легко разрешил. Вообще, я не верю, чтобы кто-либо мог быть убежден речами, доводами: нет! каждый из нас бывает убежден или побежден своим собственным умом и сердцем, а внешнее влияние не что иное, как предлог, за который мы хватаемся, чтобы осуществить давнишнее стремление или предчувствие нашей души.

Я был в том состоянии, когда душа жаждет забыть, отвергнуть самое себя, безусловно-женственно предать себя другому, пожертвовать разумом и волею высшему закону и оставить по себе памятник «любви, себя забывшей и до конца не изменившей» (Жуковский)²⁹³. Когда отец Манвисс, взявши меня за руку, сказал мне: *Mon enfant* [мое дитя — *фр.*] — эти слова потрясли мое сердце до самых глубочайших основ его и слезы выступили на глаза... Когда я передал это ощущение Фурдрену, он тоже был тронут и сказал: «Ах как бы я хотел поговорить с отцом Манвиссом!— *mais que diront les nôtres?!*» [но что скажут наши?!— *Фр.*] — и эти слова не его только остановили.

Много ли, мало ли, долго ли, коротко ли, после нескольких свиданий я вошел в самые тесные сношения с отцом Манвиссом и обнажил пред ним всю свою совесть. Тут оказались некоторые странные и даже забавные черты. По моей русской совести, я считал величайшим своим прегрешением неисполнение моих обязанностей к правительству. «Помилуйте!— сказал о. Манвисс,— ведь это только в отношении к правительству, это ничего не значит, тут нет никакого греха». — Это почти то же, что тебе сказал о. *Отман в Сен-Троне* (*St. Trond*) и за что ты на него так рассердился: «*Un pacte fait avec Dieu détruit toutes les autres obligations*», т. е. «договор, заключенный с богом, уничтожает все прежние обязательства».

¹ Это было 30 лет назад²⁹⁴, а теперь сделалось гораздо хуже: теперь католики все и каждый считают себя вправе не повиноваться властям и законам, если они хоть на сколько-нибудь идут наперекор непогрешимому папе.

Кстати, я приведу здесь 1) *аксиому* и 2) *исторический факт*.

Аксиома. Католицизм с его новейшими развитиями и притязаниями несовместим с порядком и благосостоянием никакого благоустроенного государства (см. современную историю).

Исторический факт. Католическая церковь теперь в открытом бунте против всех предержавших властей и всего современного государственного строя (см. объявление войны в Силлабусе²⁹⁵). Какое из этих двух посылок надо вывести заключение — это я представляю на размышление государственным людям.

В разговоре с о. Манвиссом мне как-то пришлось сказать, что у моего отца было маленькое поместье (50 или 60 душ, Рязанской губернии Егорьевского уезда сельцо Навольное, Позняки тож). Духовный отец мой так и вспыхнул: «Ах! боже мой! поместье! да где же оно? да какое оно? а большие с него доходы?» Если бы я не был по уши влюблен, я бы, наверное, заметил эту черту, и она бы мне напомнила — *пововские глаза*.

Я купил себе молитвенник, la journée du chrétien [календарь христианина — *фр.*] и начал молиться. Молитва есть изливание беспредельной любви в беспредельный эфир. Вот поэтому-то старые девы вообще так набожны: им не удалось найти земного предмета, и так они вечно испаряются в голубую даль любовью к незримой, неосязаемой, вечно юной красоте. Католическое благочестие часто дышит буйным пламенем земной страсти. Молодая дева млеет от любви перед изображением пламенеющего, терниями обвитого, копьем пронзенного сердца Иисуса. «О любовь распятая! любовь, кровью истекающая! любовь, из любви умирающая!» — Св. Терезия²⁹⁶ в светлом видении видит прелестного мальчика с крыльями: он золотую стрелу с огненным острием пронзает ей сердце насквозь, и она, изнывая в неописанно сладостном мучении, восклицает: «O radecer, o morir! Одно из двух: или страдать, или умереть! Без страданья жить не хочу! Умираю любя!» Вот женщина в полном смысле слова! Итак, столетия прошли напрасно: сердце человеческое не изменилось; оно волнуемо теми же страстями и тех же богов зовет себе на помощь, и древний языческий купидон в том же костюме и с теми же стрелами является в келье кармелитской монашенки 16-го столетия.

Камердинер, друг капитана, как-то случайно зашел ко мне и с изумлением увидел на столе молитвенник: я сгорел от стыда и солгал, сказавши ему, что я этот молитвенник купил не для себя, а для одной молодой девушки — по французскому правилу: *c'est bon pour les femmes!* [Это хорошо для женщин! — *Фр.*]

Это была последняя жертва, принесенная людскому страху (*respect humain*) [страх перед людским судом — *фр.*]. Перед Фурдреном и Лекуантом я хвалился своим молитвенником и уверял их, что в нем бездна поэзии... «Конечно так, — сказал Лекуант, — но мне кажется, что человеку очень можно обойтись без этой поэзии!» — «*C'est selon*» [Смотря по обстоятельствам. — *Фр.*], — отвечал я, не зная, что сказать.

Сколько у меня было бесед или совещаний с отцом Манвиссом — ей-богу не помню — кажется, очень немного: нам не о чем было спорить, я на все был готов. Для утверждения меня в моих верованиях

он дал мне прочесть *Les conférences du Cardinal de Luzerne* [проповеди кардинала Люцерна — *фр.*], который, впрочем, был не ультрамонтан, а умеренный галликан времен реставрации²⁹⁷. Это была обыкновенная французская фразеология, нарочно к тому приноровленная, чтобы ускользнуть от истины под прикрытием напыщенных фраз.

Нам оставалось решить два вопроса: 1-й о моем вступлении в католическую церковь, 2-й о перемене образа жизни. Признаюсь, сначала мне ужасно противно было сделать публичный шаг. — «Зачем же выставлять перед толпою эти тайные сокровища души?» — «Единственные сокровища души суть дары божией благодати, — отвечал отец Манвисс, — а их-то и следует показать миру для вящей славы божией и для назидания ближнего». На это нечего было отвечать. Назначен был день. Церковь была разукрашена и раздушена цветами. Много ли, мало ли там было народу — вовсе не помню: я ничего не видел. Вероятно, там были все поклонники редемптористов. Коленопреклоненный перед алтарем на каком-то *grie-Dieu*²⁹⁸ с красною подушкою, в изношенном синем фраке, с бородою и длинными волосами, я прочел какой-то символ веры. Отец Манвисс, сидя тут же у алтаря, сказал мне коротенькую речь (*allocution*), где он сравнивал меня с св. Августином. Св. Августин тоже был профессором риторики; он много слез стоил своей матери; она уже считала его погибшим; но благое провидение привело его в город Медиолан, где проповеди св. Амвросия обратили его в истинную веру. Очевидно, что проповедник ставил себя наравне с св. Амвросием²⁹⁹. По окончании церемонии меня пригласили в приемную завтракать с отцом Манвиссом. Мы стали разговаривать о Жорж Занд. Он уверял меня, что, по последним известиям из Парижа, «*qu'elle va se convertir*» [что она скоро переменит веру — *фр.*]. (Нет! батюшка, погоди немножко: подобные люди не легко обращаются: это добро нам, простачкам.) Все это происходило очень рано поутру: я воротился домой как будто ни в чем не бывало и стал по обыкновению варить себе кофе на спиртовой лампе; но сквозь открытое окно слышу, что моя хозяйка старушка *me-me Joarisse* разговаривает с сыном или кем-то другим: «Вишь, какая новость! а мы доселе не знали, что он не католик: слава богу!»

На другой день прихожу к Фурдрену и Лекуанту — моя тайна уже всем известна. Редемптористы поспешили напечатать подробное описание церемонии в католическом органе «*Journal de Kersten*» с разными прибаутками и прикрасами, так что из меня сделали очень важное лицо. Это ужасно было досадно франмасонам, потому что они имели обо мне очень высокое понятие. Но дружба моя с Фурдреном и Лекуантом нимало от этого не потерпела.

Оставалось теперь разрешить второй вопрос — о перемене образа жизни. У меня было страстное желание удалиться от света. Отец Манвисс при этом держался совершенно беспристрастно и нимало не хвалил своего прихода.

— Вы любите заниматься науками: вот вам ученый орден — *Иезуиты*³⁰⁰. Хотите, я вам дам письмо к их провинциалу?³⁰¹

— Нет! нет! — отвечал я.

Даже самое имя иезуитов было мне противно, да притом и пришла в голову мысль: что как в России узнают, что я сделался иезуитом, ведь это будет просто срам и позор!

— У вас было сильное влечение к совершенному уединению и молчанию, и вот недалеко от Нанси — откуда я родом — находится прелестная, самая романтическая Шартреза (картезианский монастырь)³⁰². А вот и письмо от вашего старого знакомого аббата Бюро из Меца: он приглашает вас к себе и обещает устроить вашу судьбу наилучшим образом («je lui ferai un sort»).

— Потрудитесь поблагодарить аббата Бюро за его доброе ко мне расположение; но — *mon parti est pris* [я принял решение — *фр.*]; я навсегда решил удалиться в уединение — только не могу решить, куда идти; дайте мне время подумать; я письменно изложу вам мои желания.

Через несколько дней я пришел к нему с следующей коротенькой заметкой: «Я желал бы жить в совершенном уединении; но вместе с тем иметь возможность по временам выходить из него для того, чтобы навещать больных, страждущих и несчастных и помогать им словом и делом».

Это было почти целиком взято из *Спиридиона* Жорж Занда.

— Все это вы найдете у нас, — сказал отец Манвисс: мы очень редко выходим, да и то только по делам христианской любви.

— Очень хорошо! — отвечал я. — Итак, отец мой, я это дело совершенно предоставляю вашему благоусмотрению.

— Прекрасно! Вот это поступок истинно христианского повиновения, т. е. предоставлять все на суд вашего духовного отца!

— При этом позвольте мне вам заметить, что я вовсе не имею притязания быть священником — *je n'aspire pas à cet honneur* [Я не стремлюсь к такой чести. — *Фр.*]. Я хочу остаться смиренным братом.

— Ну да уж это мы увидим после! Однажды в монастыре, вы будете делать все, что вам прикажут. Покамест мы не можем ничего сделать касательно принятия вас в монастырь до приезда нашего vicar (vicaire général) из Вены — мы его с часу на час ожидаем, а между тем, если угодно, я вас представлю здешнему настоятелю.

Вошел человек средних лет высокого роста с важною и холодною наружностью и с огромным носом: это был австриец отец де Гельд (de Held). У него вовсе не было развязности и приветливости отца Манвисса, но зато были более солидные качества: прямодушие и чувство правосудия, столь редкие у монахов. Он был несколько лет моим начальником в Лондоне и всегда обходился со мною истинно по-отечески. Когда брат Федор Печерин³⁰³ пришел проститься со мною, то он, положив мне руку на плечо, сказал ему: «Depuis que je le connais, il ne m'a jamais donné un moment de déplaisir» [С тех пор, что я его знаю, он никогда не доставлял мне огорчения. — *Фр.*]. Наконец, его вытеснили из Лондона подлыми и коварными происками другого преподобного отца, которому хотелось сесть на его место, — в чем участвовал и теперешний архиепископ Михельнский — *ci-devant redemptoriste* [бывший редемпторист — *фр.*]. Мне со временем придется описать эту интригу, в которой и женщины играли важ-

ную роль. Что тут ваши дипломаты! Ведь дипломаты — люди светские, женатые; у них есть семейные связи, есть человеческие чувства и страсти; а у монаха сердце черствое, заплесневшее, заржавленное. У него одна мысль: святая церковь и обитель; единственные движения его сердца — если оно когда-либо движется — подобострастие к начальству, мелкое честолюбие и беспредельное, неизмеримое, как океан, любостяжание!

Отец де Гельд расспрашивал меня о том, какие книги убедили меня в истине католической веры. Мы потолковали о философских системах Германии и особенно о новом католицизме Баадера³⁰⁴. Все это было с его стороны очень холодно и сдержанно. Он учтиво раскланялся и ушел.

Один из монахов — отец Берсе — с большим любопытством расспрашивал обо мне у отца Манвисса: «Он, должно быть, ужасно азартный человек» (вероятно, судя по бороде). — «Помилуйте! — отвечал отец Манвисс, — *il est la douceur même!*» [Он — сама кротость! — *Фр.*]

Принятие в орден редемптористов (Льеж 1840)

Monsieur!!! vous êtes un révolutionnaire!
[Сударь!!! Вы — революционер! — *Фр.*]

Ректор Дегур-ов³⁰⁵

Наконец викарий (*vicaire général*) приехал из Вены, и меня ввели уже не в приемную (*parloir*), а в другую комнату на верхнем этаже внутри монастыря. Тут за столом сидели: викарий отец Пассера́ (*Passerat*), настоятель отец де Гельд и мой духовник отец Манвисс. О. Пассера́ имел важное и несколько суровое лицо, его белые волосы небрежно расстилались по плечам. Вид его невольно напомнил мне великого инквизитора в Дон-Карлосе³⁰⁶. Участь его была странная. В молодости при Наполеоне I он из семинаристов попал в солдаты и несколько лет прослужил в большой армии (*la grande armée*)³⁰⁷; но когда звезда великого человека закатилась «и боем последним Монмартр прогремел», он вспомнил мечту своей юности и, следуя своему первому призванию, вступил в орден редемптористов и дослужился до того, что сделался вторым лицом после генерала, т. е. его представителем по сю сторону Альп. О. Пассера́ был француз *jusqu'à la moelle des os* [до мозга костей — *фр.*]. У всех французов есть какой-то особенный дар придавать себе театрально-величественный вид: все они глядят императорами и говорят высокими полновесными фразами, по-видимому, заключающими в себе всю глубь человеческой мудрости; но это только на сцене; а посмотрите за кулисы, снимите с них мишурную мантию, сорвите личину, и окажется ужасная голь...

Mais au moindre revers funeste le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'évanouit [Но при малейшем печальном обороте судьбы маска падает, остается человек, а герой исчезает. — *Фр.*].

Это напомнило мне другого француза-легитимиста, который, устыдившись французского имени, прицепил к нему православное -ов.

Я только что вступил в университет. «Ректор Дегуров!» Дегуров! ну уж это непременно какой-нибудь тамбовский или саратовский помещик: этим и фамилия пахнет. После молебствия перед началом курсов я пошел представиться ректору. Каково же было мое изумление, когда я нашел, что этот тамбовский помещик ни слова не знает по-русски! Он встретил меня с важною осанкою времен Людовика XIV, взглянул на меня императорским взглядом и торжественно-протяжным голосом сказал: «Monsieur!!! Vous êtes un ré-vo-lu-tion-naiigre!!!»

А все это вышло из-за того, что перед молебствием инспектор, отставной фрунтовик, вздумал построить студентов в боевой порядок и, довольно неучтиво взявши меня за рукав, как пешку поставил на место, на что я довольно азартно возразил, что я не привык к подобному обращению. Это, как следует, донесли начальству, и ректор *Dégoûg-off* окрестил меня революционером, каковым я и остался до конца дней. А по возвращении из Берлина простодушный попечитель Бороздин сказал обо мне: «Это одна из тех змей, которых Россия питает на груди своей!» Тут я окончательно превратился в Змея Горыныча.

Но не так думали обо мне святые отцы, собранные в конклаве в монастыре редемптористов: в глазах их я был кроткою незлобною голубицею. Викарий о. Пассера очень ласково расспрашивал меня о том, что возбудило во мне первую мысль о монашеской жизни. Я отвечал, что с самого детства я любил читать жития святых, особенно пустынников. «Очень хорошо! Это самое лучшее приговление к монашеской жизни!» После еще нескольких неважных вопросов он приподнялся и с важною осанкою сказал: «Eh bien! nous vous recevons!» [Хорошо! Мы вас принимаем!— *Фр.*], т. е.: *Мы*, божиею милостию император и пр. принимаем вас в Орден. Я, не сказавши ни слова, поблагодарил его легким наклоением головы. Я не знал их обрядов: мне следовало бы упасть на колени и поцеловать ручку Его Высокопреподобию; но я тогда был еще вольным казаком и не заботился ни о каких приличиях. Под конец этой сцены отворилась дверь и вошло новое лицо, поразившее меня необыкновенным выражением лицемерия. Это был тот самый о. Отман, что так тебя разгневал в С.-Троне (St. Trond)³⁰⁸. Он был начальником новициев³⁰⁹ (*Maître des novices*) и нарочно приехал из Сен-Трона, чтобы принять меня из рук викария под свою опеку. Он был еще молодой человек, но вечно ходил согбенным, как старец, и никогда не поднимал глаз, так что можно было только видеть его веки. Лицо у него было бледное, как полотно, с длиннейшим остроконечным носом — верным признаком хитрости и лукавства. Эти господа любят иногда похвастать своею классическою ученостью. Говоря со мною, как с бывшим профессором, о суете и ничтожности мира сего, о том, как непрочно все земные связи и как лучшие друзья изменяют нам в несчастии, он подвернул стишок, кажется, из Овидия: «*multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris*»³¹⁰.

Все было решено. Мне оставалось только ехать в Сен-Трон в дом новициата. Но я все еще как-то не имел ясного понятия о том, что я иду окончательно запереться в монастырь. Мне сказали, что мне на-

добно будет в продолжение недели сделать духовные упражнения (exercices spirituels). Я так есем и говорил, что еду в St-Trond на неделю — не больше. Но Фурдрен очень хорошо понял; что я исчезну невозвратно, когда он сказал своей маленькой девочке: «Поцелуйся с ним, душечка, ты его долго не увидишь». С капитаном я простился довольно холодно и церемонно: казалось, все чувства благодарности были заглушены религиозным энтузиазмом или — назорейским безумием. Я решительно переходил в другой лагерь. Католическая церковь есть отличная школа *ненависти*. «Vos, qui diligitis Dominum, adite malum» [Вы, которые почитаете бога, низвергайте зло.— *Лат.*]; если вы любите господу, то вы должны ненавидеть врагов его! Как далеко они ушли от евангелия!

Прощаясь с о. Манвиссом, я изъявил сожаление, что лишаюсь его добрых советов. «Вы ничего не теряете: у вас в Сен-Троне будет отличный наставник о. Отман — он *тоже* француз из Альзаса: C'est un homme profond!» [Это — глубокий человек!— *Фр.*]

Простился я также с моею доброю старушкою m-me Joarisse и все-таки оставил ей надежду, что, может быть, ворочусь. Все мои пожитки состояли из нескольких книг: еврейской библии, лексикона и грамматики, Soirées de St.-Petersbourg De-Maistre'a [«Петербургские вечера» де Местра — *фр.*] и еще кое-чего: все эти книги я с каким-то человеком отправил в монастырь Haute Rue, а сам я налегке в синем фраке с бронзовыми пуговицами и пестрых штанах, с узелком в руке (заклучавшим одну рубашку с кое-чем другим) пошел навестить мой старый притон *у петушка* (au coq), где встретил старых приятелей кондукторов и кучеров омнибусов, часто обедавших со мною в этом кабачке и нередко удивлявшихся моею республиканскою прическе. Хозяин так меня полюбил, что незадолго до моего отъезда взял двух своих мальчишек из школы des frères chrétiens [христианские братья — *фр.*] и отдал мне их в науку. Я учил их пополам с грехом: иногда случались затруднения в арифметике, особенно когда дело доходило до дробей; но с божиею помощью все благополучно сходило с рук. Меня на дорогу накормили отличным обедом; но о настоящем моем намерении я ни гу-гу, а просто сказал, что еду на несколько дней в Сен-Трон. Омнибус отвез меня к станции; это была моя первая поездка по железной дороге, тогда еще недавно открытой. На половине дороги пришлось ожидать несколько часов мехельского поезда: это время я очень приятно провел в *галантерейном* разговоре с хорошенькою demoiselle du comptoir [продащица — *фр.*]. Это была последняя жертва, брошенная миру юности...

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она!³¹¹

«St.-Trond est une petite ville bigotte» [Сен-Трон — это ханжеский городишко.— *Фр.*], — сказал мне Лекуант, прощаясь со мною. Этот городишко в каких-нибудь 8 000 душ лежал в самом глухом захолустье. К нему была проведена ветвь железной дороги, но дальше

уж никуда не было проезда: хоть три года скачи, как говорит Гоголь, но ни до какого государства не доедешь. Почти все население состояло из попов, монахов и их поклонников. Никакой промышленности, ни торговли — как и следует быть в таком благочестивом месте. Везде мертвая тишина, изредка только прерываемая звоном колокола, призывающего к утренней или вечерней молитве, — точно в какой-нибудь Аравии, где муэдзин с высоты минарета в известные часы кричит: «Аллах у Аллаха у Мохаммед расул Аллах!»

Вышедши из станции железной дороги, я не пошел прямо в монастырь, а зашел прежде в цирюльню — и вот почему. Еще предварительно в Льеже я обрил себе бороду, оставивши только небольшие усыки; но и с этим, мне казалось, неприличным явиться в новициат, — итак, в этой цирюльне какая-то женщина-цирюльница — обрила мне усы. Adieu, mon plaisir! [Прощай, моя забава! — *Фр.*] В этом смиренном образе, отложивши в сторону всю гордость века, отрекшись от днавола и всех дел его, я робко позвонил у двери Maison des rédemptoristes [дом редемптористов — *фр.*]. Дверь мне отворил благолепный австриец отец Пилат. Он с какою-то особенною улыбкою взглянул на меня, на мой костюм и узелок. Я поспешил сказать ему, что я тот русский, которого ожидают в новициате. «А! пожалуйста! пожалуйста!», и ввел меня в хорошо убранную комнату: тут был стол с несколькими стульями, кушетка и постель с занавесками. «Тьфу, пропасть! — подумал я, — неужели же они живут так роскошно: это вовсе не сообразно с философскою и монашескою бедностью». Но я ошибался: это была комната для гостей. Через несколько минут вошел отец-министр Геллерт, заведовавший хозяйственной частью монастыря; он радушно приветствовал меня и, взявши меня за руку, повел в длинный-длинный коридор, на который открывались двери с обеих сторон. В конце коридора отворилась маленькая дверь, и я очутился в крохотной комнатке с одним окном и совершенно голой. Она была очень хорошо вышкатурена. Тут был простой деревянный столик с деревянным резным распятием, с чернильницею и песочницею и несколькими листами бумаги; в углу стояла деревянная кровать, а на ней вместо пуховика — мешок, туго набитый соломой, и того же материала подушка, но все это было покрыто белоснежною простынею с шерстяным одеялом. В этой келье все блистало необыкновенною опрятностью: даже дощатый пол лоснился, как будто паркет. Ничего не могло быть лучше! Я почувствовал себя как будто в свойственной мне атмосфере. Отрешение от излишеств, от ненужных вещей, от *ложных благ* — вот истинная свобода! Когда я остался один, меня охватило какое-то неописанно-блаженное чувство спокойствия: здесь мертвая тишина! сюда не доходят никакие мирские звуки, здесь нет ни забот, ни тревог! здесь не надобно думать о завтра. Кто-то постучался у двери — entrez [войдите — *фр.*]. Вошел молодой человек приятной наружности с отличными манерами — в монашеской рясе. Это был frère Meyer, один из новициев, нарочно посланный pour me tenir compagnie [чтобы составить компанию — *фр.*] для того, чтобы мне не было скучно вначале. Он взял меня провести по монастырю, потом мы сошли в сад и долго вместе

гуляли. Он был развязный светский молодой человек, очень сведущий в естественных науках, и говорил очень приятно. Он сказал мне, что я обманул ожидания всех новичиев: о. Отман обещал привести им русского с бородою, а я, напротив, приехал совершенно выбритым. Ха-ха-ха!

Да! никакие слухи не достигали этого мирного приюта. Сколько событий случилось в этот год новичиата! И король голландский умер, и св. мощи Наполеона перенесены были с острова св. Елены в Инвалидную палату, прусские воины шли на помощь султану против Египетского паши³¹² — а я ничего об этом не знал и слухом не слышал.

Новичиат (1840—1841)

Te souviens-tu?... mais ici je m'arrête
Ici finit tout noble souvenir;
Vieux camarade, ah! viens dans ma retraite,
Attendre en paix un meilleur avenir!
Et quand la mort, planant sur ma, chaumière,
Vient m'appeller au repos qui m'est dû
Tu fermeras doucement ma poupière, en me disant:
Soldat! t'en souviens-tu?

[Ты помнишь ли?... но здесь я останавливаюсь,
Здесь кончается всякое благородное воспоминание;
Старина, приходи ко мне в мое убежище
Ожидать в мире лучшего будущего!
И когда смерть, витающая над моею хижинкою,
Придет звать меня на заслуженный покой,
Ты тихонько закроешь мне глаза, сказав:
Солдат! Ты помнишь ли?— *Фр.*]
Старая песня³¹³

Отец Отман, maître de novices [наставник послушников — *фр.*], еще не воротился из Льежа, и я покамест оставался под опекою отца Геллерта, префекта гостей (Préfect des étrangers) и любезного frère Меуегг. Однако ж мне тотчас дали работу. Каждый новичий при вступлении в монастырь должен собственноручно переписать все *правила и постановления ордена* для того, чтобы иметь свой собственный экземпляр. Это мне очень понравилось: «для того, чтобы исполнить закон, надобно его хорошо знать». Итак, с большим усердием принялся за эту работу. Между тем приехал о. *Отман*, и первую его заботою было доставить мне более приличное одеяние. В обильном гардеробе новичиата, где целыми слоями лежали сброшенные светские одежды *ветхого человека* разных поколений, он сам выбрал очень хорошенький, даже шегольской сюртучок и, надевая его на меня, повторял: *rauvre jeune homme! rauvre jeune homme!* [Бедный молодой человек! бедный молодой человек!— *Фр.*] После этого он потребовал от меня выдачи всего моего имущества. «*Voilà tout ce qui me reste après mes débourséments*» [Вот все, что осталось после моих трат.— *Фр.*], — сказал я с видом и тоном человека, только что истратившего несколько тысяч, и подал ему мелкими деньгами каких-нибудь пять или шесть франков. «Это вам тотчас же будет возвращено, если вам случится оставить этот дом». Вот где коммунистам надо

учиться. В новициате понятие *собственности* вовсе не существовало. Никто даже одежды своей не смел назвать своею, потому что настоятель каждую минуту мог взять ее и отдать другому. Нарочно периодически переводили из кельи в келью для того, чтобы новиций не имел времени привыкнуть к ней и считать ее своею. О деньгах и помину не было. Никакая мысль о корысти и стяжании не была возможна. Все было общее: всякий получал все, что ему нужно, из рук настоятеля. Не это ли идеал сен-симонизма, где верховный отец, *Père suprême*, держит в руках своих все богатства мира и раздает их каждому, смотря по его нуждам и заслугам?¹¹⁴

В 1844, когда я был уже священником, проезжая из Парижа в Бельгию, я заехал в St.-Acheul³¹⁵ повидаться с Гагариным³¹⁶. Он тогда был свежим и благочестивым новицием. Мне пришлось в его присутствии вынуть кошелек для того, чтобы расплатиться с извозчиком. Он смотрел на это с каким-то священным омерзением: «Ох! уж эти деньги! какая это гадость!»— А теперь он ежегодно получает из России 12 000 франков. О, *sainte pauvreté!* pauvre homme!! [О, святая бедность! бедный человек!— *Фр.*]

Прими теперь в соображение, что иезуиты вообще стараются заманить в свой орден богатых и знатных, и ты можешь себе составить понятие о том, какие несметные у них накопились богатства и как могущественно их влияние даже в некаатолических странах — вот и Россия платит им ежегодную подать.

О. Отман собственноручно остриг меня под гребенку по-солдатски и ввел меня в общество новициев. Их было 13 — все молодые люди от 18 до 25 лет. Трудно бы где-нибудь найти более благовоспитанных юношей, с лучшими манерами, с более утонченною вежливостью. У нас при мысли о семинарии или монастыре обыкновенно рождается понятие о грубом обращении, о варварских епитимиях³¹⁷, ругательствах и побоях; а здесь, в этом новициате, не было даже и тени *принуждения*; это было в полном, буквальном смысле *добровольное повиновение* из веры и любви. Из уст начальника новициев, *Maître des Novices*, я никогда не слышал ни одного грубого слова, а во взаимном обращении новициев никто не осмелился бы сказать чего-либо оскорбительного для чьей-либо личности. Два раза в неделю был *капитул*³¹⁸ (*Chapitre*), где в присутствии всех собратий каждый обвинял себя в мелких нарушениях устава, причем начальник новициев давал краткое и дружелюбное увещание: все это делалось открыто, публично и, таким образом, был пресечен путь к всякому шпионству и наушничеству.

Да! Отец Отман был действительно *homme profond* [глубокий человек — *фр.*], по выражению отца Манвисса: он был мастер управлять людьми и, казалось, следовал правилу Жорж Занда: «*Regner par l'esprit sur les esprits; par le coeur sur les coeurs*» [Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами.— *Фр.*]. Он, может быть, потому был так либерален, что сам ни во что не верил, и вот этому доказательство.

25 числа каждого месяца была особенная служба или молебствие в новициате в честь младенца Иисуса. Крошечная церковь новициев

была разукрашена цветами: в яслях на соломе лежала французская кукла *божественного* младенца; перед нею новиицы с большим умилением распевали священные гимны. Однажды в этот день настоятель (*Maitre des Novices*), по-видимому, углубленный в молитву, на коленях перед яслями, вдруг громко расхохотался. Новиицы нимало этим не смущались: они только шептали друг другу: это испугание! *extase!* это видение! *vision!* ему богородица привиделась! *la Vierge lui a apparu!*— Но о. Отман все-таки нашел нужным объяснить: «Любезные братья!— сказал он,— среди ваших священных песнопений мне вдруг пришла на мысль суета и ничтожность всего земного: как мало мы делаем для бога и как все это примешано самолюбием и тщеславием, так невольно расхохочешься!» *Il s'est tiré d'affaire comme un vrai philosophe* [Он вышел из положения как истинный философ.— *Фр.*].

Началась однообразная, правильная, *законная* жизнь новиицы: каждый час, каждая минута имела свое назначение. В половине пятого каждое утро звонили в колокол. Каждый вспрыгивает с постели, как будто бы пожар в доме. Брат прислужка отворяет дверь со свечою в руках и говорит: «*Benedicamus Domino*» [Благословием Господа!— *Лат.*], на что отвечают: «*Deo gratias!*» [Господу благодарность!— *Лат.*] Наскоро умывшись, все идут в церковь, на хоры, где происходит *утреннее размышление*, *meditation du matin*. Дежурный монах вслух читает один или два пункта. Вот образчик этих медитаций, взятых из книги иезуита Крассе (*Crasset. Meditations*). «*I-er point. Il n'y a point de penitence qui voit de plus grand mérite, que d'accepter la mort en satisfaction de ses péchés. L'homme ne peut rien donner à Dieu qui égale le sacrifice de sa vie.— Je vous donner, mon Dieu, par amour, la vie, que la mort m'arrachera de force. Je donne à la charité ce que je ne puis refuser à la nécessité*» [(Крассе. Размышления). 1-й пункт. Нет раскаявшегося, который не видит большей заслуги, чем принять смерть как воздаяние за грехи. Человек не может отдать богу большей жертвы, чем его жизнь.— Я тебе отдаю, господи, из любви — жизнь, которую смерть вырвет у меня силой. Я отдаю милосердию то, в чем я не могу отказать необходимости.— *Фр.*]. Все в глубоком молчании на коленях обязаны размышлять четверть часа об этом пункте: потом, лишь только часы пробьют четверть, опять читают 3-й пункт, все опять размышляют, и тем кончается медитация. После этого следует обедня, и очень легкий завтрак, состоявший из чашки кофе с хлебом и маслом (*une tartine*), а затем ряд духовных упражнений и ручной работы. Ручная работа состояла в том, чтобы копать что-нибудь в саду, выметать сор и мыть пол в коридорах, мыть посуду на кухне и шелушить разные овощи, помогая повару, прислуживать за столом и пр. Тут все состояния были уравнины, и богач и бедняк одинаково работали. В 12 часу был обед, в продолжение коего чтец на кафедре читал сначала главу из св. писания, а потом историю церкви. После обеда был целый час роздыха (*récréation*): новиицы с своим *Maitre de Novices* гуляли по саду и забавлялись благочестивыми, а иногда и очень смешными рассказами из жития святых. После этого тот же ряд духовных упражнений и руч-

ных работ (*travail manuel*) до 7-го часу: тут опять вечерняя медитация (*méditation du soir*), ужин и роздых (*récréation*) в том же порядке; в 8-м часу вечерняя молитва и все, поцеловавши руку настоятеля и получив его благословение, отправлялись в свои кельи. В половине 10-го один удар колокола возвещал ночной покой: каждый спешил потушить свечу и броситься на постель — с большим удовольствием после утомительного однообразия этой правильной жизни. Кроме двух часов роздыха (*récréation*) после обеда и ужина в новициате господствовало ненарушимое молчание: никто не смел говорить ни слова: случайно встречаясь в коридорах, новиции только учтиво раскланивались, не раскрывая рта. Признаюсь, после нескольких лет бродяжной жизни и всякого рода политической и литературной болтовни, это молчание было для меня истинным наслаждением. Я понял то, что прежде для меня было непостижимым, т. е. как Пифагор заставлял своих учеников хранить молчание в продолжение пяти лет. *Латинские народы сгнили до корня и нет надежды на их возрождение, потому что они слишком много болтают: во многоглаголании несть спасения*³¹⁹.

Вот как прошел целый год *искуса* в новициате до сентября 1841. Я уже приготавлился в глубоком уединении к произнесению трех обетов — *vœux de pauvreté, chasteté et obéissance* [обеты бедности, целомудрия и послушания — *фр.*], как вдруг *Maitre de Novices* входит в мою келью с несколько расстроенным видом: «Один из ваших старых знакомых — какой-то М-г *Lecoïnte* — желает вас видеть; но он ужаснейший человек, с огромнейшею бородою: хотите вы его принять?» — «Почему же нет?» — отвечал я. — «Я могу с ним немножко поговорить». Я отправился в приемную. Невозможно вообразить себе большего контраста: *Лекуант* сделался отчаянным республиканцем и отпустил себе бороду до пояса, а я уже был в монашеской рясе с четками за поясом, обритый наголо и остриженный под гребенку. Я встретил его с сдержанною и холодною вежливостью, как будто никогда не был с ним коротко знаком. Наш разговор превратился в какую-то контроверзу [от *фр. controverser* — спор], к которой после примешался и *Maitre de Novices*. *Лекуант* уехал и, возвратясь в *Льеж*, говорил всем знакомым: «Нет! уж непременно редемптористы напоили *Печерина* каким-то зельем: нельзя же человеку так вдруг перемениться!» А это *зелье* было не что иное, как русская переимчивость, податливость, умение приноровиться ко всем возможным обстоятельствам. Если бы какая-нибудь буря занесла мой челнок на берег *Цейлона*, и я бы нашел там приют в каком-нибудь монастыре буддистов, — я бы также ревностно исполнял все их правила и постановления (*règles de constitution*), потому что выше всех философий и религий у меня стоит *священная чувство долга*, т. е. что человек должен свято исполнять обязанности, налагаемые на него тем обществом, в коем судьба привела ему жить, где бы то ни было, в Китае, Японии, *Индостане*, все равно!

В 1861 я носил белую одежду траппистов, работал с ними на поле в глубоком молчании, питался их гречневою кашею и молоком и ничем больше, и они были от меня в восхищении: «Ведь он, кажется,

рожден для этой жизни! Как он легко ко всему приноровился!» Но это продолжалось всего каких-нибудь шесть недель, пока оно имело прелесть новости и пока я не услышал случайно от одной русской дамы о важных преобразованиях в России. Тут я не мог вытерпеть: «Как же мне живому зарыться в этой могиле и в такую важную эпоху ничего не слышать о том, что делается в России?»

Итак, 19-е февраля, освободившее 20 миллионов крестьян, и меня *эмансипировало!*

Не пора ли тут остановиться?

Te souviens-tu?—mais ici je m'arrête.

Ici finit tout noble souvenir!

[Помнишь ли ты?.. но здесь я останавливаюсь,

Здесь кончается всякое благородное воспоминание.— *Фр.*]

[Виттем³²⁰ 1841—1843]

Я исполняю твою просьбу³²¹ и буду писать — но писать наобум, так, что в голову взойдет, à bâton rompu [беспорядочно — *фр.*], а ты после, как мудрый Лизистрат, соберешь эти гомерические рапсодии и соединишь их в одно целое, и после скажут: «какое удивительное единство»³²². Писать историю монаха — нелегкая вещь. Ведь история предполагает *события*, т. е. борьбу разума со страстями, а в настоящем монастыре эти оба труженика, т. е. разум и воля, давным-давно отпеты и похоронены. История монаха — то же, что история карманных часов. Вот ты их завел, и они идут: стрелка медленно передвигается от секунды до секунды, от минуты до минуты, от часа до часа в продолжение 24 часов. Вот так и жизнь монаха. «Ну, да тут есть разница: у часов нет мозга, нет мысли, а у монаха есть». — Правда, мысль у него есть, но ведь и она тоже *заведена* и медленно движется от утренней молитвы до псалмопения, от псалмопения до обедни, от обедни до духовного чтения, от обеда до ужина, а потом ее кладут спать, а поутру, часу в 4-м или 5-м, опять ее заводят. Наконец, мысль превращается в какой-то ржавый механизм, как, например, у трапистов, где не позволяется ни говорить, ни читать, ни мыслить, где вся жизнь проходит в пении псалмов и земледельческих работах — там мысль улучшается и совершенно исчезает — человек падает ниже скота и живет уже какою-то прозябательною жизнью. Для кого же эта история может быть занимательною?

К счастью, по окончании моего искуса в 1841 меня перевели из Сен-Трона в Maison d'études [семинария — *фр.*], т. е. Виттем. Там, заметя мои *способности*, меня тотчас сделали профессором истории, греческого и латинского языков. Я далеко превзошел их ожидания и желания: даже после жаловались, что я уж слишком многому учил этих молодых людей — вовсе не по их званию. Но это вносило разнообразие в мою жизнь: я имел позволение заниматься светскими предметами. Виттем прежде революции был францисканским монастырем³²³ — кельи были ужасно узкие, едва было довольно места для кровати и маленького столика; да, сверх того, зимою тут топилась

чугунная печка — жар был несносный: мне не раз случалось вздремнуть над духовным чтением. Но зато я нашел приятное развлечение, когда для упражнения в латинском языке я читал письма Цицерона³²⁴. Теперь еще помню одно письмо, где Цицерон рассказывает, как он неожиданно попал в большое общество, где он встретил одну известную того времени красотку, нечто вроде теперешней кокетки. Старик извиняется тем, что он вовсе не знал, что она там будет. Я нашел в библиотеке «Беседы» Иоанна Златоуста. Это книга моего детства. Покойная матушка Пелагея Петровна обыкновенно сидела в библиотеке деда моего Петра Ивановича Симоновского и заставляла меня читать себе эти беседы в славяно-русском переводе. С тех пор я всегда их любил, и они меня предохранили от подражания нелепым французским проповедям.

В 1843 по принятии священства в Льеже (о чем будет после) я возвратился в Виттем и тут меня сделали профессором красноречия и немедленно заставили меня на деле показать мое умение. Мне назначено было говорить проповедь на немецком языке *о выгодах истинной веры и о несчастии лишиться оной*, причем мне намекнули, что не худо бы сказать слова два о преследовании католиков в России. Бездна народа собралась слушать нового проповедника. Я нимало не сробел — гляжу в половине проповеди, а уже одна женщина утирает себе глаза. «Дело выиграно!» — сказал я самому себе и — пошел, пошел и кончил среди слез и стенаний моих слушателей. Очень недурно для первой попытки. Ректор отец Гейлиг сказал мне: «*Jé vous fais mon compliment: vous serez un bon predicateur*» [Поздравляю Вас: Вы будете хорошим проповедником. — *Фр.*]. Некоторые из братьев прислужников как-то выпрямились от восторга и смотрели на меня с особенным умилением, как будто бы они в первый раз слышали что-то дотоле неслыханное. На другой день весь Ахен³²⁵ говорил об этой проповеди. И неудивительно: это была новость для народа, привыкшего к правильным, математическим, размеренным, бесчувственным проповедям на французский лад! Тут есть приступ, предложение, разделение и непременно *три пункта* — наполни их чем хочешь, какую хочешь дрянью, а без *трех пунктов* (trois points) обойтись нельзя, а там следует *убеждение и заключение*. Точь-в-точь как говорят ученые по церквам!

Дублин. 20 октября 1872

Благодарю, благодарю за твое доброе и длинное письмо из Венеции³²⁶. Мне кажется, любезный Чижов, что, когда мы толкуем с тобой о России, мы рассчитываем без хозяина. Всякий знает, что в Россию нельзя приехать без позволения хозяина. Очень хорошо — теперь посуди ты сам: человек исключен из русского подданства за принятие католической веры — как же ему теперь воротиться в Россию? на каких условиях? Неужели же нести повинную голову, просить прощения и пр. и пр.? Это совершенно немислимо. Я понимаю поступок Джунковского, потому что я уверен, что он действовал по внутреннему убеждению, и Герцен не имел никакого права назвать его *двойным*

ренегатом (забавно это выражение в устах человека, ни во что не веровавшего!)³²⁷; — но как же мне-то вдруг прикинуться ревнителем православия? Это было бы уже чересчур забавно! Вот в том-то и беда, что Николай был прав: православие, самодержавие и народность доселе составляют единую нераздельную троицу русского быта. В России непременно потребуют религиозного заявления, а я на религиозное заявление какого бы то ни было рода ни за какие деньги не соглашусь.

Вот это *первое*, а *второе* то, что у меня в России нет ни кола, ни двора, след., мне непременно надобно будет попасть в казенную официальную колею. Джунковскому тотчас предложили войти в государственную службу, — а я уж давным-давно отвык от всякой официальности, подчиненности и опеки — итак, эта *вторая* статья тоже принадлежит к числу невозможных вещей. В-третьих: когда жизнь клонится уже к концу, то, мне кажется, поздно уж начинать новое поприще, броситься, зажмуривши глаза, и, может быть, попасть в западню. Это была бы уж решительно последняя глупость моей жизни.

Впрочем, ты не слишком полагайся на будущее. Припомни пословицу: до бога высоко, а до царя далеко. Припомни-ка еще царствование Александра I — оно началось ужасно как либерально, а кончилось оно чем? Аракчеевым!

Вот если бы я был, как ты, миллионером, ничего не было бы приятнее как прогуляться по России, все осмотреть и *ничему не покориться*. В России, как в папском Риме, очень хорошо быть туристом, но не подданным.

В старые годы я мечтал было об одном — как бы мне стучаться, исчезнуть где-нибудь в предместьях Лондона или между альпийскими горами, так чтоб и след мой простыл и помину бы не было о моем католичестве и священстве; т. е., так сказать, *относительно говоря*, жить философом вне человеческого общества; но и это тоже несбыточная мечта. Мое имя слишком известно в католическом мире, особенно в англосаксонском племени, да, сверх того, хоть иди на край света, а от духовного шпионства нигде не уйдешь. Если не католический священник, то какой-нибудь протестантский пастор или русский поп придет наведаться о здоровье твоей души. Вот, например, бедный член французского конвента, умерший в Клапаме в 1848, испытал это на самом себе. Он, вероятно, думал, что в протестантском Лондоне, да еще в таком захолустье, как Клапам, никакие попы его не найдут. А вышло иначе. Действительно, до моего приезда решительно никакого священника в Клапаме не было. Не знаю, какая нелегкая меня понесла: вероятно, какой-нибудь ревностный католик сказал: «Вот француз, католик, умирает — ему надо священника». Ну, я и пошел. В довольно бедном домике в небольшой комнатке лежал неподвижно на постели дюжий человек высокого роста — он был глух и нем и ужасно распух — левый глаз заплыл и совершенно исчез; остался только правый глаз — большой, серый, сердитый глаз, и в этом глазе сосредоточилась вся его жизнь. Лишь только он увидел меня — в этом глазе вспыхнула невыразимая злоба, ненависть, бешенство, он, казалось, готов был пожрать меня этим взглядом. Он не

мог сделать ни малейшего движения, не мог даже пошевелить губами, но в этом взгляде видно было, как он порывался броситься на меня. Я понял, что сделал глупость, и поспешил отретироваться. Это невольно ведет меня к любимому предмету — к Лондону, к Англии. Переезд в Англию составляет важнейшую и решительную эпоху моей жизни: весь склад ума и сердца с тех пор принял окончательную форму и, так сказать, окристаллизовался. Если бы я остался в Бельгии, то случилось бы одно из двух: или я бы невозвратно погряз в идиотизме континентальных монахов, или вырвался бы из него самым отчаянным образом. Но высшее образование Англии влияло даже на католические монастыри и придавало им хоть наружный лоск цивилизации, а господствовавшие в то время идеи Монталамбера³²⁸ разливали какой-то волшебный свет на католическую церковь, представляя ее защитницею прав и свободы народов (чего я до сих пор Монталамберу простить не могу). [...]

Переезд в Англию (1844—1845)

To the west! to the west! to the land
of the free!

[На запад! На запад! в страну свободных!— Англ.]

Американская песня

«Как вам это покажется, если мы вас перебросим через канал в Англию? Согласны вы?» Так говорил мне, улыбаясь, почтенный отец де Гельд, тогдашний провинциал Бельгии (Père Provincial). Это было за несколько дней до твоего последнего посещения в Виттеме в сентябре 1844³²⁹.

Я душевно был этому рад. Новая, более свободная, жизнь миссионера, новый край, новые приключения и волшебное обаяние Англии — все меня туда влекло. На другой день после твоего отъезда меня отправили в *Брюж*³³⁰ — поближе к морю. Тут был только маленький домик с одним отцом-редемптористом и братом-прислужником. Меня заставили несколько раз проповедовать в Брюже для того, чтобы привлечь внимание живущих там английских католиков. Это значило: «Вишь, какого мы к вам посылаем!»

Тотчас после рождественских праздников меня с молодым товарищем — миссионером отцом Лудвигом послали в *Остенде*³³¹. После 3 или 4-летнего заключения в монастыре я совершенно отвык от путешествия, и меня, как ребенка, посадили на пароход, всунув мне в руки 5 фунтов на дорогу до Фальмута³³². После 20-часового благополучного плавания мы вошли в Темзу и остановились у пристани — 1-го января 1845 г. в 3 часа пополудни. Незабвенный день и час! Его надо золотыми буквами начертать на скрижалях моей жизни. После небольших (в тогдашних размерах) континентальных городов Берлина, Брюсселя, Льежа — Лондон изумил меня своею огромностью; тут было все колоссально-величаво; это была неизмеримая пустыня, беспредельный океан. Я совершенно растерялся и не знал, как и шагу ступить. У самого парохода встретил нас почтенный

г. *Лайма* (Lima), будущий учитель маленькой школы, заведенной нами в Фальмуте: он был добрейший человек, но чрезвычайно серьезный и важный и имевший самое высокое понятие о своем звании. Он взял нас с нашими пожитками и повел в небольшую гостиницу на Fleet Street. Это было очень скромное убежище, но вместе с тем она была удивительно как опрятна и уютна. После шума и гаму бельгийских и французских трактиров отрадно было найти тут совершенный порядок и тишину, так что я мог спокойно сидеть в общей зале и заниматься чтением, как будто в своей келье. Мы пробыли два или три дня в Лондоне по делам моего будущего спутника г. *Лаймы*, но я все время сидел в гостинице и не осмеливался пуститься в лондонский океан. Весь мой старинный дух приключений, казалось, совершенно покинул меня. Только один раз я отправился в сопровождении г. *Лайма* отыскивать какого-то польского поэта (имени не помню), к коему я имел поручение от *отцов воскресения* (Pères de la résurrection) в Париже. Несколько польских офицеров, покрытых рубцами доблестных ран, добытых на поле сражения за отчизну, вступили в духовное звание и в самый день светлого христового воскресения основали нечто вроде монашеского ордена; но под этим титулом воскресения они скрывали другой таинственный смысл, т. е. воскресения Польши. В благодарность за какие-то красноречивые и патриотические слова этого поэта они послали ему через меня письмо с пером в бисерном чехле. Перо я как-то затерял и доставил ему только письмо. Ничего не могу сказать об этой личности: я пробыл с ним всего несколько минут, потому что г. *Лайма* ожидал меня в передней. В моей маленькой гостинице все мне казалось как-то знакомым: этот камин с пылающими угольями и четверугольным зеркалом и даже эта рыжеватая кошка, гревшаяся у огня, — все это я прежде видел на английских эстампах. Поутру, часу в одиннадцатом, вдруг настала такая египетская тьма, что принуждены были засветить газ: вот и пресловутый лондонский туман! Я привез с собою большой сундук с разными церковными утварями, за что меня на таможене порядочно обобрали до такой степени, что я принужден был некоторые вещи, напр., картинки, оставить там же на таможене. После этого кошелек мой очень истощал: этого не предвидел почтенный отец Провинциал, думавший, что 5 фунтов мне достанет до Фальмута, т. е. до самого крайнего юго-западного конца Англии. А тут еще на беду товарищ мой, отец Лудвиг, тоже оказался без гроша и вымолил у меня несколько денег для того, чтобы доехать до места своего назначения, которое было гораздо ближе, в Worcestershire. В таких стесненных обстоятельствах с еле-еле дышащим кошельком мы, т. е. я с учителем *Лайма*, выехали из Лондона. Нам прежде следовало ехать в Bath (Баф)³³³, предстать там нашему епископу доктору Бриггсу (Briggs). Мы покатились по железной дороге. Какая прелесть — Англия! Несмотря на то, что это было в январе, светлая речка Трент тихо струилась между зелеными бархатными лугами, и на них паслись *красные* коровы. Опять старое воспоминание! Опять английский пейзаж! О *Бафе* ничего сказать не могу, потому что вовсе его не видел: мы прямо

со станции отправились за город в Prior Park. В старые годы тут жил знаменитый поэт *Поп*³³⁴ (Pope), а теперь оно перешло в руки католиков и в нем помещался епископ с несколькими священниками и семинарием. Это был просто дворец с колоннадами и великолепным парком. Мы приехали к самому обеду, т. е. около 4 часа. Епископ садился за стол. В то время духовных лиц, приезжавших с материка, принимали с отверстыми объятиями, и английское духовенство не было, как теперь, проникнуто ультрамонтанскими идеями, а сохраняло большую долю свободного английского духа. Епископ принял меня очень радушно. Я подал ему (вовсе ненужное) рекомендательное письмо от проживавшего в Париже русского француза Ермолова, знавшего его в Риме. Учитель Лайма ожидал в передней, но епископ и его пригласил с нами за стол, и мы славно пообедали, особенно я помню два отличных английских *пудинга*. Епископ должен был немедленно ехать в *Бристоль*, где ему следовало говорить проповедь на следующее утро в день богоявления (Epirhanu). Он предложил мне на выбор или тотчас же ехать вместе с ним, или остаться здесь, поотдохнуть и осмотреть заведение. Я предпочел последнее. Мне отвели тихую роскошную спальню с кабинетом, какой я от роду не видывал.

На следующее утро звон колокола призвал нас к торжественной обедне. По английскому обычаю в рождественские праздники церкви и дома украшены зеленью, т. е. гирляндами плюща или того, что называется holly. Я нашел тут более простоты и вкуса, чем в бельгийских церквях, где церковные украшения часто сбиваются на кукольную комедию или на вызолоченные пряники. Проповедь была *по-нашему*, т. е. просто читана с тетради без декламации и жестов. Англичане терпеть не могут итальянского размахивания руками и поддельного французского энтузиазма: они, может быть, и правы. Кто насколько-нибудь знаком с писаниями святых отцов, напр. Иоанна Златоуста и блаженного Августина, тот должен знать, что их краткие и простые поучения не допускали никакой декламации, а их длинная и широкая одежда не позволяла им разгуливаться по кафедре. В тот же день мы отправились вслед за епископом в Бристоль, где и приютились в скромной гостинице. Вечеру мы имели удовольствие слушать проповедь его преосвященства, в коей он показал свою ученость, рассуждая о наших *русских расколах*. После проповеди епископ пригласил меня с г. Лайма на обед к себе в гостиницу. Его гостиница находилась в *Клифтоне* (Clifton), т. е. в самой модной и великолепной части Бристоля, где дома, выстроенные на террасах, все глядят дворцами. Это был особенный обед для духовенства и других католических лиц. За столом председа- ла хозяйка, пожилая тучная дама в огненно-красном платье с тюрбаном (turban) на голове. Было еще несколько дам. Разговор был очень приятный и разнообразный, без малейшего клерикального педантизма. После обеда довольно поздно мы встали и, раскланявшись с честной компаниею и испросив благословение епископа на предстоящий нам путь, отправились в свою гостиницу, которую с трудом могли отыскать среди запутанных улиц старого Бристоля. Пришедши в гос-

тиницу, нам вдруг представился вопрос: как нам теперь быть? До самого Фальмута в то время еще не было железной дороги, а часть пути надобно было делать в coach'e [почтовая карета — *англ.*] или дилижансе. Но ни на железную дорогу, ни на дилижанс у нас денег не доставало — что ж тут делать? Чего бы, кажется, проще — обратиться к епископу и попросить у него денег. Ведь я был его подчиненным и ехал по его же делу — ничего не могло быть естественнее. Ан и нет! У меня была самая нелепая *деликатность*. Я вовсе не годился быть священником, а всего менее монахом, потому что у меня не было дара — *просить денег*. Г. Лайма, знавший всю подноготную в этой части Англии, припомнил, что из Бристоля дешевое судно ходит прямо к берегам Корнавалля (Cornwall). Вот оно — и коротко, и дешево! *Magnifique et pas cher!* [Великолепно и недорого! — *Фр.*] На следующее утро мы записались в число пассажиров. Это было очень плохое и ненадежное судно, на коем обыкновенно перевозили скот и — бедных людей. В ожидании отплытия мы присели в кабачке выпить стакан пива, и при этом случае я видел английскую кухню, доведенную до самого простого выражения: какой-то путешественник из простого народа схватил на вилку большой кусок сырого мяса и, подержав его несколько минут над огнем в камине, принялся кушать без дальнейших церемоний. Это именно, как ты называешь, *простое блюдо* без малейшей примеси французских или итальянских соусов. Однако ж пора ехать. Для предохранения от морской болезни я запасся куском сырого копченого мяса, и оно мне очень помогло — хотя, впрочем, я никогда в моей жизни морской болезни не испытывал. Помещение было не очень *деликатное*: нас закупили в какой-то деревянной коробочке, где едва можно двигаться. Плыли мы целую ночь и большую часть следующего дня, и наконец под вечер благополучно вышли на берег и остановились в так называемом Temperance hotel, т. е. в такой гостинице, где не продают никаких крепких напитков, а вместо их дают вам вдоволь чаю и всяких возможных сладостей. Все эти маленькие гостиницы удивительно как опрятны и уютны: все дышит порядком, тишиною и удобствами жизни — одним словом — *комфортом*. Тут мы отдохнули с большим наслаждением, хорошенько пообедали, написли чаю со сладкими пирожками и потом заснули самым блаженнейшим сном, потому что завтра последний день нашего странствия: мы были каких-нибудь 10 миль от Фальмута. Встаем поутру: погода прекрасная — совершенно весенний день — солнце ярко блистало. «Что ж тут нам дожидаться дилижанса — мы отправим с ним наши пожитки, а сами пойдем пешком. Ведь каких-нибудь 8 или 10 миль не беда. Вишь, какой день!» — Сказано и сделано, и мы отправились в путь. Ландшафт беспрестанно изменялся — мы все подымались в гору — то холмы, покрытые темным лесом, то глубокие долины с журчащими ручьями, а иногда из-за леса мелькало вечно смеющееся море. Как легкие и сердце расширяются на этом свежем горном воздухе — вот настоящая жизнь! вот свобода! лети, куда хочешь, как вольная птица! Дорога делает крутой изгиб у подошвы холма, и вдруг открывается великолепное зрели-

ще — весь длинный фальмутский залив, замкнутый на конце двумя горами, и на одной из них — старый замок Pendennis. А вот и начало Фальмута: терраса с красивыми домиками, нависшая над самым морем — еще несколько шагов, и вот наша каплица³³⁵ с крестом и при ней наш скромный домик, обвитый розами и chèvrefeuille [жимо-лость — фр.], на дворе колодец с колесом, и все это заросло, заглохло вечнозеленым плющом. Стучим у двери: нас приветствует брат прислужник, frère Felicien, француз, а тут является будущий мой начальник, большой мой приятель, патер de Buggenoms, бельгиец. Теперь мы дома. Подавайте скорее что-нибудь поесть. Г. Лайма бежит домой свидеться с своим семейством: женою, дочерью и маленьким сыном. Итак, мы в Фальмуте — надолго, надолго — может быть, навеки.

Страх России — роман жизни

«Reverend Petcherine!!... [Его преподобие Печерин — *англ.*] и этот грех лежит на Николае!» — Вот что сказал Герцен, услышавши в первый раз обо мне в Лондоне³³⁶

Я стараюсь теперь размотать запутанные нити разнообразных причин, побудивших меня принять католичество или, лучше сказать, искать убежища от бури под кровом католического монастыря. Одною из этих причин был непомерный страх России или, скорее, страх от Николая. Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумленного города. Тут нечего рассуждать — чума никого не щадит — особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что если б я остался в России, то с моим слабым и мягким характером я бы непременно сделался подлейшим верно-подданным чиновником или попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство. Может быть, мне возражат, что все ж таки впоследствии я сам добровольно принял на себя *новые вериги* (слова Герцена): тут нет никакого противоречия. Вериги, добровольно на себя взятые, могут также добровольно быть и сложены. Человек в полноте своей свободы может промотаться, спиться с кругом, но после с энергиею той же свободной воли может протрезвиться и снова начать разумную жизнь. Это не то, что быть запертым в клетке и бесплодно биться о ее железные решетки.

В 1840 меня позвали в полицию в Льеже просто для формы, для того, чтобы справиться, давно ли я проживаю в городе и чем занимаюсь, и это не имело никаких дальнейших последствий. Но оно заставило меня задуматься. «Ну, что как в России проведуют, где я, да еще, пожалуй, вытребуют назад! Ведь это из всех ужасов будет самый ужаснейший!» Это опасение было не совсем без основания. После твоего второго посещения в Виттеме в 1844 г. у нас в монастыре получили какую-то бумагу из русского посольства в Гааге, на которую наши довольно резко отвечали. Я ни того, ни другого документа не видел, но предполагаю, что именно вследст-

вие этой переписки меня поспешили отправить в Англию (31 декабря 1844), за это я душевно благодарен редемптористам как за величайшее мне оказанное благодеяние.

Мои последние сношения с русским правительством были уже в Англии в 1846, т. е. ровно через десять лет после выезда из России. Это было в *Фальмуте* (Falmouth) в графстве Корнуальском (Cornwall), известном своими медными и оловянными рудами. Фальмут, небольшой городок (5000), лежит полумесяцем на берегу залива Falmouth bay в самой крайнем юго-западном углу Англии недалеко от так называемого *конца земли*, Landsend. Этот залив замкнут двумя черными скалами: на одной из них стоит старый замок Pendennis, ныне обращенный в казармы. На другом конце города на высокой террасе стоял наш маленький домик с церковью или каплицей (Catholic chapel), над самым морем, так что иногда сидишь у окна, а тут под самым окном колышется на волнах какое-нибудь судно с белым парусом, так близко, что, кажется, мог бы достать рукою. Это была просто миссия. Нас всего трое: настоятель, бельгиец Père de Buggenoms, я и брат-прислужка (frère lai), француз frère Felicien. Все стены на нашем маленьком дворе были покрыты зеленым плющом, тут также был колодезь с колесом и железною цепью. Перед домом был палисадник с цветами. Немножко повыше на той же террасе в довольно красивом доме жила наша благодетельница *г-жа Эдгар* (miss Edgar), новообращенная в католичество шотландская дама, вдова с двумя дочерьми-невестами. Она нарочно поселилась в Фальмуте для того, чтобы там поддерживать католическую веру. Это была литературная семья. Сама *г-жа Эдгар* помещала оригинальные и переводные статьи в «Catholic Magazine» [«Католический журнал» — *англ.*], младшая дочь Каролина написала не помню какой роман, а старшая — но об ней после... Обе девицы были большие музыкантши, играли и пели в нашей церкви. Я часто ездил гулять за город с этими дамами.

Мне случилось однажды сидеть одному в кабриолете с меньшею дочерью. Другой экипаж ехал перед нами. Не забудь, что мне было тогда 38 лет. Каролина была милая девушка лет 20-ти с русыми локонами и голубыми глазами. Мы вместе восхищались прелестным местоположением. Сверкающее море, холмы и долины, рощи и луга — все было облитое ярким светом летнего дня. «Как мне знаком этот пейзаж, — сказал я, — мне кажется, я видел его где-то давно, давно — во сне или наяву, не знаю, но все это мне ужасно как знакомо: эти дубы и вязы, обвитые плющом, эти деревья, круто согнутые в одну сторону по направлению морского ветра, эти красивые домики с живыми заборами и розовыми кустами, даже эти красные коровы, все это я видел где-то и когда-то, да, все и» — едва-едва не прибавил — «и эту милую англичанку, сидящую возле меня». «Да! теперь помню: я видел все это в романах Стерна, Гольдсмита, Вальтера Скотта³³⁷, в английских эстампах... С самого детства я люблю Англию. Посреди русских степей в долгие зимние вечера я сидел и мечтал над картою Англии, следил за всеми изгибами ее берегов. внимательно рассматривал все эти разноцветные *ширы*, города, реки,

бухты, заливы и душа неслась туда, туда, в неведомую даль... И вот мечта моя осуществилась, и то, что мне грезилось во сне, теперь я вижу наяву!»

— Итак, вы любите Англию? — сказала она, улыбаясь.

— Как же не любить ее? — отвечал я с юношеским восторгом, — тут все прекрасно, и небо, и земля, и люди, особенно *люди*, — прибавил я, глядя на нее.

— Вам должно быть, очень приятно видеть ваш идеал осуществленным? — сказала она.

Мы поехали осматривать большой дом, который они намеревались нанять. Тут была большая зала с темными дубовыми панелями и огромными зеркалами. Каролина остановилась перед зеркалом, отдернула свой зеленый вуаль, посмотрелась в него и потом, улыбаясь с каким-то невинным кокетством, обернулась ко мне, как спрашивая: «Не правда ли, что я хороша?» Эта прогулка нас очень сблизила. Мы расстались с более обыкновенного жарким пожатием руки. Но роман этот далее не протирался. У нас был ангел-хранитель с огненным мечом, т. е. священное чувство долга, и все эти розовые мечты рассеялись и исчезли после вечерней молитвы.

Г-жа Эдгар выезжала каждый день, но одна из этих прогулок кончилась очень неприятным образом. Она выехала в колясочке с меньшею дочерью. Лошади чего-то испугались, понесли, опрокинули коляску, и г-жа Эдгар переломила себе ногу, а ее любимая собачонка тут же сразу была убита. Ее привезли домой в ужасных страданиях. Послали за доктором Бучером. Тут не было ничего опасного, но лечение было продолжительное, и после этого она осталась калекою до конца своей жизни. С тех пор я начал посещать их каждый день. Мы завели чтение у постели больной, частью для развлечения ее, а частью на *мой бенефис*, для того, чтобы поправить недостатки моего английского произношения. Эти чтения сделались особенно занимательными, когда старшая дочь выступила на сцену...

Анна Гамильтон Эдгар была девушка лет 25-ти, не то чтобы красавица, но очень приятной наружности, высокая, стройная; она была ужасная охотница ездить верхом: как теперь вижу, она входит в гостиную с хлыстиком в руках. Она начала писать роман под заглавием: *John Bull and rapists* [Джон Буль и паписты — *англ.*], основанный на религиозной контроверсе, бывшей тогда в большой моде. Она каждый день читала нам или, лучше сказать, мне (как своему критику) по несколько страниц. Некоторые патетические места были так мастерски написаны, что я никак не мог удержаться от слез. Эти невольные слезы были самою лестною данью авторскому самолюбию. Это, кажется, подзадорило и маменьку. Она тоже вызвалась прочесть свое произведение — просто перевод с французского — какую-то повесть. Но с самых первых страниц я ей заметил, что это очень вяло — просто французские фразы — больше слов, чем дела. Она хладнокровно свернула тетрадь и положила ее под подушку, и после о ней и помину не было. Вероятно, французская дама очень бы этим оскорбилась, но в Англии воспитание совсем другого рода: г-жа Эдгар приняла это очень добродушно и великодушно ус-

тупила поле битвы своей даровитой дочери. Наконец мы кончили и напечатали наш роман и имели удовольствие прочесть лестные о нем отзывы в некоторых журналах.

Окончивши этот литературный роман, мисс Анна Гамильтон Эдгар принялась за другой, но на этот раз *реальный* роман действительной жизни. Прекрасный молодой человек, адвокат из соседнего города Гельстона (10 миль от Фальмута), встретился с нею где-то в обществе, влюбился в нее и — частью из убеждения, частью из любви к ней — принял католическую веру. Я был что называется в классических трагедиях наперсником всех тайнств их взаимной любви. Тут не было никаких затруднений: они были совершенно равны по летам, состоянию и положению в обществе, итак — коротко ли, долго ли — мне наконец пришлось их обвенчать. Это было прекрасное майское утро — Май природы и Май жизни. Наша маленькая церковь была разукрашена гирляндами благоуханных цветов, увешана голубыми и розовыми тканями — как и следовало для такого великого праздника: *des Lebens schönste Feier* [прекраснейший праздник жизни — *нем.*], как говорит Шиллер. Г-жа Эдгар была очень значительное лицо в этом городе, итак собралась толпа поглядеть на невиданное дотоле зрелище — католическую свадьбу. Впереди всех у самого алтаря, с важною осанкою и с портфелем в руках, сидел официальный регистратор (*Registrar*), долженствовавший, по английскому закону, закрепить своим присутствием законность брака. Я сказал коротенькое поучение или приветствие молодым — почти со слезами на глазах, и неудивительно: я был самым *интимным* задушевным деятелем в этом семейном романе, и теперь, достигнувши счастливой развязки, я вполне разделял упоительное блаженство этой увенчанной любви. После церемонии мы все отправились в гостиницу, где был приготовлен роскошный завтрак для родных и знакомых. Тотчас после завтрака, не теряя ни минуты времени, молодые, по прекрасному английскому обычаю, исчезли от глаз *profanum vulgus* [непосвященная толпа — *лат.*], не посвященных в таинство любви, и на почтовых поскакали куда-то в Шотландию провести там медовый месяц (*lune de miel*).

В этой грациозной обстановке, среди этой мирной жизни, украшенной счастливым сочетанием религии, поэзии и любви, однажды в июне 1846 на нашем крыльце, обвитом розами и козьем листом (*chèvrefeuille*) [жимолость — *фр.*], послышался стук у двери. Брат-прислужка был чем-то занят на кухне: я побежал отворить. Какой-то слуга говорит: «Русский консул приехал из Лондона и желает видеть г. Печерина: угодно ли вам его принять?» Это просто меня ошеломило, я не в шутку перепугался, и не без причины. Несколько дней перед тем я получил письмо от Гагарина, где он уведомлял меня, что русский консул в Марселе грозился при первом благоприятном случае схватить его и, посадивши на военный корабль, отправить в Россию; итак Гагарин умолял меня быть крайне осторожным, и если какой-нибудь русский корабль зайдет в нашу гавань, то вовсе не ходить туда, хоть бы из естественного желания повидаться с соотчичами. Я отвечал отрывисто: «Какое мне дело до

русского консула? Я его вовсе не знаю и с русским правительством никаких сношений не имею». Но потом, подумавши немножко, прибавил: «Погодите немножко, я спрошусь». Я побежал наверх к настоятелю, а он, разумеется, сказал, что должно принять консула. Через полчаса он явился. Мы с настоятелем сошли вниз в приемную. Г. Кремер, генеральный русский консул в Лондоне, раскланялся со всеми хватками чиновника иностранной коллегии и с недоумением смотрел на нас, не зная, кто из нас двух Печерин. Я вывел его из сомнения, и он тотчас же изъявил желание остаться со мною наедине. Настоятель вышел.

«Ну, так мы станем теперь говорить по-русски», — сказал он. — «Нет! нет! — отвечал я, — я совсем позабыл говорить по-русски». — «Ну, так очень хорошо! — отвечал он, пожимая плечами. — Итак, я вам скажу по-французски, что у меня есть поручение к вам от правительства: мне поручено сделать вам запрос о ваших намерениях: намерены ли вы возвратиться в Россию?» Я отвечал с ужаснейшим азартом: «*Monsieur! Comment pouvez-vous me poser cette question voyant l'habit, que je porte?*» [Сударь! Как Вы можете задавать мне этот вопрос, видя одежду, которую я ношу? — *Фр.*] «*De grâce, — отвечал он с умоляющим видом, — de grâce, calmer-vous: je le demande dans l'intérêt de ceux mêmes avec qui vous sympathisez*» [Помилуйте, помилуйте, успокойтесь: я спрашиваю Вас об этом в интересах тех, кому Вы симпатизируете. — *Фр.*].

Я спросил его, какой он религии, православной или другой. — «*Chrétien protestant*» [протестант — *фр.*], — отвечал он с скромным наклонением головы. Тут он сказал, что все собранные им у здешнего консула сведения обо мне очень для меня лестны, и наконец видя, что со мною нечего делать, он опять учтиво раскланялся, прибавивши в заключение: «*Il me sera toujours agréable de rencontrer un compatriote, quelque habit qu'il porte*» [Мне всегда приятно встретить соотечественника, какой бы наряд он ни носил. — *Фр.*]. Мы проводили его со всеми возможными благословениями и сделали за спиною его огромное знамение креста, что в русском переводе значило: «Убирайтесь с богом!»

Кремер давно уже умер, но мне теперь приятно припомнить его вежливое и ласковое обращение со мною.

Через несколько времени после этого тот же вестник стучится у двери и зовет меня к русскому консулу в Фальмуте, почтенному квакеру Альфреду Фоксу. «Приятель (*friend*)! — сказал мне г. Фокс. — Я имею сообщить тебе очень неприятное известие: я получил вот эту бумагу из русского посольства: тебе должно ее прочесть и расписаться в прочтении оной». Я пробежал глазами: это было официальное заявление об исключении меня из русского подданства за принятие католической веры. Я расписался с величайшим хладнокровием и возвратил ему бумагу, не взявши даже с нее копии³³⁸. Г. Фокс крайне этому удивлялся и потом везде в городе рассказывал о моем чрезвычайном равнодушии при получении этого известия. «Ну да уж г. Кремер и прежде мне сказал, что этот че-

ловек на все решился: he has counter the cost» [Он взвесил все обстоятельства. — *Англ.*].

Когда подумаешь, что в это самое время делалось в России, — как наш царь-Саул бесновался паче прежнего и не нашлось ни одного Давида, чтобы подыграть ему на гусях и усмирить его бесом волнуемый дух³³⁹, — когда подумаешь об этом, то невольно поблагодаришь провидение за то, что оно укрыло меня от этих бурь в мирном убежище Фальмута.

Но мне самому становится смешно, когда припомню, что я делал в мае 1848, когда вся Европа всколыхнулась после Февральской революции, а у нас в Москве славянофилы и западники проводили дни и ночи в бесплодных прениях — что же я тогда делал? Я спокойно лежал на зеленой мураве на берегу моря, а вокруг меня паслось стадо овец: я был точь-в-точь Дон Кихот, превратившийся в аркадского пастушка. Это было в самом глухом захолустье, в крошечной живописной деревушке *Лангерн* (Langherne). Тут был старый господский дом елизаветинских времен³⁴⁰, принадлежавший прежде фамилии *Арундель*³⁴¹, а теперь обращенный в монастырь кармелиток. Меня туда пригласили на неделю или на две, чтобы занять место их каплана³⁴² во время его отсутствия. Ничто не нарушало могильного спокойствия этой обители, кроме однообразного пения монахинь: они пели в нос и в две ноты. Перед домом была целая роща вековых вязов; на них колыхались огромные гнезда ворон: их тут была целая республика и очень шумная: у них беспрестанно происходили какие-то прения; они вечно перебивали друг друга, как это делается во французском народном собрании, а иногда все сразу каркали: *très bien! très bien!* [прекрасно! прекрасно! — *Фр.*] Но самым занимательным лицом в этой обители была старая, престарелая кобыла, служившая некогда для верховой езды старику священнику, а теперь она жила на пансионе и была такая ручная, что без всякого приглашения сама подходила к окну и, без церемонии всунув голову, получала из рук кусок сахара, до которого она была ужасная охотница...

Все это тебе покажется ужасным ребячеством: это был медовый месяц моего священства: тогда я еще не раскусил горького ядра монашества и католицизма и не сказал с героем *Спиридиона*: *Gustavi paululum mellis et ecce nunc magior!* [Немного отведал меда и вот теперь умираю! — *Лат.*]

Пока жил Николай, мне никогда и в голову не приходило думать о России. Да о чем же было тут думать? Нельзя же думать без предмета. На нет и суда нет. Какой-то солдат привез мне из Крыма³⁴³ два листка петербургских газет. Кроме высочайших приказов по службе тут было приторное — болгаринским слогом — описание какого-то публичного бала. Вот все, что можно было знать о России!

Но лишь только воцарился Александр II, то вдруг от этой немой русской могилы повеял утренний ветерок светлого Христова воскресенья. Что ищите живого с мертвым? Русский народ воскрес! Да!

он воистину воскрес! Итак, обнимем же и облобызаем друг друга, да и поздороваемся красным яичком!

Фальмут (1845—1848)

«Какое торжество для святой церкви! Самодержавный властитель 60 миллионов, верховный вождь многочисленного и победоносного войска смирился, как агнец, перед кратким величием св. Петра в лице Григория XVI».

Вот как возглашали католические газеты в 1846 году по случаю свидания императора Николая с папою Григорием XVI³⁴⁴.

Наша благодетельница г-жа Эдгар была в постоянной переписке с ее духовным отцом шотландским иезуитом *Гловером* в Риме. Он прислал ей подробное описание пребывания государя в Риме. Как евангельская женщина, обретши погибшую драхму, созывает другини и соседы, глаголющи: радуйтесь со мною, яко обретох драхму погибшую³⁴⁵, — так и г-жа Эдгар на радости пригласила нас к себе на чай для того, чтобы выслушать это апостольское послание из Рима, в коем, между прочим, стояло следующее: «Молодой новообращенный в католичество англичанин стоял у самой лестницы, по которой императору надо было всходить во внутренние покои Ватикана. Вот первая сцена. Государь выходит из кареты — в полном мундире с лентою через плечо, со всеми орденами и звездами, с лучезарным лицом, и, благосклонно улыбаясь направо и налево, он твердым эластическим шагом идет по мраморным ступеням. — Молодец, да и только! «Каждый вершок в нем — царь!» — как говорит Шекспир. Every inch a King!³⁴⁶ — Англичанин остался дожидаться его возвращения. Не знаю, долго ли продолжалась аудиенция — час, или больше, или меньше. Вот вторая сцена. Государь появляется на вершине лестницы. Какая странная перемена! Совсем не тот человек! С крайне смущенным и расстроенным видом, с раскрасневшимся лицом, с крупными каплями пота на челе, он шел каким-то неровным, колеблющимся шагом и до того растерялся, что даже прошел мимо своей кареты, не заметивши ее».

Вот история или, лучше сказать, *дух истории* по иезуитскому толкованию. При этом надобно заметить, что у новообращенных католиков воображение очень живое, да и совесть очень эластическая, они не считают грехом иногда немножко прилгнуть для вящей славы святой матери церкви: я готов всему верить и верю, что Николая очень холодно приняли в Риме, что ему никто не ломал шапки, что римская аристократия не отверзла перед ним своих мраморных палат — все это возможно и всему этому я верю; но что наш Николай трусил и растерялся перед папою, да еще перед таким невзрачным папою, как Григорий XVI, — этому я никогда не поверю, даже если бы ангел с неба принес мне об этом известие.

Единственным свидетелем этого свидания двух *pap* (deux papes, как говорили французские либеральные газеты) был престарелый, выживший из ума, впавший в детство кардинал *Альтон*. От него, разумеется, ничего выведать было невозможно: на все расспросы

он отвечал благочестивым вздохом и поднятием очей к небу. А сам папа, когда его спрашивали, обыкновенно отделялся следующим ответом: «Я сказал императору то, что господь бог мне внушил».

Вот тут и все исторические данные, а остальное — игра набожного воображения или просто выдумка отличающихся своею лживостью ультрамонтанских газет.

Эта самая г-жа Эдгар лишь только увидела меня, тотчас произнесла обо мне суждение по системе Галла: «У него в сильной степени развит орган благоговения» (*l'organ de la vénération*) — *Ohimé! pur troppo!* [Увы! К сожалению! — *Ит.*] Перед кем и перед чем я не благоговел?

Известный демагог Струве³⁴⁷ при самом первом свидании с Герценом тотчас принялся шупать его череп: «Действительно, — сказал он, — *Bürger Herzen hat kein, aber auch gar kein Organ der Vénération* — у гражданина Герцена решительно вовсе нет «бугра почтительности»³⁴⁸. Вот в том-то и дело, что судьбы людей решаются головными шишками или буграми!

Начиная описывать жизнь в Фальмуте, я должен заметить, что наша обитель состояла из трех лиц: настоятель отец *де* Бюггеномс, брат-прислужник, *frère Félicien*, и — я. С моим бугром благоговения нетрудно угадать, какую роль мне пришлось играть!

Я нарочно подчеркнул — *де*: когда он был студентом в Виттеме, он назывался просто *Бюггеномс*; но после, вероятно, заметя его высокие качества, нашли нужным поднять его выше и всякими неправдами прикрепить к нему аристократическую частичку *де*. *Où l'ambition va-t-elle se nicher?* [Где только не кроется честолюбие? — *Фр.*] Его другом и покровителем был теперешний архиепископ Мехельнский, *Monseigneur Deschamps* (тоже редемпторист), самый яркий поборник папской непогрешимости, теперь высоко стоящий в церкви и почти самодержавно управляющий Бельгиею по милости стертого характера короля³⁴⁹. Этому *де* Бюггеномсу следовало бы быть кардиналом: он всех дипломатов бы за пояс заткнул. Куда твои *Меттернихи* и *Талейраны*? Он человек был вовсе не ученый и далеко не блестящего ума — но хитрость, но лукавство, но терпеливая пронырливость, но умение подделываться ко всем характерам для того, чтобы достигнуть своих целей, а выше всего особенный дар подкапываться под своего начальника всеми неправдами и клеветами и, уловив счастливую минуту, сшибить его с ног и сесть на его место — вот в этом он был неподражаемый мастер. Одна католическая церковь может производить таких великих людей. Он был моложе меня, довольно приятной наружности, и в этом отношении имел большой перевес у дам: щеки у него были пухлые и розовые, но впоследствии, с полным развитием характера, они оселись и повисли, а это именно отличительный признак отъявленных лицемеров — такими изображаются *Тартюф* Мольера и бессмертный *Пексниф* Диккенса³⁵⁰. Но тут я бросаю перо: мне надобно отдохнуть и собраться с мыслями: нельзя же наскоро очертить такой необыкновенный характер.

[...] Все поэтическое, грациозно-милое общество дам — г-жи Эдгар с ее дочерьми Анною и Каролиною — все это было прежде описано. В то время вышла в английском переводе книга Головина: *Nicolas I-er et les Russes* [Николай I и русские — *фр.*]³⁵¹. Он упоминал обо мне с большим почетом (*membre distingué de l'institut des professeurs* [видный член профессорского института — *фр.*]), но вместе с тем наврал ужасную чепуху (напр., *désespoir, tentative de suicide* [отчаяние, попытка самоубийства — *фр.*]). Все это придавало мне какой-то цвет романтического героя, всем пожертвовавшего своим убеждениям. А тут еще приехал молодой англичанин из Одессы с письмом от отца и матери и с образом богоматери. Этому англичанину не позолото было принять католическую веру в Одессе, и так он поспешил возвратиться в Англию и прямо ко мне для того, чтобы я принял его в лоно святой церкви. Это подало повод к некоторому торжеству в нашей маленькой церкви и умножило одним лицом наш маленький кружок.

[Фальмут (1845—1848)]

1-е продолжение

Но теперь все это в сторону и надо приступать к довольно неприятному предмету, т. е. к биографии достопочтенного отца де Бюггеномса. Еще до моего приезда ему удалось выказать всю свою дипломатическую удаль. В два года — не больше — он успел разными подколами, кознями и наговорами выжить из дома своего начальника отца *Лемфрида* и сесть на его место. Все это делалось хладнокровно, с математической аккуратностью и с удивительной стойкостью. Он начал с того, что всеми силами старался унижить своего начальника, сделать его презренным и смешным в глазах г-жи Эдгар и ее семейства. А г-жа Эдгар была важное лицо: самое существование миссии от нее зависело. Он втайне переписывался с девицами Эдгар и заставлял их рисовать карикатуры на о. Лемфрида: каждый шаг, каждое слово его он старался представить в смешном виде. А с другой стороны, он оклеветал его перед высшим начальством в Бельгии, обвиняя его в недозволенных сношениях с г-жою Эдгар. Отношения католического священника к женскому полу так свободны, фамильярны, задушевы, что легко могут подать повод к клевете. Отцу Лемфриду ставили в вину, что во время его болезни г-жа Эдгар иногда по целым часам сидела у его постели одна с ним в комнате. Но ведь это случается каждый день: сестры милосердия тоже сидят у изголовья больных день и ночь. А к тому же г-жа Эдгар была пожилая женщина с двумя дочерьми-невестами. Для лучшего исполнения своих планов о. *де Бюггеномс* вошел в заговор с вышеупомянутым братом-прислужкою, *frère Félicien*. Они так насолили своему настоятелю, что он наконец в отчаянии сказал: «*Vous avez empoisonné toute ma vie!*» — «Вы отравили мою жизнь!» — и про-

сил как милости у начальства перевести его в другой новооснованный монастырь в центре Англии, в Hanley Castle, а вскоре потом он и совсем вышел из ордена редемптористов. Частью и оттого, что он был француз, а бельгийцы французов терпеть не могут и называют их презрительным именем *fransquillons* [французишки — *фр.*].

Итак, о. Бюггеномс остался полномочным властителем в Фальмуте. Для того чтобы упредить будущее, он заставил бедную г-жу Эдгар сделать ему обет безусловного повиновения (*Voeu d'obéissance perpétuelle*), так чтобы она никогда ни в коем случае не могла идти наперекор его планам. Но это еще не все. Ему никак невозможно остаться одному в Фальмуте: ему непременно пришлют помощника. Что тут делать? Ну как попадет коса на камень? Для предупреждения этой невзгоды он умолял начальство в Бельгии прислать к нему не кого-нибудь другого, а именно отца Печерина, так как он имел к нему высокое уважение по его отличным качествам и способностям и надеялся в нем найти доброго и ревностного помощника. *Voilà un coup de diplomate!* [Вот поступок дипломата! — *Фр.*]

On connaît le diplomate

A sa haute cravate.

A ses longs favoris!

[Дипломата узнают по его высокому галстуку,

По его длинным бакенбардам! — *Фр.*]

Да! это была высшая дипломатия! Он с самого Виттема знал, с каким ревностным усердием я соблюдал монастырский устав до последней йоты, с каким благоговением я повиновался настоятелю, с какою живою верою в каждом *Supérieur* я видел лицо самого Иисуса Христа! Пагубная теория! Зловредное учение! Оно было спокон века сильным орудием в руках честолюбивых лицемеров для достижения их очень не идеальных целей. Еще в Виттеме он, как говорится, *заискивал* во мне; но когда я приехал в Фальмут, он рассыпался в заявлениях беспредельной дружбы и привязанности ко мне. Мне даже это показалось немножко странно: монастырским уставом запрещаются подобные нежные изливания, всех братьев должно любить одинаково, без особенной привязанности к частному лицу. Но что ж тут делать? Кто ж откажется от дружбы и любви, когда вам их предлагают и даже навязывают — особенно если у вас такое мягкое сердце, какое было тогда у отца Печерина? «Ведь я *Supérieur* только для формы, — сказал он мне, — мы совершенно равны: мы будем жить как братья». Чего же лучше? «Се что добро или что красно, но еже жити братие вкупе»³⁵². Под этими священными текстами сколько скрывается мошенничества! У нас взяточники тоже освящают свои проделки словами св. писания: *всякое даяние благо и вся дар совершен!*³⁵³

Итак, мы опять в Фальмуте.

Там, где море вечно плещет
на пустынные скалы.

Благоприятный климат, где лавры растут, переплетаясь с розовыми кустами, море, сверкающее в заливах, бухтах, разных закоулках под навесом черных скал — там и сям почтенные следы древней финикийской промышленности³⁵⁴: все в этом очарованном уголке как будто нарочно устроено было для того, чтобы украсить жилище пустытника. С каким-то странным сладостно-грустным чувством я вспоминаю об этом времени. Мне кажется — это сон, и я спрашиваю себя: неужели это был я? В эти три года я будто наполнил воды из реки забвения: ни малейшего воспоминания о прошедшем, ни малейшей мысли о России (кроме обязательных официальных писем к родным), ни малейшей заботы о завтрашнем дне: я жил буквально со дня на день (*du jour au jour*) с слепую верою, с неограниченным повиновением, с детскою доверчивостью к людям. Главное то, что у меня недоставало одной из важнейших пружин человеческой деятельности, т. е. *честолюбия*. Да! У меня его вовсе не было. Правда, оно являлось по временам, будучи возбуждаемо и подстрекаемо другими; но само по себе оно бы вечно спало непробудным богатырским сном. Если бы меня почти насильно не вызвали в Лондон (1848), я готов был остаться в Фальмуте до окончания века: жить в тесном кружке, делать кое-какое добро, любить и быть любимым — этого для меня было довольно. Я мог бы сказать с театинским кардиналом (*Cardinal di Teate*): «Я хотел бы преобразовать целый мир, но с тем, чтобы он не знал о моем существовании» (*sans que le monde se doûtât de mon existence*). Я всегда любил так называемую *скрытную жизнь* (*viè cachée*). Я хотел бы исследовать все глубины науки, но без *шума слов, без битвы прений, без гордости почестей* (*sine strepita verborum, sine pugnatione argumentorum, sine fassa honoris*). Я не мог быть профессором в России, потому что там требуется не в самом деле наука, а слова, декламация, *пыливглазбросание* и отличие по службе. Даже покойный *Грефе* говорил, что в Петербурге ученая жизнь невозможна, потому что там все поглощается официальностью или чиновническим честолюбием. А в Риме и подавно мне дышать было невозможно: там самое средоточие пошлейшего честолюбия. Вместо святой церкви я нашел там придворную жизнь в ее гнуснейшем виде. Вместо идеальных монахов, погруженных в созерцание вечных истин, изучающих в уединении природу и искусство, я видел безграмотных лентяев, бродящих от безделья по форуму или сидящих по целым часам в передних кардиналов в ожидании каких-либо милостей для их ордена. Самый подлеший русский чиновник, сам Чичиков никогда так не

льстил, не подличал, не пресмыкался, как эти монахи перед кардиналами. Из-за этого одного следовало бы давным-давно уничтожить светскую власть папы: она — поругание разума, святотатственное посягательство на достоинство человека, позорное пятно на щите 19-го столетия.

Но довольно! Вместо этих дрызг монашеского честолюбия не лучше ли сидеть в Фальмуте на берегу моря да смотреть, как судно с белым парусом колышется на волнах под самыми окнами нашего скромного домика? Наш домик стоял на террасе позади часовни. У нас было четыре комнаты наверху, т. е. четыре спальни, или кельи; внизу была приемная, столовая и кухня. Перед часовнею был палисадник, довольно запущенный, но все ж таки были еще кое-какие цветы. С этим палисадником случилась странная история. По каким-то распоряжениям начальства, нашего любезного и ловкого француза брата Фелициана перевели в другой дом на севере, а на его место в прислужники прислали к нам очень набожного, но неуклюжего фламандца. Кухня и садик поступили в его ведомство. Первым актом его администрации, его *сoup d'état* [государственный переворот — *фр.*] было то, что он повыврал остальные цветы из палисадника и на место их насадил картофель. «Ведь это, — говорил он, — полезнее для монастыря, а в цветах какой прок?» Боже милосердный! посадить картофель на видном месте, на террасе, на большой дороге, среди прелестных вилл и садилов — это было просто варварство! Недаром Жорж Занд сказала, что «монах без картин и без цветов не что иное, как свинья», т. е. она не сказала это так грубо, но деликатнее по-французски: *un animal immonde* [грязное животное — *фр.*]. Один только Виктор Гюго осмелился сказать прямо: *сochon* [свинья — *фр.*]; но ведь ему и не то еще спускают.

Тут мера моего терпения переполнилась, да и сам настоятель был совершенно со мною согласен. «Во что бы то ни стало надобно сбить с рук этого брата», — сказали мы друг другу (*il faut nous débarrasser de ce frère-là*). «Ведь это срам и позор особенно здесь, в Англии, где любят все изящное!» Сказано — сделано, и с позволения высшего начальства мы выпроводили нашего фламандца по живу по здорову, и он отправился обрабатывать картофель где-то в глуши в уединенной деревне, где его садоводство не могло оскорбить эстетического чувства людей высшего класса. А нам возвратили нашего милого расторопного Фелициана: под его руководством и с помощью садовника наш палисадник превратился в настоящий цветник (*parterre*) с прекрасными дорожками и роскошными цветами. Тут мы обыкновенно прогуливались два раза в день во время *рекреации* (*récréation*), т. е. час после обеда и час после ужина, когда позволено было разговаривать, а остальное время мы должны были хранить молчание.

Нас было трое: два священника и один брат-прислужник. И для двух священников немного было дела: число католиков не доходило до ста. Но для лучшего соблюдения монастырского устава и для благолепия священнослужения нашли нужным присоединить к нам еще одного патера и прислали какого-то полоумного француза —

теперь даже имени его не помню. Он не то что был сумасшедший, а так чего-то недоставало, и с ним случались странные припадки. Кажись, английский климат имел очень невыгодное на него влияние. Мы сидели однажды с ним за столом: брат Фелициан и я. Вдруг гляжу: лицо его совершенно изменилось; он посмотрел на меня искоса диким взглядом сумасшедшего и крепко схватился за нож; брат Фелициан остановил его руку. Я немножко струснул, но на этот раз этим дело и кончилось. Но скоро, однако же, пришел кризис. Однажды после обеда мы совершали краткую молитву перед алтарем в часовне. Вдруг что-то обрушилось на меня: мне казалось, что огромная лампада, висевшая перед алтарем, упала мне на голову, а вместо того это была — огромная пощечина, данная мне сумасшедшим патером со всего размаху с словами: «Pourquoi me persécutez-vous?» [Почему Вы меня преследуете? — *Фр.*] — так что я упал почти без чувств... После этого нечего было мешкать: настоящий решил тотчас с первым же дилижансом отправить этого юродивого восвояси, в более сродный ему климат Бельгии. Но накануне его отъезда я нашел нужным запереть свою комнату изнутри — бог весть, что могло случиться ночью. Но поутру он опять был в здравом уме и вообще перед чужими он как-то сдерживал себя и не показывал никаких дурных признаков.

На место сумасшедшего к нам прислали человека совсем другого разряда. К нам приехал патер *Лукс*, голландец, молодой человек, живописец, музыкант, певец — все что угодно. Ты, может быть, мельком его видел в Виттеме. Но брат Федор Печерин коротко с ним познакомился и старался всеми силами разведать — какие романтические причины побудили такого красавца пойти в монахи, но ничего не выведал, потому что *ларчик просто отпирался*³⁵⁵. По просьбе брата Лукс написал с меня портрет масляными красками — вовсе не похожий: он сделал меня красавцем и по крайней мере десятью годами моложе. А потом брат взял этот портрет с собою в Петербург и там отдал какому-то модному артисту поправить и окончить, *retoucher et donner le dernier coup de pinceau*, а тот уж действительно так его *доконал*, что вышло черт знает что такое до такой степени, что мать моя, увидев портрет, заплакала от досады. «Я ожидала увидеть монаха, а вижу ребенка». Это доказывает, что у простосердечной матери моей был истинный неподдельный вкус. А напротив — в современной католической церкви везде господствует *мишурный* вкус. Это особенно поражает в церквях господствующей секты, т. е. иезуитов: везде видно отсутствие простоты; все как-то натянуто, неестественно, вычурно, везде проглядывает какое-то мелкое тщеславие. Живопись в возобновленной церкви *San Paolo fuòri le mura*³⁵⁶ — ниже всякой критики. Был у них в Риме знаменитый живописец *Овербек*³⁵⁷, но и тот же ведь был немец и был вначале протестантом, а после перешел в католичество. Первое его произведение находится в лютеранской церкви в Любеке. В Риме все носит отпечаток крайнего изнеможения, дряхлости, рыхлости, все как будто разбито параличом; но все ж таки они бодрятся и хотят выставить себя молодцами. Основатель конгрегации редемптористов св. *Альфонс де*

Лигвори доселе обыкновенно представлялся дряхлым стариком небольшого роста с упавшею на грудь головою; но теперь, как редемптористы пошли в гору, им стало стыдно иметь такого невзрачного патрона. Вот, например, св. Игнатий у иезуитов: посмотрите, какой молодец! лихой офицер да и только! А у нас-то этакой плюгавый старикашка! Нет! этому надобно помочь для чести ордена! Итак, они принялись за дело: выпрямили св. Альфонса, прибавили ему несколько вершков роста, разбелили и раздумяли его и вышел — отличный кавалергардский полковник! Это напоминает мне польскую графиню, виденную мною в Хмельнике в 1823 г.: ей было лет за 70, но она всегда румянилась самую нежно-розовую краскою и с полуоткрытою грудью была одета точно, как девушка лет шестнадцати — вот католическая церковь в ее настоящем виде.

Слышал ли ты когда-нибудь о русском художнике *Габерцеттеле*³⁵⁸? В 1851 г. он выставял в Лондоне огромную картину: *Проповедь Иоанна Крестителя в пустыне*. Ее не одобрили в Петербурге. Государь Николай Павлович, взглянувши на нее, сказал: «Вот опять эта западная живопись!» — и отвернулся прочь. И Николай Павлович был совершенно прав. Не говоря уже о других подробностях, довольно было взглянуть на главную фигуру Иоанна Крестителя: вместо сурового вдохновения пророка тут выражалось какое-то приторно-сладкое изнеможение полупьяного *гандена*. В Лондоне тоже она не имела ни малейшего успеха. Этот же самый Габерцеттель непременно хотел навязать редемптористам им же писанную небольшую икону Спасителя. Настоятель отец де Гельд старался отделаться от него всеми способами, извиняясь тем, что теперь в Англии совсем другой вкус, что любят все старое, готическое и пр.; а в самом деле картина была невыносимо дурна. Лицо Спасителя в терновом венке было просто портрет какого-то итальянского щеголя с завитыми кудрями и любострастными глазами. Одно доброе дело сделал Габерцеттель: он привел меня с братом к хорошему дагерротиписту, а тот снял с меня верный портрет, доставивший истинное удовольствие моей незабвенной матушке.

В музыке тот же ложный мишурный вкус. В папской капелле в Ватикане поют еще кое-как сносно; но во всех других местах везде оперная музыка: им недостает только пригласить Штрауса³⁵⁹ проиграть вальс во время обедни. К чести греческой церкви должно сказать, что она с нерушимою верностию сохранила вместе с древними обрядами и древнее величавое благолепное песнопение. На Западе оно совершенно потеряно. Некоторые из здешних священников слушали обедню в русской церкви в Женеве: они в восхищении от нашего песнопения, никогда ничего подобного в жизни не слышали — да и где же им? С самого детства они слушают только итальянские рулады да вальсы Штрауса.

Итак, патер *Лукс* (Lux) приехал к нам с истинно *католическим* вкусом в живописи и музыке, с самым высоким понятием о самом себе, с гордою надеждою, что он обратит всех протестантов в истинную веру своею кистью и своим голосом. По примеру всех великих гениев он начал все преобразовывать, все переделывать по-своему:

расписал, размалевал всю нашу крошечную церковь сверху донизу с весьма сомнительным вкусом, и надобно признаться, что живопись его была довольно плоха. Случилось, что сардинский военный корабль остановился в фальмутской пристани: священник (*aumônier de la flotte* [корабельный священник — *фр.*]) пришел нас навестить. Мы показали ему свою церковь как какое диво. Взглянув на живопись, он с улыбкою сказал: «*Non era un Raffaele questo pittore*» [Этот художник не был Рафаэлем. — *Ит.*]. А когда ему объяснили, что этот *poŕ Raffaele* именно стоявший возле него патер Лукс, то он расхохотался и, размахнувшись руками, сказал: «*Eh bien! Je vous en félicite!*» [Ну что же! Я Вас поздравляю! — *Фр.*]

В католической церкви нет крылоса³⁶⁰, нет сословия дьячков и певчих, а на хорах поет всякий мирской сброд, особенно молодые люди и девушки, что подает благоприятный случай к волокитству, и это оперное пение, как и все театральные пьесы, часто оканчиваются счастливым браком. Патер Лукс, приехавший с намерением победить всех протестантов, сам остался побежденным и вместо того, чтобы обратить их в католическую веру, сам был соврращен в языческую веру известного всем древнего бога Купидона. На хорах у нас была новообращенная католичка — очень хорошенькая девушка и наша лучшая певица. Ей часто приходилось петь дуэты с о. Луксом. Вообрази себе их поющих вместе:

Ah! per ché non posso allearti

In fede com' io!

Ma del tutto ancher non sia

Cancellato del mio cuòre!

[Ах, почему я не могу присоединить тебя к моей вере!

Но во всяком случае ты неизгладима в моем сердце! — *Ит.*]

Им случалось часто видеться вне церкви. Надо же поговорить о музыке, выбрать и расположить ноты, надо спеться, сделать репетиции — мало ли каких потребностей не найдется у музыкантов и певчих. Он влюбился в нее по уши, и их взаимная привязанность сделалась слишком очевидною для всей почтенной публики, так что настоятель принужден был запретить п. Луксу видеться с ней наедине. Из этого вышла ссора. Перехвачено было какое-то письмо. Настоятель не хотел его выдать — Лукс насильно выхватил его и даже поднял руку на своего начальника во время самой молитвы...

Это все та же самая древняя история — и на театральной сцене и на сцене жизни, в монастыре, в хижине и в царских палатах — везде владычествует вечный присносущий непобедимый бог любви. Ему же царство и сила и слава во веки веков. Аминь.

Этой драме или комедии или трагедии могла быть одна развязка: в одно прекрасное утро очень рано п. Лукс вышел из нашего дома, одетый по-светски, с зонтиком в руках, молча пожал мне руку, кивнул головою и пропал бог весть куда. Его любезная — очень порядочная девушка, разумеется — не последовала за ним, но, говорили, очень великодушно доставила ему средства путешествовать. И этим кончается мой роман.

Теперь, слава богу, дошли до конца:
За это мне дайте стаканчик винца.
Из древней поэмы.

[Фальмут. 1846]

3-е продолжение

[...] Где бишь я остановился? Все еще в Фальмуте! Ах, боже мой!
какая скука! Все одно и то же.

Море вечно плещет
На пустынные скалы!

1 мая 1846 шегольской французский фрегат с трехцветным флагом вошел в Фальмутскую гавань: все мачты и снасти (кордаже) [от фр. cordage — такелаж] были испещрены разноцветными флагами и флагерами. Что это такое? что за праздник? Это были именины — тезоименитство — Луи-Филиппа³⁶¹, короля французов, la St. Philippe [День св. Филиппа — фр.]. К нам вышли на берег два иезуитских миссионера, отправлявшихся в Китай: один священник, а другой новаций в светском платье. Мы пригласили их обедать с нами. Несмотря на пресловутую иезуитскую осторожность и скрытность, эти господа как-то за столом проговорились и рассказали нам о всех их планах на случай, если с божьей помощью им удастся возвратиться в Россию, как Гагарин будет во главе русских иезуитов и пр. и пр. — Нет, брат! погоди! attendez! У нас на святой Руси еще не спятили с ума до такой степени, чтобы пригласить иезуитов. Оно хорошо в Англии при всеобщей веротерпимости; но и тут мне как-то становится жутко: боюсь, чтобы Англии не пришлось поплатиться за излишнюю снисходительность. С фанатиками невозможно входить ни в какие соглашения. Все великие государственные люди: Ришелье, Помбаль, Шуазель, Кавур и, наконец, Бисмарк преследовали иезуитов³⁶². Как теперь вижу перед глазами — раннее воспоминание моего детства — как иезуитов выпровожали за границу на открытых тележках (в 1819)³⁶³. [...]

В 1846—48 в Фальмуте
(окончание)

[...] Политическая дурь испортила лучшие годы моей юности. Откуда она взялась? Это нетрудно объяснить. Главная часть моего воспитания была на границе Польши и в руках двух политических деятелей, подготовлявших 14 декабря и польское восстание. Мой учитель писал ко мне следующую галиматью: «Свободная нация изберет вас своим первым консулом, и я счастливо умру подле вас». Этого было довольно, чтобы вскружить голову 15-летнему мальчику—

Он поэт! он вождь народный!
Он отечество спасет!³⁶⁴

С тех пор я начал прибавлять к своей подписи: т. е. вольность и равенство [так в тексте.— С. Ч.]! Все это как-то притихло, заснуло и даже умерло в обществе гвардейских подпрапорщиков и шулеров. Еще бы! Но гром июльской революции разбудил всех нас, как ты помнишь, а вместе с тем влияние незабвенной баронессы Розенкампф снова развило во мне революционные идеи. Еще при первом отъезде за границу я решил было уже не возвращаться и броситься стремглав в объятия республиканской партии и жить и сражаться и умереть с этими героями и мучениками свободы. У русских бездна честолюбия; но это честолюбие не любит трудиться и терпеливо достигать цели: нам все хочется подцепить славу как-нибудь мимоходом при первом благоприятном случае (*escamoter la gloire*) [похитить славу — *фр.*]. У подошвы Сен-Готарда я услышал о покушении Алибо на жизнь Луи-Филиппа³⁶⁵. «Вот как это легко,— думал я.— Стоит только выстрелить, и сразу попал в историю!»

Младенчество наших политических понятий видно уж из того, что у нас всякий считает себя способным на все без малейшего приготовления. Ведь не черти же горшки лепят! Лишь только Герцен приехал в Париж, тотчас бегут к нему навстречу на *Place Vendôme* Бакунин и Сазонов³⁶⁶: «Ну, что нового в России? Ожидают ли перемены министерства? Разумеется, если будет какая-либо перемена, то они непременно должны будут обратиться к нам, т. е. выбрать кого-нибудь из нашего кружка!» Вообразите: это в 1847 — в России да еще при Николае! Экие шалуны! Если бы я был Погодин, я бы сказал, что за такую блажь следовало бы им дать порядочную припарку розгами. В 1846 году скончался Григорий XVI. На место его выбран кардинал *Giovanni Mastai* — Пий IX. Недаром он упал в обморок при этом известии: он как будто предчувствовал свое бурное поприще. Да и вся Европа и весь мир как будто пошатнулись от изумления. Как! Папа — либерал³⁶⁷! Папа из того самого дома *Мастаи*, о коем покойный Григорий XVI с ожесточением говорил: «*Nella casa di Mastai anche i gatti sono liberali*» [В доме *Мастаи* даже кошки являются либералами.— *Ит.*]. Итак, это правда, воскликнул я, что католическая церковь истинная мать свободы! Верховный первосвященник с высоты апостольского престола призывает народ к восстанию против тиранов! Во Франции переполошились. Гизо³⁶⁸ утешал себя тем, что священник спасет короля (*le prêtre sauvera le roi*). А иезуиты были в то время заклятыми врагами папы. Уж как они забавлялись над ним на своих рекреациях. Братья-прислужники сделали паяса из картона и, дергая его нитками, заставляли взмахивать руками и ногами, приговаривая: «Вот это *Pio Nonno!* [Пий Девятый — *ит.*] — вот как им подергивают революционеры!» У кого тут не закружилась бы голова! Все как будто с ума сошли. Одна почтенная дама в *Фальмуте* с восторгом воскликнула: «*Thanks be to God! the Pope has turned protestant!*» Слава богу! Папа стал протестантом! В комнату ко мне вбегает, весь запыхавшись, французский учи-

тель Robion de la Trehonnais: «Vraiment le Pape est un grand homme, il a aboli les jésuites!» [Действительно, папа — великий человек, он сокрушил иезуитов! — *Фр.*] Этот Robion de la Trehonnais, принадлежавший к какой-то легитимистской фамилии, был сначала отчаянным вольтерьянцем, а после круто повернул и сделался крайним ультрамонтаном и даже напечатал приторно-напыщенное живописное описание своего паломничества к чудесному источнику la Saletta. Он часто был моим собеседником в Фальмуте, и от нечего делать я рассказал ему историю моей юности, и он так ею был восхищен, что тотчас же решился сделать из нее роман и позже нарочно приезжал ко мне в Лондон для собирания новых материалов, но настоятель положил на это запрет, и хорошо сделал, а то бы мне пришлось быть героем нелепо-чувствительного романа. Этот Robion de la Trehonnais после очень разбогател и теперь, кажется, живет в Алжире.

А тут неожиданно как бомба лопнула — революция 1848. Какой восторг! Франция — освободительница народов! Франция, открывающая новые блестящие судьбы человечеству. Революция и католичество протягивали друг другу руки. Народ везде сажает деревья свободы (*arbres de la liberté*) и призывает католических священников — да! священников Пия IX окропить святою водою эти свежие отпрыски свободы. С какою жадностью пожирались газеты. Луи-Филипп бежал, переодевшись, под прозаическим именем M-r Smith — вот он вышел на берег в New Haven — сделайте милость, покажите мне на карте, где это! Одна знакомая дама присылала нам еженедельно *Times*³⁶⁹, где подробно были описаны все эти европейские революции.

А между тем лукавый лицемер le Père de Buggenoms мотал себе на ус, тщательно записывал все мои восторги и доносил об них высшему начальству. Вследствие этого наш провинциальный настоятель отец де Гельд нашел нужным сам лично навестить нас для того, чтобы выведать мое настроение. При свидании со мною он ничего особенного не заявил, но через месяц после того я был вызван в Лондон, чтобы быть под его личным надзором.

Я так свыкся с этою скромною средою, так привязался к некоторым лицам, что мне горько было расставаться с Фальмутом. Я пошел проститься с Robion de la Trehonnais: он лежал больной в постели; мне надобно было делать героические усилия, чтобы скрыть свои слезы. Я утешал себя и его тем, что еду только на время и возвращусь, может быть, через месяц. Но судьбы иначе решили. [...]

Adieu Falmouth!

В одно прекрасное утро (как говорят литераторы) 1835 военный агент генерал Мансуров созвал всех находившихся под его начальством членов профессорского института и предложил им, между прочим, следующий вопрос: «Не знает ли кто из вас, господа: был ли император Павел два раза женат, т. е. была ли у него первая жена прежде Марии Федоровны?» На этот вопрос все оказались немогу-

знайками. Я осмелился доложить его превосходительству, что я достоверно знаю, что у Павла Петровича была первая жена Наталья Алексеевна. — «Да откуда жё вы это знаете?» — «Из самого достоверного источника, т. е. из придворного календаря такого-то года!» — «Да где же этот календарь? нельзя ли его достать?» — Как бы не так! Ищи ты ветра в поле! Календарь этот находился в библиотеке моего деда бригадира Петра Ивановича Симоновского, а библиотеку вместе с домом покойная бабушка моя Марфа Семеновна (это напомнило мне Крылова) еще при жизни словесно завещала моей матери, т. е. мне. Но вследствие русской безурядицы мошенник стряпчий Паченко — истый малоросс, смуглый, черноокий, дюжий, дебелий, с плутовскими глазами — просто без малейшей церемонии подписался под руку бабушки и завещал дом со всеми удобствами моему двоюродному брату Николаю Симоновскому. Вот таким образом отняли у меня последнее убежище на святой Руси — единственное место, что я мог действительно назвать родным кровом. Тут, в этой самой библиотеке, я почти родился и жил с матерью до третьего или четвертого года. Дед мой был необыкновенный человек для тогдашней России. Он учился в Кенигсбергском университете, путешествовал по Европе с Разумовским³⁷⁰ и до конца дней своих (до 97 года) был каким-то почетным директором училищ в Киевской губернии. В его библиотеке были все важнейшие произведения прошлого столетия в великолепных изданиях: все сочинения Лейбница, Гуго Гроция (*De pace et bello*), огромная еврейская библия с немецким переводом Мотера, Беседы Иоанна Златоуста в греческом подлиннике и то же в славянском переводе, Тассо и Гольдони³⁷¹, немецкие и французские романы той эпохи, университетские тетради и куча оперных *libretté*, вывезенных из Италии. Я деда не помню, но мать рассказывала мне, что он очень меня любил, и, когда я трепал ручонкою по какому-нибудь фолианту Златоуста, он говорил: «А! он любит священные книги! Он будет архиереем!» В этом одном ошибся почтенный старец: он не знал, что я составлен не из тех материалов, из коих делаются архиереи (*je ne suis pas de bois dont on fait les évêques*). Эта библиотека была для меня заветною святынею, и этой-то святыни меня лишили и вместе с тем отняли у меня все, что называется отечеством. Что такое отечество? Это — земля, семья, родной кров. У меня ничего этого не было. Нельзя же назвать родным кровом какую-нибудь жидовскую квартиру в Новомиргороде или хату, покрытую соломою, в Комисаровке, где нас однажды снегом занесло, или бивуак под открытым небом в бессарабской степи. Да сверх того, я никогда не жил в собственной России, а все шатался по Лифляндии, Белоруссии, Подолии, Волыни, Бессарабии, даже до Яссы мы доходили. Какое же тут отечество? Человек без земли не что иное, как батрак-чиновник, наемник правительства. Если бы я теперь возвратился в Россию, то со мною случилось бы то же, что с Ноевою голубицею³⁷². После страшного потопы ее выпустили из ковчега — чего бы, кажется, лучше? Возвратиться на родную землю, где она родилась и была воспитана — а вышло иначе. Бедная голубка попорхала, поглядела и, *не обретши покоя ногами своими, возвратися*

в ковчег³⁷³. Вот то же бы и со мною было. На всем неизмеримом пространстве русской империи нет нигде ни пяди земли, где бы я мог найти покой *ногами своими*, нет ни одной точки, где бы я мог стать твердою стопою. Тут напрасно кричать с Архимедом: *Da mihi punctum ubi consistum!* Дай мне точку опоры! Этой точки нет и быть не может. Мое появление в России было бы похоже на воскресенье мертвого после сорокалетнего могильного сна. Все бы закричали: «Что это за чудо-юдо? Откуда оно взялось и кто его знает?» — «Да есть тут сторожилы, что знают его, вот, например, Чижов да Погодин». — «Ну да ведь эти люди уже отжили свой век — пусть они его где-нибудь упрячут, а нам какое до него дело». — Это приводит мне на мысль нелепость детских басен о воскресении мертвых. Если бы с начала мироздания хоть один мертвый воскрес, то это произвело такую сумятицу, такое расстройство во всех отношениях общественной жизни, что все единогласно приговорили бы этого воскресенца к смерти и поспешили бы снова заколотить его в гроб. Сушая нелепость.

Какая же тут связь с эпитафией: *Adieu Falmouth!* Да! прощай, любезный Фальмут! *С тобою* я расставался с истинною грустью! Россию я покидал без горя: мне не о ком и не о чем было жалеть! Я мог сказать с Байроном:

*My greatest grief is that i leave
Nothing that claims a tear.*

«Мое величайшее горе есть то, что я не оставляю за собой ничего достойного одной слезы!»³⁷⁴

Но в Фальмуте в три года (1845—48) я свыкся и сроднился с тесным кружком, где я любил и был любимым. В то время еще не было железной дороги от Фальмута до Экзетера, а ходил дилижанс с четверкою лихих коней. В конце апреля в 9 часу вечера я, пригорюнившись, сел один-одинехонек в углу дилижанса; и кони помчались стрелю. Сердце рвалось назад: я покидал знакомое, родное и несся в неизвестную даль — в Лондон. Я исполнял священный долг повиновения высшей воле. После я опытом узнал, что все потери и разлуки для нас очень полезны: они поднимают нас из низменной сферы в вышшую и более светлую...

Лондон

1-го мая 1848

Десять лет назад это число казалось мне так близким, как будто вчерашний день; а теперь³⁷⁵ оно отодвинулось в такую туманную даль, что уж принадлежит к годам первой юности (хотя мне тогда было за сорок лет). 1-го января 1875 будет ровно 30 лет с тех пор, как я в первый раз вышел на берег Англии. Страшно и подумать! В это время целое поколение людей успело родиться, вырасти и умереть.

Хотя мне и грустно было расставаться с Фальмутом, но всё же таки эластическая упругость юной жизни брала свое. Я ехал в Лондон полный веры, надежды и любви, с беспрекословным повиновением, с неограниченным доверием к людям — я ехал, как солдат, идущий в поход по приказанию начальства... куда? зачем? против кого? за кого? — А мне какое дело? Приказано да и только! Жизнь — копейка, командир — наживное дело! Мною тогда обладал дух самопожертвования. «Величайшая и достойнейшая жертва, какую человек может принести богу, это — пожертвовать своим разумом и волею». На это можно теперь возразить, что если отнять у человека разумную свободу, то что же останется? — Хорошо дрессированная скотина, лошадь или собака, выкидывающая разные штуки по мановению хозяина. Но к этому именно и стремится вся система иезуитов. По словам св. Игнатия, иезуит в отношении к своему настоятелю должен быть как бездушный труп, как посох в руке старца и пр.

С Паддингтонской станции (Paddington station) я взял извозчицью карету (cab) и меня везли каких-нибудь два часа, пока мы, наконец, достигли отдаленного южного предместья Клапам (Clapham). Лондонские предместья беспрестанно расширяются, открываются новые улицы, дома растут как грибы, те же номера повторяются с прибавкою капитальных букв. Едва-едва мы отыскивали небольшой домик под каким-то № 85 В, где отец де Гельд остановился у нашего приятеля и благодетеля г. Фильпа (Philp). Он теперь значительный книгопродавец в Лондоне. Отец де Гельд принял меня с отверстыми объятиями, выхваляя мое быстрое повиновение (prompt obéissance). Этой быстроте повиновения много содействовал мой почтенный настоятель в Фальмуте, отец де *Бюггеномс*. Он нарочно поспешил отправить меня в пятницу для того, чтобы не дать мне случая сказать прощальное слово народу в воскресенье и получить от него знаки сочувствия. Этот человек (т. е. де Бюггеномс) терпеть не мог ни соперника, ни равного. Он, казалось, беспрестанно повторял себе слово Кесаря: лучше быть первым в деревушке, чем вторым в Риме. В тот же вечер я имел случай видеть начало нашей деятельности. Полдюжины маленьких девочек, составлявших католическую школу, под надзором г-жи Фильп собрались в маленьком садике, где им раздавали разные премии и потчевали чаем с пирожками. В доме г. Фильпа не было отдельной комнаты для меня, итак, меня отправили на ночлег в другую улицу в дом двух престарелых девиц, составлявших всю католическую аристократию Клапама. Клапам в то время был твердынею самого строгого евангелического протестантизма. Нога католического священника никогда там не бывала. Главное население состояло из богатых купцов, отправлявшихся каждое утро в 9 часов с омнибусом в *Сити* в их торговые конторы. Кое-где в закоулках и глухих переулках гнездились кочующие семьи бедных ирландских работников — это была наша будущая паства.

Незадолго до нашего приезда поселилась в Клапаме некая г-жа *Гобриан* (Goesbriand) из Бретании: она составила какое-то общество светских дам, связанных некоторого рода монастырским уставом и занимающихся разными богоугодными делами. Мы поселились по-

камест в их доме: нам отвели две комнаты, с столовою, и мы жили у них на пансионе. Из двух других комнат сделали довольно обширную залу: тут мы поставили алтарь, и это была наша первобытная церковь. В воскресенье, бог знает откуда, набралось довольно народа, так что зала была наполнена. Монсьеор *Талбот* (бывший после папским камергером — *chambellan*, а теперь находящийся в доме сумасшедших) в очень лестных выражениях представлял или отрекомендовал *народу* отца де Гельда как опытного миссионера, объехавшего Европу и Америку. При вечерней службе я говорил проповедь, от которой все были в восхищении, и после этого наша маленькая церковь всегда была битком набита, так что люди задыхались от жару. Меня пригласили проповедовать в самом Лондоне в большой католической церкви св. Георгия, и тут уж были стенографы, записывавшие каждое мое слово. При этом случае я познакомился с директором государственного банка Шелиотом, о коем упомянуто выше. Нас было двое: о. де Гельд и я, и мы по возможности строго соблюдали монастырский устав. Поутру в половине 5-го я будил моего почтенного настоятеля, и мы вместе преклоняли колена и совершали утреннюю молитву и духовное размышление (*méditation*), потом следовала обедня и пр. праздные сношения с нашею паствою.

О. де Гельд, или фон Гельд (*Held*), был очень хорошей австрийской фамилии, и монашеская жизнь нимало не испортила его прямодушно-твердого и благородного характера: он обходился со мною очень деликатно, с какою-то отеческою любовью и вместе с тем с величайшим уважением; у него была поэтическая рыцарская душа, и он понимал подобные чувства в других: он умел вполне оценить мои таланты и давал им надлежащее направление: он был моим Моисеем, я был его Аароном³⁷⁶: я доселе храню благодарную память о нем. [...]

В то время Лондон был убежищем всех беглецов от революции. Меттерних с семейством поселился возле нас. Он как-то захворал, и нашли нужным послать за священником — пригласили о. де Гельда. Его приняла сама графиня и сказала, что муж ее только слегка нездоров и сейчас к нему выйдет. Тут завязался разговор и слово в слово графиня сказала: «Мой муж очень ревностный католик и, правду сказать, он лучше самого папы!» Каково? Как времена изменились! Тогда Пий IX считался опасным либералом, а теперь — успокойся, возрадуйся и ликуй, о тень Меттерниха! Пий IX человек тебе по сердцу, и ты скоро с отверстыми объятиями встретишь его на полях Елисейских³⁷⁷! Вышел Меттерних в халате или сюртуке, не помню — и оказалось, что он просто старый болтун. У него вечно одна и та же песня, т. е. что все зло в мире происходит от *измов*, напр., либерализм, конституционализм, социализм, коммунизм и пр. Я удивляюсь, что о. де Гельду не пришло на мысль заметить ему, что к этому же разряду зловредных *измов* принадлежат: Catholicisme, ultramontanisme и даже Catechisme [католицизм, ультрамонтанство, катехизис — *фр.*]. Видно, что остроумие Меттерниха далее не простиралось, потому что после, когда известный Велво³⁷⁸ навестил его в Вене, он сообщил ему второе издание той же диссертации об

измах. Канцлер о. *Ксенстирна*³⁷⁹, посылая сына путешествовать, сказал: «Ступай, мой сын, и собственным опытом узнай, как мало требуется мудрости, чтобы управлять миром» (*quam minima sapientia gubernatur mundos*).

Лондон

От мая до августа 1848

Отец де Гельд не имел дара слова для того, чтобы быть проповедником, да сверх того его ограниченное знание английского языка не позволяло ему входить в близкие сношения с народом: итак, вся обуза *пастырского попечения* лежала на мне. Я каждый день с утра до вечера рыскал по окрестностям, отыскивая заблудших овец Израиля — и, правду сказать, это было очень паршивое стадо. В разных закоулках и лачужках гнездились бедные ирландцы самого низшего класса, самые *дрожжи* общества, *la lie de la population* [отребе — *фр.*]. Ирландцы в Ирландии имеют многие любезные качества; но, переселившись в Англию, они совершенно перерождаются и делаются ни к чему негодными негодьями.

Много говорят об уважении и привязанности ирландского народа к их духовенству. Это требует объяснения. Если ты воображаешь, что ирландец глядит на священника как на представителя невидимого божества на земле, как на *казначая* сокровищницы небесной благодати, то ты очень ошибаешься: понятия ирландца не поднимаются так высоко. А вот почему он уважает и любит священника:

1) Все ирландские священники вышли из крестьянского сословия, т. е. они — сыновья фермеров и, несмотря на воспитание, получаемое ими в духовной академии в *Мейнуце* (*Maynooth*), они разделяют все невежественные предрассудки и дикие страсти своего класса; они все демагоги и стоят за народ против правительства, следовательно, свой своему поневоле брат. Священники прикрывают грехи народа, а народ смотрит сквозь пальцы на проказы священников — рука руку моет и ворон ворону глаз не выклюет. Из этого образовалось два мифа: целомудрие женщин и целомудрие священников; оба они носят на себе печать самого богатого поэтического вымысла.

2) Ирландец смотрит на священника как на опасного колдуна, с которым надо ладить, а не то беда будет. Он, пожалуй, и взглянет, нашепчет что-нибудь, наговорит или наведет какую-нибудь лихоманку. Ну, а обмануть колдуна, когда тебе от этого полза, то в этом нет греха. Это объяснится практически впоследствии.

3) Ирландцы буквально и слепо верят в эти евангельские слова: «*на недужные руки возложат, и здрави будут*»³⁸⁰. Они действительно верят, что священник может исцелить всякий недуг одним прикосновением, если только захочет. В Ирландии найдется не одна кровоточивая жена, что скажет про себя: «Если только коснуся ризы священника, то наверное исцелюся». Однажды молодая женщина пришла благодарить меня за то, что я излечил сестру ее от сле-

поты: «Она была слепа, а теперь совершенно видит». Клянусь богом, что я ни видом не видал, ни слухом не слышал ничего подобного, никакая слепая женщина ко мне не приходила, а все это был просто плод воображения. Это как нельзя лучше объясняет все евангельские чудеса или действительно совершившиеся, или вымышленные (что все одно и то же) в самой невежественной и легковой среде, в этой римской Ирландии, в Палестине, — в глуши, в бедных деревушках, между дикими горами, на берегу уединенных озер. В этой самой Палестине до сих пор каждый европеец считается чудотворцем, *Хакимом*³⁸¹, т. е. доктором, излечивающим все недуги одним прикосновением. «Вот этак он плюнет на землю, да смешает слюну с песком, да и помажет больное место и тотчас выздоровеешь». Известный английский путешественник *Палгрев*³⁸² проникнув в дотолу недоступную среднюю Аравию под личиной сирийского медика. Хотя он ни аза не смыслил в медицине, но с помощью разных безвредных сиропов и мазей производил чудеса, и все от мала до велика — даже самые знатные люди — были от него без ума. Здесь, в глуши, в Западной Ирландии, где еще кое-где говорят ирландским наречием, некоторые священники набивают себе карманы этим чудотворным ремеслом.

Даже в предместьях Дублина, у самых городских ворот, в монастыре пассионистов явился однажды чудотворец отец Карл (father Charles). К нему из деревень мешками медные деньги носили за чудотворные леченя. Это возбудило зависть белого духовенства, представил дело кардиналу, и он запретил эти чудодейства и приказал отослать отца Карла в другой монастырь. Очевидно, что в Ирландии средние века еще не прошли. После этого предисловия обратимся к делу, т. е. reprenons le fil de notre narration [возвратимся к нити нашего повествования — *фр.*].

Однажды под вечер, в сумерки, пришли ко мне молодой парень с молодой женщиною, пали на колени, прося благословения. «Сделайте божескую милость, батюшка, обвенчайте нас теперь же: мы завтра рано поутру отправляемся через Ливерпуль в Америку». Что тут делать? Ведь Клапам — это африканская пустыня, настоящая Сахара, — тут не к кому обратиться, никаких справок взять нельзя; вот так я и поверил им на слово и обвенчал их. А они в Америку вовсе не поехали, а притаились в каком-то закоулке в Клапаме, и после оказалось, что у этой молодой женщины был уже первый муж в Америке. Подобные проделки нередки между благочестивыми ирландцами. Благо под боком Америка, прибежище всех скорбящих и всех негодяев. Николай называл Париж помойною ямой Европы; а Америка уж целый океан всемирных нечистот. Недавно молодой человек лет 18-ти женился на очень порядочной и скромной девушке, пожил с нею два года, покинул ее и уехал в Америку, где и пошел в солдаты в армию Соединенных Штатов и, вероятно, там найдет другую жену без малейшего зазрения совести. Легкомыслие, любовь к приключениям и бродяжнической жизни и отсутствие всякого чувства долга, т. е. нравственного чувства вообще (*sens moral*) — вот главные черты ирландского характера! А из этой басни мож-

но вывести следующее нравоучение: «Колдуна обмануть не грех, если этак от него можно чем-нибудь поживиться».

Однажды рано поутру, когда я был занят церковною службою, отца де Гельда вдруг призвали в Ругамптон в монастырь *du sacré soeur*³⁸³ для духовных упражнений. Не имея времени со мною проститься, он оставил на столе кучку серебра для обыденных расходов. Я, даже не считая этих денег, так просто взял и положил себе в карман. А тут на беду получаю письмо из Лондона от молодого бельгийца, которого я знал в Фальмуте: он был в крайней нужде и умолял меня навестить его и помочь сколько возможно. Надобно было ехать в Лондон (5 миль) и дать кое-какое пособие этому молодому человеку (хотя сказать мимоходом, он вовсе его не заслуживал), и вышло, что по возвращении о. де Гельда через два-три дня у меня из целого им оставленного фунта едва ли осталось 2—3 шиллинга. От этого о. де Гельд возымел очень дурное понятие о моих экономических способностях, и с тех пор у нашей братии утвердилось поверье, что я к администрации вовсе не способен.

Между тем шли переговоры о покупке дома для обители редемптористов. Странная игра судьбы! Нашелся обширный дом с прекрасным садом, тот самый дом, где учреждено было первое библейское общество, где знаменитый *Вильберфорс* собственноручно раздавал библии народу из окна³⁸⁴. В саду был старый трехсотлетний дуб елизаветинских времен. Откуда взялись деньги на эту покупку, это для меня доселе осталось тайною, потому что о финансовых распоряжениях мне ничего не сообщили как человеку, в этих делах ничего не смыслящему. Вероятно, тут содействовали богатые английские католики, особенно отец нынешнего герцога Норфолкского³⁸⁵, да и у самих отцов редемптористов, у этих *христовых бедняков* (*rauvres du Christ*) порядочные фонды в запасе, так что они везде строят великолепные дома и церкви. После покупки дома тотчас занялись постройкою церкви. Мы с о. де Гельдом отправились к архитектору и заключили с ним контракт и запили его шампанским. Я тогда был в самом апогее (*apogée*) моей славы. В каком-то собрании благотворительного общества меня пригласили сказать речь, и она вышла так удачна и метка, что епископ (после кардинал) Вейзман в ответ на нее отозвался обо мне в самых лестных выражениях: все были в восхищении и просили у меня рукописи, чтобы напечатать; но так как я никогда не писал своих речей, а всегда импровизировал под вдохновением минуты, то это оказалось невозможным, и они должны были довольствоваться тем, что записали стенографы. Надобно было видеть остервенение народа в Клапаме, когда рабочие начали ломать решетку и вырывать кусты и цветы перед домом для того, чтобы расчистить место для церкви: им едва ли можно было работать от беспрестанных криков и ругательств проходящих. Без сомнения, это было с нашей стороны наглým посягательством на строго-протестантскую святыню Клапама.

В это же время с помощью лорда Арунделя нам удалось попасть в парламент. Это было еще в старом, очень простом и невзрачном здании. Тут я видел Веллингтона и лорда Абердина, тогдашнего

первого министра и большого приятеля нашего Николая³⁸⁶. Всего более поразила меня благородная простота этих прений: тут не было ни тени напыщенного красноречия, ни театральных жестов: это было просто собрание деловых людей, серьезно рассуждающих о важных делах без малейшего желания выказать себя. Во Франции, напротив, члены парламента думают не столько о благе народа, сколько о том, как себя показать, как размашисто взлететь на кафедру, произнести напыщенную речь вроде проповеди с самыми бешеными театральными жестами. Французы вечно останутся риториками, и они ни к чему другому не способны, и когда Францию постигнет участь Польши, то они везде (особенно в России) будут славиться как отличные преподаватели риторики: они будут учить русских мальчиков произносить с особенною *эмфазою* и с невозможными жестами *le récit de Théramene*:

A peine nous sortions des portes de Trézénè,
Il était dans son char...³⁸⁷

Когда я читаю Шекспира, я чувствую, что я у себя дома, так сказать, в халате, могу разлечься на диване или на траве под кустом — я у себя дома, так сказать, в объятиях матери-природы; но для того, чтоб читать Расина, надобно непременно встать, принарядиться, напудрить голову, надеть придворный кафтан и, взяв шляпу под руку, стать в третью танцевальную позицию.

De deux nations connais la différence! [Познай различие двух наций! — *Фр.*]

[Лондон. 1848]

Окончание

Итак, мы опять в Лондоне и в 1848.

О Лондон! Милый Лондон!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно,
Но тщетно слезы лью.

Лишь только мы обзавелись домом, как вдруг нахлынула на нас целая эмиграция редемптористов, выгнанных из Вены. Что тут делать? куда их девать? Немногих из них мы кое-как приютили у себя, а остальных отправили на подножный корм в провинцию к кое-каким католическим помещикам, нуждавшимся в домашних капланах. Но и там над этими святыми отцами исподтишка смеялся до сих пор странный и неуклюжий прием. Уровень их образования был довольно низок, по крайней мере в сравнении с здешними священниками. Английский, особенно лондонский, священник — хочет он, не хочет — должен быть образован: он живет в атмосфере, насыщенной *культурою*, читает газеты, журналы, обозрения и все произведения современной литературы, следит за парламентскими прениями

и имеет свои более или менее либеральные политические мнения; а тут вдруг нагрянула полудикая орда с стародавними славяно-германскими, австрийско-меттерниховскими преданиями, с открытою ненавистью ко всякого рода свободе и с подлейшим обожанием деспотизма. С одним из них я очень подружился. Он был мне родич — чех. *Отец Петрак* (Pietrak) — человек с большим талантом и сильным воображением. Когда его арестовали в Вене — целая ватага молодых чиновников революции окружила его: «Скажите, пожалуйста, так это вы тот самый фантастический проповедник (phantastischer Prediger), о котором вся Вена говорила?» С этим Петраком можно было говорить о политике и литературе и даже цитировать Шиллера — что в Риме считалось бы предосудительным. Когда меня в этом самом Риме представили кардиналу Рейзаку (бывшему архиепископу Мюнхенскому), на вопрос его, как мне нравится Рим, я ответил стихами Шиллера:

Prächtiger als wir in unser'm Norden,
Wohnt der Bettler an der Engelsporten
Denn er sieht das ewig einz'ge Rom!³⁸⁸

«Вот видите ли,— сказал он с улыбкою, обращаясь к сопровождавшему меня патеру,— видно, он читал все эти дурные книги!» Шиллер — дурная книга! О, Di immortales! [О, бессмертные боги! — Лат.] У Петрака было нечто прямодушное, откровенное, славянски-любезное. Был там и другой чех — о. *Гаклик*, но этот уж был совершенный невежа, ужасный добряк и простака, и далее часослова мысли его не простирались. Он в старые годы был женат, т. е. прежде, чем пошел в духовное звание, и у него была дочь монашенка в каком-то бельгийском монастыре. К этому же времени прибыло к нам два новообращенных американца, из коих один, о. *Гекер*, теперь известен всему католическому миру как даровитый издатель журнала «Catholic World»³⁸⁹ в Нью-Йорке. Он заставил папу расплакаться, изображая перед ним восторженным языком распространение католической веры в Америке. Этот Гекер просто дитя, живущее одним воображением,— он только видоизменение старых фанатических американских пуританов.

Ну что? забавно? ты, чай, зевнул?

Три женщины

Не добро быти человеку единому:
Сотворим ему помощника по нему.

Книга Бытия³⁹⁰

В июле 1849 в туманном и дымном Манчестере, где солнце видеть за редкость, отцы редемптористы давали миссию в готической церкви св. Вилфрида. Каждый вечер церковь была битком набита. Однажды после вечерней проповеди часу в 9-м я сидел в *исповедне* (confessional). Подходит ко мне девушка — одна из так называемых *несчаст-*

ных — нельзя сказать, чтобы она была очень красива собою; она была, так сказать, средней руки. Вот ее история: «Я шла по улице с двумя подругами; вижу, церковь освещена, я вошла на минуту, а тут проповедь. Священник с большим чувством рассказывал раскаяние и покаяние Марии Египетской³⁹¹ — это тронуло мое сердце. Я и прежде давно уж думала оставить этот несчастный образ жизни; но что же мне делать? где приютиться? Я пришла вас попросить, не можете ли вы сделать что-нибудь для меня — доставить мне средства добывать насущный хлеб честным образом». — «Очень хорошо, — отвечал я, — я постараюсь, приходите ко мне завтра поутру». А на следующий день является ко мне разряженная дама, и из ее повести явствует, что она тоже была в старые годы, как говорят здесь, *на улице*, но теперь она замужем за богатым купцом, живет в почете и довольстве. «Ну вот и прекрасно! Бог дает вам случай сделать доброе дело. Вот так и так — вчера была у меня девушка», — и рассказал ей все. Она тотчас же подхватила: «Тотчас же пришлите ее ко мне: я сделаю для нее все, что могу». — И на следующий день она взяла ее себе в прислуги. Каково! Вот так иногда случается сделать добро украдкой и тихомолком.

Вторая женщина

Английский лорд или просто богатый джентльмен женился в Париже на балетной фигурантке — *fille de ballet* [танцовщица из кордебалета — *фр.*]. У него большое поместье в Ирландии — вот они и переселились сюда на житье: они живут в совершенном уединении и никто к ним не ездит. Бестолковые католики объясняют это тем, что она католичка: это сущий вздор! в высших сферах вовсе не обращают внимания на различие вероисповеданий: католические лорды с их семействами приняты везде в высшем обществе и при дворе. Но дело в том, что человек, хоть мало-мальски знакомый с хорошим обществом, с первого взгляда увидит, к какому сословию эта француженка принадлежала. Она высокая, стройная, с полными формами женщина, в полном смысле *belle femme* [прекрасная женщина — *фр.*]! Но манеры ее как-то отзываются рыбным рынком (*marche aux poissons*), и хотя она и парижанка, но даже ее произношение как-то грубо и шероховато. Не будучи в состоянии свободно выражаться по-английски, она обратилась ко мне для исполнения христианского долга. Я в то время был еще под влиянием романтических идей: я воображал себе, что подобная женщина должна была быть жертвою несчастной любви, обольщения и пр. и пр. — и предложил ей вопрос в этом смысле. Она отвечала со свойственной француженкам грубостью и цинизмом: «*Quel diable! quel amour! je n'ai jamais aimé personnes, il me fallait de l'argent et voilà tout!*» [Кой черт! какая любовь! я никогда не любила людей, мне просто были нужны деньги, вот и все! — *Фр.*] Вот урок сентиментальным Дон Кихотам. Я раз только был у них в доме. Странно! Кажись, богатый дом — а все как-то не клеится. Он больше походил на жилище студента с гризеткою в 6-м этаже, чем на семейную обитель джентльмена. Во

всем был какой-то беспорядок, распушенность, неряшество. Знаешь, в доме, где есть благовоспитанная умная женщина, добрая мать семейства, тут слышишь какое-то благоухание семейной жизни, везде виден порядок, чистота, изящный вкус; а тут, напротив, везде видна была гризетка. Что ни говори, а эти неровные браки никуда не годятся. Как же женщине жить вне общества? Она поневоле должна сделаться кухаркою. Счастлив этот барон своею женитьбою или нет — этого я не знаю, но я уверен, что жена к нему очень привязана и верна ему, тем более что нет для нее никаких искушений и соблазнов, потому что они никуда не выезжают и никто к ним не ездит.

Третья женщина

У женщин этого класса в Ирландии более чувствительности, более сердца. Много их перебывало у меня во время холеры. Сколько я видел миленьких личек, которых ни разврат, ни болезнь не могли исказить! Какие роскошные длинные густые волнистые волосы, такие волосы, что какая-нибудь дама заплатила бы за них весом золота. Одна из этих несчастных жертв умерла на руках у меня. Перед смертью она сказала мне: «Поцелуйте меня в щеку, и я умру счастливою» (*Kiss me on my cheek, and I will die happy!*). Я в то время (этому 12 лет)³⁹² был строгим блюстителем *духовных* приличий: мне показалось это неприличным, и я дал ей поцеловать холодное медное распятие... Какое-то облако грусти омрачило ее лицо: она как будто чувствовала себя отверженною, презренною... До сих пор не могу забыть я и до сих пор мне жаль, что не исполнил ее просьбы. Этот поцелуй был для нее символом прощения, примирения, восстановления здесь, на земле, и залогом вечного блаженства за гробом. Вот так-то мы крепки задним умом!

[Ругамптон. 1851]

Нет, любезный Чижов, тебе не следует извиняться передо мною. Мне даже становится стыдно отнимать у тебя драгоценное время, посвященное столь важным и полезным занятиям. Но что ж делать? Тут уж судьбою решено: одним она дала на долю — действовать, а другим — мечтать. *J'ai fait mon pacte définitif avec le diable, et le diable c'est la pensée* [Я подписал свой окончательный договор с дьяволом, и этот дьявол — мысль. — *Фр.*].

В эти каникулы³⁹³, как ты их называешь, — одна мысль владела и владеет мною: Западной Европе предстоит важный религиозный перелом. Мне кажется, я уже слышу предсмертный бред католицизма. Какая странная перемена! Эта консервативная, аристократическая, придворная церковь — задушевная приятельница всех деспотов, прикрывавшая своею мантиею вековые злоупотребления власти, — вдруг превратилась в отчаянно-революционную демократическую церковь: ее священники сделались демагогами, вождями невежественной и буйной черни; сам первосвященник с высоты святого престола призывает народы к восстанию против законов и властей.

Папа до того забыл, что он некогда был государем, что без малейшей дипломатической сдержанности (*réserve*) он толкует просто, как старая баба или — если это оскорбительно — как сельский священник, предающий всех и каждого вечным огням геенны³⁹⁴. Вот христианство, доведенное до *absurdum*! Какое торжество для иудеев! И так они пережили своего лютого врага! Вот этот выскочка из их же семьи! вот это христианство! Оно прошумело несколько столетий, пролило потоки крови в бессмысленных войнах, сожгло миллионы людей на кострах, — а теперь оно издыхает от старческого изнеможения перед глазами этих же самых иудеев. А у *них* все осталось по-прежнему: они не устарели — они вечно юны и будущее им принадлежит. Они везде блистают умом — в науке, в искусстве, в торговле; половина европейской прессы в их руках. Закон их не изменился ни на одну йоту, они поклоняются тому же единому богу Авраама, Исаака и Иакова³⁹⁵, и на них буквально исполнились слова их пророка: «Вы будете опекунами, отцами-благодетелями, кормильцами властителей мира. Цари вас будут на руках носить» и пр.³⁹⁶ Какое блистательное исполнение пророчества! Какому государю не пришлось сказать *Ротшильду*: «Отец ты мой, благодетель! помоги, ради бога! пришла крайняя нужда; охота смертная, да участь горькая: хочется воевать, да денег нет: сделай божескую милость, одолжи несколько миллионов!» Даже сам папа, если не ошибаюсь, не раз прибегал к Ротшильду (смотри Второзаконие гл. 15.8. «Ты будешь давать займы многим народам, а сам ни у кого не будешь занимать; ты будешь господствовать над многими народами, а они не будут господствовать над тобою»). И даже наш железный Николай должен был преклонить перед ним главу и принужден был выдать ему именье Герцена³⁹⁷. Велик бог Моисеев! Да воскреснет бог и расточатся врази его и да бегут от лица его ненавидящие его!³⁹⁸

Я, разумеется, на все это смотрю со стороны равнодушным зрителем: из чего же мне тут хлопотать? Принять деятельное участие в этой суматохе *pro* или *contra* [за и против — *lat.*] было бы смешно: это было бы в чужом пиру похмелье. *Le jeu ne vaut pas la chandelle* [Игра не стоит свеч.— *Фр.*].

Покойный Филарет на экзамене Бажанова³⁹⁹ в нашем университете сказал именно мне, что все события мира сего проходят пред очами господа бога как будто в зеркале: он равнодушно глядит на них и не мешает им проходить. *C'est le Dieu fainéant d'Épicure* [Это — бог-лентяй Эпикура.— *Фр.*]. Вот так и я гляжу на события.

«Я согласен с вами, что католическая религия иногда очень полезна правительствам, потому что она помогает им держать народ в узде». — Угадай, кто это сказал в моем присутствии отцу настоятелю д-ва Гельду — в Клапаме, в Лондоне? — Никак не угадаешь! Раз, два, три — не угадал? *Jetez votre langue aux chiens!* [Бросьте ваш язык собакам! — *Фр.*] Это был ни больше ни меньше как генерал (теперь граф или князь) *фон Берг*, тот самый, что после был наместником в Варшаве⁴⁰⁰... Да как же это? На что ж это похоже? Как же *фон Берг*-то забрел в Лондон, да еще в Клапам, в монастырь редемптористов? А вот как!

В шести милях от Лондона есть прелестнейшая местность — *Ругамптон* (Rochampton). Там поселились иезуитские монашенки, сестры пресвятого сердца (*Sacré coeur!* Какая галиматья!). Они купили виллу или, лучше сказать, дворец какого-то богача с огромным садом, с оранжереями, прудами, фонтанами. «Тут, — как говорит капитан Копейкин, — полуторасаженные зеркала, мраморы, лаки, сударь ты мой словом, ума помраченье! ковры — Персия, сударь мой такая словом, относительно, так сказать, ногой попирает капиталы»⁴⁰¹. Эти сестры *du Sacré Coeur* обыкновенно держат пансион для девиц высшего разряда, *du haut ton*, для богатых и очень богатых людей. Даже католики в Лондоне говорили, что человеку среднего состояния никак невозможно поместить дочери в этом пансионе: привыкнувши к этому дворцу и садам, ей нельзя уж выйти замуж за обыкновенного смертного: ей уж надо в женихи какого-нибудь принца, который один мог бы доставить ей этикие палаты.

В то время я был в большой моде у лондонских католиков, а особенно у французских дам, которых тогда было значительное количество в Лондоне после революции 1848. Настоятеля отца де Гельда пригласили *honoris causa* [ради почета — *лат.*] давать духовные упражнения сестрам св. сердца в Ругамптоне; но он скоро сам увидел, что это ему не по силам, тем более что его французское произношение немножко пахнуло *немечиною*; итак, он отрядил меня исправляющим его должность. Несмотря на близкое расстояние, он дал мне денег на железную дорогу. Я пришел на станцию, купил себе билет и гляжу — мой поезд стоит в противоположной стороне рельсы, ухватился за ручку кареты и силою старался отворить дверцы, и тут мне изнутри кричат: «Назад! Назад! вот экспресс!» Ты, вероятно, знаешь, с какою невероятною быстротою несется английский экспресс. Я отчаянно бросился назад через рельсы. Смерть на огненных крылах пронеслась мимо меня, едва-едва не задела, жизнь моя висела на волоске... Я *до сих пор* никому об этом ни слова не сказал и хранил это как заветную тайну чудного избавления. Когда экспресс пронесся, у меня отлегло на душе; а между тем мой поезд ушел; я спокойно положил свой билет в карман и отправился пешком. Я прошел эти три мили между зелеными лугами и рощами с чувством неопisanного блаженства. Мне казалось, что я праздновал день моего рождения, что мне снова дарован был неоцененный дар жизни. Бодрым и свежим я пришел в Ругамптон, а там, по монастырскому обычаю, меня прежде всего хорошенько накормили и потом пригласили на конференцию. В большой зале с золотыми карнизами и зеркальными стенами я уселся в комфортабельных креслах, а передо мною полукружием сидели *les dames du sacré coeur*, между коими была и кузина Наполеона III⁴⁰². Я был что называется в духе, и конференция моя отлично удалась. Я говорил очень развязно по-французски и с разными прибаутками *pour plaire à ces dames* [чтобы понравиться этим дамам — *фр.*]. Они были мною *огончарованы*⁴⁰³ и пригласили меня на их публичный экзамен и раздачу премий. Настал великий день: со всех концов Лондона привалили посетители,

la fine fleur de la société catholique [сливки католического общества — *фр.*]. Тут была выставка всех талантов: и проза, и стихи, и отрывки из разных опер на фортепьяно и на арфе, и вереницы прелестных девушек от 14 до 20 лет. Подле меня сидел молодой иезуит Padre Ferraga, убежавший из Сицилии (1849). Когда стали разыгрывать пьесы из Norma⁴⁰⁴, я сказал моему соседу: «Как это мне знакомо! Когда я был в Риме, я целый месяц каждый вечер слушал эту оперу». Мой иезуит ужасно как этим соблазнился — s'est scandalisé [возмутился — *фр.*] — и, чтобы прикрыть этот скандал и позор, сказал: «Вероятно, вы слышали эту музыку на улице; ведь у нас, вы знаете, народ распевает по улицам оперные арии». — «Нет! нет! извините, — сказал я. — Я слышал эту оперу каждый вечер в самом театре; но только не забудьте, что я тогда не был ни священником, ни даже католиком». — «Ну, так это другое дело!» — отвечал он, и совесть его успокоилась. По окончании экзамена следовало епископу сказать речь, но он сам уступил мне место и просил меня сказать несколько слов этим молодым девицам. Я сказал нечто в этом роде, что с блистательным воспитанием, какое они получили в этом институте, им суждено играть важную роль в обществе, быть царицами салонов в высшем и благороднейшем смысле, т. е., как говорит Жорж Занд, властвовать умом над умами, сердцем над сердцами — régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs и пр.

После закуски мы все разбрелись по саду, и тут я имел случай познакомиться с любезною соотечественницею m-lle von Berg. Она была девушка лет 18-ти — одно из тех милых существ, которых воспоминание на старости так же отрадno, как ключ свежей воды в пустыне аравийской. Где и что она теперь? — вероятно, давно замужем — почтенная дама лет за сорок. Блистает ли она умом, властвует ли над сердцами в гостиных? Или, может быть, она сделалась прозаически доброю хозяйкою и носит стеганый халат. Скажи ради бога, носишь ли ты стеганый халат? Всего более меня ужасал в России стеганый халат. Как теперь помню — директор временной комиссии для решения счетов и счетных дел прежнего времени у Синего моста генерал *Метлин* встретил меня с важно-глупым видом — в стеганом халате.

В 1851 году рара и мата девицы фон Берг приехали в Лондон, кажется, для того, чтобы взять ее из пансиона домой. Она столько наговорила им обо мне, что убедила их приехать в Клапам познакомиться со мною. Они приехали в собственной карете, кучер и лакей были какие-то австрийские поляки. Генерал был очень любезен и с большою деликатностью не вошел ни в какие расспросы о том, как и почему я, русский, попал в этот лондонский монастырь. Но жена его, австрийская католичка — господи боже мой! простота хуже воровства! — тотчас взяла меня в сторону и показала мне какое-то письмо генерала, где выражались очень добрые христианские чувства благочестивого лютеранина. «Возьмите его на минуту в сад, так погулять немножко, да потолкуйте с ним об религии». — Какое ребячество! Такого государственного человека, как фон Берг,

повести в монастырский сад и в каких-нибудь полчаса стараться убедить в истине католической веры — этакой глупости я никогда бы не взял себе на душу. Но настоятель отец де Гельд нашел нужным хоть мимоходом замолвить слово в пользу своей веры, на что и получил в ответ выше приведенные слова генерала, которые я принял за пощечину.

Еще слово о *Ругамптоне*. Кардинал Вейзман был чрезвычайно честолобивый и тщеславный человек, какими обыкновенно бывают люди из низших или средних слоев общества, поднявшиеся на высшие ступени иерархии. Когда он был просто епископом в Лондоне, он был со всеми нами запанибрата, но лишь только он возвратился из Рима кардиналом — фу-фу! сказала бы баба-Яга — тут римским духом пахнет! так за версту несет кардиналом! Prince de l'Eglise! [Князь церкви! — *Фр.*] Ни на кого смотреть не хочет. В этом самом Ругамптоне я видел кардинала Вейзмана, как он в своей блестящей пурпурной рясе приговаривался к какому-то священнодействию, а между тем одна из сестер св. сердца, сидя за богатым фортепьяно под золотыми карнизами, оперным голосом распевала: O, sainte pauvrete! ma mere! [О, святая бедность! моя мать! — *Фр.*] Возможно ли вообразить себе что-нибудь смешнее этого разлада между словами и действительностью?

В «Русском архиве» напечатано письмо Шевырева из Флоренции (1861)⁴⁰⁵. Знаешь ли, что всего более поразило меня в этом письме? — *Детский* взгляд на вещи, резко обличающий незрелость русского ума. Хорошо, например, заключение: «На что-нибудь да бережет же нас бог, когда безбожники гонят долой с лица земли. А сколько их развелось и как они гуляют из России по Западу под эгидию Герцена!» — Ох! уж как это старо! это напоминает блаженной памяти адмирала А. С. Шишкова и собратью⁴⁰⁶. Вот еще образчик: «Покойный Костя Аксаков был бы у нас Гарибальди, если бы не сгубил его Гегель и поняла бы Россия!» Мне кажется, это то, что англичане называют Moonshine [вздор — *англ.*], т. е. нечто такое, что мерещится при бледном свете луны. Итак, прощай — скажу ли до свидания?

Viens, camarade, ah! Viens dans ma retraite,
Attendre en paix un meilleur avenir!
[Приди, старина, ах! приди в мое убежище
Ожидать с миром лучшего будущего! — *Фр.*]

Блаженни алчущие и жаждущие правды...

Dilexi justitiam et odi iniquitatem
et propterea maior in exilio.
[Я полюбил справедливость и возненавидел
несправедливость и поэтому умираю в изгнании. — *Лат.*]

Григорий VII¹⁰⁷

Если в этом состоит блаженство, то оно досталось мне в удел. Всю мою жизнь я одного искал, одного жаждал: истины и правосу-

дия. И от этого именно мне нигде не удалось. Меня призвали было в Рим (в 1859) с большими надеждами и ожиданиями: хотели похвастаться мною перед папою и кардиналами, а вышло совсем напротив. Нашли, что я составлен не из такого мягкого материала, как они воображали, а потому поспешили отправить меня назад в Англию, а в наказание за строптивость даже не представили меня папе, следовательно, я ни разу в моей жизни не целовал ни папской туфли, ни чего-либо другого. «Cela n'ira sérieusement à votre canonisation!» [Это серьезно повредит Вашей канонизации.— *Фр.*], — сказал мне генерал ордена редemptористов. Каково? мне заживо сулили канонизацию, т. е. причисление к лику святых, если б я был немножко погибче. Ха-ха-ха, ха-ха! *Risum teneatis, amici!* [Сдержите смех, друзья! — *Лат.*] Эти таинственные сношения с невидимым миром не что иное, как пошлая игра самого мелкого честолюбия, точь-в-точь как русское чиновничество. «Вот видите ли, батюшка, вот что значит упрямство! Если бы вы были немножко поуступчивее, то вас сделали бы статским советником и дали бы Анну на шею, да и была бы прибавка жалованья. Ласковое телятко двух маток сосет!» Из шпионствующей России попасть в римский монастырь — это просто из огня в полымя.

Последнее слово генерала ко мне было: «*Vous êtes un homme franc!*» [Вы — откровенный человек! — *Фр.*] Бьюсь об заклад, что ты примешь это за комплимент: как же? сказать кому-нибудь в лицо: «вы прямодушный и откровенный человек!», мне кажется, это большая похвала. Ничего не бывало! в устах генерала это было самое жестокое порицание; оно значило: «Вы человек, ни к чему не пригодный, вы вовсе не способны к монашеской жизни: тут требуется не откровенность и прямодушие, а скрытность и лицемерие, тут надо лукавить и хитрить для того, чтобы задобрить начальство да зашибить копейку для общего блага обители!»

«*Moriamur in simplicitate nostra!*» [Давайте умрем в нашей простоте! — *Лат.*] — сказал я самому себе.

Я выехал из Рима в вербное воскресенье, т. е. в то самое время, когда другие нарочно приезжают в Рим для того, чтобы присутствовать при священных обрядах страстной недели. Я умолял генерала отпустить меня поскорее, не теряя ни минуты времени: «Я задыхаюсь в этой атмосфере; мне становится дурно; уверяю вас, что все это пройдет и мне сделается лучше, лишь только я выйду из римских стен».

На меня нашла какая-то хандра: как будто домовый меня душил. Иногда я просыпался ночью в своей келье и думал про себя: «Ну что как они меня отравят или задушат? Ведь эти люди на все готовы!» Разумеется, этому не было ни малейшего основания — это был лихорадочный бред; но все ж таки я уверен, что подобные мысли никогда бы мне не пришли в голову под кровлею какого-нибудь честного протестанта. Вот слова, записанные в келье монастыря редemptористов *Villa Caserta S. Maria Maggiore*⁴⁰⁸; они сохранили свою свежесть, запах и колорит местности:

Рим 22 февраля.

«Слезы мои не перестают течь. О, Рим! — Как я тебя ненавижу! Я повторяю слова св. Альфонса: «Мне кажется, что до того момента, когда я смогу покинуть Рим, пройдет тысячелетие: как не терпится мне избавиться от всех этих церемоний!» О, Рим, мне милее убогие лачуги наших ирландцев, чем все твои пышные дворцы.— О, Рим! Я ненавижу тебя: ты арена честолюбий и подлых интриг. Здесь пренебрегают заботой о душе и думают лишь о том, как возвыситься и преумножить доходы; здесь живут только для себя («создадим себе имя»), протирают подошвы в кардинальских прихожих»⁴⁰⁹.

Даже выехавши из Рима, даже в Чивитавеккия⁴¹⁰ я все еще трепетал — думал, что вот что-нибудь случится и меня назад воротят; ну что как я потеряю деньги? с чем тогда сесть на пароход? или, положим, украдут у меня шинель (что очень часто случается в Риме), а теперь ведь еще довольно холодно... Наконец я на пароходе — пароход зашипел, отчалил от берега и поплыл по синю морю, посылая струю черного дыма к берегам Италии... Слава богу! Я в первый раз свободно вздохнул. *Laqueus contritus est et nos liberati sumus!* [Петля протерлась, и мы свободны! — *Лат.*] Сеть порвалась, и птичка вспорхнула на волю. Но и тут я не совсем еще отделался от Рима: со мною на пароходе ехал отставной член французской полиции, проживавший несколько времени в монастыре у редемптористов. Бог или черт знает по каким причинам: вероятно, по каким-нибудь делам духовно-политического шпионства.

С неописанным упоительным наслаждением увидел я снова белые скалы Англии и зеленые кентские луга. Вот страна разума и свободы! Страна, где есть истина в науке и в жизни и правосудие в судах; где все действуют открыто и прямодушно и где человеку можно жить по-человечески!*

Для чего я написал это вступление или отступление? Ей-богу, не знаю! Бог весть! Так, пришло в голову. Скажу с Пилатом: *Еже писах — писах*⁴¹¹.

Письмо В. С. Печерина верховному генералу ордена редемптористов Н. Морону

Ламерик, Ирландия. Март, 1861

Ваше Преосвященство!

С благоговением и доверием, которое я к Вам испытываю в силу высокой миссии, возложенной на Вас богом, я предлагаю Вашему Преосвященству точное изложение моих самых сокровенных чувств, чтобы Вы рассудили их справедливо и милостиво.

Мне скоро 54 года. 20 лет я провел в конгрегации. Я уже дос-

* А между тем на политическом небосклоне собирались *черные тучи* — кое-где сверкали зловещие молнии, слышались отдаленные раскаты грома и подымалась буря войны 1859, подготовившей окончательное падение папской власти.

таточно пожил в мире и в конгрегации, чтобы повторить вслед за мудрецом: «*Vanitas vanitatum et omnia vanitas*» [Суета сует и все — суета. — *Лат.*] ⁴¹². События, которые волнуют мир и церковь, приближающаяся старость, испытываемая мною навязчивая необходимость иметь некоторый временной интервал между неупорядоченной жизнью и смертью — все это внушает мне живую потребность совсем покинуть мир и посвятить немногие оставшиеся мне годы жизни покаянию в каком-нибудь строгом ордене.

Желание это не ново. Я его испытывал практически с детства. Мы, русские, ничего не смыслим в активной жизни. На наш взгляд, инок — это отшельник, *topachus*, полностью отделенный от мира, жизнь которого поделена между физическим трудом, бдением, постом, постоянным молчанием и церковным песнопением.

20 лет тому назад, когда я готовился в Льеже к принятию католического вероисповедания, мой план был намечен заранее: я хотел попасть прямо в картезианскую обитель, там отречься и там остаться до конца дней своих. Покойный отец Манвисс, который принял меня в церковь, разбудил меня. Он полагал, что у меня слишком живой ум для того, чтобы заточить себя в одиночестве. Я вступил в конгрегацию из чувства послушания своему наставнику. Я никогда не помышлял и не мечтал о том, чтобы стать священником, тем более проповедником и миссионером. Именно конгрегация наставила меня на этот путь, и я за это испытываю к ней глубокую признательность.

Но всему свое время. Свое время для того, чтобы говорить, и свое время для того, чтобы молчать; свое время для того, чтобы вести жизнь деятельную и рассеянную, и свое время для покаяния в одиночестве. Я чувствую приближение смерти, и я испытываю непреодолимую потребность подготовиться к ней, находясь в мире с самим собою.

Больше я не могу питать себя иллюзиями. Мы являемся лишь светской конгрегацией, и жизнь наша совершенно мирская. Мы не можем со всей достоверностью сказать, что мы покинули мир: на самом деле мы живем в мире, и мы тесно связаны со всеми его заботами, со всеми его страстями. Мы не остаемся безразличными к повышению и понижению денежного курса. Среди нас есть истинные собственники, ум которых неизбежно занят заботой о средствах сохранения и увеличения своих доходов. Стремление завоевать себе положение в свете заставляет нас искать благоволения и дружбу богатых и сильных вопреки мнению «Подражания» ⁴¹³: «*Cum divitibus poli blandiri et cogam magnatibus non libenter appareas*» [К богатым не ласкайся и знатным по собственной охоте не прислуживай. — *Лат.*].

Однако я стремлюсь к совершенно другому. С самого детства я испытывал страстную любовь к истинной бедности, к бедности св. Франциска Ассизского, блаженного Лабри. Я познал ее, я возлюбил ее, я испытал ее на себе перед вступлением в конгрегацию. Я не выношу ни прикосновения к деньгам, ни разговоров о них. Судите сами, что я должен постоянно испытывать, возвращаясь из исповедальни с карманами, полными денег.

В миссиях нас кормят, дают приют и деньги с тем великодушным гостеприимством, которое свойственно этой местности. Я не могу их в этом упрекать. Это, быть может, в порядке вещей. В миссиях мы живем со всеми удобствами. Но как бы то ни было, я признаюсь, что не могу смириться со смертью среди этой роскоши.

Наши встречи для бесед, малые и большие, являются для меня постоянным предметом серьезных искушений. Обязательство встречаться дважды в день только для беседы является для меня невыносимой тяготой. Эти встречи не имеют никакой цели — ни научной, ни религиозной: в большинстве случаев они представляют собою бесполезные разговоры, за которые нам придется ответить в день страшного суда. Я не мыслю себе возможность религиозного совершенства без абсолютного и постоянного молчания, и именно после такого молчания я вздыхаю день и ночь.

С печалью представляю я себе образ жизни, предназначенный престарелому отцу в нашей конгрегации. Это жизнь сравнительно спокойная и расслабленная. После того как он выполнит обязанности, предписанные уставом (что делается быстро), что остается ему делать? Помолиться, перебирая четки, выслушать исповедь какой-нибудь богомолки да поговорить о политике во время бесед.

Напротив, в созерцательном ордене я смогу до последнего своего вздоха исполнять божественную службу, заниматься физическим трудом, бодрствовать, поститься и хранить молчание, являющееся той драгоценной жемчужиной, которую я хотел бы купить ценою самопожертвования.

Я не хотел бы умереть в этом крае, где народ по своей простоте и естественной доброте восхищается самыми посредственными качествами. Я не хотел бы, чтобы после моей смерти имя мое попало в газеты и чтобы на моих похоронах произнесли надгробную речь, как это здесь недавно произошло. Я хочу умереть в таком месте, куда не доходит мирской шум, умереть безвестным среди безвестных, чтобы никто в мире не знал, жив я или мертв.

Я колебался некоторое время между двумя известными орденами: траппистов и картезианцев. Но я понимаю, что трапписты имеют еще много связей с миром: они создают земледельческие поселения и об этом даже пишут в газетах. Картезианцы — единственные, о ком никто никогда не говорит: они совершенно погребены в забвении своего одиночества. Именно поэтому я отдаю им предпочтение. Наконец, сама церковь повлияла на мой выбор, возложив на этот достойный преклонения орден печать своего высшего одобрения, поскольку орден картезианцев является единственным, в который разрешается вступать любому монаху, не испрашивая предварительного разрешения у своего настоятеля.

Вот, Ваше Преосвященство, откровенное изложение самых сокровенных желаний моей души. Эти желания преследуют меня день и ночь. Они особенно сильны во время размышлений, литургии, благодарственных молений. Я не думаю, чтобы это могло быть иллюзией, так как эти желания постоянны и сопровождаются умиротворен-

ностью, отвращением ко всякому грубому поступку, полнейшей покорностью божьей воле, с какой бы стороны она ни проявилась.

Я полагаю, что рассчитал все возможности для выполнения задуманного. Я принял во внимание свой возраст и состояние здоровья. Во-первых, следует верить, что господь дает силы всем тем, кого он действительно призывает к подобному образу жизни. Во-вторых, восемь лет назад я провел двенадцать дней у траппистов здесь, в Ирландии. Я строго исполнил их устав. Некоторое время спустя преподобный настоятель, говоря обо мне с кем-то третьим, сказал, что я отношусь к небольшому числу тех, кто в состоянии соблюдать их устав во всей его строгости. Однако устав траппистов строже, нежели устав картезианцев, а я чувствую себя сегодня сильнее, чем восемь лет тому назад. Я вверяю Вам, Ваше Преосвященство, свою судьбу. Я абсолютно уверен, что бог ответит мне Вашими устами и что Вы рассудите меня не по правилам, но по тому озарению, которое будет ниспослано Вам свыше.

Я хотел бы, чтобы этот переход произошел по возможности с наименьшей оглаской, ибо более всего я ненавижу досужие разговоры. Впрочем, когда твердо решишь порвать с миром, мало заботишься о том, что об этом скажут люди. Да поможет мне Ваше милосердие и Ваша любовь к ближнему. Я был бы рад, если бы у меня был повод и средства поехать во Францию. Как только я оказался бы на французской земле, я отправился бы прямо в картезианскую обитель, если нужно, пешком, потому что я привык так путешествовать.

Решите мою судьбу. *Dimitte servum tuum in pace, ut requiescam paululum, antequam moriar* [Отпусти раба своего с миром, да упокоюсь немного прежде, чем умру.— *Лат.*].

Повергаясь к стопам Вашего Преосвященства и испрашивая Вашего благословения, остаюсь Вашего Преосвященства нижайший слуга и преданный собрат

Владимир Печерин.

Письмо В. С. Печерина верховному генералу
ордена редемптористов Н. Морону⁴¹⁴

Angel Hôtel. Jun's Quay
Дублин, Ирландия
30 января 1862

Ваше Преосвященство!

Вновь повергаюсь к стопам Вашим, чтобы признаться в своей ошибке. Я стал жертвой иллюзии. Я счел себя призванным к жизни созерцательной и, к несчастью, ошибся. После трехмесячного испытания у траппистов я убедился, что не имел и не мог иметь иного призвания, кроме того, которому я следовал в течение 20 лет. Я очень несчастлив. Я чувствую, что, покинув конгрегацию, я поки-

нул путь божественного провидения и что я смогу вновь обрести душевный покой, лишь вернувшись туда. Поверьте мне, Ваше Преосвященство, что я никогда бы и не помышлял и ужаснулся бы при одной мысли о просьбе снять с меня прежние обеты, если бы я не был в плену этой иллюзии.

Под влиянием этой неотвязной страсти я написал письмо, полное несуразностей и преувеличений, за которое теперь прошу меня простить. Вы предоставили мне разрешение отказаться от обетов с единственной целью облегчить мне исполнение обязанностей в новом ордене, в который я намеревался вступить. Но так как я не вступил и не мог в действительности вступить в него, остается ли в силе разрешение о снятии обетов?

Теперь я более чем когда-либо понимаю цену призвания к монашеской жизни — я никогда не хотел ничего другого, как быть монахом: я привык жить в послушании, и я предпочел бы вернуться к этому любой ценой, нежели жить независимо и быть хозяином своих поступков. Есть ли у меня какая-нибудь надежда? Я понимаю, что, выводя эти строки, я питаю несбыточные мечты и что я не заслуживаю того, чтобы быть вновь принятым в конгрегацию. Но мне отрадно думать, что, направляя Вам это униженное послание, я исполняю долг совести.

Если Вы соизволите милостиво принять его, я заранее подчинюсь всем условиям, которые Вам угодно будет поставить, или, точнее, я подчинюсь епитимье, которую Вы на меня наложите, и я надеюсь, что милостью божией я научусь послушанию лучше, чем делал это до сих пор.

До настоящего времени я постоянно жил в общинах — сначала у картезианцев, затем у траппистов; я продолжаю жить здесь очень уединенно, тщательно избегая появляться на людях; мое единственное занятие — это посещение с позволения и одобрения архиепископа больниц и выслушивание исповедей находящихся там несчастных людей. Я не взял и не имею намерения брать на себя никаких обязательств, не получив ответа от Вашего Преосвященства. Этот ответ, несомненно, определит мою судьбу в мире земном и вечном. Я буду ждать его с некоторым беспокойством, моля бога предоставить мне милость получить его с совершенным покорством.

Повергаясь к стопам Вашим, я, недостойный, осмеливаюсь просить Вашего благословения и остаюсь в сердцах господина нашего Иисуса и Марии недостойным сыном и нижайшим слугою

Владимир Печерин.

Пустыня и Воля

Qui n'a pas plus d'une fois tourné ses regards vers le désert et rêvé le repos en un coin de la forêt ou dans la grotte de la montagne, près de la source ignorée du se desaltèrent les oiseaux du ciel?

Lammenais

J'avais toujours rêvé de vivre au désert, et tout rêveur bon enfant avouera qu'il a eu la même fantaisie.

George Sand

[Кто не обращал неоднократно своих взоров к пустыне и не мечтал об отдыхе в лесной чаще или в горной пещере, у неведомого родника, где утоляют жажду птицы небесные?

Ламенне

Я всегда мечтала о жизни в пустыне, и всякий подлинный мечтатель признает, что у него была та же греза.

Ж. Санд — *Фр.*]

Его владычество — природа,
Безмолвный лес — его чертог,
Его сокровище — свобода,
Беседа — тишина и бог!

Жуковский⁴¹⁵

Первая сцена.

В узенькой комнатке бабушки моей Марфы Семеновны Симоновской, за круглым столиком, мы сидели вчетвером: бабушка, мать моя Пелагея Петровна и тетка Наталия Петровна, а я, как грамотный человек (10 лет), был чтецом этой почтенной компании. Мы читали следующие литературные произведения: Беседы Иоанна Златоуста, Жития Святых: великомученицы Варвары, Николая Чудотворца, Симеона Столпника, Марии Египетской и весь Киево-Печерский Патерик. Сквозь полурастворенную дверь можно было видеть в столовой дюжину дворовых девок, сидящих рядом на длинной скамье, каждая с прялкой и веретеном в руках.

Пряжа тонкая, прядися!
Веретенышко, вертись!
А веревочка плетись!
Тру-ру, тру-ру, тру-ру.

В старые годы сказали бы с умилением, что это истинно *гомерическая* сцена, а теперь мы пошлем Гомера к черту и просто скажем, что это малороссийская сцена, происходившая в Черниговской губернии Козелецкого повета в грязном местечке Кобылице.

Житие Марии Египетской врезалось у меня в памяти: жить 40 лет в пустыне между дикими скалами на вольном воздухе — гуляй, где хочешь, никто не запретит — души человеческой не встретишь. Вот пустыня и воля!

Вторая сцена.

В мае 1818 рота солдатушек плелась по узенькой белой дорожке в бессарабской степи. От времени до времени можно было схватить отрывки их заунывных песен, поговорок и прибауточек:

Кричит птица пава —
Запропала
Солдатская слава.

Пальцы рубит, зубы рвет,
А в солдаты все нейдет.

Хлеб да вода — солдатская еда.

Жизнь копейка — командир наживное дело!

За ротою тянулась бричка, запряженная двумя лошадьми, в бричке сидела мать с пуховиками и подушками и с рябою горничною Василисою. За бричкою ехал кабриолет, где я сидел с отцом, а иногда для перемены я ехал верхом на белой лошади возле солдат.

Ничего не видно, кроме неба и земли: колеса так и тонут в высокой траве. Едешь целый божий день — ни жилья, ни души человеческой не встретишь. Только под вечер виднеется вдали дым молдаванской деревни с огромным гнездом аиста на каждой хате. Однажды только, помню, в каком-то овраге мы в полдень нашли хижину пастуха с колодезем и стадом овец. Да еще другой раз неожиданно в этой пустыне явилась бакалейная лавка — ее хозяин был какой-то армянин или грек, черт его знает — в красной ермолке. Тут отец мой закупил припасов на дорогу: винных ягод, фиников, миндаля, изюму и потом постепенно, по востребованию, выдавал мне продовольствие из своего комиссариата.

В этой же степи — года два позже — я впервые познакомился с Байроном, прочитавши обзор его сочинений в *«Соревнователе просвещения и благотворения»* (органа декабристов). Байрон тоже страстно любил пустыню и волю; но его идеалом был — океан.

Он был, о море, твой певец,
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуч, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

П у ш к и н⁴¹⁶

Иметь свой собственный корабль и на нем носиться по волнам неизмеримого океана, не завися ни от каких властей земных — вот идеал Байронова блаженства!

Я, не будучи моряком и не имея никакого понятия о море, любил безграничную свободу степи. Солнце всходит, солнце заходит, и ничего не видишь, кроме голубого неба и зеленой земли. Но с какою-то непреодолимою страстью я стремился за заходящим солнцем: оно, как пламенный шар, тонуло в густой траве на самом краю горизонта — что-то непостижимое, какая-то странная любовь тянула меня к нему... Клянусь богом, я не раз становился на колени, простирали руки к заходящему солнцу, молился к нему: «Возьми меня с собой! туда, туда на запад!»

Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.
Запад! Запад величавый!

Запад золотом горит:
Там венки вьются славы,
Доблесть, правда там блестят.
Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбины
В лоне битвы роковой!⁴¹⁷

Я никак не мог привыкнуть к оседлой сидячей жизни. Вышли «Цыганы» Пушкина, и я тотчас понял себя и свое назначение.

Птичка божия не знает
Ни заботы ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внимлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет,
И туман и непогоды
Осень поздняя несет.
Людам скучно, людам горе;
Птичка в дальние страны,
В теплый край, за сине море,
Улетает до весны.

Пушкин

Третья сцена.

В последних числах сентября 1833 я стоял на мосту перед гостиницею *Меча* в Цюрихе. Дивное невиданное зрелище представилось очам моим. На краю голубого неба, как пирамиды из чистейшего серебра, рисовались передо мною Альпы. Есть зрелища обновляющие, возрождающие, высоко поднимающие душу. После взгляда на Альпы вся прежняя жизнь моя показалась мне ничтожною. Мой товарищ Редкин, по благому русскому обычаю, начал строить куры девушке в кофейне; это меня возмутило: «Как возможно заниматься такими пошлостями при виде Альп!» Пошли мы в горы. Редкин беспрестанно заглядывал в «*Guide des voyageurs*» [путеводитель — фр.] для того, чтобы восхищаться, где следует, горными красотоми. А я об этом вовсе не думал: я наслаждался *целиком* — полнотою жизни, льющейся через край, ничем не обузданною свободою, отрешением от всех земных связей... Пустыня и воля! Подымаясь в гору, сначала чувствуешь усталость, но достигнувши снежных вершин, тут вдруг как будто рукою сняло, как будто сбросил с себя какую-то старую чешую, чувствуешь себя легким, обновленным, вечно юным; кажется, готов опериться — того и гляди, что вырастут крылья и вдруг понесешься в лазурную даль! Какое блаженство — дышать на этих высотах!

— Скажите, пожалуйста, что это такое чернеется там вдали в пропасти под нами в ущелине, как будто орлиное гнездо?

— Помилуйте! Это городок Бригг, где мы ночевали.

— Фу! как это ничтожно! Как могут люди жить в таких гнездах, — запереться в этих серых черных стенах!

К несчастью, мы были уже в начале октября — время для горных путешествий прошло, да, сверх того, наш кошелек видимо истощался: решено поскорее перебраться в Италию, а потом и домой в Берлин. Но мне до этого какое дело? Слепая любовь не знает никаких препятствий. Как же мне расстаться с Альпами? ведь они мне родные! Вся душа моя льнет к ним с непобедимой привязанностью. Итак, я буквально проплакал всю ночь в гостинице в Берне. Чтобы как-нибудь уговорить меня, добрый Редкин даже предложил заложить или продать свою золотую табакерку, чтобы дать мне средства долее остаться в Швейцарии. Это, разумеется, было то же, что показать сосульку или игрушку рыдающему младенцу... Пустыня и воля!.. — да и только.

Из всех мудрецов древних и новых я всегда *блаженнейшим* считал Александра Гумбольдта⁴¹⁸: он всю жизнь странствовал в пустыне — то на снежных высотах Шимборазо, то в дремучих лесах Ориноко, вечно беседовал наедине с природою, отрешенный от всех житейских забот, и умер в маститой старости с безмятежным спокойствием высокого ума, все постигшего и ничему не покорившегося!

Четвертая сцена (в кабинете капитана Файота).

Я сидел на диване за письменным столом и писал, писал, но иногда для отдыха бросал перо, и украдкой под столом читал какой-нибудь роман; но на этот раз это был важный роман — «Спиридион» Жорж Занда. Что тут долго рассуждать? Я лучше прямо выпишу два отрывка: это *pièces justificatives* [оправдательные документы — *фр.*], важные документы, имевшие окончательно влияние на мою судьбу.

1. Картезианская келья.

«Это был уголок, полный цветов и зелени, где монах мог прогуливаться, не замочив ног, в сырые дни и поливать цветник проточной водой в засушливые, вдыхать, стоя на прекрасной террасе, аромат апельсиновых деревьев, купы которых радовали его взор роскошной массой цветов и плодов; мог созерцать в абсолютном покое пейзаж одновременно суровый и изящный, меланхолический и грандиозный; мог, наконец, выращивать, чтобы радовать свой взор, редкие и драгоценные цветы, срывать для утоления жажды самые лакомые плоды, слушать величественный рокот моря, наслаждаться роскошью летних ночей под прекрасным небом и поклоняться вечности в прекраснейшем храме, который когда-либо открылся человеку в недрах природы. Такими представлялись мне первоначально неизреченные радости картезианцев, такими я и обещала их себе, поселившись в одной из этих келий, которые казались созданными, чтобы удовлетворить прихотливые капризы воображенья и мечты избранной фаланги поэтов и артистов».

Ж.: Санд. Зима на Майорке.

2. Сцена из «Спиридиона».

«Душа моя трепетала в горделивом энтузиазме, самые веселые и поэтические мысли толпились в моем мозгу в то время, как грудь мою распирало чувство дерзкой веры. Все предметы, на которые падал мой взгляд, казались мне необычайно прекрасными. Золотые полости дарохранильницы сверкали, словно небесный свет осиял святая святых. Витражи, пронизанные солнцем, отражались на плитах, образуя между колоннами обширные мозаики из алмазов и драгоценных камней. Мраморные ангелы, казалось, изнуренные жарой, склоняли лбы и, как прекрасные птицы, готовились спрятать под крыло свои прекрасные головы, утомленные тяжестью карнизов. Равномерный и таинственный стук часов походил на мощные движенья груди, охваченной любовью, а бело-матовое пламя неугасаемой лампы перед алтарем, споря с дневным светом, было для меня эмблемой разума, прикованного к земле и беспрестанно стремящегося слиться с небесным разумом».

Ж. Санд. Спиридион⁴¹⁹.

Вот что меня увлекло, очаровало, обольстило! Для человека, живущего одним воображеньем, этого было довольно. Я сидел на диване и читал, читал — долго ли, коротко ли, не знаю — и думал крепкую думу и, наконец, порешил — идти прямо в знаменитую картезианскую обитель, La grande Chartreuse, что близ Гренобля, поселиться там и, если нужно, принять католическую веру. Заметьте, это важное обстоятельство: тут католицизм на втором плане, он был не целью, а средством, а главную целью была — поэтическая пустыня!

Но утро вечера мудренее. Приготовляясь к моему путешествию, я вдруг спросил самого себя: «Но как же я отправлюсь? Ведь у меня денег немного, а от Льежа до Гренобля расстояние — не шутка! Надо идти пешком — стало быть, надо опять начать бродяжнюю жизнь, испытать прежние лишения, а может быть, и попасть в руки жандармов... Нет, покорно благодарю!» — Это окатило меня ушатом холодной воды и, наученный опытом, я решился остаться и искать поэтической пустыни где-нибудь поближе.

Пятая и последняя сцена.

В 1861 я оставил редемптористов. Они мне дали 1000 франков на дорогу. «Ну, теперь, слава богу, я вольный казак! — сказал я самому себе, — дай пойду поглядеть на мечту моей юности!» — Я ехал, не останавливаясь, до самого Парижа; в Париже пробыл день или два, а оттуда прямо в Лион и к Grande Chartreuse. Природа осталась тою же: необыкновенно дикая и величественная. Но все прочее изменилось. В старые годы к Grande Chartreuse надобно было идти по берегу ревушего потока по узкой тропинке, где можно было только идти пешком или ехать верхом — а теперь там проложили славную широкую царскую дорогу, где экипажи разъезжают. Вместо набожных богомольцев, идущих на поклонение святыне,

я увидел целый обоз каких-то телег, нагруженных четверугольными ящиками.

— Что это такое? — спросил я.

— А вот я вам скажу, что это значит, — отвечала мне дама, сидевшая со мною в дилижансе, — святые отцы картезианцы нашли в горах какие-то целебные травы и из них сначала было делали какой-то эликсир, а теперь они пустились на спекуляцию и из этого эликсира подготавливают отличный ликер, продающийся во всех кофейнях и трактирах под именем *La Chartreuse*. Эта промышленность доставляет им ежегодно миллион чистого дохода (*Pauvres Chartreux!*) [Бедные картезианцы! — *Фр.*]. Вот этот обоз весь нагружен бутылками Шартреза, отправляемыми на продажу. Какой-то винопродавец вздумал было продавать поддельную Шартрезу, но монахи притянули его к суду, выиграли дело и заставили его выставлять на своих бутылках надпись: *Imitation de la Chartreuse* [Подделка под Шартрез — *фр.*].

— Очевидно, — сказал я, — что почтенные картезианцы умеют соединять хитроумие змия с невинностью голубицы.

Картезианская обитель не представляет ничего замечательного в архитектурном отношении. Это — нестройная и безобразная куча зданий, похожих на большой господский дом с овинами и амбарами. Я нашел там толпу людей, пришедших из чистого любопытства и без малейшего уважения к святыне. Везде был шум и гам. О монашеской трапезе и помину не было, а вместо нее было несколько ресторанов с разными ценами, смотря по карману посетителей. Уставши от дороги, я тотчас сел за стол. Мне прежде всего поднесли рюмку пресловутой шартрезы. Вокруг стола ходил толстый монах и забавлял гостей своими прибаутками и шуточками, а иногда, от времени до времени, он подымал глаза к небу и со вздохом произносил: *Nous pauvres chartreux!* [Мы — бедные картезианцы! — *Фр.*]

Нигде, кроме Франции, я не видал такого прозрачно-наглого лицемерия: у немцев оно по крайней мере прикрито и стушевано врожденным этому народу простодушием.

Осмотревши окрестности, где природа действительно великолепна в своей суровой дикости, где все прекрасно, кроме человека, — я поспешил возвратиться в Париж. Я удалился из картезианской обители, как Лафонтенова лисица⁴²⁰, поджавши хвост и *jurant qu'oiq'un peu tard, qu'on ne m'y prendrait plus* [клянясь, хотя и немного поздно, что меня на этом больше не проведут — *фр.*].

Конец пятой и последней сцены. Занавес опускается при шумных рукоплесканиях. Некоторые шикают.

Дублин. 13 октября 1865

ПРОБУЖДЕНИЕ⁴²¹

Что я слышу? — голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы⁴²²,
Тень минувшего встает.
Прояснися, прояснися,

Ранний сумрак вешних дней!
Сквозь туманы улыбнися,
Солнце юности моей!
После долгих тревожений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной.
Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман.
Смело я поднял ветрило
И пустился в океан.
Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там, надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.
Запад, запад величавый!
Запад золотом горит!
Там венки вьются славы!
Доблесть, правда там блестит!
Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбины
В лоне битвы роковой!
В броне веры, воин смелый,
Алмазным ⁴²³ щитом
Отобьешь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом!
Вот блестит хоругвь свободы!
И цари бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.
Разорвался плен суровый!
Кончилась навек война!
Узами любви Христовой
Сочетались племена.
Гряньте звонкими струнами!
Где ты, гордый фараон?
Моря Черного волнами
Конь и всадник поглощен!
Ныне правда водворится
В нашей Скинии ⁴²⁴ святой!
Вечным браком соединится
Небо с юною землей!
Духов тьмы исчезнет сила.
И взойдет на небеса
Трисиянное светило —
Доблесть, истина, краса!

Август
1864

Дублин. 21 октября 1865

Мне непременно надобно рассказать тебе события последних годов для того, чтобы объяснить мое настоящее положение.

Я оставил конгрегацию редемптористов четыре года тому назад (1861), почему и как — это долго было бы объяснять. Довольно сказать, что эта конгрегация перешла в руки австрийцев, которые все переменяли по-своему, и буквы и дух прежнего устава. В начале

1859, незадолго до итальянской войны, меня позвали в Рим. Для чего? — для того, чтобы говорить проповедь *для русских* и на русском языке в день Богоявления. Я решительно отказался. Я никак не мог принять на себя такой глупой роли. Ты не можешь вообразить себе, до какой степени простирается ослепление или просто глупость *русских* католиков. Княгиня Витгенштейн сказала мне: «Il faut leur, faire un sermon de manière a les écraser d'un seul coup» [Нужно дать им отповедь таким образом, чтобы сразу же сокрушить их.—*Фр.*]. Какое безумие! Проповедовать русским необходимость подчиняться папе — и где же? В Риме! в виду французских штыков!! Это из рук вон; тут нет ни капли здравого смысла. Мой отказ произвел неприятное впечатление в высших сферах. При этом случае я узнал, что в монастыре шпионство процветает точь-в-точь как у нас в старые годы. Каждый шаг, каждое слово были замечены и донесены *начальству*. Три месяца я прожил в Риме. Трудно было бы описать, что я вытерпел в это время. С пламенным сочувствием к итальянскому делу я должен был жить в обществе закоренелых австрийцев. Тут мне пришла на мысль жалкая доля славянских племен: везде и всегда они под гнетом немцев. Я чувствовал себя славянином и ненавидел австрийцев. Мне почти грозили отлучением от церкви за две ужасные ереси: 1-я — республиканские стремления, 2-я — отсутствие всякого сочувствия к светской власти папы (le pouvoir temporel). Еще бы сочувствовать этой власти, побывав в Риме! Я решил во что бы то ни стало отделаться от этого несчастного вопроса. Чтоб избежать его, я решился похоронить себя заживо. Вот я и отправился в пресловутую картезианскую пустыню — la grande Chartreuse près Grenoble. Тут меня ждало совершенное разочарование. Эти почтенные пустынники — просто богатые фабриканты. Они нашли какой-то секрет составлять из горных трав отличный ликер, который теперь в большой моде во всех французских cafes под именем la chartreuse. Эта промышленность доставляет им миллион фр. чистого дохода. При всем этом они с большим умилением говорят: Nous pauvres chartreux! [Мы — бедные картезианцы! — *Фр.*] — точь-в-точь как в Тартюфе Мольера Оргон восклицает: pauvre homme [бедный человек — *фр.*]! Так как я никогда не имел большой склонности делаться миллионером, то я тотчас же решился возвратиться в Ирландию. На обратном пути в Париж иду однажды где-то в quartier latin [латинский квартал — *фр.*] в шляпе с широкими полями и каким-то странным посохом; мне попадается навстречу молодой человек, вероятно, студент и, глядя на меня, говорит: voilà le juif errant [вот — Вечный Жид — *фр.*]. Ведь это ужасно метко! Злодей! Он, должно быть, имел откровение свыше! juif errant! Это сушая правда. В Ирландии я отправился к моим старым друзьям — траппистам Mount Meilleraie. Тут я нашел свой идеал. Все, что мы читаем о первобытных временах христианства, о святых отшельниках Фиваиды, — все это там находится действительно и буквально. Они разделяют время между псалмопением и работой на полях. Своими трудами они превратили каменистую бесплодную гору в цветущий сад. У них совершенное равенство и братство. Все

делается по большинству голосов. Настоятель не может ни шагу ступить без согласия братии. Он каждый день в капитуле отдает отчет об управлении обители. Это первобытный идеал христианской республики. Мне казалось, здесь я найду совершенное счастье. Все шло отлично, пока оно имело прелесть новости; в физическом отношении эта жизнь мне была по силам: я вставал вместе с ними в час пополуночи; после псалмопения мы шли копать землю — все прекрасно, но через три месяца я понял однажды навсегда, что мне невозможно жить без умственной деятельности. У траппистов она на точке замерзания. Это просто жизнь рабочего человека, которому некогда мыслить. Но тут действовало на меня и другое влияние. Одна любезная петербургская дама вышла замуж за ирландского gentleman. Они живут недалеко от монастыря. Прежде, нежели я заперся в пустыне, я гостил у них несколько дней. М-me Foley рассказала мне многое о России, показывала мне русские книги, иллюстрированные журналы, русские изделия и пела мне русские песни. В первый раз тогда (1861) я услышал, как быстро Россия подвинулась вперед. Вот эти-то мысли смущали меня среди вечного молчания траппистов. «Теперь начинается возрождение России; поднимается заря великого дня; а тебе его не видать, и даже слух о нем не проникнет сквозь эти стены». Не без сожаления оставил я моих добрых траппистов — единственный орден, который сохранил свое первобытное значение. Благое провидение так распорядило, что лишь только я приехал сюда, мне тотчас предложили место, наиболее соответствующее моим желанием и наиболее близкое к моему идеалу, т. е. заведовать двумя больницами вместе с сестрами милосердия. Теперь я живу в совершенном уединении и совершенной независимости. Все мое время строго распределено между делами христианской любви в больнице и умственными занятиями дома. Мыслить и любить — вот главная задача жизни! *Régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs* (G. Sand) [Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами (Ж. Санд).— *Фр.*] — вот высшая цель честолюбия! а совершенное блаженство, как говорит Данте, состоит в

Luce intellettuale, piena d' amore,
Amor di vero ben pien di letizia

(Parad.)⁴²⁵

Мне чрезвычайно нравится твоя деятельность. Железные дороги — существенная потребность России. Это артерии для ее кровообращения. Пора России перестать младенчествовать и обезьянничать Францией и Англией. Ей должно идти самостоятельным путем практического материального развития. Наша тесная дружба с Северной Америкой есть одно из знамений времени. Может быть, не в очень далеком будущем свет увидит две исполинские демократии — Россию на Востоке, Америку на Западе: перед ними смолкнет земля.

С смертью Пальмерстона⁴²⁶ открывается новая страница в истории Англии — разумеется, более в демократическом направлении. Я благословляю тот день и час (1-е янв. 1845), когда я вышел на английский берег. Двадцатилетним опытом я узнал, что нет на земле страны, где более господствует правосудие, истина и христианская любовь в частной и общественной жизни, как в Англии.

26 августа 1873

Miltown Park

Под предлогом обязательных духовных упражнений я провожу несколько дней (всего 4 дня, за что плачу 1 фунт ст.) за городом в доме иезуитов в Мильтоуне Парке. Хотя это всего каких-нибудь три или четыре мили от средоточия города, т. е. от почтамта, а мне кажется, что я за сто миль от Дублина. Здесь под тенью вековых дубов и вязов господствует нерушимая тишина: никакой городской шум не достигает этой пустыни, а голубые горы как будто нависли над садом, хотя отсюда каких-нибудь восемь миль. Я сижу в крошечной комнате или келье с двумя окнами; вся мебель состоит из кровати, одного стула и кресел и столика для умывания. Я сижу перед столом в креслах, а подле стола нагой (*priedieu*) с распятием. На столе расположены порядком следующие книги: Духовные упражнения св. Игнатия, Метода размышления, различия между временем и вечностью; Подражание Христу и Новый Завет. Но это только для вида, *pour sauver les apparences*; а в саке у меня лежит роман Вальтера Скотта Сен-Ронанский ключ, тетрадь сочинений Писемского и *les rhépotèmes et les lois de la chaleur* [Явления и законы теплоты—*фр.*]⁴²⁷: это так, на всякий случай, ради скуки.

Но пора, однако же, приняться за духовные упражнения, а наилучшими духовными упражнениями я считаю писать к тебе или, лучше сказать, продолжать печально-однообразную историю моей жизни.

Вот что было записано 8 лет назад в этом же самом доме, может быть, в той же самой келье и за тем же столом:

Мильтоун Парк

21 Авг. 1865

Надобно писать. Надо же что-нибудь делать в этом уединении. Мне кажется, я был рожден для какой-то беспредельной деятельности; но судьба заперла меня в тесном круге. Как птица в клетке, я бьюсь о решетки моей темницы... Выйду ли из нее когда-нибудь? Рабом я родился, рабом и умру. Несчастное славянское племя! Мы какую-то непреодолимую силою увлекаемся к рабству. Раболепие в нашей крови.

22 Авг.

В духовных упражнениях св. Игнатия человеческий ум похож на осла или быка, который ходит кругом и приводит в движение мель-

ницу. Вечно в том же кругу он вертится, не подвигается вперед, нет ничего нового, нет прогресса. Эти упражнения — наилучшее средство для скования человеческого ума. Они имеют целью ошеломить человека, лишить его свободного употребления даров природы, смирить его физически и нравственно, т. е. лишить его всякой энергии и сделать его бесчувственным орудием в руках того, кто им управляет. Деспотизм никогда ничего совершеннее не изобретал.

Вот чем кончились все благородные порывы юности! Вот к какому пределу стремилось это ненасытное честолюбие, которое презирало все препоны, брезгало всеми общественными приличиями, не могло терпеть даже и тени снисхождения к людским предрассудкам! А теперь придется умереть лицемером! Но ведь и Сократ, умирая, приказал зарезать петуха в честь Эскулапия⁴²⁸.

Если бы я родился в Индии брахманом, я, вероятно, остался бы брахманом, несмотря на просвещение, сообщенное мне Англиею. До сих пор религия была необходимым элементом человеческого общества. Все религии одинаково истинны, пока они живут. Нет ничего глубже этого вопроса Пилата Понтийского: «*Quid est veritas?*» Что такое истина? Это совершенно относительное понятие. Религия условливается географическими, климатическими, этнологическими отношениями человека. Впрочем, может быть, мы стремимся теперь к какой-то всеобщей религии, в которой соединятся все умы на востоке и на западе.

Единая спасающая церковь есть не что иное, как древний Рим со своею жаждою всемирного владычества. Пора ему сойти со сцены. Христианская церковь явилась как реакция против римского деспотизма. Но прикосновение с императорским двором растлило ее девственность. Супруга Христа⁴²⁹ облеклась в багряницу императоров, забыла мечты своей юности и во дворце Цезарей упилась вином властолюбия. Скромные и бедные пресвитеры оделись в пышные одежды, блестящие золотом и драгоценными камнями; перед ними курят фимиам, точь-в-точь как перед божественными императорами, и народ раболепно упадает на колени и целует землю перед заместителем того самого Христа, который жестоко укорял фарисеев за то, что они расширяли свои рясы и самодовольно принимали поклоны и почетные титулы отцов и учителей.

Révérèndissime Padre! — Admodum Révèrende — Eminènza — Suse Santità!⁴³⁰

22 Авг. ввечеру
и 23 Авг. поутру

Начато стихотворение:

Не погиб я средь крушенья!
Не пришел еще мой час! и пр.,

помещенное в сентябрьском номере газеты *День*⁴³¹. Это стихотворение было выражением глубочайшей тоски. Оно вызвало твои сочу-

вственные слезы и твое первое письмо после 20-летнего молчания. Оно сделалось важнейшею вехою в моей жизни. Смотри, как странно сцепляются атомы событий в человеческой жизни. Петр Долгоруков⁴³² прислал мне несколько нумеров Дня: там я увидел два твоих письма из Киева и, вероятно, с тех же плантаций, где ты теперь находишься, — я упомянул о тебе в письме к Аксакову — и все это заключилось или увенчалось твоим приездом в Доблин.

И я опять в этом же самом Мильтоуне Парке, и передо мною письмо из твоих плантаций — но точка 1865 давно уже прошла, и я теперь совершенно хладнокровно и равнодушно смотрю на обстоятельства, приковывающие меня к распадающемуся трупу католицизма...

Вся жизнь моя — одно желанье!
Несбывшейся надежды сон!

Ах! если бы мне как-нибудь исчезнуть, пропасть где-нибудь в предместьях Лондона или в горах Швейцарии так, чтобы и след мой простыл, чтобы и слуху не было о моем священстве и католичестве. Но это тоже мечты, несбыточное дело. Нельзя же человеку совершенно исчезнуть. Надо примкнуть к какой-нибудь партии, к какому-либо верованию. А я ни во что не верю. Я просто верую в постепенное развитие человеческого рода посредством науки и промышленности; я уверен, что со временем, постепенно, жизнь делается легче, удобнее, будет менее неприятных столкновений, удобства жизни распространятся постепенно на все классы общества, а далее этого я ничего не ожидаю. Но веровать в какой-то земной рай, в какую-то *жизнь грядущего века*, где все будут одинаково богаты, одинаково счастливы, одинаково умны, иде же ни печаль ни воздыхание⁴³³, но жизнь бесконечная, по-моему, это тот же фанатизм, только в другом виде, и я это верование представляю поклонникам социализма, коммунизма, нигилизма и пр. Они действительно без малейших разумных доводов слепо веруют в земной рай, обещанный им их проками. [...]

Дублин. 6 декабря н. ст. 1874

[...] Ну что ж? опять приняться за дело? писать записки? Ты не можешь себе представить, до какой степени противно и приторно не только писать, но даже и думать о *духовной* жизни. Это такая мертвечина, мерзость запустения, стоящая на месте святе, это воплощенная колоссальная ложь. У меня просто руки опускаются [...]

Дублин. 7 ноября н. ст. 1875

Прежде всего отвечаю на твой вопрос: «переписываешься ли ты с твоим племянником?» Нет! вот уже два года, если не больше, как об нем ни слуху, ни духу: он собирался выехать из Саратова, а где он теперь — бог весть. Вот видишь, как — помалу все исчезает: знакомые и родные *далече от мене стаща*. Ты один остался у

меня, Чижов. Ради бога, не покидай меня. Ты единый у меня заступник, отец и благодетель. Ты единственная нить, связывающая меня с Россиею: когда эта нить порвется, тогда мне останется только завернуться в плащ стоического равнодушия и сказать «*Катона гордое прости*» и России, и всему, всему, всему. Хорошо тебе: ты живешь одною нераздельною жизнью, т. е. русскою жизнью. А у меня необходимо две жизни: одна здесь, а другая в России. От России я никак отделаться не могу. Я принадлежу ей самой сущностью моего бытия, я принадлежу ей моим человеческим значением. Вот уже 30 лет, как я здесь обжился — а все-таки я здесь чужой. Мой дух, мои мечты витают не здесь — по крайней мере не в той среде, к которой я прикован железною цепью роковой необходимости. Я нимало не забочусь о том, будет ли кто-нибудь помнить меня *здесь*, когда я умру; но Россия другое дело. Ах! как бы мне хотелось, как бы мне хотелось оставить по себе хоть какую-нибудь память на земле русской! хоть одну печатную страницу, заявляющую о существовании некоего Владимира Сергеева Печерина. Эта печатная страница была бы надгробным камнем, гласящим: *здесь лежит ум и сердце В. Печерина*.

Ты оставишь по себе памятник — железные дороги и беломорское плавание⁴³⁴; а мне нечего завещать, кроме мечтаний, дум и слов. Всякому своя доля: один родился и растет кедром ливанским или стройною пальмою, другой — мелкою березкою, третий — подлым репейником, а все они чада одной и той же матери природы, и всех она окончательно приберет в свое лоно [...]

Дублин. 23 января н. ст. 1878

Наконец всякому терпению есть конец. Скажи ради бога, что случилось с тобою, любезный Чижов. Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10 октября, а теперь по-вашему 11 января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без ответа. Что же это значит? Если ты так сильно болен, что писать не можешь, то ты мог бы уведомить меня через какое-нибудь третье лицо. Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россиею — если она порвется, то все прощай. В крайнем недоумении, не зная ни как, ни что, я больше писать не могу и с нетерпением буду ожидать ответа.

Твой В. Печерин

К. С. Аксаков

ВОСПОМИНАНИЕ СТУДЕНТСТВА 1832—1835 годов

Я поступил в студенты 15 лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен,— экзамен, явление доселе для меня незнакомое, казался для меня страшен. А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет¹.

В мое время полный университетский курс состоял только из трех лет или трех курсов. Первый курс назывался подготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было сравнительно довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас человек 20—30². В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидели друг друга в первый раз; во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи,— чувство для меня новое.

В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя неосознательно, и то, что молодые эти силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины³. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были *точно* молоды, не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного, ни вытертого; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна *молодость человека*, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек⁴. Такое чувство равенства, в силу

человеческого имени, давалось университетом и званием студента*.

Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя, собственно, товарищи мои ничем не сделались замечательны, — кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду, — но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим *основание, воспоминанием*. Вообще не худо, чтобы молодые люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут студенты; но это свободное общежитие тогда получает свою цену, когда истина постоянно светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на нее свои взоры. Значение университетского воспитания может быть огромно в жизни целой страны: с одной стороны — играющая молодая жизнь, как целое общество, в союзе юных нравственных сил, жизнь, не стесняемая форменностью, не гнетомая внешними условиями; с другой стороны — истина, греющая этот союз, предлагаемая, но не навязываемая никому. Хорошо бы это могло быть!

В мое время цель эта достигалась с одной стороны: именно со стороны студентства. Молодая жизнь точно играла с оттенком легкого, безобидного буйства и проказливости. Форменности почти не было; она начинала вводиться, правда, но еще очень легко. С другой стороны, со стороны профессорства, цель эта достигалась большею частью весьма слабо, — и очень тускло и холодно освещало наши умы солнце истины; но живые, неподавленные силы наши находили к ней дорогу⁵.

Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов, бывшие некогда, давно миновали. Время смягчает нравы; студентская свобода не исчезла, но молодость уже не увлекалась, как прежде, одним кипением крови, более и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шутивных проделках, мало-помалу исчезнувших в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторявшихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже очевидно преданием.

Рассказывали, что незадолго перед моим вступлением, однаж-

* Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключившее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь.

ды, когда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампою, и, только показавшись Победоносцев — грянули: «Се жених грядет во полнощи»⁶. Рассказывали, что Заборовский, бывший еще в то время в университете, принес на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принял летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелегкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокою сторону, если б Победоносцев был человеком жалким и смиренным; но он, напротив, был не таков; он бранился с студентами, как человек старого времени, говорил им *ты*; они не оскорблялись; не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом.

На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, невыносимо скучно. «Ну что, Аксаков, когда же ты мне хрийку напишешь», — говорил, бывало, Победоносцев. Студенты, нечего делать, подавали ему хрийки⁷. Кроме Победоносцева, были у нас профессорами: богословия — Терновский, латинского языка Кубарев, греческого Оболенский, немецкого Геринг, французского Куртнер, географии Коркунов; Гастев читал какую-то смесь статистики, истории, геральдики и еще чего-то⁸. Лекции богословия читались самым схоластическим образом, но тем не менее они меня довольно интересовали. От времени до времени поднимался какой-нибудь студент, обыкновенно духовного звания, и, по обычаю семинарии, начинал с Терновским диалектический спор, который Терновский поддерживал, иногда с досадою, — но обычай продолжался. Обыкновенно Терновский заставлял кого-нибудь из студентов повторять содержание прошедшей лекции. Кубарев, с кругленькой головой и вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и внятно, выговаривая слова тихеньким голоском своим, Тита Ливия, — и только⁹. Гастев, Коркунов были люди молодые тогда, но совершенно бесцветные. Куртнер толковал о *participé présent*¹⁰, Геринг переводил хрестоматию, в которую входили и стихотворения Шиллера, Гете и других. Оболенский переводил с нами Гомера. Оболенский был очень забавен; он был небольшого роста и с весьма важными приемами; голос его — иногда низкий, иногда переходил в очень тонкие ноты. Он переводил с нами Гомеру Одиссею:

Andra moi ennepe, Musa...

[Муза, скажи мне о том многоопытном муже... — *Древнегреч.*]

Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова «Одиссеи». Обыкновенно

венно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтоб не обратиться в совершенного слушателя.

Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и, скорее, забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты,— и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво сами за себя, и полные глубокого значения выражения богословия, и события исторические, выглядывавшие с своим величием даже из лекций Гастева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые смешным Герингом,— падали более или менее сознательно, более или менее сильно в раскрытые души юношей — лишь бы они только не противились впечатлению — нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства. Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов; я прочел еще прежде всю «Илиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением¹¹ и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б, при этой свободе студенческой университетской жизни, было у нас живое, глубокое слово профессора!

Наш курс, впрочем, не очень был замечателен относительно личности студентов. Желая поскорее осуществить юношеское товарищество на деле, я выбрал четырех из товарищей, более других имевших умственные интересы, и заключил с ними союз. Это были: Белецкий из Вильны, называемый обыкновенно паном, Теплов, Дмитрий Топорнин и Сомин¹². Я немедленно написал стихи друзьям, кажется — такого содержания:

Друзья, садитесь в мой челнок,
И вместе поплывем мы дружно.
Стрелою нас помчит поток:
Весла и паруса не нужно.
Вы видите вдали валы,
Седые водные громады;
Там скрыты острые скалы, —
То моря грозного засады...

Далее не помню. Эти стихи были потом положены на музыку Тепловым. Белецкий был человек очень образованный и умный, с глубоким сосредоточенным жаром, читавший с восторгом Мицкевича; что с ним сделалось потом — я не знаю. Я должен признаться, что мои друзья не соответствовали всей мере моих требований; но это уже вопрос личности; разница, вытекающая отсюда, непременно явится всегда; это уже не вина свободной студенческой жизни; кто не пошел вперед, когда путь не загражден, уже сам виноват.

На первый курс поступили к нам студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии; все они были очень хорошо пригото-

ны. Я познакомился со всеми с ними и был с ними в очень хороших отношениях. В числе их был Коссович¹³. Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определялось тогда ясно. Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны, ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова приводил несколько синонимов. Однажды Геринг заставил его переводить. Коссович подошел к кафедре и пустился громко и поспешно переводить, стараясь выражать немецкие слова на русском языке несколькими синонимами. Я помню, как, переводя немецкое ziehen, Коссович сказал: *идут, тянутся, стремятся*. Студенты невольно смеялись, но всем было ясно, что Коссович славно знает язык.

Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекциею Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полною студентов; возвратясь, я нашел ее пустою. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье; на другой стороне был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, потом за ним ректор Двигубский¹⁴. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского,— и обвинили Окатова, который тут был и это знал. В этом суждении, под видом товарищества, высказывалась связь общего союза — одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек.

Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его объяснения. Однажды на лекции, очень серьезно, я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя стих, удержать ударение, которое не совпадает с скандовкой?— Оболенский отвечал: «А, это-с лучше всего объясняется пением»,— и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такою печально-торжественною минуою, что просто не было почти никакой возможности удержаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический, готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию,— и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучаясь, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был и обратить на него больше внимания. Для меня пел Оболенский, каково же мне было?— Я был тогда очень смешлив, и когда Теплов проговорил подле меня шепотом: «Точно колोलники под окнами»,— я не знаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция окончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно: «Что тебе вздумалось

просить петь Оболенского, что ты с нами наделал?»— говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их¹⁵.

Кроме экзаменов у нас были репетиции, и на их основывали профессора наиболее свое мнение о студентах¹⁶. Терновский, репетируя, вызывал обыкновенно к кафедре. Однажды на репетиции он вызвал меня таким образом и спросил о рае. Отвечая, я сказал о древе жизни и прибавил: «Но ведь это древо надо понимать только как аллегория?»— «Как аллегория?»— сказал Терновский.— «Почему вы так думаете?»— «Древо жизни,— отвечал я,— было прообразованием Христа».— «Оно было прообразованием; но это не значит, чтоб оно не существовало»,— заметил Терновский. Однако за этот ответ Терновский поставил мне 3, а не 4.— В наше время четыре был высший балл.

Я рассказываю все эти случаи как характеризующие эпоху больше или меньше. Не думаю, чтоб что-нибудь подобное могло иметь место теперь в университете. Расскажу еще и случай, не очень лестный для моего самолюбия. Геринг, лекции которого были обыкновенно по вечерам, читал однажды с нами балладу Шиллера «Ивиковы журавли» и попросил читать вслед за строфою немецкого оригинала строфу перевода Жуковского; не помню, вызвал ли Геринг меня или я сам вызвался, но только я, стоя у кафедры, начал читать вслух перевод Жуковского. Я читал с притязанием на хорошее чтение, читал несколько надуту и в иных местах напрягал свой громкий голос до того, что он гремел во всей аудитории. Студенты заметили мои притязания, и вдруг раздались рукоплескания. «Господа, что это значит?»— спросил Геринг. «Мы не могли удержаться, слыша чтение Аксакова»,— отвечал студент Старчиков. Я принял все за наличные деньги и был очень доволен. Лекция кончилась, Геринг ушел, и некоторые студенты стали кричать: «Аксакова!» Я еще не понимал насмешки, как добрый мой товарищ, Дмитрий Топорнин, искренно меня любивший, обратился с раздраженным видом к кричавшим студентам и сам закричал в свою очередь: «Дураков, господа, дураков!» Тут только догадался я, что надо мною смеялись, и очень огорчился. Я не любил шуток и не любил насмешек; но насмешка ироническая под видом похвалы, и еще более дураченье, ибо это все же предательство, были и остались мне противны, тем более что у меня движение принимать сказанное за наличные деньги.

Я сказал, что курс наш был не замечателен личностями и что он не удовлетворял моим духовным потребностям. Еще будучи на первом курсе, познакомился я через Дмитрия Топорнина с Станкевичем, бывшим на втором курсе. Когда-нибудь надеюсь написать все, что знаю об этом необыкновенном человеке, но теперь я удерживаюсь воспоминанием собственно студенческой жизни. У Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса; кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Ключников; в первый раз так-

же видел я там Петрова (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества. Но здесь об нем я упомяну также мельком, надеясь написать когда-нибудь, сколько можно подробнее, историю этого кружка в течение целых семи лет¹⁷. В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир,— воззрение большею частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма— все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказывалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было,— не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многими не уравнившийся, я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с малых лет¹⁸. Но видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Мое отношение и мое место в этом кружке принадлежит к истории самого кружка, и потому до этого я здесь не касаюсь. Второй курс, в противоположность нашему первому, был богат людьми, более или менее замечательными. Станкевич, Строев, Красов, Бодянский, Ефремов, Толмачев принадлежали к этому курсу¹⁹.

Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободною от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского.— следовательно перестала быть свободною, а, напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходила как невольное следствие от излишества стремления, но это не было раз принятою оппозициею, которая есть дело вовсе не мудренное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко,— и что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего; даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч.

была ему смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины²⁰. Это стремление, осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увлечен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю всего более Станкевича, именем которого по справедливости называю кружок; стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за границу — быстро развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы. Хотя значение церкви не раскрылось еще Станкевичу, по крайней мере до отъезда его за границу, но церковь и еще семья были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. Станкевич был нежный сын. Кружок Станкевича продолжался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход и свое значение в обществе. После него уже пошли эти безобразные выходки. Но несмотря на всю стройность своего нравственного существа, на стремление к свету мысли, истинной свободе духа, равно чуждой рабства и бунта, Станкевич не стал, по крайней мере до отъезда за границу, на желанную им высоту, и свобода веры, кажется, не была им достигнута²¹.

Я увлекся; но этот кружок есть явление, вполне принадлежащее Москве и ее университету, возникшее в ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни, о котором доносятся отдаленные предания, миновало и когда заменялось оно стройною свободою мысли, еще не подавляемой форменностью.

Когда я поступил в университет, форменность, как сказал я, начинала вводиться, но еще слабо; были мундиры и вицмундиры (сюртуки), но можно было в них и не являться на лекцию. При моем вступлении начиналось требование, чтобы студенты ходили на лекцию в форменном платье; но я и на втором курсе видел иногда студентов в платье партикулярном. В первый год мы

носили темно-зеленые сюртуки с красным воротником (до нас форма была синяя с красным воротником); на следующий год красный воротник заменило начальство синим. Сперва требовалось от нас, чтобы мы были только в университете в форменном платье. Я помню, что я еще во второй год своего студенчества был в Собрании во фраке и говорил там с Голохвастовым²². Потом, вводя форменность, нарисовали студентам на бумажке, одного в мундире, другого в вицмундире, раскрасили, вставили в рамку и вывесили в Правлении для назидания в одежде. Наконец призвали нас в Правление и объявили, чтобы мы во всех общественных местах являлись в форменном платье. Студенты повиновались, и в театре, и в собрании появились студентские мундиры; но везде, где можно, на вечерах и балах частных и даже на улицах, студенты носили партикулярное платье по произволу. Форменные шинели и шубы не были положены, и мы носили шинели и шубы обыкновенные.

Наступили переходные экзамены с первого курса на второй. Они сошли для меня довольно счастливо. На экзамене у Терновского достался мне вопрос об аде. Отвечая, я сказал про огненные муки и прибавил, что было бы странно понимать этот огонь в материальном значении, как огонь, нам известный, но что это огонь не вещественный, что это муки совести. Терновский стал с досадою возражать мне, но тогдашний викарный Николай, присутствовавший на экзамене, остановил его, сказав: очень хорошо, ответ прекрасный. Терновский должен был поставить мне 4, лучший балл.

Я перешел на второй курс. Станкевич и его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали лекции вместе в большой словесной аудитории, над дверью которой золотыми буквами, как на смех, было написано: Словесное отделение. Здесь слушали вместе студентов сто. На втором и третьем курсе (лекции были общие) были уже другие профессора, и из них некоторые — люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику, Каченовский — русскую историю. Впоследствии явился Шевырев, приехавший из-за границы, и стал читать историю поэзии, и потом — Погодин, начавший читать всеобщую историю. Давыдов читал риторику и русскую литературу. Латинский язык читал Снегирев, греческий — Ивашковский, немецкий — Кистер, французский — Декамп, которого обыкновенно называли: дед Камп.

Надеждин производил, с начала своего профессорства, большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную, плавную речь, ощутив, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных знаний. Тем не менее, справед-

ливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лекциями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее, благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения, и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили — и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучею речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку, — и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел²³.

Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию. На этой лекции было много посторонних слушателей; я помню Хомякова и других. Лекция Шевырева, обличавшая добросовестный труд, сильно понравилась студентам: так обрадовались они, увидя эту добросовестность труда и любовь к науке! Я помню, какое действие произвели слова его на Станкевича, когда Шевырев произнес: «честное занятие наукою». — «Это уже не Надеждин, — сказали студенты, — это человек, точно трудящийся и любящий науку». После лекции к Станкевичу подходил Ключников. — «Ты что мне скажешь?» — спрашивал его Станкевич. Я не помню, что Ключников сказал ему, но помню насмешливое выражение его лица. Шевырев казался для студентов радостным событием, — но и тут скоро разлетелось очарование. Студенты скоро увидели педантичность приемов, ограниченность взглядов, множество труда и знания — это правда, но отсутствие свободной мысли, манерность и неприятное щекотливое самолюбие. Однако чуть ли уже не на третьем курсе, чуть ли уже это не мы разрушили сладкие мечты о Шевыреве.

Шевырев объявил нам однажды мнение, что так как уже мысль выражена его словами удовлетворительно, то он бы желал, чтобы студенты высказывали ее в ответах своих его же словами, — это весьма нам не понравилось. Наконец, скоро в Шевыреве обнаружилась раздражительная требовательность и отчасти полицейские движения. Так помню я, что когда один студент зашумел как-то на его лекции или что-то вроде этого, то Шевырев сказал: «М. г., такое поведение не приносит вам чести, а напротив — приносит бесчестие, и, покрытые этим бесчестием, извольте выйти». Я почти буквально помню эти его слова. Справедливое негодование проникло в молодые сердца, и Шевырев скоро стал нелюбим положительно²⁴. Я, впрочем, старался, сколько можно,

защитить Шевырева от излишних нападений и повторял товарищам в шутку: «Сей девы рыцарь я»*.

Погодин, заняв кафедру всеобщей истории (кажется, когда мы уже перешли на третий курс), тоже читал вступительную лекцию. Погодин говорил с жаром, и хотя молодые люди были враждебно расположены к нему, но мне помнится, что эта лекция произвела выгодное и сильное впечатление. Бог знает, как умел Погодин при стольких своих достоинствах восстанавливать против себя почти всех. Нападения на него часто были несправедливы, но недаром же так дружно на него восставали. Мне кажется, что главная причина — неумение обращаться с людьми. Я помню, что и нам однажды с кафедры сказал он, что мы мальчишки или что-то в этом роде, — аудитория наша не вспыхнула, не зашумела на сей раз, но слова эти оставили глубокий след негодования. Впрочем, значение Погодина ясно определилось только впоследствии, когда он получил кафедру русской истории. Я видел некоторых его слушателей, — людей правдивых и умных, — благодарных ему за лекции русской истории²⁵.

В наше время любили и ценили и боялись притом, чуть ли не больше всех, — Каченовского²⁶. Молодость охотно верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение, — и исторический скептицизм Каченовского нашел сильное сочувствие во всех нас. Строев, Бодянский с жаром развивали его мысль. Станкевич, хотя не занимался много русскою историею, но так же думал. Я тоже был увлечен. На третьем курсе начал я писать пародию: «Олег под Константинополем», где утрировал мнение, противоположное Каченовскому²⁷. Только впоследствии увидал я всю неосновательность нашего исторического скептицизма. Я помню, как высоко ставил Каченовский Москву, с какою улыбкою удовольствия говорил о ней, утверждая, что с нее начинается русская история. Его отзывы о Москве были новою причиною моего к нему сочувствия. Но самые лекции свои читал он довольно утомительно для слушателей. Каченовский был в то же время очень забавен в своих приемах, и студенты самым дружеским и нежным образом над ним подсмеивались. Он являлся аккуратно в назначенный час (промежутков между лекций у нас не было), и студенты говорили, что он сам звонит. Несмотря на свою строгость, Каченовский, однако же, хорошо обращался со студентами. Я помню, что он сказал на лекции одному студенту, заметив в нем какую-то неисправность: «Милостивый государь, вы виноваты; если б с вами была ваша табель, я бы это отметил». Между тем было приказано иметь табель всегда с собою. Мы оценили его деликатность.

Студенты предшествующего нам курса хотели поднести золотую табакерку Каченовскому, но это, кажется, почему-то не состоялось. Станкевич перед своим выходом из университета вздумал

* Из Танкреда, перевод Гнедича.

как-то писать стихи к профессорам, из которых я помню несколько.
Вот четыре стиха, относящиеся к Каченовскому:

За старину он в бой пошел,
Надел заржавленные латы,
Сквозь строй врагов он нас провел
И прямо вывел в кандидаты.

К Снегиреву:

Он (Каченовский) — историческая мерка;
Тебе ж что скажем, дураку?
Ему — в три фунта табакерка;
Тебе — три фунта табаку...²⁸

Давыдов Ив. Ив. был важен, очень важен, невыносимо величествен и скупен. Лекции его не имели ни малейшего достоинства. В его напечатанном курсе есть следующие слова: *о великих людях пишем мы длинными стихами, потому что воображаем их себе большого роста*²⁹. Но всего лучше привести о нем стихи Ключниковца:

Подлец по сердцу и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов
Ивана Лазарева раб³⁰.
.....
В нем грудь полна стяжанья мукой,
Полна расчетов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.
Сквернит своим прикосновеньем
Науку божью педант.
Так школьник тешится обедней,
Так негодяй официант
Ломает барина в передней.

Или:

Учитель наш был истинный педант,
Сорокоум, — дай Бог ему здоровья!
Манеры важные, — что твой официант,
А голос — что мычание коровье.
К тому ж, талант, решительный талант,
Нет, мало — даже гений пустословья:
Бывало, он часа три говорит
О том, кто постигает, кто творит.

Двух первых стихов следующего куплета не помню:

.....
Возьмем, бывало, оду для примера
За голову и за ноги вдвоем
И разберем по руководству Блера,
В ней недостатки и красоты найдем,

Что худо в ней, что хорошо*, — оценим,
Чего ж недостает — своим заменим.

Из настоящих старых профессоров был у нас один собственно — Сем. Март. Ивашковский³¹. Почти к каждому слову говорил он: *будет*, что Беер называл: *вприкуску*. Когда я поступил на второй курс, то был немало удивлен порядком его лекций, в особенности первую лекцией. «Идет Ивашковский!» — сказал кто-то. «Это ничего, — отвечали старые студенты, — он еще будет долго ходить по аудитории». И в самом деле: Ивашковский явился, один из студентов-эллинистов подошел к нему, завел с ним разговор, и Ивашковский начал ходить с своим собеседником взад и вперед по одной половине аудитории, а по другой расхаживали студенты. С полчаса продолжалась прогулка; наконец Ивашковский сел на кафедру, а студенты на лавки. Ивашковский молчал долго, как будто собираясь и не решаясь заговорить, наконец вдруг сказал: «Велено будет, всякому студенту будет, иметь будет табель», — и опять замолчал и опять долго как бы не решался заговорить; наконец сказал: «До следующего будет раза», — и ушел. Всякая его лекция начиналась прогулкой, и для этого выбирался кто-нибудь из студентов-эллинистов. Читал Ивашковский не больше получаса; лекция заключалась в переводе греческих писателей. Ивашковский кричал и переводил; кричал и переводил вслед за ним избранный студент, часто ничего не знавший по-гречески и иногда догадываясь весьма неловко. Я помню один такой перевод. «И взял его», — кричал, переводя, Ивашковский. «Взял его, — повторил студент, и прибавил, — за волосы», — как видно, лучше не догадавшись. Ивашковский остановился: «Где, будет, за волосы, тут нет, будет, за волосы», — сказал он, и перевод пошел своим порядком в два голоса.

На втором курсе я еще больше сблизился с кружком Станкевича и, должен признаться, поотдалился-таки от своих друзей-товарищей. Коссович на втором курсе уединился от всех, не занимался университетским учением, не ходил почти на лекции; а когда приходил, то приносил с собою книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. На него смотрели с удивлением, говорили: Коссович не занимается; а он, между тем, глотал один древний язык за другим. Коссович вступил на свою дорогу, филологическое призвание заговорило в нем, и именно он трудился дельно и быстро себя образовывал. Но, однако, Коссович был оставлен на втором курсе; впоследствии, занявшись университетскими предметами, он без труда вышел кандидатом.

На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал музыку. Иногда мы певали всем хором; общею студентскою нашею песнью были стихи Хомякова из его трагедии «Ермак». *За туман-*

* Что подчеркнуто, то хорошенько не помню.

ною горою и проч.³². Станкевич был большой мастер передразнивать. Однажды, как-то днем, на своей квартире, передразнивал он Каченовского, и в это самое время Каченовский проехал мимо, по улице. «Вот тебе раз,— сказал Станкевич,— не видал ли он?»— «Ничего, братец,— сказал Бодянский,— он подумал, что зеркало стояло». В те года только что появлялись творения Гоголя; дышавшие новою небывалою художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича! Во время нашего студентства вышло «Новоселье», альманах; там была повесть Гоголя: «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»³³. Помню я то впечатление, какое она произвела. Что может равняться радостному, сильному чувству художественного откровения? Как освежало, ободряло оно души всех! как само постепенное появление изданий гениального художника оживляло, двигало общество! Рад я, что испытал и видел все это. Станкевич ценил очень верно и тонко художественность Гоголя, особенно в безделицах. Вскоре после выхода его и моего из университета Станкевич достал как-то в рукописи «Коляску» Гоголя, вскоре потом напечатанную в «Современнике». У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор, как начал в нем стоять кавалерийский полк...»— и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселия и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. Наконец, смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький рассказ, в котором, как и в других созданиях Гоголя, и полнота и совершенство искусства³⁴. Станкевич читал очень хорошо; он любил и комическую сторону жизни и часто смешил товарищей своими шутками.

Помню я нашу шумную аудиторию, помню это веселое товарищество, это юношество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности, не хлопочущее о манерах, а постоянно вольно себя выражающее. Множество молодых людей вместе слышит в себе силу, волнующуюся неопределенно и еще никуда не направленную. Иногда целая аудитория в 100 человек по какому-нибудь пустому поводу вся поднимет общий крик, окна трясутся от звука, и всякому любо. Но чувство совокупной силы выражается в эту минуту в общем громовом голосе. Почему не выразится оно иначе,— здесь не место говорить о том. Хорошо, что в наше время оно хоть темно чувствовалось, хоть так выражалось. Помню я, как однажды узнали, что Каченовский не будет. «Каченовский не будет!»— закричал один студент; «Не будет!»— подхватил другой. «Не будет!»— закричали несколько. «Не будет!»— заремела вся аудитория, и долго гремела. Кто-то вошел в калошах в аудиторию. «Долой калоши, à bas, à bas!» [долой, долой — фр.]— раздалось дружно, и вошедший поспешил скорее удалиться и скинуть калоши. Однажды Морошкин³⁵, читая в политическом отделении,

находившемся под нами, и услыша такой гром, сострил, сказав, что грому прилично быть на Олимпе, а не на Парнасе. Юридическое отделение в наше время называлось политическим и было очень плохо; «словесники» питали великое презрение к «политикам».

Не могу не рассказать про один смешной случай, бывший на лекции у Надеждина. Он как-то вздумал сделать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать, как по книге, и при этом непрерывно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. «Он по книге читает», — заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услышал это, и сам, заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: «Извините, г. Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете». — «Нет», — отвечал Бодянский, и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: «Извините меня, г. Бодянский, пожалуйста к кафедре». Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближался к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-в-точь, как на задней лавке. «Сделайте милость, извините меня, — сказал Надеждин, — прекрасно, прекрасно!»

Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьезно занимался историей и теперь занимает в области науки всем известное почетное место.

Между нами были еще студенты того прежнего буйного склада, о которых мы знаем, теперь только по преданию, как о старине. Таков был Киндяков, часто пьяный, буйный, производивший драки и на улицах³⁶. У Шевырева была привычка, если кто зашумит на лекции, обратиться к лавкам и сказать: «А?» Раз как-то, при Киндякове, он тоже, обратясь к студентам, спросил: «А?» — «Бе», — отвечал ему Киндяков громогласно. Шевырев смутился и не сказал ни слова. Был у нас и студент другого рода, хохотун Челищев, бравший два платка с собой на лекцию: один, чтоб утирать нос, а другой, чтоб затыкать рот, когда начнет смеяться. Лекции у нас следовали без всяких промежутков, одна за другою, иногда продолжаясь шесть часов сряду. Это было очень утомительно. За Давыдовым следовал Каченовский, и студенты, зевая, спрашивали друг друга: что это — следствие ли Давыдова, или предчувствие Каченовского?

Я перешел на третий курс. Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами, и аудитория наша опустела. Студенты из первого курса перешли на второй, но из них не было никого особенно замечательного. Замечательнее других был Сазонов, перешедший из другого отделения и принадлежавший к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Станкевича, кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мною сблизиться, желая сделать из меня прозелита, чего ему, однако, не удалось. Он оказался совершенно пустым человеком впоследствии³⁷. Дм. Топорнин, Толмачев были короче других со мною.

На третьем курсе мы уже были на первом плане, считались первыми студентами (хотя я, собственно, отвечал большею частью плохо на репетициях) и получали притом вес студентов старых.

На третьем курсе нашем, помню я, вошел однажды в аудиторию один студент и сел вдалеке от других на задней лавке; мы узнали, что это был Петров, доносивший на Декампа, бывший, по этой причине, в отлучке все это время и вновь поступивший студентом в словесное отделение. Лицо его было бледно; он имел несчастным, жалкий вид. Никто не говорил с ним, не подходил к нему. Он постоянно был как бы отверженным и потом не знаю куда девался³⁸.

Строев держал список у Декампа. Держать список значило — делая переключку, а иногда и без переключки отмечать отсутствующих студентов. Эти списки не были в употреблении у профессоров, и, сколько помню, один Декамп придавал им значение. Он спросил Строева перед выпускным экзаменом его курса, кому передать список после него. Строев назвал меня. Я был очень не рад, но студенты были довольны, ибо они знали, что я *абсов* ставить не буду. Однажды, перед лекциею Декампа, когда еще он не успел прийти, студенты подошли ко мне и объявили: «Аксаков, мы все идем от Декампа». — «Полноте, господа, — сказал я, — останьтесь, как вам не стыдно? Ведь мое положение все же неловко». — «Нет, мы идем непременно». — «В таком случае и я иду с вами», — сказал я, и мы все вместе вышли из аудитории, вошли в переднюю, пошли за загородку, где висели наши шинели, надели их и приготовились идти. Вдруг является Декамп; мы поспешно затворились за перегородкой и ждали, пока Декамп уйдет. Декамп вошел в аудиторию, спросил солдата, где студенты, и тот отвечал ему: «Ушли». — «Как ушли?». — «Ушли». Декамп воротился в переднюю, вероятно, с тем, чтоб ехать назад, как вдруг увидел сквозь плохо притворенную дверь рукав студента Иванова. Декамп отворил дверь, и вся аудитория, в шинелях, явилась ему в полном собрании. Я, как державший список, вышел вперед и стал перед Декампом. «Est-ce que nous jouons à cache-cache?» [Мы что, играем в прятки? — *Фр.*] — заговорил Декамп. Мы сняли шинели, вернулись в аудиторию и сели по лавкам. Декамп разъярился. Исковерканным русским языком приказал он солдату идти к инспектору (тогда только заводился инспектор; его должность правил Клименко). «Я не знаю, где живет инспектор», — отвечал солдат, благоволя студентам. Наконец, Сазонов встал, подошел к кафедре и утишил гнев Декампа.

Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это другой вопрос. Сазонов, точно, был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает. Если профессор поправлял явную ошибку Сазонова, Сазонов соглашался на поправку

профессора или как бы с снисхождением, или даже как на дело, ему совершенно известное, но о котором он, странно в самом деле, как будто позабыл. Итак, я тогда уже увидел и заметил этих мастеров, действующих так ловко не на одной студентской лавке, но и в жизни,— этих ловких людей, небрежных, по-видимому, но так умеющих себя выставить, и так искусно, что увидят все, что им хотелось выставить, а не увидят того только, как они себя выставляют. Конечно, со временем должна раскрыться эта тайна, должен быть замечен и оценен их талант, но, конечно, не вдруг и, конечно, не всеми. Впрочем, тут много зависит от степени мастерства. Я говорил Сазонову о его ловкости, он смеялся и советовал мне так же действовать. Но такой образ действий был мне совершенно противоположен, и такого мастерства я никогда не хотел и не хочу.

Так как я поступил в университет прямо из родительского дома, то до моего слуха не касались никакие грязные выражения, никакое вранье; и впервые довелось мне слышать все это от товарищей, которые во время чтения лекций нашептывали мне всякий вздор, очень забавлялись моей невинностью и, сверх того, еще моею невозможностью защитить себя от их слов; они чувствовали себя в ту минуту безопасными от сильного толчка или от здорового туза в спину. Мне противно было сальное вранье, к несчастью, почти всегда увлекающее молодость. Конечно, мужская невинность состоит не в неведении дурной, грязной стороны жизни, а в независимости от этой стороны; не в целомудрии слуха, а в целомудрии внутреннего чувства; но я тогда неясно понимал это; к тому же эти шуточные и непристойные речи имели для меня всю резкость неслыханного, нового; наконец, должно прибавить, кому не нравится внутренний смысл, тому не нравится и наружное его выражение, и я речей таких и теперь не люблю. Во мне не было никогда, с самого детства, желания быть старше своих лет; напротив, я боялся этой претензии; в ней-то и неременное доказательство, что человек не старше, а моложе своих лет. Я всегда выдерживал себя вполне в каждом возрасте; но, однако, это относилось именно к тому, в чем проявлялся возраст, именно к внешней стороне. Я не желал быть большим, не желал поскорее надеть галстук, ходить без человека и т. п. В университете и после университета я долго не хотел ни курить, ни пить вина, даже до 23-летнего возраста. По 22-му году я пил рейнвейн с водой на берегах Рейна. Право, мне казалось, что я не мог бы смотреть на себя с уважением, если б поддался желанию поступить в большие, и когда мне входили в голову насмешливые слова, хотя и не ко мне обращенные, юношей, поступавших иначе, слова: «Это детство, это страх не послушаться»,— то я чувствовал, что детство будет именно в противоположном, и что делать так, как они делают,— их заставляет страх послушаться. Так всегда поступал я относительно внешней стороны. Что же касается до того, что не зависит от возраста, до мысли, до внутренних убеждений, до самостоятельности мнения, то я высказывал самостоятельно свое мнение от самых малых лет, и в тех случаях, когда я видел неуважение к моему мнению, ради моих лет, я сильно оскорблялся и происходили у меня с большими людьми

жаркие схватки. Говорю все это для того, что интересно вообразить, в какие отношения станет такой человек с товарищами. Не знаю, что за студенты теперь, но тогда с товарищами я был в наилучших отношениях. Они видели, впрочем, что во всех тех случаях, где не было для меня чего-нибудь или безнравственного, или просто недолжного, или, что хотя в моих глазах было дело и пустое, но чего не хотели в моей семье,— я был добрым товарищем; они видели, что не от робости или слабости, не из ложного детства происходит мое противодействие мелочным проявлениям совершеннолетия; мое совершенное послушание семейным требованиям, никогда, впрочем, не стеснявшим свободы нравственной. Между прочим, было мне сказано желание, чтоб я не ходил в кондитерскую во все время студентства,— и я вышел кандидатом, не бывши в кондитерской. Бывало иду с лекций с товарищами мимо Бера. «Мы к Беру,— говорят они,— Аксаков не зайдет». «Не зайду, господа, ступайте». Студенты входили к Беру, а я шел далее. Товарищи подсмеивались слегка, но насмешка никогда не имела никакого действия на мои поступки. Но знали мои товарищи, что не выдам я их ни в каком случае, не останусь позади ни при каком независимо-общественном порыве. К тому же подсмеивались надо мною только близкие мне товарищи. Один студент хотел было присоединиться к ним, но я сказал ему, что позволяю шутить только близким мне и чтоб он не смел этого делать. Сказано было решительно, и студент отошел. Другому, который долго не унимался, я обещал, что выброшу его из окна; в те пылкие годы я, пожалуй, буквально исполнил бы свои слова.

Однажды Снегирев на лекции, зная мою скромность, нарочно заставил меня переводить из Горация или из Вергилия неприличное место; студенты засмеялись. Снегирев, сделав мину, сказал мне: «Не смущайте г. Аксакова». Студенты засмеялись еще больше. Я весь вспыхнул, но, удержав себя, дождался конца лекции. Пока Снегирев, встав, говорил с некоторыми студентами, я вышел в переднюю и стал дожидаться Снегирева, чтоб объяснить с ним. В волнении я был страшном, и оно выражалось на моем лице. Я помню, как один студент не нашего курса, Барсов, подошел ко мне и спросил: «Что с вами, Аксаков?»— «Ничего»,— отвечал я. Студент ушел, и потом я узнал, что он говорил другим студентам, что я скоро умру: в таком положении он меня видел. Наконец Снегирев показавшись. Я подошел к нему. «Вы нынче смеялись надо мною»,— сказал я ему с таким видом и таким голосом, которые были красноречивы. «Я?— сказал, смутившись, Снегирев,— помилуйте, Аксаков, я?»— «Да, вы; вы обратились к моим товарищам, вы в насмешку просили их не смущать меня».— «Я с добрым намерением».— «Однако товарищи мои засмеялись. Как бы то ни было, прошу вас вперед подобного ничего не делать, а не то...». Я не успел договорить, показавшись Погодин, которого Снегирев бегал. Снегирев поклонился мне и ушел. С той поры все время Снегирев был со мною в отличных отношениях. Я помню, мне говорили знакомые, что этот случай очень возвысил меня во мнении студентов.

Не любя непристойностей, я непрочь был немного безобидно побуяннить, пошуметь, попробовать силу. На третьем курсе, идя однажды в таком расположении духа, я и еще человека четыре студента, по Кисловке с лекции,— помню, что Сазонов был в числе, пошли мы рядом по середине улицы и принуждали сворачивать экипажи, крича: «Объезжай». Решительный вид молодых людей заставлял исполнить их требования, но некоторые из товарищей простерли это безобидное буйство до непозволительного: они вздумали говорить любезности попавшейся девушке. Я громко этому воспротивился, сказал, что это дурно, никуда не годится, объявил, что не хочу идти с ними, и взшел на тротуар. Товарищи взшли и сами, оставив девушку в покое, и мы продолжали путь мирными гражданами.

На второй курс, когда мы были на третьем, поступил к нам в аудиторию невыносимейший студент Соловьев, забияка, и трус, и шут в одно и то же время. Однажды он до того приставал к Казаринову, что тот ударил его в лицо и расшиб ему нос до крови. «Вот я так и пойду к инспектору!»— заревел Соловьев.— «Стой!— закричали студенты.— Не смей ходить; мы это дело покончим сами». Студенты подошли с Соловьевым к Казаринову и окружили их обоих.— «Казаринов, ты ударил Соловьева? Проси прощенья».— Казаринов медлил.— «Проси прощенья!»— крикнули студенты.— «Прошу»,— сказал Казаринов. Ободренный Соловьев закричал, торжествуя: «Нет, скажи: прошу прощенья!» Слова его, при его нелепом голосе и выражении торжества на лице, возбудили всеобщий смех. Казаринов сказал: «Прошу прощенья»,— и суд окончился.

На третьем курсе явился у нас новый профессор Измаил Щедритский³⁹. Трудно найти противнее человека: разврат и пьянство выражались на его лице; он был груб донельзя; преподавал свой предмет, статистику, самым дурацким образом. Прежде он читал в политическом отделении; теперь на его лекциях соединялись студенты обоих отделений, и политики приходили к нам, садясь особо на одной стороне аудитории. Щедритский уж и при нас сказал несколько грубостей некоторым студентам. Приблизались репетиции; на них можно было ожидать грубостей еще более. Мы, словесники, сильно возмущались. Я сказал студентам: «Господа, если Щедритский скажет грубость хоть одному словеснику, встанем всем отделением и торжественно, мимо самого Щедритского, выйдем из аудитории». Решение было принято, но Щедритский, быть может, узнав о нем, не подал нам повода исполнить наше намерение.

Во время наше каждый месяц, в субботу, кажется, заставляли студентов всходить на кафедру и читать что-то вроде лекции. Дело это не пошло, и на этом не настаивали. Кажется, произошло такое учреждение после чтения лекций при министре⁴⁰, чтения крайне неудачного. Зная, что будет такое чтение, Ив. Ив. Давыдов заранее взял свои меры и сказал некоторым студентам приготовиться, в том числе и мне. Впрочем, на меня, кажется, он мало надеялся. В назначенный день явился министр в сопровождении многочисленных посетителей. Вызван был Толмачев, взшел на кафедру и сильно

сразился. За ним вышел Соловьев, врал немилосердно, только и слышалось: *нуменон, феноменон*. Уваров пустился с ним в рассуждение, и когда Соловьев окончил свое вранье, сказал, что, по крайней мере, Соловьев говорил *свое*; а тот, подходя к нам, выговорил только: «Посмотри-ко, как я вспотел». После двух таких неудач очередь дошла до меня; я должен был читать о лирической поэзии. Сконфузившись сильно, я не вдруг заговорил; да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо я не ожидал, что буду читать лекцию. Уваров сказал: «Вы конфузитесь, я отодвинусь в сторону». Я наконец заговорил. Уваров приписал это тому, что он отодвинулся. Кой-как я продолжал жалкую лекцию, говорил о Державине, о том, что он не чуждался простонародных слов, и привел стихи:

Ретивый конь, осанку горду
Храня, к тебе порой идет;
Крутую гриву, жарку морду
Подняв, храпит, ушми прядет.

«Где же тут простонародное слово?»— спросил меня Уваров. «Морда»,— отвечал я ему. Он был очень доволен. Лекция окончилась; других чтений, сколько помню, не было. Студенты говорили, что я еще хорошо прочел; но я знал, что весьма плохо.

В 1835 году праздновали день основания университета, ровно 20 лет тому назад. Мне было семнадцать лет. Однажды Давыдов, после или прежде своей лекции, объявил мне, что профессора просят меня написать стихи на этот день; Давыдов, говоря это, обнимал меня как-то сбоку, называл: «товарищ». Я согласился охотно и здесь должен повиниться в том, что и теперь лежит на моей совести. В извинение себе скажу, что я тогда еще многого не успел себе определить. Я знал, что надобно придумать официальное окончание, и, чтоб облегчить себе эту необходимость, я окончил свои стихи стихами Мерзлякова⁴¹, в которых собственно лести нет, но которые имеют казенный отпечаток.

Вот эти стихи:

Цвети, наш вертоград священный,
Крепись в силах, зрей в плодах,
Как был, пребуди неизменный
Общественных источник благ!
Под Николаевым покровом
Явись в величьи, в счастье новом!

В доказательство, как были еще не ясны мои мнения, я могу привести следующие стихи из того же моего стихотворения.

И Русь счастлива! Геній мочный,
Великий царь страны полночной
Восстал и смелою рукой
Разбил неведенья оковы,

И просвещенья светоч новый
Зажег в стране своей родной.
Он нетерпением кипел
И, мыслью упреждая время,
Насильно вырастить хотел
Едва посаженное семя;
Но семя то из рук Петра
На почву добрую упало,
И подвиг славы и добра
Елисавета продолжала!

Написав свои стихи, я должен был приехать к Давыдову и их ему прочесть; он принял стихи, исключив только начало, как не идущее к делу. Стихотворение начиналось так:

Когда Создатель жизни бремя
На человека наложил,
То разума святое семя
В его главу он заронил.
И семя чудное созрело,
И плод богатый принесло;
И слово обратилось в дело,
И дело в слово перешло.

Пришло 12 января 1835 года. Круглая зала в боковом правом строении старого университета была уставлена креслами и стульями; кафедра стояла у стены. Зала наполнилась университетскими властями, профессорами и посетителями; во глубине ее толпились студенты. Кубарев читал латинскую речь, конфузясь и робея так, что шпага его тряслась. Наконец он кончил; я взошел на кафедру. Вначале я смутился и читал невнятно. Наконец смущение прошло, я громко читал свои стихи и, обратясь к своим товарищам, прочел с одушевлением:

И вместе мы сошлись сюда
С краев России необъятной
Для просвещенного труда,
Для цели светлой, благодатной!
Здесь развивается наш ум
И просвещенной пищи просит;
Отсюда юноша выносит
Зерно благих полезных дум.
Здесь крепнет воля, и далекой
Видней становится нам путь,
И чувством истины высокой
Вздымается младая грудь!

Я видел, как на них подействовало чтение. Только я окончил стихи — раздались дружные рукоплескания профессоров, посетителей и студентов. Но рукоплескания эти напомнили мне рукоплескания на лекции Геринга, на первом курсе, и я со смущением слушал. Товарищи мои, впрочем, были в самом деле очень довольны.

На третьем курсе, незадолго до экзаменов, решились мы, я, Са-

знов и Дм. Топорнин, кажется, брать уроки греческого языка у Ивашковского. С нашей стороны это было *captatio benevolentiae* [заискивание — лат.]; я греческий язык на втором и третьем курсе почти позабыл, другие двое были тоже плохие эллинисты. Мы приезжали к нему по вечерам брать уроки. Ивашковский был самый плохой преподаватель, особенно как профессор, но был человек ученый и греческий язык знал отлично. На этих уроках увидал я, что можно бы много было воспользоваться знаниями и замечаниями Ивашковского. Я помню одно его замечание о Гомере, чрезвычайно верное и которое, не знаю, сделал ли кто другой, «Заметьте,— говорил Ивашковский,— что Гомер никакого явления в природе не изображает без присутствия человека, без свидетеля этого явления; древнее созерцание допустить этого не может, по самой полноте своей. Гомер говорит: *раздался гром, задрожала земля,— и пастырь слышит и скрывается*». Замечание чрезвычайно верное и кидающее свет на созерцание древнего мира; разумеется, высказано оно было неловко и в пересыпку с «будет», но это не помешало мне оценить всю верность мысли и отдать ей справедливость.

Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собою всю пошлость, всю наружную благовидность, и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства. От нас не требовали форменных шинелей, и мы носили партикулярные; новые студенты сшили себе сейчас форменные шинели; начальство это утвердило и стало требовать форменных шинелей. Мы являлись только в публичных местах в форме, во всех других местах, даже на больших балах и на улице, мы носили партикулярное платье; аристократики появились в своих щегольских мундирчиках всюду; начальство было довольно и стало требовать постоянного ношения формы. Мы продолжали ходить по-прежнему, и я знаю, что нас уже не хотели трогать, а ждали, пока мы выйдем из университета. Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наполняла нашу словесную аудиторию во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, назначенную предметом и для первого курса. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотою их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; тут раздался в аудитории язык французский. Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды.

Перед самым нашим выходом из университета Надеждин оставил профессорство, и мы: я, Сазонов, Толмачев, Дм. Топорнин,— поднесли ему кубок. Мы явились на сей раз в полной форме, желая придать делу торжественность.

Между тем приблизились выпускные экзамены. Они сошли благополучно. На экзамене Давыдова, бывшем к вечеру, я, отвечав, должен был написать тут же нечто вроде сочинения; я написал и подал. Голохвастов принялся читать и потом подозвал меня. «Аксаков, как это вы написали *нынче*? Разве это можно?»— спросил он. «Отчего же нет,— отвечал я,— слово — вполне русское».— «Но этого нельзя писать».— «Да отчего же? ведь мы говорим это слово».— Голохвастов обратился к Давыдову, который отвечал уклончиво, спрося меня: «Разве вы слышали с кафедры такое слово?»— «Не помню,— отвечал я,— но слово тем не менее законно».— «Как вы думаете, Иван Иванович,— сказал Голохвастов,— ведь это показывает упадок языка?»— Спор продолжался; и я, желая прекратить его и идти домой, сказал: «Ну, хорошо, я вам уступаю это слово». Сказавши это, я пошел от них. «Il est bien bon, il nous cède» [Он очень добр, он уступает нам.— *Фр.*],— сказал мне вслед Голохвастов.

Наконец экзамены окончились, и я вышел кандидатом⁴².

На одной из лекций, перед выпуском нашим, увидали мы в числе слушателей, на лавке, в стороне,— генерала. Это был граф Строганов. Он был предвозвестником нового порядка, который вскоре после нашего выхода и завелся в университете. Хотя эпоха строгановская была эпоха очень, по-видимому, либеральная, но тем не менее внешность, а еще более аристократичность — принесли свое зло⁴³.

Скажу в заключение. В наше время профессорское слово было часто бедно, но студентская жизнь и умственная деятельность, неразрывно с нею связанная, не были подавлены форменностью и приносили добрые плоды. В последующее время со стороны профессоров слово, быть может, стало вообще учение и умнее, но зато студентская жизнь и весь университет подчинились влиянию форменности. Студенты скоро начали увлекаться прелестью светской пустоты и приличными манерами. Внешность, несмотря на всевозможное свое изящество, или лучше — тем сильнее, проникает в живую душу и оцепеняет внутреннюю и всю духовную, единственно нужную сторону человека.

Сила внешности растет, и надо ожидать, что университет обратится скоро в корпус, а студенты в кадетов.

12 января 1855 г.

Слава Богу! Это ожидание не сбылось. Просвещение теперь уважается, и ему дается ход⁴⁴.

Я. М. Неверов

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРАНОВСКИЙ

I

Я познакомился с Грановским в конце 1834 года, в Петербурге, чрез Василия Васильевича Григорьева¹, его товарища по Петербургскому университету, где он в это время оканчивал курс. Не могу теперь припомнить всех обстоятельств этого знакомства, знаю только, что Григорьев свел меня с ним. Я служил тогда в только что образовавшейся, под начальством К. С. Сербиновича, редакции «Журнала министерства народного просвещения», в которую Григорьев принес однажды какую-то статью для журнала. В редакции никого не было, кроме меня и товарища моего по университету и по службе, П. И. Роговича*. Я разговаривал с Григорьевым, и мы, проведя целое утро в приятной беседе, так сошлись друг с другом, что между нами вскоре возникла самая тесная и искренняя дружба. С естественным молодости увлечением Григорьев говорил обо мне товарищу своему Грановскому и возбудил в нем желание познакомиться со мною. Как произошло наше первое знакомство, — не припомню; знаю только, что мне Григорьев хвалил ум и способности Грановского; но в этих похвалах видно было более уважения, нежели увлечения и теплой сердечной привязанности; меня же связывало с Григорьевым именно это чувство только потому, что у нас не было сходства ни в занятиях (Григорьев был ориенталист), ни во вкусах, ни в стремлениях; не было у нас даже общих знакомств; но, можно сказать, безотчетная, исключительно на теплоте сердечной основанная, доходившая почти до пафоса, привязанность Григорьева ко мне возбудила и во мне такое же чувство; а потому в Григорьеве меня интересовал только он сам, а не занятия его, не знакомства. Притом же в отзывах его о Грановском, как я заметил выше, видна была дань признательности и уважения к уму и способностям товарища, а не то теплое чувство, которое соединяло меня с Григорьевым; а потому я слушал равнодушно похвалы Грановскому и не искал случая с ним познакомиться. В это время я сам принимал деятельное участие во многих литературных предприятиях, и у меня раз в неделю по вечерам собиралась литературная молодежь; но

* В 1856 г. — сенатор, тайный советник.

я был совершенно далек от плеяды Сенковского и даже отчасти вел войну с «Библиотекою для чтения», в которой Грановский помещал свои литературные труды², а потому долго не сходился с Грановским. Должно предполагать, что восторженные обо мне отзывы Григорьева Грановскому заинтересовали его, и он искал случая со мною познакомиться. Григорьев привел его ко мне на мои вечера, и первое наше свидание не возбудило во мне сильного участия к Грановскому. Он мне показался слишком серьезен и даже не по летам холоден (Грановский тремя или по крайней мере двумя годами был моложе меня), и некоторое время мы оставались в обыкновенных отношениях хороших знакомых; если я не находил в Грановском ни той пылкости и эксцентричности, которые в то время были отличительною чертою собственного моего характера, то я не мог, так же как Григорьев, не увлечься его здравым, положительным умом, его любознательностью и начитанностью, которая и тогда уже была заметна для нас. Мы видались раз, много — два в неделю, но всегда с обоюдным удовольствием. Не припомню, что именно он писал для «Библиотеки для чтения», но знаю положительно, что по-немецки знал он тогда очень плохо; помню даже, что, когда родился вопрос об отправлении его за границу на казенный счет, он обратился ко мне за советом — как заниматься по-немецки, и впоследствии я помогал ему в этом. Но это началось после знакомства его с Станкевичем, потому что тогда только мы из отношения добрых знакомых перешли в ближайшую дружбу.

Не место говорить здесь о Станкевиче, этой дивной не только в психологическом отношении, но даже замечательной в истории отечественного просвещения личности, которая так рано оставила свет, а потому не успела оставить по себе заметных литературных трудов, но при всем том имела огромное влияние на своих современников-товарищей. Сам Грановский всегда сознавался в этом и даже письменно подтвердил эту мысль в одном из своих писем ко мне. Несмотря на 16 лет, протекших со смерти Станкевича, предание о нем живо сохраняется в Московском университете, где он получил свое образование, и мы, без сомнения, вскоре будем иметь его особую биографию³. С Станкевичем познакомил я Грановского таким образом: будучи соединен с Станкевичем еще в бытность мою в Московском университете узами самой тесной и нежнейшей дружбы и питая к нему самую восторженную и благоговейную привязанность, я, разумеется, всегда с энтузиазмом говорил о нем не только моим друзьям, но и знакомым. Кроме того, имя Станкевича было тогда всеобще известно в литературных кругах по поэтическим его произведениям, печатавшимся в современных периодических изданиях, а также и по отдельно изданной им трагедии «Скопин-Шуйский»⁴.

Грановский по окончании курса в Петербурге собирался ехать в Орел⁵ и, разумеется, должен был проезжать чрез Москву. Я дал ему письмо к Станкевичу. Тут они впервые познакомились короче, хотя и не помню наверно, не познакомил ли я их и прежде, потому что около этого времени Станкевич приезжал на короткое время ко мне в Петербург; но во всяком случае близкое знакомство Гранов-

ского с Станкевичем началось со времени его поездки в Москву. Грановский возвратился ревностным почитателем Станкевича. Станкевич же, с своей стороны, в письмах своих ко мне отзывался с большим уважением и участием о Грановском и заметил, что он много ожидает от этой головы⁶. Этого было достаточно для того, чтобы сблизить меня с Грановским, и наши отношения переменялись тотчас же из приятельских на дружеские. Если не ошибаюсь, Сенковский, хорошо знавший ум, познания и способности Грановского по участию его в «Библиотеке для чтения», первый внушил ему мысль воспользоваться вызовом правительства желающих ехать за границу на казенный счет для приготовления себя к профессорской кафедре в Московском университете и содействовал к назначению Грановского ходатайством пред бывшим министром С. С. Уваровым⁷. Грановский с жаром занялся приготовлением к своему будущему призванию, и я начал заниматься с ним немецким языком. Эти занятия нас еще больше сблизили. Несмотря на разность наших характеров, вкусов и даже образа жизни, я более и более привязывался к Грановскому, а он положительно полюбил меня. Между нами не было такой восторженной привязанности, как между мною и Станкевичем, но мы, не сходясь во вкусах и направлениях, взаимно пополняли друг друга; так, например, вскоре после нашего сближения я уже подчинился влиянию Грановского и, оставив свои глупые, юношеские мечты о беллетристическом поприще, начал заниматься историей. Поводом к тому были уроки истории, которые я принял на себя в пансионе Мюральдта; взявши на себя эту обязанность, я обратился за советом и помощью к Грановскому, сообщал ему программы моих уроков, готовился к ним по его указаниям, и помню даже, что он заставлял меня читать пред собою пробные лекции; я же, с своей стороны, учил его немецкому языку и старался передать ему любовь мою к искусству вообще и к музыке в особенности, которую Грановский никогда не занимался. Так прошел конец 1835-го и начало 1836-го года. Свидания наши сделались часты, почти ежедневны; мы уже чувствовали потребность друг в друге, несмотря, как я заметил выше, на разницу наших вкусов и образа жизни. Я любил бывать в обществе, жадно гонялся за развлечениями; Грановский же уклонялся от того и другого и предпочитал им тихую дружескую беседу, хотя и не прочь был от веселого дружеского пира; для меня наука была делом увлечения, порыва, а для него — спокойное, сознательное стремление к предположенной цели; я любил женщин, всякого рода авантюры; Грановский был не только скромнен, но даже девственен и таким уехал из Петербурга и оставался в Берлине до осени 1837 года. Он часто дружески упрекал меня за мои излишества, а его целомудрие было предметом наших (моих и Григорьева) дружеских насмешек, которые он всегда отклонял нравственным взглядом на полковые отношения, говоря, что он не уступит в этом отношении иначе как по необходимости. Все это невольно внушало мне, конечно, не такое восторженное чувство, какое я питал к Станкевичу, в котором я находил мои стремления, мою духовную натуру в высшем идеальном развитии, даже мои слабости, но облагороженные; но наши отноше-

ния с Грановским состояли с моей стороны — в теплой любви и уважении, основанных на сознании его нравственного превосходства и его научных познаний, а он любил мою пылкость, мои порывы и снисходил к моим слабостям.

Давно уже Станкевич убеждал меня ехать за границу и предлагал мне воспользоваться его средствами⁸. Не столько из благородной гордости, как из желания сохранить святость и чистоту моих отношений к Станкевичу и не допустить, чтобы в наши отношения, в нашу дружбу вмешивались какие бы то ни было житейские расчеты и материальные выгоды, — я упорно отказывался от всех его предложений и на поездку за границу смотрел как на несбыточную мечту, потому что не имел к тому никаких средств. Если, наконец, мечта эта осуществилась, то этим я обязан Грановскому.

Станкевич хотел помочь мне деньгами, предлагал даже сам ехать со мною за границу с тем только, чтобы доставить мне средства к образованию, но последний способ был почти тождествен с первым и облакал только в более благовидную форму, а потому я положительно отказывался; далее Станкевич не мог и не знал, как мне помочь. Но Грановский, не столько избалованный избытком и более знакомый с трудовой жизнью⁹, нашел эти средства: он убедил меня усилить мой труд, удвоить литературные занятия, умножить число уроков и таким образом откладывать мало-помалу деньги на поездку, а в Берлине содержать себя теми же самыми литературными трудами. Я сделался точкою сближения между им и Станкевичем, и Станкевич передал ему свою дружескую власть надо мною. С этого времени Грановский сделался моим ментором; он останавливал мои порывы, упрекал в увлечениях и сдерживал меня от них, показывая впереди ту благородную цель, которой я не мог достигнуть, не приобретя власти над самим собою. Эта тактика незабвенных друзей моих оказалась вполне удачною, и я действовал так и по отъезде Грановского за границу, последовавшем весной 1836-го года. Наша разлука была самая трогательная: Грановский — в моих глазах идеал нравственной твердости и мужественной воли — плакал, прощаясь со мною. Я помню — в Кронштадте, с последним дружеским поцелуем, он завещал мне не уклоняться от пути, по которому я шел, и помнить, что только поездкой за границу я могу пополнить, по крайней мере, главные пробелы в моем образовании и приготовить себя к истинно разумной и полезной деятельности, как человек и гражданин. Именем нашей дружбы и человечества он заклинал меня к тому; таково было наше прощанье! В письмах своих из Берлина он постоянно напоминал мне о том, но средства мои были скудны и я не решался на это, в глазах моих — отважное, предприятие. В конце 1836 года я писал ему, что отчаиваюсь в возможности приехать в Берлин, тем более что Станкевич по обстоятельствам должен был отложить свою поездку. Вот что на это отвечал мне Грановский.

«...Другая вестъ^{*}, полученная мною от тебя, также крепко-крепко

* Первая вестъ — о смерти Пушкина.

огорчила меня. Так вы не приедете сюда, а сколько надежд, сколько планов было основано у меня на этом приезде. Впрочем, я не теряю надежды и приготовил новый план, который посылаю тебе на утверждение: прими его, дай ему действительность, мой милый. Дело вот в чем: с теми деньгами, которые мне дает правительство, здесь очень легко прожить двоим: жизнь в Берлине несравненно дешевле, чем в Петербурге, а я получаю около 3.500 в год, не считая 1.500 отцовских; многие из студентов Педагогического института¹⁰ помогают из своего жалованья бедным родственникам своим, — короче, стол, квартира, уроки, которые мы будем брать вместе, и все прочее будет тебе ничего не стоить. Найди денег на проезд, о прочем не думай. Я прошу твоего согласия не для тебя, а для меня собственно. Тебе пребывание в Берлине, быть может, принесет пользу; мне же приезд твой будет спасителен в полном смысле слова. Не смейся надо мною, не называй меня мечтателем, если я скажу тебе, что я болею душою, что болезнь моя опасна, что я чувствую, вижу собственное разрушение, мне нужен врач — ты или Станкевич — хотя с обоими судьба недавно свела меня. Приезд твой — повторяю еще раз — будет благодеянием для меня. Извини мне эгоизм мой: я более думаю о своей, чем о твоей пользе. Во всяком случае, я не думаю, чтобы год, проведенный в Берлине, не имел никакого хорошего влияния на твою будущую участь и на образование твое: мы будем учиться вместе, слушать лекции, брать уроки. Королевская библиотека будет к твоим услугам, потому что я беру из нее все нужные мне книги. Вот для ума твоего! Для души — удовольствие сознания добра, сделанного другу; обращаюсь не к одной голове, но и к сердцу твоему. Гордость твоя не должна иметь никакого влияния на решение твое, я говорю с тобою как с братом, ты должен принять предложение мое как брат; люди такие, как ты да я, — не могут одолжать друг друга: одолевается чернь. Клянусь тебе честью, что я бы принял такое предложение от тебя, хотя не мог бы сделать для тебя того, что ты можешь для меня. Подумай, друг Неверов! Чтобы рассеять все возражения твоего рассудка, я представлю тебе подробную опись моих средств и отчет расходов; при всем том я довольно хорошо прожил этот год: из 1 800, выданных мне в Петербурге, я промотал 1 200 до приезда сюда; потом купил более чем на 200 талеров книг, брал много уроков, ходил по пяти раз в неделю в театр, положил немалую лепту на жертвенник Киприды, одним словом — сорил деньгами, а дела мои не совсем худы: небольшие долги портному и книгопродавцу я заплачу из отцовских денег, которые должен получить к весне, и у меня останется до 1 000 руб. вперед, кроме казенных. Ты видишь, что я — Крез, больше расходов не предвижу никаких; путешествие к Рейну и в Мюнхен, которое я в августе собираюсь сделать, будет нам дешево стоить: поедем мы на почтовых, останавливаться будем в скромных гостиницах. По Рейну совершим путешествие по образу пешего хождения, — согласен ли, друг?».

Такая благородная, бескорыстная дружба не могла, однако, колебать моей решимости. Если я отказался от подобных предложений Станкевича, человека богатого, то мог ли я принять вызов

Грановского, желавшего разделить со мною свое жалованье? Но он не переставал убеждать меня и в следующем письме писал: «Сделай одолжение, уведошь меня скорее о своем решении, тогда я сделаю кое-какие распоряжения насчет моей квартиры, которую я оставляю к 1-му апреля. Двух комнат будет довольно для нас, третья будет маленькая спальня. Я надеюсь, что ты будешь отвечать мне с первою же почтою. Думать долго нечего: перекрестился, да и с Богом в путь. Здесь ты еще лучше можешь работать для какого-нибудь журнала или лексикона, времени достанет и на это. Сделай в Петербурге условие — пересылать статьи не трудно».

Я говорил выше, что влияние Грановского на меня в эту эпоху заставило меня изменить мои занятия и обратиться к серьезным трудам. Я задумал одну историческую работу. По этому поводу Грановский писал мне из Берлина, от 15-го марта 1837 года:

«В таком случае не лучше ли будет тебе заняться предметом основательно и вместо шести месяцев посвятить ему шесть лет? Зато ты напишешь хорошую книгу, и занимательную, и полезную. Вот еще новый повод ехать в Берлин.

Приезжай сюда хотя на год: работай, читай источники, которые все у тебя будут под рукою, и потом, с запасом готовых материалов, возвратись в Россию и пиши свою книгу. Между тем у тебя достанет времени и для журнала Краевского¹¹; отсюда ты можешь быть для него еще полезнее. Я знаю все, что можно сказать против моего предложения, и при всем том вполне убежден, что год занятий здесь может дать тебе совсем другую будущность. Ты не такой лентяй, как я, и не станешь терять времени даром. Я много времени терял, теряю и буду терять. Я создан мотом и равно расточаю деньги, время и здоровье — все, что Бог дал мне на жизненные расходы. Все попытки экономических преобразований были далеко не удачны и, вероятно, никогда не удадутся».

Но не только в этом, и в других случаях он предупреждал мои желания и нужды; так, например, мне нужны были книги, — он предлагал выслать их из Берлина на свой счет, говоря: «Я могу служить тебе этим, нисколько не стесняя себя, тем более что я имею большие счета с книгопродавцем Эйхлером и плачу ему по третям. У меня уже целая библиотека. Но лучше всего будет, если ты сам приедешь сюда. Подумай еще раз: это предложение делаю тебе, как брату. Прощай».

Но все эти убеждения не могли поколебать моей решимости; я отказывался от них под разными предлогами, которые Грановский опровергал далее таким образом: «Какой демон внушает тебе все твои сомнения и колебания? Ты хочешь знать, не раскаялся ли я после первого моего письма, рассчитал ли я мои средства, не будешь ли ты мне в тягость? В сотый раз говорю тебе, мой милый, что я обратился к тебе с этою просьбою для себя, для собственной выгоды, хотя душевно желаю, чтобы и ты нашел в Берлине пользу. Не ищи здесь никакого благородного предлога, не заставляй меня краснеть твоими предположениями: я сказал тебе истину и не хочу скрывать своего эгоизма. Приезжай, и ты поверишь мне. Насчет

денежных моих обстоятельств ты можешь быть спокоен. Если еще Шенин* даст тебе 1 000 рублей, то у нас будет до 6 000 в год, а с этими деньгами можно жить и в Петербурге. К тому же проезд твой не только не увеличит моих расходов, но даже сократит их. Теперь я трачу деньги без толку, без удовольствия и пользы. В случае нужды я могу выпросить у отца небольшую прибавку или даже сделать в России заем, который возвращу по приезде. Я говорю с тобою откровенно, без поэтических прикрас,— цифрами. Надеюсь, что ты не будешь более колебаться и подашь в отставку и что в мае я обниму тебя здесь. Я теперь на новой квартире, которую удержу за собой до твоего приезда — Friedrich Strasse, № 88. Впрочем, письма адресуй ко мне по-прежнему, почтальон знает меня и будет их верно доставлять, где бы я ни был. Новый адрес я посылаю тебе для того только, чтобы ты нашел меня сам. Когда же ты думаешь ехать? напиши об этом. На дорогу достанет 400 рублей, а остальное пригодится здесь. Привези фунта три чаю, потому что здесь такая дрянь, что пить нельзя. Я совершенно отвык от него по неимению. Если у тебя есть небольшой самовар, то возьми его также с собою».

В это время я уже деятельно готовился к отъезду за границу и хотя не принял предложения Грановского, но убедился его доводами, что жить за границей будет возможно и с теми средствами, которыми я мог располагать, именно, что небольшого моего капитала достаточно будет для поездки туда и обратно, а живя там, я буду содержать себя литературными трудами, посредником в коих вызвался быть В. В. Григорьев.

II

Весною 1837 года я подал просьбу об отставке и в мае отправился в Германию вместе с С. Строевым¹². По предложению князя Ширинского-Шихматова (бывшего потом министром народного просвещения) я принял на себя звание заграничного корреспондента Археологической комиссии¹³ и снабжен был несколькими официальными рекомендациями от министра. Но с этим не сопряжено было никакого денежного вспомоществования, и я содержал себя за границей только своими литературными трудами.

Принятая мною на себя обязанность корреспондента Археологической комиссии заставила меня весь июнь и половину июля провести в Любеке и Гамбурге для осмотра тамошних архивов, и в половине июля Строев поехал в Париж, а я мог бы ехать прямо в Берлин; но так как летний семестр уже кончился, то я сделал маленькое путешествие по северной Германии и Гарцу и приехал в Берлин в июле 1837 года.

Не буду описывать радости Грановского — о ней легко судить из вышеприведенных писем. Я поместился у него в квартире Friedrich

* Инспектор классов Павловского кадетского корпуса, принявший на себя издание энциклопедического лексикона.

Strasse, и с этого времени до самого моего отъезда в Россию, следовавшего в июне 1839 года, мы постоянно были вместе, исключая лето 1838-го года, когда Грановский поехал в Прагу и Вену, а я с Станкевичем — на Рейн и в западную Германию. Мы нанимали вместе квартиру (впоследствии к нам присоединился Станкевич, но жил отдельно, занимая целый верхний этаж в том же самом доме), брали вместе уроки, словом — делили труд и удовольствия.

Я с намерением позволил себе остановиться пространно на отношениях ко мне Грановского. Здесь воспоминания о незабвенном друге соединены для меня с воспоминаниями о лучших днях моей жизни; притом же эти отношения всего лучше раскрывают душу Грановского и показывают, какая это была высокая, любящая, благородная натура, забывавшая всегда себя для других.

Не могу еще не припомнить с умилением об одном обстоятельстве, до меня касающемся, потому что в нем раскрывается еще превосходная черта богатой души Грановского. Через несколько дней по приезде в Берлин мы поехали с ним в Потсдам к нашему священнику Д. В. Соколову. Возвращаясь поздно ночью, я простудился; на другой день я чувствовал себя очень дурно, но не говорил о том ни слова Грановскому. По обыкновению, мы отправились вместе обедать, но едва сели за стол, как мне сделалось очень дурно (в это время в Берлине была сильная холера). Грановский, с самого утра следивший за всеми моими движениями, тотчас же отвел меня домой и послал за доктором. К приезду доктора у меня холера была уже в полном развитии, и хотя припадок прошел благополучно, но я трое суток был в сомнительном положении. Грановский не отходил от меня ни на минуту: он обедал, занимался возле моей кровати, и, когда изнеможение заставляло его прилечь часа на два или на три в другой комнате, он оставлял меня не иначе как на попечение хозяйки и ее родственницы. Болезнь моя продолжалась целый месяц, и во все это время Грановский отлучался не иначе как в университет, даже редко ходил в гостиницу обедать, а велел приносить себе обед на дом, словом, показал столько героизма дружбы, столько самоотвержения, что даже удивлял этим нашу хозяйку, хотя, как известно, в Германии внимание и заботливость к больным есть священная обязанность даже и для посторонних¹⁴.

Теперь я могу заняться рассказом о занятиях Грановского в Берлине до приезда Станкевича, который, как говорил сам Грановский, имел огромное на него влияние.

Я сказал выше, что Грановский приехал в Берлин весьма мало подготовленным к слушанию лекций, потому что плохо знал по-немецки; почти весь 1836 год он употребил на изучение этого языка — и с самым полным успехом. Вот что писал он ко мне в первом письме своем из Берлина, от 2-го июня 1836 года, о своих занятиях: «Я хожу всякий день в театр, беру уроки немецкого языка и читаю Геродота. Меня учит по-немецки придворный проповедник, пастор Паули, отличный филолог и вообще очень ученый человек».

Впоследствии я также познакомился с этим человеком и его семейством, которое было постоянно к нам дружески расположено.

Пастор ежедневно приходил к Грановскому, снабжал его книгами, заставлял его говорить по-немецки, гулял с ним по городу и окрестностям, был его чичероне во всех достопримечательностях Берлина; в музеях, в мастерских художников, в театрах и университете. Лекции Грановский в первом семестре слушал не столько для лекций, сколько для упражнения в языке, но к концу семестра он уже достаточно мог понимать их. В письмах своих ко мне он в особенности хвалит готовность берлинских профессоров помогать русским студентам, прибавляя, впрочем, что «они, недоступные для немцев, сами выносятся служить нам своими советами. Причина такой милости делает им немного чести: эти господа — большие охотники до крестов и подарков; помогая русским студентам, они надеются обратить на себя внимание нашего правительства и получить от него какую-нибудь награду. Вообще здесь большие спекуляции на Россию¹⁵. Нам до этого дела нет: каковы бы ни были причины, — следствия очень хороши и выгодны для нас».

Вместе с немецким языком Грановский занимался и латинским и читал Тацита с доктором Цумптом, племянником известного филолога¹⁶, приходившим к нему трижды в неделю; притом история составляла главное его занятие. Он писал мне от 25-го июля: «Если Бог позволит мне сделать десятую часть того, что я затеваю (писано по поводу предполагавшейся статьи о появившемся тогда в свете Псевдо-Санхониатоне¹⁷, то и тогда жизнь моя не будет потеряна; я только теперь начал заниматься наукою, как должно, и не могу без грусти подумать о времени, которое так бесплодно тратил в Петербурге. Я должен учиться тому, что знает иной ребенок. Впрочем, я не упал духом от сознания своего невежества, бодро взялся за дело и надеюсь, что при будущем нашем свидании ты найдешь во мне большую перемену».

Так проводил Грановский время в Берлине до моего приезда. Знакомых, кроме пастора Паули, он никого не имел, даже редко видался с находившимися тогда в Берлине, готовившимися в профессора, студентами Педагогического института. Он дорожил каждою минутою для науки и только изредка, в две или три недели раз, навещал в Потсдаме нашего почтенного священника Д. В. Соколова, которого очень уважал. Единственным его развлечением были прогулки и театр, который он очень полюбил, и сначала предпочтительно драму и комедию; впоследствии же он пристрастился к опере, но об этом после.

Он писал мне в конце 1836 года: «Право, я иногда бываю совершенно счастлив в театре, забываю мелочи этой гадкой жизни, делаюсь лучше и верю в возможность характеров, как Поза»¹⁸.

В конце 1836 года к исчисленным занятиям присоединилось еще изучение чешского языка. Еще летом Грановский располагался ехать в Саксонию и Прагу для изучения быта славян, но занятия немецким и латинским языками и необходимость укрепиться и стать твердою ногою на общефактической почве истории заставили его отложить эту поездку на неопределенный срок.

В это время произошла с ним нравственно-физическая пере-

мена: он познакомился с женщинами. Но и здесь он был верен себе и уступил только необходимости. В начале 1837 года он дружески рассказывает об одном из тех, столь частых в жизни молодых людей, случаев, где невинности противопоставится искушение, против которого он не устоял; но он остался верным науке: женщины не могли его отвлечь от нее; душою он был чист до женитьбы.

Зимой с 1836 на 1837-й год он писал мне так о своих занятиях: «С некоторого времени я стал очень ленив, мой милый; читаю много, но без толку и порядка, так что если бы не счастливая память, то я верно бы не вынес ничего из этой переборки книг. Из профессоров слушаю прилежно только Риттера и Ранке¹⁹. Какие люди! О Риттере говорить нечего: он довольно известен везде. Но слава Ранке еще молода, в России о нем немногие знают, а он выше большей части современных историков. Не говорю об его учености — это вещь удивительная в Германии, но его светлые, живые, поэтические взгляды на науку очаруют тебя. Он понимает историю. Надобно привыкнуть только к его способу изложения, потому что он читает скоро, отрывисто и, кажется, рассуждает с самим собою, а не думает о своих слушателях. Многие находят, что он сух, оттого что у него нет привычки забавлять студентов анекдотами. Я в восторге от его лекций. О Раумере²⁰ нельзя этого сказать. Он много знает, но холоден и мелочен. Говорит о пустяках, которые всякому известны, и, сверх того, не имеет решительно никакого твердого мнения от желания быть беспристрастным. Я прочел его Гогенштауфенов, многому научился из этой книжки, но нашел в ней те же недостатки, какие и в лекциях его. Впрочем, предмет так хорош, что забываешь историка и делаешься зрителем и участником страшной драмы. Габлерову философию²¹ я слушал мало, потому что этот предмет для меня новый, и им нельзя заниматься в промежутках от других занятий. Хочу посвятить философии целый семестр исключительно. Летом Ганс²² будет читать философию истории. Я запишусь у него и возьму курс у Габлера. Латынью я занимался много и не без успеха, зато и награда была хороша: я прочел и понял в подлиннике Тацита. Какая душа была у этого человека! После Шекспира мне никто не давал такого наслаждения. Я хотел было делать из него выписки, изучать как историка, и не сделал ничего, потому что читал его как поэта. У него более истинно человеческой грустной поэзии, чем у всех римских поэтов вместе. У него мало любви, но зато какая благородная ненависть, какое прекрасное презрение. Ты согласишься со мною, когда прочтешь его. Из новых историков ни один не станет с ним в ряд, хотя у Мюллера²³ была также сильная голова и теплое сердце. Я перечитываю часто его письма, особенно когда на меня находит мой демон: они успокаивают меня. Вот тебе целая диссертация о вещах, которые тебе давным-давно известны».

Далее Грановский пишет в последнем письме ко мне из Берлина, от 2-го апреля: «Недавно я прочел Кальдерона²⁴ в переводе Гриза. Не знаю, как Шлегель мог ставить его наряду с Шекспиром!²⁵ Впрочем, он доставил мне много наслаждения. Для истории вообще теперь мало работаю, потому что Тацита я читаю и перечитываю

не как историка, а как художника. Хочу в апреле перечитать опять Гиббона²⁶. У немцев нет такой книги. Хочешь ли ты брать уроки греческого языка? В таком случае мы будем заниматься вместе, потому что я начинаю в мае. Боюсь грамматики. Эта вещь надоела мне до смерти».

Я привез Грановскому для обоих нас радостное известие, что Станкевич также едет за границу, но мы еще оба не знали, куда пошлют его врачи. Вскоре мы получили от него письмо из Карлсбада, куда он приехал чрез Киев и Галицию в конце августа или в начале сентября 1837 г. Он писал нам, что воды ему помогают и что зиму он располагает провести вместе с нами в Берлине. В конце октября или в начале ноября он прибыл к нам, слабый телом (в нем развивалась чахотка, которую доктора принимали за геморрой), но с душою, еще более исполненною любви и возвышенных стремлений. Отсюда начинается новая эпоха в развитии Грановского. Из вышеприведенных писем Грановского мы видели, что он не только не занимался философию, но даже, не доверяя самому себе, боялся взять курс у Габлера; он крепко держался фактической стороны истории, и изучение ее по источникам было главною его целью и составляло исключительное занятие. Я также никогда не занимался философию; в Станкевиче же страсть к ней развилась после нашей разлуки в Москве²⁷, — и я тщетно старался удержать его на поприще поэзии.

Вследствие различных обстоятельств, которых здесь не место объяснять, в Станкевиче родилось сомнение в своем поэтическом таланте. Страдая душевно, изнуряемый болезнью²⁸, вдали от меня, он углубился в самого себя, но искал в душе своей уже не поэтических образов, а ответов на великие вопросы жизни. Таким-то образом мало-помалу от поэзии он перешел совершенно к философии, и, с свойственною ему силою и решимостью, он не только преследовал, но даже истребил все свои начатые литературные труды, скупал и сожигал экземпляры изданной им трагедии, говоря, что он стыдится своих юношеских попыток, что его призвание есть чистое мышление. С такой же энергией он передавал свое увлечение людям, к нему близким. С Грановским, как мы видели, он мало бывал вместе, и они друг друга знали более чрез меня и хотя переписывались изредка, но также не иначе как чрез меня; в Берлине же они вошли в непосредственные друг с другом сношения, и сила духа Станкевича, его энергия, не замедлила увлечь Грановского. Станкевич по болезни требовал более удобств в жизни, по привычке имел необходимость в комфорте, который, конечно, мог бы с ним делить и Грановский, потому что, как видно выше, средства его были достаточны; но ни тот, ни другой не хотел разлучаться со мною, а я и слышать не хотел о том, чтобы недостаток моих доходов они пополняли своими средствами; а потому тотчас по прибытии Станкевича мы решили, что я буду жить по-прежнему с Грановским, а Станкевич будет вести свое хозяйство отдельно; но, чтобы нам не разделяться и постоянно быть вместе, мы вздумали нанять такой дом, где бы было комфортабельное помещение для Станкевича и скромная квартира для меня и Грановского. Такое помещение мы вскоре нашли в Neue Kirchen Strasse

возле Dorotheen-Kirche: Станкевич занял прекрасный меблированный бельэтаж, а я с Грановским поместились в скромных трех комнатах в нижнем этаже, составлявших отдельную квартиру. Разумеется, что мы были вместе на лекциях в университете, в театре, словом — везде, исключая обеда, потому что болезнь Станкевича требовала изысканного стола, и он обедал у Ягора* и вообще в лучших ресторациях, чего не мог позволить себе я по моим средствам. Но и здесь видна благородная деликатность Грановского: любя сам хороший стол, он, однако, редко ходил с Станкевичем, а разделял со мною скромный обед у Фридберга за 10 грошей; но Станкевич выговорил как неперемное условие, чтобы раз в неделю мы были его гостями, т. е. обедали с ним у Ягора. Кроме того, он искал разные претексты, чтобы угощать нас; так, например, получение письма из России, хороший оборот его болезни и т. п. случаи давали ему повод заставлять меня быть его гостем. После обеда мы все собирались у Кранцлера** пить кофе и читать газеты. Потом, возвращаясь домой, занимались каждый своим делом до вечера; вечера же Станкевич с Грановским проводили большею частью в театре, а я, если не сопутствовал им из экономических расчетов, то посвящал это время музыке (у Станкевича в комнатах был рояль). Иногда же в хорошую погоду, вместо театра, мы делали общие прогулки в Thier-garten или за город, причем Станкевич, как слабый здоровьем, всегда брал экипаж. Вечером мы непременно ужинали вместе и по большей части у Станкевича в его комнатах, потому что это время занято было общим чтением каких-нибудь литературных произведений и дружескими беседами. Утро же, разумеется, было посвящено строгим занятиям и университету. Так шла наша жизнь до приезда семейства Фроловых, изменившего ее во многих отношениях. Знакомых семейств у Станкевича совсем не было; Грановский же навещал со мною изредка дом пастора Pauli; но я приобрел несколько знакомств, из которых мне особенно нравилось зажиточное и гостеприимное семейство негодянта Сигмунда (одна из дочерей коего впоследствии вышла замуж за известного германского поэта Гервега²⁹, а другая за г-на Пьяже (Piaget), переводчика на французский язык книги Кеннига: «Literarische Bilder aus dem Ruslande» [«Картины русской литературы» — нем.]³⁰), в которое я после ввел и Грановского. Мы проводили там обыкновенно вечера в воскресенье, потому что это был назначенный день и собиралось множество молодежи для танцев, в которых Грановский также, хотя и не совсем охотно, принимал участие, потому что предпочитал беседу с умною и чрезвычайно образованною, хотя и некрасивою, старшею из дочерей — Эммою Сигмунд (впоследствии m-me Гервер), хотя младшая была к нему равнодушна. Замечательно, что кроме нас у Сигмундов собиралось очень много блистательной польской молодежи, которая в танцах, в беседе и во всем старалась от нас отделяться, что давало повод к некоторым неприятным столкновениям. Об этом

* Лучшая гостиница в Берлине.

** Кондитерская «Под липами».

обстоятельстве я упоминаю для того, чтобы рассказать следующий замечательный случай из жизни Грановского.

Однажды приходим мы обедать к Ягору в довольно большом обществе и случайно поместились в той комнате, где обыкновенно обедала аристократическая польская молодежь. Мы уже были за столом, когда пришли эти господа и явно давали нам заметить свое неудовольствие; когда их собралось человек с десять, то, с заметным намерением сделать нам неприятность, один из них вынул какой-то французский памфлет, наполненный ругательствами против России, и начал его громко читать вслух. Чтение кончилось возмутительным тостом для русских. Помню, что из нашего общества первый вскипел Иван Сергеевич Тургенев³¹. Грановский тотчас остановил его, прося предоставить ему уладить это дело, и приказал подать шампанского. Когда мы налили наши бокалы, он встал и громким голосом произнес речь, которой, разумеется, не могу припомнить выражения, но вот ее смысл: «Друзья! Наши братья по происхождению и истории поносят нас и извергают проклятия на Россию, приписывая ей свои несчастья. Пожалеем о них и, вместо слова ненависти, обратим к ним слово любви. В великом вопросе: кому из двух главных племен славянских стоять во главе славянского развития, — судьба решила в пользу России. Если им извинительно сожалеть о том, что Провидение предпочло им нас, то непростительно было бы нам гордиться этим предпочтением, потому что мы здесь только орудие той воли, которая дала нам силу для высших целей, и наша слава должна заключаться не в том — кому из народов славянских вести славянскую семью по пути развития ее исторического, но в том, чтобы исполнить волю Провидения и поставить славян во главе исторического развития. Пока отложим с нашей стороны раннюю гордость, а с их — несправедливую и бесцельную злобу и братски соединимся в стремлении к высокой цели — соделать племя славян первенствующим на историческом поприще. Сыны Польши должны сожалеть об исторических ошибках своих отцов, а не упрекать в них Россию; они должны действовать с нею, а не против нее, чтобы стоять в истории не под именем немцев или французов, но под именем славян, равно близким и дорогим нашему сердцу. Итак, да погибнет ненависть славянская, и да соединятся все славяне любовью в стремлении к высокой, указанной им Провидением цели, смиренно покоряясь ему в том, что оно предоставило вести их к ней России, никогда не искавшей этого высокого, но тяжелого избрания!»³²

Таков был смысл слов Грановского, произведший на обе партии глубокое впечатление: поляки и русские дружески обнимались, и с тех пор между нами не было столкновений.

III

В 1837 году приехал в Берлин Фролов³³ с женою. Приезд этого замечательного семейства не только изменил нашу жизнь, но имел обширное влияние на ход и направление наших занятий. Фролов, молодой гвардейский офицер, вышедший в отставку затем, чтобы

посвятить себя науке, — познакомился в Дерпте с молодым помещиком Галаховым, и когда Фролов из Дерпта поехал за границу, то Галахов дал ему рекомендательное письмо к сестре своей, девушке уже немолодых лет, Елисавете Павловне Галаховой, жившей в Мангейме, где ее удерживала тесная дружба с вдовствующею великою герцогинею Баденскою Стефаниею. Здесь не место рассказывать, вследствие чего и как Фролов женился на Галаховой. Их свадьба была в Штутгарте, и так как madame Фролова была по крайней мере 10-ю годами старше своего мужа, притом еще страдала тяжкою нервною болезнью, то вскоре после свадьбы они приехали в Берлин: она для консультации с тамошними врачами, а он для занятий наукою в Берлинском университете. Мы не имели никакого понятия ни о Фролове, ни о Галаховой; но он сделал нам визит, и с первого нашего свидания мы были очарованы не только умом, любезностью, образованием, но даже научными познаниями этой необыкновенной женщины. В особенности сблизился с нею Грановский и я, и после нескольких свиданий мы сделались своими в их доме. Несмотря на свои небольшие средства, Фроловы собирали у себя в гостиной все, что было замечательнейшего в Берлине в ученном, литературном, художественном и др. отношениях; даже дипломаты искали случая быть представленными Фроловой. У них не было ни раутов, ни многолюдных собраний, но madame Фролова, не оставлявшая по болезни своей комнаты, почти каждый день собирала у себя маленький круг из людей замечательных в каком-либо отношении. Тут мы познакомились с знаменитою Беттиною, Варнгагеном, Мендельсоном Бартольди³⁴, профессорами: Ганцом, Вердером³⁵ и другими знаменитостями того времени. Но не столько они, а сама madame Фролова имела на нас огромное влияние. Грановский не только не искал, но даже отклонялся от личного знакомства с некоторыми из этих лиц. Он сблизился только с профессором Вердером, почитавшимся тогда лучшим объяснителем Гегеля, — но и это знакомство сделано им под влиянием Станкевича; он не любил Варнгагена и подшучивал над близкими моими к нему отношениями (я учил Варнгагена порусски) и над его занятиями русским языком, подозревая тут другие цели; Беттину он находил приторною, а сожалел только, что не воспользовался случаем познакомиться с Мендельсонами, и то впоследствии, когда пристрастился к опере, потому что у Мендельсонов по воскресеньям на *Matiné Musical** собирались все музыкальные знаменитости, а у Беера (брата знаменитого Мейербера)³⁶ бывали драматические вечера, которые также его интересовали, и хотя я предлагал ему ввести его в оба эти дома, где хорошо был знаком, но он отказывался, говоря что для поддержания этих и других знакомств нужно делать визиты, а на них тратится много драгоценного времени. Итак, главным интересом дома Фроловых была сама madame Фролова для всех нас, а для Грановского в особенности. Я проводил там почти каждый вечер; Грановский же, а иногда и Станкевич, если болезнь ему то позволяла, приходили всегда поздно, часов

* Музыкальный утренник.

в 11, когда расходились другие гости, и иногда мы просиживали втроем или вчетвером целые ночи, потому что madame Фролова всего лучше чувствовала себя ночью, и, засыпая всегда с рассветом, проводила целые дни в постели.

Чтобы дать понятие об этой чудной женщине, надобно бы было написать целую статью. Если можно сколько-нибудь приблизительно, чрез сравнение, определить ее характер и значение, я назову ее русскою Рахелью (Рахель Варнгаген³⁷), потому что она, как и Рахель, ни оставила никаких следов своего существования в литературе, не была собственно ученою женщиной, ни даже женщиной, игравшею роль (ей противна была всякая выставка, всякое выказыванье себя), но высокий ум, верный и глубокий взгляд на людей и на весь мир соединяла с основательными познаниями, чарующею теплотою сердца и тою дивною женственностью, которая любит для любви, благоговит для блага, исправляет шутя, научает без наставлений и свою внутреннюю гармонию разливает на все окружающее. Сходство с Рахелью Варнгаген она имела также и во внешней судьбе: также была некрасива собою и, в пожилых летах выйдя замуж за молодого человека, умела этот неравный брак сделать для него счастливейшею эпохою его жизни. Она умерла через три года замужества³⁸.

Грановский был нелюдим,— она сумела внушить ему интерес не только к обществу вообще, но даже к самым незамечательным личностям. Возьму один из многих примеров, чтобы показать, как действовала на нас эта женщина. Я брал с Грановским уроки греческого языка. Учителем у нас был молодой теолог, чрезвычайно странный и неловкий, над которым в особенности я часто подсмеивался у Фроловых. На это она шутя замечала: «Меня не удивляет, что Неверов по своему живому и увлекающемуся внешними формами характеру так забавляется над своим наставником, но вы, Грановский, как историк, привыкайте глубже всматриваться в людей и под некрасивыми формами ищите внутреннего содержания и, если не найдете его, смейтесь, пожалуй, хотя я не могу и тогда смеяться. Я смеюсь только над претензиями, тщеславием и страстишками людей; ничтожество же их производит на меня грустное впечатление; но вы говорите, что ваш теолог имеет отличное познание,— поверьте мне, знание не дается ничтожествам; в нем должно быть что-нибудь такое, чего вы не заметили из-за смешной его стороны». Помню, что мы очень смеялись над этою, в глазах наших преувеличенною, гуманностью и, не знаю, нашли какой-то предлог послать однажды нашего учителя с поручением к Николаю Фролову. Наш теолог был до того робок и неуклюж, что даже серьезный Фролов, увидя его, позвал жену, чтобы показать ей, до какой странности доводит немцев их отдельность от всего внешнего мира и погруженность в науку; но, с свойственным ей искусством, она умела так обласкать и занять нашего теолога, что он говорил с нею без робости, без недоверчивости к самому себе, словом — он начал ходить к ней, беседовал с нею, отстал от своих странностей, начал даже учиться у нее французскому языку; по ее ходатайству получил прекрасный пасторат и оказался человеком не только мыслящим, но и с глубокою душою;

он сделался общим нашим приятелем; привязанность же его и благоговение к этой женщине были безграничны. Вот как действовала эта женщина! Она-то передала Грановскому эту внимательность и снисхождение к людям и умерила его наклонность к насмешке. Она заставила Грановского вглядываться в современное общество, сочувствовать его интересам и оживила его взгляд как на минувшую жизнь человечества, так и на настоящее его стремление. Большая часть ночных свиданий наших посвящена была этим живительным беседам. Чужеземная жизнь, чужеземные постановления сравниваемы были с нашими, русскими; но здесь не было политических суждений; Фролова не любила тех мечтательных теорий, которые навязывают людям проекты несбыточного благоденствия; нет, уважая в каждом лице отдельно его личность, она и в государствах уважала личность народов и допускала, что как каждый индивидуум может быть счастлив по-своему, так и каждое государство, и что дело в том, чтобы понять, чего оно хочет, или, иначе, как думает быть счастливо; словом, сочувствие в Грановском к современным интересам развито в нем *madame* Фроловой, даже самая философия, которой Грановский предался по влиянию Станкевича, чрез нее, так сказать, практически переходила из отвлеченности в жизнь, а потому Станкевич, как голова исключительно философская, не мог с нею так сблизиться. Она часто с свойственною ей любезностью нападала на Вердера и Станкевича за их абстракции и вместе с тем Грановскому и мне говорила, что ни жизнь, ни наука, ничто не может быть понято без открытия в них сокровенной жизни духа, его законов, — таким образом, нападая на философию именно только за ее, конечно, недоступную для многих форму, она при этом сознавала вполне ее значение не только для всестороннего умственного развития человека, но и для жизни вообще³⁹.

Так прошла достопамятная для нас зима с 1837-го на 1838-й год. Грановский, уже твердо стоявший на исторической почве науки, вместе с Станкевичем, под руководством Вердера, занимался философией, в беседах с *madame* Фроловой прояснял свой взгляд на людей, жизнь и современные стремления века, а с Станкевичем и со мною вместе искал отдохновения от умственных трудов в литературе и искусстах. В это время в его вкусе сделался заметный переворот: он пристрастился к опере. Я брал уроки контрапункта в Берлинской академии музыки; ко мне ходил известный контрапунктист Рунген-Гаген; при наших беседах присутствовал иногда и Грановский, и часто, по уходе учителя, мы беседовали о музыке, и заметно было, что отношение ее к слову и знакомство с некоторыми средствами и приемами музыки драматической — весьма занимало Грановского. Я с увлечением старался раскрыть пред ним красоты *Дон Жуана*⁴⁰, но Грановский часто оканчивал наши беседы замечанием, что он понимает, в чем дело, но сочувствовать может тогда только, когда увидит такую *Донну Анну*, которая бы послужила живым комментарием на наши, как он называл, ученые бредни. Такой комментарий вскоре нашелся: на берлинскую сцену была ангажирована знаменитая Лева. При прекрасном, обработанном голосе она одарена

была выгодною наружностью и действительно владела всеми средствами прекрасной актрисы. Ее одушевленная, страстная игра в особенности увлекла Грановского, и он сделался ревностным меломаном и почитателем Леве, хотя в музыкальном отношении другая примадонна берлинской оперы, m-lle Фасман, стояла выше Леве, и я, конечно, отдавал преимущество ей; это подавало повод к жарким спорам⁴¹, и мои противоречия, к крайней забаве моей и Станкевича, выводили Грановского из себя, так что однажды мы не на шутку поссорились — но, конечно, на полчаса, не более.

В комедии он особенно уважал знаменитую тогда Шарлотту фон Гаген и был постоянным участником в серенадах, которые тогда очень часто давались ей и Леве, отказываясь принимать участие в букетах и других изъявлениях внимания, которые Станкевич и я расточали m-lle Фасман. Во всей нашей жизни это был единственный пункт, в котором мы были не только несогласны друг с другом, но даже в оппозиции; зато мы были совершенно согласны в общей любви к опере.

Между тем зимний семестр оканчивался, а с ним и прежде назначенный от правительства срок пребывания Грановского за границей. Он просил у министра отсрочки на год, но, боясь отказа, дорожил временем и в конце марта 1838 года решился ехать в Богемию и Вену для изучения быта и наречий славян немецких. Болезнь Станкевича требовала также поездки на воды, откуда врачи советовали ему ехать в Италию. Мои дела шли худо, денег у меня было мало, и хотя тот и другой из друзей моих предлагал мне свои услуги, но я, по тем же причинам, как и прежде, отклонял их и не поехал с Грановским, думая возвратиться в Россию, но остался в Берлине при Станкевиче до его отъезда. Грановский выехал в 1838 году, в начале апреля. Вот что он писал мне в первом письме из Дрездена: «Я хотел переговорить с тобою, Неверов, в самый день моего отъезда, да приход Юшкова помешал мне. Ради Бога, не жертвуй из ложной, глупой, обидной деликатности выгодами, которые могут доставить тебе несколько лишних месяцев, проведенных в Германии. Если Плюшар⁴² вышлет тебе твои деньги, тогда это легко будет сделать; если нет, то и без него можно обойтись. За нынешний зимний семестр (4 месяца) я опять получу 520 талеров, из которых мне очень легко дать тебе 200 до возвращения в Россию, — я ничего не жертвую в этом случае. Разница в том только, что если я задолжаю теперь Бессеру, то вышлю ему деньги из России. При личном свидании с отцом мне очень нетрудно будет взять у него 700 рублей, в случае ежели твои обстоятельства не скоро позволят тебе заплатить мне этот долг. Ты видишь, что я вовсе не деликатен. Да что с тобою делать! Поневоле станешь говорить языком цифр. Еще раз прошу тебя, душа моя, обдумай хорошенько это дело. К тому же, содруничество в журнале Полевого⁴³ и министерства народного просвещения также доставит тебе что-нибудь. Поговори с ним, Станкевич: тебе Бог дал дар слова».

Вскоре по отъезде Грановского дела мои приняли неожиданно благоприятный оборот: я получил из России деньги и работу, а вместе с тем возможность остаться еще на год за границую. Но болезнь

Станкевича заставляла его ехать на Рейн, и я решил ехать туда ему сопутствовать.

В конце апреля мы выехали из Берлина, но с Грановским продолжалась у нас деятельная переписка во все лето. Сначала мы предполагали съехаться в Мюнхен, но разлука с нами так чувствительна была для Грановского, что он упрямился нас приехать к нему в Дрезден и тут писал: «Однако же вы порядочные скоты — не хотели видеть меня в Дрездене; Мюнхен — сам по себе. Дрезден — сам по себе. Я было думал ожидать вас здесь, но это пришлось бы мне не по карману, а, право, хотелось бы вас видеть. Бог знает, когда сведет нас судьба. Неверов упрямится, не хочет сделать для меня того, что сделал для Бенедиктова.

Мне не оттого было грустно оставлять Берлин, что у меня сидячая жизнь — на этот и на многие другие разы ты дал промах, милый Неверов — а оттого, что мне там было лучше, чем где-либо».

Эта грусть одиночества сильно его тревожила. Описывая впечатления, Дрезденом на него произведенные, он говорил: «А между тем, если бы вы здесь были, то мне было бы очень хорошо. Так много нового и здесь, и там, смотришь, слушаешь — впечатлений много, но человеческого слова сказать не с кем. Гульянов⁴⁴ — книга, а с Строевым нельзя заговорить о Корреджио⁴⁵»... Он даже хотел приехать к нам, но сознание долга удержало. Вот как писал он о своей жизни в Дрездене:

«Я зажил здесь гораздо долее, нежели думал. Впрочем, на этот раз виною не моя сидячая натура (обидно выразился Неверов), а Гульянов. Он отдал мне часть своих бумаг, и я не мог не прочесть, о чем прежде понятия не имел. Получил понятие о гиероглифах; по крайней мере теперь мне известны спорные пункты и результаты исследований. Интереснее гораздо его общая грамматика, которая мне чрезвычайно нравится. Жаль, что все это погибнет. Начато много, материалы все собраны, но кто разберет их? О гиероглифах я не могу судить, потому что тут надобно более двух недель занятий, но издание всеобщей грамматики принесло бы большую честь Гульянову и пользу науке. Мы останемся в переписке с ним и, может быть, издадим что-нибудь, т. е. я возьму на себя корректуру и прочие хлопоты. Участие — не важное, но необходимое, потому что иначе ничего не выйдет. Он так хлопочет над своими толкованиями св. писания, что о другом и не думает. Кстати, ради Бога не говорите никому об апокалипсисе⁴⁶ и проч.: он просил меня молчать об этом. Мы с ним в больших ладах: можете судить из того, что он позволял мне рыться в его бумагах и брать домой что угодно, тогда как другим он боялся показывать их. «Украдут», говорит. В самом деле, с ним делали такие вещи. У меня составлено много выписок, разумеется, с его позволения, но это — отрывки, годные для меня. Я записываю также то, что он говорит мне, но это еще отрывочнее, потому что он перелетает от одного предмета к другому».

Но ни одни гиероглифы и Гульянов занимали Грановского в Дрездене; богатые дрезденские галереи, библиотеки, театр и общественная жизнь обращали также на себя его внимание. Впечатле-

ния, произведенные на него ими, он подробно описывает в своих ко мне письмах. Замечательно, что, находясь под обаянием грации певицы Леве, он не только не был очарован классическою красотою и драматическим искусством знаменитой Шредер-Девриенд, но ставит ее ниже берлинской примадонны. К природе он остался равнодушен и очень оригинально выразился о ней, говоря: «Видел также природу. Посмотрели друг на друга молча. Здешняя природа не в моем роде — я люблю ужасное, а тут только приятное. Вчера были за городом. Пошли посмотреть памятник Моро⁴⁷ и зашли черт знает куда; я думал, что мы уже в Саксонской Швейцарии. Памятник очень прост. Я непременно велю себе такой поставить».

Из Дрездена Грановский отправился в Прагу, куда и приехал 26-го апреля 1838 года. Прага произвела на него неприятное впечатление, и австрийские чиновники не один раз заставили его с сожалением вспомнить о Пруссии. Уважение его к народному духу и администрации этой последней страны утроилось. Сравнивая Австрию с Россией, он восклицает: «Благодарю Бога, что я русский».

В Праге он нашел О. М. Бодянского и М. И. Касторского⁴⁸ и чрез них познакомился с чешскими литературными знаменитостями, из которых в особенности привлек его внимание Шафарик⁴⁹. С уважением отзываясь о пособии, которое делал Шафарику М. П. Погодин⁵⁰, Грановский сам сделал в пользу его подписку. Кроме Шафарика, Грановский познакомился в Праге с еврейским философом доктором Саксом, и в особенности сблизился с чешским ученым Шторхом. Характеристики этих лиц и вообще взгляд на чехов и славян Грановского весьма любопытны и находятся в письмах его ко мне из Праги⁵¹.

До половины мая Грановский оставался в Праге и оттуда поехал в Вену. Наружность этого города ему очень понравилась, но венская жизнь не могла заинтересовать его своею блестящею наружностью. Он писал: «Тяжко смотреть на этот народ: едят, пьют и веселятся, а до остального им дела нет. О себе высокого мнения, а между тем — невежды в высокой степени. Университеты, кроме медицинских факультетов, хуже наших, и студенты спят на лекциях. Политического интереса нет: в кофейных читают только театральные (известия) рецензии, а политические газеты лежат так. Скотство. До смерти хочется в Берлин. Больно смотреть на старика, который проел и проспал жизнь, а здесь вы видите целый народ — 30 миллионов человек — в таком положении. Еще хуже, эти несчастные проедают не только свою, но и чужую жизнь — жизнь детей и внуков».

Народ — бригадир⁵². Как можно сравнить с Россией! У нас свежий, добрый народ. Еще в Праге сказал мне один умный человек: «Man hat uns sensuaisirt; wir sind verloren für ein höheres Leben» [Нас сделали чувственными; мы потеряны для высшей жизни. — Нем.]. Здесь это видишь своими глазами. Все другие интересы, кроме материальных, исчезли из жизни. Фроловы правы относительно Варнгагена: он был здесь и заметил только изящество гостиных. Что же это за душа? — подошва. Не сердись на меня за это,

Неверов. Ей-богу, ты сказал бы то же. Если бы мне долго надобно было здесь жить, то на меня нашла бы постоянная грусть. Я уехал бы в Москву с радостью. Мне хочется работать, но так, чтобы результат моей работы был в ту же минуту полезен другим. Пока я вне России, этого сделать нельзя. Мне кажется, я могу действовать при настоящих моих силах и действовать именно словом. Что такое дар слова? Красноречие? У меня есть оно, потому что у меня есть теплая душа и убеждение. Я уверен, что меня будут слушать студенты. У меня еще нет сведений, нужных для историка в настоящем смысле. Я еще не знаю истории, но мне кажется, что понимаю и чувствую ее. Заврался о себе; простите».

В этих словах виден весь Грановский. Сколько благородной силы воли и сколько искренности! Здесь виден зародыш той замечательной личности, которая в течение 15-ти лет составляла славу и украшение первого русского университета.

В Вене, как в Праге и Дрездене, Грановский продолжал ревностно заниматься. Он писал мне из Вены: «Богемским языком занимаюсь усердно и довольно оригинально: я начал с самого древнего памятника языка — с Краледворской рукописи⁵³, потом прочту две три хроники позднейшего времени, а кончу стихотворениями Коллара⁵⁴. Таким образом я познакомлюсь с историею языка; для руководства читаю Добровского Грамматику и Историю богемской литературы⁵⁵. Легко, но пользы будет менее, нежели я думал: литература чехов очень бедна. Скоро стану учиться по-сербски. У них, по крайней мере, богатое собрание исторических песен».

Главным развлечением Грановскому в Вене, как и везде, служил театр. О нем он подробно говорит в своих письмах. В Вене он познакомился с известною актрисой, мадам Вреде, женщиною не только образованною, но даже ученою. В письмах своих (от 26-го мая, из Вены) он рассказывает о ней много подробностей, любопытных для знакомых с знаменитостями тогдашней литературной и ученой эпохи. Madame Вреде занималась философиею, лично знала Шеллинга и Гегеля и была приятельницею знаменитой Рахели⁵⁶. Если нужно будет в биографии показать, как Грановский, убедившись однажды в достоинствах человека, защищал его честь и доброе имя, то примером тому может служить сообщенный им мне, в первом письме из Вены, от 20-го мая, спор его с Строевым о Белинском⁵⁷. В Берлине один наш соотечественник позволил раз себе сделать не совсем-то лестный отзыв обо мне. Грановский хотел вызвать его на дуэль; но когда я и другие, чтобы отклонить его от этого, убедили его, что NN того не стоит, то он хотел его просто приколотить, и только участие Варнгагена отклонило неприятные последствия этой истории, потому что Варнгаген настоял пред нашим посольством и пред берлинскою полицией об удалении NN из Берлина...

Через m-те Вреде Грановский познакомился с известным поэтом бароном Цедлицем и драматическим писателем Грильпарцером; кроме того, он посещал ориенталиста и историка Гаммера и известного генерала Теттенборна (о всех этих лицах он сообщает очень инте-

ресные подробности в письмах своих из Вены, от 12-го и 13-го июня)⁵⁸.

Жар, с которым Грановский принялся за славянские языки, охладел к концу пребывания его в Вене. Он писал мне, от 12-го июня: «Славянскими языками занимаюсь мало, во-первых, потому, что легко, а во-вторых, потому, что жестоко надудся: они могут быть полезны для филологических исследований, следовательно, и для истории, но я совсем другого ищущу в этой науке. Меня почти исключительно занимает развитие политической формы и учреждений. Это одностороннее направление, но я не могу из него вырваться. Литературы нет ни у чехов, ни у сербов, исторических источников тоже. Все это истреблено, а новое только *im Werden* [в становлении—нем.]. Мне полезнее было бы выучиться по-итальянски и по-испански. Я теперь более всего занимаюсь историей Испании. Чудный народ! Они понимали конституционные формы тогда, когда об этом нигде не имели понятия. В 1305 году испанские кортесы определили, чтобы во время их заседаний королевское войско оставляло город: иначе голоса не свободны. Таких законов у них было много. Теперешняя Европа еще борется за то, что у них тогда уже было. Для диссертации я выбрал предмет: об образовании и упадке народных общин в средних веках⁵⁹. Первые вольные общины все-таки в Испании. Жажда труда у меня большая. Сейчас же поехал бы в Москву. В эту зиму я отдохнул, и слава Богу!»

Далее он пишет: «Когда прочту все, что у меня есть теперь для истории Испании, примусь за Гаммерову историю Турок⁶⁰. У меня самые поверхностные сведения о Востоке; известно. Историю калифата при Омиядах⁶¹ я прочел теперь, потому что она в связи с Испанией, но далее — я порядочный невежда; кроме имен и годов — ничего не знаю. Дай Бог только добраться до кафедры, а то все клочками учусь. В голове есть кое-какие материалы, но все разбросано, разорвано, без всякой внутренней и даже внешней связи. Год лекций — и я надеюсь, что все придет в порядок. Переводи скорее Лео⁶², Неверов, — в первые годы моего профессорства он мне будет служить нитью. Когда твоя книга выйдет, я непременно напишу разбор, разумеется, не перевода. Диссертация моя об общинах будет, вероятно, отрывком из большого труда. Я думаю, что у меня достанет терпения на долгую работу. По крайней мере, теперь я хорошо настроен».

В начале августа здоровье Грановского в Вене сильно расстроилось. Искушавшись в жаркий день в Дунае, он застудил себе желудок и получил припадок холеры. Эта болезнь изменила его планы. Я был в то время с Станкевичем в Ахене, и он располагался непременно к нам приехать, хотя на несколько дней. Оправившись несколько от болезни, он чрез Регенсбург поехал во Франкфурт с целью проехать к нам, но из Франкфурта поворотил на Лейпциг именно потому, что чувствовал себя физически и нравственно расстроенным для предпринятия дальнейшего путешествия. В Берлин он воротился около 18-го августа и тотчас же начал лечиться у врача m-me Фроловой,

доктора Атерсона. Хотя он и получил облегчение и начал свою обычную жизнь в Берлине, деля время между кабинетными занятиями, университетом, Фроловыми, театром и профессором Вердером, с которым поселился в одном доме, но мы, приехавши в Берлин в конце сентября, — ибо наша поездка в Италию не состоялась — нашли его очень изменившимся: он жаловался на расстройство в груди. Так как приезд наш в Берлин не входил в наши планы и Грановский занял уже квартиру вместе с Вердером, то мы не могли возобновить нашего прошлогоднего хозяйства и разместились по разным квартирам вблизи друг от друга. По особым обстоятельствам я не мог даже жить вместе с Станкевичем (причиною тому была связь его с одною девушкой из довольно хорошей фамилии), а поселился в центре между ним и Грановским. Впоследствии эта мера оказалась очень благоразумною, ибо к концу зимы тот и другой тяжело заболели, и я должен был переходить от одного больного к другому. Грудная болезнь Грановского развилась до такой степени, что доктора начали подозревать в нем чахотку. Я обратился к первейшим медицинским знаменитостям Берлина, и доктор Вейс, с помощью прослушивания, нашел, что в Грановском решительно нет чахотки, но что болезнь его происходит от узкогрудия и что она не влечет за собою никаких вредных последствий, если больной, вылечившись от тогдашних временных страданий, будет постоянно вести строгую и правильную жизнь; но что при всяком излишестве, невоздержании и душевном волнении припадки в груди будут непременно возобновляться, а частое их возобновление повлечет за собою неминуемо расстройство всего организма. Более месяца Грановский не только не выходил из комнаты, но даже не вставал с постели; наконец молодость и искусство врача преодолели болезнь, но для окончательного выздоровления он должен был весною ехать на воды в Зальцбрунн.

Исключая периода самой тяжелой болезни, Грановский постоянно занимался своею наукой, а частое сношение с Вердером расширило и укрепило его познания в философии; m-me Фролова и ее круг продолжали живительно действовать на всех нас. Наш тесный дружеский кружок, кроме Ивана Сергеевича Тургенева, увеличился еще нашим известным лингвистом — Петровым (впоследствии профессор санскритского языка в Москве)⁶³ и товарищем его Триденном. Но в начале весны 1839 года общество наше расстроилось: Грановский первый поехал в Зальцбрунн, в конце мая я уехал в Штральзунд и на остров Рюген, а в июле возвратился в Россию, а Станкевич поехал также в Зальцбрунн, а оттуда в Италию. Из Зальцбрунна Грановский по-прежнему писал ко мне в Берлин и в Россию, но эти письма не заключают в себе ничего особенно интересного, потому что Грановский был там совершенно один и исключительно занят восстановлением своего здоровья. Не помню наверное, возвращался ли Грановский в Берлин, — знаю только, что в начале июля 1839 года он был уже у себя дома, в Орловской губернии, ибо имею от него оттуда письма.

Переписка моя с Грановским продолжалась до самой его смерти, но многие из этих писем утрачены. Сохранившиеся же касаются исключительно наших личных отношений или дел, а потому также не заключают в себе общего интереса. Впрочем, вот несколько строк из письма, в котором он уведомляет меня о смерти мадам Фроловой; эти строки показывают, как глубоко Грановский ценил и уважал эту женщину: «Все лучшее, все, что было украшением лучших дней моей, и, вероятно, твоей жизни — покидает нас», — говорил он. Письмо это исполнено глубокой грусти⁶⁴. Смерть Фроловой и мое положение (тогда началась моя глазная болезнь), вызвав глубокое сочувствие в Грановском, заставили его намекнуть на другие утраты, на другие разочарования, которых я объяснить не могу.

Письма его из этой эпохи, кроме вопросов, лично до меня касающихся, содержат в себе историю его знакомства и любви к Елисавете Богдановне⁶⁵. Это обстоятельство заставило меня из Риги приехать в Москву, — то было первое свидание после Берлина; я пробыл у него около месяца, но постоянно был болен; потом я приезжал еще к нему весною в первый год после его женитьбы, но пробыл в Москве только дней восемь. Усилившаяся глазная болезнь заставила меня в 1844 году снова ехать за границу, а в 1845 году я назначен был директором в Чернигове и не видался с Грановским до июня 1854 года, почти ровно десять лет, когда я приехал в Москву из Ставрополя⁶⁶. Переписка его со мною в этот период ограничивалась обменом известий, касающихся нас лично, а не научных вопросов, для развития коих в его распоряжении был университет — а потому и оканчиваю здесь мои о нем воспоминания.

КОММЕНТАРИИ

М. И. Жихарев

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОТОМСТВУ О ПЕТРЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ЧААДАЕВЕ*

В общественной жизни России 1830-х годов П. Я. Чаадаев играл, без сомнения, первенствующую роль. Еще до появления в печати «Философического письма» он, друг А. С. Пушкина и декабристов, был известен как обличитель николаевской России, как смелый и глубокий мыслитель. Расправа над Чаадаевым в 1836 г. усилила интерес общества к его личности и взглядам. В переписке современников нередко встречаются упоминания о Чаадаеве, пересказ его мнений и острых слов, оценки чаадаевских поступков. Чаадаев был на виду, он привычно стоял в центре общественного внимания. За четверть века в гостиную Чаадаева побывала «вся Москва», но близок он был с немногими, а доверял избранным, среди которых едва ли не первое место занимал М. И. Жихарев — дальний родственник и преданный ученик, позднее — хранитель литературного наследия и архива Чаадаева.

В биографии Чаадаева множество пробелов. Не только отдельные сочинения «Басманного философа» были спрятаны от постороннего глаза, но и некоторые его поступки, обстоятельства жизни были укрыты от современников.

В русской мемуаристике в целом сохранилось парадоксально мало свидетельств о Чаадаеве. Несомненную ценность среди них представляют воспоминания Д. Н. Свербеева, А. И. Дельвига, А. В. Мещерского, С. В. Энгельгардт, М. Н. Лонгинова. Проникновенные строки посвятил Чаадаеву А. И. Герцен. Но наиболее полно жизненный путь Чаадаева, особенности его характера и воззрений отображены в воспоминаниях Жихарева, автора осведомленного, ревностно стремившегося донести до потомства даже малые подробности жизни своего учителя.

О самом Михаиле Ивановиче Жихареве известно немного. Он родился 19 ноября 1820 г. в дворянской семье. Его отец, Иван Матвеевич, служил в Москве, и будущий мемуарист хорошо знал уклад жизни московского барства, семейные, служебные и имущественные отношения, разветвленные родственные связи. В судьбе М. И. Жихарева старомосковский обычай «считаться родными» сыграл заметную роль. Именно как родственник он был вхож в чаадаевский кабинет на Новой Басманной. Чаадаев называл Жихарева племянником. В действительности родство (через Шаховских и Щербатовых) было дальше, но звание племянника словно исчерпывало вопрос о мотивах сближения светского молодого человека и ставшего московской достопримечательностью отставного гусарского офицера.

Троюродным дядей М. И. Жихареву приходился С. П. Жихарев (1788—1860), чьи мемуарные «Записки современника» хорошо известны. Случалось, что исследователи, например, В. Е. Чешихин-Ветринский, С. Я. Штрайх, составители аннотированного указателя «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» (М., 1977. Т. 2. Ч. 1. С. 222) принимали двух мемуаристов за одно лицо.

В конце 1830-х годов (вероятно, в 1838 г.) М. И. Жихарев поступил в Московский университет. Он был хорошо воспитан, отлично знал французский и английский языки, читал по-немецки, позднее выучил итальянский. «Светским и юрким» назвал Жихарева его соученик по университету А. А. Фет (Фет А. А. Воспоминания. М., 1983. С. 139). В университете Жихарев стал членом «мыслящего студенческого кружка», который возглавлял слушатель юридического факультета будущей знамени-

* Комментарии составлены Н. И. Цимбаевым.

тый критик А. А. Григорьев. В кружок входили молодые люди, чьи имена со временем стали известны в русской культуре и общественной жизни — поэты А. А. Фет и Я. П. Полонский, историк С. М. Соловьев, славянофил кн. В. А. Черкасский, западник К. Д. Кавелин. В кружке велись оживленные литературные и философские споры, читались стихи. Интерес к поэзии Жихарев сохранил навсегда, в его воспоминания о Чаадаеве органично вошли строки А. С. Пушкина, Н. М. Языкова, К. С. Аксакова, К. К. Павловой.

Среди членов этого студенческого кружка был и Н. М. Орлов, сын М. Ф. Орлова, друга и постоянного собеседника Чаадаева. Можно предположить, что через семью Орловых Жихарев и стал известен Чаадаеву. Достоверных данных о начале их сближения нет, но в 1840-е годы Жихарев был безусловным последователем чаадаевских воззрений. В московской общественной жизни «замечательного десятилетия» он не играл заметной роли, однако со вниманием следил за происходившими событиями и хорошо знал главных действующих лиц — Т. Н. Грановского, А. И. Герцена, А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, Н. Ф. Павлова, Н. П. Огарева, И. В. Киреевского и др. В 1847 г. в Москве было начато издание первой ежедневной газеты «Московский городской листок». Участие в газете на короткое время соединило московскую интеллигенцию. В ней сотрудничали С. П. Шевырев и Т. Н. Грановский, Ф. Н. Глинка и С. М. Соловьев, М. А. Дмитриев и А. А. Григорьев. Принял участие в газете и Жихарев, поместив «Отрывок из записок современника» («Московский городской листок», № 17, 21 января 1847 г.). Не называя имени Чаадаева, Жихарев сделал попытку изложить его воззрения на Россию. Статья с трудом прошла цензуру (Снегирев И. М. Дневник. М., 1904. Т. 1. С. 382, 385).

Последние пятнадцать лет жизни Чаадаева Жихарев был его другом и доверенным лицом. Чаадаев завещал Жихареву свои бумаги («бумаги мои, запечатав, отослать Михайле Ив. Жихареву»), а также книги, картины и бюсты, что находились в знаменитом чаадаевском кабинете (Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1913, Т. 1. С. 310—311).

После смерти Чаадаева Жихарев привел в порядок его архив, снял копии с большинства сочинений, перевел многие из них на русский язык. Он не просто хранил наследие Чаадаева, но и постоянно стремился напечатать его сочинения. В 1859 г. Жихарев вел переговоры с редакцией журнала «Современник»; Н. Г. Чернышевский проделал подготовительную работу по изданию «Апологии сумасшедшего». Однако попытка публикации сочинений Чаадаева в России не удалась, видимо, по цензурным причинам («Философические Избранные письма» находились под запретом до первой русской революции).

В 1860 г. Жихарев выехал за границу. 6 мая он посетил Герцена, в беседе с которым изложил пессимистический взгляд на настоящее и будущее России. На другой день Герцен писал Жихареву: «Благодарю вас за доброе посещение и желаю одного, чтоб вы на будущее наше посветлее взглянули, — а настоящее я вам отдаю с руками, панямины и ногами» (Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1963. Т. 27 (1). С. 44). Судя по упоминанию Герценом председателя Редакционных комиссий крепостника В. Н. Панина, собеседники сошлись в критическом отношении к подготавливаемой правительством крестьянской реформе. Несмотря на глубокое уважение Герцена к Чаадаеву, он не принял к публикации предложенные ему чаадаевские бумаги.

В Париже Жихарев доверил имеющиеся у него чаадаевские материалы иезуиту князю И. С. Гагарину, который и напечатал французский текст первого «Философического письма» во французском журнале. Два года спустя, в 1862 г., Гагарин издал на французском языке «Избранные сочинения Чаадаева», где использовал и другие тексты, бывшие у Жихарева.

Жихарев трогательно заболтался о сохранении в русском обществе памяти о Чаадаеве, например, рассылая знакомым и незнакомым людям, знавшим мыслителя, фотографические снимки с картины художника К. Бодри, где изображен чаадаевский кабинет в Москве. В 1863 г. за драгоценный подарок его благодарили Ф. И. Тютчев и А. И. Герцен, в 1869 г. — Ю. Ф. Самарин и И. С. Тургенев. Последний писал брату: «Посылка г-на Жихарева (которого я, впрочем, не знаю) состоит в фотографии чаадаевского кабинета: мне уж доставили 8 таких фотографий, и я начинаю думать, что это мистификация» (Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1958. Т. 12. С. 393).

В 1866 и 1869 гг. Жихарев передал в Румянцевский музей (ныне Государственная библиотека им. В. И. Ленина) чаадаевскую библиотеку и собрание картин, среди

которых был подлинник Бодри. Поступила в музей и та часть архива Чаадаева, которая состояла из писем и записок, им полученных.

В 1870 г. Жихареву удалось заинтересовать чаадаевской темой редактора либерального журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича. В 1871—1872 гг. в журнале печатались «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов» А. Н. Пыпина, которые содержали подробный пересказ взглядов Чаадаева; здесь же были помещены и воспоминания Жихарева, о чем см. ниже. Благодарный мемуарист передал в распоряжение редакции собрание статей и писем Чаадаева в собственноручных копиях. Приступая к печати на неизданных рукописях Чаадаева, редакция сообщила: «Письма и сочинения Чаадаева, сообщенные нам г. Жихаревым, составляют весьма значительную коллекцию» (Вестник Европы, 1871. № 11. С. 324). Опубликована, однако, была лишь малая часть бумаг, остальные осели в архиве Пыпина. В июле 1872 г. Жихарев сообщил Стасюлевичу: «Чувствуя живейшее желание, чтобы хозяин журнала, в котором Александром Никол[аеви]чем Пыпиным так много сделано для памяти покойного Чаадаева, имел у себя в его воспоминание какую-нибудь безделицу из его вещей, позволяю себе вместе с этим к вам препроводить одно из его кресел, его портрет с собственноручной подписью и подсвечник, им когда-то купленный в Лондоне, бывший у него в постоянном употреблении и без которого его одного у себя в комнате в ночное время себе вообразить невозможно» (ОР ГБЛ. Ф. 621. Ед. 824. Л. 82—82об).

Последние годы жизни Жихарев провел в своем имении в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии. Зимой он переезжал в Москву. Его общественные связи были ограничены, переписывался он лишь с близкими родственниками. Письма, посылаемые ему в Москву, он просил адресовать в Английский клуб, давним членом которого он был. Точная дата смерти М. И. Жихарева не установлена. Последние письма, ему адресованные, были написаны в 1882 г. К сожалению, в настоящее время неизвестна и судьба рукописей Чаадаева, которые бережно хранил Жихарев.

Над воспоминаниями о П. Я. Чаадаеве Жихарев работал в 1864—1865 гг. и завершил их в декабре 1865 г. Из текста ясно, что внешним поводом к составлению «Докладной записки» послужила публикация в журнале «Русский вестник» воспоминаний М. Н. Лонгинова, который не принадлежал к числу лиц, близко знавших Чаадаева. Главным источником труда Жихарева были не материалы чаадаевского архива, а устная традиция и личные впечатления — итог многолетнего общения. Легко установить, что сведения, сообщаемые мемуаристом, особенно о раннем периоде жизни Чаадаева, не всегда точны, но в их основе лежат биографические факты, рассказанные самим Чаадаевым. Несомненную ценность представляет освещение роли Чаадаева в «семеновской истории», его дружбы с Пушкиным и т. п.

Необычное название воспоминаний — «Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве» — отражает не только особенности стиля Жихарева, но прежде всего его субъективное стремление к возможной точности и достоверности изложения. «Докладная записка», конечно, дает материал для суждения о настроениях самого Жихарева, которые представляли собой смесь чаадаевского скептицизма в отношении судеб России и взглядов, близких английскому консерватизму. Жихарев — убежденный западник, беспощадный критик славянофильских теорий. Он прекрасно знаком с западноевропейской литературой и историей, в его работе встречаются ссылки на сочинения Ларошфуко и Луи Блана, Шатобриана и Виктора Гюго.

Жихарев работал над воспоминаниями в надежде на их появление в печати. В письме к ученику Чаадаева А. С. Цурикову, которому он послал «Записку» для ознакомления, Жихарев спрашивал: «Верно ли, по вашему мнению, изображен Чаадаев, справедливо он вознесен на ту высоту, на которую я его ставлю в известном отношении и справедливо ли унижен в другом, и наконец насколько «Записка» способна к печати?..» (ГБЛ. Ф. 103. К. 1032. Ед. 91.)

Воспоминания были опубликованы в журнале «Вестник Европы» под заглавием «Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника» (1871, № 7, 9). Текст был напечатан с пропусками и местами отличался от оригинала, что было вызвано как цензурными соображениями, так и последовательной стилистической правкой. Некоторые пропущенные места были позднее изданы В. Е. Чехихиным-Ветринским (Мелочи о П. Я. Чаадаеве. Из рукописи С. П. Жихарева // Вестник Европы. 1916. № 2).

В настоящем издании «Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве» М. И. Жихарева впервые печатается полностью по автографу, который хранится в

ГБЛ (ф. 103, к. 1032, ед. 90). К «Докладной записке» Жихаревым были даны два приложения, первое из которых содержало неточный текст трех пушкинских посланий к Чаадаеву, а второе касалось некоторых сторон идейной жизни 40-х годов. К воспоминаниям, напечатанным в «Вестнике Европы», Жихарев дал более пространное приложение, однако исключил стихотворения Пушкина. В настоящем издании приложения, данные Жихаревым, печатаются по тексту «Вестника Европы»; кроме того, в качестве нового приложения, внесенного авторами-составителями нашей публикации, выступает первое «Философическое письмо».

¹ П. Я. Чаадаев родился в Москве 27 мая 1794 г. Ниже, противореча себе, Жихарев отнесет рождение к 1796 г. и назовет местом его рождения Нижегородскую губернию.

² «Московские Ведомости» — старейшая (с 1756 г.) московская газета; издавалась Московским университетом. В газете печатались преимущественно официальные известия и городские новости. В описываемое время редактором газеты был Валентин Федорович Корш (1828—1883) — либеральный журналист, который стремился придать публикуемым материалам литературно-общественный интерес.

³ Во французском языке слово «сeгсle» имеет значение «кружок», «клуб», место публичных собраний и бесед. Сомнения Жихарева совершенно неосновательны — литературные и общественные группы единомышленников в николаевской России устойчиво именовались «кружками» (кружок Станкевича, кружок Герцена и Огарева).

⁴ *Наталья Михайловна* (в девичестве — Щербатова), мать П. Я. Чаадаева, умерла в 1797 г.

Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790) — историк, публицист, государственный деятель; находился в аристократической оппозиции Екатерине II.

Яков Петрович Чаадаев, отец П. Я. Чаадаева, умер в 1795 г.

⁵ *Анна Михайловна Щербатова* (ум. в 1852 г.) была искренне предана племянникам, ревниво следила за их успехами в свете и по службе. В 1820-е годы Чаадаев подолгу жил в ее имении Алексейево в Дмитровском уезде.

⁶ Здесь и далее М. И. Жихарев ссылается на работу М. Н. Лонгинова «Воспоминания о П. Я. Чаадаеве» (Русский вестник. 1862. Т. 42. № 11), которая содержала биографические сведения о Чаадаеве, краткое изложение и характеристику его историко-философских взглядов. Лонгинову принадлежит и один из первых печатных откликов на смерть Чаадаева («Петр Яковлевич Чаадаев (1793—1856) (некролог)» // Современник. 1856. Т. 7. № 5). *Михаил Николаевич Лонгинов* (1823—1875) — известный библиограф, историк литературы. В 1850-е годы был близок к кругу «Современника» (Н. А. Некрасов, И. И. Панаев, А. В. Дружинин, Д. В. Григорович), позднее сотрудничал в «Русском вестнике», с 1871 г. — начальник Главного управления по делам печати.

⁷ *Дмитрий Михайлович Щербатов* (1760—1839) — сын историка М. М. Щербатова, вельможа и богач, персонаж «фамусовской» Москвы.

⁸ Из дальнейшего текста «Докладной записки» ясно, что М. И. Жихарев познакомился с М. Я. Чаадаевым и состоял с ним в переписке, поводом к чему служила работа над воспоминаниями. *Михаил Яковлевич Чаадаев* (1792—1866) получил, как и брат, блестящее воспитание, в мае 1812 г. поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк, вышел в отставку в чине майора в марте 1820 г. В 1826 г. у него был сделан обыск в связи с делом декабристов. С 1834 г. почти безвыездно жил в нижегородской деревне. Его образ жизни был, в противоположность брату, предельно прост. Поручик Семёновского полка Александр Чичерин, проделав кампанию 1812 г., писал в дневнике (3 января 1813 г.) о Михаиле Чаадаеве: «Двигается он медленно и вяло, всегда молчит, весь переход совершает пешком вместе со своим взводом, не отставая от солдат ни на шаг и таща на себе тяжелейший ранец... Мишель Чаадаев доказал, как обманчива внешность. Когда три месяца тому назад я утверждал, что он глуп, я не мог думать, что теперь обнаружу у него прекрасный характер, ровный, разумный и приятный, какой я хотел бы видеть у своего друга, что он будет вызывать теперь мое восхищение» (Ч и ч е р и н А. В. Дневник. М., 1966. С. 106—107).

⁹ Выдающийся философ *Иммануил Кант* (1724—1804) преподавал в Кенигсбергском университете с 1755 г., профессор с 1770 г.

¹⁰ На Евдокии *Стрешневой* был женат царь Михаил Федорович (1613—1646).

В начале XIX в. род Стрешневых пресекается и фамилия была передана их родственникам Глебовым, которые стали именоваться Глебовыми-Стрешневыми.

¹¹ Луи де Сен-Симон (1675—1755) — французский вельможа и политический деятель, герцог, автор известных мемуаров. Поризал политику короля Людовика XIV с позиций родовой знати.

¹² Сын Д. М. Щербатова, князь Иван (1794—1829), о котором идет речь, с 1811 г. служил в Семеновском полку. Проредел кампаний 1812—1814 гг., участвовал во всех сражениях полка, ранен под Кульмом. Член Союза благоденствия. После волнений в Семеновском полку в октябре 1820 г. был переведен в Тарутинский пехотный полк. В 1821 г. предан военному суду по обвинению в причастности к выступлению солдат Семеновского полка. Дело И. Д. Щербатова было кончено в феврале 1826 г., когда приказом Николая I он был лишен орденов и дворянства, разжалован в рядовые и сослан на Кавказ «вплоть до выслуги». Одна из дочерей Д. М. Щербатова — Наталья (1795—1885) — с 1819 г. жена декабриста Федора Петровича Шаховского (1796—1829). Член Союза спасения и Союза благоденствия Ф. П. Шаховской отказался признать себя виновным (редчайшее исключение среди декабристов), был приговорен к бессрочной ссылке. Сослан в Туруханск, в 1827 г. переведен в Енисейск. В ссылке сошел с ума. По ходатайству жены был помещен в тюрьму Суздальского Спасо-Ефимьевского монастыря. И. Д. Шаховской было разрешено поселиться неподалеку. Два месяца спустя Ф. П. Шаховской умер.

¹³ *Денной разбойник* — возможно, граф Федор Иванович Толстой («Американец») (1782—1846) — бретер, картежник, авантюрист. Его имел в виду Грибоедов, когда писал о «ночном разбойнике, дуэлисте».

В. И. К. — Вильгельм Иванович Карлгоф (1796—1841) — второстепенный поэт и беллетрист; имел репутацию низкого человека, клеветы Ф. В. Булгарина.

¹⁴ С 1821 г. главой московской епархии был Филарет (Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867) — видный деятель православной церкви, оратор и духовный писатель. Митрополит Филарет не был чужд общественных интересов, нередко вмешивался в идейные споры с позиций воинствующего православия. К Чаадаеву, с его католическими симпатиями, он относился с подчеркнутым вниманием.

¹⁵ Жихарев настойчиво обращает внимание читателя на глубокое уважение, которое Герцен действительно испытывал к Чаадаеву; здесь и далее приводит высказывания Герцена, ссылается на его авторитет. Однако картина взаимоотношений Чаадаева и Герцена, нарисованная Жихаревым, неполна; ей недостает ясного указания на то, что чаадаевская историко-философская концепция была для Герцена непримемлемой (см. вступительную статью). Мнение Герцена о гостях Чаадаева ср. с отзывом в 30-й главе «Былого и дум».

¹⁶ Уильям Каткарт (1755—1843) — английский военный деятель и дипломат. В 1807 г. командовал эскадрой, которая бомбардировала Копенгаген (это была демонстрация силы с целью не допустить присоединения Дании к континентальной блокаде). В 1812 г. отправлен послом в Россию; пределал кампанию 1813—1814 гг. в свите Александра I.

¹⁷ Дидо (Didot) — семья французских типографов, издателей и книгопродавцев XVIII—XIX вв. Основателем династии был Франсуа Дидо (1689—1759), который в 1713 г. завел типографию и книжный магазин. Поставщиками Чаадаева были его внук Ф. Дидо (1764—1836) и правнук А.-Ф. Дидо (1790—1876) — известный эллинист, издатель библиотеки древнегреческих авторов.

¹⁸ Сергей Михайлович Голицын (1774—1859) — вельможа, богач-филантроп. В 1830—1835 гг. был попечителем Московского учебного округа; председатель следственной комиссии по делу Герцена — Огарева. В «Былом и думах» Герцен назвал его «добряком», который «отродясь ничего не читал»; другие современники (С. Н. Глинка, М. П. Погодин) подчеркивали барское чванство и невежество С. М. Голицына.

¹⁹ *Тильзитский мир* (июнь 1807 г.) между Россией и Францией подвел итоги неудачной для русской армии войны 1806—1807 гг. Россия вынуждена была пойти на союз с Наполеоном. Тильзитское свидание Александра I и Наполеона и Тильзитский мир воспринимались в дворянских кругах, особенно вдали от Петербурга и двора, как национальное унижение. После Тильзита заметен рост патриотических и антифранцузских настроений.

²⁰ В сражении при *Асперне* (недалеко от Вены) в мае 1809 г. австрийская армия, которой командовал эрцгерцог Карл, стойко выдержала натиск французских войск

под командованием Наполеона. Исход битвы поколебал веру в непобедимость Наполеона.

²¹ Джордж Брайан *Браммель* (Brummell) (1788—1840) — знаменитый английский денди, прозванный «королем моды», друг Байрона и принца Уэльского; утверждал дендизм как стиль жизни. Его портрет дан в известном романе Бульвер-Литтона «Пелэм, или приключения джентльмена» (1828): «Предо мной стоял современник и соперник Наполеона — самодержавный властитель обширного мира мод и галстуков — великий гений, перед которым склонялась аристократия и робели светские люди, кто небрежным кивком приводил в трепет самых надменных вельмож всей Европы, кто силою своего примера ввел накрахмаленные галстуки и приказывал обтирать отвороты своих ботфорт шампанским, чьи фраки и чьи друзья были одинаково изящного покроя, чье имя было связано со всеми победами, какие только может одержать величайшая в большом свете добродетель — наглость» (Бульвер-Литтон Э. Пелэм, или приключения джентльмена. М., 1958. С. 192).

²² Карл-Андре (Карл Осипович) *Поццо ди Борго* (1764—1842) — корсиканец по происхождению; на русской службе с 1803 г., известный дипломат. Представитель России на Венском конгрессе, русский посол в Париже (1814—1834) и в Лондоне (1835—1839).

²³ Чаадаев поступил в Московский университет в 1807 г., окончил словесное отделение в 1812 г.

²⁴ В университетские годы среди знакомых И. Д. Щербатова, П. Я. и М. Я. Чаадаевых были А. С. Грибоедов, будущие участники декабристских организаций Н. М. Муравьев, С. П. Трубецкой, Н. И. Тургенев, И. Д. Якушкин, А. И. Якубович, Ф. Ф. Вадковский, А. З. Муравьев, П. П. Каверин; автор «мистического» дневника, который одно время приписывался П. Я. Чаадаеву, — Д. А. Облеухов.

²⁵ Иван Михайлович *Снегирев* с 1810 г. был студентом словесного отделения Московского университета. По свойствам характера и общественному положению Чаадаев и Снегирев действительно были «вполне противоположны». О И. М. Снегиреве см. подробнее комм. 28 к «Воспоминанию студентства» К. С. Аксакова.

²⁶ Иван Дмитриевич *Якушкин* (1793—1857) окончил Московский университет в 1811 г., служил в Семеновском полку, проделал кампанию 1812—1814 гг. бок о бок с И. Д. Щербатовым и братьями Чаадаевыми; деятельный член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества. По делу декабристов осужден в каторжные работы, затем — на поселении. После амнистии 1856 г. жил преимущественно в Москве, где и умер. В 1856—1857 гг. Жихарев встречался с Якушкиным, которого считал «мучеником» и рассказы которого использовал в работе над воспоминаниями. Чаадаев называл себя «учеником» Якушкина, их связывала крепкая дружба. Якушкин был близок к семье Щербатовых, в Наталью Дмитриевну Щербатову он был долго и безнадежно влюблен.

²⁷ Сообщение Жихарева о «тесной короткости» Грибоедова и Чаадаева трудно проследить по другим источникам.

²⁸ *Александр Александрович Шаховской* (1777—1846) — известный драматург и театральный деятель; его комедии во многом определяли репертуар русского театра в 1800—1820-е гг.

²⁹ А. С. Грибоедов был назначен посланником в Персию в апреле 1828 г. Смысл эпизода связан с тем, что в первой половине XIX в. ношение усов было привилегией офицеров легкой кавалерии.

Карл Васильевич *Нессельроде* (1780—1862) — дипломат и государственный деятель, в 1816—1856 гг. министр иностранных дел.

³⁰ *Алексей Петрович Ермолов* (1777—1861) — боевой генерал, герой Отечественной войны 1812 г. В 1816 г. был назначен командующим Отдельного Кавказского корпуса, а в 1819 г. — главнокомандующим в Грузии. Был популярен среди передовой молодежи. Подозреваемый Николаем I в связи с декабристами; был в 1827 г. смещен на Кавказе И. Ф. Паскевичем и ушел в отставку. Жил в Москве; независимость и твердый характер делали его заметной фигурой в московской общественной жизни 1830—1850-х годов.

Чаадаевских воззрений на Россию Ермолов не разделял.

Характер взаимоотношений А. П. Ермолова и А. С. Грибоедова неоднозначен. А. С. Грибоедов служил на Кавказе под началом А. П. Ермолова, а затем И. Ф. Паскевича, который приходился ему дальним родственником. К Паскевичу и его образу

действий на Кавказе Ермолов относился резко критически, что питало в конечном счете его недовольство Грибоедовым.

³¹ Иоганн Теофил (Иван Федорович) *Буле* (1763—1821) — воспитанник Геттингенского университета, философ, историк. С 1804 г. — профессор философии Московского университета. В 1811 г. занял место библиотекаря вел. кн. Екатерины Павловны, которая постоянно жила в Твери.

³² Петр Чаадаев, как и его брат Михаил, поступил в лейб-гвардии Семеновский полк в чине подпрапорщика 12 мая 1812 г.

³³ Офицеры Семеновского полка встретили братьев Чаадаевых сдержанно. В записи А. В. Чичерина о М. Я. Чаадаеве читаем: «И он, и его брат, поступив в наш полк, произвели весьма невыгодное впечатление. Педаггическая резкость и равнодушная небрежность тона роднят его брата с московскими шеголями, кои образуют совсем особый класс смешных чудачков, столь же странных, сколь и нелепых» (Ч и ч е р и н А. В. Указ. соч. С. 106). Безупречная храбрость братьев Чаадаевых, стойкость в перенесении тягот походной жизни вскоре изменили отношение к ним.

Арсений Андреевич Закревский (1783—1865) — боевой генерал 1812 г., военный администратор, в 1828—1831 гг. министр внутренних дел, с 1848 по 1859 г. — московский военный генерал-губернатор. Заслужил в Москве репутацию самодура и реакционера. Военную карьеру А. А. Закревский начал при генерале графе Николае Михайловиче *Каменском* (1778—1811) в качестве его адъютанта. По свидетельству П. И. Бартенева, в последние годы жизни Чаадаева Закревский сжигал его деньгами.

³⁴ В знаменитом сражении при Кульме (август 1813 г.) 1-я гвардейская дивизия, в которую входил Семеновский полк, прикрывала отход союзной армии после неудачи под Дрезденом. Русская гвардия проявила исключительную отвагу. Семеновский полк сражался несколько дней подряд; во 2-м батальоне семеновцев, например, вышли из строя все офицеры, кроме прапорщика И. Д. Якушкина, который принял командование. Прапорщик П. Я. Чаадаев со стрелками 3-го батальона отличился при атаке горы Кольберг. За особую храбрость награжден орденом Анны 3-й степени.

³⁵ В Ахтырский гусарский полк П. Я. Чаадаев перешел в 1813 г., увлекшись, как утверждал М. И. Муравьев-Апостол, красотой гусарского мундира; в составе этого полка вступил в Париж 19 (31) марта 1814 г. С 1815 г. Чаадаев служил в лейб-гвардии гусарском полку, в 1817 г. назначен адъютантом командующего гвардейским корпусом.

Илларион Васильевич Васильчиков (1777—1847) — командир Ахтырского гусарского полка (с 1803 г.), боевой генерал 1812 г.; отличился в кампаниях 1813—1814 гг. С 1817 г. командовал гвардейским корпусом. Генерал от кавалерии (1823), граф (1831), председатель Государственного совета и Комитета министров (с 1838 г.). В 1839 г. возведен в княжеское достоинство.

³⁶ Перемирие союзных войск (Россия, Пруссия) с Наполеоном было подписано в Плесвице 23 мая (4 июня) 1813 г. Военные действия возобновились в августе 1813 г.

³⁷ Жихарев сравнивает заграничные походы русской армии («странствующего царства») 1813—1814 гг. с пребыванием Петра I в странах Западной Европы в составе Великого посольства (1697—1698).

³⁸ Виктор Павлович *Кочубей* (1768—1834) — дипломат и государственный деятель, один из «молодых друзей» Александра I. В 1802—1807 гг. и в 1819—1823 гг. — министр внутренних дел. С 1827 г. — председатель Государственного совета и Комитета министров.

Николай Михайлович *Карамзин* (1766—1826) — поэт, писатель, знаменитый историк. С 1803 г. трудился над «Историей государства Российского». Александр I подчеркивал свое благоволение к Карамзину, но личной близости между ними не было.

³⁹ С 1817 г. президентом Академии художеств был статс-секретарь Александр Николаевич Оленин (1763—1843) — археолог, палеограф, художник.

⁴⁰ *Константин Павлович* (1779—1831) и *Михаил Павлович* (1798—1849) — великие князья. Жихарев преувеличивает близость Чаадаева к Александру I и его братьям.

⁴¹ *Павел Дмитриевич Киселев* (1788—1872) — боевой генерал 1812 г., государственный деятель. С 1819 г. был начальником штаба 2-й армии; под его началом служили и были с ним в близких отношениях некоторые декабристы, члены Южного общества. В 1837 г. возглавил Министерство государственных имуществ; провел реформу управления государственными крестьянами.

⁴² *Екатерина Николаевна Орлова* (1797—1885) — дочь героя 1812 г. генерала

Николая Николаевича *Раевского* (1771—1829), жена Михаила Федоровича Орлова (1788—1842), генерал-майора, деятельного члена Союза благоденствия.

⁴³ Егор Антонович *Энгельгардт* (1775—1862) — в 1816—1823 гг. директор Царско-сельского лицея. Имел глубокое влияние на лицестов первых выпусков.

⁴⁴ Альфонс *Ламартин* (1790—1869) — французский поэт, историк, политический деятель. Его «История жирондистов» вышла в Париже в 1847 г.

⁴⁵ Стихотворение впервые сообщено М. И. Жихаревым. Его относят к фрейлине Варваре Михайловне Волконской (1781—1865). Перевод:

Сударыня, вас очень легко
Принять за сводню
Или за старую мартышку,
Но за грацию,— о боже, никак.

⁴⁶ О составе публикуемых в настоящем томе приложений см. выше, в комментариях, вводную статью о М. И. Жихареве и его «Докладной записке...».

⁴⁷ О реакции различных лиц, в том числе А. С. Пушкина, на «Философическое письмо», что и имеет в виду Жихарев, см. вступительную статью. Жихареву не было известно неотосланное письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г., где поэт полемизировал с автором «Философического письма».

⁴⁸ *Иван Васильевич Киреевский* (1806—1856) — литературный критик, журналист, философ. В молодости — «любомудр». Разрабатывал историко-философскую и религиозно-философскую стороны славянофильского учения.

⁴⁹ Речь идет о послании «В стране, где я забыл тревоги прежних лет...»

⁵⁰ Жихарев неточно цитирует строки из эпизода «Руслана и Людмилы». Прямо отнести их к Чаадаеву трудно.

⁵¹ Жихарев не совсем точно цитирует последние строки стихотворения «Деревня» (1819), первая половина которого в издании стихотворений Пушкина 1826 г. была напечатана под названием «Уединение». Полностью стихотворение распространялось в списках, один из которых, судя по всему, и был представлен Александру I. В тексте «Вестника Европы» далее следует: «Известен отзыв государя. Говорят, будто по прочтении он сказал Васильчикову: «Faites remercier Pouchkine des bons sentiments que ses vers inspirent» [Поблагодарите Пушкина за те добрые чувства, которые пробуждают его стихи.— *Фр.*].

⁵² В 1819 г. Карамзин подал Александру I «Мнения русского гражданина» («Записки о Польше»), где с консервативных позиций, но откровенно и с несомненным гражданским мужеством критиковал образ действий царя в Польше.

⁵³ Иоаннис *Каподистрия* (1776—1831) — дипломат и политический деятель. Грек по национальности, в 1809 г. поступил на русскую службу, с 1815 г. — статс-секретарь по иностранным делам. В 1827 г. был избран президентом Греции. Убит заговорщиками.

⁵⁴ Обстоятельства ссылки Пушкина на юг Жихарев передает неточно, по слухам. В текст «Вестника Европы» были внесены поправки: «Пушкин вместо соловецкого монастыря был сослан в новороссийский край, где употреблен на службу, потом в деревню, откуда возвращен уже в царствование Николая I».

⁵⁵ Михаил Андреевич *Милорадович* (1771—1825) — боевой генерал, герой войны 1812 г., «бог авангарда». С 1818 г. — военный губернатор Петербурга. 14 декабря 1825 г. смертельно ранен на Сенатской площади П. Г. Каховским.

⁵⁶ Стихотворение «Кинжал» было написано в 1821 г. При жизни Пушкина распространялось в списках.

⁵⁷ Франсуа Рене *Шатобриан* (1768—1848) — французский писатель, в период Реставрации политический деятель консервативного направления, дипломат. Многотомные «Замогильные записки» (у Жихарева — «Загробные записки») были изданы в Париже в 1848—1850 гг.

⁵⁸ Выступление солдат гвардейского Семеновского полка в октябре 1820 г. было направлено против порядков (бессмысленная муштра, телесные наказания), которые насаждал новый (с апреля 1820 г.) командир полка полковник Ф. Е. Шварц. Вечером 16 октября первая («государева») рота предъявила требование «сменить Шварца». Утром следующего дня она была отправлена в Петропавловскую крепость, после чего начались волнения во всех батальонах полка. Утром 18 октября попытку «уговорить» семеновцев предпринял командир гвардейского корпуса И. В. Васильчиков.

его начальник штаба А. Х. Бенкендорф и М. А. Милорадович. Солдаты отказались вернуться в казармы и потребовали соединить их с «государевой» ротой.

Строем и без оружия семеновцы пошли в Петропавловскую крепость.

Волнение Семеновского полка напугало власти. 2 ноября 1820 г. Александр I, находившийся на конгрессе Священного союза в Троппау, издал приказ о расформировании полка, солдаты и офицеры которого были разосланы по армейским частям. За причастность к выступлению солдат были преданы военному суду офицеры полка майор И. Д. Шербатов, капитаны И. Ф. Вадковский и Н. И. Кашкаров, отставной полковник Д. П. Ермолаев. Жихарев преувеличивает роль офицеров-семеновцев в выступлении солдат.

⁵⁹ В апреле 1797 г. на судах английской эскадры в Ла-Манше начались волнения матросов, недовольных обращением офицеров, плохим питанием, низким жалованием. Вскоре движение перекинулось на эскадру, находившуюся в Северном море. Казнив главных зачинщиков волнений, английское правительство затем пошло на уступки военным морякам.

⁶⁰ *Уильям Питт Младший* (1759—1806)— крупный государственный деятель, лидер тори; в 1783—1801 и в 1804—1806 гг. был премьер-министром Англии.

⁶¹ *Клеменс Венцель Лотар Меттерних* (1773—1859)— австрийский государственный деятель, дипломат. С 1809 г.— министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства, в 1821—1848 гг.— канцлер. Один из организаторов Священного союза. Убежденный консерватор.

⁶² Ланкастерские школы создавались передовыми офицерами с тем, чтобы учить солдат чтению, письму и счету по системе взаимного обучения, разработанной английским педагогом Дж. Ланкастером (1771—1838). В 1819 г. в Петербурге было основано «Общество учреждения училищ по методу взаимного обучения». Николай Иванович *Греч* (1787—1867)— журналист, издатель. Принимал участие в создании ланкастерских школ, предполагался в директора училищ гвардейского корпуса. Позднее — реакционер, соредактор Ф. В. Булгарина.

⁶³ *Петр Михайлович Волконский* (1776—1852)— генерал, приближенный Александра I. В 1815—1823 гг. — начальник Главного штаба, в николаевское время — министр императорского двора.

⁶⁴ *Марк Юний Бруг* (85—42 гг. до н. э.) — возглавил заговор против Юлия Цезаря (расположением которого пользовался). Образец республиканских добродетелей. Герцог Луи Филипп *Орлеанский* (1747—1793) — представитель младшей ветви династии Бурбонов; в период Великой Французской революции вступил в Якобинский клуб, отказался от титула и стал именоваться Эгалите. В Конвенте голосовал за казнь Людовика XVI. Позднее казнен якобинцами.

⁶⁵ *Полковник Мишо* (1771—1841) был послан М. И. Кутузовым в Петербург с известием об оставлении Москвы. Позднее — генерал-адъютант Александра I.

Маршал Мармон (1774—1852), с 1808 г. носивший титул герцога *Рагузского*, вместе с маршалом *Мортье* возглавлял оборону Парижа в 1814 г. и подписал капитуляцию города.

⁶⁶ *Томас Бекет* (ок. 1118—1170) — английский церковный и политический деятель; с 1155 г. — канцлер королевства. Убит придворными короля Генриха II, который выражал недовольство «беспокойным попом». Потом Генрих II, под угрозой папского отлучения, должен был вымаливать себе прощение у гроба убитого, причисленного к лику святых.

⁶⁷ Обстоятельства отставки Чаадаева до настоящего времени неясны. В письме к А. М. Шербатовой от 2 января 1821 г. Чаадаев сообщал: «Я действительно должен был получить фангель-адъютанта по возвращении императора, по крайней мере, по словам Васильчикова. Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают. Как видите, все это очень просто. В сущности, я должен вам признаться, что я в восторге от того, что уклонился от их благодарений» (Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1914. Т. 2. С. 54. Перевод с французского). Письмо было перлюстрировано. Чаадаев получил отставку в марте 1821 г. Во второй половине 1821 — начале 1822 г. Чаадаеву грозили неприятности, связанные с арестом кн. И. Д. Шербатова и «семеновской историей».

⁶⁸ Чаадаев уехал за границу в июне 1823 г., в Россию вернулся летом 1826 г.

⁶⁹ *Александр Гумбольдт* (1769—1859) — великий немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник; *Жорж Кювье* (1769—1832) — знаменитый французский

зоолог, палеонтолог; Абель-Франсуа *Вильмен* (1790—1870) — французский историк литературы, либеральный политический деятель, министр Луи-Филиппа; Фердинанд *Экштейн* (1790—1861) — французский католический публицист, роялист и консерватор; состоял с Чаадаевым в переписке; Жозеф *Феш* (1763—1839) — дядя Наполеона I, с 1803 г. — кардинал; после свержения Наполеона жил в Риме.

Жихарев ненавязчиво, но вместе с тем целенаправленно указывает на отсутствие у Чаадаева интереса к европейской политической жизни, на его безразличие к борьбе либералов и консерваторов, роялистов, орлеанистов и бонапартистов.

⁶⁰ Фридрих Вильгельм *Шеллинг* (1775—1854) — немецкий философ; взгляды позднего Шеллинга оказали воздействие на Чаадаева.

Иван Сергеевич *Гагарин* (1814—1882) — дипломат; в 1843 г. оставил Россию, перешел в католичество и стал иезуитом. Состоял в переписке с Чаадаевым, в 1862 издал в Париже его сочинения (см. выше, в комментариях, вводную статью о М. И. Жихареве и его «Докладной записке...»).

⁷¹ Упоминаемые Жихаревым письма опубликованы в приложении к воспоминаниям М. Н. Лонгинова.

⁷² Имеются в виду «Мемуары маршала Мармона, герцога Рагузского», изданные в Париже в 1857 г.

⁷³ Жихарев не совсем справедлив: чаадаевское отношение к движению декабристов было сложнее. Чаадаев был принят в члены тайного общества Якушкиным летом 1821 г. (он и ранее был связан со многими деятелями Союза благоденствия). По воспоминаниям Якушкина, Чаадаев даже выразил сожаление, что его не приняли прежде, заявив, что в таком случае он не вышел бы в отставку. Деятельного участия в делах тайного общества в Москве Чаадаев не принимал. Отвечая в 1826 г. на вопросные пункты, Чаадаев отрицал принадлежность к тайному обществу, ссылаясь на текст находившейся среди его бумаг речи о масонстве, «писанной мною еще в 1818 году, где ясно и сильно выразил мысль свою о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще» (Чаадаев в П. Я. Сочинения и письма. Т. 1. С. 72). Речь 1818 г., как ее пересказывает Чаадаев, стоит сопоставить с его отзывом о революции в Испании в письме к брату от марта 1820 г.: «Цельный народ восставший, революция, завершенная в 8 месяцев, и при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни, никакого разрушения, полное отсутствие насилий, одним словом ничего, что могло бы запятнать столь прекрасное дело, что вы об этом скажете? Происшедшее послужит отменным доводом в пользу революции. Но во всем этом есть нечто, ближе нас касающееся, — сказать ли? доверить ли сие этому нескромному листку? Нет, я предпочитаю промолчать; ведь уже теперь толкуют, что я демагог! Дураки! они не знают, что тот, кто презирает мир, не думает о его исправлении» (Чаадаев в П. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 53). По-своему трактуя «общую связь» чаадаевских идей, Жихарев имеет здесь в виду отзыв Чаадаева о декабристском восстании, прозвучавший в первом «Философическом письме»: «... В другой раз, другой великий государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад» (Чаадаев в П. Я. Там же. С. 117).

После 14 декабря 1825 г. Чаадаев постоянно отзывался о насильственных переворотах с осуждением. В мае 1836 г. он писал Якушкину: «Ах, друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было.

Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего — глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина» (Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 184).

⁷⁴ При возвращении в Россию Чаадаев был именно по приказанию вел. кн. Кон-

стантина Павловича задержан в Брест-Литовске на шесть недель, его книги и бумаги были досмотрены, с него был снят допрос. Считать вел. кн. Константина Павловича, который по приезде Чаадаева в Варшаву учредил за ним секретный надзор и доносил Николаю I о его близости во время пребывания за границей («жил душа в душу») к декабристу Н. И. Тургеневу, «благодетелем» оснований нет.

⁷⁵ Дмитрий Николаевич *Блудов* (1785—1864) — племянник Г. Р. Державина, литератор, учредитель и деятельный член «Арзамасского братства». В николаевское время — министр внутренних дел (1832—1839), граф (с 1842 г.); в 1839—1862 гг. руководил II Отделением императорской канцелярии, которое занималось кодификацией законов. В 1855—1864 гг. — президент Академии наук, председатель Государственного совета (1862—1864) и Комитета министров (1861—1864). Карьера Блудова (см. вступительную статью) началась с составления «Всеподданнейшего доклада Следственной комиссии от 30 мая 1826 г.». Секретарем Следственной комиссии Блудов не был. Под названием «Донесение Следственной комиссии» доклад, составленный Блудовым, был опубликован на русском и французском языках в 1826 г. Содержал крайне тенденциозное изложение замыслов и деятельности декабристов.

⁷⁶ Жихарев имеет в виду подробный разбор «Донесения», сделанный *Николаем Ивановичем Тургеневым* (1789—1871) в его книге «Россия и русские», три тома которой были изданы на французском языке в Париже в 1847 г.

⁷⁷ Речь идет о семье Сергея Александровича Норова (ум. в 1849 г.), которая оставила заметный след в истории русского общества. Старший из его сыновей, Василий Сергеевич (1793—1853), участвовал в кампаниях 1812—1814 гг.; член Союза благоденствия и Южного общества. Был осужден в каторжные работы, в 1835 г. переведен на Кавказ рядовым. Авраам Сергеевич (1795—1869) — участник войны 1812 года; был тяжело ранен при Бородине; писатель; путешествовал по Египту и Ближнему Востоку. В 1854—1858 гг. — министр народного просвещения. Александр Сергеевич (1797—1870) — поэт, писатель; ему, вероятно, принадлежал перевод первого «Философического письма», который был напечатан в «Телескопе». Их сестра, Авдотья Сергеевна Норова (1799—1835), о которой ведет речь Жихарев, была преданным другом Чаадаева.

⁷⁸ Рассказ Жихарева о болезни и «некоторого рода отчаянии» Чаадаева вряд ли отражает истинную суть происходившего. Затворничество Чаадаева в 1826—1831 гг., его стремление избегать людей, даже ему близких, были связаны с кабинетными занятиями и созданием цикла «Философических писем». К началу лета 1831 г., когда Чаадаев вышел из затворничества и появился в Английском клубе, работа над «Философическими письмами» была в основном закончена. 17 июня 1831 г. Чаадаев сообщал Пушкину: «Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать» (Чаадаев в П. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 176; в оригинале по-французски).

⁷⁹ Аркадий Алексеевич *Альфонский* (1796—1869) — воспитанник Московского университета, профессор хирургии, знаменитый московский врач. В 1842—1848 гг. и в 1850—1863 гг. был ректором Московского университета.

⁸⁰ Венедикт Григорьевич *Гейман* (1801—1874) — врач в доме Левашевых (см. комм. 87).

⁸¹ Давид Фридрих *Штраус* (1808—1874) — немецкий теолог, философ, автор книги «Жизнь Иисуса», два тома которой вышли в Тюбингене в 1835—1836 гг. Историко-критический подход Штрауса к евангельским текстам вызывал нападки клерикалов.

⁸² К «русским мистикам прошедшего столетия» могут быть отнесены Иван Петрович Тургенев (1752—1807), князь Николай Никитич Трубецкой (1744—1821), Иван Владимирович Лопухин (1756—1816), Александр Федорович Лабзин (1766—1825). В оценке их литературного наследия Жихарев не совсем справедлив. В 1780—1820-е годы в России мистиками было напечатано немало переводных и оригинальных сочинений.

⁸³ Жихарев цитирует «Апологию сумасшедшего». В рукописи «Докладной записки» цитата дана на языке оригинала, по-французски (Чаадаев в П. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 225—226; русский перевод: Т. 2. С. 222—223).

⁸⁴ Анна-Луиза де *Сталь* (1766—1817) — французская писательница; находилась в оппозиции правительству Наполеона; некоторое время жила в России.

⁸⁵ Николай Христофорович *Кетчер* (1809—1886) — врач, переводчик Шекспира, в 1830—1840-е годы друг А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Молва приписывала Кетчеру перевод первого «Философического письма»; ниже об этом упоминает и Жихарев.

Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) — знаменитый революционер, идеолог народничества. В 1835 г. Бакунин оставил военную службу и поселился в Москве, у Левашевых. Глубокий интерес Бакунина к немецкой философии не мог не встретить одобрения Чаадаева. В 1840 г. Бакунин уехал из России, стал эмигрантом, в мае 1849 г. руководил восстанием в Дрездене. В 1851 г. был выдан русскому правительству и заключен (до 1857 г.) в Петропавловскую крепость.

⁸⁶ *Алексей Федорович Орлов* (1786—1861) — боевой генерал 1812 г., государственный деятель, дипломат, брат М. Ф. Орлова. Командовал конногвардейским полком, который 14 декабря 1825 г. атаковал каре декабристов на Сенатской площади. Заступничество А. Ф. Орлова спасло от наказания по делу декабристов М. Ф. Орлова. В 1844—1856 гг. — шеф жандармов, начальник III Отделения, с 1856 г. — председатель Государственного совета и Комитета министров.

⁸⁷ Чаадаев поселился во флигеле дома Николая Васильевича и Екатерины Гавриловны Левашевых на Новой Басманной в сентябре 1833 г. Екатерина Гавриловна Левашева (ум. в 1839 г.) была двоюродной сестрой И. Д. Якушкина; это обстоятельство способствовало ее сближению с Чаадаевым. Хозяйка московского литературного салона, Е. Г. Левашева славилась необыкновенной добротой и отзывчивостью. Памяти Левашевой посвящено стихотворение Н. П. Огарева.

⁸⁸ Жихарев неверно датирует время работы Чаадаева над «Философическими письмами» (см. выше, комм. 78).

⁸⁹ Цикл своих писем Чаадаев считал «книгой», полное название которой «Философические письма, адресованные даме». Екатерина Дмитриевна *Панова* познакомилась с Чаадаевым в 1827 г., состояла с ним в переписке. В конце 1836 г. Е. Д. Панова «по просьбе мужа» была подвергнута медицинскому освидетельствованию и помещена в сумасшедший дом.

⁹⁰ *Филипп Филиппович Вигель* (1786—1856) — чиновник Министерства внутренних дел, литератор, мемуарист, в молодости член «Арзамаса». Появление «Философического письма» в «Телескопе» вызвало донос Вигеля петербургскому митрополиту Серафиму, в котором оно называлось «богомерзкой статьей», «хулой на отечество и веру». В 1864—1865 гг. в журнале «Русский вестник» печатались воспоминания Вигеля, пристрастные и нередко недоброжелательные. *С. В. П.* — графиня Софья Владимировна Панина (1774—1844).

⁹¹ Работа М. И. Жихарева о славянофильстве и западничестве, о борьбе «пустого с порожним», неизвестна. Интерпретируя славянофильские взгляды, Жихарев прямо смешивает с ними идеи «официальной народности» и вместе с тем смягчает оппозиционность славянофилов николаевскому правительству, умалчивает об их критическом отношении к крепостному праву.

⁹² Первые восемь томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина вышли в свет в 1816—1817 гг., девятый том — в 1821 г., десятый и одиннадцатый — в 1824, двенадцатый том был издан после смерти Карамзина, в 1829 г.

⁹³ *Марк Порций Катон Старший* (234—149 гг. до н. э.) — политический деятель Древнего Рима. По преданию, каждое публичное выступление Катона завершалось фразой: «Карфаген должен быть разрушен».

⁹⁴ *Алексей Степанович Хомяков* (1804—1860) — поэт, драматург, общественный деятель, признанный глава славянофильского кружка. Постоянный оппонент Чаадаева, Хомяков славился в московских салонах остроумием, умением полемизировать.

⁹⁵ Славянофильское учение действительно было противоречиво, но Жихарев глубоко ошибается, полагая, что славянофилы были «совершенно довольны» общими принципами петербургского правительства. В славянофильском кружке внутренняя и внешняя политика Николая I понималась как проявление «немецкого абсолютизма», чуждого интересам России и русского народа.

⁹⁶ Раннее славянофильство, о котором пишет Жихарев и которое было известно Чаадаеву, было лишено панславистских идей. Жихарев повторяет обычную ошибку оппонентов славянофилов — западников, которые смешивали сочувствие Хомякова, К. Аксакова, П. Киреевского и их единомышленников к судьбе южных славян с политическим панславизмом, например, М. П. Погодина.

⁹⁷ *Луи Блан* (1811—1882) — французский социалист-утопист, историк; в 1847—1862 гг. издал двенадцать томов «Истории французской революции».

⁹⁸ *Жан-Жак Руссо* (1712—1778) — французский философ, писатель. Славу оригинального мыслителя принес ему первый его трактат, написанный на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» (1750), в котором он

выступил с критикой идей энциклопедистов, веривших в безграничные возможности разума. Руссо полагал, что движение человечества от дикости к цивилизации не является благом, отстаивал идеал «естественного» человека.

⁹⁹ Астольф де Кюстин (1790—1857) — маркиз, французский писатель и путешественник. В 1839 г. посетил Россию. Впечатления от поездки изложил в книге «Россия в 1839 году», которая вышла в Париже в 1843 г. Суровая оценка николаевского деспотизма сочеталась у Кюстина с извильными отзывами о русских, их нравах и общественной жизни.

¹⁰⁰ Дмитрий Владимирович Голицын (1771—1844) — боевой генерал 1812 г., с 1820 г. — московский генерал-губернатор. Имел репутацию просвещенного администратора.

¹⁰¹ Назначенный в 1835 г. попечителем Московского учебного округа, гр. С. Г. Строганов одновременно был председателем московского цензурного комитета. В письме к Строганову Чаадаев обращал внимание главы московской цензуры на то, что его взгляды по сравнению со временем составления «Философического письма» изменились и «преследуемая статья» есть «только выражение горького чувства, давно истощенного» (Чаадаев П. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 194—196).

¹⁰² Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844) — генерал, в 1819—1821 гг. — начальник штаба гвардейского корпуса. В 1826—1844 гг. — шеф жандармов, начальник III Отделения. Лично близок Николаю I.

¹⁰³ До настоящего времени справедлив вывод Д. И. Шаховского, сделанный в 1935 г.: «Литературное наследство Чаадаева до сих пор не приведено в известность во всем своем объеме» (Литературное наследство. Т. 22—24. С. 6).

¹⁰⁴ Люк де Военарг (1715—1747) — французский писатель-моралист; Франсуа де Ларошфуко (1613—1680) — французский политический деятель и знаменитый писатель-моралист, автор «Максим»; Блез Паскаль (1623—1662) — французский философ, математик, писатель. Названные авторы, как и Наполеон, склонны были к краткому, афористичному изложению своих мыслей.

¹⁰⁵ Бартольд Георг Нибур (1776—1831) — немецкий историк античности, заложил основы критического метода в изучении истории. Книга Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) проникнута идеей воспитания «естественного» человека, свободного от общественных условностей.

¹⁰⁶ Жихарев неточно цитирует «Современную песню» Д. В. Давыдова, которая отражала взгляд части русского общества на Чаадаева. Сергей Алексеевич Неелов (1779—1852) — автор экспромтов и эпиграмм.

¹⁰⁷ Политические сочинения Ф. И. Тютчева 1840—1850-х годов («Россия и революция», «Римский вопрос и папство») проникнуты идеями панславизма, величия императорской России и противоположны взглядам Чаадаева.

¹⁰⁸ Имеются в виду Филипп Филиппович Вигель (см. комм. 88) и князь Петр Владимирович Долгоруков (1816—1868) — публицист, историк, генеалог. Злой на язык, Долгоруков приобрел известность памфлетными описаниями русской аристократии. В 1859 г. эмигрировал.

¹⁰⁹ Слава писателя пришла к Шатобриану на рубеже XVIII—XIX вв. В 1830—1840-е годы он был общепризнанным литературным авторитетом, хотя давно отошел от художественного творчества. Сравнение Чаадаева с Шатобрианом выглядит искусственным.

¹¹⁰ Август Гакстгаузен (1792—1866) — немецкий экономист консервативного направления, автор трехтомного исследования сельского хозяйства в России (1847—1852). Наблюдения Гакстгаузена над крестьянской поземельной общиной имели влияние на русскую общественную мысль.

Поль де Жюльвекур — французский писатель и журналист.

Николай Иванович Сазонов — публицист, политический эмигрант (см. комм. 35 к «Воспоминанию студентства» К. А. Аксакова).

Жюль Мишле (1798—1874) — французский историк, исследователь Великой Французской революции.

¹¹¹ Письмо к М. Ф. Орлову было написано Чаадаевым после 1836 г. Обращаясь к Орлову («сохраним нашу прославленную дружбу»), Чаадаев писал: «Вы по несчастью верите в смерть; для вас небо неизвестно где, где-то там за гробом; вы из тех, которые еще верят, что жизнь не есть нечто целое, что она разбита на две части и что между этими частями — бездна. Вы забываете, что вот уже скоро восемнадцать с

половиной веков, как эта бездна заполнена» (Ч а а д а е в П. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 214; перевод с французского).

¹¹² В конце 1844 г. близкий к славянофильскому кружку поэт Н. М. Языков написал три стихотворных памфлета: «К не нашим», «К. С. Аксакову», «К Чаадаеву», которые резко ухудшили отношения между западниками и славянофилами, едва не привели к дуэли Грановского и Петра Киреевского. Герцен запальчиво называл стихи Языкова «доносом».

¹¹³ Послание «К не нашим» Жихарев приводит с небольшими разночтениями по сравнению с общепринятым текстом. Слова «жалко ли старик» принято относить к Чаадаеву.

¹¹⁴ Послание «К. С. Аксакову» известно только по тексту воспоминаний Жихарева.

¹¹⁵ Жихарев приводит с разночтениями по сравнению с общепринятым текстом эпиграмму Н. Ф. Павлова «К портрету», которую принято относить к Ф. Ф. Вигелю. Николай Филиппович Павлов (1803—1864) — писатель, поэт, журналист; играл заметную роль в московской культурной жизни 1830—1850-х годов.

¹¹⁶ Стихотворение К. С. Аксакова «К союзникам» было прямым ответом Н. М. Языкову. По поводу этого стихотворения Герцен писал К. Аксакову: «...ей-богу, так одолжили, что кланяюсь в пояс» (Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т. Т. 22. С. 209—210).

...Мы отказали Маржерету... — Имеется в виду Жак Маржерет (около 1550 или 1560 — не ранее 1618) — француз, военный наемник, авантюрист. Автор интересных записок о России, куда приехал в 1600 г. при Борнсе Годунове. Возглавлял личную охрану Лжедмитрия I. После его гибели покинул Россию и жил во Франции, где издал в 1607 г. свои записки. Позднее вернулся в Россию, служил Лжедмитрию II, затем под началом польского гетмана Жолкевского. В марте 1611 г. участвовал в подавлении восстания населения Москвы против интервентов. В 1612 г. окончательно оставил Россию.

¹¹⁷ В большинстве списков послание датировано: «25 декабря 1844 г.». Текст, приводимый Жихаревым, имеет ряд разночтений по сравнению с общепринятым.

¹¹⁸ Свое намерение М. И. Жихарев не исполнил.

¹¹⁹ Стихотворение К. К. Павловой «Н. М. Языкову» было ответом на его послание «К. К. Павловой». Датировано 1846 г. Каролина Карловна Павлова (урожд. Яниш) (1807—1893) — поэтесса; хозяйка литературного салона. Жена Н. Ф. Павлова.

¹²⁰ Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790—1863) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г.; вместе с М. Ф. Орловым был основателем Ордена русских рыцарей. В 1817 г. неизлечимо заболел психическим расстройством.

¹²¹ Речь идет о кн. П. В. Долгорукове (см. комм. 108). Эмигрировав из России, Долгоруков издал на французском языке книгу «Правда о России», которая вызвала процесс о диффамации, начатый кн. С. М. Воронцовым в Париже в 1862 г. Смысл происшедшего будет понятен, если вспомнить, что в конце 1840-х — начале 1850-х годов в московском обществе усиленно распространялись слухи о безумии Чаадаева.

¹²² Книга «О развитии революционных идей в России» была написана Герценом во второй половине 1850 г. на французском языке. В 1851 г. вышли в свет немецкое и французское издания. В июле 1851 г. Чаадаев написал Герцену письмо, где поблагодарил «за известные строки» (Ч а а д а е в П. Я. Указ. соч. Т. 1. С. 299—300).

¹²³ В 1856 г. А. Ф. Орлов возглавлял русскую делегацию на переговорах в Париже, которые подвели итоги Крымской войны. Н. И. Тургенев до амнистии жил в Париже. Он только в 1857 г. смог приехать в Россию и был восстановлен в правах. Умер в 1871 г. в Париже.

¹²⁴ Александр Сергеевич Цуриков — один из русских шеллингианцев; с 1830-х годов близок к Чаадаеву.

¹²⁵ М. Н. З. — Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) — писатель, драматург; с 1831 по 1842 г. — директор московских театров. Жихарев здесь имеет в виду комедию Загоскина «Недовольные», где содержались выпады против Чаадаева.

П. Я. Чаадаев

ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА, АДРЕСОВАННЫЕ ДАМЕ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Первое «Философическое письмо — наиболее известное из цикла восьми чаадаевских писем, работа над которыми была завершена к 1831 г. Все письма были написаны по-французски; их адресат — Екатерина Дмитриевна Панова, чье послание к Чаадаеву послужило внешним поводом к созданию «Философических писем». При жизни Чаадаева был напечатан лишь русский перевод первого философического письма под заглавием «Философические письма к г-же**». Письмо 1» (Телескоп. 1836. № 15). Согласно давней традиции переводчиком первого философического письма принято было считать Н. Х. Кетчера. В последнее время высказано весьма вероятное предположение, что перевод был сделан Ал. С. Норовым.

На русском языке «Философические письма» были изданы М. О. Гершензоном (впервые в 1906 г., письма первое, шестое и седьмое) и Д. И. Шаховским (1935 г., письма второе, третье, четвертое, пятое и восьмое). В полном составе и подлинной последовательности чаадаевский цикл впервые был опубликован на русском языке в 1987 г. Б. Н. Тарасовым.

В настоящем издании первое философическое письмо печатается в переводе М. О. Гершензона по тексту книги: Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1914. Т. 2.

К. Д. Кавелин

АВДОТЬЯ ПЕТРОВНА ЕЛАГИНА*

Константин Дмитриевич Кавелин известен как юрист, историк, оригинальный мыслитель, один из создателей юридической или «государственной» школы в русской исторической науке, и в меньшей степени — как представитель блестящей плеяды «людей 40-х годов» XIX в., педагог, общественный деятель. Будучи внимательным наблюдателем и обладая пером талантливого публициста, он оставил интереснейшие заметки о различных сторонах современной ему действительности, характеристики эпохи и людей. Именно к таким сочинениям относится некролог-мемуар, посвященный Авдотье Петровне Елагиной, а в сущности, 30-м годам минувшего столетия.

К. Д. Кавелин родился 4 ноября 1818 г. Его отец, Дмитрий Александрович, принадлежал к старинной, но незнатной дворянской фамилии; мать, Шарлотта Ивановна, была дочерью рано умершего придворного архитектора Джона Белли, шотландца по происхождению. Детство К. Д. Кавелина прошло в Петербурге, отрочество и юность — в Рязани и Москве. Систематического домашнего образования он не получил, ибо обучавшие его гувернеры были людьми малокультурными. Только в 1834 г., когда Константину Дмитриевичу исполнилось 16 лет — возраст, в котором дворянских детей отдавали в университет, — родители пригласили новых репетиторов-учителей, в их числе В. Г. Белинского, оказавшего большое влияние на развитие своего ученика. К. Д. Кавелин признавался впоследствии, что «...он благоотворно действовал на меня возбуждением умственной деятельности, умственных интересов, уважения и любви к знанию и нравственным принципам».

В 1834 г. К. Д. Кавелин поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но через несколько месяцев, увлекшись лекциями недавно вернувшихся из Германии профессоров П. Г. Редкина и Н. И. Крылова, перевелся на юридический.

Студенчество К. Д. Кавелина пришлось на 1830-е годы, когда в Москве широкую популярность приобрели литературно-философские кружки и салоны, среди них и салон Авдотьи Петровны Елагиной, куда молодой К. Д. Кавелин был введен ее сыновьями, своими товарищами по университету — Петром Киреевским, Василием и Николаем Елагиными. В это же время К. Д. Кавелин познакомился и сблизился с видными впоследствии представителями славянофильства А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным, К. С. Аксаковым, приобщился к идейным спорам эпохи.

В 1839 г. К. Д. Кавелин окончил факультет первым кандидатом с золотой медалью, что давало ему право начать службу в одном из министерств по собственному выбору.

* Комментарии составлены С. Л. Черновым.

Однако административная карьера не влекла его, и до середины 1842 г. он оставался в Москве, посвятив себя научной работе. Сдав в 1840 г. экзамен на степень магистра гражданского права, К. Д. Кавелин приступил к написанию магистерской диссертации. Одновременно он продолжает активно участвовать в жизни московских кружков: по-прежнему оставаясь близким человеком в доме А. П. Елагинной, он сделался желанным гостем в салонах А. С. Хомякова, П. Я. Чаадаева, подружился с Т. Н. Грановским.

В 1842 г. по настоянию матери, отличавшейся тяжелым характером, К. Д. Кавелин уехал в Петербург и поступил на службу в Министерство юстиции. Здесь он возобновил отношения с В. Г. Белинским, занимавшим тогда видное место в редакции «Отечественных записок», а через него сблизился с группой молодых литераторов-западников, составлявших «натуральную школу» в русской литературе: И. И. Панаевым, Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым и др. Позднее К. Д. Кавелин отмечал важную роль этого кружка в своем умственном и нравственном развитии.

В начале 1844 г., вернувшись в Москву, К. Д. Кавелин успешно защитил магистерскую диссертацию и получил должность адъюнкта по кафедре истории русского права. В следующем году он познакомился с А. И. Герценом и под влиянием его таланта и разделяемых им идей французского утопического социализма окончательно определил свое место в идейной борьбе тех лет, заняв позиции в лагере западников, сторонников европеизации России. В то же время сформировалась и его концепция русского исторического развития.

В 1845 г. К. Д. Кавелин женился на Антонине Федоровне Корш, сестре известных литераторов-западников Евгения и Валентина Корш, от которой имел двух детей — дочь и сына.

Преподавательская деятельность К. Д. Кавелина в Московском университете продолжалась недолго. В 1848 г. вследствие так называемой «профессорской истории» он вместе с П. Г. Редкиным, А. И. Чивилевым и другими подал в отставку, не пожелав мириться с гонимыми и произволом, захлестнувшими русское общество после революции 1848 г. в Европе и затронувшими университетскую систему образования.

В том же году, навсегда покинув Москву, К. Д. Кавелин пересел в Петербург и последующие десять лет — с 1848 по 1857 г. — служил в разных ведомствах: городском отделе хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, воспитательном отделе штаба главного начальника военно-учебных заведений, в канцелярии Комитета министров. В это время он сблизился со многими видными общественными, а впоследствии государственными деятелями, крупными фигурами эпохи буржуазных реформ 1860—1870-х годов, — братьями Н. А. и Д. А. Милютинными, К. К. Гротом, А. П. Заблочким-Десятковским, В. А. Арцимовичем и др. В конце 1840-х годов он становится членом Русского Географического, в начале 1850-х — непременным секретарем Вольного Экономического обществ. Именно тогда К. Д. Кавелин начал активно интересоваться проблемой освобождения крестьян и посвящать этому вопросу ряд статей, среди которых центральное место, бесспорно, принадлежит «Записке об освобождении крестьян в России» (1855).

В 1857 г. вел. князь Константин Николаевич привлек его к работе Секретного комитета по крестьянским делам, а совет Петербургского университета избрал профессором права. В последующие годы К. Д. Кавелин сблизился с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролюбовым, М. Н. Катковым, молодыми петербургскими профессорами, выступал против господствовавшей в университете рутины. В 1857—1858 гг. он преподавал русскую историю и право цесаревичу Николаю Александровичу.

1861 год оказался переломным (как ранее 1848 г.) и трагическим в судьбе Константина Дмитриевича: в феврале умирает его 14-летний сын, затем следует разрыв с «Современником», наконец, выход (вместе с профессорами М. М. Стасюлевицем, А. Н. Пылиным, В. Д. Спасовичем, Б. Н. Утиным) в отставку в знак несогласия с политикой министра народного просвещения Е. В. Путянина.

В 1862 г. новый министр просвещения А. В. Голловин, стремясь учесть опыт Западной Европы в деле организации системы высшего образования при подготовке нового университетского устава в России, командировал К. Д. Кавелина во Францию, Бельгию, Голландию, Германию, Швейцарию. К. Д. Кавелин пробыв за границей до конца 1864 г., однако собранный и обработанный им богатейший материал практического применения не получил: новый устав был опубликован в мае 1863 г., еще до его возвращения.

В начале 1860-х годов окончательно оформились умеренно-либеральные взгляды К. Д. Кавелина. Не разделяя крайних политических воззрений, получивших распро-

странение среди молодого поколения, разойдясь со многими из своих старых друзей, например А. И. Герценом, он в то же время не принял и всех действий правительства и оказался в определенной оппозиции к нему. Однако степень этой оппозиции не следует преувеличивать; в главном — отношении к самодержавию и революции — он всегда был солидарен с правящим сословием. В этом отношении К. Д. Кавелин являлся типичным представителем российского либерализма.

С 1863 г. и до конца жизни К. Д. Кавелин работал юрисконсультантом в Министерстве финансов; одновременно сотрудничал в периодических изданиях: «Санкт-Петербургских ведомостях» (до 1875 г.) и «Северном вестнике» (1877—1878) В. Ф. Корша, «Вестнике Европы» (1866—1885) и «Порядке» (1881) М. М. Стасюлевича, «Неделе» (1875—1877) П. В. Гайдебурова, «Новостях» (1882—1884) О. К. Нотовича. Напечатанные им статьи касались в основном крестьянского вопроса, психологии, этики, русской истории. В 1877 г. К. Д. Кавелин был избран профессором по кафедре гражданского права Военно-юридической академии, где преподавал до самой смерти. В том же году его постигла новая большая утрата — скоростипажная смерть 25-летней дочери. В 1879 г. он похоронил жену.

В 1880-х годах ученые заслуги К. Д. Кавелина были оценены двумя университетами — Киевским и Казанским, и тремя юридическими обществами — Московским, Петербургским и Одесским, избравшими его в свои почетные члены. В 1882—1884 гг. он являлся председателем Вольного экономического общества.

Скончался Константин Дмитриевич 3 мая 1885 г. в Петербурге. Похоронен на Волковом кладбище, в пантеоне русских ученых и литераторов.

Некролог-воспоминание о А. П. Елагиной впервые был напечатан в «Северном вестнике» за 1877 г., № 68—69. В настоящем томе публикуется по изданию: К а в е л и н К. Д. Собр. соч. В 3-х т. Спб., 1899. Т. 3. Столбцы 1115—1132.

¹ *Варвара Афанасьевна Юшкова* (1768—1797) была известна как образованная и культурная женщина с большим музыкальным дарованием; хорошо рисовала. По просьбе тульского общественного театра помогла выбрать репертуар, руководила репетициями; осуществила постановку «Цинны» Корнеля, «Британика» Расина, «Магомета» Вольтера. Дом Юшковых являлся своеобразным музыкально-литературным центром Тулы, где собиралась просвещенная городская и уездная публика. «В ней было много поэтического, — писал о ней ее сводный брат, знаменитый русский поэт В. А. Жуковский. — Все, выходящее из низшего порядка жизни, ее интересовало. В ней теялилось много неразвитых талантов».

Петр Николаевич Юшков (?—1805) — полковник, тульский помещик, в начале 1790-х годов советник тульской казенной палаты, депутат уездного дворянского собрания от Белевского у. (1793—1795). Принадлежал к образованным кругам дворянства: знал языки, интересовался русской историей и философией, играл на фортепиано, имел хорошо подобранную библиотеку. В его московском доме (в одном из переулков возле Пречистенки) бывали известные деятели русской культуры Н. И. Новиков, М. М. Херасков, И. П. Тургенев.

² Имеется в виду Иван Иванович Юшков (?—1781) — тайный советник, видный администратор второй половины XVIII в.; с 1753 г. — главный судья судного приказа; с 1760 г. — президент камер-коллегии; с 1762 г. — генерал-полицеймейстер Петербурга; до 1773 г. — московский гражданский губернатор. Согласно родословным книгам, был женат на Анастасии Петровне Головиной (?—1808), а не графине Головкиной, как сообщает К. Д. Кавелин.

...во время чумы. — Имеется в виду эпидемия чумы 1771 г., унесшая только в городе до 60 тыс. жизней (а с губернией — около 200 000) и послужившая одной из причин так называемого «чумного бунта».

³ Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) был внебрачным сыном Афанасия Ивановича Бунина (?—1791), отца В. А. Юшкова. Воспитывался в доме вместе с законнорожденными детьми А. И. Бунина. А. П. Елагина приходился ему племянницей. Сохранилась обширная переписка В. А. Жуковского с А. П. Елагиной.

⁴ *Феофилакт Гаврилович Покровский* (а не Филат, как у Кавелина) (1763 — ок. 1848) — писатель, автор ряда философских работ, опубликованных под псевдонимом «философ горы Алаунской» и пользовавшихся некоторым успехом. В 1786—1817 гг. преподавал в Тульском главном народном училище. Автор подробного географич-

ческого обзора Тульской губернии (1795), отправленного в Вольное экономическое общество.

«Политический журнал, с показанием ученых и других вещей» издавался с 1780 г. в Гамбурге, с 1790 г. — на русском языке в Москве при университете. Неоднократно менял название. В 1795—1807 гг. выходил под заголовком «Политический журнал». Печатал преимущественно материалы иностранной прессы. Был прекращен в 1830 г. Издатели — П. А. Сохацкий, М. Г. Гаврилов (профессора университета), М. М. Невзоров (публицист, поэт), А. М. Гаврилов (адъюнкт университета).

⁵ *Анна Петровна Зонтаг* (1786—1864) — известная детская писательница, автор многих книг. Главные произведения: «Повести и сказки для детей» (1832); «Священная История для детей» (1837), выдержавшая 9 изданий; «Три комедии для детей» (1842); «Подарок детям» (1861); «Сочельник» (1864). Оставила воспоминания о В. А. Жуковском. Зонтаг — фамилия мужа, американца по происхождению, служившего начальником карантинной службы одесского порта.

⁶ Коронация императора Александра I состоялась 15 сентября 1801 г.

⁷ *Василий Иванович Киреевский* (?—1812) принадлежал к старинному дворянскому роду. Служил ротмистром в Острогском легкоконном полку, в 1795 г. вышел в отставку в чине секунд-майора. Владел пятью языками, много читал, собрал большую библиотеку; преимущественно занимался естественными науками, особенно медициной и химией, но не был чужд и литературным увлечениям — следил за литературными новинками, интересовался историей и философией. В его имени Долбино неоднократно бывал В. А. Жуковский. Согласно семейным преданиям, «был очень странным и даже неряшливым в своей наружности».

⁸ От брака с В. И. Киреевским Авдотья Петровна имела четырех детей: Ивана (1806—1856), Петра (1808—1856), Марию (1811—1859) и Дарью, умершую в младенчестве.

⁹ В сентябре 1812 г. в Орел была доставлена первая партия раненых пленных французских солдат и офицеров численностью 5 тыс. человек. 30 из них были размещены в доме Плещеевых (см. ниже, комм. 13), где с августа жили Киреевские. Василий Иванович много сделал для ухода за больными, истратив на их содержание почти все наличные средства семьи (по семейным преданиям, 40 тыс. руб.). 22 октября он заразился тифом и 1 ноября скончался. Авдотья Петровна перевезла его тело в с. Долбино и там похоронила.

¹⁰ *Екатерина Афанасьевна Протасова*, урожденная Бунина (1770—1848) — родная сестра В. А. Юшковой, матери Авдотьи Петровны, и сводная сестра В. А. Жуковского. Ниже К. Д. Кавелин допускает неточность: Е. А. Протасова, выйдя замуж в 1792 г., овдовела в 1805 г.

¹¹ Екатерина Афанасьевна Протасова до лета 1810 г. жила в Белеве (а не в Орле, как сообщает К. Д. Кавелин). Летом 1810 г. в связи с завершением строительства дома в Муратове переехала на постоянное жительство в эту деревню.

¹² Е. А. Протасова имела двух дочерей: Марию Андреевну (1793—1823), в которую был влюблен В. А. Жуковский, и Александру Андреевну (1795—1829), воспетую им же под именем Светланы в знаменитой поэме. К. Д. Кавелин неточно передает фактическую канву взаимоотношений В. А. Жуковского с Протасовыми. В. А. Жуковский в семье Е. А. Протасовой никогда не жил. В 1811 г. он купил в деревне Холх, расположенной в полуверсте от Муратова, землю, построил там дом и поселился в нем летом того же года. Он часто посещал Муратова, проводил с Протасовыми много времени, но исключительно на правах гостя, а никак не члена их семьи.

¹³ *Александр Алексеевич Плещеев* (1772—1862) принадлежал к старинному дворянскому роду; сын Алексея Александровича и Анастасии Ивановны Плещеевых; входивших в круг московских масонов, друзей Н. М. Карамзина, которым тот адресовал свои «Письма русского путешественника»; отец декабристов Алексея и Александра Плещеевых. Хорошо знал отечественную и зарубежную литературу, писал стихи, сочинял музыку. В своем имении Чернь (Болховского у. Орловской губ.) устраивал театральные представления, маскарады. В 1817 г., по предложению В. А. Жуковского, избран членом «Арзамаса», получил соответственно своей наружности прозвище «Черный Вран». В 1819—1820 гг. служил в петербургской театральной дирекции, затем был чтецом вдовствующей императрицы Марии Федоровны (1759—1828). В 1821 г., по ходатайству А. И. Тургенева, получил чин камергера. В 1824—1845 гг. — на государственной службе. Последние годы жизни провел в имении.

¹⁴ Кавелин имеет в виду Дмитрия Николаевича *Блудова* (см. о нем во вступительной статье) и своего отца — Дмитрия Александровича *Кавелина* (1778—1851); последний, окончив Московский университет вместе с В. А. Жуковским, Д. Н. Блудовым, братьями Тургеневыми, служил впоследствии секретарем правителя Грузии и в Министерстве внутренних дел. В 1816—1818 гг. — директор Главного педагогического института, в 1819—1823 гг. — ректор Петербургского университета. В 1816 г. принят в «Арзамас» под именем «Пустынник». «Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний», — писал Ф. Ф. Вигель. Находился под сильным идейным влиянием Л. Ф. Магницкого и Д. П. Рунича, принимал участие в гонениях на передовую профессуру, особенно во время «профессорского процесса», проведенного в 1821 г. Д. П. Руничем. А. С. Пушкин презрительно назвал его «Кавелин — дурачок, креститель Галича, Магницкого дячок» («Второе послание цензору», 1824). В 1823 г. переведен в Язаны, в 1829 г. — в Москву, где и умер.

¹⁵ Вероятно, Андрей (по другим сведениям — Алексей) Петрович Апухтин, сосед Протасовых и Плещеевых по имениям.

¹⁶ Шарль-Август *Бонами* (?—1830) — французский бригадный генерал; в Бородинском сражении командовал бригадой, входившей в состав дивизии Морана. Его бригада овладела батареей Раевского, но, контратакованная русскими частями под предводительством А. П. Ермолова и А. И. Кутайсова, была почти полностью уничтожена. Во время этого боя Бонами получил несколько штыковых ран и попал в плен. В сентябре 1812 г. среди других раненых французских офицеров привезен в Орел и помещен в доме Плещеевых, превращенном в госпиталь. Здесь он познакомился с А. А. Плещеевым, В. А. Жуковским, Киреевскими, Протасовыми. Когда в конце того же года пришел приказ об отправлении его в числе прочих в Казань, В. А. Жуковский через А. И. Тургенева добился для него разрешения остаться в Орле. Впоследствии вернулся во Францию.

¹⁷ Jeux d'esprit — дословно «игра ума», здесь в значении «замысловатые игры» (шарады, анаграммы и пр.). На вечерах А. А. Плещеева популярностью пользовалась игра под названием «секретарь». Играли в нее так: каждый участник записывал на отдельном листе название двух предметов или явлений; записки складывали в коробку, тщательно перемешивали и тащили по жребию. Нужно было указать сходство и различия между понятиями, написанными на доставшемся игроку листе. Тот, кто придумывал самый остроумный ответ, избирался «королем секретарей» и распоряжался вечером. Игра проходила весело, сопровождалась шутками и смехом. Особенно увлекался ею В. А. Жуковский.

¹⁸ *Александр Федорович Воейков* (1779—1839) — поэт, журналист, автор сатирического памфлета «Дом сумасшедших», член «Арзамаса» под именем «Дымная пещурка», ординарный профессор русского языка и литературы в Дерптском университете (1815—1820). Современники единодушны в его оценке: плохо воспитанный, желчный и раздражительный человек, беспринципный литератор. Свадьба с А. А. Протасовой состоялась 14 июля 1814 г. В январе 1815 г. они вместе с Е. А. и М. А. Протасовыми выехали из Муратова в Дерпт.

¹⁹ Из слов К. Д. Кавелина следует, что Авдотья Петровна в конце 1812 г. переехала в имение Е. А. Протасовой и оставалась там до отъезда Воейковых и Протасовых в Дерпт. Подобное утверждение неверно. Тяжело переживая кончину В. И. Киреевского, Авдотья Петровна конец 1812 г. действительно провела в Муратове, однако накануне нового — 1813 г. — вернулась в Долбино, где в 1813—1814 гг. у своей «милой долбинской сестры» часто бывал и подолгу гостил В. А. Жуковский.

²⁰ Об обстоятельствах жизни *Алексея Андреевича Елагина* (?—1846) известно немного. Представитель аристократического рода, богатый помещик, хлебосол, вполне благонамеренный человек, участник кампаний 1812—1814 гг. и друг декабриста Г. С. Батенькова — таковы отрывочные сведения, донесенные до нас современниками. Сообщая Ю. Ф. Самарину о его смерти, А. С. Хомяков писал: «В этом человеке, по видимому, грубо и неотесанном, много было теплоты чувства и ума». Похоронен в ограде церкви села Петрищева, рядом — могила Г. С. Батенькова.

²¹ К. Д. Кавелин отождествил различные явления общественной жизни России 1820-х годов: философскую школу русского просветительского идеализма, внимание которой именно тогда было сосредоточено на изучении философии духа (философии истории, этики, эстетики); кружок дворянской молодежи в Москве, известный под

именем «Общества любомудров», и литературно-философский кружок, сложившийся вокруг Д. В. Веневитинова. В «Обществе любомудров», существовавшее на протяжении 1824—1825 гг., входили В. Ф. Одоевский (председатель), Д. В. Веневитинов (секретарь), И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, Н. М. Рожалин, П. Д. Черкасский, А. С. Норов. «Любомудры» имели определенную связь с декабристскими организациями, совместно с В. К. Кюхельбекером принимали участие в издании альманаха «Мнемозина», были осведомлены об их политической программе и планах, однако сами не шли дальше умеренного либерализма. Членами кружка Д. В. Веневитинова, любомудрами по духу, идейной направленности и кругу политических и литературно-философских интересов, являлись С. П. Шевырев, М. П. Погодин, В. П. Титов, П. В. Киреевский, Ф. И. Тютчев, Н. В. Пютята. А. С. Пушкин никак не мог примыкать к «обществу любомудров», ибо с 1820 по 1826 г. находился в ссылке (Кишинев, Одесса, Михайловское) и только с сентября 1826 г., по возвращении в Москву, стал посещать собрания кружка Д. В. Веневитинова. П. А. Вяземский и Н. А. Полевой хотя и были знакомы со многими из входивших в эти общества лицами, но сами к ним не принадлежали. Последнего К. Д. Кавелин ошибочно полагает центром названного «замечательного литературного кружка». Скорее всего, он имеет в виду «Московский Телеграф», к изданию которого Н. А. Полевой приступил в 1825 г. и вокруг которого позднее сосредоточились лучшие литературные силы Москвы. В эти же годы Н. А. Полевой становится известен своими работами по эстетике. К кружку Д. В. Веневитинова тяготели М. Н. Лихонин, М. П. Розенберг, М. А. Максимович, К. К. Павлова.

²² К. Д. Кавелин неточен: никакого другого кружка во главе с Д. В. (Владимировичем, а не Ивановичем, как у Кавелина) Веневитиновым, тем более сменившего кружок Н. А. Полевого, в 1826 г. не возникло. После того как «Общество любомудров» в декабре 1825 г. самораспустилось, бывшие его члены фактически влились в уже существовавший литературно-философский кружок Д. В. Веневитинова. Кружок не распался и после смерти Д. В. Веневитинова в марте 1827 г.

²³ К числу «архивных юношей» относились видные представители молодой дворянской интеллигенции: А. В. и Д. В. Веневитиновы, И. В. и П. В. Киреевские, В. П. Титов, Н. А. Мельгунов, В. Ф. Одоевский, А. И. Кошелев, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, С. А. Соболевский, И. С. Мальцов, Н. М. Рожалин и др. Звание «архивного юноши» считалось почетным. Это о них А. С. Пушкин писал в VII главе «Евгения Онегина»:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собой
Неблагоклонно говорят.

Само название — «архивные юноши», по свидетельству А. С. Пушкина, принадлежит не ему, а С. А. Соболевскому.

²⁴ Иван Сергеевич *Мальцов* (Мальцев) (1807—1880) — литератор и дипломат, действительный тайный советник. К. Д. Кавелин неверно указал его инициалы, вероятно, спутав с другим Мальцовым — Сергеем Ивановичем, известным во второй половине XIX в. предпринимателем, приходившимся Ивану Сергеевичу двоюродным братом. Первоначально служил в московском архиве Министерства иностранных дел, сотрудничал в «Московском вестнике», «Северной пчеле». В 1827 г. переведен в Петербург и назначен первым секретарем русской миссии в Тегеране. Впоследствии С. А. Соболевский рассказывал, что именно он посоветовал А. С. Грибоедову взять И. С. Мальцова, «им обим хорошо известного за умного, ловкого, веселого и практического человека». Случайно уцелел во время разгрома миссии в 1829 г., оказался единственным свидетелем гибели А. С. Грибоедова. С 1830 г. служил в Министерстве иностранных дел, в 1843 г. возведен в должность непререкаемого члена совета министерства, в 1855, 1857 и 1864 гг. временно управлял министерством. Умер в Ницце.

Николай Александрович *Мельгунов* (1804—1867) — публицист, критик, один из ярких представителей российского либерализма. В начале 1840-х сотрудничал с «Москвитянином» М. П. Погодина и С. П. Шевырева, затем сблизился с «Отечественными записками» и «Современником». В 1850-х годах — деятельный корреспондент А. И. Герцена.

Сергей Александрович *Соболевский* (1803—1870) — известный библиограф и библиофил, друг А. С. Пушкина, А. Мицкевича, В. Ф. Одоевского. В конце 1830-х

годов вместе с И. С. Мальцовым основал бумагопрядильную фабрику (Сампсониевскую мануфактуру) в Петербурге. С 1852 г. жил в Москве. Оставил большое литературное наследство.

Евгений Абрамович *Баратынский* (1800—1844) — знаменитый русский поэт.

Дмитрий Николаевич *Свербеев* (1799—1876) в 1813 г. посещал пансион профессора А. Ф. Мерзлякова, позже слушал лекции в Московском университете. Одно время находился на государственной службе (был правителем комиссии печатания государственных грамот и договоров при московском главном архиве Министерства иностранных дел), но после женитьбы в 1827 г. на княжне Екатерине Александровне Щербатовой (1808—1892) вышел в отставку. Его дом являлся одним из центров культуры и общественной жизни Москвы 1840-х годов. Приходился свойственником Елагиным и Киреевским, троюродным братом Н. М. Языкову и дядей Д. А. Валугеву. Оставил «Записки», которые были изданы в 1899 г.

²⁵ П. В. Киреевский выехал в Германию, в Мюнхен, для завершения образования, в июле 1829 г. И. В. Киреевский в январе 1830 г. отправился в Берлин, потом в Дрезден и Мюнхен, где встретился с братом. Осенью того же года, встревоженный известиями о холере в России и беспокоясь за родных, вернулся в Москву.

²⁶ Александр Иванович *Тургенев* (1784—1845) — общественный деятель, публицист, брат декабриста Н. И. Тургенева, друг Н. М. Карамзина, П. А. Вяземского, А. С. Пушкина, член «Арзамаса» под именем «Эолова арфа». Представитель умеренного либерализма. В 1810—1824 гг. — директор департамента духовных дел Министерства духовных дел и народного просвещения.

²⁷ Речь идет о роде Лопухиных, к которому принадлежала Евдокия Федоровна, первая жена Петра I. Воспоминания, сохранившиеся в семейных преданиях рода, относятся, по-видимому, к ее трагической судьбе. Согласно родословным книгам, свойство А. П. Елагиной с Лопухиной прослеживается по линии Юшковых и Головиных.

²⁸ *Дмитрий Александрович Валугев* (1820—1845) — историк, общественный деятель, представитель раннего славянофильства, издатель «Библиотеки для воспитания» (1843—1844), двух сборников материалов по русской истории. Племянник А. С. Хомякова и Д. Н. Свербеева, двоюродный брат Н. М. Языкова. Скончался от чахотки.

Александр Николаевич *Попов* (1820—1877) — русский историк. Написал ряд работ по истории русской внешней политики и Отечественной войны 1812 г. Во второй половине 1830-х годов был близок славянофильскому кружку.

Михаил Александрович *Стахович* (1819—1858) — русский писатель, переводчик, фольклорист. По убеждениям принадлежал к так называемой «молодой редакции» «Москвитянина». Трагически погиб.

...*трое Бакуниных, братья эмигранта...* — К. Д. Кавелин имеет в виду Павла (1820—1900), Александра (1821—1908) и Алексея (1824—1889) Александровичей Бакуниных, братьев Михаила Александровича Бакунина (1814—1876), известного русского революционера, одного из идеологов анархизма и народничества. Во второй половине 1830-х — начале 1840-х годов они учились в Московском университете; Павел примыкал к кружку Станкевича.

Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов — старший сын масона и основателя Петербургского общества поощрения художеств А. И. Дмитриева-Мамонова. По словам А. С. Хомякова, «художник и мыслитель замечательный, но, к сожалению, почти ничего не произведший». Вместе с Н. А. и Ан. А. Елагинными учился в Московском университете, близкий друг семьи, особенно В. А. и Е. И. Елагинных. Сохранился ряд его эскизов, рисунков и портретов, преимущественно посетителей салона Авдотьи Петровны. Некоторые его работы находятся в семейном архиве Елагинных. Впоследствии долго жил за границей.

²⁹ Известный литературный салон Д. Н. и Е. А. Свербеевых в Москве посещался как славянофилами — А. С. Хомяковым, Д. А. Валугевым, Н. М. Языковым, И. В. Киреевским и другими, так и их противниками — Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным, П. Я. Чаадаевым, А. И. Тургеневым, А. И. Герценом и др. По словам А. И. Герцена, «сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матушек кого отделяет и как отделяют его самого...» Е. А. Свербеева состояла в переписке с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, хорошо знала А. С. Пушкина. Свидетельством того значения, которое придавали салону Свербеевых современники, является шуточное прозвище, данное А. И. Тургеневым хозяйке салона — Рекамье-Свербеева.

³⁰ В Архангельском (получившем название по церкви), владельцем которого с

1810 г. стал князь Н. Б. Юсупов (1750—1831), его усилиями был создан великолепный дворцово-парковый ансамбль и собраны исключительные по своей художественной ценности коллекции картин, мрамора, фарфора, хрустали, драгоценной мебели, произведений прикладного искусства.

³¹ Людвиг Иоганн *Тик* (1773—1853) — немецкий писатель и переводчик. Наиболее известны его философские романы «Вильям Ловель» (1796) и «Странствование Франца Штернбальда» (1798).

³² От брака с А. А. Елагиным Авдотья Петровна имела семерых детей: Василия (1818—1879), Николая (1822—1876), Андрея (1823—1844), Елизавету (1825—1848), а также Елизавету, Рафаила и Гавриила, умерших в младенчестве.

Василий Алексеевич — историк. «Это был человек обширных сведений, дарований, и мысли всегда самобытной», — писал о нем А. С. Хомяков. Он был «отличный знаток средневековой истории». Его перу принадлежит небольшая, но серьезный труд «Об Истории Чехии Франца Палацкога». Николай Алексеевич — писатель и земский деятель. Служил в Министерстве иностранных дел. Являлся членом тульского губернского комитета по составлению проекта Положения о крестьянах от Белевского у. Позже — мировой посредник (вместе с К. Д. Кавелиным) первого созыва в том же уезде. Написал «Материалы для биографии И. В. Киреевского», опубликованные как вступительная статья к собраниям сочинений И. В. Киреевского в изданиях 1860 и 1911 гг.

³³ Знакомство Н. В. Гоголя с А. П. Елагиной относится к началу 1840 г., но никак не к 1838 г., так как с июня 1836 по сентябрь 1839 г. Н. В. Гоголь находился за границей.

³⁴ Юрий Федорович *Самарин* (1819—1876) — русский общественный деятель, историк и публицист, «неисправимый славянофил», как он сам себя называл.

Николай Михайлович *Сатин* (1814—1873) — русский поэт и переводчик; оставил значительное поэтическое наследие, но больше известен переводами Байрона («Буря») и Шекспира («Сон в летнюю ночь»). Участник студенческого кружка А. И. Герцена.

³⁵ Свадьба В. А. Жуковского с Е. А. Рейтерн (1821—1856), дочерью немецкого художника Г. Рейтерна, состоялась 21 марта 1841 г.

³⁶ *Екатерина Ивановна Мойер* (1820—1890) — дочь Марии Андреевны и Ивана Филипповича Мойер.

³⁷ *Екатерина Александровна Воейкова* (1815—1844) — дочь Александры Андреевны и Александра Федоровича Воейковых, крестница В. А. Жуковского; скоропостижно скончалась 28 января в Москве.

³⁸ ...с новым царствованием. — В 1855 г. скончался Николай I и на престол вступил Александр II. К. Д. Кавелин имеет в виду Крымскую войну 1853—1856 гг. и следовавшие за нею буржуазные реформы 1860—1870-х годов.

³⁹ И. В. Киреевский умер 11 июня 1856 г.

⁴⁰ Село Уткино (Белевского у. Тамбовской губ.) — имение Елагиных.

⁴¹ К. Д. Кавелин имеет в виду два тома сочинений Т. Н. Грановского, опубликованных усилиями С. М. Соловьева и П. И. Кудрявцева в 1856 г. и переизданных в 1866 г., а также книгу «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография» (М., 1857), подготовленную П. В. Анненковым.

⁴² В XVIII в. основной формой вознаграждения труда переводчиков и литераторов была оплата книгами как собственного сочинения, так и иных авторов. Именно в такой форме получали гонорар В. К. Тредиаковский, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин и многие другие российские писатели. Традиция платить за книги книгами же распространилась и на начало XIX в.

⁴³ Жан-Пьер Кларе де *Флориан* (1755—1794) — французский писатель, поэт, член академии. Известен переводами Сервантеса, по которым в первой половине XIX в. Европа знакомилась с творчеством великого испанца. Первые переводы «*Дон Кихота*» на русский язык относятся ко второй половине XVIII в. (1769, 1791). В начале XIX в. издал свой перевод «с французского Флорианова перевода» В. А. Жуковский (М., 1804—1806. Т. 1—6). Утверждение К. Д. Кавелина, что этот перевод был осуществлен Авдотьей Петровной по заказу В. А. Жуковского, представляется ошибочным.

⁴⁴ Личность *Фейт-Вебера* установить не удалось. Предположительно — немецкий писатель Карл Юлий Вебер (1767—1832), перу которого принадлежат «*Die Möncherei oder geschichtliche Darstellung der Klosterwelt und ihres Geistes*» («Монашество, или Историческое изображение монастырской жизни и ее духа», 1818—1820) и «*Das Ritterwesen*» («Рыцарство», 1822—1824). Обе работы представляют собою не столько

исторические труды, сколько расположенные в хронологической последовательности подготовительные материалы для написания истории монашества и рыцарства. При этом автору свойственно романтическое отношение к средневековой литературе, церкви, образу жизни и морали рыцарства и т. д. Возможно, А. П. Елагина обращалась именно к этим книгам. Достоверно же можно утверждать лишь то, что в № 1 «Европейца» за январь 1832 г. опубликована романтическая рыцарская повесть «Чернец», перевод с немецкого, причем автор и переводчик неизвестны.

⁴⁵ Генрих *Стеффенс* (1773—1845) — философ, естествоиспытатель и беллетрист; уроженец Норвегии, живший преимущественно в Германии. Главное сочинение — «Антропология» (1824). В 1—3 книгах за 1845 г. ежемесячного журнала «Москвитянин», выходившего в 1841—1856 гг. под редакцией М. П. Погодина, действительно опубликованы отрывки из автобиографии Стеффенса «Was ich erlebte» («Что я пережил», 1840—1844), однако имя переводчика не указано. Во вступительной статье, написанной, видимо, И. В. Киреевским, сочинение получило высокую оценку и охарактеризовано как «окно во внутреннее развитие философа».

⁴⁶ Петр Григорьевич *Редкин* (1808—1891) — известный юрист, общественный деятель, профессор Московского (1835—1848) и Петербургского (1863—1878) университетов, ректор Петербургского университета (1873—1876). В 1840-х годах играл видную роль в среде западников. В 1847—1849 гг. издавал в Москве ежемесячный журнал «Новая библиотека для воспитания». Всего вышло 10 книг: 9 — в 1847 г. и 10-я — в 1849 г. К. Д. Кавелин ошибся в названии журнала: «Библиотека для воспитания» издавалась Д. А. Валуевым в 1843—1844 гг. при участии П. Г. Редкина. В «Новой библиотеке...» отсутствуют материалы за подписью А. П. Елагиной, а также статья, непосредственно посвященная Троянской войне. В то же время в ней содержится публикация, представляющая собой литературный пересказ «Одиссеи» Гомера — «Странствования Одиссея» (кн. 2—4). Возможно, К. Д. Кавелин имел в виду именно эту публикацию. Подписана она инициалами В. К., но, являлись ли они псевдонимом Авдотьи Петровны, установить не удалось. Теми же инициалами подписана еще одна публикация — «Геродот и его повествования», помещенная в кн. 6, 7, 10.

⁴⁷ Жан-Поль (Иоганн Пауль Фридрих) Рихтер (1763—1825) — немецкий писатель, автор многочисленных романов, пользовавшихся большой популярностью в России в 1840-е годы. К этому времени относятся и все переводы его на русский язык. К. Д. Кавелин имеет в виду трактат «Левана, или Учение о воспитании» (1806).

Франсуа Поль Эмиль де *Боншоз* (1801—1875) — французский историк и писатель, автор многих исторических сочинений. Специального труда, посвященного собственно жизни и деятельности Яна Гуса, у него нет. К. Д. Кавелин имеет в виду его работу «Les reformateurs avant la reforme du XV-e siècle» («Реформаторы накануне реформы XV в.». Париж, 1845. Т. 1—2), в которой рассматривается история гуситского движения в Чехии.

Эрнст Теодор Амадей *Гофман* (1776—1822) — известный немецкий писатель и композитор.

Александр Родольф *Винэ* (1797—1847) — швейцарский богослов и историк литературы, профессор Базельского университета и Лозанской академии.

⁴⁸ Жан *Расин* (1639—1699) — французский поэт, драматург.

Жак-Анри *Бернарден де Сен-Пьер* (1737—1814) — французский писатель, автор популярного романа «Поль и Виргиния».

Жан-Батист *Массиллион* (1663—1743) — французский проповедник, архиепископ. Сохранилось около 100 его произведений. На русском языке изданы «Избранные слова Массильона, епископа Клермонского» (пер. Ястребова; вышло три издания, последнее — Спб., 1845).

Франсуа *Фенелон* Солиньяк де Ла Мот (1651—1715) — французский писатель и религиозный деятель, архиепископ. Автор нескольких богословских трактатов, а также философско-утопического романа «Приключения Телемака», которому обязан своей литературной известностью и отлучением от церкви. Известно несколько русских переводов, в том числе стихотворный. — В. К. Третьяковского.

⁴⁹ Примером может служить судьба Александра Васильевича Никитенко (1804—1877), историка русской литературы, профессора Петербургского университета, академика, цензора, бывшего крепостного крестьянина графа Шереметева, получившего вольную благодаря хлопотам К. Ф. Рыльева, сумевшего привлечь себе в помощь общественное мнение. Из крепостных вышли Михаил Петрович Погодин, Орест Адамович Кипренский и др.

В. С. Печерин
ЗАМОГИЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ (APOLOGIA PRO VITA MEA)*

Имя Владимира Сергеевича Печерина неизвестно современному кругу читателей. Помнят о нем только специалисты: историки и филологи, исследующие развитие русской общественной мысли XIX в. Вместе с тем жизнь В. С. Печерина даже среди драматических и своеобразных судеб, которыми столь богата русская история, поражает трагичностью и облечена глубочайшим внутренним смыслом.

Датой своего рождения В. С. Печерин считал 15 июня 1807 г. Его отец — Сергей Пантелеевич (1781—1866), мелкопоместный дворянин, выслуживший до полковника, был человеком малообразованным, деспотическим, жестоким. Постоянные поездки с места на место, из одного временного пристанища в другое, отсутствие друзей и товарищей, и вокруг кутежи и распуство гарнизонной жизни — такова была атмосфера, в которой прошло детство В. С. Печерина. Отца он не любил, о матери же — Пелагее Петровне (?—1858), урожденной Симоновской, всегда вспоминал с нежностью и состраданием. Систематического домашнего образования В. С. Печерин не получил, хотя родители и нанимали ему учителей. В 1822 г. отец поместил его в Киевскую гимназию, но В. С. Печерин оставался там недолго. 1823—1825 гг. он вновь провел в родительском доме, а в конце 1825 г. уехал в Петербург, где некоторое время служил чиновником в разных ведомствах. В 1829 г. В. С. Печерин стал студентом филологического факультета университета, где усиленно занимался греческим и латинским языками, проявил незаурядные лингвистические способности, добился серьезных успехов в области древней филологии.

В 1831 г. В. С. Печерин блистательно окончил университет, один из всего выпуска со степенью кандидата, и получил место старшего учителя при 1-й гимназии, а в университете — помощника библиотекаря и лектора по кафедре латинского языка. С этого же года он стал печататься в «Сыне Отечества» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча, альманахах «Невском» Е. В. Аладына и «Комете Беле» М. П. Погодина, помещая в них научные статьи и переводы из Шиллера и античных авторов. В это время ему покровительствовали профессор древних языков Х. В. Грефе, попечитель Петербургского университета К. М. Бороздин, товарищ министра народного просвещения С. С. Уваров.

В 1833 г. В. С. Печерин вместе с некоторыми другими членами профессорского института, основанного академиком Парротом в конце 1820-х годов при Дерптском университете, — П. Г. Редкиным, Д. Л. Крюковым, Ф. И. Иноземцевым, С. И. Баршевым, М. С. Куторгой, А. И. Чивилевым, Н. И. Пироговым — был отправлен в Германию, в Берлинский университет, для завершения образования и подготовки к профессорской деятельности. Он пробыл за границей два года, много путешествовал по Германии, Швейцарии, Италии. Именно тогда он познакомился с различными течениями европейской общественной мысли, оказавшими определенное влияние на его дальнейшую судьбу.

Летом 1835 г. В. С. Печерин вернулся в Россию в подавленном состоянии. «Он, — писал о возвратившихся А. В. Никитенко, — отвыкли от России и тяготились мыслию, что должны навсегда прозябать в этом царстве рабства. Особенно мрачен Печерин» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 173). В декабре того же года В. С. Печерин был утверждён в звании исправляющего должность экстраординарного профессора по кафедре греческой словесности и древности Московского университета. Преподавал В. С. Печерин только один семестр: с января по июнь 1836 г., но, судя по отзывам слушавших его студентов (Ф. Буслаева, Ю. Самарина, М. Строева) и коллег (М. П. Погодина), оставил по себе добрую память. В июне 1836 г., получив под предлогом «свидания с одним весьма близким» ему семейством и печатания диссертации «у книгопродавца Дюмлера» отпуск в Берлин, он навсегда покинул родину. В начале 1837 г. против В. С. Печерина было возбуждено судебное преследование, прекращенное только в 1848 г. решением Сената о лишении его российского подданства и всех прав состояния.

Четыре года В. С. Печерин скитался по Западной Европе. За это время, по его собственному признанию, он был «республиканцем школы Ламенне, коммунистом, сен-симонистом», увлекался теориями Буонаротти и Бабефа, Луи Блана, Пьера Леру, Мишле, зачитывался романами Жорж Санд, пытался установить контакты с швейцарскими и особенно итальянскими революционерами, польскими эмигрантами, последо-

* Комментарии составлены С. Л. Черновым.

вателями Фурье. Однако убежденным сторонником какого-либо из этих учений В. С. Печерин не стал главным образом потому, что этому не соответствовали ни склад его ума и характера, ни его представления об окружающем мире. И само бегство из николаевской России, превратившее его в политического эмигранта, и отчаянные попытки примкнуть к борцам против социальной несправедливости и тирании являлись скорее своеобразной эмоциональной реакцией на российский действительность, попыткой найти ей некую альтернативу, нежели результатом осознанного, тщательно продуманного решения. Он руководствовался в первую очередь своими чувствами, а не идейными соображениями или доводами разума. Не имевший ясных убеждений, обладавший мягким характером и чувствительной натурой, легко ранимый, постоянно неуверенный и сомневающийся в себе, В. С. Печерин был обречен метаться из крайности в крайность, от одной страсти к другой.

1840-й год открыл новую страницу в судьбе В. С. Печерина. Растерявшись перед лицом социальных противоречий своей эпохи, разочаровавшись в революционных теориях и революционерах, с которыми свела его судьба в Швейцарии и во Франции, он принял католичество и сделался (с 1841 г.) монахом редemptористского ордена, а через два года (в сентябре 1843 г.) принял сан католического священника.

До конца 1844 г. В. С. Печерин жил в Льеже, Виттеме, Брюгге; 1845—1848 гг. провел в Англии, в Фальмуте, куда был направлен в качестве миссионера; затем переехал в Лондон, в Клапам; здесь в 1853 г. он встретился с А. И. Герценом, подробно рассказавшим об этом в «Былом и думах». В 1854 г. В. С. Печерин переехал в Ламерик, в первый редemptористский монастырь в Ирландии. В. С. Печерин стал известным проповедником, одним из видных ораторов ордена, пользовался авторитетом и признанием в среде католического духовенства.

В 1861 г. в мировоззрении В. С. Печерина произошел перелом: он порвал с орденом (пробыл в нем в общей сложности 20 лет). Его намерение удалиться сперва в картезианский монастырь, потом в общину траппистов не осуществилось. В феврале 1862 г. В. С. Печерин был утвержден капелланом при одной из главных больниц Дублина — Mater Misericordiae. Здесь он и провел последние 23 года своей жизни.

В 1862 г. В. С. Печерин пытался наладить контакты с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, посылал пожертвования в «Колокол». В это же время он возвращается к своему давнему увлечению — поэзии, изучает арабский, персидский, санскритский языки, выписывает европейские и русские газеты и журналы, читает новейшие труды европейских филологов и философов, внимательно следит за новинками художественной литературы, изданиями греческих и римских классиков, серьезно занимается системой Дарвина и естественными науками, особенно химией и биологией, ставит в своей домашней лаборатории различные химические опыты, собирает гербарий и проводит наблюдения в ботаническом саду Дублина. В эти годы В. С. Печерин теряет веру в церковь и церковников. Его эпистолярное наследие тех лет содержит беспощадную и острую критику католицизма и католического духовенства.

Знакомясь с жизнью В. С. Печерина последних двух десятилетий, поражаешься его необыкновенным дарованиям и острой памяти, глубоким знаниям и широте интересов, — но не менее и тому, как человек, обладавший столь высоким интеллектом, истинный европеец второй половины XIX в., мог быть в то же время католическим священником, исполнять обеты и обряды религии, от которой сам же столь резко отзывался. Драма В. С. Печерина состояла в том, что, не сумев найти своего предназначения в жизни, он не знал, что делать с самим собою. Столкнувшись с мучительными проблемами, он находил ответ не в борьбе с реальностями жизни, а в бегстве от них. Вся судьба его — бесконечное и тревожное бегство: сначала из родительского дома в Петербург, потом из России в Европу, затем в католицизм, в монастырь, наконец, из монастыря... Дальше бежать было некуда, а от самого себя — и невозможно. Невозможно было и полностью порвать на склоне лет с католической церковью. Поэтому и жил В. С. Печерин почти четверть века в раздвоенном мире, в двух ипостасях, одинаково ему важных и необходимых. Подобное бытие было мучительно и безотраднo, но иного выбора, иной возможности у него как будто уже и не существовало. Книги и милосердие — это все, что предоставила В. С. Печерину судьба на закате его дней.

Жизнь В. С. Печерина — это история непрерывных конфликтов незаурядной личности с окружающей действительностью и собою, душевных коллизий и нравственных драм, иллюзий и крушений надежд. Его литературные «современники» — Онегин, Печорин, Лаврецкий, Рудин.

Обладая большими творческими возможностями, В. С. Печерин за всю свою долгую жизнь не создал ничего и завершил её в одиночестве и пустоте.

Обстоятельства его жизни после 1877 г. нам почти неизвестны. Умер В. С. Печерин 17 апреля 1885 г. после непродолжительной болезни накануне своего 78-летия. Похоронен в Дублине на Гласневинском кладбище, вблизи могилы видного деятеля ирландского национального движения Даниэля О'Коннеля.

Несмотря на все пережитые судьбы, имя В. С. Печерина не кануло в Лету. От забвения его спасли... его же воспоминания, написанные в 1860—1870-е годы — в них ярко, но без прикрас, а в иных случаях с беспощадностью к самому себе, он рассказал историю собственной жизни.

Начинаются мемуары описанием первых памятных ему эпизодов детства и завершаются повествованием о пребывании в Дублине. В. С. Печерину удалось передать внутренний динамизм и колорит совершавшихся событий. С исключительной психологической проникновенностью воссоздает он атмосферу русской провинциальной и столичной действительности 20—30-х годов прошлого века, в которой должно было прозябать не одно поколение русских людей.

Особенное внимание привлекают мемуарные отрывки, охватывающие 1836—1840 гг. и посвященные пребыванию в Швейцарии и Франции; наряду с другими своими достоинствами они являются единственным источником, позволяющим проследить путь идейного развития В. С. Печерина после отъезда из России.

Сильное и одновременно мрачное впечатление производят те разделы воспоминаний, в которых В. С. Печерин описывает время, проведенное в монастыре редemptористов. Здесь множество однообразных и малозначащих деталей и сюжетов повседневного быта. В. С. Печерину более не о чем говорить. Его дух скован.

Благодаря воспоминаниям становится очевидной сущность жизненной трагедии В. С. Печерина: избранный им путь, возможно, и оправданный сам по себе, оказался вне большой истории.

И не характеристика событий и личностей, с которыми ему приходилось встречаться, определяет содержание и значение записок. Главное — на их фоне В. С. Печерин раскрывает свой внутренний мир, свою сокровенную духовную жизнь. «В эти тридцать лет,— писал он в 1865 г.,— я прошел через все возможные эволюции человеческого духа; я пережил всю историю от потопа до наших времен» (ОР ГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 11, л. 1 об.). Записки — своеобразная исповедь, попытка *объяснить и оправдать* пройденный жизненный путь, обозначить мотивы и причины, побуждавшие совершать роковые поступки, коренным образом менявшие течение судьбы. В. С. Печерин не столько излагает факты своей биографии, сколько стремится постичь развитие собственного «духа», написать «историю своей философии».

В. С. Печерин не был героем, популярной личностью, отразившей эпоху, не высказал никаких откровений, не совершил открытий. Но он сумел выразить себя, и не только себя. Хотя В. С. Печерин прожил вне России почти 50 лет, трудно не согласиться с ним, что его записки «представляют явление самостоятельного русского развития».

«История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». Эти слова М. Ю. Лермонтова, сказанные им в «Герое нашего времени», в полной мере могут быть отнесены и к В. С. Печерину. Его воспоминания представляют нам еще одну возможность задуматься над «путями и перенутьями», характерными для русской общественной мысли второй четверти XIX века.

Обстоятельства создания и публикации воспоминаний В. С. Печерина сложны и в то же время увлекательны. Единственная попытка воссоздать их была предпринята А. А. Сабуровым в защищенной в 1940 г., но неопубликованной кандидатской диссертации. Однако, признавая несомненные достоинства этой работы, не во всех случаях можно согласиться с предложенной им трактовкой материала и сделанными выводами.

Все началось со счастливой случайности. В 1865 г., просматривая русские периодические издания, В. С. Печерин в одном из номеров газеты «День», издававшейся И. С. Аксаковым, натолкнулся на имя Федора Васильевича Чижова, своего университетского товарища, с которым не виделся с 1843 г. Встреча с прошлым пробудила в нем, одиноко жившем в Дублине после выхода из монастыря, томительные воспоминания,

и он, движимый неясным даже для себя побуждением, отправил в Москву, И. С. Аксакову, письмо, приложив к нему стихотворение «Не погиб я среди крушенья».

Не погиб я среди крушенья!
Не пришел еще мой час!
И среди бурного волненья
Мой светильник не погас!

И подчас, как молтвы, блещут
Мысли юности моей,
И в груди моей трещут
Вдохновенья прежних дней.

И. С. Аксаков немедленно познакомил с содержанием письма Ф. В. Чижова, с которым был коротко знаком, а затем напечатал его со своими обширными комментариями в №29 «Дня» от 2 сентября. И. С. Аксаков не мог предвидеть, какие далекие последствия будет иметь эта публикация.

Уже 16 сентября племянник В. С. Печерина — Савва Федосеевич Поярков, живший в Одессе и с 1860 г. состоявший с ним в переписке, отправил в Дублин взволнованное послание. По его словам, помещенные в «Дне» материалы произвели ошеломляющее впечатление на многих людей; знакомые требовали от него новых подробностей, а поскольку сведения, которыми он располагал, были скудны и отрывочны, то он решил обратиться непосредственно к В. С. Печерину — «единственному источнику» — с просьбой составить и прислать ему подробную автобиографию, которую он хотел получить «в полную собственность» и брался напечатать от своего имени. «Только таким путем я могу удовлетворить общему желанию и только этим путем до Вас дойдут в печати все отклики сочувствия к Вам русских», — писал С. Ф. Поярков (ЦГАЛИ, ф. 372, оп. 1, ед. хр. 31, л. 4).

В середине октября В. С. Печерин отправил племяннику первые автобиографические заметки и стихотворения. Тот отозвался восторженным письмом: «... как только я заявил близким моим знакомым, что имею дополнительные от Вас сведения и стихотворения, — сообщал он В. С. Печерину, — то дня через три должен был носить Ваше письмо постоянно при себе, чтобы удовлетворить желанию всех обращающихся ко мне за прочтением этого письма» (там же, л. 5).

Таким образом, В. С. Печерин неожиданно для самого себя оказался в центре внимания определенных кругов русской общественности. Просьба С. Ф. Пояркова написать собственное «житие» и неподдельный интерес, проявленный к нему в России, помогли преодолеть одиночество и идейный кризис; придали новый смысл его существованию.

Переписка В. С. Печерина и С. Ф. Пояркова продолжалась до лета 1873 г. и оборвалась, по-видимому, из-за смерти С. Ф. Пояркова. За эти годы В. С. Печерин написал и отправил ему семь отрывков: «Первые воспоминания. 1812 год», «1815. Одесса в казармах», «Мой роман», «1823—1825», «Эпизод из петербургской жизни», «Бегство из Цюриха», «Путешествие в Мец».

С. Ф. Поярков положил начало коллекционированию материалов В. С. Печерина. «Я тщательно собираю все Ваши труды...» — писал он ему в марте 1866 г. «Едва ли многим не только у нас, но и в опередивших нас государствах выпадает счастливый жребий иметь такие семейные записки, — развивал он свою мысль в июне того же года. — Поверьте, — уверял он В. С. Печерина, — что эта святыня будет храниться и передаваться в семействе моем вместе с наследственными святыми образами... Я собираю все, касающееся Вас, с чувством ненасытного скряги» (там же, л. 8 об.).

Публикация в «Дне» послужила толчком к возобновлению переписки В. С. Печерина с А. В. Никитенко, которого он хорошо знал по Петербургу. А. В. Никитенко, ставший уже академиком и цензором, первый написал В. С. Печерину. Однако эта переписка, по неизвестной причине, прервалась осенью 1869 г. За все это время В. С. Печерин послал А. В. Никитенко только один отрывок: «Эпизод из петербургской жизни» и стихотворение «Ирония судьбы».

С 1865 г. завязалась переписка В. С. Печерина и Ф. В. Чижова, продолжавшаяся в течение последующих 12 лет, вплоть до смерти Ф. В. Чижова, и ставшая потребностью, нравственной опорой для В. С. Печерина. Однако до лета 1869 г. вопрос о мемуарах как таковых ими не обсуждался. Лишь дважды в письмах В. С. Печерина встреча-

ются упоминания о каких-то веденных им заметках. В тексте письма, датированного 16 сентября 1865 г., содержится часть отрывка «1815. Одесса», сопровождаемая осторожным замечанием — «отрывок из моих записок, которые я начал было писать, но едва ли буду продолжать» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 11, л. 1 об.). В начале октября 1867 г. он сообщил Ф. В. Чижову, что отправил племяннику несколько листов своих воспоминаний, но не знает, сумеет ли тот их напечатать. Ф. В. Чижов, видимо, никакого значения этим упоминаниям не придавал; по крайней мере в его ответных письмах на этот счет нет никаких замечаний. В то время ведение дневников и различного рода записок было явлением ординарным.

Интерес к заметкам В. С. Печерина возник у Ф. В. Чижова под влиянием двух обстоятельств. В июне 1869 г., по просьбе В. С. Печерина, находясь проездом в Москве, его посетил С. Ф. Полярков. Во время беседы Ф. В. Чижев впервые узнал о существовании мемуаров и, заинтересованный рассказом Саввы Федосеевича, высказал желание познакомиться с ними. Встреча с С. Ф. Поярковым совпала с другим событием — празднованием 50-летнего юбилея Петербургского университета, по случаю которого П. И. Бартнев, издатель известного журнала «Русский Архив», просил Ф. В. Чижова написать воспоминания о студенческом времени. Тогда-то и зародилась у Ф. В. Чижова идея, которой он поспешил поделиться с В. С. Печериным в письме от 21 июня 1869 г. Он писал, что до сих пор просьбу П. И. Бартнева не выполнил, «... а хочется исполнить и непременно хочется изобразить дорогую мне и милую горячую голову — моего Печерина. Поэтому я просил бы тебя, — продолжал Ф. В. Чижев, — засядь и в несколько приемов напиши твои воспоминания, которые я введу в свои как портрет твой, тобой самим написанный» (ИРЛИ, ф. 384, ед. хр. 15, л. 9 об.).

В октябре того же года Ф. В. Чижев получил первый из адресованных ему мемуарных отрывков — «Эпизод из петербургской жизни», который так ему понравился, что он изменил первоначальный план — теперь он намеревался написать воспоминания, целиком посвященные В. С. Печерину, и опубликовать их в «Русском Архиве». Ф. В. Чижев настойчиво, почти в каждом письме, стал требовать от В. С. Печерина все новых и новых отрывков. Ф. В. Чижова интересовали все обстоятельства жизненного пути В. С. Печерина, он просил его «не жалеть... памяти и... вспоминать все подробности» (там же, л. 24 об.). Но особенно интересовал его вопрос о переходе В. С. Печерина в католицизм. «Никак я не могу понять, — сетовал он в апреле 1870 г., — каким образом умело тебя оплести католичество... мне хотелось бы... знать как самый путь... так и внутренний ход твоего преобразования...» (там же, л. 22—22 об.). В. С. Печерин пытался удовлетворить интерес Ф. В. Чижова, и это во многом повлияло на характер, содержание, направленность отрывков, определило их специфику и особенности.

С 1871 г. Ф. В. Чижев становится фактически единственным адресатом В. С. Печерина: С. Ф. Поярков в 1871—1872 гг. получил из Дублина всего два письма. В декабре 1871 г. в письме к Ф. В. Чижову он не без горечи констатировал: «...переписка моя с Е. адмиралом Сергеевичем была реже, притом же все тяготение его переписки теперь к Вам...» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 46, ед. хр. 34, л. 7 об.). В этой связи становится понятным тот факт, почему именно Ф. В. Чижев явился владельцем большинства — около 40 — мемуарных отрывков.

В. С. Печерин приступил к целенаправленной работе над своими мемуарами в середине 1860-х годов, в возрасте 58 лет, и продолжал ее до 1875 г. Воспоминания не представляют собой сплошного повествования. Это отдельные отрывки, каждый из которых может рассматриваться как самостоятельное произведение, но только собранные вместе они дают достаточно полное представление о хронологической канве жизни В. С. Печерина и его идейных исканиях. В большинстве своем мемуарные отрывки являются приложениями к письмам С. Ф. Пояркову и Ф. В. Чижову и лишь в отдельных случаях составляют органическую часть самого письма. Иногда письмо представляет собою мемуарный отрывок, к которому сделана небольшая приписка, иногда таковая вообще отсутствует.

Работая над воспоминаниями, В. С. Печерин не соблюдал строгой хронологии. В изложении конкретного материала он зачастую допускал отступления как по собственной инициативе, так и в связи с настоятельными просьбами Ф. В. Чижова вернуться к каким-либо, с его точки зрения, недостаточно ясно изложенным или вовсе пропущенным сюжетам. Так возникли, например, отрывки «Лугано и как я туда попал», «Три женщины», «Легенда о монахе и бесе» и др.

Занятия В. С. Печерина мемуарной стимулялись двумя обстоятельствами: требованиями друзей (о чем говорилось ранее) и, наверно, не в меньшей (если

не в большей) степени — надеждой увидеть свои воспоминания напечатанными в России.

Первым выдвинул эту идею и начал хлопотать о публикации печеринских сочинений С. Ф. Поярково. Уже в октябре 1865 г. он связался с И. С. Аксаковым, послал ему полученные к тому времени от В. С. Печерина мемуарные отрывки, намереваясь увидеться с ним в декабре, проездом в Петербург. Однако попытка напечатать в «Дне» выборку из писем «дублинского эмигранта» потерпела фиаско: «редакция, — по словам С. Ф. Пояркова, — не признала этого удобным и отказала мне под предлогом, что прекращает свое издание с 1866 г.» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 46, ед. хр. 34, л. 3 об.). Весной 1866 г. С. Ф. Поярково, находясь в Петербурге по делам службы, вел переговоры с какими-то неизвестными нам редакциями, но безрезультатно, поскольку издатели боялись цензурных гонений. Впрочем, в конце концов усилие его принесли некоторые плоды — «Современник» и «Отечественные записки» дали согласие напечатать заметки В. С. Печерина. С. Ф. Поярково незамедлительно сообщил об этом в Дублин, намереваясь подготовить имевшийся в его распоряжении материал к публикации и умоляя прислать продолжение. Однако в условиях реакции, наступившей после выстрела Каракозова (апрель 1866 г.), С. Ф. Поярково либо счел публикацию воспоминаний несовременной и неуместной, либо не сумел преодолеть рогаток цензуры.

Большого удалось добиться Ф. В. Чижев. Его стараниями в 1870 г. в «Русском Архиве» был напечатан мемуарный отрывок «Эпизод из петербургской жизни», а через год — еще один отрывок из письма В. С. Печерина, посвященного рассуждениям о преимуществах реального образования перед классическим. По инициативе Ф. В. Чижево возникла переписка (продолжавшаяся, правда, недолго и не имевшая никаких последствий) между П. И. Бартенево и В. С. Печериным.

Неожиданным следствием публикации «Эпизода из петербургской жизни» явилось обращение к П. И. Бартенево графа С. Г. Строганова: «Не полагаете ли Вы, милостивый государь, — интересовался он в сентябре 1870 г., — что для читателей Русского Архива будет любопытно продолжение статьи из записок Владимира Сергеевича? Для некоторых молодых оно будет и поучительно; они узнают, как много зависит от первого ложного взгляда на жизнь и как опасно подчинять свои действия позымам эгоизма, своеволия и крайних мыслей» (ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 562, л. 498 об.). Руководствуясь соображениями назидания молодому поколению, С. Г. Строганов предложил П. И. Бартенево напечатать письмо, которое В. С. Печерин отправил ему в 1837 г. из Брюсселя в ответ на предложение вернуться в Россию. П. И. Бартенево, получив согласие Ф. В. Чижево и самого В. С. Печерина, поместил это письмо в «Русском Архиве» за 1870 г.

Однако тот же С. Г. Строганов в середине ноября 1870 г. посоветовал П. И. Бартенево воздерживаться от дальнейшей публикации «политических мнений несчастного эмигранта», не изменившего своих взглядов «на строй нашего общества». Он предложил отложить публикацию мемуаров В. С. Печерина до того момента, пока работа над ними не будет завершена (там же, л. 507—508 об.). П. И. Бартенево, человек осторожный и умеренный во взглядах, видимо, последовал совету многоопытного администратора: по крайней мере, отрывок из письма В. С. Печерина за 1871 г. был последним материалом, появившимся на страницах «Русского Архива».

В это же время, независимо от С. Г. Строганова, к выводу о нецелесообразности печатать воспоминания В. С. Печерина по частям пришел и Ф. В. Чижев. Но если С. Г. Строганову полная рукопись мемуаров В. С. Печерина была нужна для того, чтобы решить вопрос о *возможности* их публикации, то Ф. В. Чижево беспокоило другое. Он полагал, что, помещенные в разных журналах и в разное время, они *не произведут должного впечатления* на читателей, особенно на молодое поколение. Кроме того, у Ф. В. Чижево было и другое соображение — познакомить русскую публику начала 1870-х годов с малоизвестной ей Россией 1830-х, а заодно и уснить, «насколько время подвинуло нас».

Мысль собрать мемуарные отрывки воедино, в некое законченное произведение, впервые была высказана Ф. В. Чижев в письме В. С. Печерину от 1 ноября 1870 г., а через две недели он прямо заявил ему, что намерен составить из писем книгу и напечатать ее отдельным изданием. В связи с этим Ф. В. Чижев с еще большей настойчивостью стал требовать от В. С. Печерина продолжения работы над воспоминаниями.

В. С. Печерин с нескрываеомой радостью воспринял известие о публикации материалов в «Русском Архиве». «Я едва успеваю пересылать Чижев листки моих запи-

сок, — сообщил он С. Ф. Пояркову в октябре 1871 г., — на них, кажется, большой запрос в Москве» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 9, л. 25). С этого времени В. С. Печерин, уверовавший, что ему уже «открылся путь в печать» (там же, л. 21 об.), все надежды на последующую публикацию своих мемуаров стал связывать исключительно с Ф. В. Чижовым, избрав его основным своим адресатом.

Ранее он просил племянника переслать Ф. В. Чижову имевшиеся в его распоряжении отрывки, и С. Ф. Поярков, вопреки своему желанию, исполняет эту просьбу: Ф. В. Чижов становится владельцем всех без исключения мемуарных отрывков, вышедших к тому сроку из-под пера В. С. Печерина.

Восхищенный сочинениями друга, Ф. В. Чижов знакомит с ними своих московских приятелей, а в феврале 1871 г. намеревается устроить их чтение в одном небольшом — «человек из 15» — кружке, что, вероятно, и было осуществлено. Все эти обстоятельства, несомненно, придавали В. С. Печерину силы, стимулировали его работу над воспоминаниями. В начале 1872 г. он предоставил Ф. В. Чижову право полностью распоряжаться печатанием своих мемуаров. «В руци твои предаю дух мой, — писал он. — Ты знаешь, что эти записки — мое единственное достоинство, единственная память, что останется по мне в России» (там же, ед. хр. 15, л. 3).

Однако цензурный контроль в России усиливался, и Ф. В. Чижов сталкивался с большими сложностями. «Письма твои все собираю, — писал он В. С. Печерину 12 января 1872 г., — но не печатаю и не скоро буду печатать как потому, что не хочу давать их отрывками, так еще более потому, что теперь цензура стала очень строга к тому, что предварительно проходит сквозь ее железные когти» (ИРЛИ, ф. 384, ед. хр. 15, л. 69). Публикация же материалов В. С. Печерина в виде книги объемом более 10 печатных листов давала Ф. В. Чижову возможность избежать предварительной цензуры. В апреле 1872 г. С. Ф. Поярков, со слов Ф. В. Чижова, сообщил В. С. Печерину, что «в этом году едва ли удастся вообще что-либо напечатать» (ЦГАЛИ, ф. 372, ед. хр. 31, л. 41). Известие буквально ошеломило В. С. Печерина, и он пишет Ф. В. Чижову взволнованное письмо, полное горячи, сарказма, ядовитых замечаний по адресу русской цензуры. В этом же письме он предлагал Ф. В. Чижову «средство ускользнуть от цензуры» — напечатать записки в небольшом числе экземпляров за границей, в Женеве, в русской типографии, оставшейся после смерти А. И. Герцена и П. В. Долгорукова (ОРГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 15, л. 20 об.—21). Ф. В. Чижов, отклонив последнее предложение, пытался утешить друга, уверяя его, что в записках нет ни одной строки, которая могла бы подвергнуться запрещению. Ему удалось успокоить В. С. Печерина, и в октябре 1872 г. тот вновь стал интересоваться возможностями напечатать отрывки своих сочинений в каком-нибудь популярном и читаемом журнале. В свою очередь, Ф. В. Чижов просил его не торопить события.

1873 г. не принес существенных изменений: публикация откладывалась на неопределенный срок, разочарованный В. С. Печерин все меньше внимания уделял работе над мемуарами, Ф. В. Чижов же продолжал настаивать на ее продолжении.

В 1874 г. он предпринял новые усилия напечатать заметки В. С. Печерина. В апреле, случайно столкнувшись с генералом М. Г. Черняевым, издававшим в тот год газету «Русский мир», Ф. В. Чижов внезапно подумал о том, что именно такой человек, как М. Г. Черняев, мог бы оказать ему помощь. «В ней-то, в газете авантюриста, и хочу я поместить, а может быть, начать помещать письма авантюриста, моего друга задушевного Печерина» (ИРЛИ, ф. 384, ед. хр. 15, л. 133 об.), — делился он своими замыслами с Владимиром Сергеевичем.

Однако в мае 1874 г. намерения Ф. В. Чижова круто переменялись. Отныне надежды свои он возложил на М. М. Стасюлевича, редактора «Вестника Европы», который, заинтересовавшись биографическими материалами В. С. Печерина, пообещал опубликовать их по 100 р. за печатный лист. Этот план Ф. В. Чижов подробно изложил В. С. Печерину в письме от 18 мая, а уже в начале июня получил от В. С. Печерина подряд несколько писем с настойчивой просьбой не печатать «ни одной строки, ни одного слова, ни малейшего намека против католичества», так как он «вовсе не расположен подвергать себя каким бы то ни было бурям». Он просил, чтобы Ф. В. Чижов при публикации ограничился лишь теми отрывками, в которых речь шла о ранних периодах его жизни, а остальные сохранил бы для посмертного издания. Более того, желая обезопасить себя, он предлагал Ф. В. Чижову печатать воспоминания под своим старым литературным псевдонимом «доктор Фуссенгер» (в буквальном пер. с нем. пешеход, здесь в значении «путник»). «Но даже и под прикрытием псевдонима ничего антикато-

лического печатать нельзя» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 18, л. 19—20), — предостерегал он. Ф. В. Чижов, пытаясь успокоить испуганного В. С. Печерина, заверил его, что будет осторожен и благодарен.

Наступила осень 1874 г., а Ф. В. Чижов обещания не сдержал: болезнь подтачивала его силы, да и предпринимательская деятельность отнимала все свободное время. Работа над подготовкой мемуаров В. С. Печерина к печати затягивалась. Только осенью следующего, 1875 г. Ф. В. Чижов смог сообщить В. С. Печерину приятную весть о том, что наконец-то подготовил и передал М. М. Стасюлевичу часть мемуаров с предисловием, озаглавленную «Отрывки из автобиографии доктора Фуссенгера». Во вступлении Ф. В. Чижов, стремясь обрисовать личность своего героя, поместил выдержки из его писем к нему, в том числе первую половину интереснейшего мемуарного отрывка «Лугано и как я туда попал», чтобы словами самого В. С. Печерина ярко и убедительно передать причины, побудившие того покинуть Россию. В результате отрывок оказался расчлененным: начало попало в предисловие, а окончание под названием «Несколько дней до пребывания в Цюрихе» сохранилось в самом тексте. Всего Ф. В. Чижов передал М. М. Стасюлевичу десять отрывков, расположив их в следующей последовательности согласно хронологии поступления: «Бегство из Цюриха», «Путешествие в Мец и следующие затем события», «Несколько дней до пребывания в Цюрихе», «Путешествие из Меца в Льеж», «Льеж (Liège)», «Апостол коммунизма и Conspiration de Baboef», «Сказание о капитане Файоте и его камердинере», «Макналли и К°», «Перелом», «Из рук вон!». Выбор именно этих отрывков был обусловлен, вероятно, намерением Ф. В. Чижова познакомить русского читателя с менее всего известным периодом жизни В. С. Печерина — его скитаниями после бегства из России. Время написания отрывков — 1870 и 1871 г. Повсюду в тексте имя В. С. Печерина Ф. В. Чижов заменил псевдонимом «доктор Фуссенгер».

В декабре 1875 г. Ф. В. Чижов уведомил В. С. Печерина, видимо, со слов М. М. Стасюлевича, что подготовленные им материалы будут напечатаны в февральской книжке «Вестника Европы». Однако прошел 1876 г., на исходе был 1877 г., а публикация на страницах журнала не появлялась. В сентябре 1877 г. Ф. В. Чижов просил М. М. Стасюлевича вернуть ему воспоминания В. С. Печерина. М. М. Стасюлевич, вероятно, замешкался (вполне возможно, что и сознательно), рукописи не отослал, а два месяца спустя, 14 ноября, Ф. В. Чижов умер. Так рукопись и осталась в архиве редакции «Вестника Европы», где пролежала до 1911 г. — года смерти М. М. Стасюлевича.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что интенсивная работа В. С. Печерина над мемуарами находится в прямой зависимости от попыток С. Ф. Пояркова и Ф. В. Чижова опубликовать их. Подтверждением этому служит следующее: в 1865 г. В. С. Печерин написал 3 отрывка, в 1866 — 1, в 1867 — 2, в 1868 — ни одного, в 1869 — 1, в 1870 — 6, в 1871 — 10, в 1872 — 11, в 1873 — 6, в 1874 — 4. Итого за десять лет им было подготовлено 44 отрывка, из них 7 адресовано С. Ф. Пояркову, 37 — Ф. В. Чижову. Первый пик творческой активности В. С. Печерина относится к 1865—1867 гг. (6 отрывков), ко времени предпринятых С. Ф. Поярковым попыток напечатать воспоминания в московских и петербургских изданиях; второй — к 1870—1872 гг. (27 отрывков), когда инициатива в этом вопросе перешла в руки Ф. В. Чижова. Публикации 1870—1871 гг. в «Русском Архиве» стимулировали деятельность В. С. Печерина, и 1872 год оказался наиболее плодотворным. Впоследствии же, убедившись в беспочвенности своих надежд увидеть мемуары напечатанными в России, он прекратил работу над ними, и никакие последующие уговоры Ф. В. Чижова не возымели действия. Последний мемуарный отрывок датирован 27 июня 1874 г. Работа, начатая с таким энтузиазмом и увлечением, оборвалась.

Значимость этого фактора лишний раз подтверждает письмо В. С. Печерина Ф. В. Чижову, отправленное в ноябре 1875 г., в котором он прямо заявил, что в том случае, если какие-либо отрывки его воспоминаний будут напечатаны, то это «послужит... поощрением для продолжения оных же записок» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 19, л. 24). Однако жизнь распорядилась иначе. Несмотря на то что В. С. Печерин серьезно относился к своей работе и придавал ей большое значение, труд его остался незавершенным.

В 1911 г. М. К. Лемке, разбирая архив «Вестника Европы», обнаружил мемуарные отрывки В. С. Печерина с предисловием Ф. В. Чижова и передал свою находку М. О. Гершензону, который вначале напечатал о ней в «Русских ведомостях» (1911, № 87) статью под названием «Автобиография В. С. Печерина», а впоследствии — в

1915 г. — опубликовал и саму рукопись в «Русских прописях», не внося в нее никаких редакционных изменений, но предпослав ей небольшое вступление.

Однако основной корпус печеринских материалов долгое время не был известен исследователям, так как архив Ф. В. Чицова, согласно его завещанию, был душеприказчиком С. И. Мамонтовым передан в отдел рукописей Румянцевского музея с условием, что останется закрытым для обработки и научного использования в течение 40 лет. Когда в ноябре 1917 г. этот срок истек, дочь С. Ф. Пояркова — Александра Савишна, проживавшая в Петрограде, — обратилась к заведующему отделом рукописей музея Г. П. Георгиевскому с просьбой вернуть ей бумаги В. С. Печерина, переданные некогда ее отцом Ф. В. Чицову во временное пользование. «Воля моего отца всегда была, — писала она, — чтобы все письма В. С. Печерина и биография его были достоянием его семьи, семьи Поярковых...» (ОРГБЛ, ф. 217, картон 13, ед. хр. 79, л. 3). Ответ Г. П. Георгиевского не сохранился, но вряд ли он мог быть положительным.

Прошло еще несколько лет, прежде чем в начале 1920-х годов доступ к фонду Ф. В. Чицова получил М. О. Гершензон. Он снял с писем В. С. Печерина копии, намереваясь, очевидно, опубликовать их, но вскоре — в 1925 г. — скончался. Работа по подготовке бумаг В. С. Печерина к публикации вновь приостановилась.

Первое издание мемуаров В. С. Печерина появилось только в 1932 г. Основой его послужили материалы, подготовленные М. О. Гершензоном. Этим можно объяснить тот факт, что составителем книги указан М. О. Гершензон. Издание было осуществлено под редакцией и со вступительной статьей Л. Б. Каменева.

При всей своей научной значимости, данная публикация страдала рядом недостатков: по неизвестным причинам некоторые мемуарные отрывки отсутствуют; иные приведены со значительными купюрами; другим, не имевшим авторских заголовков, произвольно присвоены названия; в отдельных случаях без каких-либо объяснений применен метод монтажа и т. д. Вызывает сомнение и принцип, положенный в основу структурного построения книги: отрывки размещены согласно хронологии их написания В. С. Печериним, которая далеко не всегда совпадает с хронологией описываемых в них событий.

В настоящем издании тексты проверены по авторской рукописи, хранящейся в ОРГБЛ; все обнаруженные разночтения исправлены в соответствии с подлинником. Отрывки (как и стихотворения) размещаются по хронологии описываемых в них событий, печатаются полностью, а четыре из них впервые — «1840-й год», «В 1846—48 в Фальмуте» (окончание), «Adieu Falmouth!», «Три женщины». Текст двух отрывков дополняется по авторской рукописи: в «Легенде о монахе и бесе» впервые приводится окончание, в «Фальмуте. 1845—1848 (1-е окончание)» — начало. Отрывок «Лугано и как я туда попал» дается в своем первоначальном виде, неизвестном до настоящего времени исследователям. Также впервые печатаются: выдержки из писем, объясняющие мотивы написания некоторых отрывков, например, «Легенды о монахе и бесе», «1840-й год» и др.; выдержки из писем от 21 октября 1865 г., 10 ноября 1871 г., 26 августа 1873 г., 6 декабря 1874 г., 7 ноября 1875 г., содержащие сведения мемуарного характера; два письма В. С. Печерина генералу ордена редemptористов. Публикуется и письмо В. С. Печерина С. Г. Строганову от 23 марта 1837 г., в котором он подробно рассказывает обстоятельства, побудившие его покинуть Россию. Восстанавливаются авторские названия отрывков «Лугано и как я туда попал», «Фальмут. 1845—1848» (1-е окончание), а вымышленные заголовки — «Мать и отец», «Несколько дней до пребывания в Цюрихе», «Первая проповедь», «Римский папа и русский генерал фон Берг» — устранены. Отрывки, не имеющие заголовков, обозначены в прямых скобках местом и временем, к которому относится действие, в них описываемое, например: [1815. Одесса в казармах (окончание)]; [Цюрих. 1837—1838]; [Виттем. 1841—1843] и т. д.

Воспоминания В. С. Печерина не имеют авторского названия. Первые попытки озаглавить их относятся к 1870 г. «Мне очень бы хотелось из твоих писем составить и напечатать после книжку Похождения странствующего рыцаря печального ордена Владимира Сергеевича Печерина. Ее будут читать с наслаждением» (ИРЛИ, ф. 384, ед. хр. 15, л. 35 об.), — писал Ф. В. Чицов в середине ноября. Однако, получив материалы от С. Ф. Пояркова, он тогда же предложил новое название — «Мой роман», используя заголовок одного из мемуарных отрывков (там же, л. 40, 49 об.). В июне 1874 г. В. С. Печерин советовал Ф. В. Чицову воспользоваться литературным псевдонимом, под которым его воспоминания о путешествии по Швейцарии были помещены в «Московском наблюдателе» за 1835 г., и назвать записки «Приключения доктора Фус-

сгенгера» (ОРГБЛ, ф. 332, картон 45, ед. хр. 18, л. 19 об.). Ф. В. Чижов, готовя в 1875 г. материалы для «Вестника Европы», дал им несколько иной заголовок — «Отрывки из автобиографии доктора Фуссенгера». Под этим заголовком они и появились в 1915 г. в «Русских прописях». Наименование «Замогильные записки» восходит, по видимому, к названию посмертных записок Шатобриана, вышедших в 1848—1850 гг. В. С. Печерин, вложив в него совершенно иной смысл, озаглавил так один из своих мемуарных отрывков, а в 1932 г. издатели распространили этот заголовок на все мемуары В. С. Печерина в целом.

Сам В. С. Печерин оценивал свои мемуары как «духовное завещание», «*Apologia pro vita mea*» — моя защита перед Россией, особенно перед новым поколением». Именно поэтому мы сочли возможным дать мемуарам В. С. Печерина название — «Замогильные записки (*Apologia pro vita mea*)».

¹ Письмо обращено к Савве Федосеевичу Пояркову. О нем см. выше, в статье о В. С. Печерине и его воспоминаниях.

² *Килия* — город, расположенный при Килийском рукаве Дуная. В. С. Печерин имеет в виду события русско-турецкой войны 1806—1812 гг.; Килия была занята отрядом под командованием генерала А. П. Засса, входившим в состав дивизии герцога Ришелье, в декабре 1806 г.; в 1812 г., согласно условиям Бухарестского договора, присоединена к России.

³ Иоганн Гюбнер (1668—1731) — немецкий педагог и писатель, автор книг по истории и географии для детей. Указанная В. С. Печериным книга, содержащая приспособленное к потребностям школы изложение библейских и евангельских рассказов, вышла в 1714 г. Впоследствии стала распространенным учебником закона божьего.

⁴ В. С. Печерин цитирует Евангелие от Матфея, XXVII, 45, 51—53.

⁵ В. С. Печерин имеет в виду рассказ, содержащийся в Евангелии от Иоанна (XIX, 25—27), согласно которому у подножия креста с распятым Иисусом Христом находилась его мать, Мария.

⁶ Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу (1761—1819) — известный немецкий писатель и драматург. В России большой популярностью пользовался в 1810—1820 годы. Убежденный монархист и реакционер, он проявил себя ревностным сторонником Священного союза и противником свободных мыслей. Убит студентом К. Зандом.

Мадлен-Фелисите Дюкре де Сент-Обен Жанлис (1746—1830) — французская писательница, автор ряда книг для детей и сентиментально-нравоучительных романов, пользовавшихся большой популярностью и многократно переведившихся на русский язык. Лучшим из ее произведений считается «Мадемуазель де Клермон» (1802).

⁷ *Дунайская военная флотилия* была сформирована в 1771 г.; принимала участие во всех русско-турецких войнах, в том числе и в войне 1806—1812 гг.

⁸ В. С. Печерин имеет в виду, вероятно, Главное управление ревизии государственных счетов, образованное в 1810 г. на основании объединения ряда учреждений: государственной экспедиции счетов Сената, департамента решения старых счетов бывшей Ревизион-коллегии, счетной экспедиции департамента водных коммуникаций.

⁹ *Синий мост* — мост через Мойку на Вознесенском проспекте (ныне проспект Майорова), вел от Исаакьевской площади к Марининскому дворцу. Первоначально был деревянным; название получал по цвету окраски; при Николае I заменен мостом из чугуна и покрыт каменной аркой.

¹⁰ *Гороховая улица* — одна из старинных и оживленных улиц Петербурга. Первоначальное название — 2-я Адмиралтейская перспектива. Гороховой стала называться по фамилии купца Горохова, в 1756 г. поставившего здесь первый каменный дом. Первые два квартала принадлежали к аристократической Адмиралтейской части города и были застроены особняками знати. В Московской же части улицы (от Семеновского моста через Фонтанку до Загородного проспекта) располагались доходные дома, заселенные преимущественно чиновниками и прочим служилым людом. С большой долей уверенности можно сказать, что именно в одном из них на 5-м этаже снимал комнату В. С. Печерин. Современное название — улица Дзержинского.

¹¹ Вопрос о подготовке профессоров для русских университетов, подвергшихся разгрому во время министерства князя А. Н. Голицына (1816—1824), уже с осени 1827 г. был одной из насущных проблем, требовавших незамедлительного решения. Академик Г. Ф. Паррот, тогдашний ректор Дерптского университета, имевшего репутацию одного из лучших учебных заведений России, предложил рассчитанный на семь лет план радикального обновления профессорского состава в Московском, Харь-

ковском и Казанском университетах за счет перевода подающих надежды молодых ученых для усовершенствования в Дерпт на пять лет с последующим командированием их на два года за границу. В конце 1827 г. Николай I дал согласие послать 20 лучших студентов сначала на два года в Дерпт, а затем еще на два года в Берлин или Париж. В начале следующего — 1828 г. — 21 человек из названных университетов были отправлены в Дерпт. Так возник профессорский институт, первым директором которого стал профессор Д. М. Перевощиков.

¹² Вероятно, В. С. Печерин, вернувшись в 1835 г. из-за границы и успешно выдержав испытание на степень доктора, положенной диссертации влоть до своего отъезда из Москвы в июне 1836 г. не представил, в связи с чем был назначен, как гласит его формулярный список, «исправляющим должность э.-о. профессора». Видимо, поэтому он и называет себя «*почти профессором*».

¹³ Печерин приводит два наименования города, характерные для разноразличной Бельгии: Льеж по-французски — Liège, по-немецки — Люттих, Lüttich.

¹⁴ В. С. Печерин перечисляет основные вехи своей биографии, о которых подробно расскажет в письмах к С. Ф. Пояркову и Ф. В. Чижову.

¹⁵ Владислав Александрович *Озеров* (1769—1816) — поэт и драматург, автор трагедий «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Дмитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809), пользовавшихся большой популярностью в начале XIX в.

¹⁶ Слова Эдипа из трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах», действие 2, явление 1.

¹⁷ «*Кора и Алонзо, или Дева солнца*» — драматический балет на музыку Ф. Антониони в постановке Ш.-Л. Дидло. Сюжетно балет восходит к прозаической поэме Мармонтеля «Инки» (1773). Дидло использовал также драму А. Коцебу «Дева солнца». Основной пафос балета — любовь к человеку, ненависть к насилию. Премьера состоялась 30 августа 1820 г. в Петербурге. В. С. Печерин ошибочно называет балет драмой и относит к 1815 г.

¹⁸ Арман Эммануэль дю Плесси *Ришелье* (1766—1822) — герцог, французский и русский государственный деятель, генерал-губернатор Новороссийского края и градоначальник Одессы (1803—1814), первый министр (1814—1818, 1820—1821) в правительстве Людовика XVIII.

¹⁹ *Дюк* (от фр. duc) — герцог.

²⁰ *Легитимисты* (от лат. legitimus — законный) — сторонники свергнутой во Франции в 1792 г. старшей ветви династии Бурбонов.

²¹ *Орест* — сын Агамемнона и Клитемнестры. Согласно легенде, убил мать, отомстив за смерть отца, погибшего от ее руки. Судьба Ореста послужила сюжетом трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида, Расина, Вольтера.

²² *Дорогобуж* — уездный город Смоленской губернии.

²³ *Велиж* — уездный город Витебской губернии.

²⁴ Анна *Радклиф*, урожденная Уорд (1764—1823) — английская писательница, автор многочисленных романов. В. С. Печерин имеет в виду «Роман в лесу» («The gothic of the forest», 1791).

²⁵ ... читал *Телемака*... — Имеется в виду философско-утопический роман французского писателя архиепископа Ф. Фенелона «Приключения Телемака» (изд. 1699, на рус. яз. в 1747 г.).

²⁶ Жан *Расин* (1639—1699) — французский поэт, драматург; наиболее известные трагедии — «Андромаха», «Британик», «Ифигения», «Федра» и др.

²⁷ ...от *Галлов* и с ними *двадцать язык*... — 25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.) в день Рождества манифестом было возведено России о победоносном завершении Отечественной войны, о разгроме «Великой армии» Наполеона I, более половины которой составляли иностранные формирования, набранные из представителей 20-ти подвластных Франции европейских стран и народов — австрийцев, баварцев, бельгийцев, вюртембуржцев, голландцев и т. д.

²⁸ *Липовец* — уездный город Киевской губернии.

²⁹ «Вы снова здесь, изменчивые тени...» (нем.).

Гете. Фауст. Посвящение (пер. Б. Пастернака).

³⁰ Жак-Бенинь *Боссюэ* (1627—1704) — французский писатель, епископ, боролся с протестантизмом, отстаивая строгий католицизм. Его перу принадлежат исторические и политико-философские сочинения «Рассуждения о всеобщей истории», «Политика, извлеченная из священного писания», «Трактат о познании бога и самого себя» и др.

³¹ *ИмперIALKA* — маленькая бородка, расположенная под нижней губой; введена в моду императором Наполеоном III. Отрывок написан В. С. Печерным в 1866 г.,

когда значение этого слова было понятно каждому просвещенному европейцу.

³² Тема острова в романе М. Сервантеса «Дон Кихот» связана, с одной стороны, с острой критикой современной автору социальной действительности, а с другой — это художественное воплощение мечты о справедливом общественном строе. Остров — своеобразная идиллия, в которую трудно, но хочется верить. Подобным сравнением В. С. Печерин подчеркивает всю иллюзорность, нежизненность фантазий Кессмана.

³³ *Вахмистр* — старший унтер-офицерский чин в кавалерии и конной артиллерии русской армии; соответствует чину фельдфебеля в других родах войск.

³⁴ Пьер-Луи Моро де *Мопертюи* (1698—1759) — французский ученый, член Парижской (1743) академии и президент физико-математического отделения Берлинской (1745—1753) академии, автор трудов по математике, астрономии, географии, ботанике, философии.

Август Генрих Юлий *Лафонген* (1758—1831) — немецкий писатель-сентименталист, наследие которого составляет более 200 томов романов и повестей.

³⁵ Строки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава I, V, 1—2).

³⁶ Имеется в виду легенда о Горациях и Курициях, в основе которой лежат реальные события, восходящие к раннему периоду римской истории, ко времени войны Рима против Латинского союза во главе с городом Альба-Лонга (предположительно X в. до н. э.). Согласно легенде, три брата из альбанского рода Курициев вышли на поединок с тремя братьями из римского патрицианского рода Горациев. В живых остался один из Горациев. Этот поединок якобы предопределил исход войны в пользу Рима.

³⁷ *Амплификация* (от лат. *amplificatio* — увеличение, распространение) — в стилистике накопление нескольких сходных определений, усиливающих характеристику явления; в риторике — усиление довода путем использования гипербол, контрастов, рассуждений и т. п. В переносном смысле — всякое многословие, излишество, украшательство речи.

³⁸ «Петь начинаем важнее предметы» (лат.). В е р г л и й. Буколики. IV, 1 (пер. С. Шервинского).

³⁹ Во время военных действий 1814 г. русские войска были разделены на две армии: 1-ю, под командованием Барклая де Толли, и 2-ю, под командованием графа Беннигсена. По возвращении из-за границы 2-я армия, состоявшая из двух пехотных корпусов численностью до 60 тыс. человек, была расположена в юго-западных губерниях (Киевской, Подольской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической) и Бессарабии. Главная квартира армии находилась в Тульчине (Подольской губ.). Многие офицеры 2-й армии входили в Южное общество декабристов.

⁴⁰ В. С. Печерин возвращается здесь к сочинению Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании», в котором автор проводит своего героя через все этапы развития. Особое место в трактате занимают рассуждения о возвышенной и чистой любви, а также описание романа Эмиля и Софии, ошибочно именуемой В. С. Печериным Юлией (героиня романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»).

⁴¹ Бартеlemi Преспер *Анфантен* (1796—1864) — французский социалист-утопист, ученик и последователь Сен-Симона, после смерти которого возглавил его школу, просуществовавшую до 1831 г. Позднее занялся предпринимательской деятельностью, участвовал в инженерных работах в Египте (проект Суэцкого канала).

Найти женщину... — В. С. Печерин имеет в виду взгляды Анфантена на женский вопрос. Сен-симонисты признавали равенство полов в религиозном, моральном и политическом отношениях. Однако Анфантен пошел дальше этого утверждения. Он полагал, что равенство полов может быть достигнуто только в случае раскрепощения и обожествления человеческой плоти. Отсюда им выводилось право на свободную любовь. По мысли Анфантена, мужчина и женщина образуют «единый социальный индивид». Потому он считал, что во главе человечества и в первую очередь во главе новой общественной организации (т. е. школы сен-симонистов) должны находиться два человека: мужчина и женщина, образующие «первосвященническую пару», связанную целомудренным браком. Пропаганда теории «раскрепощенной плоти» и поиски достойной невесты на роль «верховой матери», священной подруги «верховного отца», каковым являлся Анфантен, придавали деятельности школы несколько скандальный характер. Это явилось удобным предлогом для обвинения руководителей школы в преступлениях против нравственности, предания их суду и заключения Анфантена в тюрьму. После освобождения он предпринял попытку устроить общину в Египте, но она просуществовала всего два года.

⁴² И здесь, как неземное диво,
Вдруг видит юный пилигрим:
Ресницы опустив стыдливо,
Подруга детства перед ним (*нем.*).

Шиллер. Песнь о колоколе (пер. И. Миримского).

⁴³ *Эвмениды* — в греческой мифологии богини-мстительницы;
Немезида — богиня возмездия.

В. С. Печерин цитирует строки из своей поэмы «Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь (Для февральского праздника 1834 г.)».

⁴⁴ Не совсем точная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Скалозуб говорит следующее:

Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;
А книги сохранят так, для больших оказий.

Действие 3, явление 21.

⁴⁵ В Хмельнике, заштатном городе Литинского у. Подольской губернии, действительно находился старинный замок, но не турецкий, а польский.

⁴⁶ Павел Дмитриевич *Киселев* (1788—1872).

См. комм. 41 к «Докладной записке...» М. И. Жихарева.

П. Д. Киселев был крупным помещиком, наследовал родовые имения. В 1821 г. при вступлении в брак с С. С. Погоцкой получил в приданое большое имение в Киевской губернии, куда входили Торговицкий и Бугский ключи Уманского повета. Там же находилась главная господская контора. Управляющим киевским имением П. Д. Киселева являлся полковник Холмский, именуемый в тексте Гофмейстером.

⁴⁷ В. С. Печерин имеет в виду описание сцены первого поцелуя Юлии и Сен-Пре в романе Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (ч. 1, письмо XIV).

⁴⁸ О грезы счастья, трепет тайный!

Любови первый светлый сон!

Душе открылся мир бескрайний,

И взор блаженством озарен! (*нем.*)

Шиллер. Песнь о колоколе (пер. И. Миримского).

⁴⁹ В начале прошлого века увлечение поэзией Шиллера было характерно для русского юношества. «Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в душе моей!.. Однажды взяв Шиллера в руки, я не покидал его, и теперь, в грустные минуты, его чистая песнь врачует меня», — писал в 1840 г. А. И. Герцен. В более зрелом возрасте он же отмечал: «Шиллер остался нашим любимцем, лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя». Стихотворения «Желание» и «Путешественник», так же как и баллада «Рыцарь Тогенбург» в переводе В. А. Жуковского, оказали несомненное влияние на формирование романтической поэзии в России.

⁵⁰ В. С. Печерин цитирует псалом 136 («Плач плененных иудеев») в поэтическом переводе Ф. Н. Глинки.

⁵¹ Торквато *Тассо* (1544—1595) — итальянский поэт, автор сонетов, мадригалов, драмы «Аминта», поэмы «Освобожденный Иерусалим» и др.

⁵² ...*расстрелян был в 1831 году*... — т. е. в ходе подавления польского восстания 1830—1831 гг.

⁵³ Фаддей Венедиктович *Булгарин* (1789—1859) — русский журналист и писатель. До 1825 г. сотрудничал в «Полярной звезде» К. Ф. Рыльева. Позднее известен реакционными взглядами. Сотрудничал с III Отделением, писал доносы на писателей и журналистов. Автор романов «Иван Выжигин» (1829) и «Петр Иванович Выжигин» (1831).

⁵⁴ Федор Николаевич *Глинка* (1786—1880) — поэт, публицист, военный писатель и историк, автор «Писем русского офицера». Участник кампаний 1805—1806, 1812—1814 гг. Являлся членом «Союза спасения» и одним из руководителей «Союза благоденствия». С 1821 г. от декабристского движения отошел. В 1825 г. уволен с военной службы и послан в Петрозаводск. С 1835 г. в отставке, переехал в Москву, потом в Петербург. Умер в Твери.

⁵⁵ *Сен-Пре, Юлия, лорд Эдуард* — действующие лица романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

⁵⁶ «Северная Пчела» — русская политическая и литературная газета. Выходила в Петербурге в 1825—1864 гг. Редакторы-издатели: Ф. В. Булгарин, с 1831 по 1860 г.— Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. Являлась официальным органом царского правительства. Программа ее сводилась к пропаганде преданности престолу, казенного патриотизма, теории «официальной народности». Не пользовалась ни авторитетом, ни уважением в передовых кругах русского общества.

⁵⁷ Иммануил Кант (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

⁵⁸ В ярком истины зеркале
Образ твой очам блещит;
В горьком опыта фиале
Твой алмаз на дне горит (нем.).

Фиал (от греч. phiale) — чаша, кубок. Ш и л л е р. К радости (пер. Ф. Тютчева).

⁵⁹ В. С. Печерин имеет в виду «Полное собрание всех до ныне переведенных на русский язык и в печати изданных сочинений Г. Вольтера», опубликованное И. Г. Рахманиновым в трех частях в 1791 г. в городе Козлове. Во 2-й части помещены статьи: «О законе квакеров», «О начальном происхождении квакеров».

Квакеры — члены религиозной христианской общины, основанной в середине XVII в. в Англии Дж. Фоксом. Преследуемые английским правительством и англиканскую церковь, квакеры, начиная с 60-х годов XVII в., целыми общинами эмигрировали в Северную Америку. В 1689 г. положение английских и американских квакеров было легализовано «Актом о терпимости».

⁶⁰ О предел очарованья!
Как прелестна там весна! (нем.)

Ш и л л е р. Желанье (пер. В. А. Жуковского).

⁶¹ Приведены строки из стихотворения Шиллера «Желанье» в переводе В. С. Печерина. В переводе В. А. Жуковского они звучат так:

Озарися, дол туманный,
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный?
Где воскресну я душой?

⁶² Дословно: «Прощай! прощай! мой родной берег!» (англ.)
В русском переводе В. Левика звучит:

Прости, прости! Все крепнет шквал,
Все выше вал встает,
И берег Англии пропал
Среди кипящих вод.

Б а й р о н. Паломничество Чайльд-Гарольда. I, XIII, 1.

⁶³ Б а й р о н. Паломничество Чайльд-Гарольда. I, XIII, 10. В русском переводе В. Левика:

Наперекор грозе и мгл
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!

⁶⁴ Имеется в виду Авраам Линкольн (1809—1865), родившийся в семье фермера и в юности работавший поденником, плотогоном, землемером, почтовым служащим. В 1860—1865 гг. — президент США.

⁶⁵ В. С. Печерин писал эти строки в марте 1867 г.

⁶⁶ В 1835 г. В. С. Печерин возвращался в Россию после двухгодичной стажировки в Берлинском университете.

⁶⁷ Имеется в виду Сергей Григорьевич Строганов, попечитель Московского учебного округа в 1835—1847 гг.

⁶⁸ Михаил Трофимович Качёвский (1775—1842) — историк и критик, профессор (с 1810 г.) и ректор Московского университета (с 1837 г.).

⁶⁹ Наполеон III (1808—1873) — племянник Наполеона I, президент Второй республики (1848—1851), французский император (1852—1870).

...не приобрел ни Савойи, ни Ниццы... — Иронический намек В. С. Печерина на события австро-итальянской войны 1859 г., в которой Наполеон III принял участие якобы из-за сочувствия идее итальянской независимости, но в результате которой по условиям Туринского договора 1860 г. Сардинское королевство уступило Франции Савойю и Ниццу.

⁷⁰ В. С. Печерин неточно цитирует строки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»:

Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил (I. L. 13—14).

⁷¹ Строки из песни I поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

⁷² Имеется в виду Июльская революция 1830 г. во Франции.

⁷³ *Карл X (1757—1836)* — французский король в 1824—1830 гг., из династии Бурбонов, брат Людовиков XVI и XVIII. Свергнут революцией 1830 г.

⁷⁴ Константин Матвеевич *Бороздин* (1781—1848) — археолог и историк, тайный советник, сенатор (с 1833 г.). В 1826—1833 гг. — попечитель Петербургского учебного округа.

⁷⁵ Густав Андреевич *Розенкамф* (1764—1832) — юрист. С 1803 г. служил в Комиссии составления законов, созданной для кодификации русского права. В 1822 г. уволен в отставку как противник М. М. Сперанского. Занимался литературным трудом, в частности, историческими и филологическими изысканиями. Женат на Марии Франциске Вильгельмине Бларамберг (1780—1834).

Кормчие книги — сборники апостольских, соборных и епископских правил и посланий, законов светской власти и других материалов, служивших руководством для церкви, особенно для церковного суда. Г. А. Розенкампом было составлено «Обозрение Кормчей книги в историческом виде» (М., 1829; 2-е изд. Спб., 1839). В. С. Печерин принимал участие в работе над 42-й главой Кормчей книги.

Номоканон — название византийских сборников канонического права, включающих церковные правила и императорские постановления относительно церкви.

⁷⁶ Евдоким Филиппович *Зябловский* (1763—1846) — в 1816—1833 гг. профессор статистики Петербургского университета.

⁷⁷ В. С. Печерин имеет в виду картину, изображающую католического святого Франциска Ассизского (1182—1226), основателя монашеского ордена францисканцев.

⁷⁸ ...Тот страдает высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастье ... (ит.).

Д а н т е. Божественная комедия. Ад. V, 121—123 (пер. М. Лозинского).

⁷⁹ «Journal des Débates» — сокращенное название французской ежедневной газеты «Journal des Débates politiques et littéraires» («Газета политических и литературных дебатов»), издававшейся в Париже в 1789—1864 гг.

⁸⁰ Имеются в виду события польского восстания 1830—1831 гг. Действительно, вначале русские войска терпели неудачи: 30 ноября 1830 г. они покинули Варшаву; в начале декабря были вынуждены оставить территорию Королевства Польского, а в феврале—апреле 1831 г. понесли еще ряд поражений от повстанцев.

⁸¹ «Падает невольно сила без разума» (лат.).

Г о р а ц и й. Оды. Книга IV. 4, 65 (пер. Н. Шатерникова).

⁸² ...*забвенью брошенный*... — слова из оды А. С. Пушкина «Вольность».

Александр Христофорович *Востоков* (1781—1864) — русский филолог, академик (с 1841 г.), основоположник отечественной школы славяноведения.

⁸³ Христиан Фридрих (Федор Богданович) *Грефе* (1780—1851) — профессор греческого и латинского языков Петербургского университета, академик (с 1820 г.).

⁸⁴ Мысль о ненужности и вредности принудительного воспитания и образования, о необходимости опираться в этих вопросах на «потребности народа» впервые была высказана Л. Н. Толстым еще в 1862 г. в статьях «О народном образовании», «Воспитание и образование». «Народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство, как представители более образованного сословия, и усилия эти большею частью остаются безуспешными», — писал Л. Н. Толстой. «Школа хороша только тогда, когда она сознала те основные законы, которыми живет народ», «...Единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть свобода».

⁸⁵ Николай Иванович *Греч* (1787—1867). См. комм. 62 к «Докладной записке...».

⁸⁶ «Годы учения Вильгельма Мейстера» — роман Гете, в котором, в отличие от «Вертера», намечается тема борьбы личности с реальной действительностью во имя лучшего будущего. Первое издание вышло в Берлине в 1795—1796 гг.

⁸⁷ Слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 4, явление 4).

⁸⁸ Г. А. Розенкамф похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

⁸⁹ Вероятней всего, имеется в виду Дмитрий Иванович Языков (1773—1845) — академик, писатель и переводчик, директор (1825—1833) департамента Министерства народного просвещения.

⁹⁰ «Сын Отечества» — исторический литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1812—1844, 1847—1852 гг. Основан Н. И. Гречем. Издатели-редакторы: Н. И. Греч, А. Ф. Воейков, Ф. В. Булгарин, А. Ф. Смирдин, А. В. Никитенко и др. В 1829—1835 гг. издавался вместе с журналом «Северный архив» под названием «Сын Отечества и Северный архив». До 1825 г. — один из лучших русских журналов. Впоследствии придерживался консервативно-монархического направления и был довольно бесцветным изданием.

⁹¹ Сергей Семенович Уваров (1786—1855), занимая высокие государственные посты, увлекался исследованием классических древностей, опубликовал ряд работ по древнегреческой литературе и археологии. В этой связи он много времени уделял изучению древних языков под руководством профессора Ф. Б. Грефе, являвшегося в то же время учителем В. С. Печерина по Петербургскому университету. Именно ему В. С. Печерин обязан своим знакомством с С. С. Уваровым.

⁹² Карл Андреевич *Ливен* (1767—1844) — князь, генерал от инфантерии, русский государственный деятель, попечитель Дерптского учебного округа (1817—1828), министр народного просвещения (1828—1833).

⁹³ Фридрих Вильгельм Георг *Кранихфельд* (1789—?) — врач-окулист, с 1826 г. экстраординарный профессор Берлинского университета. Служил агентом русского Министерства народного просвещения по наблюдению за посланными за границу студентами.

⁹⁴ *Пиетизм* — мистическое течение в лютеранской церкви, возникшее в Германии в XVII в.; ставило религиозное чувство выше религиозных догм и было направлено вместе с тем против рационалистического мышления и философии Просвещения. Отвергая внешне церковные обряды, пиетисты особое значение придавали эмоциональным переживаниям и молитве, объявляя греховным всякое развлечение, а также чтение нерелигиозной литературы. В XIX в. пиетизм отличался крайним мистицизмом и ханжеством.

⁹⁵ ...*дали Владимира*... — т. е. орден св. Владимира, учрежденный Екатериной II в 1782 г.

⁹⁶ Александр Павлович *Мансуров* (1788—1880) — генерал, оренбургский генерал-губернатор, в 1830-е годы военный агент в Берлине, впоследствии посланник в Ганновере и Гааге.

⁹⁷ *Спиридон* — действующее лицо одноименного романа Ж. Санд, посвященного религиозно-философской теме, волновавшей французскую общественность в 30—40-е годы прошлого века. В романе прослеживается путь юноши Анжела, ставшего монахом бенедиктинского монастыря. Пораженный жестокостью и глупостью монахов, распущенностью их нравов, он сблизается с монастырским библиотекарем Алексисом, который рассказывает ему историю Спиридона, основателя монастыря. Спиридон, рожденный в иудаизме, сперва принял католичество, а затем перешел к деизму. Он написал трактат, где подверг все выработанные человечеством религиозные учения критическому разбору и предложил свою систему новой религии. Перед смертью Спиридон завещал тайну постижения истинной веры своему ученику Фульгенцию, но тот не смог осуществить возложенную на него миссию и, находясь на смертном одре, поведал ее Алексису, который тщетно пытался обнаружить исчезнувшие бумаги Спиридона. Анжела разыскал эту рукопись и спас ее от забвения.

⁹⁸ Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 2, явление 5).

⁹⁹ *Федор Васильевич Чижов* (1811—1877), как и В. С. Печерин, интересен противоречивостью своего жизненного пути. Окончив в 1829 г. петербургскую гимназию, он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В 1832 г. был оставлен при университете по кафедре математики, занимался под руководством академика М. В. Остроградского. В 1840 г. внезапно, без видимых причин, бросает начатое поприще, на котором его ждала блестящая карьера, и отправляется в заграничное путешествие, становится дилетантом-искусствоведом, пишет в русские журналы более или менее талантливые корреспонденции, собирает материал для большого труда по истории искусства, который так и остался ненаписанным. В 1847 г. по возвращении в Россию арестован и после двух недель пребывания в Петропавловской крепости сослан в Киевскую губернию, где, увлекшись шелководством, создает

плантации, пишет на эту тему специальное исследование. В 1857 г., вернувшись в Москву, он некоторое время занимается издательской деятельностью, но вскоре становится одним из учредителей железнодорожных компаний, организатором создания ряда акционерных обществ, видной фигурой в промышленных кругах Москвы. С 1862 г. являлся бессменным председателем правления Ярославской железной дороги, с 1871 г. — Московско-Курской, Донецкой, Саратовской. Последним его крупным предприятием явилось создание в начале 1870-х годов Ташкентского акционерного шелкомотального общества и Беломорского торгового пароходства. К концу жизни обладал миллионным капиталом. Идеино был близок славянофилам, входил в состав Московского славянского благотворительного комитета. Дружба его с В. С. Печериным продолжалась несколько десятилетий — с начала 1830-х годов и до последних дней жизни. Ф. В. Чижов высоко ценил В. С. Печерина, хотя и не всегда одобрял его поступки.

¹⁰⁰ Мариинский (*Шукин*) двор — торговые ряды в Петербурге по Большой Садовой улице. С ним соседствовал Александровский (Апраксин) двор.

¹⁰¹ «*Антон Райзер*» — основное литературное произведение Карла Филиппа Морица (1757—1793), немецкого писателя, педагога, профессора эстетики Берлинской академии художеств. Н. М. Карамзин, рассказывая о своем посещении Морица в письме, отправленном из Берлина 6 июля 1789 г., свидетельствовал: «Ничего нет приятнее, как путешествовать, — говорит Мориц. — Все идеи, которые мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца». Возможно, эти взгляды Морица, нашедшие отражение и в его творчестве, оказали некоторое влияние на В. С. Печерина.

¹⁰² В данном случае память подвела В. С. Печерина. Трактира с таким названием в середине 1830-х годов в Москве на Тверском бульваре не существовало. Скорее всего он имеет в виду гостиницу «Германия», располагавшуюся на Тверской улице ниже дома генерал-губернатора. Содержал ее С. Лейб.

¹⁰³ Строки из стихотворения М. В. Ломоносова «Из Анакреона».

Анакреон (570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; воспевал любовь, вино, наслаждения. Подобные стихи впоследствии получили название анакреонтических.

¹⁰⁴ Роберт *Аткинсон* (1839—1908) — английский филолог, профессор, знаток романских, кельтского и санскритского языков, дублинский приятель В. С. Печерина; брал у него уроки русского языка. Неоднократно упоминается в письмах В. С. Печерина к Ф. В. Чижову.

¹⁰⁵ *Монте-Пинчио* — название одного из холмов, на которых расположен Рим; с него открывается вид на часть города с собором св. Петра.

Стихотворение написано В. С. Печериным.

¹⁰⁶ «*Московский наблюдатель*» — журнал; выходил в 1835—1837 гг. под редакцией В. П. Андросова и был связан с бывшими участниками кружка Любоумров и литераторами, близкими к этому кружку; продолжал идейные традиции «Московского вестника» и «Европейца». В декабрьской книжке этого журнала за 1835 г. В. С. Печерин опубликовал под приведенным в тексте заглавием воспоминания о своем путешествии по Швейцарии в 1833 г.

¹⁰⁷ Стихотворение Шиллера «Желание» в переводе В. С. Печерина.

¹⁰⁸ *Лугано* — в 1836—1841 гг. главный город швейцарского кантона Тессин (Тичино).

¹⁰⁹ См. выше, комм. 66.

¹¹⁰ «Входящие, оставьте упования» (*ит.*).

Д а н т е. Божественная комедия. Ад. III, 9 (пер. М. Лозинского).

Порядок слов изменен В. С. Печериным.

¹¹¹ Высказанные В. С. Печериным суждения, раскрывающие духовную драму человеческой личности, чрезвычайно близки рассуждениям Лермонтовского Печерина в романе «Герой нашего времени» («Княжна Мери»). Само время, в котором жили оба героя — действительный и литературный, порождало схожие ситуации, мысли, чувства, трагедии.

¹¹² Упомянутый В. С. Печериным эпизод относится ко времени древней Спарты и описан многими античными авторами (Павсанием, Фукидидом, Ксенофонтом и др.). Плутарх сообщает, что в Спарте, согласно законам Ликурга, легендарного древне-спартанского законодателя, за воровство жестоко наказывали. Поэтому «дети старались как можно тщательнее скрыть свое воровство. Так, один из них, рассказы-

вают, украл лисенка и спрятал его у себя под плащом. Зверь распорол ему когтями и зубами живот, но, не желая выдать себя, мальчик крепился, пока не умер на месте.

¹¹³ *Голофа* — гора близ Иерусалима; согласно новозаветному повествованию, здесь был распят Иисус Христос. До места казни он сам нес свой крест. В христианской традиции — синоним страданий.

¹¹⁴ «Надо быть лисицею или львом» (*ит.*).

Данное высказывание принадлежит Никколо Макьявелли (1469—1527), видному дипломату Флорентийской республики, секретарю и канцлеру ее правительства (1497—1512). В трактате «Государь» в XVIII главе, озаглавленной «Как князья должны держать свое слово», Макьявелли писал, что государь вынужден опираться в своей деятельности на закон и силу; «...он должен взять примером лисицу и льва, так как лев беззащитен против сетей, а лисица беззащитна против волков. Следовательно, надо быть лисницей, чтобы распознавать западни, и львом, чтобы устрашать волков». «Пусть князь заботится о победе и сохранении государства, — средства всегда будут считаться достойными...»

¹¹⁵ *Аквилон* — сильный северный или северо-восточный ветер. У древних римлян — один из мифических богов, олицетворявший этот ветер. В. С. Печерин употребляет данный образ в иносказательном смысле, понимая под аквилоном политический режим, созданный Николаем I.

¹¹⁶ Данное письмо было написано в целях повлиять на В. С. Печерина и заставить его вернуться в Россию. Приведенное ранее письмо В. С. Печерина от 23 марта 1837 г. явилось ответом на предложение С. Г. Строганова.

¹¹⁷ «Слова верующего» (*фр.*) — книга Ламенне (1834).

Фелисите-Робер де *Ламенне* (1782—1854) — французский религиозно-политический деятель, философ и писатель, аббат, один из создателей учения «христианского социализма». В названной книге нападал на современный ему экономический и политический строй, что привело его к разрыву с официальной церковью. Одновременно выступал против утопического социализма Сен-Симона, Фурье, Кабе.

¹¹⁸ *Ирод* — имя нескольких иудейских царей. Наиболее известен из них Ирод I Великий (73—4 до н. э.), правитель Галилеи (48—40 до н. э.), царь Иудеи (40—4 до н. э.), прославившийся жестокостями Персонаж евангельского рассказа об «избиении младенцев» в Вифлееме. Сын его — Ирод Антипа, правитель Галилеи, значится в евангельской истории как убийца Иоанна Крестителя. Понтий *Пилат* — римский прокуратор (наместник) Иудеи в 26—36 гг.; его правление было ознаменовано жестокостями, массовыми насилиями, казнями. Ко времени его прокураторства относятся важнейшие евангельские события: выступление Иоанна Крестителя с проповедью и вся деятельность Иисуса Христа. В евангельском рассказе о суде над Христом отмечается, что Пилат, утвердив смертный приговор Христу, умыл руки, дабы снять с себя вину за его казнь. Имя его стало символом лицемерия.

¹¹⁹ «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник аллаха» (*араб.*) — вероисповедная формула ислама, первый и основной догмат веры в исламе.

¹²⁰ Джузеппе *Мадзини* (1805—1872) — итальянский революционер, буржуазный демократ, один из вождей итальянского национально-освободительного движения, руководитель и идеолог его левого республиканского направления.

¹²¹ Имеется в виду письмо от 16 января 1837 г., строки из которого В. С. Печерин процитировал выше.

¹²² «Или Цезарь, или ничто!» (*лат.*) — девиз Чезаре Борджиа, итальянского кардинала и военного деятеля, изображенного в сочинении Н. Макьявелли «Государь». Источником послужили слова, приписываемые римскому императору Калигуле (12—41 гг.), известному своей расточительностью: «Жить надо либо во всем себе отказывая, либо по-цезарски».

¹²³ Имеется в виду орден святой Анны, учрежденный в 1735 г. и имевший четыре степени: крест второй степени носился на шее.

¹²⁴ В. С. Печерин имеет в виду строки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», посвященные Ленскому:

А может быть и то: поэт
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился.

В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей (Глава VI; XXXVIII, XXXIX).

¹²⁵ В Базель В. С. Печерин прибыл из России в 1836 г., отсюда же в 1838 г. после двухлетнего скитания по Швейцарии, пребывания в Лугано и Цюрихе, он пешком направился во Францию, в Париж. Более В. С. Печерин в Швейцарии не бывал.

¹²⁶ Строки из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

¹²⁷ События, о которых идет речь, относятся к 1834 г., когда Мадзини, после неудачного Савойского похода, преследуемый во Франции полицией, был вынужден бежать в Швейцарию. И здесь шестнадцать раз менял Мадзини свое местопребывание, переезжая из одного кантона в другой. В том же 1834 г. в административном центре одноименного кантона городе Золотурн он основал международное объединение революционных организаций политэмигрантов «Молодая Европа», которая просуществовала до 1836 г.

¹²⁸ Чтение иностранных газет, из которых узнавались последние политические новости, в XIX в., и особенно в первой его половине, являлось составной частью общественной и культурной жизни просвещенного русского общества. Так, например, А. И. Герцен вспоминал, что его отец выписывал несколько иностранных повременных изданий, а «одно время брал откуда-то гамбургскую газету». Возможно, В. С. Печерин читал «Hamburger Nachrichten» («Гамбургские известия»), ежедневную газету, выходящую в 1792 г., или «Hamburger Anzeiger» («Гамбургский указатель»), или «Hamburger Korrespondent» (полное название — «Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen Korrespondent», «Политическая и научная газета гамбургского беспристрастного корреспондента»).

¹²⁹ В. С. Печерин имеет в виду роман М. Сервантеса «Дон-Кихот», переведенный на русский язык с французского Флорианова перевода В. А. Жуковским (М., 1804—1806). См. также. комм. 43 к воспоминаниям К. Д. Кавелина «Авдотья Петровна Елагина».

¹³⁰ Город Лугано расположен на берегу одноименного озера в самом южном кантоне Швейцарии, граничащем с Италией. Непосредственно около города возвышаются горы Монте-Бре (930 м) и Сан-Сальваторе (909 м). Население кантона и города почти исключительно итальянского происхождения и католического вероисповедания.

...часовня с могилою польского изгнанника? — На вершине горы Сан-Сальваторе похоронен польский патриот, граф Онуфрий Радовский (1790—1830), находившийся в 1824 г. в изгнании в Лугано, где он трагически погиб.

¹³¹ Джованни Грилленцони (1796—1868) — итальянский революционер, карбонарий, был присужден к смертной казни и эмигрировал в Швейцарию. В 1848 г. вернулся на родину, являлся членом Учредительного собрания в Риме; после поражения революции вновь эмигрировал. После объединения Италии — депутат парламента.

¹³² Беллинцона — город в швейцарском кантоне Тессин (Тичино). С 1803 по 1830, а с 1830 г. поочередно с Лугано и Локарно через каждые шесть лет — административный центр кантона. Постоянной столицей кантона стал с 1878 г.

¹³³ «Зондербунд» («Особый союз» — нем.) — сепаратный союз семи экономически отсталых католических швейцарских кантонов (Ури, Швиц, Унтервальден, Цуг, Люцерн, Фрейбург, Валлис), заключенный в 1845 г. с целью сопротивления прогрессивным буржуазным преобразованиям в Швейцарии и защиты привилегий церкви и незугитов. Постановление союзного сейма в июле 1847 г. о роспуске Зондербунда послужило поводом к открытию последним в начале ноября того же года военных действий против остальных кантонов, где у власти находилась радикально настроенная часть буржуазии. В течение месяца армия Зондербунда была разгромлена войсками федерального правительства. В период гражданской войны в Швейцарии Австрия, Англия и Франция оказывали помощь Зондербунду.

Джакомо Лувини (1795—1862) — адвокат из Лугано, сторонник конституционной формы правления и сильной центральной власти, полковник (с 1832 г.). В 1830—1848 гг. неоднократно избирался депутатом союзного сейма и президентом правитель-

ства кантона Тессин (Тичино). В период войны с Зондербундом командовал 6-й дивизией. Рассказанный В. С. Печериным эпизод этой войны, связанный с отступлением отрядов его дивизии, атакованной сепаратистами в районе горы Айроло, относится к 17 ноября 1847 г. (а не 1846-го, как пишет В. С. Печерин).

¹³⁴ «Русская потаенная литература XIX столетия» — сборник запрещенных в России стихотворений под редакцией Н. П. Огарева, издан в Лондоне в 1861 г.

В. С. Печерин цитирует стихотворение К. Ф. Рыльева.

¹³⁵ *Чентезимо* (ит.) — мелкая монета, равная 1/100 лиры.

¹³⁶ *Сорренто* — город в Южной Италии на побережье Неаполитанского залива, *Искья* (Ischia) — остров у северного входа в Неаполитанский залив; *Капри* — остров у южного входа в Неаполитанский залив.

¹³⁷ Возможно, имеется в виду Карло Бьянко ди Сен-Жорно (1795—1843) — итальянский революционер, участник революций в Пьемонте (1821) и Испании (1820—1823), автор трактата «О национальной повстанческой войне», в котором пропагандировал опыт испанской революции. Друг и сподвижник Мадзини. После неудачной Савойской экспедиции постепенно отошел от политической деятельности; покончил жизнь самоубийством в Брюсселе.

¹³⁸ В. С. Печерин имеет в виду попытку принца Луи Наполеона совершить 30 октября 1836 г. государственный переворот и свергнуть правящую Орлеанскую династию. С этой целью он организовал в полку гарнизона города Страсбурга заговор, который кончился полной неудачей. Сам Бонапарт был арестован и выслан в Америку.

¹³⁹ *Пошевни* — широкие сани, обитые внутри лубом.

¹⁴⁰ *Госпиции* (фр. Hospice, нем. Hospiz) — дома типа постоялого двора, гостиницы, обслуживающиеся преимущественно монахами. Особой известностью пользовались госпиции на швейцарских перевалах Сен-Готард, Сен-Бернар, Симплон и т. д.

¹⁴¹ В ноябре 1836 г. В. С. Печерин послал Ф. В. Чижову письмо из Лугано с просьбой прислать ему 500 руб. Письмо достигло адресата в конце декабря. Тогда же Ф. В. Чижов, И. К. Гебгард, Д. В. Поленов и А. В. Никитенко отправили ему 400 руб., по 100 руб. каждый.

¹⁴² *Госпенталь* — деревня в швейцарском кантоне Ури по дороге через Сен-Готардский перевал, на высоте 1463 м известна своей гостиницей, основанной в XIII в.

¹⁴³ В. С. Печерин имеет в виду одну из популярнейших книг мира — собрание арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

¹⁴⁴ 19 апреля 1871 г., которым датируется отрывок «Из рук вон!», приходилось на время великого поста, кануна Пасхи.

¹⁴⁵ *Армида* — героиня поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Полюбив Ринальдо, рыцаря, отправившегося в крестовый поход, она заморозила его своей красотой и увела на далекий остров, где среди волшебных садов, созданных ее чарами, он забыл о своем высокому долге крестоносца. *Сады Армиды* стали символом забвения.

¹⁴⁶ «И я на свет в Аркадии родился!» (нем.)

Ш и л л е р. Отречение (пер. Н. Чуковского).

Аркадия — область Греции, которая в античных идиллиях и литературе Возрождения изображалась как страна всеобщего счастья, как символ блаженной жизни.

¹⁴⁷ *Вечный Жид*, Агасфер. Согласно христианской легенде, относящейся к эпохе позднего западноевропейского средневековья, во время страдальческого пути Иисуса Христа на Голгофу под бременем креста отказал ему в кратком отдыхе и велел идти дальше, за что был осужден вечно странствовать до страшного суда Символ скитальца.

¹⁴⁸ «Nouvelliste Vaudois» («Вестник кантона Во») — швейцарская буржуазная газета, основанная в 1798 г., издавалась в Лозанне, главном городе кантона, до 1914 г.; в 1830—1840-х гг. имела радикальное направление.

¹⁴⁹ Имеется в виду Биль (флам. Biel; фр. Biènnè) — административный центр одноименного округа Базельского кантона Швейцарии.

¹⁵⁰ В. С. Печерин имеет в виду реальный исторический факт, однако имя французского шпиона и провокатора указывает неверно — его звали Консейль. Описываемое событие относится ко второй половине 1836 г., ко времени резкого обострения франко-швейцарских отношений в связи с грубым вмешательством Франции во внутренние дела Швейцарского Союза. В июне Консейль был послан в Швейцарию с секретной миссией спровоцировать инцидент, который позволил бы Парижу потребовать от швейцарских властей удовлетворения своих претензий. Однако Консейль был

арестован, при нем найдены фальшивые документы, раскрывающие неблагоприятную роль французской дипломатии. Дело получило широкую огласку как в Швейцарии, так и во Франции. Тюльрийский кабинет выступил с угрозами применить военные меры, ввел экономическую блокаду Швейцарии. Конфликт удалось преодолеть только в ноябре. В это время у власти во Франции находились правительства Тьера (до 26 августа) и сменившего его Луи Моле (с 6 сентября).

Адольф Тьер (1797—1877) — французский буржуазный историк и государственный деятель, премьер-министр (1836, 1840), президент республики (1871—1873); снискал позорную славу «палача Коммуны».

Банделье (Bandelier) — член организации «Молодая Европа», сотрудник ее печатного органа, издававшегося в Бьенне; действительно принимал участие в разоблачении Консейля и упоминается Луи Бланом в его «Истории десяти лет» (Revolution française. Histoire des dix ans. 1830—1840. Paris, t. 5, 1844, p. 89).

¹⁵¹ *Савойская экспедиция* — вооруженное вторжение в Сардинское королевство группы итальянских эмигрантов, организованное в феврале 1834 г. Мадзини и «Молодой Италией». Мадзини принимал участие в походе. Не встретив поддержки населения, патриоты после перестрелки с полицией вернулись во Францию.

Джироламо Раморино (1790—1849) — выходец из Генуи; служил в наполеоновских войсках, потом в неаполитанской и пьемонтской армиях, принимал участие в революции 1821 г. в Пьемонте, в польском восстании 1831 г. Будучи генералом, являлся военным руководителем Савойской экспедиции, одним из виновников ее неудачного исхода. В 1848 г. вновь появился на политической арене. В начале 1849 г. был назначен командующим пьемонтской армией. 23 марта 1849 г. потерпел поражение в сражении с австрийцами при Новаре. Был обвинен в измене и 22 мая расстрелян.

¹⁵² В. С. Печерин ждал ответа Ф. В. Чижова на свое письмо от ноября 1836 г., в котором просил прислать ему деньги — 500 руб.

¹⁵³ *Жорж Санд* (настоящее имя Аврора Дюпен, 1804—1876) — французская писательница, представительница демократического течения в романтизме, автор ряда романов на социальные темы («Мопра», «Орас», «Спиридион»), оказавших большое влияние на европейскую интеллигенцию.

Гризетка — во французской литературе тип городской девушки: швеи, модистки, хористки и т. д. Таковы действующие лица некоторых произведений Ж. Санд — «Мопра», «Орас», «Исповедь молодой девушки» и др.

¹⁵⁴ *Вале* (Валлис) — один из самых крупных кантонов Швейцарии, граничащий с Францией и Италией. Главный город — Сьон.

¹⁵⁵ Согласно греческой мифологии, Агамемнон был убит своей женой Клитемнестрой в день возвращения из-под Трои и причиной убийства был ее возлюбленный Эгисф.

¹⁵⁶ Отто Эдуард Леопольд фон *Бисмарк* (1815—1898) — известный германский государственный деятель, один из создателей Германской империи.

¹⁵⁷ Имеется в виду княгиня Христина Бельджийозо (1808—1871) — итальянская писательница и публицистка, активная участница национально-освободительного движения.

Бельджиойозо — семья богатых эмигрантов из Ломбардии, жившая в Париже с 1830 г.; представители итальянской княжеской фамилии; оказывали покровительство Мадзини и его сторонникам, субсидировали организацию Савойской экспедиции.

¹⁵⁸ Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие I, явление 7).

¹⁵⁹ Девиз английского ордена Подвязки (св. Георгия), учрежденного королем Эдуардом III в. 1350 г.

¹⁶⁰ Каспар *Орелли* (1787—1849) — швейцарский филолог, профессор классической филологии в Цюрихе, поэт, общественный деятель.

¹⁶¹ *Шимборазо* и *Деванагори* — устаревшая транскрипция названий двух горных вершин: Чимборасо (6262 м, Анды, Эквадор) и Дхаулагири (8221 м, Гималаи, Непал).

¹⁶² Стихотворение принадлежит В. С. Печерину, датируется временем написания письма — началом мая 1875 г.

¹⁶³ *Раптерсвилль* — город в швейцарском кантоне Санкт-Галлен; расположен на берегу Цюрихского озера.

¹⁶⁴ Франц Иосиф *Галь* (1758—1828) — немецкий физиолог, основатель одного из направлений френологии — учения о связи между психическими функциями мозга и строением черепа.

- ¹⁶⁵ Вероятно, Филипп *Угони*, итальянский революционер и друг Мадзини.
- ¹⁶⁶ *Жиль Блаз* — действующее лицо романа «История Жиль Блаза из Сантья-ни» французского писателя Алена-Рене Лесажа (1668—1747).
- ¹⁶⁷ «Скиталец на суше и на море» (лат.). В е р г и л и й. Энеида. I, 2—3.
- ¹⁶⁸ В. С. Печерин цитирует Евангелие от Иоанна, 4,22.
- ¹⁶⁹ *Альткирх* — город Верхне-Рейнского округа департамента Эльзас, Франция.
- Нанси* — административный центр департамента Мёрт и Мозель, Франция.
- ¹⁷⁰ *Бефор*, или Бельфор — крепость и административный центр Верхне-Рейнского округа департамента Эльзас, Франция.
- ¹⁷¹ *Эпиналь* — административный центр департамента Вогезы, Франция.
- ¹⁷² Огюст-Фредерик Луи Виес де *Мармон* (1774—1852), герцог *Рагузский* (1808), маршал (1809). См. комм. 65 к «Докладной записке...» М. И. Жихарева. После падения Наполеона перешел на сторону Бурбонов, остался им верен во время Ста дней, пэр Франции (1814). Его имя стало символом измены, предательства.
- Шарль Тристан де *Монтолон* (1783—1853) — граф, адъютант и душеприказчик Наполеона I; последовал за ним в ссылку.
- Анри Грасье *Бертран* (1773—1844) — французский дивизионный генерал, участник всех наполеоновских войн. В 1814 г. сопровождал императора на о. Эльбу, был его доверенным лицом во время Ста дней, последовал за ним со своею семьею на о. Св. Елены.
- Анн *Монморанси* (1493—1567) — французский военный и государственный деятель, маршал (с 1522 г.), коннетабль (с 1538 г.), ближайший сподвижник королей Франциска I, Генриха II, Карла IX, один из руководителей борьбы против гугенотов. Его имя — символ верности королю и католицизму.
- ¹⁷³ Строки из стихотворения А. С. Хомякова «Остров» (1836).
- ¹⁷⁴ *Мец* — административный центр департамента Мозель, Франция.
- ¹⁷⁵ Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом».
- ¹⁷⁶ *Понт-а-Муссон* — город в департаменте Мёрт и Мозель, Франция.
- ¹⁷⁷ *Крез* — царь Лидии; славился своим богатством.
- Сарданпал* — царь Ассирии; отличался любовью к роскоши, наслаждениям.
- ¹⁷⁸ *Лонгви* — город в департаменте Мёрт и Мозель, Франция.
- ¹⁷⁹ В. С. Печерин намекает на осаду Меца в 1870 г., во время франко-прусской войны.
- ¹⁸⁰ *Арлон* — город в бельгийской провинции Люксембург.
- ¹⁸¹ В. С. Печерин цитирует псалом 18, ст. 6, который полностью звучит так: «К солнцу положи селение свое; и той яко жених исходатой из чертога своего, возрадуется яко исполн теши путь» («Он поставил в них жилище солнцу; и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполн, пробегать поприще»).
- ¹⁸² *Бастонь* — город в бельгийской провинции Люксембург.
- ¹⁸³ «*Ломоносов, или рекрут-стихотворец*» — опера-водевиль в 3-х действиях А. А. Шаховского (1777—1846). Премьера состоялась в 1814 г.
- ¹⁸⁴ *Намюр* — административный центр одноименной провинции в Бельгии.
- ¹⁸⁵ Иоахим *Лелевель* (1768—1861) — польский историк и общественный деятель, идеолог освободительного движения, один из руководителей польского восстания 1830—1831 гг., после поражения которого эмигрировал во Францию; в 1832 г. переехал в Бельгию.
- ¹⁸⁶ Католический праздник «тела господня».
- ¹⁸⁷ Иосиф *Ежовский* — преподаватель греческого языка в Московском университете в 1826—1827 гг.; кандидат словесных наук.
- ¹⁸⁸ *Назорей* — человек, по обету посвятивший себя богу; он должен был преимущественно воздерживаться от вина, не стричь волосы, не подходить к трупу. В обете назорейства можно видеть ростки позднейшего аскетизма, ничества.
- ¹⁸⁹ «Weekly Dispatch» («Еженедельное сообщение») — английская еженедельная газета; выходила в Лондоне в 1801—1928 гг.; придерживалась радикального направления.
- ¹⁹⁰ В. С. Печерин писал эти строки в ноябре 1870 г.
- ¹⁹¹ Имеется в виду знак принадлежности к масонской ложе.
- ¹⁹² *Жорж Данден* — действующее лицо комедии Мольера «Жорж Данден, или одураченный муж».
- ¹⁹³ Намек на осаду Парижа немецкими войсками во время франко-прусской войны 1870—1871 гг. и тяжелое положение, сложившееся в городе с продовольствием.

¹⁹⁴ Имеется в виду Франсуа-Ашиль *Базен* (1811—1888) — французский маршал, сдавший 27 октября 1870 г. крепость Мец немцам.

¹⁹⁵ В. С. Печерин имеет в виду книгу Филиппо Менкеле Буонаротти (1761—1837) «*Conspiration pour l'égalité dite de Baboeuf*» («Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа»), вышедшую в Брюсселе в 1828 г. и способствовавшую возрождению бабувистских традиций в революционном рабочем движении. Франсуа-Ноэль *Бабеф* (прозванный Гракхом) (1760—1797) — французский революционер, коммунист-утопист, руководитель «движения во имя равенства» во время термидорианской реакции и Директории. Казнен.

¹⁹⁶ *Бернацкий*, или Бернацкий — польский эмигрант, врач; с 1830 г. жил во Франции; в 1865 г. познакомился с А. И. Герценом и лечил членов его семьи.

¹⁹⁷ В. С. Печерин ошибался: французские коммунисты-утописты Бабеф, Буонаротти и другие выступали не против труда, а за освобождение труда, т. е. уничтожение частной собственности на средства производства и эксплуатации человека человеком.

¹⁹⁸ ...*Магометов рай с его гуриями!* — В мусульманской мифологии гуриями называются вечно юные, лишённые духовных и телесных недостатков девы, которые предоставляются в качестве жён обитавшим в раю праведникам на сроки, зависящие от числа благочестивых поступков последних; причем они всегда остаются девственницами.

¹⁹⁹ В. С. Печерин искаженно передает сущность выдвинутой Бабефом идеи «коллективных ферм», основанной на признании общественной собственности на средства производства.

²⁰⁰ В. С. Печерин намекает на те разрушения, которые принесла Франции франко-прусская война 1870—1871 гг.

²⁰¹ *Тюбинген* — город в Вюртембургском королевстве (Германия).

²⁰² Ты будешь знать, как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням.
Но худшим гнетом для тебя отныне
Обиенье будет глупых и дурных,
Поверженных с тобою в той долине (*ит.*).

Д а н т е. Божественная комедия. Рай. XVII. 58—61 (пер. М. Лозинского).

²⁰³ Слова Мимена из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов».

²⁰⁴ *Сократ* (470—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, учитель и воспитатель Алкивиада.

Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.) — афинский политический деятель и полководец. Наряду со многими положительными качествами ему были присущи себялюбие, легкомыслие, дерзость, высокомерие и честолюбие.

²⁰⁵ Имеется в виду *Аристарх* из Самофракии — александрийский грамматик (II в. до н. э.), отличавшийся крайней суровостью и строгостью в оценке художественных произведений. Уже в Древней Греции имя его стало нарицательным и означало критика-педанта.

²⁰⁶ *Ксенофонт* (ок. 430—354 до н. э.) — древнегреческий писатель, ученик Сократа, автор «Сократических сочинений» («Апология Сократа», «Воспоминания о Сократе», «Пир»). В. С. Печерин имеет в виду второе сочинение.

²⁰⁷ *Педро I* (1798—1834) — сын португальского короля и император Бразилии (1822—1831), объявивший ее независимость от Португалии (1831). После отрешения от престола в пользу своего сына, Педро II, собрал армию из иностранных наемников, разбил войска брата, короля Португалии, и в 1832 г. был провозглашен португальским королем.

²⁰⁸ *Франкированное письмо* — письмо со специальным знаком, определяющим сумму почтового сбора и заменяющим почтовую марку, оттиск календарного штемпеля, а также штемпеля с названием и адресом отправителя.

²⁰⁹ *Jardin Mabille* — одно из наиболее посещаемых увеселительных заведений Парижа середины и второй половины прошлого века. Основано в 1840 г. танцовщиком Mabille на avenue Montene. Здесь выступали многие известные в то время танцовщики, один из которых — Шикар — ввел «канкан». Закрыто в 1875 г.

²¹⁰ Джордж Уильям Фредерик Чарльз, герцог *Кембриджский* (1819—1904) — британский фельдмаршал, внук короля Георга III; в 1854 г. командовал дивизией в Крыму.

Джон Спенсер (1835—1910) — английский государственный деятель; в 1868—1875, 1882—1886 гг. — вице-король Ирландии.

²¹¹ *Мехелен* (Мáлин) — город в Бельгии; один из крупнейших религиозных центров страны, резиденция архиепископа.

²¹² Гуг Блэр (1718—1800) — шотландский священник и писатель. В 1762 г. получил кафедру риторики и изящной словесности Эдинбургского университета.

²¹³ Давид Фридрих Штраус (1808—1874) — немецкий теолог и философ-младогегельянец. Отрицал историческую достоверность евангельских притчей и рассматривал их только как результат мифотворчества. Свою теорию изложил в книге «Жизнь Иисуса» (т. 1—2, Тюбинген, 1835—1836), о которой и говорит В. С. Печерин.

²¹⁴ Пауль-Максимилиан-Эмиль Литтре (1801—1881) — филолог и философ, публицист, академик (1871); переводчик «Жизни Иисуса» Штрауса (1839—1840).

²¹⁵ Имеется в виду *Харун-аль-Рашид* — халиф Багдада; правил с 786 г. по 809 г. Прославлен в сказках «Тысячи и одной ночи», согласно которым любил, переодевшись в платье купца, бродить по ночному городу в поисках приключений.

²¹⁶ Строки из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей».

²¹⁷ *...покойной императрицы...* — Имеется в виду Александра Федоровна (1798—1860), жена Николая I.

Речь здесь идет об опубликованной в 1866 г. в Лейпциге двухтомной работе А. Гримма «Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland» («Александра Федоровна, императрица России»).

²¹⁸ *Повет* — административно-территориальная единица в Польше и (до 1929 г.) на Украине, соответствующая уезду.

...английском шире... В. С. Печерин имеет в виду характерное окончание названий английских графств: Ланкшир, Йоркшир, Девоншир и т. д.

²¹⁹ *Пифагор Самосский* (ок. 570—ок. 500 до н. э.) — древнегреческий мыслитель, математик, геометр, основоположник пифагоризма — религиозно-философского учения, исходившего из представления о числе как основном принципе всего существующего. Учение пифагоризма предусматривает строгий аскетизм.

Аполлоний Тианский (I в. н. э.) — философ, крупнейший представитель неопифагоризма.

²²⁰ *Редemptористы* — члены ордена Искупителя, основанного в 1749 г. в Италии и тесно связанного с орденом иезуитов.

²²¹ *Salut* — католическая литургия (месса), во время которой совершается таинство причащения.

²²² Строки из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники».

²²³ В. С. Печерин цитирует Евангелие от Матфея, 6, 34.

²²⁴ Имеются в виду книга в четвертую часть листа (т. е. большого формата) и книга в восьмую долю листа.

²²⁵ «Трапеза древних» (*лат.*) — имеется в виду главная трапеза древних римлян, совершаемая около 3—4 часов пополудни.

²²⁶ Истинное содержание поэзии Пьера-Жана Беранже (1780—1857) осталось для Печерина непонятным. Беранже был духовным сыном Великой французской революции, пламенным республиканцем и патриотом, выступавшим от имени широких народных масс. Его политическая сатира была направлена в защиту идеалов революционной буржуазной демократии.

²²⁷ Горацио Нельсон (1758—1805) — знаменитый английский флотоводец, вице-адмирал, одержал ряд крупных морских побед над французским флотом; в том числе 21 октября 1805 г. около мыса Трафальгар (Испания). Погиб в этом сражении.

²²⁸ В. С. Печерин иронизирует над словами Наполеона I, которые прозвучали в его обращении к войскам накануне штурма Каира (1798): «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!»

²²⁹ *Авраам* — один из библейских патриархов. В 14-й главе Книги Бытия рассказывается о том, как Авраам вместе с вооруженными слугами совершил поход против царя Элама и его союзников, в том числе царя Содомского, чтобы освободить плененного ими племянника Лотта. Когда царь Содома после победы Авраама попросил его вернуть только людей, а добычу оставить себе, Авраам отказался сделать это в выражениях, приведенных В. С. Печериным.

²³⁰ *Диоген Синопский* (ок. 404—323 до н. э.) — известный древнегреческий философ.

Александр Македонский (356—323 до н. э.) — знаменитый полководец и государственный деятель.

Согласно историческому преданию, Диоген, живший в бочке, на вопрос Александра о том, что бы он мог сделать для него, ответил: «Отойди, не загораживай мне солнца».

²³¹ Герцен А. И. Былое и Думы. Ч. 7. Гл. VI «Pater V. Petcherine»; опубликовано в 6-й книге «Полярной Звезды» (Лондон, 1861).

²³² Иди за мной, и пусть себе толкуют!

Как башня, стой, которая вовек

Не дрогнет, сколько ветры ни бушуют! (*ит.*)

Д а н т е. Божественная комедия. Чистилище. V, 13 (пер. М. Лозинского).

²³³ Куплет из «Карманьолы» — знаменитой песни периода Великой французской революции, сложеной народом в 1792 г. Пользовалась широкой популярностью во Франции на протяжении XIX в. Текст изменялся и дополнялся в связи с текущими политическими событиями.

Господа *Veto* — прозвище Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Происходит от *veto* (вето), слишком часто использовавшегося королем в 1791—1792 гг.

²³⁴ В. С. Печерин имеет в виду роман Ж. Санд «Лелия», один из героев которого — Тренмор — в прошлом азартный игрок, шулер, каторжник, искупил свою вину благодеяниями и возглавил венту карбонариев.

²³⁵ Ты ответеешь, подруга дорогая,

Ты ответеешь... твой верный друг умрет... (*фр.*).

Б е р а н ж е. Старушка (пер. В. Курочкина).

²³⁶ *Синель* (искажен.) — сирень.

²³⁷ Настоящий отрывок написан в мае 1871 г., когда в результате франко-прусской войны и революции во Франции была сметена монархия Наполеона III.

²³⁸ Строка из басни И. А. Крылова «Гуси».

²³⁹ В. С. Печерин ошибся: автором цитируемых им «Ямбов» является французский поэт Анри-Огюст Барбье (1805—1882), создатель романтической сатиры.

Да! Ибо наша чернь — как девка из таверны:

Вино зеленое глуша,

Когда ей нравится ее любовник верный,

Она кротка и хороша.

И на соломенной подстилке в их каморке

Она с ним тешится всю ночь,

И, вся избитая, дрожит она от порки,

Чтоб на рассвете изнемочь!

Б а р б ъ е. Ямбы. Идол (пер. П. Антокольского).

²⁴⁰ *Тюильри* — дворец в Париже; со времен Людовика XIII служил резиденцией французских монархов. Во время боев версальских войск с коммунарами 24 мая 1871 г. большая часть дворца сгорела.

Отель де Виль (Hôtel de Ville), или Ратуша, создание которой относится к XIV—XV вв., погибла в огне пожара в дни подавления Коммуны. В середине 1870-х гг. восстановлена.

²⁴¹ *Вандомская колонна* — колонна на Вандомской площади в Париже, построенная в 1806—1810 гг. в честь побед Наполеона I. 16 мая 1871 г. в соответствии с декретом Парижской коммуны была низвергнута. В 1875 г. восстановлена.

²⁴² *Лукиан* (ок. 120 — ок. 180) — древнегреческий философ-сатирик, автор «Диалогов», переведенных на русский язык под названием «Разговоры» (Разговоры мертвых. Спб., 1773, 1778, 1808; Разговоры Лукиана Самосатянина. Спб., 1775—1784).

²⁴³ В. С. Печерин имеет в виду притчу о добром самаритянине (Лука, 10, 30—35).

²⁴⁴ Тадеуш *Костюшко* (1746—1817) — польский политический и военный деятель, руководитель восстания 1794 г.

²⁴⁵ Имеется в виду редemptористский монастырь, расположенный в городке Сен-Трон.

²⁴⁶ Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861. С. LXXVIII.

«Торжество смерти» — поэма В. С. Печерина, написанная им в 1837 г. и опубликованная в этом сборнике (с. 308—331).

²⁴⁷ Франсуаза д'Обинье, маркиза *Ментенон* — вторая жена (с 1684 г.) француз-

ского короля Людовика XIV. Внучка известного предводителя гугенотов д'Обинье. Имела большое влияние на короля.

²⁴⁸ Строки из оды А. С. Пушкина «Вольность».

²⁴⁹ Строки из басни И. А. Крылова «Кот и повар».

²⁵⁰ Скорее всего, В. С. Печерин цитирует строку из стихотворения В. А. Жуковского «К портрету Гете»:

Свободу смелую приняв себе в закон,
Всезрящей мыслию над миром он носился,

И в мире все постигнул он —

И ничему не покорился.

²⁵¹ В. С. Печерин неточно цитирует Первое послание Иоанна (2,17). Правильно: «И мир преходит, и похоть его».

²⁵² ...чающих движения воды ... — В. С. Печерин цитирует Евангелие от Иоанна, 5,3.

²⁵³ *Содом и Гоморра* — в ветхозаветном предании два города древней Палестины, жители которых погрязли в распутстве и были за это испепелены огнем, посланным с неба.

Ниневия — древнейший город и столица Ассирии; его жители были известны распущенностью нравов.

Вавилон — древнейший город Междуречья, столица Вавилонии, символ нравственного упадка, греховности людей.

²⁵⁴ В. С. Печерин цитирует Евангелие от Матфея (5, 28).

²⁵⁵ *Иеремия* — второй из так называемых больших библейских пророков. Его именем названа одна из книг Ветхого завета и поэма, в которой оплакивается разрушение Иерусалима — «Плач Иеремии».

В. С. Печерин приводит слова из Книги пророка Иеремии (9,1).

²⁵⁶ *Жюль Мишле* (1798—1874) — французский историк романтического направления, идеолог мелкой буржуазии, противник католической церкви.

²⁵⁷ «*Revue des deux Mondes*» («Обозрение Старого и Нового света») — двухнедельный буржуазный литературно-художественный и публицистический журнал; издается в Париже с 1831 г.

²⁵⁸ *Фиваидские отшельники* (анакореты) — христиане, которые, спасаясь от преследований, уходили в египетскую пустыню Фиваиду.

²⁵⁹ *Nogent sur Aube* — поместье, в котором жила Ж. Санд.

²⁶⁰ *Пьер-Анри Леру* (1797—1871) — французский публицист, социалист-утопист, один из видных представителей христианского социализма.

²⁶¹ *Якоб Либман Беер*, известный как *Джакомо Мейербер* (1791—1864) — композитор, автор многих опер, в том числе оперы «Роберт-Дьявол» (1837), в которой рассказывается о борьбе добрых и злых сил за душу человека.

²⁶² «*Мопра*» — роман Ж. Санд.

²⁶³ *Эпиктет* (ок. 50 — ок. 138) — греческий философ-стоик, проповедовавший господство человека над своими страстями. Содержание его учения дошло до нас в записях его ученика Арриана. Словом «Ручник» В. С. Печерин переводит заглавие сборника моральных поучений Эпиктета, составленного Аррианом, — «Руководство».

²⁶⁴ *Трапписты* — члены католического монашеского ордена, основанного в 1636 г. де Рансе, аббатом цистерцианского монастыря Ла Трапп (отсюда и название ордена). Он известен своим строгим уставом, требовавшим обета молчания.

²⁶⁵ «Не отступай перед бедой, но смело ей иди навстречу» (лат.).

В е р г и л и й. Энеида. Книга VI. 95.

Еще хуже Онегина... — Имеется в виду, что пушкинский Онегин

... помнил, хоть не без греха,

Из Энеиды два стиха.

(глава I.VI, 7—8)

²⁶⁶ В. С. Печерин имеет в виду, вероятно, «Memoires de Luther, écrits par lui-même, traduits et mis en ordre par J. Michelet» («Воспоминания Лютера, написанные им самим, переведенные и приведенные в порядок Ж. Мишле». Париж, 1837).

Мартин Лютер (1483—1546) — идеолог бюргерской Реформации в Германии, основоположник протестантизма.

²⁶⁷ Опираясь на Библию, Лютер разработал новое толкование вероучения, оти-
цавшее многие догматы и организацию католической церкви.

²⁶⁸ В. С. Печерин имеет в виду английский перевод Библии 1611 г., принятый в ан-
гликанской церкви.

²⁶⁹ Джон Тиндаль (1820—1893) — английский физик. В курсе лекций, изданных
в 1863 г., изложил свое учение о теплоте как форме движения материи.

²⁷⁰ Скорее всего В. С. Печерин имеет в виду три сборника статей, напечатанных
предварительно в журнале «Le globe» («Глобус»), имевшем подзаголовок «Орган сен-
симонистской религии». Сборники вышли в 1830—1832 гг.

²⁷¹ По-видимому, Виктор Шербюлье (1829—1899) — журналист и беллетрист, ли-
тератор, член французской академии, сотрудник журнала «Revue des deux Mondes».

²⁷² Жозеф де Местр (1753—1821) — французский писатель, монархист, католик-
иезуит, один из идеологов аристократической и клерикальной реакции, ярый враг фран-
цузской буржуазной революции конца XVIII в. В 1802—1817 гг. — посланник сардин-
ского короля в Петербурге. В своих произведениях создал образ палача как исполни-
теля «божьего дела на земле».

²⁷³ Софья Петровна Свечина, в девичестве Соймонова (1782—1859) — русская
аристократка, писательница. В 1817 г. переехала в Париж, где перешла в католичество
и окружила себя иезуитами и ультрамонтанами. Ее салон в Париже являлся центром
клерикальной и иезуитской пропаганды.

²⁷⁴ Жан-Батист-Анри Лакордер (1802—1861) — французский проповедник, член
академии. В 1820-х гг. вместе с Ламенне издавал журнал «L'Avenir» («Будущее»), на
страницах которого отстаивал идею независимости церкви от государства. Пытался
соединить требования ортодоксального католицизма с учением о политической свободе
и правах рабочих.

²⁷⁵ *Notre Dame* — Собор Парижской Богоматери в Париже.

²⁷⁶ Гиацинт (1827—1897) — католический монах, привлечший внимание пропове-
дями в *Notre Dame*; после провозглашения в 1870 г. догмата о непогрешимости папы
перешел в оппозицию и возглавил старокатолическое движение.

Целестин-Иозеф Феликс (1810—1891) — известный французский проповедник,
иезуит. С. 1853 г. читал проповеди в *Notre Dame*. Пытался примирить науку с католиче-
ской религией.

²⁷⁷ Иоанн Златоуст (ок. 347—407) — один из виднейших идеологов восточно-
христианской церкви, ритор и богослов, проповедник аскетизма; константинопольский
патриарх (398—404). Причислен к лику святых. Автор множества сочинений: трактат-
ов, проповедей, псалмов, комментариев к Библии.

²⁷⁸ Фридрих-Вильгельм III (1770—1840) — прусский король (1797—1840).

²⁷⁹ Мария Тальони (1804—1884) — итальянская артистка балета, одна из видных
танцовщиц эпохи романтизма.

²⁸⁰ Ждет Идея, как чистая дева,

Кто возложит невесте венец.

«Прячься», — робко ей шепчет мудрец,

А глупцы уж трепещут от гнева.

Но безумец-жених к ней грядет

По полуночи, духом свободный,

И союз их — свой плод первородный —

Человечеству счастье дает.

* * *

По безумным блуждая дорогам,

Нам безумец открыл Новый Свет;

Нам безумец дал Новый Завет —

Ибо этот безумец был богом (фр.).

Б е р а н ж е. Безумцы (пер. В. Курочкина).

²⁸¹ По воле божьей я пою,

Как птичка в поднебесье (нем.).

Г е т е. Певец (пер. Ф. Тютчева).

²⁸² Шарль-Морис Талейран-Перигор (1754—1838) — знаменитый французский
дипломат, министр иностранных дел (1797—1799, 1799—1807, 1814—1815); отличался
крайней беспринципностью в политике и корыстолюбием.

²⁸³ Письмо от 23 марта 1837 г.

²⁸⁴ Франсуа-Мари-Шарль *Фурье* (1772—1837) — французский социалист-утопист.

²⁸⁵ *Перипатетиками* (прогуливающийся — *греч.*) назывались приверженцы древнегреческой философии школы Аристотеля; название произошло оттого, что, по преданию, Аристотель имел обыкновение излагать свою философию во время прогулок.

²⁸⁶ *Фаланстер* — «дворец», в котором, согласно Фурье, должны были жить члены фаланги — производственно-потребительской кооперации, являющейся, по его мнению, основой общества будущего.

²⁸⁷ Строка из басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей».

²⁸⁸ «Жанетто, оставь женщин и займись математикой!» (*ит.*)

Руссо. Исповедь (ч. 2, кн. 7).

²⁸⁹ Подробно см.: С а б у р о в А. Из биографии В. С. Печерина // Литературное наследство. М., 1941. Т. 41—42. С. 471—482.

²⁹⁰ *Кармелиты* — члены католического монашеского ордена, основанного в середине XII в. Бартольдом Каламбрийским на горе Кармеле, в Палестине. При папе Иннокентии IV был официально принят как «нищенствующий». В 1452 г. учрежден женский орден кармелиток.

²⁹¹ *Альфонс-Мария де Лигвори* (1696—1787) — выходец из знатной неаполитанской фамилии, епископ, основатель ордена редemptористов. В 1816 г. признан блаженным, в 1839 г. причислен к лику святых, в 1871 г. провозглашен учителем церкви.

²⁹² В. С. Печерин имеет в виду Дмитрия Андреевича *Толстого* (1823—1889) — русского государственного деятеля, обер-прокурора Синода (1865—1880), министра народного просвещения (1866—1882), одного из столпов политической реакции 1880-х гг., инициатора проведения реформы 1871 г., на основании которой были созданы классические гимназии вместо реальных. Реформа вызвала всеобщее недовольство в либеральных и демократических кругах русского общества. В. С. Печерин, сам будучи филологом-классиком и профессором греческой словесности, в письмах к Ф. В. Чижевскому высказывался против политики Д. А. Толстого.

²⁹³ В. С. Печерин цитирует стихотворение В. А. Жуковского «Пери и ангел».

²⁹⁴ В. С. Печерин писал эти строки в феврале 1872 г.

²⁹⁵ *Силлабус* — перечень, указатель (*лат.*). Печерин имеет в виду документ: «Полное перечисление главных заблуждений нашего времени», изданный в 1864 г. как приложение к энциклике папы Пия IX «*Quanta cura*». В нем подвергаются осуждению и предаются анафеме важнейшие научные, политические и общественные течения и идеи нового времени; он проникнут духом воинствующего средневекового отрицания науки, культуры, общественного прогресса.

²⁹⁶ *Св. Терезия* (?—1582) — испанская монахиня и писательница; в 1622 г. причислена к лику святых; считается покровительницей Испании; ее писания представляют собою смесь религиозных и эротических мотивов.

²⁹⁷ *Люцерн* (1738—1821) — французский епископ; во время Великой Французской революции эмигрировал; на родину вернулся в 1815 г.; сторонник автономии французской церкви.

Ультрамонтаны (от *лат.* *ultra montes* — за горами, т. е. за Альпами, в Риме) — последователи реакционного направления в католицизме, поддерживающие притязания папства на вмешательство не только в церковные, но и в светские дела любого государства. Наиболее рьяными ультрамонтанами являются иезуиты. В первой половине XIX в. пользовались широкой поддержкой реакционных кругов, видевших в католической церкви и папстве оплот против революции и социализма.

Галлицизм (от *Gallia* — римское название Древней Франции) — религиозно-политическое движение, добивавшееся автономии французской католической церкви от папской власти.

²⁹⁸ *Prie-Dieu* (*фр.*) — скамейка, на которую становятся на колени молящиеся.

²⁹⁹ *Августин* (354—430) — один из отцов церкви. Сначала был язычником, в 387 г. принял христианство, в 395 г. стал епископом в г. Гиппона (Сев. Африка). Боролся с ереями в христианстве.

Амвросий Медиоланский (ок. 339—397) — епископ Милана (с 374 г.); проповедник, богослов; как церковный политик стремился подчинить светскую власть церкви, боролся с язычеством и арианством.

³⁰⁰ *Иезуиты* — члены наиболее влиятельного в католической церкви монашеского ордена, созданного для защиты интересов папства, миссионерской деятельности и борь-

бы с ересями. Основан в 1534 г. испанским дворянином Игнатием Лойолой; утвержден под названием «Societas Jesu» («Общество Иисуса») папой Павлом III в 1540 г.

³⁰¹ *Провинциалы* — имеются в виду местные руководители католических орден-нов.

³⁰² *Картезианцы* — члены монашеского католического ордена, основанного св. Бруно в 1084 г. на юге Франции в местности Шартрез (лат. Cartusia — отсюда название). Официально утвержден в 1176 г. Около 1234 г. возник женский орден.

³⁰³ *Федор Федорович Печерин* — двоюродный брат В. С. Печерина; родился в 1807 г., воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков, служил в лейб-гвардии Московском полку, потом в штабе вел. кн. Михаила Павловича; в 1848 г. в чине полковника вышел в отставку и умер холостым в Одессе в середине 1850-х гг. В 1851 г. встречался с В. С. Печериным в Лондоне.

³⁰⁴ *Франц Ксаверий Баадер* (1765—1841) — немецкий философ и теолог, профессор кафедры философии и богословия Мюнхенского университета (с 1826 г.); высказывался против абсолютной власти пап в церковных делах, но вместе с тем защищал основные догматы католицизма и выступал против революционного движения.

³⁰⁵ *Антон Антонович Дегуров* (Digour) — выходец из Франции, в 1806—1816 гг. — профессор Харьковского, а с 1816 г. — Петербургского университетов; в 1825—1836 гг. — ректор последнего. Придерживался консервативных взглядов.

³⁰⁶ Имеется в виду персонаж драмы Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский».

³⁰⁷ *Большая армия* (Grande armée) — так называлась с 1805 г. основная группировка вооруженных сил французской империи, действовавшая на главных театрах наполеоновских войн.

³⁰⁸ В августе 1842 г. Ф. В. Чижов посетил В. С. Печерина в монастыре Сен-Трон, в Виттеме.

³⁰⁹ *Новициами* во Франции называют послушников, готовящихся стать монахами. Отсюда новициат — общежитие послушников.

³¹⁰ Не считать друзей, пока благоденствие длится, Если же небо твое хмурится, ты одинок (лат.).

О в и д и й. Скорбные элегии. Кн. I. IX. 5—6 (пер. Н. Вольпина).

³¹¹ Строки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава VIII, XI, 1—4).

³¹² В. С. Печерин имеет в виду некоторые исторические события, происшедшие в 1840 г., однако допускает ряд неточностей. Вильгельм I (1772—1843), король Нидерландов (1815—1840), в октябре 1840 г. отрекся от престола в пользу своего сына Вильгельма II, а не умер, как говорится в тексте. Прах Наполеона I был перевезен в Париж и захоронен в Доме Инвалидов. Наконец, в Сирийской экспедиции, являвшейся составной частью второго турецко-египетского кризиса 1839—1841 гг., Пруссия участия не принимала, придерживаясь строгого нейтралитета и ограничиваясь моральной поддержкой действующих держав — Австрии, Англии, Турции.

³¹³ Приведенные В. С. Печериным строки являются последней строфой популярной песни, написанной в конце 1820-х гг. французским поэтом-песенником Полем-Эмилем Дебро (1796—1831), в которой униженному положению Франции после реставрации династии Бурбонов противопоставляются воспоминания о былой славе страны эпохи Великой французской революции и Наполеона I.

³¹⁴ В. С. Печерин имеет в виду воззрения Анфантена на роль «первосвященника» в руководимой им школе сен-симонистов.

³¹⁵ *Saint-Acheul* — деревушка во Франции, недалеко от города Амельена; названа в честь святого Acheul, умершего мученической смертью в 303 г. В XIX в. там находился монастырь иезуитов.

³¹⁶ Иван Сергеевич Гагарин (1814—1882). См. комм. 70 к «Докладной записке...» М. И. Жихарева.

³¹⁷ *Епитимья* — наказание в виде поста и т. п., налагаемое на верующих за какие-либо прегрешения.

³¹⁸ *Капитул* — здесь в смысле общего собрания всех членов новициата.

³¹⁹ ...Во многоглаголании несть спасения. — В. С. Печерин, возможно, имеет в виду выражение из Книги притчей Соломоновых (10, 19). Там: «от многословия не избежиши греха».

³²⁰ *Виттем* (Виттен) — город на территории Рейнской провинции (Германия).

³²¹ Настоящий отрывок написан в сентябре 1872 г. в ответ на содержащееся в письме Ф. В. Чижова от 22 июня того же года очередное требование продолжить работу над мемуарами.

³²² В. С. Печерин, скорее всего, описался: речь идет, несомненно, о древнегреческом государственным деятеле, афинском тиране Пизистрате (VI в. до н. э.).

³²³ *Францисканцы* — члены католического монашеского «братства», основанного Франциском Ассизским и утвержденного в 1209 г. в качестве нищенствующего ордена.

³²⁴ Марк Тулий Цицерон (106—43 до н. э.) — древнеримский политический деятель, писатель, оратор.

³²⁵ *Ахен* — город на территории Рейнской провинции (Германия).

³²⁶ Ответ на письмо Ф. В. Чижова от 28 сентября 1872 г.

³²⁷ Степан Степанович *Джунковский* (1820—1870) — в 1842 г., окончив Петербургский университет, уехал за границу, в Риме перешел в католичество, вступил в орден иезуитов, позднее стал священником. В 1853 г. его удалили из Рима, он едет в Лондон, потом семь лет живет среди эскимосов, проповедует там католичество, а в 1866 г. возвращается в Россию и переходит в православие, что вызвало большую и шумную реакцию русской прессы. А. И. Герцен упоминает о нем в «Ответе И. С. Аксакову».

³²⁸ Шарль-Фобр де *Монталамбер* (1810—1870) — французский писатель и консервативный политический деятель; в 1830—1840-е гг. — глава воинствующей католической партии; защищал принципы религиозного образования, один из вдохновителей французской интервенции в Рим (1849).

³²⁹ Имеется в виду второе посещение Ф. В. Чижовым В. С. Печерина в монастыре.

³³⁰ *Брюгге* (флам. Brugge, фр. Bruges) — административный центр провинции Западная Фландрия (Бельгия).

³³¹ *Остенде* — город в провинции Западная Фландрия (Бельгия).

³³² *Фалмут* — город на полуострове Корнуолл, Великобритания.

³³³ *Баг* — административный центр графства Сомерсет (Великобритания).

³³⁴ Александр *Поп* (1688—1744) — английский поэт, автор «Опыта о критике» (1711) — манифеста английского просветительского классицизма, поэм «Виндзорский лес», «Похищение локона», «Дунсиады», «Новой Дунсиады» и т. д.

³³⁵ *Каплица* (от фр. chapelle) — католическая часовня.

³³⁶ Герцен А. И. Полн. собр. соч. В 30-ти т. М., 1957. Т. 11. С. 391.

³³⁷ Лоренс *Стерн* (1713—1768), Оливер *Гольдсмит* (1728—1774), Вальтер *Скотт* (1771—1832) — известные английские писатели.

³³⁸ Рассказанным В. С. Печериным событиям предшествовала следующая история. В мае 1845 г. он написал письмо брату Ф. Ф. Печерину, которое было перлюстрировано и по поводу которого III Отделением было заведено специальное дело за № 127. Восстановив подробности отъезда В. С. Печерина за границу, III Отделение через министерство иностранных дел России поручило русским посольствам в Германии и Англии собрать о нем имеющиеся сведения. Переписка по этому поводу продолжалась три года, после чего русскому консулу в Лондоне было предписано встретиться с В. С. Печериным и потребовать его возвращения в Россию. В феврале 1848 г. Сенат принял решение о лишении В. С. Печерина всех прав состояния и об изгнании его из отечества. Кремер и Фокс действовали согласно инструкции.

³³⁹ *Саул* — первый царь израильско-нудейского государства; в ветхозаветном повествовании воплощение правителя, поставленного на царство по воле бога, но ставшего ему «неудобным» из-за многочисленных прегрешений перед ним и гонений на подданных. Единственное, что помогает Саулу отгонять злого духа, мучавшего царя с тех пор, как бог отступился от него, это вдохновенная игра юного *Давида* на арфе.

³⁴⁰ ...*елизаветинских времен*... — т. е. эпохи Елизаветы I Тюдор (1533—1603), английской королевы (1558—1603), последней из этой династии.

³⁴¹ *Лорд Арундель* — титул герцогов Норфолкских.

³⁴² *Каплан* (фр. chapelain, англ. chaplain) — капеллан.

³⁴³ Речь идет о периоде Крымской войны 1853—1856 гг.

³⁴⁴ *Св. Петр* — в новозаветном повествовании апостол, один из ближайших учеников Христа. Римские папы считают себя его преемниками.

Григорий XVI (1765—1846) — римский папа и светский государь Папской области в 1831—1846 гг.; проводил реакционную политику. Встреча Николая II и Григория XVI состоялась в конце 1845 г.

³⁴⁵ В. С. Печерин имеет в виду притчу о потерянной драхме (Лука, 15, 8—9).

³⁴⁶ «Король, и до конца ногтей — король» (англ.).

Шекспир. Король Лир. Акт IV, сцена 6 (пер. Б. Пастернака).

³⁴⁷ Густав *Струве* (1805—1870) — немецкий мелкобуржуазный демократ; по профессии журналист; один из руководителей восстаний в Бадене в апреле и сентябре

1848 г. и баденско-пфальцского восстания 1849 г.; после поражения революции эмигрировал из Германии; участник Гражданской войны в США на стороне северян.

³⁴⁸ В. С. Печерин имеет в виду эпизод, рассказанный в «Былом и Думах» (Герцен А. И. Полн. собр. соч. В 30-ти т. М., 1956. Т. 10. С. 62).

³⁴⁹ Настоящий отрывок написан в ноябре 1872 г. В то время в Бельгии королем был Леопольд II (1865—1909).

³⁵⁰ *Тартюф* — действующее лицо комедии Мольера «Тартюф, или обманщик», которого сам автор характеризует как «святошу».

Пексниф — персонаж романа Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита»; ханжа и лицемер.

³⁵¹ В. С. Печерин приводит неточное название. Правильно — «La Russie sous Nicolas I» («Россия под властью Николая I», 1845).

Иван Гаврилович *Головин* (1816—1890) — публицист-эмигрант. Служил в министерстве иностранных дел, затем в 1845 г. уехал за границу и принял австрийское подданство. Известен рядом сочинений о России.

³⁵² В. С. Печерин цитирует псалом 132, 1.

³⁵³ В. С. Печерин приводит отрывок из Послания апостола Иакова, 1, 17.

³⁵⁴ ... *следы древней финикийской промышленности...* — В I тыс. до н. э. финикийцы вывозили из Британии олово. Геродот (V в. до н. э.) называл Британские острова Касситеридами, т. е. Оловянными. Следы этой добычи и видел В. С. Печерин.

³⁵⁵ Слова из басни И. А. Крылова «Ларчик».

³⁵⁶ San Paolo fuòri le mura — католический собор в Риме.

³⁵⁷ Фридрих Иоанн *Овербек* (1789—1869) — художник, представитель позднего немецкого романтизма; приехал в 1810 г. в Италию, примкнул к школе так называемых «назарейцев», обществу австрийских и немецких художников, основанному в Риме в 1808 г.; школа стремилась к возрождению простоты и наивности религиозного монументального искусства средних веков; в 1813 г. перешел в католичество.

³⁵⁸ Иосиф Иванович *Габерцеттель* (1791—1853) — русский художник, учился в Петербургской академии художеств, стажировался в Италии, академик (1834). В 1843 г. покинул Россию; оставшиеся годы жил в Италии и Англии.

³⁵⁹ Имеется в виду Иоганн *Штраус* (1825—1899) — австрийский композитор, прозванный «королем вальсов».

³⁶⁰ *Крылос* — здесь в значении церковного хора.

³⁶¹ *Луи-Филипп* (1773—1850) — герцог Орлеанский, французский король (1830—1848); принадлежал к младшей линии Бурбонов. С 1848 г. — в эмиграции.

³⁶² Арман-Жан дю Плесси *Ришелье* (1585—1642) — французский государственный деятель, кардинал; уничтожил политическую организацию гугенотов.

Этьен-Франсуа *Шуазель*, граф де Стенвиль (1719—1785) — маркиз, французский государственный деятель, при котором в 1764 г. иезуиты были изгнаны из страны.

Себастьян Жозе ди Карвалью-и-Мелу *Помбал* (1699—1782) — португальский государственный деятель, в 1759 г. изгнанный из страны иезуитов.

Камилло Бенсо *Кавур* (1810—1861) — государственный деятель и дипломат Пьемонта и Италии; будучи главой правительства, осуществил ряд антиклерикальных мер, в том числе упразднил религиозные ордена и секуляризировал их имущество.

Отто Эдуард *Бисмарк* выступал против клерикальной оппозиции, поддержанной католической церковью; добился изгнания иезуитов из Германии в 1872 г.

³⁶³ Время активной деятельности иезуитов в России — вторая половина XVIII и начало XIX в. Наибольшего успеха они добились в среде высшего московского и петербургского общества: отдельные представители древних дворянских родов — Оловские, Голицыны, Толстые и т. п. — перешли в католичество. В декабре 1815 г. иезуиты были высланы из Петербурга, а в марте 1820 г. Александр I утвердил указ об упразднении в стране принадлежавших иезуитам учебных заведений, конфискации их имущества и высылке из России.

³⁶⁴ Строки из стихотворения В. С. Печерина, написанного, вероятно, в 1869 г. Оно сохранилось в письмах С. Ф. Пояркову от 31 января 1869 г. (под названием «Разочарование») и Ф. В. Чижову от 18 июля того же года (озаглавлено «Ирония судьбы»).

³⁶⁵ Луи Алибо (1810—1836) совершил покушение на Луи-Филиппа в июле 1836 г.

³⁶⁶ Имеется в виду Михаил Александрович *Бакунин* (1814—1876) — революционер, один из идеологов анархизма и народничества.

Николай Иванович *Сазонов* (1815—1862) — участник студенческого кружка А. И. Герцена; впоследствии эмигрант, публицист.

³⁶⁷ Пий IX, в миру граф Джованни Мариа Мастаи-Ферретта (1792—1878) — римский папа с 1846 г. Был избран в момент, когда в Италии назрела необходимость проведения буржуазных преобразований и завершения объединения страны. Стремясь предотвратить рост народного движения, выступил инициатором ряда либеральных реформ; амнистии политическим заключенным, эдикта о печати, создания национальной гвардии и т. п. Правители ряда итальянских государств последовали его примеру, другие отказались, пытаясь сохранить прежние порядки. В такой обстановке и возник миф о Пие IX как об освободителе Италии. Волна энтузиазма и манифестации в честь Пия IX были настолько сильны, что увлекли, пусть на мгновение, даже некоторых видных демократических деятелей, в их числе Мадзини и Гарибальди. Миф этот лопнул уже в 1848 г., когда Пий IX бежал из Рима, спасаясь от восставшего народа; в 1849 г. призвал европейские державы к интервенции против Римской республики.

³⁶⁸ Франсуа-Пьер-Гийом Гизо (1787—1874) — французский историк и политический деятель консервативного направления; министр иностранных дел (1840—1847) и премьер-министр (1847—1848). Революция 1848 г. явилась крушением его политической программы.

³⁶⁹ «Times» («Таймс») — крупнейшая английская общественно-политическая ежедневная газета консервативного направления; основана в 1786 г. в Лондоне.

³⁷⁰ ...путешествовал по Европе с Разумовским... — Вероятно, с Кириллом Григорьевичем Разумовским (1728—1803).

³⁷¹ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — немецкий ученый, философ, общественный деятель.

Гуго де Гроот Гроций (1583—1645) — голландский философ, историк, юрист, политический деятель. В. С. Печерин неточно указал название его труда: не «De pace et bello» («О мире и войне», лат.), а «De jure belli ac pacis» («О праве войны и мира», 1625).

Карло Гольдони (1707—1793) — итальянский драматург, реформатор итальянского театра, создатель национальной комедии.

³⁷² Ноева голубица — в библейском рассказе о всемирном потопе голубица, которую Ной выпустил из ковчега для поисков суши.

³⁷³ В. С. Печерин цитирует рассказ о всемирном потопе (Книга Бытия, 8, 9).

³⁷⁴ Б а й р о н. Паломничество Чайльд-Гарольда. I, 13.

В переводе В. Левика звучит:

Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.

³⁷⁵ Настоящий отрывок написан в апреле 1874 г.

³⁷⁶ Моисей — по библейскому преданию, пророк, законодатель, религиозный наставник и политический вождь еврейских племен в так называемом исходе из Египта в Ханаан (Палестину);

Аарон — брат Моисея, согласно ветхозаветным рассказам; роль его рядом с Моисеем вторична.

³⁷⁷ Элизнум, или Елисейские поля — в греческой мифологии блаженные края, куда после смерти переносятся тени героев и добродетельных людей.

³⁷⁸ Видимо, Велко — известный в середине прошлого века врач.

³⁷⁹ Имеется в виду Аксель Оксеншерна, граф Сёдермере (1583—1654) — шведский государственный деятель, дипломат, риксканцлер (1612—1654).

³⁸⁰ В. С. Печерин цитирует Евангелие от Марка, 16, 18.

³⁸¹ Хаким — мудрец (араб.) — обычный титул врача на Востоке.

³⁸² Вильям Пальгрев (1826—1888) — английский путешественник, иезуит; первым пересек Аравию; позднее консул в Болгарии, Уругвае, Сиаме.

³⁸³ Речь идет о женском монастыре в Ругамптоне.

³⁸⁴ «Британское библейское общество» возникло в 1804 г. по инициативе проповедника Томаса Чарльза Бала.

Самуил Вильберфорс (1805—1873) — английский прелат и духовный писатель, епископ Оксфордский.

³⁸⁵ Вероятно, В. С. Печерин имеет в виду Генриха Гранвиля и его сына Генри Фицаланда Говардов, герцогов Норфолкских, сторонников католической церкви.

³⁸⁶ Артур Уэсли Веллингтон (1769—1852) — английский полководец, государственный деятель, дипломат, лидер тори.

Джордж Гамильтон Гордон *Абердин* (1784—1860) — английский политический деятель, один из лидеров тори, премьер-министр (1852—1855). По-видимому, В. С. Печерин, называя Абердина и Николая I «приятелями», намекает на переговоры, которые они вели в середине 1840-х гг. о разделе Османской империи.

³⁸⁷ *Эмфаза* (от греч. *emphasis* — выразительность) — усиление эмоциональной выразительности речи с помощью ритма, синтаксиса, стилистических фигур, повторов и других приемов.

Рассказ Ферамена:

Оставив позади ворота городские,

Он колесницею в молчаньи управлял... (*фр.*)

Р а с и н. Федра. Действие 5. Сцена 6 (пер. М. Донского).

³⁸⁸ Северян богаче несравнимо

Нищий в Ангельских воротах Рима:

Ибо созерцает вечный Рим... (*нем.*).

Ш и л л е р. Друзьям (пер. Н. Чуковского).

³⁸⁹ «Catholic World» («Католический мир») — еженедельный журнал; выходил в Нью-Йорке с 1865 г.

³⁹⁰ В. С. Печерин цитирует Книгу Бытия, 2, 18.

³⁹¹ *Мария Египетская* — в христианских преданиях раскаявшаяся блудница.

³⁹² Настоящий отрывок написан в апреле 1873 г.

³⁹³ Письмо датировано 20 мая 1872 г.

³⁹⁴ В. С. Печерин имеет в виду события начала 1870-х гг. В 1870 г. светская власть папы была низвергнута, а Папское государство ликвидировано. В следующем году Рим был провозглашен столицей Италии, владения папы были ограничены Ватиканским и Латеранским дворцами в Риме и загородной виллой в Кастельгандольфо. Одновременно итальянский парламент одобрил закон, регулирующий отношения итальянского государства со святым престолом, согласно которому персона папы объявлялась неприкосновенной, ему предоставлялась полная свобода в осуществлении функций духовной власти, право поддерживать дипломатические контакты с иностранными державами, и т. п. Результатом явилось возникновение острого конфликта между церковью и государством. Энцикликой «Респлицитес» (1 ноября 1870 г.) Пий IX отлучил от церкви всех тех, кто прямо или косвенно содействовал «узурпации» его владений, в том числе короля Виктора-Эммануила II, Кавура и др. В марте 1871 г. им был провозглашен принцип «*non expedit*» («не следует») в отношении участия итальянских католиков в парламентских выборах. Пий IX отказался также признать закон о гарантиях и обратился к духовенству с призывом добиваться восстановления прав святого престола, а себя объявил «Ватиканским узником», пленником итальянского государства. В 1870 г. был принят догмат о «непогрешимости папы». Наиболее фанатично настроенные представители католической иерархии при папском дворе и во Франции пытались сделать вопрос о светской власти папы предметом обсуждения европейской дипломатии, рассчитывали на помощь католических держав, а некоторые даже на прямую интервенцию Франции в Италию.

³⁹⁵ Имеется в виду бог Яхве.

³⁹⁶ В. С. Печерин неточно цитирует Библию и соединяет высказывания из разных мест Книги Исаяи. В действительности подразумеваемые им изречения звучат так: «И будут цари питателями твоими, а царицы их кормилицами твоими» (49, 23); «Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь» (60, 16).

³⁹⁷ В. С. Печерин имеет в виду попытку Николая I надолжить арест на деньги А. И. Герцена, от чего ему пришлось отказаться под влиянием требования банкира Джемса Ротшильда (1792—1868), владевшего векселями Герцена. Этот эпизод описан в «Былом и Думах» (ч. 5. XXXIX).

³⁹⁸ В. С. Печерин цитирует псалом 67, 2.

³⁹⁹ *Филарет*, в миру Василий Михайлович Дроздов (1783—1867) — митрополит московский.

Василий Борисович *Бажанов* (1800—1883) — протопресвитер, духовник царской семьи, главный священник двора и гвардии, член Синода; возглавлял кафедру богословия Петербургского университета.

⁴⁰⁰ Федор Федорович *Берг* (1793—1874) — граф (1856), русский генерал, впоследствии генерал-фельдмаршал, в 1855—1863 гг. — главнокомандующий войсками в Финляндии, с 1863 г. — наместник Царства Польского, с 1865 г. — член Государственного совета.

⁴⁰¹ В. С. Печерин неточно цитирует Н. В. Гоголя. «Понатолкался было нанять

квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры — Персия целиком, ногой, так сказать, попираешь капиталы» (Г о г о л ь Н. В. Мертвые души. Гл. 10).

⁴⁰² Имеется в виду принцесса Матильда, дочь неаполитанского экс-короля Жерома Бонапарта, брата Луи Бонапарта — отца Наполеона III.

⁴⁰³ ...*Огончарованы*... — Об этом экспромте рассказывает Е. Н. Ушакова в письме из Москвы от 28 апреля 1830 г. к брату Ивану: «Его [А. С. Пушкина. — С. Ч.] брат Лев приехал с Кавказу и был у нас; он очень мил и любезен и кампанию сделал отлично, весь в крестах. Вот его вот тот про Александра] Серг [еевича], когда он его увидел бегущим на гулянье под Новинским за коляскою Карсов [Гончаровых. — С. Ч.]:

Он прикован,
Очарован,
Он совсем огончарован.

Узнать об этом экспромте В. С. Печерин мог из книги А. Н. Муравьева «Знакомство с русскими поэтами» (Киев, 1871), где он был впервые опубликован.

⁴⁰⁴ «*Norma*» («Норма») — опера итальянского композитора В. Беллини (1801—1835); впервые поставлена в Миланском театре в 1831 г.

⁴⁰⁵ В. С. Печерин имеет в виду письмо С. П. Шевырева к М. А. Максимовичу от 13 апреля 1861, напечатанное в «Русском архиве» за 1872.

⁴⁰⁶ Александр Семенович *Шишков* (1754—1841) — адмирал, русский государственный деятель, филолог, писатель, государственный секретарь (1812—1814), президент Российской академии (1813—1841), министр народного просвещения (1824—1828). В 1810 г. объединил группу литераторов в «Беседу любителей русского слова». Спор шишковистов и карамзинистов сыграл важную роль в становлении русского литературного языка.

⁴⁰⁷ *Григорий VII* Гильдебранд (ок. 1020—1085) — римский папа с 1073 г. Вел борьбу с германским императором Генрихом IV (против светской инвеституры — права назначать епископов). Борьба завершилась поражением папы, который в 1084 г. был вынужден бежать из Рима к своим союзникам, где и умер.

⁴⁰⁸ *Вилла Казерта* — вблизи церкви св. Марии в Риме.

⁴⁰⁹ В оригинале текст на французском языке.

⁴¹⁰ *Чивитавекья* — город в Центральной Италии, на берегу Тирренского моря, аванпорт Рима.

⁴¹¹ В. С. Печерин цитирует Евангелие от Иоанна, 19, 22.

⁴¹² В. С. Печерин цитирует Книгу Екклезиаста, 1, 2.

⁴¹³ Имеется в виду сочинение «Подражание Христу».

⁴¹⁴ В начале 1861 г. В. С. Печерин, как следует из предыдущего письма его генералу ордена редемптористов, принял решение покинуть конгрегацию и удалиться в картезианскую обитель. Никакие усилия удержать его в ордене успехом не увенчались, и в том же году вопреки орденскому уставу он получил диспенс. Но и в монастыре картезианцев В. С. Печерин не остался по причине царивших в нем порядков, которые он сам столь красочно и детально обрисовал в двух последующих отрывках («Пустыня и воля» и «Дублин. 21 октября 1865 г.»). В декабре 1861 г. он вступил в монастырь траппистов, но пробыл в нем только полтора месяца, до конца января 1862 г. Тогда-то и было написано настоящее письмо, адресованное генералу ордена редемптористов, с просьбой принять его обратно в орден. Такая просьба противоречила уставу, но, учитывая прежние заслуги В. С. Печерина, было решено попытаться сделать для него исключение. По неизвестным нам обстоятельствам переговоры по этому поводу ни к чему не привели, и В. С. Печерин, сбросив монашескую рясу, остался просто священником. В феврале 1862 г. архиепископ Дублинский утвердил его капелланом в одной из больниц города. Подобные метания начала 1860-х годов находят свое объяснение в духовном кризисе, идейном перевороте, которые в то время переживал В. С. Печерин.

⁴¹⁵ В. С. Печерин цитирует стихотворение В. А. Жуковского «Из Дон-Кихота».

⁴¹⁶ «*Соревнователь просвещения и благотворения — труды высочайше утвержденного Волного общества любителей российской словесности*» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1818—1825 гг. Всего вышло 32 книжки. Журнал объединял писателей, находившихся под идейным влиянием декабристов.

В. С. Печерин цитирует строки из стихотворения А. С. Пушкина «К морю».

⁴¹⁷ Стихотворение В. С. Печерина, написанное им в августе 1864 г.

⁴¹⁸ Александр *Гумбольдт* (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

- ⁴¹⁹ Отрывки из произведений Жорж Санд в оригинале на французском языке.
- ⁴²⁰ Вероятно, В. С. Печерин имел в виду басню французского поэта Жана Лафонтена (1621—1695) «Лисица и аист».
- ⁴²¹ Стихотворение В. С. Печерина.
- ⁴²² *Лазарь* — в евангельском повествовании человек, воскрешенный Иисусом Христом через четыре дня после погребения.
- ⁴²³ *Адамант (греч.)* — алмаз.
- ⁴²⁴ *Скиния (греч.)* — святилище.
- ⁴²⁵ Умопостижимый свет, где все — любовь, Любовь к добру, дарящая отраду... (ит.).
Д а н т е. Божественная комедия. Рай. XXX, 40—41 (пер. М. Лозинского).
- ⁴²⁶ Генри Джон Темпл Пальмерстон (1784—1865) — граф, английский политический деятель, в 1855—1865 гг. — премьер-министр.
- ⁴²⁷ Имеется в виду роман В. Скотта «Сент-Ронанские воды» (т. 1—3, 1824) и книга Тиндала (см. выше, комм. 269).
- Алексей Феофилактович *Писемский* (1821—1881) — русский писатель.
- ⁴²⁸ *Аскулан* — латинизированное имя греческого Асклепия; в римской мифологии — бог врачевания. Ему посвящены животные — змея, собака и петух.
- ⁴²⁹ *Супруга Христа...* — т. е. христианская церковь.
- ⁴³⁰ Специальная титулатура церковных сановников: Святой отец! (обращение к любому священнику до настоятеля включительно); Ваше преподобие! (обращение к епископу); Ваше высокопреосвященство! (титул кардинала); Ваше святейшество! (титул папы римского); все — с итальянского яз.
- ⁴³¹ В № 29 от 2 сентября 1865 г. газеты «День», издававшейся И. С. Аксаковым, было напечатано письмо В. С. Печерина издателю и приложенное к нему стихотворение, строки из которого приведены в тексте.
- ⁴³² Петр Владимирович *Долгоруков* (1816—1868). См. комм. 108 к «Докладной записке...» М. И. Жихарева.
- ⁴³³ Звучит изречение, близкое нескольким местам в Книге Исаяи (35, 10; 51, 11). Возможно, что эти слова взяты Печериным из какой-либо заупокойной молитвы, где часто встречаются искаженные библейские изречения.
- ⁴³⁴ См. выше, комм. 99.

К. С. Аксаков

ВОСПОМИНАНИЕ СТУДЕНТСТВА 1832—1835 годов*

Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860) — поэт, литературный критик, историк и языковед. Видный общественный деятель славянофильского направления.

Старший сын С. Т. и О. С. Аксаковых, Константин рос в атмосфере живых умственных интересов, театральных и литературных споров. Его отец, Сергей Тимофеевич, был известен в Москве как заядлый театрал, актер-любитель, взыскательный критик и педагог. В зрелые годы С. Т. Аксаков создал шедевры русской прозы — «Семейную хронику», «Детские годы Багрова внука». Дом Аксаковых был одним из центров культурной жизни Москвы 1830—1840-х годов. Здесь постоянно бывали литераторы, ученые, профессора Московского университета, артисты Малого театра. В разные годы к Аксаковым были близки Н. В. Гоголь, М. С. Щепкин, И. С. Тургенев, М. Н. Загоскин, М. П. Погодин, Н. И. Надеждин, А. С. Хомяков, Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, Н. В. Станкевич, К. Ф. Рулье, И. В. Киреевский. На субботних вечерах в доме Аксаковых велись игравшие столь важную роль в идейной жизни дореформенной России споры западников и славянофилов.

Получив отличную домашнюю подготовку, К. С. Аксаков пятнадцати лет поступил в Московский университет, где сблизился со Станкевичем и членами его кружка. Одаренный, искренний и честный, «юноша, полный сил и всякой благодати» (Н. В. Гоголь), Константин Аксаков разделял философские искания Станкевича и его друзей, принимал участие в их литературно-журнальных начинаниях. Однако известную отчужденность вызывала у Аксакова общественная позиция членов кружка, их «общее воззрение на Россию», которое казалось ему «односторонним» и чрезмерно критическим.

* Комментарии составлены Н. И. Цимбаевым.

Об этом он откровенно написал в воспоминаниях, на это он указывал, к примеру, весной 1837 г. в письме к брату Григорию: «Ты знал мои отношения с Станкевичем и его другом, милый брат, ты знал, что я держал себя далеко от них» (Литературное наследство. М., 1950. Т. 56. С. 103). В кружке ценили литературные способности Аксакова, Станкевич относил его к числу наиболее образованных своих друзей. Зная аксаковское обидчивость, он в 1836 г. убеждал Белинского: «Надобно с ним быть поделкатнее... в нем есть многие стороны, стоящие уважения, и он малый умный!» Вместе с тем Станкевич иронизировал по поводу природной лени Аксакова, он прозвал его «зеваящим энтузиастом» и в письмах спрашивал друзей: «Где Аксаков? Или заснул магнетическим сном?» (Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914. С. 162, 406, 414, 431 и др.). Белинский, с которым Аксаков был дружен в 1830-е годы, справедливо отмечал, что его друг «обретается в мире призраков и фантазий», и недоумевал: «Я не знаю, когда он выйдет из китайской стены своих ощущения и чувств, своей детскости, в которых с таким упорством и с такой неподвижностью так мандарински пребывает» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13-ти т. М., 1955. Т. 9. С. 394; 406). После смерти Станкевича в 1840 г. пути Аксакова и других членов кружка разошлись. Аксаков примкнул к славянофилам, где стал в положение «передового бойца», непримиримого противника западнических воззрений. В славянофильском кружке Аксаков был признанным авторитетом в области русской истории. Русское общество предреформенной поры знало его как убежденного, фанатичного поборника свободы совести, слова и печати, врага цензуры.

«Воспоминание студентства» было написано Аксаковым в начале 1855 г. к столетней годовщине Московского университета. Предназначались воспоминания не для печати, а для прочтения в кругу друзей, воспитанников университета. Общая тональность воспоминаний, постоянные аксаковские сравнения «тогда» и «теперь», нападки на «форменность», рассуждения о «студентской свободе» и о значении университетского воспитания хорошо передают чувства, характерные для русского общества последних лет николаевского правления. Когда Аксаков писал воспоминания, им владела тревога за судьбу университета. С горечью думал он, что «университет обратится скоро в корпус, а студенты в кадетов». «Воспоминание студентства» — ценный источник для характеристики эпохи «мрачного семилетия», наступившего после 1848 г., когда даже столь трудное в истории русского общества, Москвы и Московского университета время начала 1830-х годов воспринималось как время свободы.

Воспоминания К. С. Аксакова интересны зарисовками быта и нравов московского студенчества, портретами университетских профессоров, описанием празднования восьмидесятилетия университета. Мемуарная литература, посвященная Московскому университету «после декабристов», невелика, и уже это обстоятельство ставит «Воспоминание студентства» в один ряд с воспоминаниями А. И. Герцена, И. А. Гончарова, П. Ф. Вистенгофа, Я. И. Костенецкого, П. И. Прозорова.

Подлинная уникальность воспоминаний К. С. Аксакова заключается в том, что они — единственное мемуарное свидетельство о кружке Н. В. Станкевича. В рассказе о студенческой жизни Аксаков не предполагал дать законченную историю кружка, он стремится прежде всего охарактеризовать общественную позицию Станкевича и его друзей. Отдельные тонкие замечания Аксакова, свидетеля умного и осведомленного, его продуманную оценку роли кружка в «умственной истории нашего общества» трудно переоценить.

Впервые «Воспоминание студентства» было напечатано И. С. Аксаковым в газете «День» (№ 39, 40, 29 сентября, 6 октября 1862 г.). По цензурным и редакторским соображениям И. С. Аксаков сократил воспоминания брата, опустил ряд эпизодов и характеристик, некоторые имена обозначил буквами. Иногда сокращения И. С. Аксакова, например, в характеристике С. П. Шевырева, имели принципиальное значение, и они искажали мысль автора. В 1911 г. текст, отредактированный И. С. Аксаковым, был выпущен Е. А. Ляцким отдельным изданием (Спб., изд-во «Огни»). В отрывках воспоминания печатались в кн.: Словесов И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях современников. Спб., 1913. Вып. 1; Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956; В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1962; М., 1977.

В настоящем издании «Воспоминание студентства» К. С. Аксакова впервые печатается полностью по автографу, который хранится в ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 7, ед. 29.

¹ В описываемое время в университет принимались юноши старше 16 лет. Аксаков был допущен к вступительным экзаменам в виде исключения. Экзаменационные вол-

нения Константина Аксакова вызваны были не только его крайней молодостью и особенностями характера, но и тем, что он не учился ни в гимназии, ни в частном пансионе, а получил домашнее образование. Привязанность К. Аксакова к родительскому дому, к семье и особенно к отцу, Сергею Тимофеевичу, была исключительна, она даже тревожила близких. Примечательно, что мать Константина Сергеевича, О. С. Аксакова, сетовала в 1849 г.: «Тяжело мне как матери говорить так о своем 32-х летнем сыне. Я желала бы, чтобы он нас менее любил. Эта его любовь к нам сделалась просто ребяческой» (ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 3, ед. 39).

² В 1832 г. на словесное отделение поступило 22 человека, тогда как в предыдущем, 1831 г. — 49 человек. Именно на 1832 г. приходится резкое снижение числа поступивших на все отделения (1831 г. — 204 человека; 1832 г. — 92 человека). По числу студентов всех курсов словесное отделение превосходило физико-математическое, но уступало политическому и медицинскому. Трехгодичный курс, о чем говорит Аксаков, был установлен для всех отделений университета, кроме медицинского, где практиковался четырехгодичный курс.

³ Несколько контрастно по отношению к этим словам Аксакова звучат воспоминания студента словесного отделения Г. Ф. Головачева: «Нельзя не сознаться, что в наше время в университете было так много детского, несовершенного, что он был скорее чем-то вроде гимназии, разделенной на факультеты; нас еще детьми спешили определить в университет для приобретения чина, и студент, занимавшийся из одной любви к науке, был редким исключением» (День, 1863, № 42).

⁴ Университетская жизнь отнюдь не стирала сословных различий и имущественного неравенства. В лучшем положении находились своекоштные студенты, к которым принадлежали Аксаков и большинство его друзей. Казеннокоштные студенты (в основном из духовного звания и разночинцы) более страдали от притеснений университетского начальства, которое регламентировало их повседневную жизнь, наказывало за любое отступление от правил и инструкций, требовало ношения мундиров с особыми сукоными погончиками, чтобы их было легко отличить от своекоштных. Казенные студенты были, как правило, много старше юношей из дворянских семей. Ф. И. Буслав, поступивший в университет в 1834 г., вспоминал: «Пушему нарушению уровня вступающих в университет помогало значительное их различие по летам и возрасту: мальчишкам-гимназистам и подросткам в курточках годились бы чуть не в отцы совершеннолетние богословы, которые по окончании курса в семинарии, вместо дьяконства и священничества, избирали себе университетскую науку» (Буслав Ф. И. Мои воспоминания. М., 1897. С. 100).

⁵ Аксаков последователен в противопоставлении студенческой жизни первых и последних лет николаевского царствования, но по существу он идеализирует положение дел в университете начала 1830-х годов. «Форменность» вводилась, и не «легко», как говорится в тексте. Сразу после 14 декабря 1825 г. власти повели борьбу с вольнодумием в Московском университете. Студенты обязаны были давать подписки о непринадлежности к тайным обществам, о хождении в форменной одежде. Обязательны были ручательства за благонадежность поведения, затруднен был отпуск студентов на vacation, введен строгий контроль за уходом студентов из здания университета. Посещение лекций было обязательно: казенные студенты за своевольный пропуск лекции подвергались штрафу, а своекоштные за 10 пропущенных лекций подлежали исключению. За «дурное» поведение студентов сажали в карцер, отправляли до окончания курса учителями в начальные училища, а медиков — фельдшерами в армию; исключали, отдавали в солдаты. Вместе с тем совершенно справедливы суровые отзывы Аксакова о тогдашней профессуре, научный и нравственный уровень которой, за редкими исключениями, был невысок. А. И. Герцен вспоминал: «Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Людер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболопны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы — из поповских детей» (Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти т. М., 1956. Т. 8. С. 120).

⁶ А. И. Гончаров уточнял аксаковские воспоминания: «Это было, но отнюдь не с Победоносцевым, а с Гавриловым, профессором славянского языка. Победоносцев по вечерам никогда не читал лекций» (Литературное наследство. Т. 56. С. 268).

Петр Васильевич *Победоносцев* (1771—1843) — профессор российской словесности, писатель, переводчик. Его литературные вкусы сложились в конце XVIII в., под воздействием сочинений Ломоносова и Хераскова; в 1830-е годы они казались студентам безнадежно устаревшими. На первом курсе читал лекции, общие для словесного и политического отделений.

⁷ В преподавании риторики Победоносцев главное внимание обращал на практические занятия, на чистоту речи и на строгое соблюдение правил грамматики.

Хрия — термин риторики, означавший совокупность приемов для последовательного развития предложенной темы.

⁸ Петр Матвеевич *Терновский* (1798—1874) — протонерей, профессор богословия и церковной истории; Алексей Михайлович *Кубарев* (1796—1881) — воспитанник Московского университета, адъюнкт римской словесности, известен трудами по древнерусской письменности и палеографии; Василий Иванович *Оболенский* (1790—1847) — воспитанник Московского университета, адъюнкт греческой словесности, преподавал русскую словесность и древние языки в 1-й московской гимназии; Эдуард Николаевич *Геринг* — преподаватель немецкого языка; Федор Федорович *Куртнер* (1795—187(?) — преподаватель французского языка; Михаил Андреевич *Коркунов* (1806—1858) — воспитанник Московского университета, преподаватель географии и всеобщей истории, археолог, с 1837 г. работал в Археографической комиссии; Михаил Степанович *Гастев* (1801—1883) — преподаватель вспомогательных исторических дисциплин (гальдики, исторической географии, хронологии).

⁹ *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

¹⁰ *Participle présent* — грамматическая категория французского языка.

¹¹ В семье Аксаковых со вниманием следили за литературными новинками: «Илиада» в классическом переводе Н. И. Гнедича была впервые опубликована отдельной книгой в 1829 г.

¹² Александр Павлович Белецкий (1815—после 1841) — окончил Московский университет в 1835 г.; преподавал в учебных заведениях Минска.

Среди первых товарищей К. Аксакова примечателен Дмитрий Никанорович *Топорнин*. Он поступил на словесное отделение в 1831 г., кончил курс кандидатом в 1835 г.; позднее служил при московском генерал-губернаторе. Д. Н. Топорнин был близок к Н. В. Станкевичу. Заметную роль в студенческой жизни Московского университета играл его старший брат Алексей, участник кружка Я. И. Костенецкого, позднее арестованный по делу Н. П. Сунгурова. А. Н. Топорнин закончил университет кандидатом политического отделения в 1833 г.; возможно, Аксаков был с ним знаком.

¹³ Казан Андрейевич *Косович* (1815—1883) — филолог, санскритолог, гебраист. В 1840-е годы — преподаватель московской гимназии; близок к славянофилам. Позднее — профессор Петербургского университета.

¹⁴ Иван Алексеевич *Двигубский* (1771—1839) — профессор физико-математического отделения. В 1826—1833 гг. — ректор университета; снижал репутацию безропотного исполнителя указаний попечителя Московского учебного округа. По воспоминаниям современников (А. И. Герцен, И. А. Гончаров), Двигубский был груб, невнимателен к студентам; в памяти Герцена он остался образцом «допотопных профессоров».

¹⁵ Строгий отзыв о В. И. Оболенском оставил С. М. Соловьев: «Оболенский был человек знающий, охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог вынуть к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравые, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайней слабостью, неумением требовать от студентов приговорения к переводу». (Соловьев в С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 262).

¹⁶ В описываемое время главной формой преподавания в университете были

лекции. Однако профессора имели право устраивать репетиции, т. е. текущий опрос студентов с целью закрепления пройденного материала.

¹⁷ Своего намерения написать подробные воспоминания о Н. В. Станкевиче и его кружке Аксаков не исполнил.

Николай Владимирович *Станкевич* (1813—1840) поступил на словесное отделение университета в 1830 г., окончил курс кандидатом в 1834 г. Кружок Станкевича (из студентов словесного отделения) сложился в 1831/32 учебном году. Первоначально в него входили Я. М. Неверов, О. М. Бодянский, И. П. Ключников, В. И. Красов, С. М. Строев, А. А. Беер, Я. И. Почека. Сближение Белинского со Станкевичем относится к осени 1833 г.

Иван Петрович *Ключников* (1811—1895) поступил в университет в 1828 г., окончил кандидатом словесного отделения в 1832 г., поэт.

Павел Яковлевич *Петров* (1813—1875) окончил университет кандидатом словесного отделения в 1832 г., друг В. Г. Белинского. Рано проявил интерес к научным занятиям. Ученый-востоковед, санскритолог, профессор Казанского (с 1841 г.) и Московского (с 1852 г.) университетов.

¹⁸ В кружке Станкевича патристическая пылкость юного Аксакова была сразу замечена. В 1834 г. Станкевич шуточно писал Красову: «Хотелось бы узнать что-нибудь о милом Аксакове, которому прошу тебя пожать за меня руку крепко, по-славянски, и поклониться в пояс, по-русски» (Переписка Н. В. Станкевича. С. 404).

¹⁹ Сергей Михайлович *Строев* (1815—1840) поступил в университет в 1830 г., окончил кандидатом словесного отделения в 1834 г. Историк, талантливый ученик М. Т. Каченовского, последователь «скептической школы».

Василий Иванович *Красов* (1810—1855) — сын священника; поступил в университет в 1830 г., окончил кандидатом словесного отделения в 1834 г., поэт, переводчик, умер в крайней нужде.

Осип Максимович *Бодянский* (1808—1877) — сын священника; поступил в университет в 1831 г., окончил кандидатом словесного отделения в 1834 г. Ученый-славист, один из основоположников славяноведения в России, профессор Московского университета с 1842 г. Был близок к славянофилам.

Александр Павлович *Ефремов* (1815—1876) — поступил в университет в 1830 г., окончил кандидатом в 1834 г.; с 1843 г. приват-доцент, позднее — профессор географии Московского университета. Ближайший друг Станкевича.

²⁰ Позднейшая оценка Аксаковым литературно-критической деятельности Белинского не передает юношеских настроений. В 1836 г. он писал кузине М. Г. Карташевской: «Недавно я читал статью Белинского, где он высказал все мнения нашего юного поколения, мнения, которые я разделяю и часто говорил прежде. Я читал эту статью с истинным удовольствием» (Цит. по кн.: Нечаев В. С. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». М., 1954. С. 419). Вместе с тем Аксаков справедливо отметил важнейшую особенность кружка Станкевича, которая отличала его как от более ранних, так и от современных ему студенческих кружков Костенецкого и Герцена—Огарева; Станкевич и его друзья не проявляли интереса к политическим вопросам, гораздо более их занимала философия и литература.

...мысль же о каких-нибудь кольцах... — Особые кольца и другие атрибуты, по которым узнавались единомышленники, — нередкая принадлежность европейских тайных обществ того времени.

²¹ Обаяние личности Станкевича испытали все члены его кружка. Белинский восхищался Станкевичем, относил его к числу людей «замечательных», «необыкновенных», «гениальных». Станкевич в свою очередь в 1835 г. писал: «Я не одобряю слишком полемического тона у Белинского, но это душа добрая, энергичная, ум светлый» (Переписка Н. В. Станкевича. С. 325). Для М. А. Бакунина, который вошел в кружок в 1835 г., Станкевич навсегда остался «гигантом». В начале знакомства с Бакуниным Станкевич многозначительно заметил: «Мой друг! Ты чересчур последователен, но в твоих силлогизмах всегда неверна первая посылка» (Переписка Н. В. Станкевича. С. 577). Однако решающего влияния на идейную эволюцию Бакунина и Белинского Станкевич не имел. «Буйные хулы» и «безобразные выходки» — выражения, отражающие позднейшее отношение Аксакова к деятельности Белинского и Бакунина.

²² Дмитрий Павлович *Голохвастов* (1796—1849) — помощник попечителя Московского учебного округа в 1831—1847 гг.; попечитель в 1847—1849 гг. Двоюродный брат А. И. Герцена, который в «Былом и думах» дал его яркий портрет. Образованный и порядочный человек, Голохвастов отличался крайним формализмом.

²³ Николай Иванович Надеждин был в 1831—1835 гг. профессором Московского университета по кафедре теории изящных искусств и археологии. Станкевич собирался под его руководством писать историю театрального искусства. В 1836 г. Станкевич сообщал Грановскому: «Лекции Надеждина — как ни были они недостаточны — развили во мне — сколько могло во мне развиться — чувство изящного, которое одно было моим наслаждением, одно моим достоинством и, может быть, моим спасением» (Переписка Н. В. Станкевича. С. 449).

Надеждин доброжелательно следил за успехами К. Аксакова, который сотрудничал в надеждинском «Телескопе» и «Молве». В 1842 г. в письме Аксаковым из Одессы он приветствовал «ярого Константина, хотя уже облученного в тяжелую кольчугу гегелизма, но все еще не изменившего Шиллеру» (ИРЛИ, ф. Аксаковых, оп. 13, ед. 13). Аксаковская характеристика Надеждина в некотором смысле пристрастна, несогласие с ней выразил И. А. Гончаров (Литературное наследство. Т. 56. С. 265—266).

²⁴ Степан Петрович *Шевырев* (1806—1864), исследователь древнерусской и славянских литератур, читал в университете русскую и всеобщую словесность. В январе 1834 г. Станкевич писал Неверову: «Сию минуту с первой лекции Шевырева. Он обещает много для нашего университета со своею добросовестностью, своими сведениями, умом и любовью к науке. Это едва ли не первый *честный профессор*. Дай бог, чтобы он подержался у нас долее» (Переписка Н. В. Станкевича. С. 276). Год спустя Станкевич признавал: «Шевырев обманул наши ожидания: он педант» (Там же. С. 321). Упоминание Аксакова о «полицейских движениях» Шевырева в высшей степени замечательно. Шевырев и идейно близкий ему Погодин принадлежали к «черной уваровской партии» (С. М. Соловьев) и были главными проводниками теории «официальной народности» в Московском университете.

²⁵ Михаил Петрович *Погодин* (1800—1875) с 1826 г. преподавал в университете русскую, а также новую историю; в 1835—1844 гг. занимал кафедру русской истории. В лекциях Погодин знакомил студентов с трудами новейших европейских историков, учил критическому разбору исторических источников. Учениками Погодина были С. М. Соловьев, И. Д. Беляев, археографы Н. В. Калачев, А. Ф. Бычков. В личном общении Погодин был сух и малосимпатичен.

²⁶ Михаил Трофимович *Каченовский* (1775—1842). См. комм. 68 к «Замогильным запискам» В. С. Печерина. В первой половине 1830-х годов возглавляемая Каченовским «скептическая школа» имела много сторонников среди студентов Московского университета; учениками Каченовского были Н. В. Станкевич, О. М. Бодянский, С. М. Строев, Н. И. Сазонов, К. С. Аксаков. Под руководством Каченовского Станкевич написал исследование «О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III» (1834). «Строго справедливым и честным человеком» назвал Каченовского Гончаров.

²⁷ Отрывки из драматической пародии в стихах К. С. Аксакова «Олег под Константинополем» были напечатаны в «Молве» в 1835 г. с предисловием В. Г. Белинского. Пародия была окончена в 1839 г., а полностью издана — в 1858 г. Аксаков остроумно высмеял не только противников М. Т. Каченовского и «скептической школы», но и ложновеличавый романтизм Н. В. Кукольника и Н. А. Полевого.

²⁸ Иван Михайлович Снегирев (1793—1868). С 1826 г. — профессор латинского языка и римских древностей. Студентов отталкивали от Снегирева его невысокие нравственные качества, пресмыкательство перед начальством, политический консерватизм. О каком-то «низком» поступке Снегирева Станкевич писал Неверову в июне 1833 г.

²⁹ Иван Иванович *Давыдов* (1794—1863) — последователь философии Шеллинга; в 1821, 1823 и 1824 гг. Совет университета избирал его профессором кафедры философии, которую предполагалось открыть. В 1826 г. после вступительной лекции, прочитанной в присутствии гр. С. Г. Строганова, ревизовавшего университет по указанию Николая I, Давыдов был переведен на преподавание математики; а чтение курса философии было запрещено (см. вступительную статью). В 1831 г. Давыдов занял кафедру русской словесности. Репутация опального доставила ему на первой лекции рукоплескания студентов, но вскоре выяснилось, что Давыдов мелочен, мстителен, что его политические взгляды реакционны. Научный уровень лекций и работ Давыдова был крайне низок. Аксаков вольно пересказал действительное суждение Давыдова (Чтения о словесности. М., 1838. Ч. 3. С. 37).

³⁰ Преподавание в университете И. И. Давыдов совмещал с исполнением обязан-

ностей инспектора в Институте восточных языков, который был основан и содержался на средства банкирской семьи Лазаревых.

³¹ Семен Мартынович *Ивашковский* (1774—1850) был профессором греческого языка с 1819 г.; преподавал латынь в 1-й московской гимназии со дня ее открытия в 1804 г.

³² Трагедия А. С. Хомякова «Ермак» вышла отдельным изданием в 1832 г. На петербургской сцене была поставлена в 1829 г., на московской — в 1835 г. Трагедия проникнута мотивами свободолюбия, обличения деспотизма Ивана Грозного. «За туманною горою» — песня вольных казаков.

³³ Вторая книга альманаха «Новоселье» с упомянутой повестью Гоголя вышла в апреле 1834 г.

³⁴ Раннее творчество Гоголя было восторженно встречено в кружке Станкевича. «Это истинная поэзия действительной жизни», — утверждал в 1835 г. Станкевич (Переписка Н. В. Станкевича. С. 335). Члены кружка собирались для чтения Гоголя, обсуждали его новые сочинения. В 1835 г. Белинский провозгласил Гоголя «главою литературы, главою поэтов» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. I. С. 306); спустя четыре года К. Аксаков возвестил: «Гоголь — великий, гениальный художник, имеющий полное право стоять, как и Пушкин, в кругу первых поэтов, Гете, Шекспира, Шиллера и проч.» (Литературное наследство. М., 1952. Т. 58. С. 306).

³⁵ Федор Лукич *Морошкин* (1804—1857) — сын священника; поступил на политическое отделение в 1823 г., окончил курс кандидатом в 1828 г. Ученый-юрист. С 1833 г. преподавал в университете гражданское право. В описываемое время был близок к А. И. Герцену.

³⁶ Николай Михайлович *Киндяков* поступил на словесное отделение в 1829 г. и окончил его действительным студентом в 1834 г. Киндяков был близок к Н. П. Огареву и Н. М. Сатину, привлекался в 1834 г. к дознанию по делу о пении «пасквильных» песен. На следствии повел себя малодушно.

³⁷ Николай Иванович Сазонов (1815—1862) поступил в университет в 1831 г., окончил кандидатом словесного отделения в 1835 г. См. комм. 366 к «Замогильным запискам» В. С. Печерина. Аксаковскую характеристику Сазонова интересно сравнить с рассказом Герцена («Былое и думы». Часть пятая, гл. «Н. И. Сазонов»).

³⁸ Петр Петрович *Петров* поступил на словесное отделение в 1829 г. В 1831 г. подал донос на группу студентов, которых обвинял «в заговоре против государя императора и дворянства». Был признан душевнобольным, лечился, некоторое время учился в Дерптском университете, затем был восстановлен в Московском университете и окончил его в 1835 г. кандидатом. По ложному доносу Петрова названные им лица попали под надзор полиции. Преподавателя Декампа среди них не было.

³⁹ Измаил Алексеевич *Щедритский* (1792—1869) — воспитаник Московского университета, профессор географии и статистики.

⁴⁰ Имеется в виду министр народного просвещения с 1833 г. Сергей Семенович Уваров.

⁴¹ Алексей Федорович *Мерзляков* (1778—1830) — воспитаник Московского университета, с 1804 г. — профессор словесного отделения, где читал курс российской словесности и теории поэзии. Поэт сентиментального направления, автор знаменитого «Одиночества» («Среди долины ровныя»), литературный критик. Член и председатель общества любителей российской словесности при Московском университете.

⁴² В 1835 г. словесное отделение окончило 22 человека. Степень кандидата (чин 10-го класса) получали хорошо успевающие студенты, остальные — звание действительного студента (чин 12-го класса).

⁴³ Сергей Григорьевич *Строганов* (1794—1882) был попечителем Московского учебного округа в 1835—1847 гг. Политические взгляды Строганова были консервативны, но он был тверд, самостоятелен, враждебно настроен к министру С. С. Уварову. Выступал в роли покровителя Московского университета и его «молодых» профессоров (Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев, Д. Л. Крюков и др.). «Новый порядок», о котором пишет Аксаков, был не только следствием назначения нового попечителя, но и результатом тех перемен, что принес в университетскую жизнь устав 1835 г.

⁴⁴ Позднейшее примечание К. С. Аксакова, которое отразило либеральные надежды второй половины 1850-х годов.

Воспоминания Я. М. Неверова о Грановском занимают важное место в мемуарной литературе, посвященной русскому обществу 1830—1840-х годов. Они содержат интересный, уникальный во многих отношениях, конкретный материал по биографии одного из самых ярких деятелей этой эпохи и одновременно дают необходимое представление о характерном явлении научной, культурной и общественной жизни России — заграничной стажировке молодых русских ученых. Министерство просвещения, которое с 1833 г. возглавил творец теории «официальной народности» С. С. Уваров, одну из своих важнейших задач по реорганизации высшего образования видело в замене профессоров-иностранцев русскими. С этой целью министерство значительно увеличило число выпускников университетов, Педагогического института, духовных академий и пр., которых после окончания курса посылали за границу — большей частью в Германию — для «усовершенствования в науках»; затем они должны были занять соответствующие кафедры в высших учебных заведениях (см.: Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. М., 1985. С. 55—56). Предполагалось, что русская молодежь усвоит в библиотеках и на университетских лекциях богатый фактический материал, овладеет профессиональными приемами европейских ученых — и, затем, вернувшись на родину, будет работать на благо николаевской России, исходя в своей научной и преподавательской деятельности из основных постулатов официальной идеологии: «православие, самодержавие, народность».

Однако подобные надежды власть предержавших были обречены. Дух свободного исследования, царивший в подлинной европейской науке, диалектичность мышления, отличавшая виднейших ее деятелей, — все это имело сильное воздействие на русских стажеров. Вкусив плодов с древа познания, многие из них уже не могли по сести мириться с той уродливой русской действительностью, которую теория «официальной народности» пыталась возвести в идеал бытия. Именно в результате зарубежной стажировки сформировалась блестящая «молодая профессура» Московского университета (юристы П. Г. Редкин и Н. И. Крылов, античник Д. Л. Крюков, экономист А. И. Чивилев).

Януарий Михайлович Неверов (1810—1893) родился в небогатой дворянской семье. В 1832 г. окончил Московский университет по словесному отделению. Несколько лет совместного житья и близкой дружбы с такими выдающимися людьми, как Грановский и Станкевич, были для него, без сомнения, самым памятным временем в жизни. Надо думать, Неверов привлекал своих друзей открытой душой, веселым нравом и ровным характером; умом же и талантами он с ними сравниться не мог. После «берлинского бытия» пути Грановского и Неверова разошлись: первый стал выдающимся ученым, любимцем студентов, «кумиром» московского общества; у второго началась спокойная, размеренная жизнь провинциального педагога, затем — чиновника Министерства народного просвещения. На этой стезе Неверов немало преуспел: вершиной его карьеры стало управление Кавказским учебным округом в 1864—1879 гг. Этим успехам, несомненно, способствовали весьма умеренные общественно-политические взгляды Неверова, которые сформировались у него уже в молодые годы. (Ведь это именно его сатирически живописал в «Былом и думах» Герцен в образе «магистра в синих очках», проповедовавшего «благопристойную и умеренную чушь»).

Однако «показательная» умеренность Неверова не мешала ему понять, какую огромную роль сыграл Грановский в русском просвещении и общественной жизни, и сохранить самые добрые чувства к другу своей молодости. Публикуемые здесь воспоминания составляют часть обширной автобиографии Неверова, которую он писал на склоне лет. То, что, с его точки зрения, представляло исторический интерес, Неверов публиковал в «Русской старине» в виде отдельных самостоятельных очерков (см.: Бродский Н. Л. Я. М. Неверов и его автобиография // Вестник воспитания. 1915. № 6).

Воспоминания Неверова о Грановском написаны весьма обстоятельно и вполне объективны — недаром автор для подтверждения своих слов так часто обращается к письмам историка. Воспоминания эти содержат лишь один, правда, весьма существен-

* Комментарии составлены А. А. Левандовским.

ный, изъяс: будучи далек от философских воззрений Грановского, Неверов прошел мимо одного из важнейших этапов духовного развития будущего лидера западников — постижения им гегельянской философии. С этой точки зрения воспоминания Неверова существенно дополняет весьма интересная, несмотря на свою яркую тенденциозность и недоброжелательное отношение к Грановскому, статья В. В. Григорьева (см. комм. 1).

Текст воспоминаний Я. М. Неверова печатается по прижизненной публикации в «Русской старине» (1880. Т. 27. № 4), где они были озаглавлены «Тимофей Николаевич Грановский, профессор Московского университета. Воспоминания Я. М. Неверова. 1834—1856 гг.»

Текст писем Грановского сверен по изданию: Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II.

¹ Василий Васильевич *Григорьев* (1816—1881) — в начале 1830-х годов соученик Грановского по Петербургскому университету и один из его ближайших друзей: впоследствии — известный ученый-востоковед; с середины 1840-х годов служил в Министерстве внутренних дел. Во время своей заграничной стажировки Грановский поддерживал с Григорьевым самую оживленную дружескую переписку. Однако затем пути их разошлись: Григорьев явно тяготел к охранительству. В конце 1848 г. Грановский порвал со своим бывшим другом все отношения; поводом к разрыву послужили слухи, вполне достоверные, что Григорьев не гнушается исполнять откровенно полицейские обязанности. (О Григорьеве и его взаимоотношениях с Грановским см. подробнее: В е с е л о в с к и й Н. И. В. В. Григорьев по его письмам и трудам. Спб., 1887.)

Вскоре после смерти историка Григорьев опубликовал статью «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» (Русская беседа. 1856. Кн. 3—4), в которой содержалось немало интересных материалов для характеристики и самого Грановского и тех, кто окружал его в молодые годы. Однако главной целью Григорьева в этой публикации было скомпрометировать Грановского и как ученого, и как общественного деятеля; Григорьев изобразил Грановского человеком поверхностно образованным, склонным к красноречию. Статья вызвала бурную полемику, в которой в защиту памяти Грановского выступили К. Д. Кавелин, Н. Ф. Павлов, а также Герцен (см.: Т. Н. Грановский, Библиография. М., 1969. С. 128). Примечательно, что впоследствии Ф. М. Достоевский использовал статью Григорьева в своей работе над «Бесами» для создания образа Степана Трофимовича Верховенского (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1975. Т. 12. С. 276, 279).

² Осип Иванович *Сенковский* (1800—1858) — ученый-востоковед, журналист, публицист, в 1833—1856 гг. редактор «Библиотеки для чтения» — одного из самых популярных периодических изданий того времени, Сенковского как редактора отличали обширная эрудиция, огромная работоспособность, умение «подать» материал, — и одновременно полная беспринципность, которую он всегда с удовольствием подчеркивал. Никаких идейных или дружеских связей с Сенковским у Грановского не было, да и само сотрудничество его в «Библиотеке для чтения» было эпизодическим: Грановский опубликовал здесь несколько рецензий, статью «О нынешнем состоянии поваренной промышленности и гастрономии в Европе» и компилятивный очерк «Судьба еврейского народа» (см.: Т. Н. Грановский. Библиография. М., 1969, с. 61—62).

³ Еще в 1844 г. друг и почитатель Станкевича Н. Г. Фролов написал о нем статью (см.: Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. II. С. 417, 419, 460), но она так и не появилась в печати. В 1857 г. известный публикатор и общественный деятель П. В. Анненков выпустил книгу «Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография».

⁴ Свои первые стихотворные опыты Станкевич опубликовал в 1829 г. в журнале «Бабочка»; там же публиковались и отрывки из его трагедии «Скопин-Шуйский», которая вышла отдельной книгой в 1830 г. Впоследствии его стихи время от времени появлялись в таких популярных изданиях, как, например, «Молва» и «Телескоп», альманахе «Северные цветы». И все же слова Неверова о «всеобщей известности» его друга нуждаются в оговорке: Станкевич выступал в печати как поэт редко; художественная ценность большинства его произведений невелика. Он сам вполне объективно оценивал свое творчество, когда писал Неверову: «Я не имею притязаний на звание художника, но на чувство... не чужд претензий» (Переписка Н. В. Станкевича. М., 1914. С. 229). Трагедия же свою Станкевич вообще оценивал как полную неудачу: в середине 1830-х годов он скупал и уничтожал ее экземпляры.

⁵ Грановский был родом из Орла. В середине 1830-х годов под Орлом, в имении Погорельце, жили его отец, Николай Тимофеевич, две сестры и брат. Мать Грановского, Анна Васильевна, урожденная Чарныш, умерла в 1831 г.

⁶ «Благодарю тебя за знакомство с Т. Н. Грановским, — писал Станкевич Неверову 15 февраля 1836 г. — Это милый, добрый молодой человек». Самому же Грановскому он писал в июне того же года от имени всего своего кружка: «...Ты сам подавал нам руку и мы прочли в душе твоей, что ты наш...» (Переписка Н. В. Станкевича. С. 348, 447).

⁷ Эти сведения представляются сомнительными: едва ли Сенковский ходатайствовал за постороннего ему человека, да еще перед Уваровым, который относился к редактору «Библиотеки для чтения» весьма неприязненно. Друг и биограф Грановского А. В. Станкевич (брат Николая Владимировича, хорошо осведомленный в обстоятельствах его личной жизни) писал, что предложение стажироваться в Берлинском университете было сделано Грановскому попечителем Московского учебного округа С. Г. Строгановым; ходатайствовал же за Грановского доверенный чиновник Строганова В. К. Ржевский, который был в дружеских отношениях и с самим Грановским и со многими членами кружка Станкевича (Т. Н. Грановский и его переписка. Т. I. С. 43—44).

⁸ В отличие от большинства своих друзей, Станкевич был состоятельным человеком: его отец, богатый воронежский помещик, очень любил сына и никогда не ограничивал его в средствах.

⁹ Семья Грановских не отличалась большим достатком. Учась в университете, Грановский получал деньги из Погорельца редко и нерегулярно и вынужден был перебиваться уроками, влезать в долги, всячески сокращая свои и без того очень скромные, потребности (см.: Кудрявцев П. Н. Сочинения. М., 1887. Т. 2. С. 579; Т. Н. Грановский и его переписка. Т. I. С. 19).

¹⁰ Педагогический институт был основан в Петербурге в 1804 г. для подготовки учителей народных училищ и средних учебных заведений; в 1819 г. преобразован в Петербургский университет. В 1828 г. был создан новый Педагогический институт с теми же задачами, что и прежде; просуществовал до 1859 г. В 1830—1840-е годы лучших выпускников Педагогического института, так же как и выпускников университетов, посылали за границу «для приготовления к профессорской деятельности».

¹¹ Андрей Александрович Краевский (1810—1889) — впоследствии издатель и редактор «Отечественных записок», в 1837—1839 гг. редактировал «Литературные прибавления к Русскому инвалиду».

¹² Сергей Михайлович Строев (1815—1840). См. комм. 19 к «Воспоминанию студентства» К. С. Аксакова.

¹³ Археографическая комиссия при Министерстве народного просвещения была создана в 1834 г. для собрания и издания источников по отечественной истории. Комиссия посылала своих сотрудников за границу, в архивы и научные библиотеки для поисков и изучения русских и славянских рукописей.

Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790—1853) в 1837 г. был председателем Археографической комиссии, Министерство народного просвещения возглавлял в 1850—1853 гг.

¹⁴ Грановский, писал Неверов Григорьеву, «не отходил от моей постели, ухаживал за мною так, как только может ухаживать мать за дорогим сыном, его попечения не раз заставляли меня плакать». Впрочем, Неверов в своих воспоминаниях умалчивает о том, что, когда заболел Грановский, он ухаживал за другом с такой же заботой и самоотверженностью (Русская беседа. 1856. Кн. 4. С. 7, 10)

¹⁵ Поведение немецких профессоров объясняется влиянием России в Германии, установившимся после падения Наполеона и Венского конгресса и еще более возросшим в годы правления Николая I.

¹⁶ Имеется в виду Август Вильгельм Цумпт (1815—1877) — преподаватель древних языков в одной из берлинских гимназий; его дядя Карл Готлиб Цумпт (1799—1849) — профессор Берлинского университета, автор «Латинской грамматики», которая долгое время считалась образцовой и была переведена на другие европейские языки, в том числе и на русский (1835).

¹⁷ Санхониатон — полулегендарный древнефиникийский мудрец, автор «Финикийской истории», извлечения из которой сохранились в трудах античных писателей. В 1836 г. в Германии был выпущен поддельный труд Санхониатона по якобы вновь найденной рукописи.

¹⁸ ...характеров, как Поза. — Маркиз де Поза — один из героев драматической поэмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787); для русской романтически настроенной молодежи 1830-х годов это имя стало символом благородства и духовной красоты.

¹⁹ Карл Риттер (1779—1859) — талантливый географ, стремившийся извлечь эту науку от описательности и на основе передовых философских учений (прежде всего гегельянства) подвергнуть фактический материал научному синтезу.

Леопольд Ранке (1795—1886) — выдающийся историк, мастер критического анализа. Книги и особенно лекции Ранке выгодно выделялись на общем фоне немецкой исторической науки как своим подчеркнuto эмоциональным характером, так и постановкой методологических проблем исторической науки. Интерес и уважение к Ранке Грановский сохранил на всю жизнь.

²⁰ Фридрих Раувер (1781—1873) — немецкий историк-мидиевист. В своих трудах (главный из которых «История Гогенштауфенов и их времени»), богатых фактическим материалом, Раувер, по существу, отказывался от каких-либо серьезных выводов и обобщений.

²¹ Георг Габлер (1786—1853) был преемником Гегеля на кафедре философии Берлинского университета (с 1835 г.); горячий поклонник и популяризатор гегельянства.

²² Эдуард Ганс (1797—1839) — юрист, представитель «философского» направления в юриспруденции. Как ученый сформировался под непосредственным влиянием Гегеля. В начале 1820-х годов выступил против господствовавшей в то время «исторической школы» юриспруденции, которую критиковал за преклонение перед фактом и отказ от историко-философских обобщений.

²³ Скорее всего имеется в виду Иоганн Мюллер (1752—1809) — автор лекций по всемирной истории и целого ряда работ по средневековой истории Европы.

²⁴ Педро Кальдерон (1600—1681) — знаменитый испанский драматург.

²⁵ Имеется в виду Фридрих Шлегель (1772—1829) — выдающийся немецкий критик и филолог, один из основателей романтической школы в Германии, Кальдерона, который был дорог Шлегелю религиозным настроением, критик «ставил наряду с Шекспиром» в своих лекциях по истории древней и новой литературы (см.: Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 2. С. 317—318, 322—323).

²⁶ Эдуард Гиббон (1737—1794) — английский историк, прославившийся своим трудом «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1787), в котором «впервые трактовал вопрос о христианстве, его зарождении и происхождении как специалист, научно для той эпохи», (Косминский Е. А. Историография средних веков. М., 1963. С. 247). В понимании исторического процесса Гиббон следовал за Монтескье, Вольтером и другими французскими просветителями.

²⁷ Увлечение Станкевича немецкой классической философией началось задолго до окончания им Московского университета и «разлуки» с Неверовым в 1834 г.; можно говорить лишь о том, что в 1835—1836 гг. его занятия в этой области приобрели более углубленный и систематический характер.

²⁸ Страдая душевно, изнуряемый болезнью... — Говоря о душевных страданиях Станкевича, Неверов, несомненно, имел в виду сложную и печальную историю его взаимоотношений с сестрой М. А. Бакунина Любовью (см.: Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915. Гл. XIX). Роковая болезнь Станкевича — туберкулез, от которого он скончался 25 июня 1840 г.

²⁹ Георг Гервег (1817—1875) — автор политических стихов, популярных в 1840-е годы. Гервегу и его жене Эмме суждено было сыграть роковую роль в семейной жизни Герцена (см.: Герцен А. И. Былое и думы. «Рассказ о семейной драме»).

³⁰ Генрих Иосиф Кениг (1790—1869) — немецкий писатель. Его книга «Literarische Bilder aus Russland» (1837) вызвала резкую полемику в русской печати (см.: Мельгунов Н. А. История одной книги. М., 1839; Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 278, 424).

³¹ И. С. Тургенев в 1838—1839 гг. жил в Берлине, слушал лекции в университете и проводил свой досуг вместе со Станкевичем, Грановским и Неверовым, с которыми у него еще в России установились дружеские отношения. Впоследствии Тургенев описал эти времена в очерках «Воспоминания о Н. В. Станкевиче» и «Два слова о Грановском» (см. также: Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях Я. М. Неверова // Русская старина. 1883. Т. 40. № 11).

³² Эта несколько неожиданная для будущего лидера западников речь явилась отголоском «славянских увлечений» Грановского, под знаком которых провел он весь

1838 год. В это время Грановский усиленно занимается историей славян, задумывает поездку по славянским землям Австрийской империи, собирается изучать чешский и сербский языки. Увлечения эти оказались, впрочем, преходящими, не оставив заметного следа о мировоззрении Грановского; в том же 1838 г. он писал по этому поводу Григорьеву: «Большим славянофилом я не буду...» (Русская беседа. 1856. Кн. 4. С. 49).

³³ Николай Григорьевич *Фролов* (1812—1855) — географ, переводчик и популяризатор трудов К. Риттера и А. Гумбольдта. В 1852—1853 гг. издавал географический альманах «Магазин Землеведения и Путешествий». После знакомства с Грановским в Берлине Фролов стал одним из его ближайших друзей (см.: Грановский Т. Н. Несколько слов о покойном Николае Григорьевиче Фролове//Магазин Землеведения и Путешествий. 1855. Т. IV).

³⁴ Елизавета (*Беттина*) Арним (1785—1859) — жена А. Арнима и сестра К. Brentano, известных немецких поэтов-романтиков. Приобрела известность своей перепиской с Гёте, изданной в Берлине в 1835 г.

Карл *Варнгаген фон Энзе* (1785—1858) — немецкий дипломат и писатель романтической школы.

Феликс *Мендельсон Бартольди* (1809—1847) — немецкий композитор.

³⁵ Карл *Вердер* (1806—1894) — профессор философии в Берлинском университете. Вскоре после знакомства с Вердером Грановский стал брать у него частные уроки.

³⁶ Джакомо *Мейербер* (1791—1864). См. комм. 261 к «Замогильным запискам» В. С. Печерина.

³⁷ *Рахиль Варнгаген* (1771—1833) — жена К. Варнгагена; вышла замуж в 42 года, будучи значительно старше его. Обладая незаурядным умом и характером, Р. Варнгаген умела везде окружить себя блестящим литературно-ученым обществом.

³⁸ Е. П. Фролова умерла в 1840 г. от туберкулеза.

³⁹ Беседы Фроловой с друзьями нередко касались и положения дел в России. Об этом, в частности, может свидетельствовать воспоминание Неверова о разговоре, который состоялся между друзьями под свежим впечатлением визита к Фроловым: Станкевич взял с Грановского и Неверова клятву, что они все силы свои отдадут просвещению России, ибо в нем — залог освобождения русского народа (Русская старина. 1883. Т. 40. № 11).

⁴⁰ «*Дон Жуан*» — опера Моцарта (1787).

⁴¹ И. С. Тургенев, вспоминая эти споры, в равной степени скептически отзывался об обеих певичах. (См.: Тургенев И. С. Собр. соч. М., 1979. Т. 12. С. 294).

⁴² Речь идет о сотрудничестве Неверова с А. А. Плюшаром, издававшим в 1835—1841 гг. «Энциклопедический словарь» — одну из первых русских энциклопедий.

⁴³ В это время Н. А. Полевой был негласным редактором журнала «Сын отечества».

⁴⁴ Иван Александрович *Гулянов* (1789—1841) — ученый-египтолог и дипломат; в эти годы был командирован Министерством народного просвещения для научной работы в европейских музеях и библиотеках.

⁴⁵ Антонио *Корреджио* (1494—1534) — знаменитый итальянский художник. В Дрезденской галерее находится его картина «Мадонна со святым Франциском».

⁴⁶ ...не говорите никому об апокалипсисе. — В своих исследованиях «египетских преданий» Гулянов пытался опереться на них в объяснении «темных мест» Библии и, в частности, Апокалипсиса.

⁴⁷ Жан-Виктор *Моро* (1763—1813) — выдающийся военачальник эпохи Французской революции; в 1804 г. был обвинен в заговоре против Наполеона и изгнан из Франции. В 1813 г. Моро принял участие в боевых действиях союзников против наполеоновской армии и погиб в битве под Дрезденом. Памятник Моро установлен на поле битвы.

⁴⁸ Осип Михайлович *Бодянский* (1808—1877).

Михаил Иванович *Касторский* (1809—1866), окончивший Педагогический институт, проходил в Праге стажировку, аналогичную берлинской стажировке Грановского, Бодянский впоследствии стал известным ученым-славистом, работал в Московском университете. Являлся одним из самых ожесточенных противников Грановского. Касторский же, преподававший с 1838 г. всеобщую историю в Петербургском университете, являл собой фигуру совершенно бесцветную. Д. И. Писарев дал ему убийственную, но, очевидно, справедливую характеристику в статье «Наша университетская наука» (Касторский был выведен там под именем Креозотова).

⁴⁹ Павел Иосиф *Шафарик* (1795—1861) — знаменитый чешский ученый-славист, автор «Славянских древностей» — монументального труда о первых веках истории славянских народов.

⁵⁰ Денежное пособие Шафарику было лишь одним из проявлений той активной деятельности по укреплению связей между русскими и чешскими учеными, которую в 1830—1840-е годы развернул М. П. Погодин.

⁵¹ Характеристики пражских знакомых Грановского см. в его письмах Станкевичу и Неверову от 27 и 29 апреля 1838 г. (Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. С. 331—339).

⁵² *Народ-бригадир*. — Грановский проводит здесь параллель между австрийцами и персонажем комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» — грубым, невежественным солдафоном, лишенным всяких духовных интересов.

⁵³ Так называемая «Краледворская рукопись», о находке которой в 1817 г. объявил известный писатель и общественный деятель Вацлав Гаука, долгое время считалась одним из самых значительных памятников древнечешской письменности и сыграла заметную роль в становлении национального самосознания чешской интеллигенции. Лишь в 1850 г. были высказаны первые сомнения в ее подлинности, послужившие началом длительной дискуссии, в результате которой Краледворская рукопись была в конце концов квалифицирована как подделка.

⁵⁴ Ян *Коллар* (1793—1852) — чешский поэт.

⁵⁵ Йозеф *Добровский* (1753—1829) — выдающийся чешский филолог и общественный деятель, автор целого ряда трудов, заложивших основы славянского языкознания. Грановский читал его «Граматику чешского языка».

«История богемской литературы» — вероятнее всего, капитальный труд другого чешского филолога Йозефа Юнгмана (1773—1847), изданный в 1825 г.

⁵⁶ Речь идет о Р. Варнгаген (см. выше, комм. 37).

⁵⁷ *сообщенный им мне в первом письме из Вены... спор его с Строевым о Белинском*. — Судя по этому письму, Стров обвинял Белинского «в невежестве и отсутствии благородства» и получил от Грановского самый резкий отпор (Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. С. 341).

⁵⁸ Иосиф Кристиан *Цедлиц* (1790—1862) — австрийский дипломат и поэт, автор романтических баллад, пользовавшихся большой популярностью в России.

Фридрих Карл *Грильпарцер* (1791—1872) — австрийский драматург, автор трагедий, выдержанных в духе немецкого классицизма.

Иосиф *Гаммер-Пургштал* (1774—1835) — австрийский ученый-востоковед.

Фридрих Карл *Теттенборн* (1779—1841) — немецкий генерал; в 1812—1818 гг. служил в русской армии; во время Отечественной войны 1812 г. командовал партизанским отрядом; в 1818 г. перешел на службу в герцогство Баденское.

⁵⁹ Магистерская диссертация Грановского, которую он защитил лишь в 1845 г., называлась «Волин, Иомсбург и Винета» и была посвящена критическому анализу источников, повествующих о легендарной столице балтийских славян.

⁶⁰ Скорее всего имеется в виду одна из наиболее известных работ венского знакомого Грановского И. Гаммера-Пургштала «История Османской империи» (1835).

⁶¹ *Омейяды* — династия арабских халифов (661—750), при которых арабы завоевали большую часть Пиренейского полуострова.

⁶² Генрих *Лео* (1799—1878) — немецкий историк, в 1830-е годы наибольшей известностью пользовались его работы по средневековой истории Европы и прежде всего — «История итальянских государств» (1829—1834).

⁶³ Павел Яковлевич *Петров* (1814—1875).

⁶⁴ См.: Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. С. 405.

⁶⁵ На Елизавете Богдановне, дочери профессора Московской медико-хирургической академии Б. И. Мюльгаузена, Грановский женился в 1841 г. Брак этот оказался на редкость счастливым: в самых тяжелых жизненных ситуациях Грановский находил дома понимание и поддержку. Письмо Неверову, в котором историк кратко сообщает о своем намерении жениться, см.: Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. С. 406.

⁶⁶ Об этой встрече Грановский писал в одном из писем, в июне 1854 г.: «Вчера посетил нас здесь Неверов... Годы прошли над ним, не произведя никакой перемены. Только выпали зубы, да осанка стала важнее, сообразно чину статского советника. Он очень живо напомнил Берлин и все, что для меня с Берлином связано» (Т. Н. Грановский и его переписка. Т. II. С. 303).

Вокруг Авдотьи

ИВАН АНДРЕЕВИЧ БУНИН
(1-я половина XVIII века)

С. ДАВЫДОВ
(2-я половина XVIII века)

АННА ИВАНОВНА БУНИНА
(2-я половина XVIII века)

МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА БЕЗОБРАЗОВА
(? - 1811)

ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВНА ДАВЫДОВА
2-я половина XVIII века

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕЛАГИН
(1720 - 1827)

Авдотья Афанасьевна Бунина
(1754-?)

Наталья Афанасьевна Бунина
(1756-1785)

Николай Иванович Белицкий
(2-я пол. XVIII в.)

Иван Афанасьевич Бунин
(1762-1781)

Петр Николаевич Юшков
(? - 1805)

вне брака от М.И. Кречетникова

вне брака

Свечин ИС.
(рубеж XVII-XIX вв.)

Мария Николаевна Белямина
(рубеж XVIII-XIX вв.)

Авдотья Николаевна Белямина
(? - 1831)

Петр Исакьевич Арсеньев
(к. XVII - 1-я пол. XIX вв.)

Анна Николаевна Белямина
(1783-?)

Александр Петрович Петерсон
(1-я половина XIX в.)

Егор Васильевич Зонтаг
(? - 1841)

Анна Петровна Юшкова
(1786-1864)

Мария Петровна Юшкова
(? - 1812)

Авдотья Юшк
(1789)

Василий Иванович Киреевский
(? - 1812)

Владимир Андреевич Норв
(1-я пол. XIX в.)

Мария Петровна Арбенцева
(1-я пол. XIX в.)

Луи Гутмансталь
(1-я пол. XIX в.)

Мария Егоровна Зонтаг
(1824-?)

Наталья Петровна Арбенцева
(1809-1900)

Иван Васильевич Киреевский
(1806-1856)

Петр Васильевич Киреевский
(1803-1856)

Мария Васильевна Киреевская
(1811-1859)

Екатерина Ивановна Мочер
(1820-1850)

Василий Алексеевич Елагин
(1818-1819)

Василий Иванович Киреевский
(2-я пол. XIX века)

Александра Ивановна Киреевская
(2-я пол. XIX века)

Сергей Иванович Киреевский
(2-я пол. XIX века)

Мария Ивановна Киреевская
(2-я пол. XIX века)

Николай Иванович Киреевский
(2-я пол. XIX века)

Н.А. Волчанецкая
(2-я пол. XIX века)

Александр Васильевич Елагин
(2-я пол. XIX века)

ПЕТРОВНЫ ЕЛАГИНОЙ

**ФЕДОРА БОГДАНОВНА
РИМСКАЯ-КОРСАКОВА (I-я пол. XVIII в.)**

**АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ
БУНИН
(? - 1791)**

**ВНЕ БРАКА ОТ ТУРЧАНКИ Сальхи в
ПРАВОСЛАВНИ ЕЛИЗАВЕТЫ ДЕМЕТЬЕВНЫ ТУРЧАНИНОВОЙ
(? - 1811)**

**ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЖУКОВСКИЙ
(1783-1852)
ЕЛИЗАВЕТА
РЕЙТЕРН
(1821-1856)**

**БАРВАРА
АФАНАСЬЕВНА
БУНИНА
(1763-1797)**

**АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ
ПРОТАСОВ
(? - 1805)**

**ЕКАТЕРИНА
АФАНАСЬЕВНА
БУНИНА
(1770-1848)**

ВНЕ БРАКА

**ПЕТРОВНА
ОВА
(1877)**

**АЛЕКСЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
ЕЛАГИН
(? - 1846)**

**ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
ЮШКОВА
(? - 1817)**

**ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
АЗБУКИН
(? - 1852)**

**НАТАША АНДРЕЕВНА
АЗБУКИНА
(к. XVIII - I-я тр. XIX в.)**

**ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ПРОТАШНСКИЙ
(к. XVIII - I-я тр. XIX в.)**

**МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ПРОТАСОВА
(1795-1823)
ИВАН ФУДИЛОВИЧ
МОЙСЕЙ
(1786-1858)**

**АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
БОЕИКОВ
(1779-1839)
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧ
ПРОТАСОВА
(1795-1829)**

**НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕЛАГИН
(1822-1876)**

**АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕЛАГИН
(1824-1844)**

**ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
ЕЛАГИНА
(1826-1848)**

**ВИЛЬЯМ ВЕЛДС
(I-я пол. XIX в.)
АВРАМЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
АЗБУКИНА
(1815-?)
И.Ф. ПЕЛОПИДАС
(I-я пол. XIX в.)**

**ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
БОЕИКОВА
(1815-1844)**

**АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
БОЕИКОВА
(1817-1893)**

**АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БОЕИКОВ
(1823-1866)**

**МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
БОЕИКОВА
(1826-1906)
И.А. БРЕВЕРН-ДЕ-АА (ГРДН
(СРЕДНИИ XIX ВЕКА))**

**МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЕЛАГИНА
(1860-1927)
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ВЕДС
(? - 1917)**

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абердин Дж. Г. 284
 Августин 243, 258
 Азбукина Е. П. (рожд. Юшкова) 136
 Аксаков И. С. 310
 Аксаков К. С. 111, 141, 292, 312,
 314, 317, 327, 329, 334
 Аксаков С. Т. 141
 Александр I 63, 65, 69, 74, 75,
 77, 83, 118, 135, 136, 138, 145, 154,
 165, 255
 Александр II 69, 265
 Александр Македонский 220
 Алибо Л. 276
 Алкивиад 205, 212, 214
 Альтон 266
 Альфонс (см. Лигвори А. де)
 Альфонский А. А. 85
 Амвросий 243
 Анакреон 170
 Анфантен Б.-П. 155, 236
 Аполлоний Тианский 213
 Араччев А. А. 154, 255
 Аристарх Самофракийский 206
 Аристофан 232
 Арним Б. фон 348
 Артер 182, 183
 Архимед 279
 Атерсон 356
 Аткинсон Р. 171
 Баадер Ф.-К. 245
 Бабеф Ф.-Н. (Гракх) 202, 204, 237
 Бажанов В. Б. 289
 Базен Ф.-А. 201
 Байрон Д.Н.Г. 114, 161, 279, 300
 Бакунин М. А. 90, 276, 319
 Бакунины 139
 Бальзак О. де 171
 Банделье 182—185, 217
 Баратынский Е. А. 118, 138
 Барраль 91
 Барсов 329
 Бартольд Г. Н. 223
 Барышникова А. И. 168
 Баур 185, 187, 202
 Беер 348
 Бекет Т. 78
 Белецкий А. П. 315
 Белинский В. Г. 318, 319, 325, 354
 Бедьджойозо 184
 Бенедиктов 352
 Бенкендорф А. Х. 103, 105
 Беранже П.-Ж. 207, 217, 221, 236
 Берг Ф. Ф. фон 289, 291
 Бернатский 202—205, 237, 238
 Бернарден де Сен-Пре Ж.-А. 143
 Берсе 245
 Бертран А.-Г. 190
 Бессер 351
 Бисмарк О. фон 183, 193, 201, 204,
 275
 Блан Л. 97
 Бларамберг (см. Розенкамф М. Ф.)
 Блудов Д. Н. 84, 137
 Блэр Г. 209, 323
 Бодянский О. М. 318, 322, 325,
 326, 353

* Составлен С. Л. Черновым.

- Болдырев А. В. 98
 Бонами Ш.-А. 137
 Боншоз Ф. де 142
 Бороздин К. М. 164, 246
 Боссюэ Ж.-Б. 152
 Браммель Д. Б. 57
 Брут 69, 76
 Булгарин Ф. В. 158
 Буле И.-Т. 59
 Бунин А. И. 138
 Бунина А. И. (см. Давыдова А. И.)
 Бунина М. Т. (рожд. Безобразова)
 136
 Бунины 138
 Буонаротти Ф.-М. 204
 Бучер 262
 Бюгеномс 260, 261, 267—269, 277,
 280
 Бюро 191, 193, 194, 207, 244
- Валуев Д. А. 139, 141
 Ванбоммель 221
 Варнгаген К. фон 348, 353, 354
 Варнгаген Р. 349, 354
 Васильчиков И. В. 60—62, 69, 70,
 72, 73, 104
 Васильчикова Т. В. (см. Голицы-
 на Т. В.)
 Вейзман 284, 292
 Вейс 356
 Велво (Велко) 281
 Веллингтон А. У. 138
 Веневитинов Д. В. 138
 Вергилий 187, 329
 Вердер К. 348, 350, 356
 Вигель Ф. Ф. 92, 108
 Вилльмен А. Ф. 83
 Вилфрид 286
 Вильберфорс С. 284
 Винэ 142
 Витгенштейн 306
 Вовенарг Л. де 105
 Воейков А. Ф. 137, 141
 Воейкова А. А. (рожд. Протасова)
 137
 Воейкова Е. А. 141
 Волконский П. М. 75
 Вольтер (Аруэ Ф.-М.) 136, 152,
 154, 160
- Востоков А. Х. 165
 Вреде 354
 Вяземский П. А. 138
- Габерцеттель И. И. 273
 Габлер Г. 344, 345
 Габсбурги 96
 Гагарин И. С. 83, 108, 119, 250,
 263, 275
 Гаген Ш. фон 351
 Гаклик 286
 Гакстгаузен А. 108
 Галахов 348
 Галахова Е. П. (см. Фролова Е. П.)
 Галль Ф. И. 187, 167
 Гаммер-Пургшталь И. 354, 355
 Ганс Э. 344
 Ганц Ш. 348
 Гарибальди Дж. 292
 Гастов М. С. 314, 315
 Гегель Г.В.Ф. 292, 348, 354
 Гейлиг 254
 Гейман В. Г. 85
 Геллерт 248, 249
 Гельд де 244, 245, 256, 273, 277,
 280—282, 284, 289, 290, 292
 Генрих VIII 132
 Гервег Г. 346
 Гервег Э. (рожд. Сигмунд) 346
 Геринг Э. 314—317, 332
 Геродот 342
 Герцен А. И. 54, 66, 99, 106—108, 110,
 115—118, 141, 208, 220, 254, 260,
 267, 276, 289, 292, 326
 Гете И. В. 67, 152, 166, 237, 314, 315
 Гиасинт 234
 Гиббон Э. 345
 Гизо Ф. 276
 Глебова-Стрешнева (см. Щербатова)
 Глинка Ф. Н. 158
 Гловер 266
 Глюксберг 152
 Гнедич Н. И. 315, 322
 Гогенштауфены 344
 Гоголь Н. В. 116, 141, 186, 248, 325
 Голицын Д. В. 102—104, 119
 Голицын С. М. 56
 Голицына Т. В. (рожд. Васильчико-
 ва) 104

- Головин И. Г. 268
 Головкина 136
 Голохвастов Д. П. 320, 334
 Гольдони К. 278
 Гомер 299, 314—316, 333
 Гораций 165, 329
 Гофман Э.Т.А. 142
 Гофмейстер 156, 157
 Грановская Е. Б. (рожд. Мюльгау-
 зен) 357
 Грановский Т. Н. 87, 142, 335—338,
 340—343, 345—357
 Грече Х. Б. 165—167, 270
 Греч Н. И. 75, 166
 Грибоедов А. С. 58, 59, 138, 198
 Григорий VII 292
 Григорий XVI 266, 276
 Григорьев В. В. 335—337, 341
 Гриз 344
 Грилленцони Дж. 178, 179, 184,
 205
 Грильпарцер Ф. К. 354
 Гроциа Г. 278
 Гульковский 103
 Гулянов И. А. 352
 Гумбольдт А. 83, 302
 Гун 142
 Гюбнер И. 148
 Гюго В. 104, 271
 Гюйо 200, 201

 Давид (*библ.*) 265
 Давыдов Д. В. 107
 Давыдов И. И. 320, 323, 326, 330—
 332, 334
 Давыдова А. И. (рожд. Бунина) 138
 Дамери 200, 201
 Данте А. 165, 205, 220
 Двигубский И. И. 316
 Дегуров А. А. 245, 246
 Декамп 320, 327
 Демонтье 152
 Державин Г. Р. 331
 Джунковский С. С. 254, 255
 Диккенс Ч. 267
 Диоген 220
 Дмитриев-Мамонов М. А. 115
 Дмитриев-Мамонов Э. А. 139
 Добровский И. 354

 Долгоруков П. В. 114, 115, 310

 Ежовский И. 198
 Екатерина II 53, 136, 156, 160
 Елагин Ал. А. 138, 141
 Елагин А. Ал. 140, 141
 Елагин В. А. 140—142
 Елагин Н. А. 140, 142
 Елагина А. П. 135—144
 Елагина Е. А. 140, 141
 Елагина Е. И. (рожд. Мойер) 141
 Елагина Е. С. (рожд. Давыдова)
 138
 Елагины 135, 139—141
 Елизавета Петровна, императрица
 332
 Ермолов А. П. 59
 Ефремов А. П. 318, 326

 Жанлис М.-Ф. 149
 Жихарев М. И. 48
 Жоарис 218, 230, 243, 247
 Жуковский В. А. 91, 136—138, 140—
 142, 177, 241, 299, 317
 Жюльвекур П. де 108

 Заборовский 314
 Загоскин М. Н. 119
 Закревский А. А. 60
 Зоммер 149, 150
 Зонтаг А. П. (рожд. Юшкова) 136
 Зябловский Е. Ф. 164

 Иаков (*библ.*) 289
 Иванов 327
 Ивашковский С. М. 320, 324, 333
 Иеремия (*библ.*) 229
 Ильин 162
 Иоанн Креститель (*библ.*) 273
 Иоанн Златоуст 234, 254, 258, 278,
 299
 Иосифан 229
 Ирод (*библ.*) 175
 Исаак (*библ.*) 289

 Кавелин Д. А. 137
 Кавелин К. Д. 135
 Кавур К. Б. 275
 Казаринов 330
 Кальдерон П. 344

- Камбел 200, 206
 Каменский Н. М. 60
 Кант И. 53, 159
 Каподистрия И. 70
 Карамзин Н. М. 62, 69, 70, 93, 169
 Карл 283
 Карл X 164
 Касторский М. И. 353
 Каткарт У. 55
 Катон Марк Порций Старший 96, 311
 Каченовский М. Т. 163, 320, 322, 323, 325, 326
 Кениг Г. И. 346
 Кессман В. 152, 154, 156—159
 Кетчер Н. Х. 90, 98
 Киндяков Н. М. 326
 Киреевская М. В. 137, 141
 Киреевские 137, 140, 141
 Киреевский В. И. 136, 137
 Киреевский И. В. 66, 137—142
 Киреевский П. В. 137—139, 141
 Киселев П. Д. 63, 156
 Кистер 320
 Клименко 327
 Клитемнестра (*миф.*) 183
 Ключников И. П. 317, 321, 323
 Коллар Я. 354
 Колумб Х. 89, 94
 Константин Палович, великий князь 63, 83, 84, 118
 Коркунов М. А. 314
 Корреджио А. 352
 Коссович К. А. 316, 324
 Костюшко Т. 224
 Кошелев А. И. 138
 Кочубей В. П. 62
 Коцебу А. Ф. фон 149
 Краевский А. А. 340
 Кранихфельд Ф. В. Г. 167
 Кранцлер 346
 Красов В. И. 318, 326
 Крассе 251
 Краузе 187
 Кремер 264
 Крылов И. А. 223, 227, 278
 Ксенофонт 206
 Кубарев А. М. 314, 332
 Кузен 182
 Куртнер Ф. Ф. 314
 Кювье Ж. 83
 Кюстин А. де 101, 108, 115
 Кюхельбекер В. К. 138
 Лабри Р. 295
 Лазарев И. 323
 Лазарь (*библ.*) 304
 Лайма 257—260
 Лакордер Ж.-Б.-А. 234
 Ламартин А.-М. де 64
 Ламенне Ф.-Ф. де 149, 175, 216, 231, 236, 298, 299
 Ларошфуко Ф., де 105
 Лафонтен Ж. де 154, 304
 Левашева Е. Г. 90
 Левашевы 99
 Лева 350, 351, 353
 Лейбниц Г. В. 278
 Лекуант 219, 220, 224, 225, 238, 239, 242, 243, 247, 252
 Лелевель И. 196
 Лео Г. 355
 Леру П. 231, 236
 Ливен К. А. 167
 Лигвори А. де 239, 273, 294
 Лизистрат 253
 Литтре П.-М.-Э. 210
 Лихонин М. Н. 138
 Ло 165
 Лойола И. 273, 280, 308
 Ломоносов М. В. 164, 170, 196
 Лонгинов М. Н. 51, 98, 109
 Лопухины 139
 Лувини Дж. 178, 184
 Лудвиг 256, 257
 Луи-Филипп 76, 177, 275—277
 Лукиан 224
 Лукс 272—274
 Любомирская 234
 Людовик XIV 53, 154, 246
 Людовик XVI 76
 Лютер М. 232
 Мадзини (Маццини) Дж. 175, 177, 182, 236
 Макналли 200, 206, 214, 215
 Максимович М. А. 138
 Мальцев (Мальцов) И. С. 138
 Манвисс 207, 238—245, 247, 250, 295

- Мансуров А. П. 167, 277
 Маржерет Ж. 112
 Мария Федоровна, императрица 137, 277
 Мармон О.-Ф. де, герцог Рагузский 77, 83, 190
 Массильон Ж.-Б. 143
 Мастан Дж. (см. Пий IX)
 Мейербер Дж. 231, 348
 Мельгунов Н. А. 138
 Мендельсон-Бартольди Я.Л.Ф. 348
 Ментенон д'Обинье Ф. 226
 Мерзляков А. Ф. 331
 Местр Ж. де 233, 234, 240, 247
 Метлин 291
 Меттерних К. В. 73—75, 267, 281
 Милорадович М. А. 70, 73
 Михаил Павлович, великий князь 63, 103, 118
 Мишле Ж. 108, 229, 231—233
 Мишо 77
 Мицкевич А. 315
 Мойер Е. И. (см. Елагина Е. И.)
 Мойер И. Ф. 138, 141
 Мойер М. А. (рожд. Протасова) 137, 138
 Мольер (Поклен) Ж.-Б. 267, 306
 Мольтрах А. К. 150
 Монморанси А. 190
 Монталамбер Ш.-Ф. де 256
 Монтолон Ш.-Т. де 190
 Мопертюи П.-Л.-М. де 154
 Моро Ж.-В. 353
 Морон Н. 294, 297
 Морошкин Ф. Л. 325
 Мюллер И. 344
 Мюльгаузен Е. Б. (см. Грановская Е. Б.)
- Надеждин Н. И. 98, 319—321, 326, 333
 Наполеон I 56, 60, 61, 77, 85, 105, 190, 208, 217, 218, 239, 245, 249
 Наполеон III 179, 193, 218, 290
 Наталья Алексеевна, великая княгиня 278
 Неверов Я. М. 335, 339, 349, 351, 352, 354, 355
 Неелов С. А. 108
 Нельсон Г. 217
- Нессельроде К. В. 59
 Нибур Б. Г. 106
 Никифор 156, 162
 Николай I 63, 70, 84, 93, 102, 135, 164, 165, 216, 255, 260, 265, 266, 268, 273, 276, 283, 284, 289, 331
 Ной (*библ.*) 278
 Норфолк 265, 284
- Оболенский В. И. 314, 316, 317
 Овербек Ф. И. 272
 Овидий 246
 Огарев Н. П. 141, 226
 Одоевский В. Ф. 138
 Озеров В. А. 150
 Оксеншерна А. 282
 Олег, князь 322
 Омейяды 355
 Орелли К. 185
 Орлов А. Ф. 90, 105, 115—117
 Орлов М. Ф. 66, 105, 109
 Орлова Е. Н. (рожд. Раевская) 63
 Отман 241, 246, 247, 249, 250, 251
 Офросимова М. П. (рожд. Юшкова) 136
- Павел, апостол 90, 239
 Павел I 53, 277, 278
 Павлов Н. Ф. 112
 Павлова К. К. (рожд. Яниш) 113, 138
 Палгрев В. 283
 Пальмерстон Г. Дж. 308
 Панова Е. Д. 91
 Паскаль Б. 105
 Пассера 245, 246
 Паули 342, 343, 346
 Пафнутий 229
 Паченко 278
 Педро I 207
 Перикл 69
 Пестель П. И. 154
 Петр, апостол 90, 266
 Петр I 87, 93—96, 101, 139, 332
 Петрак 286
 Петров П. П. 327
 Петров П. Я. 318, 356
 Печерин В. С. 148, 155, 162, 168, 170, 172, 174, 188, 202, 214, 219, 252, 260, 263, 264, 269, 297, 298, 311

- Печерин С. П. 152
 Печерин Ф. Ф. 244, 271
 Печерина П. П. 254, 299
 Пий IX 276, 277, 281
 Пилат 248
 Писемский А. Ф. 308
 Питт У. 72
 Пифагор 213, 218, 238, 252
 Платон 185
 Плещеев А. А. 137
 Плещеева А. И. (рожд. Чернышева)
 137
 Плюшар А. А. 351
 Победоносцев К. П. 314
 Погодин М. П. 138, 276, 279, 320, 322,
 329, 353
 Покровский Ф. Г. 136
 Полевой Н. А. 138, 351
 Помбал С. Ж. 275
 Поп А. 258
 Потоцкий 220, 224, 225
 Поццо-ди-Борго К. О. 57
 Поярков С. Ф. 150
 Протасова А. А. (см. Воейкова А. А.)
 Протасова Е. А. (рожд. Бунина) 137,
 141
 Протасова М. А. (см. Мойер М. А.)
 Пушкин А. С. 49, 52, 64—71, 73, 74, 99,
 115, 118, 119, 138, 154, 163, 164,
 176, 300, 301, 338
 Пьяже 346
- Радклиф А.** 151
Раевский Н. Н. 63
Разумовский 278
Раморино Дж. 182
Ранке Л. 344
Расин Ж. 143, 152, 285
Раумер Ф. 344
Рафаэль С. 274
Редкин П. Г. 142, 301, 302
Риттер К. 344
Рихтер Ж. П. 142
Ришелье А.-Ж. дю Плесси 275
Ришелье А.-Э. дю Плесси 150
Рогович П. И. 335
Розенкамф Г. А. 164
**Розенкамф М. Ф. (рожд. Бларам-
 берг)** 165—168, 276
- Росберг М. П.** 138
Ротшильд Дж. 289
Руджиери 178
Рунген-Гаген 350
Руссо Ж.-Ж. 97, 106, 143, 152, 157,
 158, 232, 238
- Сазонов Н. И.** 108, 276, 326—328,
 330, 333
Сакс 353
Самарин Ю. Ф. 141
Санд (Занд) Ж. 183, 219, 221, 229—
 232, 236, 237, 243, 244, 250, 271, 291,
 299, 302, 303, 307
Санхоннатон 343
Сатин Н. М. 141
Свербеев Д. Н. 138
Свербеевы 140
Сверчевский 154, 158
Свечина С. П. 234
Сен-Симон Л. де 53, 233, 237
Сенковский О. И. 336, 337
Сербинович К. С. 335
Сервантес де Сааведра М. 211
Сергиевский Н. А. 109
Сигмунд 346
Симоновская М. С. 278, 299
Симоновская Н. П. 299
Симоновский В. П. 151
Симоновский Н. 278
Симоновский П. И. 160, 231, 254, 278
Скотт В. 261, 308
Снегирев И. М. 58, 320, 323, 329
Соболевский С. А. 138
Соколов Д. В. 342, 343
Сократ 205, 206, 211, 309
Соловьев 330, 331
Спенсер Дж. 208
Сталь А.-Л.-Ж. де 88
Станкевич Н. В. 317—322, 324—326,
 336—339, 342, 345, 346, 348, 350—
 352, 355, 356
Старчиков 317
Стахович М. А. 139
Стерн Л. 261
Стефания, герцогиня Баденская 348
Стеффенс Г. 142
Строганов С. Г. 100, 102, 163,
 170, 172, 175, 176, 191, 237, 334

- Строев С. М. 318, 322, 326, 327,
341, 352, 354
Струговщикова 158
Струве Г. 267
- Талбот 281
Талейран Ш.-М. 237, 267
Тальони М. 235
Тассо Т. 130, 158, 278
Тацит 343, 344
Теплов 315, 316
Терезия 242
Терновский П. М. 314, 317, 320
Тик Л. И. 140
Тиндаль Дж. 233, 237
Тит Ливий 314
Титов В. П. 138
Толмачев 318, 326, 330, 333
Толстой Д. А. 240
Топорнин Д. Н. 315, 317, 326, 333
Триден 356
Тургенев А. И. 138
Тургенев И. С. 347, 356
Тургенев Н. И. 84, 117
Тьер А. 182
Тютчев Ф. И. 108
- Уваров С. С. 167, 331, 337
Угони Ф. 187, 203, 204, 225
- Файот Э. 199, 201, 205—207, 210,
211, 214, 215, 302
Фейт-Вебер 142
Феликс Ц. Й. 234
Фелициан 260, 261, 267, 268, 271,
272
Фенелон Солиньяк де ла Мот Ф.
143
Феш Ж. 83
Филарет (Дроздов В. М.) 289
Флориан Ж.-П. 142
Фокс А. 264
Фотий 128
Франциск Ассизский 165, 295
Фридрихберг 346
Фридрих-Вильгельм III 235
Фролов Н. Г. 347—349
Фролова Е. П. (рожд. Галахова)
348—350, 355—357
- Фроловы 346, 348, 353, 356
Фурдрен А. 210, 219—221, 224—226,
238, 241—243, 247
Фурье Ф. 219, 237
- Хомяков А. С. 96, 104, 112, 113,
118, 139, 190, 321, 324
- Цедлиц И. К. 354
Цезарь 176, 189, 309
Цицерон 124, 254
Цумпт А. В. 343
Цуриков А. С. 119
Цынский Л. М. 101
- Чаадаев М. Я. 51, 52, 58, 80—82, 90
Чаадаев П. Я. 48—54, 56—70, 72—92,
94—96, 98—109, 111—120, 138
Чаадаева Н. М. (рожд. Шербатова)
51
Чернышева А. И. (см. Плещее-
ва А. И.)
Чижов Ф. В. 169, 175, 184, 201,
225, 254, 279, 288, 311
- Шатобриан Ф. 71, 108, 225
Шафарик П. И. 353
Шаховской А. А. 59, 64
Шевырев С. П. 138, 292, 320—322,
326
Шекспир У. 90, 266, 285, 344
Шелиот 281
Шеллинг Ф. В. 83, 140, 354
Шербюлье В. 233
Шиллер Ф. 67, 155, 157, 159,
160, 171, 181, 237, 263, 286,
314, 315, 317
Ширинский-Шихматов П. А. 341
Шишков А. С. 292
Шлегель Ф. 344
Шредер-Девриенд 353
Шторх 353
Штраус Д. Ф. 87, 210
Штраус И. 273
Шуазель Э.-Ф. 275
- Щедрицкий И. А. 330
Щербатов Д. М. 51—53, 56
Щербатов И. Д. 52, 58

Щербатов М. М. 51
Щербатова А. М. 51, 52
Щербатова Н. М. (см. Чаадаева Н. М.)
Щербатова (рожд. Глебова-Стрешнева) 53

Эдгар 261—263, 266—269

Эдгар А. 262, 263, 268

Эдгар К. 261, 262, 268

Энгельгардт Е. А. 64, 65

Эпиктет 231

Эпикур 289

Юсупов Н. Б. 140

Юшков П. Н. 136

Юшкова А. П. (см. Зонтаг А. П.)

Юшкова В. А. (рожд. Бунина) 135

Юшкова Е. П. (см. Азбукина Е. П.)

Юшкова М. П. (см. Офросимова М. П.)

Юшковы 135

Ягор 346, 347

Языков Д. И. 167

Языков Н. М. 107, 110—114, 138—140

Якушкин И. Д. 58, 72

Яниш К. К. (см. Павлова К. К.)

СОДЕРЖАНИЕ

«Под бременем познания и сомненья...» (Идейные искания 1830-х годов) (Н. И. Цимбаев)	5
М. И. Жихарев	
Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве	48
<i>Приложение</i>	
П. Я. Чаадаев. Философические письма, адресованные даме Письмо первое	120
К. Д. Кавелин	
Авдотья Петровна Елагина	135
В. С. Печерин	
Замогильные записки (Apoloġia pro vita mea)	148
К. С. Аксаков	
Воспоминание студентства 1832—1835 годов	312
Я. М. Неверов	
Тимофей Николаевич Грановский	335
Комментарии	358
Именной указатель	430

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Несколько лет назад, выпуская в 1983 году том «Русская романтическая повесть» с особым вензелем «У.Б.» на переплете, мы нашли целесообразным в развернутом постскриптуме к этому изданию рассказать читателю, что стоит, по сути, за знаком «У. Б.», что из себя представляет серия «Университетская библиотека». В основе публикации книг серии лежало наше стремление возродить просветительско-издательские традиции Московского университета, предоставить специалистам, студентам, широкому читателю возможность познакомиться с целым рядом художественных произведений, с сочинениями по эстетике, с материалами историко-мемуарного характера, причем относящимися как к отечественной культуре, так и к культуре других стран и народов. В том прежнем обращении к читателю были названы уже вышедшие книги: «Поэзия Октября», «Античные риторики», «Литературные манифесты западноевропейских романтиков», «Мемуары декабристов» и другие, а также обозначены ближайшая и более отдаленная перспективы серии. С той поры миновало время и то, что числилось в перспективе, стало реальностью и даже успело отодвинуться в прошлое, и в свою очередь иные замыслы и идеи встали в повестку дня. Обратимся же сначала к тем книгам, которые пополнили за прошедшие годы полку «Университетской библиотеки». Читатель должен простить нам пристрастное отношение к этим изданиям и некоторую субъективность в предлагаемом ниже перечне. Для нас самое важное не назвать, не перечислить изданное с традиционной библиографической сухостью, но сказать, чем именно дорога и приметна для нас та или иная книга, чем она, на наш взгляд, скорее всего может заинтересовать читателей. Итак...

«Китайская пейзажная лирика» обращает нас к самым традиционным, фундаментальным пластам культуры. Название книги в смысле ее жанра совершенно точно. Речь идет о пейзаже, о природе. Но надо помнить, что для китайской поэзии (да в какой-то мере и для всего Востока в целом) природа — это категория всеобъемлющая. И какая-то деталь, какой-то символ жизни природы оказываются в прямой связи с человеческой душой, с жизнью сердца, с любовной тоской или дружеской верностью. Природа в китайской поэзии включает в себя и мотив странствия, будь оно вольным или вынужденным, причем это странствие не только в рамках географии, но и путешествие по судьбе. Чтение этой книги помогает нам совершить для себя открытие Китая или подойти ближе к этому открытию. Мы начинаем больше, с уважением и даже удивлением думать о народе, который считался нашим братом на Земле и от которого позднее мы были безоговорочно отторжены и отчуждены суровыми политическими реалиями.

Это и другие наши издания оказались сейчас в полном смысле слова в духе времени, и хочется верить, что этот «дух времени» воцарился надолго, навсегда. Мы имеем в виду верховенство общечеловеческих начал, стремление к взаимопониманию и взаимодействию между людьми, народами, странами. Прочитавший «Китайскую пейзажную лирику», например, с большей вероятностью разглядит за словами «китайские церемонии» не забавляющуюся мелочами праздность, а исполненный красоты и нравственного смысла поэтический ритуал бытия.

«Младшие современники Шекспира» приглашают читателя в «золотой век» английского театра. Эта эпоха для нас обозначается прежде всего действительно именем Шекспира, мы других поэтов и драматургов воспринимаем «через него», соотнося с его судьбой, временем жизни, художественными принципами, но, как бы ни был велик гений, он один не создает национальной культуры, он не может объять все.

Пьесы, вошедшие в изданный том, кажется, интересны всем: духом, сюжетными перипетиями, афористичным стихом. В плетении событий и интриг их авторы были людьми бесстрашными: они не боялись преступлений, крови, они давали полную волю возмездию. Но читатель за этой острой приключенческой занимательностью должен почувствовать, распознать и другое... В основном эти пьесы писались

в порубежное время, в период переломный, на переходе от Возрождения к новому состоянию цивилизованного мира. И эти мрачные трагедии, трагикомедии отражали ощущение открывшейся бездны или, по крайней мере, тайны. Но ведь во всякие переломные дни подобные бездны и тайны обнаруживаются не где-нибудь, а прежде всего в самой натуре человеческой.

Что же до опубликованных в этой книге комедий, то они, как все настоящие комедии, привлекательны тем, что живописуют жизнь как она есть, во всей ее конкретности — и так дороги в слове, в поведении, во всем существовании персонажей эти метки времени! (чем занимались? во что верили? как одевались? как старались обвести другого вокруг пальца?) — и вместе с этой злободневностью вечное, непреходящее для всех нас — здравый смысл и веселый нрав, смеющиеся над чванством, жадностью, тупостью, которые (увы!) так же бессмертны, как, хочется верить, бессмертен род человеческий.

«Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век)» продолжают традицию, уже обозначившуюся в рамках серии «Университетская библиотека». Это трактаты, письма, имеющие принципиальное значение, официальные речи, затрагивающие самые разные стороны жизни, вступившей в пору Возрождения. Здесь можно найти и отражение политических принципов итальянских городов-республик, и размышления о роли и поведении личности в условиях живущего напряженной и резко противоречивой жизнью общества. Философия, этика и эстетика определяют содержание этих документов и источников, что бы ни было предметом внимания их авторов. Читающему эту книгу сегодня становится понятнее возрожденческая точка зрения на вещи, точка зрения, далеко не единообразная сама по себе и, заметим, в какой-то мере не потерявшая смысла до нашего времени.

Ломке стереотипов, широте понимания явлений художественного мира должен, на наш взгляд, послужить выход книги «Зарубежная эстетика и теория литературы». Эта книга охватывает значительный период в развитии литературно-теоретических и эстетических концепций — с 30-х годов XIX века по 60-е годы нынешнего столетия. Перед нами наиболее популярные школы и направления: «биографический метод», «культурно-историческая школа», «духовно-историческая школа», «новая критика», «ритуально-психологическая школа», «экзистенциализм»,

«структурализм». Совершенно по-новому, несколько неожиданно для традиционного привычного взгляда, предстает зарубежная марксистская эстетика. Работы, включенные в том, демонстрируют оригинальные подходы к решению крупных проблем, например о месте гуманитарных наук в общей системе человеческих знаний, и вместе с тем касаются, скажем, конкретной интерпретации поэтического текста. Среди авторов выбранных статей и трактатов Ш.-О. Сент-Бёв и Я. Гримм, И.-А. Тэн и В. Дильтей, Т. С. Элиот и К. Г. Юнг, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и другие.

В минувшем году в серии «Университетская библиотека» выпущен том «Античные гимны». Читатель, которому попадет в руки эта книга, увидит, что гимн в античном искусстве представляет собой нечто совершенно иное, нежели наше сегодняшнее ритуально-официальное понятие. Античный гимн мог быть лирическим возгласом, мог звучать с пронзительно-исповедальной тональностью, мог, наконец, оборачиваться пронизанным лукавством и юмором эпическим рассказом о всевозможных приключениях и любовных проделках богов. В книге публикуются «гомеровские гимны» в переводе В. В. Вересаева, гимны Каллимаха в переводе С.С. Аверинцева, гимн Клеанфа, а также Орфические гимны и гимны Прокла. Поздний античный гимн существовал на стыке двух эпох — язычества и христианства. Противоречие между ними окрашивает особой страстностью гимны Синезия, впервые публикуемые на русском языке (переводчики — М. Е. Грабарь-Пассек и О. В. Смыка). Античная мифология, поражающая своим многообразием, и духовно-нравственные поиски личности, все более осознающей свою суверенность, — таковы содержательные основы публикуемых гимнов.

Важнейшей областью деятельности в рамках «Университетской библиотеки» была и остается история отечественной культуры. И здесь вчерашние и сегодняшние издания с еще более строгой закономерностью, нежели в отношении к культуре зарубежной, предопределяют подготовку и выпуск будущих публикаций.

Широкую популярность снискали у читателей в свое время выпущенные нами в «Университетской библиотеке» тома: «Мемуары декабристов. Северное общество» и «Мемуары декабристов. Южное общество». Однако, конечно, декабристскую тему ни в коей мере нельзя было посчитать исчерпанной.

И мы вернулись к ней — был подготовлен и выпущен в свет том «Декабристы в воспоминаниях современников». Это издание интересно прежде всего тем, что события, связанные с декабристским движением, описываются с разных точек зрения. Говорят, вспоминают не только единомышленники декабристов, но и их убежденные противники и люди, старавшиеся остаться в роли посторонних наблюдателей. Среди «авторов» воспоминаний друзья и родные деятелей тайных обществ, знакомые и сам царь Николай I, его приближенные, которым были поручены ведение следствия и суд над декабристами. Книга разбита на четыре раздела: первый рассказывает о самой эпохе, в которой действовали декабристы; второй посвящен восстанию 14 декабря на Сенатской площади и восстанию Черниговского полка, возглавляемого С. И. Муравьевым-Апостолом; в третьем говорится о следствии, суде и казни и, наконец, в четвертом собраны мемуарные материалы, касающиеся каторги и сибирской ссылки декабристов, а также прослеживаются судьбы тех из них, кому дано было после тридцатилетних тягот обрести в 1856 году желанную свободу. Эти мемуары отвечают на многие вопросы и, естественно, ставят новые. С разных сторон высвечивается истинная роль, истинная цель поступков того или иного деятеля декабристского движения, тех или иных участников восстания 14 декабря.

Среди книг по русской истории, пополнивших «Университетскую библиотеку» в минувшие годы, на верное, особое место занимает том, на обложке которого значится: «Е. Р. Дашкова. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России». Популярность имени Дашковой в общественном сознании сегодня очень велика. Целый ряд публикаций, посвященных русской женщине — «главе двух академий», телефильмы еще более усилили внимание и интерес к деятельности Дашковой, к событиям ее жизни. Непосредственно перед выходом нашей книги ленинградское отделение «Науки» выпустило в свет «Записки» Е. Р. Дашковой. И все же наш том не стал простым повторением. Наряду с «Заметками» Дашковой в него включены письма и отрывки из дневников М. и К. Вильмот — двух девушек-ирландок, судьба которых на протяжении нескольких лет оказалась в самой тесной связи с судьбой знаменитой русской княгини. Письма Вильмот — это и интереснейший комментарий к жизнеописанию Дашковой, причем они касаются как раз того периода ее

жизни, который остается вне пределов «Записок», и уникальный источник, позволяющий много увидеть и понять в русской жизни самого начала XIX века.

Собственно литературная «отрасль» отечественной культуры в «Университетской библиотеке» также получила пополнение: «Русская драма эпохи А. Н. Островского», «Русская литературная утопия», «Русский очерк». Последняя из названных книг, по сути, объединяет в себе «литературу» и «историю», причем историю бытовую, «домашнюю». В книге собраны очерки, от которых непосредственно отталкивалась великая русская литература, исповедующая реализм и демократизм, а в некоторых из них («Петербургские углы» Н. А. Некрасова) она прямо и начиналась; важнейшее место здесь занимают произведения «натуральной школы». А со страниц этих очерков предстают перед читателями образы и коллизии русского прошлого: купеческий быт, вечеринка в доме небогатого чиновника, труды и тяготы работных городских людей, здесь и картежники-авантюристы, и герои торгового ремесла — уличные разносчики, суровая судьба уральского казака и удачливая биография хитроумного деревенского колдуна... Прихотливое течение действительности, запечатленное в очерках, и живое их слово составляют безусловное достоинство книги.

Сегодняшний день и ближайшие перспективы серии «Университетская библиотека» определены.

Издательство МГУ выпускает книгу «Английская лирика первой половины XVII века». Читатель найдет в ней относительно полную подборку произведений выдающегося английского поэта XVII века Дж. Донна в новых переводах, включая его послания и циклы сонетов. Широко представлена лирика Бена Джонсона, а также других английских поэтов, довольно четко разделившихся на два течения: поэтов-«метафизиков» и поэтов-«кавалеров». Подавляющее большинство стихотворений книги впервые публикуются на русском языке.

Подготовлен к печати в серии «Университетская библиотека» том «Русский советский рассказ 20-х годов». В этом издании наряду с известными именами стоят имена писателей, лишь совсем недавно возвращенные из исторического беспамятства, из забвения или только сегодня возвращаемые. Количество переходит в качество, и возвращенные имена и произведения не просто дополняют наши представления об искусстве 20-х годов и о молодом советском обществе в целом, но заставляют взгля-

нуть и на то и на другое иными глазами. Молодая советская литература предстает несравнимо более разнообразной, чем казалось ранее, более тонкой, более тревожно-трагической, смелой в своих пророчествах как в отношении добра, так и в отношении зла. Она сумела заметить опасность бюрократии, постепенно превращающейся в фантастическую силу, довлеющую над человеком (М. Булгаков, Л. Лунц), она не прошла мимо сильных роковых страстей, взрывающих человеческие судьбы (Вс. Иванов).

«Легенды и мифы средневековой Ирландии» — еще одно обращение к европейской культуре. Новизна, неповторимость публикуемых в книге источников не могут оставить равнодушными, тем более что богатейшая история Ирландии, ее культура мало известны нашему читателю.

Выход книг, посвященных декабристскому движению, и тот успех, который они имели у читательской публики, привели нас, университетских издателей, к убеждению в необходимости не только продолжить публикации по русской истории, но «осветить» ими прежде всего основные вехи освободительной борьбы в России, важнейшие черты эволюции отечественной общественной мысли.

Книга, которая ныне предлагается читателю, и есть первое воплощение программного замысла. Вслед за ней, духовной летописью 30-х годов XIX века, Издательство МГУ выпустит том «Русское общество 40—50-х годов XIX в. Люди и идеи. Воспоминания современников». Содержание этого будущего издания составят воспоминания двух ярких и известных деятелей русской мысли — А. И. Кошелева и Б. Н. Чичерина. Такое «соседство» имеет особый смысл, потому что один из них, А. И. Кошелев, — убежденный славянофил, другой, Б. Н. Чичерин, — авторитетный западник, а полемика между сторонниками западничества и славянофильства во многом определяла тональность эпохи. В мемуарах А. И. Кошелева и Б. Н. Чичерина множество портретов, характеристик, целая галерея русских ученых, профессоров, чиновников, государственных и общественных деятелей.

Издательство намерено затем выпустить книгу «Конец крепостничества в России», которая бы языком документов, воспоминаний, официальных донесений рассказала о подготовке и проведении крестьянской реформы 1861 г. В книге будут представлены в своих мнениях и реальной деятельности

сторонники реформы, ее организаторы и проводники, ярые противники и тайные недоброжелатели, правительственные верхи и демократическая прогрессивная Россия. Естественным продолжением должны быть издания, рассказывающие о реформах и общественном движении 60-х годов, а также книги об эпохе народничества и освободительной борьбе пролетариата.

Ближайшая перспектива «Университетской библиотеки» включает издания: «Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора» и «Союз восьми поэтов. Из средневековой индийской поэзии». Последняя книга явится первым переводом на русский язык традиционных шедевров культуры Индии, пользующихся донныне глубочайшим почтением и во многом определивших и определяющих сейчас развитие национального сознания великого народа.

Большие ожидания связаны у издателей «Университетской библиотеки» с книгой «Круг чтения древнерусского книжника». Старинный источник с удивительной судьбой — он был увезен врагами во время Великой Отечественной войны и лишь годы спустя возвращен на Родину — познакомит читателя с художественными интересами и вкусами, с этическими и религиозными нормами русского человека далекого прошлого.

Зримую перспективу на последующие годы составляют задуманные в серии «Университетская библиотека» книги: «Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XVI век)», «Воспоминания Андрея Белого», «Трактаты эпохи Возрождения о любви и красоте», «Западноевропейская эстетика и литературная критика эпохи Просвещения», «Старшие современники Шекспира», «Японская классическая поэзия», «Литература Ирландского возрождения», «Русский театр эпохи Блока», «Д. Александер. Путешествие через Россию и Иран к театру военных действий на Востоке в 1829 г. Э. Мортон. Путешествие в Россию и пребывание в С-Петербурге и Одессе в 1827—1829 гг.»

ИБ № 2878

Сдано в набор 07.06.88.

Подписано в печать 16.01.89.

Л-14009. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 2.

Гарнитура литературная. Офсетная печать.

Усл. печ. л. 28,0. Уч.-изд. л. 34,99.

Тираж 142.000 1-й з-д (1—50 000) экз. Заказ № 81363. Изд. № 248.

Цена 3 руб. 70 коп.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета,
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.

Полиграфкомбинат Государственного комитета Молдавской ССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
277004, Кишинев, ул. Берзарина, 35.